Марсель ПРУСТ



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ДВУХ ТОМАХ

Под сенью девушек в цвету

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ
Часть первая. ВОКРУГ Г-ЖИ СВАН
Часть вторая. ИМЕНА МЕСТНОСТЕЙ: МЕСТНОСТЬ

Аннотация

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.

В тексте "под сенью девушек в цвету" сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Федорова

Марсель Пруст
ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ

Часть первая
ВОКРУГ Г-ЖИ СВАН

Когда в первый раз речь зашла о том, чтобы пригласить на обед господина де Норпуа, моя мать выразила сожаление, что профессор Котар в отъезде и что сама она совершенно перестала посещать дом Свана, а ведь и тот и другой могли бы быть интересны для бывшего посла, — отец ответил, что такой замечательный сотрапезник и знаменитый ученый, как Котар — никогда не лишний за столом, но что Сван, с его чванством, с его манерой на каждом перекрестке трубить о самых ничтожных своих связях, — заурядный хвастун, которого маркиз де Норпуа, пользуясь его же языком, нашел бы, наверное, «зловонным». Этот ответ моего отца требует разъяснений, потому что иным, быть может, памятны еще некий весьма незначительный Котар и Сван, скромность и сдержанность которого достигали крайней степени изысканности в области светских отношений. Но что касается прежнего приятеля моих родных, то к личностям «Свана-сына» и «Свана — члена Жокей-Клуба»

он прибавил теперь личность новую (и это прибавление было не последним) — личность мужа Одетты. Подчинив жалкому честолюбию этой женщины всегда ему присущие инстинкты, желание и ловкость, он ухитрился создать себе новое положение, сильно уступавшее прежнему и рассчитанное на подругу, которая будет занимать его с ним. И тут он оказывался другим человеком. Поскольку (продолжая посещать своих личных друзей, которым он не желал навязывать Одетту, если они сами не просили его познакомить с нею) он вместе со своей женой начинал новую жизнь среди новых людей, то еще можно было понять, что, желая оценить их достоинства, а следовательно, и то удовольствие, которое он мог доставить своему самолюбию, когда принимал их у себя, он решил воспользоваться для сравнения не самыми блестящими из своих знакомых, составлявших его общество до брака, а прежними знакомыми Одетты. Но даже зная, что он ищет знакомства грубоватых чиновников или сомнительных женщин, служащих украшением министерских балов, все же удивительно было слышать, как он — прежде, да и теперь еще, умевший так изысканно скрывать приглашение в Твикенгем или в Букингемский дворец — громко

трубил, что жена помощника начальника канцелярии приезжала отдать визит г-же Сван. Может быть, скажут, что простота Свана — светского человека была только более утонченной формой тщеславия и, подобно некоторым израильтянам, прежний друг моих родных тоже мог пройти последовательные стадии, которые прошли его соплеменники, начиная самым наивным снобизмом и самой резкой грубостью и кончая самой тонкой вежливостью, что в этом — вся причина. Но главная причина — причина, имеющая значение для всякого человека вообще, — была та, что даже наши добродетели не являются чем-либо свободным, текучим, что они не всегда в нашей власти; в конце концов они в нашем представлении так тесно связываются с поступками, которые, как нам кажется, обязывают нас их проявлять, что когда перед нами открывается деятельность другого рода, она застает нас врасплох, и мы даже не можем представить себе, чтобы эти самые добродетели могли и здесь найти применение. Сван, ухаживающий за своими новыми знакомыми и с гордостью ссылающийся на них, напоминал тех больших художников, скромных и щедрых, которые, если под старость принимаются за кулинарию или садоводство,

с наивным удовлетворением выслушивают похвалы своим кушаньям или своим грядкам, не допуская по отношению к ним никакой критики, хотя были бы рады ей, если бы дело шло о каком-нибудь их шедевре; или же, отдавая за бесценок свою картину, не в силах сдержать раздражение, проиграв в домино каких-нибудь сорок су.

Что касается профессора Котара, то он еще неоднократно встретится нам много дальше, у Хозяйки, в замке Распельер. Пока что ограничимся по отношению к нему прежде всего следующими замечаниями. Перемена, происшедшая в Сване, могла в конце концов удивить, потому что она уже завершилась незаметно для меня, когда я встречался с отцом Жильберты на Елисейских Полях, где, впрочем, не разговаривая со мной, он и не мог хвастать своими политическими связями (правда, если б он и стал это делать, его тщеславие, может быть, и не сразу бросилось бы мне в глаза, потому что представление, которое мы давно составили о человеке, закрывает нам глаза и затыкает уши; моя мать целых три года совершенно не замечала, что ее племянница подмазывает себе губы, как будто краска полностью и незримо была растворена в какой-то жидкости, — пока одна лишняя крупинка или,

может быть, какая-нибудь другая причина не вызвала феномен, называемый *перенасыщением;* незамечаемые румяна превратились в кристаллы, и моя мать, увидев вдруг этот разгул красок, объявила, уподобившись обывательнице Комбре, что это срам, и прекратила почти всякие сношения с племянницей). Но что касается Котара, то, напротив, время, когда он в доме Вердюренов присутствовал при появлении там Свана, было уже довольно далеким, а с годами приходят почести, официальные звания; во-вторых, можно не быть широко просвещенным, можно строить нелепые каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, — как, например, дар стратега или великого клинициста. Действительно, собратья Котара видели в нем не только скромного врача-практика, ставшего с течением времени европейской знаменитостью. Самые умные среди молодых врачей заявляли—в продолжение, по крайней мере, нескольких лет, ибо моды, порожденные потребностью в перемене, тоже меняются, — что случись им заболеть, то одному лишь Котару они доверили бы свою жизнь. Разумеется, они предпочитали общество профессоров более начитанных, обладавших художественным чутьем,

с которыми они могли говорить о Ницше, о Вагнере. На музыкальных вечерах, которые давала г-жа Котар в надежде, что муж ее станет деканом факультета, и на которые приглашала его коллег и учеников, сам он, вместо того чтобы слушать, предпочитал играть в карты в соседней гостиной. Но все восхваляли меткость, проницательность, точность его глаза, его диагноза. В-третьих, что касается позы, которую Котар принимал, когда имел дело с людьми вроде моего отца, то заметим, что характер, который обнаруживается в нас во второй половине нашей жизни, если и часто, то все же не всегда является соответствием нашему прежнему характеру, развивая или заглушая его особенности, подчеркивая или затушевывая их; порою это характер совершенно противоположный, совсем как костюм, вывернутый наизнанку. Нерешительность Котара, его чрезмерная застенчивость и услужливость всюду, за исключением дома Вердюренов, привязавшихся к нему, были в его молодости причиной вечных шуток. Какой милосердный друг посоветовал ему надеть маску неприступности? Важность его положения облегчила ему это. Всюду, разве за исключением дома Вердюренов, где он невольно становился самим собой, он напускал на себя холодность, любил

молчать, был безапелляционен, если надо было говорить, не упуская случая сказать что-нибудь неприятное. Эту новую манеру держаться он мог проверить на пациентах, которые, еще никогда не видев его, не могли и сравнивать и были бы очень удивлены, узнав, что он человек вовсе не суровый по природе. Больше всего он стремился к полной невозмутимости, и даже когда в больнице он изрекал один из тех каламбуров, что заставляли смеяться всех, начиная старшим врачом клиники и кончая новичком-студентом, он делал это всегда так, что не двигался ни один мускул его лица, которое к тому же стало неузнаваемо с тех пор, как он сбрил бороду и усы.

Объясним, наконец, кто был маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, а после 16 мая — послом и, несмотря на это, к великому удивлению многих, исполнял затем не раз поручения, возлагавшиеся на него радикальными правительствами, которым даже обыкновенный реакционер-буржуа отказался бы служить и которым прошлое г-на де Норпуа, его связи, его взгляды должны были бы внушать подозрение: он являлся представителем Франции в чрезвычайных случаях и даже, в качестве государственного контролера по долгам в Египте,

оказал важные услуги, благодаря своим большим финансовым способностям. Но эти передовые министры, должно быть, отдавали себе отчет в том, что благодаря подобному назначению становится очевидно, каких широких взглядов держатся они, когда дело идет о высших интересах Франции, что они поднимаются выше обыкновенных политических деятелей, заслуживая даже со стороны «Journal des Débats» признания их государственными людьми; наконец, они извлекали выгоду из престижа, который связан с аристократическим именем, а также из интереса, который возбуждает, подобно театральной развязке, неожиданное назначение. Они знали также, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, они могут пользоваться этими удобствами, не опасаясь с его стороны недостатка в политической лояльности, так как происхождение маркиза служило для них не предостережением, но гарантией. И в этом правительство республики не ошибалось. Прежде всего потому, что известного рода аристократы, с детства привыкшие смотреть на свое имя как на внутреннее преимущество, которого ничто не может у них отнять (и цена которого хорошо известна людям равным им или стоящим еще выше), знают, что могут избавить себя, ибо

это не даст им большего, от ненужных усилий, которые без ощутимых результатов делают столько простых буржуа, старающихся выказывать лишь благонадежные взгляды и водить знакомство лишь с благонамеренными людьми. Зато, стремясь возвыситься в глазах принцев и герцогов, от которых их отделяет всего лишь одна ступень, эти аристократы знают, что они могут этого достичь, лишь украсив свое имя тем, чего ему не было дано и благодаря чему они могут превзойти равных по рождению, то есть политическим влиянием, известностью писателя или художника, большим состоянием. И заботы, от которых не в пример заискивающему буржуа они могут воздержаться в отношениях к ненужному им дворянчику, чья бесплодная дружба не имела бы никакой цены в глазах принца, — эти заботы они станут расточать политическим деятелям, хотя бы и масонам, которые могут открыть доступ в посольства или оказать покровительство на выборах, художникам или ученым, чья поддержка помогает «пробиться» в той области, где они главенствуют, всем тем, наконец, кто в состоянии придать новый блеск вашей репутации или помочь выгодному браку.

Что же касается г-на де Норпуа, то он прежде

всего в течение долгой дипломатической карьеры проникся тем отрицательным, рутинным, консервативным, «правительственным» духом, который действительно присущ всем правительствам и при всех правительствах царит главным образом в канцеляриях. В этой деятельности он почерпнул отвращение и боязливое презрение к тем более или менее революционным и, во всяком случае, некорректным методам, какими являются методы оппозиции. Если не считать каких-нибудь невежд из простого народа или же из светского общества, для которых различие духовных типов — мертвая буква, то людей связывает не общность убеждений, а кровное родство духа. Какой-нибудь академик вроде Легуве, сторонник классиков, скорее одобрил бы дифирамб Виктору Гюго, произнесенный Максимом Дюканом или Мезьером, нежели дифирамб Буало, произнесенный Клоделем. Одинаковость националистических взглядов сближает Барреса с его избирателями, которые не видят большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри, но не может сблизить его с коллегами по Академии, которые, разделяя его политические взгляды, однако будучи другого склада ума, предпочтут ему даже противников вроде гг. Рибо и Деша-

неля, гораздо более близких последовательным монархистам, нежели Моррас и Леон Доде, хотя и они желают возвращения короля. Скупой на слова, по профессиональной привычке, внушающей сдержанность и осторожность, а также и потому, что слова благодаря этому приобретают больший вес, представляют больше оттенков с точки зрения тех, чьи десятилетние труды, направленные на сближение двух стран, выражаются, резюмируются — в речи или протоколе — простым прилагательным, казалось бы, совсем обыкновенным, но заключающим для них целый мир, — г-н де Норпуа считался человеком очень холодным в той комиссии, где он заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли, видя расположение к нему бывшего посла. Оно прежде всего удивляло моего отца. Ибо, не отличаясь вообще особой любезностью, он не привык к тому, чтобы за пределами круга домашних кто-нибудь старался приобрести его дружбу, и простодушно признавался в этом. Он сознавал, что предупредительность дипломата была следствием той совершенно индивидуальной точки зрения, на которую становится всякий, когда дело идет о его привязанностях, и с которой все умственные качества или эмоциональные

свойства известного лица, если само это лицо сердит нас или неприятно на нас действует, не будут служить столь благоприятной рекомендацией, как прямота и веселость другого человека, который многим будет казаться пустым, легкомысленным и ничтожным. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; это необыкновенно; в комиссии все поражены; там он ни с кем не знаком домами. Я уверен, что он расскажет мне еще что-нибудь потрясающее о войне 70-го года». Отец мой знал, что г-н де Норпуа был, пожалуй, единственный, кто указывал императору на растущую мощь и воинственные замыслы Пруссии, и что Бисмарк питал исключительное уважение к его уму. В газетах совсем еще недавно писалось о продолжительной беседе, которой удостоил г-на де Норпуа король Феодосий в опере, во время гала-спектакля, дававшегося в честь монарха. «Надо мне будет узнать, действительно ли имеет значение этот приезд короля, — сказал нам мой отец, проявлявший большой интерес к иностранной политике. — Правда, я знаю, что старик Норпуа — очень скрытный, но со мной он так мило откровенничает…»

Что касается моей матери, то, пожалуй, посол и не отличался тем складом ума, который был

для нее всего привлекательнее. И я должен сказать, беседа г-на де Норпуа была столь полным собранием устарелых формул, характерных для определенной деятельности, для определенного класса людей и для определенной эпохи — эпохи, может быть, еще и не совсем кончившейся для этого рода деятельности и для этого класса людей, — что порой я жалею, зачем я просто и точно не сохранил в памяти того, что он говорил: я достиг бы эффекта старомодности с такой же легкостью и совершенно таким же путем, как тот актер из Пале-Рояля, которого спрашивали, где он отыскивает свои удивительные шляпы, и который отвечал: «Я не отыскиваю их, я их сохраняю». Словом, моя мать, как я думаю, считала г-на де Норпуа немножко «старомодным», что отнюдь не казалось ей неприятным в смысле манер, однако меньше нравилось ей, если не в отношении взглядов, — ибо взгляды г-на де Норпуа были весьма современные, — то в смысле форм выражения. Но она понимала, что она тонко льстит самолюбию своего мужа, когда, в разговорах с ним, восхищается этим дипломатом, который относится к нему с такой исключительной благосклонностью. Поддерживая в нем высокое мнение, которое он составил себе о г-не де Норпуа,

и таким путем возвышая в собственных глазах и его самого, она исполняла свой долг, состоявший в том, чтобы делать приятной жизнь мужа, так же, как когда заботилась о том, чтобы обед был хорош и чтобы прислуга молчаливо исполняла свои обязанности. А так как она не способна была лгать моему отцу, то невольно начинала восхищаться послом, чтобы иметь возможность хвалить его с полной искренностью. Впрочем, ей, разумеется, нравилось его доброе лицо, его учтивость, несколько старомодная (и настолько изысканная, что когда, идя по улице, выпрямившись во весь свой рост, он замечал мою мать, проезжавшую в экипаже, он, прежде чем снять шляпу, бросал сигару, только что закуренную); его обдуманная беседа, во время которой он как можно меньше говорил о себе и всегда помнил о том, что могло бы быть интересно собеседнику; пунктуальность, с которой он отвечал на письма и которая казалась столь необыкновенной, что когда отцу моему случалось послать письмо г-ну де Норпуа и он тотчас же после этого получал конверт, надписанный рукой маркиза, то у него прежде всего являлась мысль, что по досадной случайности письма их разошлись в дороге; можно было подумать, что для г-на де Норпуа

существует особая почта. Моя мать удивлялась, как он может быть таким точным несмотря на свою занятость, таким внимательным несмотря на бесконечные знакомства, и не, думала о том, что за этими «несмотря на» всегда скрываются «потому что» и (подобно тому как иные старики удивительно сохраняются для своего возраста, короли держатся с величайшей простотой, а провинциалы всё знают) одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа заниматься таким множеством дел и быть таким аккуратным в своей переписке, иметь успех в обществе и оказывать внимание нашей семье. К тому же моя мать, как все чрезвычайно скромные люди, впадала в заблуждение, вызванное тем, что все относящееся к ней она привыкла считать заслуживающим меньшего внимания, не ставя в связь ни с чем. Быстрый ответ на письмо, имевший в ее глазах такую цену, потому что другу моего отца каждый день приходилось писать много писем, являлся для нее исключением из этого множества писем, хоть это и было только одно из них; она также не принимала во внимание, что для г-на де Норпуа обед в нашем доме — одно из бесчисленных дел в его общественной жизни; она не думала о том, что посол, будучи дипломатом, привык смотреть

на званые обеды как на нечто входящее в его служебные обязанности, проявляя на них давно привычную ему любезность, и нельзя было требовать, чтобы, обедая у нас, он в виде исключения от нее отрешился.

День, когда г-н де Норпуа первый раз обедал в нашем доме, — это было еще в то время, когда я ходил играть на Елисейские Поля, — запомнился мне потому, что в этот день мне удалось услышать Берма в утреннем спектакле в «Федре», а также потому, что, разговаривая с г-ном де Норпуа, я внезапно и по-иному отдал себе отчет в том, насколько чувства, внушаемые мне всем, что касалось Жильберты Сван и ее родителей, были непохожи на чувства, которые эта самая семья возбуждала в других.

Заметив, должно быть, мое уныние по случаю приближения новогодних вакаций, в течение которых я не должен был видеться с Жильбертой, объявившей мне об этом, моя мать сказала мне, чтобы развлечь меня: «Если тебе все так же хочется слышать Берма, то, я думаю, отец позволит тебе пойти в театр; тебя сведет туда бабушка».

А надо заметить, г-н де Норпуа говорил моему отцу, что следовало бы позволить мне послушать Берма, что такие воспоминания навсегда

остаются у юноши, и потому мой отец, не допускавший до сих пор и мысли, чтобы я рисковал здоровьем и тратил время на вещи, которые он, к величайшему возмущению бабушки, называл никчемушными, уже готов был смотреть на этот спектакль, реабилитированный послом, как на одно из условий, необходимых для блестящей карьеры и удачи. Бабушка, которая принесла большую жертву моему здоровью, отказавшись от намерения дать мне услышать Берма, что было бы, по ее мнению, благотворно для меня, дивилась, как одно слово г-на де Норпуа заставило позабыть все заботы о здоровье. Твердо уповая, как подобает рационалисту, на целительное действие режима, предписывавшего мне подолгу бывать на воздухе и рано ложиться спать, она сокрушалась об этом нарушении его как о несчастье, и страдальческим голосом говорила моему отцу: «Как вы легкомысленны», — на что отец сердито отвечал: «Как? Теперь вы не хотите, чтобы он шел в театр! Это уж слишком, ведь вы все время твердили нам, что это принесет ему пользу».

Но г-н де Норпуа изменил планы моего отца по еще более существенному для меня вопросу. Отцу всегда хотелось, чтобы я стал дипломатом, а для

меня невыносима была мысль, что, будучи даже временно причислен к министерству, я рискую в один прекрасный день получить назначение в столицу, где Жильберты не будет. Я предпочел бы вернуться к литературным замыслам, зародившимся во мне когда-то во время моих прогулок в сторону Германта и мною оставленным. Но отец постоянно противился моему желанию посвятить себя литературной карьере, которую он считал гораздо менее почтенной, нежели дипломатия, отказывая ей даже в названии карьеры, — вплоть до того дня, когда г-н де Норпуа, недолюбливавший дипломатических чиновников нового образца, убедил его, что и в роли писателя можно заслужить такое же уважение и оказать такое же влияние, как в дипломатической должности, сохраняя при этом большую независимость.

«Ну вот, я и не думал, что старик Норпуа отнюдь не возражает против твоего плана заняться литературой», — сказал мне отец. А так как, пользуясь сам достаточным влиянием, он считал, что нет такого дела, которое не устроилось бы, не получило благополучного разрешения в разговоре с влиятельными людьми, то и заключил: «Как-нибудь на этих днях я приведу его обедать

после комиссии. Ты поговоришь с ним, чтобы он мог оценить тебя. Напиши что-нибудь получше, чтобы можно было ему показать: он в большой дружбе с редактором «Revue des Deux Mondes», он тебе туда откроет доступ, он это устроит, он ловкий старик; и право, он как будто считает, что дипломатия теперь — так…»

Радостная надежда на то, что я не буду разлучен с Жильбертой, внушала мне желание, но не давала сил написать какую-нибудь хорошую вещицу, которую можно было бы показать г-ну де Норпуа. Написав две-три страницы вступления, я от скуки ронял перо, я плакал от бешенства при мысли, что никогда не буду талантлив, что я лишен дарования и даже не способен воспользоваться счастливым случаем — предстоящим посещением г-на де Норпуа, позволявшим мне навсегда остаться в Париже. И только мысль, что мне разрешают послушать Берма, заставляла меня забыть это горе. Но так же, как бурю мне страстно хотелось видеть только на одном из тех побережий, где ярость ее всего сильнее, так и великую актрису мне хотелось видеть не иначе, как в одной из тех классических ролей, где, по словам Свана, она достигала подлинного величия. Ибо когда мы ищем известных впечатлений в искус-

стве или в природе в надежде на какое-нибудь драгоценное открытие, то совестимся вместо них давать доступ в нашу душу впечатлениям менее значительным, которые могут ввести нас в обман насчет точного значения Прекрасного. Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны», в «Федре» — вот оно, то великолепие, которого так жаждало мое воображение. Если когда-нибудь в чтении Берма мне суждено будет слышать стихи: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен» и т. д., я испытаю то же наслаждение, как в тот день, когда мне доведется наконец подплыть в гондоле к шедевру Тициана в церкви Фрари или к картинам Карпаччо в Сан-Джорджо деи Скьявони. Я знал их в том виде, как — черным по белому — они воспроизводятся в печатных изданиях; но мое сердце билось каждый раз при мысли, что наконец, словно осуществившаяся мечта о путешествии, они действительно предстанут мне в солнечных лучах золотого голоса. Картина Карпаччо в Венеции, Берма в «Федре» — вот совершенные создания живописи или драматического искусства, которым связанное с ними обаяние придавало в моих глазах такую жизненность, то есть так тесно связывало их воедино, что если бы мне пришлось увидеть

Карпаччо в Луврской галерее или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой я ничего бы не слыхал до сих пор, я уже не ощутил бы чудесного удивления, как в ту минуту, когда наконец увидел бы воочию непостижимый и единственный предмет бесчисленных моих мечтаний. К тому же, ожидая от игры Берма откровения новых сторон благородства и страдания, я думал, что эта игра будет еще величественнее и правдивее, если в основу ее актриса положит произведение действительно замечательное, вместо того чтобы оживлять в общем правдивым и красивым рисунком ничтожную и пошлую канву.

И наконец, если бы мне пришлось слушать Берма в новой пьесе, мне было бы нелегко судить о ее мастерстве, ее дикции, ибо я не мог бы провести сравнения между текстом, не известным мне заранее, и его исполнением, интонациями и жестами, которые показались бы мне неразрывными с ним; между тем старые произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне обширными просторами, где я сразу на полной свободе легко смогу оценить откровения Берма и неиссякаемые находки ее фантазии, которыми она расцветит их, словно фрески. К несчастью, с тех пор как она покинула большие сцены и

обогащала один бульварный театр, звездой которого была, она больше не играла в классических пьесах, и я напрасно изучал афиши, они все время объявляли только совершенно новые пьесы, состряпанные модными авторами специально для нее, — как вдруг, однажды утром, просматривая на колонке с афишами программы утренних представлений первой недели Нового года, я впервые увидел, — в конце спектакля, после какой-то пьесы для поднятия занавеса, вероятно малозначительной, с заглавием, которое мне показалось непроницаемым, ибо оно заключало в себе все особенности каких-то неведомых мне событий, — два действия «Федры» с участием г-жи Берма, а в следующих утренних спектаклях — «Полусвет», «Прихоти Марианны» — имена для меня прозрачные, как и «Федра», насквозь пронизанные светом, настолько знакомы были мне эти произведения, до глубины озаренные улыбкой искусства. Они возвышали в моих глазах и г-жу Берма, которая, как сообщалось в газете вслед за программой этих спектаклей, сама приняла решение снова показаться публике в одной из своих прежних ролей. Значит, артистка знала, что иные роли представляют интерес, не зависящий от их новизны или от успеха их возобновления; на эти

роли в своем исполнении она смотрела как на музейные шедевры, которые поучительно снова показать поколению, восхищавшемуся ею, или поколению, еще не видевшему ее в этих ролях. И когда в число пьес, предназначавшихся лишь к тому, чтобы занять публику на один вечер, она ставила на афишу «Федру», заглавие которой было не длиннее их заглавий и было напечатано такими же буквами, она делала это как будто с умыслом, точно хозяйка дома, которая представляет своих гостей — и в ту минуту, когда зовут к столу, называет в числе гостей, являющихся всего лишь гостями, тем же тоном, каким она представляла остальных: «Господин Анатоль Франс».

Лечивший меня врач — тот, который запретил мне путешествия, — советовал моим родным не пускать меня в театр, потому что оттуда я вернусь больной, быть может надолго, и страдание, в конце концов, будет сильнее, чем полученное удовольствие. Подобная мысль могла бы меня остановить, если бы то, чего я ожидал от этого представления, было только удовольствием, которое может уничтожить сменившее его страдание. Но то, что я хотел получить от этого спектакля, — так же как и то, чего я ожидал от поездки в Бальбек, от путешествия в Венецию,

к которым так стремился, — было нечто совсем иное, чем удовольствие: то были истины, принадлежащие миру более реальному, чем тот, где я жил, и которые, однажды сделавшись моим достоянием, не могут быть отняты у меня по вине ничтожных случайностей моей праздной жизни, хотя бы и мучительных для моего тела. Удовольствие, которое я буду испытывать во время спектакля, казалось мне, самое большее, формой, может быть, необходимой для восприятия этих истин; мне только страстно хотелось, чтобы предсказанное недомогание наступило уже после спектакля, не помешало моему удовольствию и не испортило его. Я умолял моих родителей, которые после посещения врача уже не хотели позволить мне пойти на «Федру». Я без конца декламировал тираду: «Внезапный твой отъезд теперь нам возвещен», отыскивая все интонации, которые можно было вложить в нее, чтобы лучше оценить всю неожиданность той интонации, которую найдет Берма. Божественной красоте, которая должна была явиться мне в игре Берма и которая, таясь, словно святая святых за завесой, скрывавшей ее от меня, каждое мгновение принимала для меня новые формы, воплощая приходившие мне на память слова

Бергота в брошюре, отысканной Жильбертой: «Благородная пластичность, христианская власяница, янсенистская бледность, царица Трезенская и принцесса Клевская, микенская трагедия, дельфийский символ, солнечный миф», — этой красоте я воздвиг жертвенник, пылавший день и ночь неугасимым огнем в глубинах моей души, и теперь от решения моих суровых и неосмотрительных родных зависело, заключит ли она в себе навсегда или нет совершенства богини, освобожденной от покровов в том месте, где высился ее незримый образ. И, устремив глаза на непостижимые черты, я по целым дням боролся с препятствиями, которые создавала мне моя семья. Но когда они исчезли, когда моя мать — несмотря на то, что этот утренний спектакль приходился как раз на день заседания комиссии, после которого отец намерен был привести обедать г-на де Норпуа, — сказала мне: «Ну что ж, мы не хотим огорчать тебя; если ты думаешь, что это доставит тебе такое удовольствие, надо идти», — когда этот день, посвященный театру и до сих пор запретный, стал зависеть уже только от меня, тогда, освободившись от забот о том, чтобы сделать его возможным, я впервые спросил себя, следует ли его желать и нет ли помимо запрета

моих родных других причин, которые заставили бы меня отказаться от моего намерения. До этого их жестокость возмущала меня, но теперь, когда позволение было дано, они стали мне так дороги, что мысль о возможности огорчить их делалась для меня самого источником огорчения, заставляя видеть цель жизни уже не в истине, а в нежности, и в самой жизни видеть хорошее и плохое в зависимости от того, будут ли счастливы или несчастны мои родные. «Я лучше не пойду, если это вас огорчит», — сказал я матери, которая, напротив, старалась отвлечь меня от мысли, будто я могу огорчить ее, потому что эта мысль, по ее словам, отравила бы удовольствие, которое я получу от «Федры» и ради которого она и отец отменили свое запрещение. Но тогда это обязательное удовольствие начинало казаться мне очень тягостным. Затем, если я из театра приду больной, — успею ли я выздороветь до конца каникул, чтобы пойти на Елисейские поля, как только вернется Жильберта? Стараясь решить, чему отдать предпочтение, я всем этим доводам противопоставлял незримый за скрывающей его завесой образ совершенств Берма. На одной чашке весов было: «мама огорчится, а я, чего доброго, буду не в состоянии пойти на Елисейские поля», а

на другой: «янсенистская бледность, солнечный миф»; но под конец самые эти слова потускнели в моем уме, они больше ничего не говорили мне, теряли всякий вес; мало-помалу мои колебания становились так мучительны, что если бы я решился в пользу театра, то это имело бы единственной целью положить им конец и раз навсегда избавиться от них. Обаяние совершенства утратило власть надо мной; уже не в надежде на духовное обогащение, а лишь для того, чтобы сократить свои муки, позволил бы я вести себя не к Мудрой Богине, но к беспощадному Божеству без лика и без имени, обманно поставленному на ее место за завесой. Но вдруг все изменилось, моему желанию услышать Берма был дан новый толчок, заставивший меня с нетерпением и радостью ожидать этого утра: предаваясь с упорством столпника моему ежедневному, с недавних пор столь мучительному созерцанию колонки с афишами, я увидел еще совсем свежую подробную афишу «Федры», наклеенную только что (и где, по правде говоря, распределение остальных ролей не послужило для меня добавочной приманкой, которая определила бы мое решение). Но одно из тех желаний, между которыми колебалась моя нерешительность, приобретало форму более

конкретную, почти что неминуемую, так как афиша была помечена не тем днем, когда я читал ее, а днем, когда должно было состояться само представление, и даже часом, когда поднимется занавес, — оно уже готово было осуществиться, так что от радости я даже подскочил перед колонкой, захваченный мыслью, что в этот день и в этот час я, сидя на своем месте, приготовлюсь слушать Берма; и от страха, что мои родные не успеют достать два хороших места — для бабушки и для меня, — я одним прыжком оказался дома, подстегнутый магическими словами, которые сменили в моем уме «янсенистскую бледность» и «солнечный миф»: «Дамам в шляпах вход в кресла не разрешается. Впуск публики прекращается в два часа».

Увы, этот первый спектакль был большим разочарованием. Отец предложил нам с бабушкой завезти нас в театр по дороге в комиссию. Уходя из дому, он сказал матери: «Постарайся, чтобы был хороший обед. Ты помнишь, что я приведу де Норпуа?» Моя мать не забыла об этом. И уже с вечера Франсуаза пребывала в творческом волнении, счастливая, что может предаться искусству кулинарии, даром которого она несомненно обладала, подстрекаемая к тому же мыслью о

новом госте, возвещенном ей, и зная, что ей придется готовить по способу, известному ей одной, говядину в желе; так как она придавала исключительное значение органическим свойствам материалов, входивших в состав ее произведений, то сама ходила на рынок, чтобы достать лучшие части вырезки, лучший окорок, лучшие телячьи ножки, подобно Микеланджело, который восемь месяцев провел в горах Каррары, выбирая совершеннейшую глыбу мрамора для памятника Юлию II. Носясь взад и вперед, Франсуаза проявляла такое усердие, что мама, видя ее пылающее лицо, обеспокоилась, как бы наша старая служанка не заболела от переутомления, как создатель гробницы Медичи в каменоломнях Пьетраганты. И уже накануне Франсуаза отправила в булочную запекать то, что называла *нью-йоркской ветчиной* — розовый мрамор, защищенный оболочкой из хлебного мякиша. Очевидно, считая язык менее богатым, чем он есть, и не доверяя собственным ушам, она, когда при ней в первый раз заговорили о Йоркской ветчине, решила, что ослышалась, что в словаре не может быть заодно и Йорка и Нью-Йорка, ибо это невероятно расточительно, и что, наверно, хотели произнести уже известное ей название.

И с тех пор слову «Йорк» в ее представлении, слышала ли она его или читала где-нибудь в объявлении, предшествовал слог «нью», который она произносила «нев». И она с полным убеждением говорила своей судомойке: «Сходите за ветчиной к Олида. Барыня наказывала мне, чтобы ветчина была нев-йоркская». И если в этот день Франсуаза была исполнена пламенной уверенности великого творца, моим жребием была жестокая тревога искателя. Конечно, до того как я услышал Берму, я испытывал удовольствие: удовольствие я чувствовал в маленьком сквере перед театром, оголенные каштаны которого должны были через два часа зажечься металлическими отблесками — в тот миг, когда газовые рожки осветят контуры их ветвей; и тогда, когда мы проходили мимо контролеров, выбор которых, карьера, судьба зависели от великой артистки, безраздельно властвовавшей в этом театре, где незаметно сменялись призрачные, совершенно номинальные директора; контролеры эти взяли наши билеты, не глядя на нас, озабоченные мыслью, в точности ли переданы новым служащим все предписания г-жи Берма, хорошо ли известно, что клака никогда не должна аплодировать ей, что окна должны быть открыты, пока она не на

сцене, и что каждая дверь должна быть закрыта после ее выхода, что рядом с ней незаметно должен быть поставлен сосуд с теплой водой, чтобы не давать скопляться пыли; и в самом деле, через какую-нибудь минуту ее карета, запряженная парой лошадей с длинными гривами, должна была остановиться перед театром и она должна была выйти из нее, закутанная в меха и кисло отвечающая на поклоны, послать одну из своих горничных узнать, оставлены ли места на авансцене для ее друзей, осведомиться о температуре залы, о публике лож, о том, как одеты капельдинерши, ибо театр и публика были для нее как бы вторым одеянием, более внешним, являясь средой, предназначенной к тому, чтобы служить проводником ее таланта. Счастлив был я еще и в самом зале; с тех пор как я знал, что — вопреки картинам, которые с давних пор рисовало мое детское воображение, — для всех существует только одна сцена, я думал, что в театре другие зрители мешают видеть, как всегда бывает в толпе; однако я убедился, что, напротив, благодаря особому расположению, являющемуся словно символом восприятия, каждый чувствует себя центром театра; тут я понял, почему Франсуаза, которую однажды отпустили в театр посмотреть

мелодраму, уверяла, что ее место — на галерее третьего яруса — было самое лучшее, и почему ей казалось, что она сидела совсем недалеко и даже была напугана таинственной и полной жизни близостью занавеса. Мое удовольствие еще увеличилось, когда за этим опущенным занавесом мне начали слышаться смутные шумы, напоминавшие тот шорох, что возникает под скорлупой яйца, когда цыпленок готов вылупиться; вскоре они усилились, и вдруг стало несомненно, что они относятся к нам, — после того как из этого мира, недоступного нашему взгляду, не видящему нас, властно донесся троекратный стук, не менее потрясающий, чем знаки, поданные с планеты Марс. А когда занавес поднялся и на сцене появились письменный стол и камин, впрочем, довольно обыкновенные на вид, показывая, что лица, которые сейчас выйдут, не декламирующие актеры, каких я видел на одном вечере, но люди, собирающиеся у себя дома прожить один из дней своей жизни, в которую я проникну, как вор, не замеченный ими, — мое удовольствие все продолжалось; оно было прервано короткой тревогой: как раз в ту минуту, когда я настроился, ожидая начала пьесы, на сцену вышли двое мужчин, очень рассерженных, ибо они говорили на-

столько громко, что в этом зале, где было больше тысячи человек, слышно было каждое их слово, тогда как даже в маленьком кафе приходится спрашивать гарсона, что говорят какие-нибудь два повздоривших субъекта; но в ту же минуту, удивленный, что публика безропотно слушает их, захваченная всеобщим молчанием, на поверхности которого то тут, то там начинал плескаться смешок, я понял, что эти нахалы — актеры и что маленькая пьеса, для так называемого «поднятия занавеса», началась. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители, вернувшись на свои места, начали выражать нетерпение, стучать ногами. Меня это испугало, ибо, подобно тому как, читая в отчете о судебном процессе, что какой-нибудь благородный человек, презрев свою собственную выгоду, собирается дать показания в пользу невинного, я всегда опасался, что с ним не будут достаточно милы, что ему не выразят должной благодарности, что его не вознаградят с избытком и что, возмущенный, он станет на сторону обвинителей, — так и теперь, отожествляя в этом смысле гений и добродетель, я опасался, как бы Берма, раздосадованная дурными манерами плохо воспитанной публики, — среди которой, напротив, мне так хотелось увидеть каких-ни-

будь знаменитостей, чье суждение было бы для нее дорого, — не выразила ей своего недовольства и презрения плохой игрой. И я с мольбой смотрел на этих топочущих животных, готовых в своей ярости разрушить то хрупкое, драгоценное впечатление, которого я искал. Наконец, последние минуты удовольствия я пережил во время первых сцен «Федры». Сама Федра не появляется в этих первых сценах второго акта, но всё же, как только занавес поднялся и вслед за тем раздвинулся другой занавес, из красного бархата, разделявший сцену пополам во всех пьесах, где играла знаменитость, из глубины показалась актриса, которая лицом и голосом, судя по тому, что я слышал о Берме, напоминала ее. Очевидно, изменили распределение ролей, и весь труд, который я положил на то, чтобы изучить роль жены Тезея, пропадал зря. Но вот другая актриса подала первой реплику. Я, очевидно, ошибся, приняв ту, первую, за Берма, потому что вторая еще больше напоминала ее, в особенности дикцией. К тому же обе они, приподымая свои прекрасные пеплумы, сопровождали игру жестами, полными благородства, — которые были мне отчетливо видны и связь которых с текстом была мне понятна, — и продуманными интонациями, порою

страстными, порою ироническими, открывавшими мне смысл какого-нибудь стиха, который дома я читал, не обращая внимания на то, что он означает. Но вдруг в просвете, образованном двумя половинками красного занавеса святилища, появилась, словно в раме, женщина, и я сразу же понял, что две актрисы, которыми я несколько минут восхищался, не имеют ничего общего с той, которую я пришел слушать, — понял по тому страху, гораздо более напряженному, чем тот, что могла испытывать сама Берма, опасаясь, как бы ей не помешали, открыв окно, как бы не заглушили звука ее слов шуршанием программы, как бы не потревожили ее, аплодируя другим актрисам и недостаточно аплодируя ей, — я это понял по тому чувству — еще более интенсивному, чем у самой Берма, — с которым начиная с этой минуты я стал смотреть на зал, на публику, на актеров, на пьесу и на собственное тело, видя во всем этом только акустическую среду, имеющую смысл лишь в той мере, в какой она была благоприятна интонациям ее голоса. Но в ту же минуту кончилось все мое удовольствие: как я ни устремлялся к ней слухом, зрением, сознанием, стараясь не упустить ни одной крупицы из того, чем я должен был бы восхищаться в ней, мне

ничего не удавалось уловить. В ее дикции и в ее игре я даже не мог отыскать тех осмысленных интонаций, красивых жестов, которые замечал в игре двух других актрис. Я слушал ее так, словно читал «Федру», или словно сама Федра говорила в эту минуту все то, что я слышал, и словно талант Берма не вносил ничего нового. Я хотел бы надолго задержать, остановить каждую из интонаций артистки, каждое из выражений, сменявшихся на ее лице, чтобы углубить их, пытаясь открыть то прекрасное, что было в них заключено; по крайней мере, собрав все мое внимание и настроившись воспринять тот или иной стих, я старался не потерять ни одного слова, ни одной из тех секунд, в течение которых оно произносилось, не потерять ни одного жеста и, силой напряженного внимания, проникнуть в него так глубоко, как если бы в моем распоряжении были целые часы. Но как мимолетно было все это! Едва коснувшись слуха, звук уже сменялся другим. Во время той сцены, когда Берма, приподняв руку до уровня лица, тонущего в зеленых лучах искусственного света, застывает на миг на фоне декорации, изображающей море, зал разразился аплодисментами, но актриса стояла уже на другом месте, и картина, в которую я хотел бы вникнуть, уже не

существовала. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, она дала мне бинокль. Но когда веришь в реальность вещи, впечатление, полученное от нее искусственным путем, не вполне заменяет нам ее близость. Я подумал, что я уже вижу не Берма, но ее изображение в увеличительном стекле. Я отложил бинокль; но, может быть, образ, воспринятый моим глазом и уменьшенный расстоянием, был не более точен; который же из этих двух образов был настоящий? Что же касается признания Ипполиту, то я очень надеялся на это место, где, судя по неожиданности значений, на которые другие актрисы открывали мне глаза в репликах менее замечательных, она должна была найти интонации гораздо более поразительные, чем те, которые я старался представить себе, читая «Федру» у себя дома; но она не достигла даже и тех, которые нашли бы Энона или Арисия; она сгладила однообразием мелопеи весь этот монолог, где друг с другом слились антитезы, как-никак настолько отчетливые, что сколько-нибудь вдумчивая артистка и даже, пожалуй, воспитанник лицея не оставили бы их незамеченными; кроме того, она произнесла его так быстро, что только тогда, когда она дошла до последнего стиха, я отдал себе отчет в нарочи-

том однообразии, которое она придала первым стихам.

Наконец я отдался первому порыву восхищения: он был вызван неистовыми аплодисментами зрителей. Я принял в них участие, стараясь продолжить их, чтобы Берма, из чувства благодарности, решила превзойти себя и чтобы я мог быть уверен, что слышал ее в один из лучших ее дней. Любопытно, впрочем, что момент, когда публика дала волю своему восхищению, был, как я узнал потом, одним из прекраснейших достижений Берма. Есть, по-видимому, трансцендентные реальности, от которых исходят лучи, и толпа чувствует их. Так, например, когда совершается историческое событие, когда армия подвергается опасности на границе или одерживает победу, те довольно смутные известия, которые мы получаем и которые мало говорят культурному человеку, вызывают в толпе волнение, которое удивляет его и в котором, узнав от осведомленных людей о действительном положении на фронте, он видит ту прозреваемую народом «ауру», что окружает великие события и может быть видна за сотни километров. О победе узнаёшь или задним числом, когда война кончилась, или сразу же, видя радость консьержа. О гениальной

черте в игре Берма мы узнаём из критики неделю спустя после того, как слушали ее, или сразу — по восторгу публики. Но так как к этому непосредственному пониманию толпы примешиваются еще сотни совершенно ошибочных оценок, то аплодисменты чаще всего раздавались некстати, не считая того, что они возбуждались механически силою предшествовавших аплодисментов, подобно тому, как во время бури волнение на море, взбудораженном ветром, продолжает расти, даже если ветер больше не усиливается. Во всяком случае, по мере того как я все больше аплодировал, мне казалось, что Берма лучше играет. «По крайней мере, — говорила женщина, сидевшая рядом со мной, довольно простая на вид, — уж она себя не жалеет, ей, верно, больно, так она надрывается, она бегает; что ни говори, — это игра». И, радуясь такому определению превосходства Берма, хоть и сознавая, что оно объясняет его не лучше, чем объясняло красоту Джоконды или Персея Бенвенуто восклицание крестьянина: «А ведь хорошо! Всё из золота, да из какого! и какая работа!» — я упивался этим грубым вином восторга толпы. Тем не менее, когда занавес опустился, я почувствовал разочарование оттого, что это удовольствие, которого я так жаждал,

оказалось меньше, чем я думал, — но вместе с тем и стремление продолжить его и, покинув зал, не расставаться навсегда с этой театральной жизнью, которая в течение нескольких часов была моей и разлука с которой была бы для меня словно изгнание, если бы, сразу по возвращении домой, я не надеялся слышать там о Берма от ее поклонника, которому был обязан разрешением пойти на «Федру», — г-на де Норпуа. Отец представил меня ему перед обедом, позвав для этого в свой кабинет. Когда я вошел, посол встал, протянул мне руку, наклонился ко мне и остановил на мне пристальный голубой взгляд. Так как иностранцы, которых знакомили с ним в то время, когда он за границей представлял Францию, были все — вплоть до певцов, пользовавшихся известностью, — лица более или менее замечательные и так как он знал, что потом, когда в Париже или Петербурге будут называть их имена, он сможет сказать, что прекрасно помнит вечер, проведенный с ними в Мюнхене или Софии, он привык всегда выражать им удовольствие, доставляемое знакомством с ними; но, кроме того, уверенный, что, соприкасаясь с замечательными личностями, которые оказываются проездом в той или иной столице, и сталкиваясь с обыча-

ями народа, живущего там, можно и в области истории, и географии, и национальных нравов, и умственного движения Европы приобрести знания более глубокие, которых не дает книга, он при каждом новом знакомстве вооружался всей проницательностью наблюдателя, чтобы сразу же определить, с кем имеет дело. Правительство давно уж не поручало ему постов за границей, но, как только ему представляли кого-нибудь, глаза его, которым словно неизвестно было об его отставке, предавались плодотворным наблюдениям, между тем как он сам всей своей манерой держаться старался показать, что имя незнакомца ему не чуждо. Поэтому, разговаривая со мною благосклонно и важно, как человек, знающий цену своему обширному опыту, он не переставал рассматривать меня с пытливой любознательностью и ради своей же пользы, как если бы я был чужеземное обыкновение, памятник, полный поучительности, или звезда, совершающая турне. И в его отношении ко мне сказывалась таким образом величавая приветливость мудрого Ментора и настойчивая любознательность юного Анахарсиса.

Он ничего не предложил мне написать для «Revue des Deux Mondes», но задал мне ряд во-

просов о моем образе жизни и занятиях, о моих вкусах, про которые со мной впервые говорили так, как будто разумно было следовать им, между тем как я до сих пор думал, что мой долг — им противиться. Так как они влекли меня к литературе, то он не старался отвлечь меня от нее; напротив, он говорил о ней почтительно, как об уважаемой и очаровательной особе, избранный круг которой в Риме или Дрездене оставил в нас лучшие воспоминания, возбуждая сожаления о том, что условия нашей жизни позволяют нам лишь так редко встречаться. Казалось, те прекрасные мгновения, которые она подарит мне, более счастливому и более свободному, возбуждают в нем зависть, а вместе с тем и улыбку, почти что игривую. Но самые выражения, которыми он пользовался, показывали мне, что Литература слишком уж не соответствует тому представлению, которое я составил себе в Комбре, и я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я отдавал себе отчет только в том, что лишен литературного дарования, теперь же г-н де Норпуа отнимал у меня и охоту писать. Я пытался высказать ему то, о чем мечтал; меня, дрожавшего от волнения, смущала мысль, что не все мои слова могут быть самым искренним

соответствием тем чувствам, которые я никогда еще не пытался формулировать себе; иначе говоря, в словах моих не было никакой ясности. Может быть, по профессиональной привычке; может быть, благодаря спокойствию, присущему всякому значительному лицу, советов которого мы просим и которое предоставляет собеседнику волноваться, напрягать все силы, прилагать все усердие, зная, что нити разговора в его руках; а может быть, для того, чтобы выставить в выгодном свете форму своей головы — греческую, по его мнению, несмотря на большие бакенбарды, — г-н де Норпуа, когда ему что-нибудь излагали, хранил полнейшую неподвижность лица, как будто ваша речь была обращена к глухому античному бюсту где-нибудь в глиптотеке. И вдруг раздавался, подобно удару молотка на аукционе или дельфийскому оракулу, голос посла, который отвечал вам, поражая тем сильнее, что по его лицу совершенно нельзя было угадать ни характера впечатления, которое вы на него произвели, ни суждения, которое он собирался высказать.

«Как раз, — сказал он мне вдруг, словно приговор был произнесен, и кладя конец вздору, который я молол под недвижным взглядом его глаз, ни на минуту не оставлявших меня, — мне

вспоминается сын одного из моих друзей, который, mutatis mutandis,[1] совсем вроде вас — (и, говоря об одинаковости наших наклонностей, он принял такой же успокоительный тон, как будто это были наклонности к ревматизму и как будто он хотел показать мне, что от этого не умирают). — Он предпочел оставить Орсейскую набережную, где, однако, все пути были ему открыты благодаря его отцу, и принялся писать, не заботясь о том, что будут говорить. Право, ему не в чем раскаиваться. Он издал два года тому назад — он, разумеется, много старше вас — труд, в котором рассматривается чувство бесконечности на западном берегу озера Виктория Нианца, а в этом году работу менее значительную, но написанную легким, а порою и острым пером, о ружье с репетицией в болгарской армии, — сочинения, благодаря которым он не имеет себе равных. Он прошел уже немалый путь, он не из тех, кто останавливается на полдороге, и я знаю, что хотя его кандидатура и не имелась в виду, но в Академии Моральных Наук его имя упоминалось в разговоре раза два-три в очень лестном для него смысле. В общем, если нельзя еще сказать, что он достиг

---

[1] Примечания: 1
с необходимыми оговорками *(лат.)*.

вершины величия, то он властно завоевал себе очень неплохое положение и успех, не всегда достающийся на долю одним лишь пронырам, вздорщикам, бахвалам, которые почти всегда являются и дельцами, — успех вознаградил его усилия».

Мой отец, решив уже, что через несколько лет я буду академиком, чувствовал удовлетворение, достигшее апогея, когда, после минуты нерешительности, в течение которой он, казалось, взвешивал последствия своего поступка, г-н де Норпуа сказал мне, протянув свою визитную карточку: «Навестите его от моего имени, он вам может дать полезные советы», — вызывая во мне этими словами волнение столь же мучительное, как если бы он возвестил мне, что завтра же я в качестве юнги должен отправиться в плавание на парусном судне.

Моя тетка Леония завещала мне множество вещей, большое количество весьма неудобной мебели, а также и почти весь свой наличный капитал, таким образом проявив после смерти привязанность ко мне, о которой я вовсе и не подозревал при ее жизни. Мой отец, который должен был управлять этим состоянием до моего совершеннолетия, спросил совета г-на де Норпуа,

как поместить часть этого капитала. Посол порекомендовал бумаги, приносящие небольшой доход, которые считал особенно солидными, а именно — «английские гарантированные» и русскую четырехпроцентную ренту. «С этими первоклассными бумагами, — сказал г-н де Норпуа, — во всяком случае, вы всегда уверены, что капитал не обесценится, хотя проценты и не очень высоки». Что касается остального, то отец сказал ему в общих чертах, что он купил. На лице г-на де Норпуа появилась едва заметная улыбка одобрения: как и для всякого капиталиста, богатство было для него вещью, достойной зависти, но он считал более изысканным, если дело шло о чьем-либо состоянии, выражать свое участие почти совершенно незаметно; с другой стороны, так как сам он был страшно богат, то он считал правилом хорошего тона делать вид, будто чужие доходы, хотя бы не столь крупные, кажутся ему значительными, причем, однако, возвращаясь к мысли о превосходстве собственного состояния, он чувствовал себя отрадно и уютно. Зато он не поколебался поздравить моего отца с содержанием его портфеля, в котором, по его словам, был виден «вкус очень уверенный, очень изысканный, очень тонкий». Можно было подумать, что

соотношению биржевых ценностей друг с другом и даже самим этим ценностям как таковым он приписывает нечто вроде эстетической значимости. По поводу одной из них — довольно новой и малоизвестной, о которой мой отец заговорил с ним, — г-н де Норпуа, словно человек, читавший книги, которые, как вы думали, знакомы только вам, сказал: «Как же, одно время я следил за ее котировкой, которая меня занимала, она была интересна», — с улыбкой, подвластной прошлому, словно подписчик журнала, урывками прочитавший последний напечатанный в нем роман. «Я не решился бы отсоветовать вам подписаться на выпуск, который появится в ближайшее время. Он имеет свои прелести, так как бумаги продаются по заманчивым ценам». Уже не помня с полной точностью названий некоторых старых бумаг, так как их легко было спутать с названиями однородных же акций, отец выдвинул ящики и показал послу самые бумаги. Меня очаровал их вид, они были украшены шпицами соборов и аллегорическими изображениями, как иные из числа тех старых романтических изданий, которые я перелистывал в былое время. Во всем, что относится к одной и той же эпохе, есть сходство: художники, которые иллюстрируют современ-

ные им поэмы, те же, что работают в кредитных обществах. И ничто так не напоминает отдельных выпусков «Собора Парижской Богоматери» и произведений Жерара де Нерваля в том виде, как они были выставлены в витрине бакалейной лавки в Комбре, как какая-нибудь именная акция Водной компании в прямоугольной рамке с узорами из цветов, которую поддерживают речные божества.

Мой умственный склад вызывал со стороны отца пренебрежение, которое, однако, настолько смягчалось нежностью, что, в общем, он относился с безусловным снисхождением ко всему, что я делал. Поэтому он не призадумался послать меня за небольшим стихотворением в прозе, которое я когда-то написал в Комбре, вернувшись с прогулки. Я писал его в восторженном состоянии, которое, казалось мне, должно сообщиться и тем, кто будет его читать. Но оно, по-видимому, не подействовало на г-на де Норпуа, потому что, возвращая стихотворение, он не сказал мне ни слова.

Мать, всегда исполненная уважения к занятиям отца, робко пришла спросить, можно ли подавать. Она опасалась прервать разговор, в котором ей не пристало бы принимать участие. И дей-

ствительно, мой отец каждую минуту напоминал маркизу о каком-нибудь полезном мероприятии, которое они решили поддерживать на ближайшем заседании комиссии, и при этом он принимал особенный тон, каким разговаривают между собой в посторонней обстановке, точно два школьника, два сослуживца, которых, благодаря профессиональным привычкам, сближают общие воспоминания, недоступные для прочих и требующие извинений, когда собеседники касаются их. Но полная независимость мускулов лица, которой достиг г-н де Норпуа, позволяла ему слушать с таким видом, будто он не слышит. Отец в конце концов приходил в замешательство: «Я предполагал узнать мнение комиссии…» — говорил он г-ну де Норпуа после долгого вступления. Тогда с уст аристократического виртуоза, хранившего неподвижность музыканта, который ждет, когда ему вступать, слетало, словно продолжение начатой фразы, в таком же темпе и тем же тоном, но окрашенное другим тембром: «…которую вы, разумеется, не затруднитесь созвать, тем более что члены ее вас лично знают и легки на подъем». Само по себе такое заключение было, конечно, не особенно необыкновенно. Но предшествовавшая неподвижность придавала

ему кристальную отчетливость, почти лукавую неожиданность тех фраз, которыми в концертах Моцарта рояль, пока что молчавший, в нужный момент отвечает звуку виолончели.

— Ну, остался ли ты доволен спектаклем? — спросил меня, когда мы проходили в столовую, отец, давая мне случай блеснуть и думая, что мой восторг возвысит меня в мнении г-на де Норпуа. — Он сегодня слушал Берма, помните, мы с вами говорили, — обратился он к дипломату таким тоном, как будто намекал — таинственно и нарочито, словно что-то припоминая, — на заседание комиссии.

— Вы, наверно, были в восхищении, в особенности если слушали ее в первый раз. Ваш отец опасался последствий, которые может иметь для вас маленькое отступление от вашего образа жизни, — ведь вы, кажется, слабого здоровья и не очень выносливы. Но я успокоил его: «Театры сейчас не то, чем они были всего лет двадцать тому назад. Вы сидите почти что с комфортом, зал вентилируется, хотя нам еще многого недостает, чтобы догнать Германию и Англию, от которых мы страшно отстали и в этом отношении, как и во многих других». Я не видел г-жи Берма в «Федре», но я слышал, что она прекрасна в этой роли. И

вы, конечно, были в восторге?

Г-н де Норпуа был в тысячу раз умнее меня, и ему должна была быть известна та правда, которую я не сумел открыть в игре Берма, он должен был объяснить мне ее; отвечая на его вопрос, я хотел попросить его сказать мне, в чем выражается эта правда; и мое желание видеть эту актрису получило бы таким образом обоснование. В моем распоряжении был какой-нибудь миг, надо было воспользоваться им и расспросить о существенном. Но что было существенно? Сосредоточив все мое внимание на полученных впечатлениях, столь смутных, и вовсе не думая заслужить одобрение г-на де Норпуа, но надеясь добиться от него желанной правды, я не пытался заменить недостающие мне слова заранее готовыми выражениями, я запинался, а под конец, чтобы заставить его объяснить мне, чем замечательна Берма, я признался ему в своем разочаровании.

— Но как же, — воскликнул отец, недовольный тем, что, признаваясь в своем непонимании, я могу произвести неприятное впечатление на г-на де Норпуа, — как ты можешь говорить, что не получил удовольствия? Твоя бабушка рассказывала нам, что ты не пропустил ни одного слова Берма, что ты глядел во все глаза, что во всем театре ты

один так смотрел.

— Ну да, я старался слушать как можно лучше, чтоб узнать, что в ней такого особенного. Конечно, она очень хороша…

— Если она очень хороша, то чего ж тебе еще?

— Свойство, безусловно содействующее успеху г-жи Берма, — обратился г-н де Норпуа к моей матери, стараясь втянуть и ее в круг разговора и добросовестно исполняя долг вежливости в отношении хозяйки дома, — это безукоризненный вкус, который сказывается у нее в выборе ролей и благодаря которому она всегда имеет настоящий и заслуженный успех. Она редко играет в посредственных пьесах. Смотрите, вот она взялась за роль Федры. И этот вкус виден и в туалетах, и в игре. Хоть она совершила целый ряд очень удачных турне в Англии и Америке, на нее не повлияла вульгарность — не скажу Джона Буля, что было бы несправедливо, по крайней мере по отношению к Англии времени Виктории, — но дядюшки Сэма. Слишком ярких красок, громких воплей — никогда. И потом — этот поразительный голос, которым она владеет с таким совершенством, что хочется сравнить ее с певицей.

Интерес, который возбуждала во мне игра Берма, продолжал усиливаться и после того, как

кончился спектакль, потому что его больше не стесняли грани действительности; но я чувствовал потребность найти ему объяснение; кроме того, пока была на сцене Берма, он был направлен решительно на все то, что воспринималось моим зрением и слухом, как нераздельное в своей жизненной целостности; он ничего не различил и не разграничил, поэтому для него было счастьем, когда в этих похвалах простоте и вкусу артистки открылось понятное объяснение: он впитывал эти похвалы, поглощал их, хватаясь за них, как оптимизм опьяневшего человека хватается за поступки соседа, в которых он видит повод для умиления. «Это правда, — говорил я себе, — какой прекрасный голос, и ничего крикливого, какая простота в костюмах, и как умно, что она выбрала «Федру». Нет, я не разочарован!»

Появилась холодная говядина с морковью, уложенная рукою Микеланджело нашей кухни на огромные кристаллы желе, которые напоминали глыбы прозрачного кварца.

— У вас первоклассне́йший повар, сударыня, — сказал г-н де Норпуа. — А это — вещь немалая! За границей мне самому приходилось много принимать у себя, и я знаю, как трудно иногда найти идеального повара. Это прямо пиршество.

И действительно, честолюбивая Франсуаза, подстрекаемая желанием блеснуть в глазах именитого гостя, преодолев трудности, достойные ее таланта, и приготовив обед, постаралась так, как она уже не старалась для нас одних, и вновь обрела свое несравненное мастерство, как во дни Комбре.

— Вот чего вам не дадут ни в одном кабаке, хотя бы наилучшем; желе, которое не пахло бы клеем, и кусок тушеного мяса, весь пропитанный ароматом моркови, — это восхитительно! Позвольте еще вернуться к этому, — прибавил он, знаком показывая, что он желает взять еще желе. — Теперь мне бы хотелось судить об искусстве вашего Вателя по какому-нибудь совсем другому блюду, я хотел бы видеть, например, как он справится с бефстроганов.

Г-н де Норпуа, стараясь сделать застольный разговор как можно более приятным, преподносил нам различные анекдоты, которыми часто угощал своих сослуживцев, цитируя то нелепую фразу, сказанную политическим деятелем, с которым это часто случалось и у которого фразы получались длинные и были полны бессвязных метафор, то какое-нибудь короткое изречение остроумного дипломата. Но, по правде говоря,

признаки, по которым он различал эти два типа фраз, нисколько не были похожи на критерии, которые я прилагал к литературе. Я не улавливал множества оттенков; слова, которые он цитировал со смехом, по-моему, не очень разнились от тех, которые он находил замечательными. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях могли бы сказать: «Так вам понятно? Я сознаюсь, что мне это непонятно, я не посвящен», — но я мог бы ответить ему тем же, я не улавливал, в чем остроумие или глупость; красноречие или напыщенность, которые он видел в речи или фразе, и полное отсутствие видимой причины, почему это было плохо, а то хорошо, делало для меня этот вид словесности более таинственным и более загадочным, чем какой-либо другой. Мне только стало ясно, что повторять то, что думают все, является в политике признаком не слабости, а силы. Когда г-н де Норпуа употреблял некоторые выражения, на каждом шагу попадавшиеся в газетах, и делал на них упор, чувствовалось, что они становятся событием только потому, что *он* их произносит, и событием, которое возбудит толки.

Мать возлагала большие надежды на салат из ананаса с трюфелями. Но посол, вперив в него

на минуту проницательный взор наблюдателя, отведал его, храня дипломатическое молчание, и не поделился с нами своим мнением. Моя мать уговаривала его взять еще, что он и сделал, ограничившись, однако, вместо ожидаемой похвалы, следующим ответом: «Я повинуюсь вам, сударыня, так как вижу, что это настоящий *указ*».

— Мы читали в газетах, что вы долго беседовали с королем Феодосием, — сказал ему мой отец.

— Действительно, король, у которого редкая память на лица, был так добр, что, увидев меня в креслах, вспомнил, что я имел честь видеть его в течение нескольких дней при Баварском дворе, когда он еще и не думал о своем восточном престоле (вы ведь знаете, что на этот престол его призвал Европейский конгресс и он даже сильно колебался, считая эту корону не вполне достойной своего происхождения, которое в геральдическом смысле является самым благородным во всей Европе). Адъютант пригласил меня пройти к его величеству, приказанию которого я, разумеется, поспешил повиноваться.

— Вы остались довольны результатами пребывания его здесь?

— Восхищен! Можно было слегка сомневаться, что столь юный монарх справится с этим труд-

ным делом, особенно принимая во внимание такое щекотливое положение. Что до меня, то я нисколько не сомневался в политическом чутье короля. Но признаюсь, он превзошел мои ожидания. Тост, который он произнес в Елисейском дворце и который, как я знаю из совершенно достоверных источников, был составлен им самим от первого слова до последнего, вполне заслуживает того интереса, который он всюду возбудил. Это просто шедевр; не спорю, это было несколько смело, но смелость эта целиком оправдывается ходом событий. В дипломатических традициях есть много хорошего, но в данном случае они привели к тому, что создали для обеих стран удушливую атмосферу, в которой больше невозможно было дышать. Ну вот, один из способов, чтобы освежить воздух, — конечно, способ, который нельзя рекомендовать, но который король Феодосий мог себе позволить, — это бить стекла в окнах, и он сделал это так весело, что всех очаровал, и выражения были такие меткие, что в нем сразу можно было узнать кровь тех просвещенных монархов, потомком которых он является по матери. Не подлежит сомнению: когда он заговорил о «родстве», соединяющем Францию с его страной, выражение было найде-

но удивительно удачно, как бы непривычно ни казалось оно для языка канцелярий. Вы видите, что литература не вредит делу, даже в дипломатии, даже на троне, — прибавил он, обращаясь ко мне. — Не спорю, факт был признан уже давно, и между обеими державами установились превосходные отношения. Все же это надо было высказать. Этого слова ждали, и нельзя было найти слова более удачного, — вы видели, какой оно произвело эффект. Что до меня, то я аплодирую обеими руками.

— Ваш друг, господин де Вогубер, давно уже подготовлявший сближение, должен быть доволен.

— Тем более что его величество пожелал сделать ему сюрприз, по своему обыкновению. Впрочем, это был полный сюрприз для всех, начиная с министра иностранных дел, которому, как мне говорили, это не пришлось по вкусу. Одному лицу, которое разговаривало с ним об этом, он будто бы сказал вполне отчетливо и достаточно громко, чтобы окружающие могли слышать: «Со мной не посоветовались и меня не предупредили», — ясно давая понять, что снимает с себя всякую ответственность. — Надо сказать, что это событие сильно нашумело, и, — прибавил он с лукавой улыбкой, — я не решился бы утверждать,

что оно не нарушило спокойствия кое-кого из наших коллег, для которых высшим законом является закон наименьшего усилия. Что касается Вогубера, то, вы знаете, на него сильно нападали за политику сближения с Францией, и он тем более должен был страдать от этого, что это чуткий человек, чудная душа. Я могу это подтвердить тем более, что мы с ним старинные друзья, хоть он и значительно моложе; мы с ним очень часто встречались, и я хорошо его знаю. Да и кто его не знает? Это кристальная душа. Это даже единственный недостаток, в котором его можно упрекнуть: не требуется, чтобы сердце дипломата было так прозрачно. Это не мешает тому, что сейчас поговаривают о его назначении в Рим, а это очень большое повышение, но и большой труд. Между нами, я думаю, что Вогубер, хоть он и не честолюбив, был бы очень доволен и отнюдь не желает, чтобы эта чаша миновала его. Он, может быть, произведет там прекрасное впечатление; он кандидат Консульты, и что до меня, то я прекрасно представляю себе его, с его артистичностью, на фоне дворца Фарнезе и галереи Карраччи. Кажется по крайней мере, что его некому ненавидеть; но король Феодосий окружен целой камарильей, связанной более или менее

тесно с Вильгельм-штрассе, внушениям которой она покорно следует, и всеми способами создававшей ему затруднения. Вогуберу пришлось столкнуться не только с дворцовыми интригами, но и с ругательствами подкупленных писак, трусливых, как все газетчики на жалованье, которые потом первые же запросили *амана,* но до этого не задумались пустить в ход против нашего представителя нелепые обвинения, на какие способны темные личности. Враги Вогубера больше месяца плясали вокруг него танец *скальпа,* — г-н де Норпуа резко оттенил это слово. — Но умный человек стоит целых двух; эти оскорбления, он отшвырнул их пинком, — прибавил он еще более резко и посмотрел так свирепо, что мы на мгновение перестали есть. — Как гласит прекрасная арабская пословица: «Собаки лают, караван проходит мимо». — Приведя эту цитату, г-н де Норпуа остановился и посмотрел на нас, чтобы судить о том, какое впечатление она произвела. Впечатление было сильное, мы знали пословицу. Она в этом году заменила в высших кругах другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», которая нуждалась в отдыхе, не будучи столь неутомимой и живучей, как речение: «Работать на прусского короля». Культура этого высшего круга была

плодосменная, обыкновенно с трехгодичным севооборотом. Разумеется, подобные цитаты, которыми г-н де Норпуа так умел испещрять свои статьи в «Обозрении», вовсе не требовались для того, чтобы статьи эти производили впечатление серьезности и осведомленности. Достаточно было того, чтобы г-н де Норпуа, даже не прибегая к этим украшениям, написал в нужную минуту (что он всегда и делал): «Сент-Джеймсский кабинет вовремя почувствовал опасность», или же: «Велико было смущение в здании у Певческого моста, где с тревогой следили за эгоистической, но искусной политикой двуединой монархии», или: «Из Монтечиторио донесся тревожный сигнал», или еще: «Это вечная двойная игра, которая всегда была в нравах Балльплаца»… Несведущий читатель по этим выражениям сразу же узнавал опытного дипломата и преклонялся перед ним. Но если о нем говорили, что он — нечто большее, что он обладает высшей культурой, то повод к этому давало уменье пользоваться цитатами, идеальным образчиком которых в то время было: «Дайте хорошую политику, и я дам вам хорошие финансы, как любил говорить барон Луи». (Еще с Востока не успели ввезти: «Победа принадлежит тому из двух противников, который может тер-

петь на четверть часа дольше, чем другой», как говорят японцы.) Эта репутация высокообразованного человека в сочетании с истинным даром интриги, таившимся под маской равнодушия, открыла г-ну де Норпуа двери Академии Моральных Наук. И даже мысль, что он был бы на месте во Французской Академии, пришла кое-кому в голову после того, как, желая указать, что мы могли бы прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он не призадумался написать: «Пусть твердо помнят на Орсейской набережной, пусть пишут впредь во всех учебниках географии, которые в этом отношении страдают пробелом, пусть беспощадно отказывают в аттестате всякому бакалавру, который не сумеет сказать: «Если все пути приводят в Рим, то путь, ведущий из Парижа в Лондон, неизбежно проходит через Петербург».

— Как бы то ни было, — продолжал г-н де Норпуа, обращаясь к моему отцу, — Вогубер создал себе большой успех, превзошедший даже то, на что он рассчитывал. Действительно, он ждал корректного тоста (что было бы уже очень хорошо, после облаков последних лет), но и только. Некоторые из присутствовавших уверяли меня, что, читая этот тост, нельзя себе представить того

впечатления, которое он произвел, прозвучав из уст короля, мастерски владеющего словом и умело оттенившего все частности, подчеркнувшего мимоходом каждый намек, каждую тонкость. Мне рассказывали по этому поводу довольно интересный факт, лишний раз рисующий то обаяние молодости, которое так привлекает сердца к королю Феодосию. Мне подтверждали, что как раз дойдя до слова «родство», которое, в сущности, и придало речи главный интерес новизны и которое, вы увидите, долго будут комментировать в канцеляриях, его величество, — предвидя радость нашего посланника, который сейчас получит награду за свои усилия, увидит осуществление, можно сказать, своей мечты и в конечном итоге заслужит маршальский жезл, — полуобернулся к Вогуберу, вперил в него свой чарующий взгляд, по которому нельзя не узнать одного из Эттингенов, и так удачно оттенил это меткое слово, явившееся настоящей находкой, произнес его таким тоном, который ясно показывал, что оно было выбрано вполне сознательно, с полным знанием дела. Говорят, Вогубер с трудом скрывал свое волнение, и, сознаюсь, я в известной мере его понимаю. Лицо, заслуживающее полного доверия, передавало мне даже, что король, остав-

шись после обеда в интимном кругу, подошел к нему и спросил вполголоса: «Довольны вы своим учеником, мой милый маркиз?»

Не подлежит сомнению, — заключил г-н де Норпуа, — что и двадцатилетние переговоры не могли бы теснее сблизить обе страны, связанные «родством», пользуясь образным выражением Феодосия П. Если хотите, это только слово, но посмотрите, какой оно имеет успех, как вся европейская печать повторяет его, какой оно возбуждает интерес, какой оно получило резонанс. Впрочем, оно совершенно в духе короля. Я не стану вас уверять, что он каждый день находит такие чистейшие алмазы. Но и в речах, к которым он готовится, — больше того, в непринужденном разговоре — почти всегда заметна его личность, я чуть было не сказал: *видна подпись*, точно слово, высеченное на камне. Меня тем менее можно заподозрить в пристрастии, что я враг всяких новшеств в этом роде. В девятнадцати случаях из двадцати они рискованны.

— Да, я подумал, что последняя телеграмма германского императора не должна была вам понравиться, — сказал мой отец.

Г-н де Норпуа поднял глаза к небу с таким видом, точно хотел сказать: «О, уж этот-то! Во-

первых, это — неблагодарность. Это больше чем преступление, это ошибка и такая глупость, которую я назвал бы *пирамидальной!* Впрочем, если никто не наведет там порядка, то человек, прогнавший Бисмарка, вполне способен отставить всю бисмарковскую политику, тогда это — прыжок в неизвестное».

— А мой муж говорил мне, господин маркиз, что, быть может, вы увезете его с собой летом в Испанию. Я очень рада за него.

— Да, да, это очень заманчивый план, я о нем думаю с удовольствием. Я буду очень рад совершить с вами это путешествие, дорогой мой. А вы, сударыня, строите уже какие-нибудь планы на лето?

— Я, может быть, поеду с сыном в Бальбек, не знаю.

— А-а! Бальбек — приятное место. Я был там несколько лет тому назад. Там начинают строить очень нарядные виллы; я думаю, место вам понравится. Можно ли спросить, что заставило вас выбрать Бальбек?

— Моему сыну очень хочется посмотреть там некоторые церкви, особенно бальбекскую церковь. Я несколько опасалась, что его утомит путешествие и, главным образом, пребывание

там. Но я узнала, что там выстроен прекрасный отель, где он может жить с тем комфортом, которого требует его здоровье.

— А-а! я должен сообщить об этом одной особе, которой это не будет безразлично.

— Ведь бальбекская церковь прекрасна, неправда ли, господин маркиз? — спросил я, преодолевая грусть, в которую впал, узнав, что одна из прелестей Бальбека — его нарядные виллы.

— Да, она недурна, но все-таки она не выдерживает сравнения с этими резными шедеврами, как, например, Реймсский и Шартрский соборы и, по-моему, жемчужина из жемчужин — парижская Сент-Шапель.

— Но бальбекская церковь отчасти в романском стиле?

— Да, она в романском стиле, который сам по себе чрезвычайно холоден, так что нельзя еще предугадать изящества, изобретательности архитекторов готического периода, которые с камнем обращаются, как с кружевом. Бальбекская церковь стоит того, чтобы посетить ее, если вы поблизости; она довольно интересна. Если как-нибудь в дождливый день вам нечего будет делать, вы можете зайти в нее, — посмотрите гробницу Трувиля.

— Вы были вчера на банкете в Министерстве иностранных дел? Я не мог там быть, — сказал мой отец.

— Нет, — ответил, улыбаясь, г-н де Норпуа, — признаюсь, я изменил ему и провел вечер совсем в ином месте. Я обедал вчера у женщины, о которой вы, может быть, слышали, — у прекрасной госпожи Сван.

Мать незаметно вздрогнула, так как, будучи более чуткой, чем отец, она пугалась всего, что должно было огорчить его мгновение спустя. Неприятности, случавшиеся с ним, она замечала раньше, подобно тому, как печальные для Франции новости узнаются за границей раньше, чем у нас. Но, желая узнать, каких гостей принимают у себя Сваны, она осведомилась у г-на де Норпуа, кого он там встретил.

— Боже мой… Это дом, где, мне кажется, бывают больше всего… мужчины. Там было несколько женатых мужчин, но их женам нездоровилось вчера и они не приехали, — ответил посол, добродушием маскируя лукавство и бросая взгляды, кротость и скромность которых должна была смягчить их двусмысленность, а на самом деле удачно подчеркивала ее. — Если быть справедливым, должен сказать, — прибавил он, — что

бывают там и женщины, но… принадлежащие скорее… как бы это сказать… к миру республиканскому, чем к обществу Свана (он произносил именно так: *Сван,* а не *Суан).* Кто знает? Может быть, когда-нибудь это будет литературный или политический салон. Впрочем, они, кажется, и так довольны. Я нахожу, что Сван даже слишком это показывает. Лиц, к которым он и его жена были приглашены на ближайшей неделе и дружбой которых, однако, не приходится гордиться, он перечислял с таким отсутствием достоинства и вкуса, даже такта, которое удивило меня в столь умном человеке. Он твердил: «У нас ни одного свободного вечера», как будто этим можно гордиться, и как настоящий выскочка, которым он все же не является. Ведь у Свана было много приятелей и даже приятельниц, и я, не беря излишней смелости и вовсе не желая быть нескромным, кажется, могу сказать, что если не все они, и даже не большинство из них, то одна по крайней мере, притом очень большая аристократка, не слишком враждебно отнеслась бы к мысли о знакомстве с госпожой Сван — пример, которому, вероятно, последовала бы не одна овца Панургова стада. Но, кажется, сам Сван не сделал ни одного шага в этом направлении. Как,

еще пудинг Нессельроде! Мне потребуется курс лечения в Карлсбаде, чтобы оправиться от этого Лукуллова пира. Может быть, Сван почувствовал, что пришлось бы преодолеть слишком большое сопротивление. Брак, во всяком случае, не понравился. Поговаривали о состоянии жены, но это ерунда. В общем, все это произвело неприятное впечатление. Кроме того, у Свана есть тетка, чрезвычайно богатая и занимающая блестящее положение в свете, жена человека, который в финансовом мире является крупной величиной. И она не только отказалась принять госпожу Сван, но повела настоящую кампанию, чтобы то же самое сделали ее друзья и знакомые. Я не хочу этим сказать, что кто-нибудь из порядочных людей в Париже оказал неуважение госпоже Сван. Нет, тысячу раз нет! Да и муж ее не смолчал бы. Во всяком случае, любопытно посмотреть, как Сван, у которого столько знакомых, и притом самых изысканных, ухаживает за людьми, о которых в лучшем случае можно сказать, что они составляют очень смешанное общество. Мне, знавшему его раньше, признаюсь, было и странно, и забавно видеть, как этот человек, такой воспитанный, пользовавшийся таким успехом в самом избранном обществе, с жаром благодарил

директора канцелярии министра почт за то, что он посетил их, и спрашивал его, может ли госпожа Сван *позволить* себе сделать визит его жене. Всё же ему должно быть не по себе; ясно, что это уже не то общество. Однако я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, в годы, предшествовавшие браку, эта женщина довольно мерзко шантажировала его; каждый раз, когда Сван отказывал ей в чем-нибудь, она разлучала его с дочерью. Бедный Сван, такой доверчивый, несмотря на свою утонченность, всякий раз воображал, что исчезновение его дочери было случайностью, и не хотел видеть правду. К тому же она все время делала ему сцены, и можно было думать, что, когда она добьется своего и заставит его жениться, ее уже ничто не будет удерживать и их жизнь будет адом. И что же, случилось совсем обратное. Всех забавляет, как Сван говорит о своей жене, над ним даже издеваются. Конечно, никто не требовал, чтобы, более или менее сознавая себя… (вы помните слова Мольера), он стал возвещать это urbi et orbi;[2] всё же нельзя не упрекнуть его в преувеличении, когда он говорит, что его жена — прекрасная супруга. Впрочем, это не так далеко

---

[2] Примечания: 2
граду и миру *(лат.).*

от истины, как думают. Прекрасная на свой лад, который не всем мужьям был бы по вкусу, но в конце концов, между нами говоря, трудно, мне кажется, чтобы Сван, который знаком с ней давно и отнюдь не дурак, не знал, как себя держать; не подлежит сомнению, что она привязана к нему. Я не говорю, что она ему не изменяет, да и сам Сван не теряет времени, если верить злым языкам, которые, как вы можете себе представить, делают свое дело. Но она благодарна ему за то, что он для нее сделал, и, вопреки всеобщим опасениям, она стала ангельски кротка.

Пожалуй, эта перемена не была так необычайна, как казалось г-ну де Норпуа. Одетта не думала, что Сван в конце концов женится на ней. Всякий раз, как она, преследуя свою цель, сообщала ему, что какой-нибудь человек из общества женится на своей любовнице, он хранил ледяное молчание, и только если она прямо требовала ответа, спрашивая его: «Так что же, по-твоему, разве это не хорошо, разве это не прекрасно, то, что он сделал для женщины, отдавшей ему свою молодость?» — он, самое большее, сухо отвечал: «Я не говорю тебе, что это плохо, каждый поступает по-своему». Она готова была думать, что он совершенно покинет ее, как он угрожал ей в

минуты гнева, ибо она как-то слышала от одной женщины-скульптора, что «от мужчин всего можно ожидать, они такие гады»; и, проникшись глубиной этого пессимистического афоризма, она по всякому поводу с разочарованным видом повторяла его, как бы говоря: «В конце концов, нет ничего невозможного, такая уж судьба». И в результате потерял силу тот оптимистический принцип, которым Одетта до сих пор руководствовалась в своей жизни: «Всё можно сделать с мужчинами, если они вас любят, они такие идиоты», и который она подкрепляла таким подмигиванием, будто хотела сказать: «Не бойтесь, он ничего не поломает». А пока что Одетта мучилась при мысли о том, что должна думать о поведении Свана та или иная из ее подруг, вышедшая замуж за человека, который прожил с ней меньше времени, чем Сван с Одеттой, не имевшая ребенка, пользовавшаяся теперь относительным уважением, получавшая приглашения на балы в Елисейский дворец. Судья более проницательный, чем г-н де Норпуа, наверное понял бы, что Одетту озлобило это чувство унижения и стыда, что адский характер, который она проявляла, не был ей свойствен, не был неизлечимым недугом, и с легкостью предсказал бы то, что случилось,

а именно, что новый режим, режим брачный, с почти волшебной быстротой положит конец этим болезненным, ежедневным, но отнюдь не органическим явлениям. Почти все удивлялись этому браку, и это даже удивительно. Разумеется, немногим понятен чисто субъективный характер явления, которое представляет собою любовь, создание как бы дополнительной личности, не похожей на ту, что в свете носит то же имя, — личности, большая часть элементов которой заимствована нами из нас самих. Поэтому так мало людей, считающих естественными те огромные пропорции, которые в конце концов принимает для нас существо, не тождественное с тем, каким оно является в их глазах. Всё же, кажется, можно было отдать себе отчет в том, что Одетта, хотя ей, разумеется, ум Свана никогда не был совершенно понятен, по крайней мере знала названия его работ и всё, касавшееся их, настолько, что имя Вермера было для нее так же привычно, как имя ее портного; она знала насквозь те черты характера Свана, которые людям или неизвестны, или смешны и которые отчетливо и с нежностью представляет себе любовница или сестра; и они так дороги нам — даже те из них, от которых нам больше всего хотелось бы ис-

правиться, — что женщина под конец привыкает к ним, снисходительная и дружелюбно-насмешливая, словно мы сами или наши родные, и вот потому-то в давних связях есть нечто, напоминающее силу и прелесть семейных привязанностей. Узы, которые связывают нас с другим существом, освящаются в наших глазах, когда это существо судит наши изъяны с той же точки зрения, что и мы. И среди этих особенностей были и такие, которые отличали ум Свана в такой же мере, как и его характер, и которые всё же Одетта легче распознавала благодаря тому, что они, несмотря ни на что, коренились именно в характере. Она жаловалась, что, когда Сван становился литератором, когда он выпускал в свет свои работы, эти черты не выступали так ясно, как в его письмах или разговорах, где они преобладали. Она советовала ему уделять им главное место. Ей хотелось этого, потому что они больше всего нравились ей в нем, но так как ей они нравились потому, что в них он в большей степени был самим собой, ей, быть может, не напрасно хотелось видеть их и в том, что он писал. Может быть, также она думала, что работы, в которых было бы больше живости, могли бы наконец доставить ему успех, а ей дали бы возможность устроить у себя то, что

у Вердюренов она научилась ценить выше всего на свете, — салон.

В числе людей, считавших этого рода браки смешными, людей, которые по отношению к себе самим задавались вопросом: «Что подумает герцог Германтский, что скажет Бреоте, когда я женюсь на мадемуазель де Монморанси?» — в числе людей, создавших себе такой общественный идеал, лет двадцать тому назад был бы и сам Сван, прилагавший все усилия, чтобы попасть в члены Жокей-Клуба, и рассчитывавший в то время на блестящий брак, который упрочил бы его положение и сделал бы его одним из самых заметных представителей парижского общества. Но представления, которые складываются о таком браке у самого действующего лица, как и всякие представления, должны получать пищу извне, чтобы совершенно не зачахнуть и не стереться. Ваша самая жгучая мечта — унизить человека, оскорбившего вас. Но если вы, переселившись в другую страну, никогда больше не будете слышать о нем, ваш враг в конце концов потеряет для вас всякое значение. Если за двадцать лет вы потеряли из виду всех тех, ради кого вам хотелось быть принятым в Жокей-Клуб или Институт, то перспектива стать членом того или другого

утратит для вас всякую заманчивость. Но подобно отшельничеству, подобно болезни, подобно перемене вероисповедания, многолетняя связь заменяет старые представления новыми. Когда Сван женился на Одетте, ему не пришлось отказываться от честолюбивых светских стремлений, так как, в духовном смысле слова, Одетта уже давно заставила его охладеть к ним. Впрочем, если бы он и не охладел к ним, то заслуга его была бы тем больше. Позорящие браки именно потому больше всего заслуживают уважения, что в них мы жертвуем более или менее блестящим положением ради прелести чисто личной жизни (ведь позорящим браком нельзя считать брак из-за денег, так как не было примеров, чтобы супружескую чету, где муж или жена продали себя, их знакомые в конце концов не стали бы принимать, хотя бы по традиции, на основании множества примеров, или чтобы не пользоваться разными мерками для оценки одинаковых случаев). С другой стороны, Свану, как натуре художественной, если не испорченной, может быть, доставляло известное удовольствие вступить в брак с существом из иного мира, эрцгерцогиней или кокоткой, подражая тем скрещиваньям пород, которыми занимаются менделисты и о

которых повествует мифология, породниться с королевским домом или сделать мезальянс. В свете было только одно лицо, мнением которого он был озабочен — и вовсе не из снобизма — всякий раз, когда думал о возможности брака с Одеттой; это была герцогиня Германтская. Одетта, напротив, мало интересовалась ею, думая только о людях, стоящих непосредственно над ней, а не о тех, кто жил в столь далеком эмпирее. Но когда Сван, предаваясь мечтам, думал о том, как Одетта станет его женой, он неизменно рисовал себе то мгновение, когда он привезет ее — ее и, главное, свою дочь — к принцессе де Лом, которая стала герцогиней Германтской после смерти отца своего мужа. Он не желал представить их никому другому, но умилялся, воображая и даже произнося вслух все то, что герцогиня скажет о нем Одетте, а Одетта герцогине, нежность, с которой герцогиня отнесется к Жильберте, лаская ее, заставляя его гордиться своей дочерью. Он рисовал себе сцену этого представления с тою же точностью в воображаемых деталях, с какою люди, мечтающие о выигрыше, сумма которого произвольно определяется ими, решают, что они будут с ним делать. Поскольку образы, сопутствующие нашим решениям, мотивируют

их, постольку можно сказать, что если Сван женился на Одетте, то сделал это для того, чтобы представить ее и Жильберту герцогине Германтской, хотя бы никто не присутствовал при этом и даже, в крайнем случае, никогда об этом не узнал. Мы увидим, что именно эта единственная честь, о которой он мечтал для жены и дочери, оказалась неосуществимой для него, и притом вследствие столь безусловного вето, что Сван так и умер с мыслью, что герцогиня никогда с ними не познакомится. Мы увидим также, что герцогиня Германтская, напротив, подружилась с Одеттой и Жильбертой после смерти Свана. И пожалуй, — поскольку он мог придавать значение такой мелочи — благоразумнее бы ему было не рисовать себе будущего в слишком мрачных тонах и не оставлять надежды, что желанная встреча произойдет, когда его уже не станет и он уже не сможет ей радоваться. Работа причинности, в конце концов осуществляющая почти все возможные следствия, а значит, и те, которые казались нам самыми невозможными, эта работа порой совершается медленно и еще замедляется по вине наших желаний — которые, стараясь ускорить ее, ее тормозят, — даже по вине нашего бытия, и достигает цели, лишь когда мы переста-

ем желать, а иногда и существовать. Разве Сван не знал этого по собственному опыту, разве в его жизни — словно предзнаменование того, чему суждено было случиться после его смерти, — не был таким посмертным счастьем этот брак с Одеттой, которую он страстно любил, хотя при первой встрече она и не понравилась ему, и на которой он женился, когда уже не любил ее, когда существо, так страстно мечтавшее всю жизнь прожить с Одеттой и отчаявшееся в этом, когда это существо в нем умерло?

Я заговорил о графе Парижском, спросил, не был ли он другом Свана, опасаясь, что разговор может перейти на другую тему. «Да, совершенно верно», — ответил г-н де Норпуа, повернувшись ко мне и вперив в мою скромную особу голубой взгляд, в котором, словно окруженная своей жизненной стихией, предчувствовалась его громадная трудоспособность и приспособляемость. «И, право же, — прибавил он, снова обращаясь к моему отцу, — думаю, с моей стороны это не будет неуважением к принцу, которого я привык чтить (не поддерживая с ним, правда, личных отношений, затруднительных по моему положению, хотя и очень мало официальному), если сообщу вам тот довольно интересный факт, что всего

четыре года тому назад на какой-то маленькой железнодорожной станции в одной из стран Средней Европы принц имел случай видеть госпожу Сван. Разумеется, никто из его приближенных не осмелился спросить его высочество, что он о ней думает. Это было бы неудобно. Но когда случайно в разговоре упоминалось ее имя, принц довольно охотно давал понять, — это было, пожалуй, еле заметно, но нельзя было ошибиться, — что его впечатление далеко не оказалось неблагоприятным».

— Но ведь нет возможности представить ее графу Парижскому? — спросил мой отец.

— Ну, неизвестно; с высочайшими особами ничего нельзя знать, — ответил г-н де Норпуа. — Самые гордые среди них, те, которые лучше всех умеют заставить себя уважать, подчас меньше всего смущаются приговорами общественного мнения, даже самыми справедливыми, если только дело заходит о том, чтобы вознаградить известные привязанности. А не подлежит сомнению, что граф Парижский всегда очень благосклонно смотрел на преданность Свана, который к тому же умнейший малый.

— А какое впечатление осталось у вас, господин посол? — спросила моя мать, из вежливости и из

любопытства.

И с горячностью старого знатока, резко контрастирующей с обычной сдержанностью его речей:

— Прямо превосходное! — ответил г-н де Норпуа.

И помня, что признание в том, какое сильное впечатление произвела на нас женщина, составляет особенно ценимую форму остроумия в разговоре — при условии, если это будет сделано весело и непринужденно, — он рассмеялся отрывистым, продолжавшимся несколько секунд смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а ноздри, усеянные красными жилками, задрожали.

— Она совершенно очаровательна.

— Господин маркиз, а был ли на этом обеде писатель Бергот? — робко спросил я, стараясь задержать разговор на теме о Сване.

— Да, Бергот там был, — ответил г-н де Норпуа, изысканно-вежливо наклонив голову в мою сторону, как будто, желая быть любезным с моим отцом, он придавал значение всему, что было с ним связано, вплоть до вопросов мальчика моих лет, не привыкшего к такой предупредительности со стороны людей его возраста. — Вы знакомы с ним? — прибавил он, остановив на мне ясный

взгляд, проницательность которого восхищала Бисмарка.

— Мой сын не знаком с ним, но очень им восхищается, — сказала моя мать.

— Право, — сказал г-н де Норпуа (внушивший мне насчет моего ума сомнения более серьезные, чем те, которыми я обычно терзался, ибо я увидел, что то, что я ставил неизмеримо выше себя, что казалось мне высшей ценностью в мире, занимает низшую ступень в системе его оценок), — я не разделяю этой точки зрения. Бергот, как я говорю, *играет на флейте;* надо, впрочем, признать, что игра его приятна, хоть и очень манерна, очень жеманна. Но не более в конце концов, а это не много. В его произведениях, совершенно лишенных мускулов, никогда нет того, что можно было бы назвать *остовом.* Никакого — или так мало — действия, но главное, никакого простора. В его книгах плох фундамент, вернее в них вовсе нет фундамента. В такое время, как сейчас, когда возрастающая сложность жизни почти не оставляет времени, чтобы читать, когда карта Европы подверглась значительным изменениям и находится, быть может, накануне изменений еще более крупных, когда всюду возникает столько новых и угрожающих вопросов, вы согласитесь

со мною, можно требовать от писателя не только остроумия, заставляющего нас забыть в праздных и несвоевременных спорах о чисто формальных достоинствах, что с минуты на минуту на нас может обрушиться двойное нашествие варваров, как извне, так и изнутри. Я знаю, что это — хула на святейшую школу, которую эти господа называют Искусством для Искусства, но в нашу эпоху есть задачи более важные, чем искусство благозвучно сочетать слова. Мастерство Бергота порою довольно обольстительно, не спорю, но в общем все это очень хило, очень незначительно и уж слишком не по-мужски. Что же касается вашего преувеличенно высокого мнения о Берготе, то теперь мне становятся более понятны те строки, которые вы мне показывали и на которых я не буду останавливаться, — это было бы и невежливо, так как вы сами простодушно сказали, что это лишь детская мазня — (я действительно это сказал, но совершенно не думал этого). — Будем снисходительны к заблуждениям, а в особенности к заблуждениям молодости. В конце концов, и другие грешили тем же, и не вы один воображали себя поэтом. Но в том, что вы мне показывали, заметно дурное влияние Бергота. Очевидно, я не удивлю вас, если скажу вам, что здесь не было

ни одного из его качеств, ибо ему нет равного в мастерстве стиля, впрочем, совершенно поверхностного, которым вы, в вашем возрасте, не можете владеть и в малой мере. Но уже виден тот же недостаток — бессмысленное нанизывание звучных слов, в которые лишь потом вкладывается содержание. Даже в книгах Бергота это то же самое, что ставить плуг впереди волов. Эта китайщина, эти формальные тонкости расплывчатого мандарина — всё это, по-моему, очень пусто. Писатель пустил фейерверк, не лишенный приятности, и вот уже кричат о шедеврах. Шедевры так часто не встречаются! В приход Бергота, в его багаж, если можно так выразиться, нельзя занести ни одного романа, сколько-нибудь значительного по размаху, ни одной из тех книг, которым отводишь почетное место в своей библиотеке. Среди его произведений, по-моему, нет ни одной такой книги. Несмотря на это, произведения его бесконечно выше самого автора. О, вот кто служит подтверждением слов остроумного человека, считавшего, что с писателем следует быть знакомым только по его книгам. Невозможно представить себе человека, более непохожего на свои книги, более претенциозного, более напыщенного, более невоспитанного.

Временами он пошляк, поучающий других, словно книга, и даже не его книга, а скучная книга, чего по крайней мере у него не встречается, — вот каков этот Бергот. Это бестолковейшая голова, любящая мудрить, — отцы наши назвали бы его *риторомъ,* — а то, что он говорит, производит еще более неприятное впечатление из-за его манеры выражаться. Не помню, Ломени или Сент-Бёв рассказывает, что Виньи грешил теми же недостатками. Но Бергот не написал ни «Сен-Мара», ни «Красной печати», где некоторые страницы так и просятся в антологию.

Удрученный тем, что сказал мне г-н де Норпуа по поводу показанного ему отрывка, припоминая вместе с тем затруднения, которые я испытывал, когда хотел написать какой-нибудь очерк или хотя бы предавался серьезным размышлениям, я еще раз почувствовал свое умственное ничтожество, почувствовал, что я не создан для литературы. Правда, в былые годы, в Комбре, под влиянием самых скромных впечатлений или после чтения книги Бергота я впадал в мечтательное состояние, которое, как мне казалось, имело большую важность. Но ведь мое стихотворение в прозе отражало это состояние; не оставалось сомнений: г-н де Норпуа уловил и сразу же понял

то, что казалось мне в нем прекрасным лишь благодаря миражу, совершенно обманчивому, ибо посол не поддался ему. От него я, напротив, узнал, как низко я стою в глазах самого благожелательного и самого умного наблюдателя, судящего обо мне со стороны и с полным беспристрастием. Я впал в уныние, я был уничтожен; и словно жидкость, измерения которой целиком зависят от формы сосуда, мое сознание, которое раньше растекалось, готовясь к великой роли гения, сжалось теперь и не выступало за узкие пределы ничтожества, в которые внезапно замкнул его г-н де Норпуа.

— Встреча моя с Берготом, — прибавил он, обращаясь к моему отцу, — была делом довольно щекотливым (что, впрочем, придало ей некоторую пикантность). Бергот несколько лет тому назад приехал в Вену, в то время как я был там послом; мне представила его княгиня Меттерних, он расписался у меня и желал получить приглашение. Являясь за границей представителем Франции, которой его писания, в общем, приносят известную честь, хотя, скажем точно, довольно слабую, я закрыл бы глаза на его частную жизнь, хоть я о ней невысокого мнения. Но он путешествовал не один и даже претендовал на

то, чтобы его пригласили не иначе как вместе с его спутницей. Думаю, что я не стыдливее других, и, будучи холостым, я, пожалуй, мог открывать двери посольства шире, чем если бы был женат и имел детей. Всё же, признаюсь, есть предел бесстыдства, с которым я не в силах мириться и которое еще отвратительнее из-за того более чем нравственного, скажем прямо — морализующего тона, который господствует в книгах Бергота, где только и видишь бесконечные и к тому же, между нами говоря, скучноватые анализы, мучительные тревоги совести, болезненные сомнения и целые разглагольствования (мы знаем их цену) по поводу обыкновенных грешков, тогда как в своей частной жизни он проявляет такое легкомыслие и такой цинизм. Словом, я воздержался от ответа, княгиня возобновила попытку, но так же безуспешно. Так что, думаю, вряд ли я в большой чести у этого господина, и не знаю, в какой мере он оценил любезность Свана, пригласившего его вместе со мной. Если только он сам не напросился. Трудно сказать, так как, в сущности, он больной. Это даже единственное его извинение

— Была ли на этом обеде дочь госпожи Сван? — спросил я г-на де Норпуа, воспользовавшись,

чтобы задать этот вопрос, той минутой, когда мы переходили в гостиную и когда я легче мог скрыть мое замешательство, чем сидя за столом, неподвижный, в ярком освещении.

Г-н де Норпуа на мгновение, казалось, задумался, припоминая:

— Да, девушка лет четырнадцати-пятнадцати? Действительно, вспоминаю, что ее представили мне перед обедом как дочь нашего амфитриона. Должен сказать, я недолго видел ее, она рано ушла — ложиться спать. Или она собиралась к подругам, не помню хорошенько. Но я вижу, вы весьма в курсе дел дома Сванов.

— Я играю с мадемуазель Сван на Елисейских Полях, она прелестна.

— А-а! ну да! ну да! Правда, и я тоже нашел ее очаровательной. Впрочем, признаюсь вам, не думаю, чтобы она когда-нибудь затмила свою мать, — простите, если я оскорбил в вас слишком пламенное чувство.

— Мне больше нравится лицо мадемуазель Сван, но я также в страшном восхищении от ее матери, я хожу гулять в Булонский лес с одной надеждой — увидеть ее.

— О! Я скажу им это, они будут очень польщены.

Произнеся эти слова, г-н де Норпуа еще несколько секунд пребывал в таком же положении, как и все те, кто, слушая мои разговоры о Сване как об умном человеке, о его родных как о почтенных маклерах, о его доме как о прекрасном доме, думали, что я так же охотно буду говорить о каком-нибудь другом умном человеке, о каких-нибудь других столь же почтенных маклерах, о чьем-нибудь другом столь же прекрасном доме; это — минута, когда нормальный человек, разговаривая с сумасшедшим, не успел еще заметить, с кем он имеет дело. Г-н де Норпуа знал, что более чем естественно находить удовольствие в созерцании красивых женщин, что если кто-нибудь с жаром начинает говорить об одной из них, то светскому человеку уместно притвориться, будто он думает, что его собеседник влюблен, пошутить и предложить свою поддержку. Но, говоря, что он скажет обо мне Жильберте и ее матери (что позволило бы мне, подобно божеству Олимпа, превратившемуся в дыхание ветерка или, вернее, в старца, чей образ приняла Минерва, незримо проникнуть в гостиную г-жи Сван, привлечь ее внимание, занять ее мысли, заслужить ее благодарность, когда она узнает о моем восхищении, показаться ей другом важного лица, достойным

того, чтобы в будущем она приглашала меня к себе, близко познакомиться с ее семьей), этот важный дипломат, собиравшийся ради меня пустить в ход тот большой авторитет, которым он наверное пользовался в глазах г-жи Сван, вызвал во мне такую нежность, что я с трудом удержался, чтобы не поцеловать его мягкие руки, белые и сморщенные, имевшие такой вид, словно они долго оставались в воде. Я сделал было движение, которое, как я думал, заметил только я сам. Действительно, каждому из нас трудно бывает точно определить, в какой мере наши слова и наши движения воспринимаются другими; боясь преувеличить свое значение и безгранично расширяя пределы, в которых должны растекаться воспоминания других в продолжение их жизни, мы воображаем, что второстепенные элементы наших речей, наших поз едва ли проникают в сознание и, тем более, сохраняются в памяти тех, с кем мы разговариваем. Кстати сказать, именно этим предположением руководствуются преступники, когда они, уже дав показание, подменивают то или иное слово, считая, что новый вариант нельзя сопоставить ни с какой иной версией. Но весьма возможно, что даже и в применении к тысячелетней истории человечества

более правильна не философия фельетониста, утверждающая, что все обречено забвению, а философия противоположная, предрекающая сохранение всего сущего. Разве в той же самой газете, где моралист передовой статьи говорит по поводу события, художественного произведения или, тем более, по поводу певицы, бывшей когда-то знаменитой: «Кто через десять лет вспомнит обо всем этом?» — не читаем ли мы часто на третьей странице в отчете Академии Надписей о менее важных фактах, например о каком-нибудь малозначительном стихотворении, относящемся ко временам фараонов и полностью дошедшем до нас? Быть может, в быстротечной человеческой жизни дело обстоит несколько иначе. Однако несколько лет спустя, в одном доме, где находившийся там в гостях г-н де Норпуа казался мне самым надежным покровителем, какого я только мог встретить, ибо он был дружен с моим отцом, снисходителен и благожелательно относился ко всем нам, а к тому же как по своей профессии, так и по своим принципам был склонен к сдержанности, — мне по уходе посла рассказали, что он вспоминал об одном вечере, когда он был уверен, что «я расцелую ему руки»; и я не только покраснел до ушей, я был поражен, узнав, до чего

не соответствовало моим предположениям не только суждение обо мне г-на де Норпуа, но и содержание его воспоминаний. Это известие открыло мне глаза на неожиданность отношений между рассеянностью и вниманием, памятью и забывчивостью, которые характеризуют человеческий ум; я был так же удивлен этим чудесным открытием, как в тот день, когда впервые прочел в книге Масперо, что точно известны имена охотников, которых Ассурбанипал приглашал на свои облавы за десять веков до Рождества Христова.

— Ах, господин маркиз, — сказал я г-ну де Норпуа, когда он объявил мне, что расскажет Жильберте и ее матери о том восхищении, которое они вызывают во мне, — если вы это сделаете, если вы скажете обо мне госпоже Сван, всей моей жизни не хватит, чтобы доказать вам мою благодарность, и жизнь моя будет принадлежать вам! Но считаю долгом обратить ваше внимание на то, что я не знаком с госпожой Сван и никогда не был ей представлен.

Последние слова я прибавил, посовестившись и чтобы нельзя было подумать, будто я хвастаюсь знакомством, которого не было. Но, произнося их, я уже чувствовал, что они стали излишни, ибо, как только я с горячностью, которая расхолажи-

вала, начал благодарить, я заметил мелькнувшее на лице посла выражение нерешительности и недовольства, а в его глазах — вертикальный, узкий, косой взгляд (как на рисунке, изображающем предмет в перспективе, — удаляющаяся линия одной из сторон), взгляд, который мы обращаем к тому незримому собеседнику, что заключен в нас самих в ту минуту, когда мы говорим нечто такое, чего не должен слышать другой собеседник, господин, с которым мы разговаривали до сих пор, — в данном случае я. Я сразу же понял, что эти фразы, которые являлись только слабым выражением охватившего меня порыва благодарности и должны были, как я думал, тронуть г-на де Норпуа и окончательно убедить его оказать мне свое содействие, которое стоило бы ему так мало труда, а мне доставило бы такую радость, были, пожалуй (среди всех тех, что могли бы изобрести дьявольские козни людей, желавших мне зла), единственными, способными заставить его отказаться от своего намерения. Действительно, услышав их, — словно это была минута, когда незнакомец, с которым мы только что любезно обменивались впечатлениями, как будто одинаковыми, по поводу прохожих, казавшихся вульгарными нам обоим, внезапно

открывает перед нами патологическую пропасть, отделяющую его от нас, ощупывая свой карман и небрежно прибавляя: «Жаль, что я не захватил револьвера, никто бы из них не ушел», — г-н де Норпуа, знавший, что ничего нет проще, как быть представленным г-же Сван и получить доступ в ее дом и что в этом нет ничего лестного, и увидевший, что в моих глазах, напротив, это представляет такую важность, а следовательно, без сомнения, и очень большую трудность, подумал, что выраженное мною желание, с виду вполне естественное, должно скрывать какую-то другую мысль, какую-то подозрительную цель, какой-то ранее содеянный проступок, вследствие которого никто не брался до сих пор, боясь неодобрения г-жи Сван, передать ей мою просьбу. И я понял, что эту просьбу он никогда не исполнит, что хотя бы ему в течение нескольких лет приходилось ежедневно встречаться с г-жою Сван, он тем не менее ни разу не поговорит с ней обо мне. Однако несколько дней спустя он навел у нее справку, которую мне хотелось получить, и поручил моему отцу передать ее мне. Но он не счел нужным сказать, для кого он это делает. Следовательно, ей не пришлось узнать, что я знаком с г-ном де Норпуа и что мне так хочется бывать у нее; и,

пожалуй, это было несчастие меньшее, чем я думал. Ибо второе из этих известий, вероятно, не усилило бы действенность, — сомнительную, впрочем, — первого из них. Так как в Одетте не вызывала никакого таинственного трепета мысль о ее жизни и ее собственном доме, то человек, знакомый с ней, бывавший у нее, не представлялся ей сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно дома Сванов камень, умей я написать на нем, что знаком с г-ном де Норпуа: я был уверен, что подобная весть, переданная даже таким насильственным способом, сообщила бы мне в глазах хозяйки дома вес гораздо больший, чем то недовольство, которое она могла бы возбудить. Но будь я даже в состоянии отдать себе отчет в том, что исполнение просьбы, которую не взялся передать г-н де Норпуа, было бы бесполезно, более того, что оно могло бы повредить мне в мнении Сванов, у меня не хватило бы мужества избавить посла от моего поручения, если бы он согласился, и отказаться от блаженства, какими бы роковыми ни явились его последствия, — знать, что мое имя и моя личность на миг окажутся вблизи Жильберты, войдут в ее дом и в ее неведомую жизнь.

Когда г-н де Норпуа ушел, отец стал просмат-

ривать вечернюю газету; я снова стал думать о Берма. Удовольствие, которое я испытал, слушая ее, требовалось дополнить, тем более что оно далеко не соответствовало тому, которого я ожидал; поэтому-то оно немедленно вбирало в себя все то, что могло послужить ему пищей, — например, те достоинства, которые признал в Берма г-н де Норпуа и которые мое сознание мгновенно впитало в себя, как слишком сухая почва, политая водою. Отец передал мне газету, указав на заметку, которая гласила следующее: «Представление «Федры», вызвавшее восторг публики, среди которой находились самые выдающиеся представители искусства и критики, было для г-жи Берма, исполнявшей роль Федры, одним из блистательнейших триумфов, какие ей случалось пережить на своем великолепном артистическом пути. Мы еще поговорим подробнее об этом представлении, составившем настоящее театральное событие; во всяком случае, самые авторитетные судьи единогласно утверждают, что подобная интерпретация совершенно возродила роль Федры, одну из самых прекрасных и самых изученных ролей в трагедиях Расина, и явилась чистейшим и высочайшим достижением искусства, которым ознаменовалось наше время». Как только в мое

сознание проникла эта новая мысль о «чистейшем и высочайшем достижении искусства», она соприкоснулась с тем несовершенным удовольствием, которое я испытал в театре, сообщила ему долю того, чего ему недоставало, и их сочетание приобрело такой восторженный характер, что я воскликнул: «Какая великая артистка!» Разумеется, можно подумать, что я не был вполне искренен. Но вспомните, сколько есть писателей, которым, если они недовольны написанной страницей, стоит прочесть несколько хвалебных строк о гении Шатобриана или вызвать в своей памяти мысль о великом художнике, чьей славы они мечтали бы достичь, например, напевая про себя фразу Бетховена, меланхоличность которой они сравнивают с той, что им хотелось вложить в собственную прозу, — и они уже настолько проникаются этой мыслью о гении, что вносят ее в свои собственные создания, когда думают о них, уже не представляют их себе в том виде, как они впервые явились им, и, уверовав в ценность своих произведений, говорят себе: «Почему бы нет?» — не отдавая себе отчета в том, что в итог, определяющий собою и завершающий их чувство удовлетворения, включается воспоминание о чудесных страницах Шатобриана, которые они

отождествляют со своими, но которых они в конце концов не писали; вспомните, сколько есть людей, верящих в привязанность любовницы, о которой они знают, что она изменяла им; вспомните всякого, кто либо надеется на непостижимое бессмертие, если он, неутешный муж, начинает думать об умершей, по-прежнему любимой жене, или он художник и помышляет о грядущей славе, которой сможет наслаждаться, либо рассчитывает на небытие, успокаивающее его тревогу, когда сознание возвращается, напротив, к тем ошибкам, которые иначе пришлось бы искупать после смерти; вспомните о туристах, восторженно описывающих красоты путешествия, в течение которого они изо дня в день испытывали только скуку, — и тогда скажите: есть ли среди мыслей, живущих бок о бок в недрах нашего сознания — из тех, что больше всего нас радуют, — хоть одна, которая в свое время, как настоящий паразит, не заимствовала бы свои лучшие силы у смежной, но посторонней мысли?

Мою мать, кажется, не очень обрадовало, что отец перестал думать о моей «карьере». Вероятно, заботясь прежде всего о том, чтобы какая-либо жизненная система дисциплинировала прихоти моих нервов, она не столько сожалела о

моем отказе от дипломатии, сколько огорчалась моей приверженностью к литературе. «Да оставь, — воскликнул отец, — в своей работе надо прежде всего находить удовольствие! А он уже не ребенок. Он теперь знает, что ему нравится; маловероятно, чтобы он переменился, и он может отдать себе отчет в том, что составит счастье его жизни». Слова отца, даровавшие мне свободу, от которой зависело счастье или несчастье моей жизни, очень огорчили меня в тот вечер. Его доброта, проявлявшаяся всегда неожиданно, возбуждала во мне всегда такое желание поцеловать его в румяные щеки над бородой, что если я и сдерживался, то только из боязни его рассердить. Теперь, подобно тому как автор пугается, видя, что его собственные мечтания, которым он не придавал цены, потому что не отделял их от себя, заставляют издателя выбирать бумагу, назначать шрифты, которые, может быть, слишком хороши для них, я задавал себе вопрос, является ль мое желание писать чем-то настолько значительным, чтобы мой отец по этому поводу выказывал такую доброту. Но главное, говоря о моих вкусах, которые больше не изменятся, о том, что должно составить счастье моей жизни, он возбуждал во мне два ужасных подозрения. Первое — это

была мысль о том, что моя жизнь уже началась, более того, что последующее будет не особенно отличаться от предшествующего (тогда как до сих пор я считал, что стою на пороге моего еще не тронутого бытия, которое должно начаться только завтра утром). Другое, являвшееся, в сущности, не чем иным, как тем же подозрением в другой форме, была мысль, что я не стою вне Времени, но подвластен его законам, совсем как те персонажи из романа, которые именно поэтому повергали меня в такое уныние, когда в Комбре, в глубине моей ивовой будочки, я читал их жизнеописание. Теоретически мы знаем, что Земля вертится, но фактически не замечаем этого; Земля, по которой мы ступаем, на вид неподвижна, и мы живем спокойно. В жизни то же самое происходит с Временем. И чтобы сделать ощутимым его бег, романисты, безумно ускоряя обороты часовой стрелки, заставляют читателя в две минуты пережить десять, двадцать, тридцать лет. В начале страницы мы покидаем любовника, полного надежд; в конце следующей мы встречаем его восьмидесятилетним стариком, с трудом совершающим свою ежедневную прогулку во дворе убежища, еле отвечающим на вопросы, обращаемые к нему, позабывшим прошлое. Го-

воря обо мне: «Он уже не ребенок, вкусы его не переменятся» и т. д., отец внезапно заставил меня взглянуть на себя самого во Времени и вызвал во мне такое же уныние, как если бы я был, правда, еще не стариком, впавшим в детство, но одним из тех героев, о которых автор сообщает нам в конце романа равнодушным тоном, особенно жестоким: «Он все реже и реже покидает деревню. Он поселился здесь навсегда» и т. д.

Между тем отец, предупреждая критику, которой мы могли бы подвергнуть нашего гостя, сказал маме:

— Признаюсь, старик Норпуа вел себя немного «шаблонно», как вы это называете. Когда он сказал, что было бы «неудобно» задать вопрос графу Парижскому, я боялся, как бы вы не рассмеялись.

— Нет, вовсе нет, — отвечала мать, — мне очень нравится, что человек в таком положении и в таких летах сохранил в себе эту наивность, которая только доказывает внутреннюю порядочность и хорошее воспитание.

— Еще бы! Это не мешает ему быть умным и проницательным, я-то это знаю; в комиссии он совсем другой, чем здесь, — воскликнул отец, радуясь тому, что мама оценила г-на де Норпуа,

и стараясь уверить ее, что он еще лучше, чем она думает, ибо добродушие превозносит с таким же удовольствием, с каким злословие уничижает. — Как это он сказал… с высочайшими особами ничего нельзя знать…

— Ну да, именно так. Я заметила, это очень проницательно. Видно, что у него большой жизненный опыт.

— Удивительно, что он обедал у Сванов и что в общем там оказались порядочные люди, чиновники. Где это госпожа Сван выудила весь этот люд? Ты обратила внимание, как лукаво он это заметил: «Это дом, где бывают больше всего мужчины!»?

И оба они старались воспроизвести тон, которым была сказана эта фраза, как если бы дело шло о какой-нибудь интонации Брессана или Тирона в «Авантюристке» или в «Зяте господина Пуарье». Но больше всего удовольствия доставили его изречения Франсуазе, которая, еще и несколько лет спустя, не могла сдержаться, чтоб «не прыснуть», когда ей напоминали, что посол назвал ее «первоклассным поваром», — изречение, которое мать пошла сообщить ей, как военный министр передает после парада приветствия иностранного монарха. Впрочем, я раньше нее оказался

на кухне. Ибо с Франсуазы, миролюбивой, но жестокой, я взял обещание, что она не слишком будет мучить зайца, которого ей предстояло зарезать, и не получил еще известий об этой смерти; Франсуаза уверила меня, что проделала все как нельзя лучше и очень быстро: «В жизни не видала такого зверя; сдох и слова не сказал, — можно подумать, что немой». Будучи мало осведомлен о языке животных, я заметил, что заяц, может быть, не кричит, как цыпленок. «Посмотрели бы вы, — сказала мне Франсуаза, возмущенная моим невежеством, — как это зайцы не кричат; ничуть не хуже, чем цыплята. У них даже голос гораздо громче». Франсуаза приняла похвалы г-на де Норпуа с гордой простотой, как художник, с которым говорят об его искусстве; взгляд ее блеснул радостью и — хотя бы на одну минуту — умом. Моя мать посылала ее прежде в некоторые большие рестораны смотреть, как там стряпают. Слушая в тот вечер ее рассуждения о знаменитейших трактирах, я испытал то же удовольствие, какое раньше доставляло мне слышать, что иерархия достоинств драматических артистов не совпадает с иерархией их репутаций. «Посол, — сказала ей моя мать, — уверяет, что нигде не бывает такого суфле и такой холодной говядины». Франсуаза,

на которую, впрочем, звание посла не произвело впечатления, скромно согласилась, воздавая должное истине; о г-не де Норпуа она говорила с любезностью, обязательной по отношению к человеку, который принял ее за «повара»: «Он славный старик, вроде меня». Она очень старалась взглянуть на него, когда он пришел, но зная, что мама терпеть не может подглядываний из-за дверей или из окон, и опасаясь, как бы мама не узнала от прочей прислуги или от консьержей, что она подкарауливала (ибо Франсуазе только и мерещились «зависть» да «сплетни», игравшие в ее воображении ту же вечную и роковую роль, которую в воображении других играют происки иезуитов и евреев), она удовольствовалась тем, что посмотрела из окна кухни, чтобы не «ссориться с барыней», и по беглому впечатлению решила, что г-н де Норпуа — «вылитый господин Легран», благодаря его «проворству», — хотя между ними не было ничего общего. «Но в конце концов, — спросила ее мать, — чем вы объясняв-те, что никто так не умеет приготовить желе, как вы (когда захотите постараться)?» — «Уж не знаю, с чего это произошло», — ответила Франсуаза (не особенно отчетливо разграничивавшая глагол *произойти,* по крайней мере в некоторых его

значениях, от глагола *пойти).* Отчасти, впрочем, она говорила правду, и раскрыть тайну превосходства своих желе и своих кремов она сумела бы не лучше, чем какая-нибудь законодательница мод — тайну своих туалетов или знаменитая певица — тайну своего пения, да и не больше к этому стремилась. Их объяснения нам мало что говорят, и тем же отличались и рецепты нашей кухарки. «Они варят уж слишком кое-как, — ответила она, заговорив о больших ресторанах, — да и нельзя всё зараз. Ведь надо, чтоб говядина стала как губка, тогда она, как есть, вбирает весь сок. А все-таки было там одно кафе, в стряпне там понимали толк. Не то чтоб желе там было совсем как у меня, но готовили его как следует, а в суфле сливок было вдоволь». — «Может быть, Анри?» — спросил, присоединившись к нам, отец, очень одобрявший ресторан на площади Гайон, где он по определенным числам обедал с сослуживцами. — «Ах нет, — сказала Франсуаза с мягкостью, скрывавшей глубокое презрение, я — про маленький ресторан. У этого Анри очень хорошо, что и говорить, но это не ресторан, уж скорее… кухмистерская». — «Вебер?» — «Да нет, сударь, я же говорю — хороший ресторан. Вебер — это на улице Рояль, это не ресторан, это пивная. Не знаю,

как они там подают. У них и скатертей, кажется, нет, они так прямо и ставят на стол — жри как попало». — «Сиро?» Франсуаза улыбнулась: «Ну! какая там кухня? — там больше дамы, свет. — («Свет» означал для Франсуазы полусвет.) — Да что, молодежи без этого нельзя». Мы замечали, что при всей своей простоте Франсуаза была для знаменитых поваров коллегой более страшным, чем самая завистливая и самая пристрастная из актрис. Всё же мы почувствовали, что она правильно понимает свое искусство и уважает традиции, так как она прибавила: «Нет, я — про тот ресторан, где скажешь: вот здесь хороший стол. Это заведение и теперь еще довольно солидное. Хорошо работало. Ох, сколько су они там собирали! — (Бережливая Франсуаза вела счет на су, а не на луи, как считают моты.) — Барыня ведь знает, там направо, на больших бульварах, пройдя немного…» Ресторан, о котором она рассуждала с такой справедливостью, не без примеси гордости и добродушия, это было… Английское кафе.

Когда настало первое января, я сначала отправился вместе с мамой делать родственникам визиты, которые мама, чтобы не утомить меня, расположила не по точным степеням родства, а

скорее по кварталам, с помощью особого маршрута, начертанного моим отцом. Но едва войдя в гостиную довольно дальней родственницы, к которой мы заехали раньше на том основании, что ее квартира была недалеко от нашей, моя мать с испугом увидала, как входит с коробкой конфет лучший друг моего самого обидчивого дяди, — таким образом последний наверное узнал бы, что наш объезд мы начали не с него. Этот дядя, конечно, оскорбился бы; он счел бы вполне естественным, чтобы мы с площади Мадлен отправились к Зоологическому саду, у которого он жил, прежде чем ехать на улицу Сент-Огюстен, а оттуда — на улицу Эколь-де-Медсин.

Окончив визиты (бабушка разрешила нам не заезжать к ней, так как мы у нее обедали в этот день), я побежал на Елисейские Поля — снести нашей торговке, для передачи прислуге Сванов, приходившей к ней несколько раз в неделю за пряниками, письмо, которое в тот день, когда моя приятельница так огорчила меня, я решил послать ей в Новый год и в котором я говорил ей, что наша былая дружба кончается вместе со старым годом, что я забываю мои обиды и разочарования и что, начиная с первого января, мы завязываем новую дружбу, такую прочную,

что ничто не разрушит ее, такую чудесную, что, как я надеялся, Жильберта хоть из кокетливости должна будет постараться сохранить ее во всей ее красоте и вовремя предупредить меня, как и я обещал предупредить ее, если только появится малейшая опасность для этой дружбы. На обратном пути Франсуаза остановилась со мной на углу улицы Рояль у ларька, где выбрала для своих новогодних подарков фотографии Пия IX и Распайля и где сам я купил себе портрет Берма. Бесчисленные восторги, возбуждаемые артисткой, придавали какое-то жалкое выражение этому единственному лицу, служившему ответом на эти восторги, неизменному и непрочному, как одежда человека, которому не во что переодеться, — лицу, выставлявшему напоказ только морщинку на верхней губе, приподнятые брови и еще кое-какие физические особенности, всегда одинаковые и в общем находившиеся во власти какого-нибудь ожога или ушиба. Лицо это, впрочем, само по себе не показалось бы мне красивым, но, напоминая обо всех поцелуях, которые оно выдержало и которые этот кокетливо-нежный взгляд и обманчиво-невинная улыбка как будто притягивали из глубины карточки, оно тем самым вызывало во мне желание поцеловать

его. В самом деле, не один юноша должен был возбуждать в Берма те желания, в которых она признавалась под маской Федры и удовлетворить которые было ей так легко, хотя бы благодаря обаянию ее имени, делавшему ее еще более прекрасной и охранявшему ее молодость. Вечерело, я остановился перед колонкой с афишами, где объявлялось о спектакле с участием Берма 1-го января. Дул влажный и мягкий ветер. Мне была знакома эта погода, у меня явилось ощущение и предчувствие, что Новый год — день, не отличающийся от других, что это — не первый день нового мира, в который я мог бы, с нетронутой надеждой на удачу, вновь познакомиться с Жильбертой, как во дни Творения, словно бы прошлого еще не существовало, словно бы исчезли все те разочарования, которые она порой доставляла мне, со всеми уроками, которые на будущее можно было извлечь из них, — нового мира, в котором от старого не оставалось ничего… ничего, кроме одной вещи: моего желания, чтобы Жильберта полюбила меня. Я понял, что если мое сердце желает обновления окружающего мира, который его не удовлетворил, значит, мое сердце не стало иным, и я сказал себе, что нет оснований для того, чтобы иным стало сердце Жильберты;

я почувствовал, что эта новая дружба — та же самая, совершенно так же, как вовсе не бывает отделен рвом от других годов новый год, которому наше желание, не в силах ни определить, ни изменить его, дает без его ведома особое имя. И хоть я и посвящал этот год Жильберте и, как бы подчиняя религии слепые законы природы, старался отметить этот новый год печатью того особого представления, которое составил себе о нем, — все было напрасно; я чувствовал, что ему не известно, что его называют *Новым годом,* что этот день кончается сумерками, которые не новы для меня: в мягком ветре, который дул вокруг колонки с афишами, я осознал, я почувствовал являющуюся мне вновь вечную и обыденную материальную сущность, привычную сырость, полную неведения текучесть былых дней.

Я вернулся домой. Я прожил первое января, как старый человек, для которого этот день — иной, чем для молодого, не потому, что ему уже не делают подарков, но потому, что он уже не верит в Новый год. Подарки я получил, но не получил того единственного, который доставил бы мне удовольствие: записки от Жильберты. А все-таки я был молод, если смог послать ей записку, надеясь, что одинокие сны моей нежности, о которых

я рассказываю ей, пробудят в ней такие же сны. Тоска постаревшего человека выражается в том, что он даже и не думает писать таких писем, бесполезность которых изведана им.

Когда я лег, уличные шумы, которые в этот праздничный вечер длились позднее, не дали мне спать. Я думал о всех тех, кому эта ночь сулила наслаждения, о любовнике, о кучке гуляк, которые, должно быть, поехали вместе с Берма по окончании спектакля, объявленного на этот вечер. Я даже не в силах был, успокаивая волнение, которое в эту бессонную ночь рождала во мне эта мысль, сказать себе, что Берма, быть может, не думает о любви, ибо стихи, произносимые ею, давно ею изученные, каждую минуту напоминают ей, что любовь — прекрасна, да и она знает это так твердо, что любовные тревоги, известные всем — но исполненные новой страсти и неожиданной нежности — открываются в ее игре восхищенным зрителям, из которых каждый, однако, уже испытал их сам. Я снова зажег потушенную свечу, чтобы еще раз посмотреть на ее лицо. При мысли о том, что в эту минуту его, наверно, ласкают люди, которым я не в силах помешать доставить Берма и получить от нее взамен сверхчеловеческие и смутные наслажде-

ния, я испытал тревогу скорее мучительную, чем сладостную, тоску, обострившуюся еще более, когда раздался звук рога, который приходится слышать в ночь карнавала, а нередко и в другие праздники, и который, доносясь из винной лавки и лишенный поэзии, гораздо печальнее, чем «в лесу, в вечерний час». В эту минуту записка от Жильберты, пожалуй, оказалась бы не тем, что мне было нужно. Наши желания чередуются, и среди смут бытия редко случается, что счастье откликается на то самое желание, которое призывало его.

В хорошую погоду я продолжал ходить на Елисейские Поля, мимо домов, элегантных и розовых, тонувших в небе, легком и текучем, — это было время, когда в большой моде были выставки акварелистов. Я солгал бы, сказав, что дворцы Габриэля казались мне в то время прекраснее и даже древнее, чем соседние особняки. Более стильным да и более старинным находил я если не Дворец промышленности, то, по крайней мере, Дворец Трокадеро. Погруженная в тревожный сон, юность моя наполняла единой грезой весь квартал, где развертывалась эта греза, и мне ни разу не приходило в голову, что на улице Рояль может находиться здание XVIII века, так же как я

удивился бы, узнав, что Сен-Мартенские ворота и ворота Сен-Дени, мастерские произведения эпохи Людовика XIV, — не современники какого-нибудь здания из числа самых новых в этих грязных кварталах. Всего лишь раз был я не в силах не остановиться надолго перед одним из дворцов Габриэля; наступила уже ночь, и колонны его, утратив в лунном свете всякую материальность, казались вырезанными из картона и, напомнив мне декорацию из оперетты «Орфей в аду», впервые произвели на меня впечатление чего-то прекрасного.

Жильберта между тем все не приходила на Елисейские Поля. А ведь мне надо было бы увидеть ее, потому что я даже не помнил уже ее лица. Та настороженность, пугливость, требовательность, с которой мы глядим на любимого человека, нетерпеливое ожидание услышать то слово, которое даст нам или отнимет у нас надежду увидеться завтра, наше воображение, которое, до тех пор, пока это слово не произнесено, рисует нам, попеременно, если даже не одновременно, и радость и отчаяние, — все это в присутствии любимого существа держит нашу внимательность в слишком сильном трепете, чтобы мог отпечатлеться образ вполне отчетливый. Быть

может, также напряженность, владеющая всеми нашими чувствами зараз и пытающаяся одними лишь взглядами узнать все то, что лежит вне их кругозора, слишком снисходительна к бесчисленным формам, ко всем оттенкам, движениям живого человека, которые мы, если не любим его, обычно в силах запомнить. Любимый же оригинал, напротив, полон движения; снимки никогда не удаются. Я, право, уже больше не помнил черты лица Жильберты, каким оно было всегда, кроме тех божественных минут, когда она являла их для меня: я помнил только ее улыбку. И, не будучи в силах увидеть вновь это любимое лицо, как я ни старался его вспомнить, я сердился, встречая в своей памяти запечатлевшиеся с непреложной точностью ненужные и бросающиеся в глаза лица человека при карусели и торговки леденцами: так люди, потеряв любимое существо и никогда не видя его во сне, сокрушаются, постоянно встречая в своих снах столько несносных людей, с которыми более чем достаточно встречаются наяву. В своем бессилии представить себе предмет своего горя, они почти обвиняют себя в том, что не чувствуют горя. А я, не в силах вспомнить черты Жильберты, был недалек от мысли, что я забыл ее, что я ее больше

не люблю. Наконец она почти каждый день стала приходить играть, возбуждая во мне всё новые желания, ставя предо мною всё новые цели, делая из моей нежности каждый день новую нежность. Но одно обстоятельство еще раз и резко изменило форму, в которой ежедневно, в два часа, возникала проблема моей любви. Перехватил ли г-н Сван письмо, которое я написал его дочери, или Жильберта лишь много времени спустя решила рассказать мне, чтобы я был осторожнее, о положении дел, существовавшем уже с давних пор? Когда я стал говорить ей о том, в каком я восхищении от ее отца и ее матери, у нее появилось то неопределенное выражение, молчаливое и таинственное, которое бывало у нее, когда с ней разговаривали о том, что она собирается делать, о покупках и визитах; и вдруг она мне сказала: «Знаете, они вам не верят» — и, неуловимая, как русалка, — такая она и была — рассмеялась. Ее смех, часто не согласуясь с ее словами, казалось, подобно музыке, чертил в ином плане невидимые контуры. Г-н и г-жа Сван не требовали, чтобы Жильберта перестала играть со мной, но, как она думала, скорее предпочли бы, чтобы это вовсе не начиналось. Они неблагосклонно смотрели на наше знакомство, были невысокого мнения о

моей нравственности и полагали, что на их дочь я могу иметь только дурное влияние. Те не слишком щепетильные молодые люди, с которыми, по мнению Свана, у меня было сходство, должны были, как я представлял себе, ненавидеть родителей любимой девушки, льстить им в глаза, но высмеивать их вместе с нею, заставляя не слушаться их, и, завладев наконец их дочерью, запрещать ей даже видеться с ними. С каким жаром мое сердце противопоставляло этим чертам (никогда не совпадающим с теми, которые приписал бы себе величайший негодяй) чувства, одушевлявшие его по отношению к Свану, столь страстные, что если бы только он догадывался о них, то несомненно раскаялся бы в своем суждении обо мне, как в судебной ошибке. Всё, что я чувствовал к нему, решился я изложить в длинном письме, которое доверил Жильберте с просьбой передать ему. Она согласилась. Увы! значит, он увидел во мне обманщика еще большего, чем я думал; значит, в этих чувствах, которые я, как мне казалось, с такой правдивостью описал на шестнадцати страницах, он усомнился; письмо, которое я ему написал, такое же пылкое и такое же искреннее, как слова, сказанные г-ну де Норпуа, имело не больше успеха. Жильберта рассказала мне на

другой день, отойдя со мной в сторону за группу лавровых деревьев в маленькой аллее, где мы уселись на стулья, что, прочитав мое письмо, которое она возвращала мне, ее отец пожал плечами и сказал: «Всё это ничего не значит, это только доказывает, насколько я прав». Я, зная чистоту моих намерений, доброту моей души, был возмущен тем, что слова мои даже слегка не поколебали нелепого заблуждения Свана. Ведь это было заблуждение, тогда я в этом не сомневался. Я чувствовал, что настолько точно описал некоторые бесспорные особенности моих благородных чувств, что, если Сван сразу же не представил их себе по этому описанию, не пришел просить у меня прощения и не признал своей ошибки, он, значит, сам никогда не испытывал этих высоких чувств, вследствие чего был не способен понять их в другом человеке.

Однако, быть может, Свану просто было известно, что благородство часто является не чем иным, как другой стороной, которой оборачиваются наши эгоистические чувства, пока мы еще не дали им названия и не расклассифицировали их. В симпатии, которую я выражал ему, он, быть может, увидел простое следствие — и восторженное подтверждение — моей любви к

Жильберте, которой роковым образом и должны были руководствоваться мои поступки, а вовсе не моим уважением к нему, игравшим роль второстепенную. Я не мог разделять его предчувствий, потому что мне не удалось абстрагировать мою любовь от моей личности, обобщить ее и в виде эксперимента испытать на себе ее последствия; я был в отчаянии. Я должен был на минуту покинуть Жильберту, так как меня позвала Франсуаза. Мне пришлось сопровождать ее к павильончику, который обнесен был зеленой решеткой и довольно похож был на таможенные будки старого Парижа, изменившие теперь свое назначение, и в котором с недавних пор помещалось то, что в Англии называется *лавабо,* а во Франции, в результате ложной англомании, *ватер-клозетом.* От влажных и старых стен входа, где я остался стоять, ожидая Франсуазу, шел затхлый запах сырости, который, сразу же усмирив тревогу, вызванную во мне словами Свана, переданными Жильбертой, доставил мне наслаждение, — не похожее на другие, которые мы не в состоянии схватить, подчинить себе, преодолевая свое непостоянство, а, напротив, длительное наслаждение, подкреплявшее меня, восхитительное, мирное, полное неизменной правды, необъяснимое и

бесспорное. Я хотел бы, как прежде, во время моих прогулок в сторону Германта, попытаться понять прелесть этого впечатления, завладевшего мной, и застыть на месте, вопрошая этот дряхлый запах, звавший меня не насладиться удовольствием, которое он только усугублял, а проникнуть в реальную сущность, которую он не открыл мне. Но старая дама с набеленными щеками и в рыжем парике, арендовавшая это заведение, заговорила со мной. Франсуаза считала, что она — «совсем приличного происхождения». Ее дочь вышла замуж за молодого человека из числа тех, кого Франсуаза называла «благородными», следовательно, одного из тех, кто в ее глазах больше отличался от рабочего, чем в глазах Сен-Симона герцог — от человека, вышедшего из «подонков общества». Очевидно, арендаторша, прежде чем стала ею, подвергалась превратностям судьбы. Но Франсуаза уверяла, что она — маркиза и принадлежит к роду Сен-Ферреоль. Эта маркиза посоветовала мне не оставаться на воздухе и даже, открыв кабинку, сказала мне: «Не хотите ли зайти? Вот совсем чистенькая, для вас бесплатно». Может быть, она делала это так, как продавщицы от Гуаша, предлагавшие мне, когда мы заходили что-нибудь заказать,

одну из конфет, которые лежали под стеклянным колпачком на прилавке и которых мама, увы, не разрешала мне брать; а может быть, и менее невинно, как та старая цветочница, которая для мамы меняла цветы в жардиньерках и которая дарила мне розу, закатывая глаза. Во всяком случае, если «маркиза» чувствовала склонность к юношам, открывая им подземную дверь этих каменных кубов, где люди садятся на корточки, как сфинксы, то, вероятно, это великодушие не столько укрепляло в ней надежду совратить их, сколько доставляло удовольствие, которое нам доставляет наша бескорыстная щедрость к тем, кого мы любим, ибо я никогда не видел у нее иного посетителя, кроме старого садового сторожа.

Минуту спустя я расстался с маркизой, сопровождаемый Франсуазой, и покинул Франсуазу, чтобы вернуться к Жильберте. Я сразу увидел ее, она сидела на стуле за группой лавровых деревьев. Она сидела там, чтобы подруги не увидели ее: играли в прятки. Я сел рядом с нею. На ней была плоская шляпа без полей, довольно низко спускавшаяся на глаза и придававшая им тот задумчивый и плутоватый взгляд исподлобья, который я впервые заметил у нее в Комбре. Я спросил, не смогу ли я на словах объясниться с ее

отцом. Жильберта отвечала, что она предлагала ему это, но он счел это ненужным. «Нате, — прибавила она, — возьмите ваше письмо, надо идти к остальным, раз они меня не нашли».

Если бы Сван пришел даже раньше, чем я взял обратно это письмо, искренность которого не убедила его, безумца, каким он показался мне, — он увидел бы, пожалуй, что прав был он. Потому что, подойдя к Жильберте, которая, откинувшись на стуле, предлагала мне взять письмо, но не протягивала его, я почувствовал, что меня влечет ее тело, и сказал:

— Ну, не давайте его мне, посмотрим, кто из нас сильнее.

Она спрятала его себе за спину, я положил ей руки на затылок, приподнял косы, которые она продолжала носить — потому ли, что еще не вышла из детского возраста, потому ли, что молодящейся матери хотелось, чтобы дочь подольше казалась ребенком, — и мы, ухватившись друг за друга, стали бороться. Я старался притянуть ее к себе; она сопротивлялась; на ее щеках, раскрасневшихся от усилия, появились кружки румянца, похожие на вишни; она смеялась, как будто я ее щекотал; я зажал ее между коленями, как деревцо, на которое хотел бы взобраться; и посреди

гимнастики, которой я был занят, я расплескал, словно несколько капель пота, вызванных усилием, мое удовольствие, на котором не мог задержаться хотя бы настолько, чтобы изведать его прелесть, причем даже нисколько не усилилась одышка, вызванная мускульным напряжением и увлечением игры; и я уже схватил письмо. Тогда Жильберта ласково сказала мне:

— Знаете, если хотите, мы можем еще немного побороться. Может быть, она смутно почувствовала, что цель моей игры была

не та, которая предполагалась, но не смогла заметить, что я ее достиг. Я же, опасавшийся, как бы она этого не заметила (а сдержанное движение, которое она сделала миг спустя, подавшись назад, словно оскорбленная в своей стыдливости, заставило меня подумать, что я не был не прав, опасаясь этого), я согласился побороться еще — из страха, что она может подумать, будто я и не ставил себе другой цели, чем та, по достижении которой мне только хотелось бы спокойно сидеть рядом с нею.

На обратном пути мне стал ясен, внезапно вспомнился скрытый от меня до сих пор образ, к которому приближал меня, не позволяя ни разглядеть, ни узнать его, запах сырости, почти

напоминавший запах сажи в павильоне за решеткой. Этот образ — комнатка моего дяди Адольфа в Комбре, в которой действительно слышался тот же запах сырости. Но я не смог понять и решил когда-нибудь потом определить причину, почему столь незначительное воспоминание наполнило меня таким блаженством. А пока что мне казалось, что я в самом деле заслуживаю презрения г-на де Норпуа: до сих пор я всем писателям предпочитал того, чьи произведения он называл всего лишь *игрой на флейте,* и не какая-нибудь великая идея, а запах плесени возбуждал во мне настоящий восторг.

С некоторых пор во многих семьях упоминание о Елисейских полях в устах какого-нибудь посетителя воспринималось матерями с той суровостью, с какой они относятся к врачу, который, по их словам, слишком часто ставит неправильные диагнозы, чтобы еще можно было доверять ему: уверяли, что этот сад вреден для детей, что можно указать не один случай горлового заболевания, кори и множество случаев лихорадки, виною которых был этот сад. Не решаясь открыто подвергать сомнению заботливость мамы, которая по-прежнему посылала меня туда, кое-кто из ее приятельниц оплакивал, по крайней мере, ее

ослепление.

Несмотря на общераспространенное мнение, неврастеники всего менее «прислушиваются к себе»: они различают в себе столько симптомов, которые, как это потом становится им ясно, вызывали в них напрасную тревогу, что в конце концов ни на один из них уже не обращают внимания. Их нервная система уже слишком часто взывала к ним: «Помогите!» — словно дело шло о серьезной болезни, между тем как всего лишь должен был пойти снег или предполагалась перемена квартиры, и они в силу привычки обращают на эти предупреждения не больше внимания, чем солдат, который в боевом пылу настолько не замечает их, что, даже умирая, бывает в силах еще несколько дней вести жизнь здорового человека. Однажды утром, чувствуя в себе весь комплекс этих обычных недомоганий, о круговращении которых, неизменном и незримом, я думал так же мало, как о своем кровообращении, я бодро поспешил в столовую, где родители уже сидели за едой, — и, как обычно, внушив себе, что чувствовать холод может вовсе не значить, что надо согреться, а значит, например, что тебя бранили, и что если не чувствуешь голода, это может быть знак того, что пойдет дождь, а вовсе

не того, что надо воздержаться от еды, — сел за стол, — и вдруг, готовясь проглотить первый кусок аппетитной котлетки, ощутил тошноту, головокружение — лихорадочный ответ начинавшейся болезни, симптомы которой были скрыты и задержаны ледяной корой моего равнодушия, но которая упорно отказывалась от пищи, не в силах воспринять ее. Но в ту же секунду мысль, что мне не позволят выйти из дому, если моя болезнь будет замечена, — словно инстинкт самосохранения, руководящий раненым, — дала мне силу дотащиться до моей комнаты, где я увидел, что у меня температура 40 градусов, и приготовиться идти на Елисейские поля. Сквозь вялую и проницаемую оболочку тела мои улыбающиеся мысли предвкушали удовольствие от игры с Жильбертой, требовали его, и час спустя, еле держась на ногах, но счастливый и вблизи Жильберты, я еще был в силах наслаждаться им.

Франсуаза по возвращении домой объявила, что мне «стало худо», что меня, наверно, «продуло», и доктор, вызванный тотчас, объявил, что «предпочитает» болезненность и «вирулентность» лихорадочного состояния, сопровождавшего мое воспаление легких, так как это только «вспышка» по сравнению с более

«коварными» и «скрытыми» формами болезни. Я уже давно подвергался приступам удушья, и наш врач, несмотря на недовольство моей бабушки, которой уже казалось, что я умру алкоголиком, посоветовал мне, кроме приемов кофеина, прописанного как средство облегчить дыхание, пить пиво, шампанское или коньяк, как только я почувствую приближение припадка.

Припадок, по его словам, должен был разрешиться в «эйфории», вызванной алкоголем. Чтобы бабушка позволила дать мне вина, мне часто приходилось не скрывать, а выставлять напоказ состояние удушья. Впрочем, едва я начинал чувствовать его приближение, никогда не зная, какие размеры оно примет, я уже беспокоился, так как думал об озабоченности бабушки, пугавшей меня гораздо больше, чем мое страдание. Но в то же время мое тело — потому ли, что оно было слишком слабо, чтобы хранить в себе тайну страдания, потому ли, что оно страшилось, как бы окружающие, не догадываясь о неминуемом недуге, не потребовали от него неосуществимого или опасного для него усилия, — заставляло меня предупреждать бабушку о моем недомогании с точностью, приобретавшей характер почти физиологического процесса. Как только появлялся

неприятный симптом, который я еще не успевал различить, мое тело испытывало страшную тревогу, пока я не сообщал о нем бабушке. Если бабушка притворялась, что не обращает никакого внимания, оно заставляло меня проявлять настойчивость. Иногда я заходил слишком далеко, и на любимом лице, которое уже не владело собой так, как прежде, появлялось выражение жалости, болезненная судорога. Тогда мое сердце терзалось видом ее горя, и, как будто мои поцелуи должны были утешить ее, как будто моя нежность могла доставить бабушке такую же радость, как мое хорошее самочувствие, я бросался в ее объятия. А так как, с другой стороны, мои сомнения затихали в уверенности, что она знает о моем недомогании, то и мое тело не мешало мне успокоить ее. Я уверял ее, что в этом недомогании нет ничего мучительного, что меня вовсе не следует жалеть, что она может не сомневаться, что я счастлив; мое тело желало, чтоб ему уделили ровно столько жалости, сколько оно заслуживает, и когда бабушке становилось известно, что в правом боку у меня боль, она ничего не имела против того, чтобы я заявил, что эта боль — не болезнь и не является для меня препятствием к счастью, ибо мое тело обходилось без философии,

философия была не по его части. Во время моего выздоровления у меня почти каждый день случались эти припадки удушья. Однажды вечером, оставив меня в довольно хорошем состоянии, бабушка уже очень поздно вошла в мою комнату и, заметив, что мне не хватает дыхания, изменившись в лице, воскликнула: «Господи, как ты страдаешь!» Она тотчас же меня покинула, я услышал, как захлопнулись ворота, а немного погодя она вернулась с коньяком, за которым ей пришлось сходить, потому что его не оказалось дома. Скоро я почувствовал себя счастливым. Бабушка немного раскраснелась и казалась смущенной, а в глазах у нее выражались усталость и уныние.

— Я лучше тебя оставлю, отдохни, раз тебе лучше, — сказала она и поспешила уйти. Все же я поцеловал ее и, почувствовав на ее холодных щеках что-то мокрое, не был уверен, что то была сырость ночного воздуха, с которого она только что пришла. На другой день она заглянула в мою комнату только вечером, потому что, как мне сказали, ей надо было куда-то уйти. Я нашел, что это большое равнодушие ко мне, и мне стоило усилий не сделать ей упрека.

Так как припадки удушья продолжались, а

воспаление легких, которым можно было их объяснить, уже давно прошло, мои родители пригласили на консультацию профессора Котара. Врачу, которого приглашают в подобных случаях, недостаточно быть образованным. Если он сталкивается с явлениями, которые могут быть симптомами трех или четырех разных болезней, в конечном счете его чутье, его проницательность решает, с которой из них, несмотря на более или менее одинаковые признаки, ему приходится иметь дело. Этот таинственный дар не означает превосходства в других сферах умственной жизни, и пошлейшее существо, любящее самую скверную живопись, самую скверную музыку и лишенное всякой пытливости, вполне может обладать им. В данном случае то, что поддавалось эмпирическому наблюдению, могло быть следствием как нервных спазм, начинающегося туберкулеза, астмы, так и удушья на почве отравления при недостаточной работе почек, хронического бронхита или сложного состояния, которое могло обусловливаться несколькими из числа этих факторов. Нервные спазмы требовали, чтобы на них не обращалось внимания; при туберкулезе требовался бы большой уход и усиленное питание, которое было бы вредно

при артритическом состоянии вроде астмы и могло бы стать опасным при удушьях на почве отравления, требующих режима, который, в свою очередь, был бы губителен для туберкулезного больного. Но Котар недолго пребывал в нерешительности, и его предписания были категоричны. «Сильные и быстро действующие слабительные, в течение нескольких дней молоко, ничего, кроме молока. Ни мяса, ни спиртных». Мать прошептала, что меня все же очень нужно подкрепить, что я и так уже достаточно нервен, что это лошадиное средство и этот режим окончательно убьют меня. По глазам Котара, выражавшим такое беспокойство, как будто он боялся опоздать на поезд, я увидел, что он не уверен, не поддался ли он своей природной мягкости. Он старался припомнить, не забыл ли он надеть маску неприступности, — вроде того как ищут зеркала, чтобы посмотреть, завязан ли галстук. Сомневаясь в себе и чтобы на всякий случай наверстать упущенное, он грубо ответил: «Я не привык повторять свои предписания. Дайте перо. Главное же — на молочную диету. Потом, когда мы справимся с припадками и бессонницей, я вам позволю некоторые супы, потом пюре, но соблюдать диэту, диэту. Понимаете ли, диэту, — эту, — эту, а не ту. — (Его

ученики хорошо знали этот каламбур, который он повторял в больнице всякий раз, когда пациенту, страдавшему болезнью сердца или печени, прописывал молочную диету.) — Затем вы постепенно вернетесь к обычному образу жизни. Но всякий раз, как будет возобновляться кашель и удушье, — слабительное, промывание кишок, постель, молочная диета». Он чрезвычайно холодно выслушал последние возражения моей матери, не ответил на них и ушел, не соблаговолив объяснить, чем вызван этот режим; поэтому мои родные, сочтя, что он не имеет отношения к моему состоянию и без надобности ослабит меня, не дали мне попробовать его. Конечно, они старались утаить от профессора свое непослушание и, чтобы вернее достигнуть цели, избегали бывать во всех домах, где могли с ним встретиться. Но когда мое положение ухудшилось, они решили в точности исполнить предписания Котара; через три дня я больше не задыхался, не кашлял и дышал свободно. Тогда мы поняли, что Котар, хоть и нашел у меня одышку, как он сам рассказывал потом, а главное, счел меня «сумасбродом», все-таки распознал, что в данную минуту в моем организме преобладающую роль играет отравление и что, прочистив мне печень и промыв почки, он

успокоит мои бронхи, вернет мне дыхание, сон, силы. И мы поняли, что этот дурак — великий клиницист. Я наконец мог встать. Но говорили, что мне больше нельзя ходить на Елисейские Поля. Говорили, что это из-за вредного воздуха; я же был уверен, что этим предлогом пользуются для того, чтобы я не мог больше видеться с м-ль Сван, и все время заставлял себя повторять имя Жильберты, как пленные стараются говорить на родном языке, чтобы не забыть родины, которой они не увидят. Иногда моя мать гладила меня по голове и говорила: «Так, значит, мальчики больше не рассказывают своей маме, что их огорчает?»

Франсуаза каждый день подходила ко мне и говорила: «У барина такой вид! Вы не смотрелись в зеркало? настоящий покойник!» Правда, если бы у меня был даже простой насморк, Франсуаза говорила бы тем же траурным тоном. Ее причитания скорей зависели от ее «сословия», чем были вызваны моим состоянием. Я не разбирался тогда в том, что выражает пессимизм Франсуазы, — скорбь или же удовлетворение. Пока что я решил, что он имеет характер социальный и профессиональный.

Однажды, в час, когда приносят почту, мать

положила мне на постель письмо. Я небрежно распечатал его, потому что на нем не могло быть единственной подписи, способной меня осчастливить, — подписи Жильберты, с которой мы не поддерживали связи, если не считать встреч на Елисейских Полях. Однако внизу листка с серебряной печатью, изображающей рыцаря в шлеме, с девизом, описывающим полукруг у его ног: «Per viam rectam»,[3] — в конце письма, написанного крупным почерком и где каждая фраза казалась подчеркнутой только потому, что поперечная черта буквы *t* приходилась не посредине ее, а над ней, подчеркивая соответствующее слово верхней строки, — я увидел именно подпись Жильберты. Но так как я считал ее невозможной в письме, адресованном на мое имя, то вид этой подписи, не сопровождаясь уверенностью, меня не обрадовал. В течение секунды он возбуждал во мне острое чувство нереальности всего окружающего. Эта невероятная подпись с головокружительной быстротой играла в уголки с моей постелью, камином, стенами. Всё завертелось у меня в глазах, словно при падении с лошади, и я спросил себя, не существует ли другой жизни,

[3] Примечания: 3
Прямым путем *(лат.).*

которая совершенно не похожа на ту, что знакома мне, противоположна ей, но является жизнью истинной; внезапно мне открывшись, она вызывала во мне ту нерешительность, выражение которой ваятели, изображающие Страшный Суд, придают мертвецам, пробудившимся у порога иного мира.

//«Дорогой друг, — гласило письмо, — я узнала, что Вы были очень больны и больше не ходите на Елисейские Поля. Я тоже больше не хожу туда, потому что там очень много больных. Но мои друзья приходят ко мне днем по понедельникам и пятницам пить чай. Мама поручила мне передать, что Вы доставите нам очень большое удовольствие, если тоже будете приходить к нам, когда поправитесь, и мы с Вами сможем так же хорошо разговаривать у нас дома, как и на Елисейских Полях. Прощайте, дорогой друг, надеюсь, что Ваши родители позволят Вам очень часто приходить к нам пить чай, и шлю Вам мой привет.

Жильберта».//

Пока я читал эти слова, моя нервная система с чрезвычайной быстротой восприняла известие о том, что мне на долю выпало большое счастье. Но моей душе, то есть мне самому, главному заин-

тересованному лицу, это еще не было известно. Счастье, счастье из рук Жильберты, — это было нечто такое, о чем я непрестанно думал, нечто, существующее только в мыслях, то, что Леонардо, говоря о живописи, называл *cosa mentale*.[4] А листок бумаги, покрытый буквами, мысль усваивает не сразу. Но как только я кончил читать письмо, я стал думать о нем, оно стало предметом моих мечтаний, оно тоже сделалось *cosa mentale,* и оно уже было мне так дорого, что каждые пять минут я перечитывал его и целовал его. Тогда я познал мое счастье.

Жизнь усеяна чудесами, на которые всегда могут надеяться влюбленные. Пожалуй, это чудо было искусственно вызвано моей матерью, которая, видя, что с некоторых пор я потерял всякий интерес к жизни, могла попросить передать Жильберте, чтобы она мне написала, подобно тому как в пору моих первых морских купаний она, стараясь приохотить меня нырять, чего я терпеть не мог, так как при этом у меня прерывалось дыхание, тайком передавала моему купальщику чудесные коробки из раковин и коралловые ветки, которые, как я воображал, я сам находил

---

[4] Примечания: 4
Нечто умозрительное, существующее только в воображении *(лат.).*

на дне. Впрочем, что касается всех событий, которые в нашей жизни, полной противоречивых положений, связаны с любовью, то лучше всего и не пытаться их понимать, ибо в той мере, в какой они являются и непреложными, и неожиданными, они, по-видимому, управляются законами скорее магическими, нежели рациональными. Когда какой-нибудь сверхмиллионер, не лишенный притом внешней привлекательности, получает отставку от женщины бедной и неказистой, с которой он жил, и, в своем отчаянии, призывая на помощь все силы золота и пуская в ход всевозможные средства, терпит неудачу, то лучше, видя непреклонное упорство его любовницы, предположить, что судьба хочет сразить его и заставить умереть от болезни сердца, чем искать логического объяснения. Препятствия, бороться с которыми приходится любовникам и которые напрасно пытается разгадать их воображение, взбудораженное страданием, часто сводятся к каким-либо странностям в природе женщины, которую они не в силах вернуть себе, к ее глупости, влиянию над ней людей, не известных любовнику, и внушенным ими опасениям, характеру тех удовольствий, которых она в данное время требует от жизни, удовольствий,

которых ни любовник, ни его средства не в силах ей предоставить. Во всяком случае, любовник находится в невыгодном положении, когда ему приходится познавать сущность препятствий, которые скрывает от него женская хитрость, а его собственный рассудок, сбитый с толку любовью, мешает ему правильно их оценить. Они напоминают те опухоли, которые врачу удается устранить, но происхождение которых ему остается не известно. Подобно им, эти препятствия остаются загадочными, но они временны. Только обычно они существуют дольше, чем любовь. А так как любовь — страсть не бескорыстная, то любовник, переставший любить, уже не пытается узнать, почему женщина, которую он любил, бедная и ветреная, в течение нескольких лет упорно отказывалась оставаться у него на содержании.

Однако тайна, часто скрывающая от взора причину катастроф, когда дело идет о любви, столь же часто окружает неожиданность счастливого исхода (вроде того, который возвещало мне письмо Жильберты), — счастливого или по крайней мере кажущегося счастливым, ибо в действительности счастливого исхода не бывает, когда дело идет о чувстве, не знающем такого удовлетворения, которое не сводилось бы лишь к

перемещению страдания. Иногда, впрочем, дается передышка, и некоторое время мы поддаемся иллюзии выздоровления.

Что же касается этого письма, заканчивавшегося подписью (в которой Франсуаза не соглашалась признать имя Жильберты, потому что первая буква, вычурная и опирающаяся на *i* без точки, походила на *A*, между тем как последний слог был бесконечно растянут волнистым росчерком), то если поискать рационального объяснения крутого поворота, им засвидетельствованного и меня так обрадовавшего, придется, пожалуй, предположить, что я был отчасти обязан им случаю, который, как мне казалось, наоборот, должен был навсегда уронить меня в глазах Сванов. Незадолго до этого меня зашел навестить Блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Котар, которого снова начали приглашать, с тех пор как я стал следовать его режиму. Так как консультация кончилась и Котар оставался лишь в качестве гостя, потому что родители пригласили его обедать, Блоку разрешено было войти. Когда Блок, присоединившись к общему разговору, сказал, что г-жа Сван очень любит меня, по словам одного лица, с которым он обедал накануне и которое было близко знакомо с г-жой Сван, мне хотелось

ответить ему, что он, наверно, ошибается, и — с той же щепетильностью, которая заставила меня объявить это г-ну де Норпуа, из боязни, как бы г-жа Сван не приняла меня за лгуна, — объявить, что я не знаю ее и никогда с нею не разговаривал. Но у меня не хватило смелости поправить ошибку Блока, потому что, как я понял, она была сознательной, и если он придумал нечто такое, чего г-жа Сван не могла сказать, то сделал это для того, чтобы сообщить факт, который казался ему лестным и был неправдой, — что он обедал с одной приятельницей этой дамы. Но если г-н де Норпуа, узнав, что я не знаком и очень хотел бы познакомиться с г-жой Сван, и не подумал сказать ей обо мне, то лечивший ее Котар, выведя из слов Блока, что она хорошо знакома со мной и ценит меня, решил, что если при встрече с нею он скажет, что я — прелестный юноша и что он в дружбе со мною, то этим он не принесет мне никакой пользы, но покажет себя в лестном свете, — два соображения, побудившие его замолвить обо мне словечко Одетте, как только ему представился случай.

Тогда я узнал эти комнаты, откуда проникал даже на лестницу запах духов, употребляемых г-жой Сван, но где еще сильнее чувствовалось

благоухание, источаемое особой мучительной прелестью жизни Жильберты. Неумолимый консьерж, превратившийся в благосклонную Эвмениду, теперь всякий раз, как я спрашивал его, могу ли я подняться к Сванам, благосклонной рукой приподымал свою фуражку, указывая этим, что он внемлет моей мольбе. Окна, отделявшие меня от сокровищ, которые не были мне предназначены, бросавшие на улицу блестящий, далекий и небрежный взгляд, казавшийся мне взглядом самих Сванов, — теперь мне самому, когда я в теплое время года проводил всю вторую половину дня в комнате Жильберты, случалось открывать их, чтобы освежить воздух, и даже, если в тот день ее мать принимала визиты, вместе с Жильбертой высовываться из них, чтобы посмотреть на гостей, которые, выходя из экипажа, часто подымали голову, махали рукой, приветствовали меня, думая, что я, верно, племянник хозяйки дома. Косы Жильберты касались в эти минуты моей щеки. Тонкие злаки этих кос казались мне чем-то и естественным и в то же время неестественным, а их крепкое искусное сплетение — произведением, не знающим равных себе, сотканным из трав райских полян. Каким небесным гербарием окружил бы я даже малейшую частицу их! Но,

не надеясь получить ни одной реальной пряди из этих кос, — если б я мог иметь хоть их фотографию, неизмеримо более драгоценную, чем фотография цветочков, нарисованных да Винчи! Чтобы достать эту фотографию, я унижался перед друзьями Сванов и даже перед фотографами, но не добился желаемого и только навсегда связал себя с очень скучными людьми.

Родители Жильберты, которые так долго не позволяли мне видеть ее, теперь — когда я входил в темную переднюю, где вечно витала возможность встретиться с ними, более грозная и более вожделенная, чем некогда в Версале явление короля, и где обычно, натолкнувшись сперва на огромную вешалку, простиравшую семь ветвей, подобно библейскому семисвечнику, я рассыпался в приветствиях перед лакеем в длинной серой ливрее, который сидел на деревянном ларе и которого в темноте я принимал за г-жу Сван, — родители Жильберты, если кто-нибудь из них проходил здесь в момент моего прихода, отнюдь не казались рассерженными, а с улыбкой пожимали мне руку и говорили: «Как вы поживаете? — (Причем оба они произносили эту фразу на особый лад, не сливая гласного с согласным, — произношение, которому, вернувшись домой, я,

разумеется, считал неизменным и сладостным долгом подражать.) — Жильберта знает, что вы пришли? Тогда я вас оставляю».

Более того, даже чай, которым Жильберта угощала своих приятельниц и который так долго казался мне самой непреодолимой из всех преград, громоздившихся между нею и мной, становился теперь поводом для встреч, о которых она сообщала мне запиской, написанной каждый раз (ибо наше знакомство было еще довольно недавнее) на разной почтовой бумаге. Один раз на ней был изображен голубой выпуклый пудель, возвышавшийся над английской юмористической надписью, которую замыкал знак восклицания; другой раз — якорь или вензель *ЖС*, вытянутый в бесконечный прямоугольник, в длину всего листка, или же имя «Жильберта», иногда написанное наискось в углу золотыми буквами, которые воспроизводили подпись моей приятельницы и переходили в росчерк и над которыми открывался черный зонтик, иногда же оно замыкалось в монограмму в виде турецкого колокольчика, заключавшего в себе в форме прописных букв все элементы этого имени, однако так, что ни одной из них нельзя было различить. В конце концов, так как выбор почтовой бумаги,

имевшейся у Жильберты, как бы многочисленны ни были ее сорта, все же не был безграничным, то по прошествии нескольких недель я снова видел листок бумаги, украшенный, как и в первый раз, что она мне писала, темно-серебряным медальоном с девизом «Per viam rectam» и рыцарем в шлеме. И каждый раз одному из этих сортов бумаги отдавалось предпочтение перед другим — в силу некоего обряда, казалось мне тогда, но вернее, потому, что, как я думаю теперь, она старалась вспомнить, на какой бумаге писала прошлые разы, чтобы один и тот же корреспондент, по крайней мере такой, ради которого, по ее мнению, стоило постараться, мог лишь через максимальный промежуток времени получить письмо, писанное на уже знакомой бумаге. Так как кое-кому из приятельниц Жильберты, которых она приглашала на чай и у которых уроки бывали в разные часы, уже надо было уходить в то время, когда другие только приходили, то я еще на лестнице слышал рокот голосов, доносившийся из передней и заставлявший меня, еще задолго до того, как я достигал площадки, внезапно порывать все связи с прежней жизнью и в тревожном ожидании величественной церемонии, при которой я должен был присутствовать,

забывать даже, что, входя в теплое помещение, надо снять шейный платок и посмотреть на часы, чтобы не опоздать домой. Впрочем, эта лестница, вся деревянная, как в то время это было принято в некоторых доходных домах, в стиле Генриха II, который так долго являлся идеалом Одетты и к которому она вскоре должна была охладеть, и снабженная дощечкой, которой у нас в доме не было никакого соответствия: «Воспрещается пользоваться лифтом для спуска», казалась мне чем-то столь волшебным, что я сказал моим родным, что эта лестница очень старинная и что г-н Сван привез ее из далекого путешествия. Ее волшебство мне было настолько дорого, что я не колеблясь сообщил бы им это, даже если бы точно знал, что это неправда, потому что только лифт был в состоянии внушить им такое же уважение к лестнице Сванов, какое чувствовал я. Так в присутствии невежды, который не может понять, в чем выражается гений великого врача, считают более уместным не признаваться в том, что он не умеет лечить насморк. Но так как у меня не было никакой наблюдательности, так как вообще я не знал ни названий, ни свойств предметов, которые находились у меня перед глазами, и только понимал, что, попадая в близость Сванов,

они должны быть необыкновенными, то я не был уверен, что, рассказывая моим родителям о художественных достоинствах и чужеземном происхождении этой лестницы, я говорю неправду. Я не был уверен в этом; но, должно быть, это казалось мне вероятным, так как я почувствовал, что густо краснею, когда отец прервал меня и сказал: «Я знаю эти дома; я видел один из них, они все одинаковые; Сван просто занимает несколько этажей, их строил Берлье». Он прибавил, что собирался нанять квартиру в одном из них, но отказался от этой мысли, так как нашел, что они неудобны и что вход недостаточно светлый; он сказал это; но я инстинктивно почувствовал, что мой ум должен принести необходимые жертвы обаянию Сванов и моему счастью, и усилием собственной воли, несмотря на всё то, что я услышал, я отогнал от себя, словно верующий, которого не соблазняет «Жизнь Иисуса» Ренана, еретическую мысль, будто квартира Сванов — обыкновенная квартира, в которой могли бы жить и мы.

Между тем в эти приемные дни Жильберты я, медленно поднимаясь по лестнице, забыв обо всем, не думая ни о чем, превратившись в игрушку самых низких рефлексов, достигал тех пределов, где уже слышались духи г-жи Сван. Я

уже мысленно видел величественный шоколадный торт, окруженный тарелками с птифур и серыми салфеточками с узором, требовавшимися этикетом и характерными для Сванов. Но казалось, что эта неизменная и строго размеренная картина, как у Канта мир необходимости, зависит от свободного акта верховной воли. Ибо, когда мы все были в сборе в маленькой гостиной Жильберты, она, вдруг посмотрев на часы, говорила: «Знаете что, мой завтрак — это было уже давно, а обедаю я только в восемь, мне очень хочется съесть что-нибудь. Как вы думаете?»

И она вела нас в столовую, сумрачную, точно внутренность азиатского храма на картине Рембрандта, где архитектурный торт, столь же добродушный и приветливый, сколь и внушительный, казалось, восседал изо дня в день во что бы то ни стало, ожидая, что Жильберте придет в голову снести его шоколадные зубцы и разрушить его стены, коричневые и крутые, обожженные в печи, словно бастионы дворца Дария. Более того, приступая к разрушению ниневийского торта, Жильберта считалась не только со своим голодом — она справлялась также, голоден ли я, и извлекала для меня из развалин здания целую стену, блестящую и усаженную красными ягода-

ми в восточном вкусе. Она даже спрашивала, в котором часу обедают мои родители, как будто я еще помнил это, как будто волнение, владевшее мной, не убило в моей опустошенной памяти и парализованном желудке чувство голода или отвращения к пище, представление об обеде и образ семьи. К несчастью, этот паралич был только временный. Ведь должен был наступить момент, когда придется переваривать пирожные, которые я ел, сам того не замечая. Но время это еще было далеко. А пока что Жильберта приготовляла «мой чай». Пил я его бесконечно много, между тем одна чашка лишала меня сна на целые сутки. И моя мать обычно говорила: «Как это неприятно, мальчик всякий раз возвращается больной от Сванов». Но знал ли я, сидя у Сванов, что то, что я пью, есть чай? Даже если б я и знал это, все же я пил бы его, ибо, если и предположить, что ко мне на один миг вернулось бы представление о настоящем, оно могло и не вернуть мне память о прошлом и предвидение будущего. Мое воображение не простиралось до того отдаленного момента, когда я ощутил бы желание лечь в постель и потребность в сне.

Подруги Жильберты не все были охвачены этим восторженным состоянием, при котором

решение невозможно. Некоторые отказывались от чая! Тогда Жильберта произносила фразу, очень распространенную в то время: «Право, мой чай не имеет успеха!» И чтобы еще больше сгладить впечатление торжественности, нарушала порядок стульев вокруг стола: «Мы сидим как на свадьбе, боже мой, какая эта прислуга глупая».

Она грызла что-нибудь, сидя боком на табурете в виде икса, поставленном наискось. Можно было подумать, что все эти пирожные находятся в ее распоряжении без ведома ее матери, ибо когда г-жа Сван, приемный день которой обычно совпадал с чаем у Жильберты, проводив какого-нибудь гостя, вбегала минуту спустя, иногда в синем бархатном, но чаще в черном атласном платье с белыми кружевами, она удивленно говорила:

— Ах, это, кажется, вкусно, то, что вы едите. Мне даже захотелось есть, глядя, как вы кушаете кекс.

— Ну, так мы вас приглашаем, мама, — отвечала Жильберта.

— Да нет, сокровище мое, что бы сказали мои гости? У меня еще г-жа Тронбер, г-жа Котар и г-жа Бонтан; ты знаешь, что эта милая г-жа Бонтан не делает особенно коротких визитов, а она только что пришла. Что скажут все эти милые люди,

видя, что я к ним не возвращаюсь; вот если больше никто не явится, я, когда они уйдут, вернусь поболтать с вами, что для меня гораздо приятнее. Я думаю, я заслуживаю того, чтобы посидеть спокойно: у меня было сорок пять визитов, и из этих сорока пяти человек сорок два говорили о картине Жерома! А вы приходите как-нибудь на днях, — обращалась она ко мне, — пить чай вместе с Жильбертой; она вам приготовит такой, какой вы любите, какой вы пьете в вашем маленьком «studio»,[5] — прибавляла она, уже убегая к своим гостям, таким тоном, как будто это было нечто столь же знакомое мне, как мои привычки (например, обыкновение пить чай, если б я вообще пил его; что же касается «studio», то я не знал, было ли это у меня или не было), которые я перенимал в этом таинственном мире. «Когда вы придете? Завтра? Для вас будут тосты — не хуже, чем у Коломбена. Нет? Вы — гадкий», — говорила она, ибо с тех пор, как и у нее начал создаваться салон, она усвоила манеры г-жи Вердюрен, ее жеманно-деспотический тон. Так как и тосты и Коломбен были мне в равной мере не известны, то последнее обещание не могло бы усилить со-

---

[5] Примечания: 5
кабинете *(англ.).*

блазна. Более странным покажется — ведь все так говорят, а теперь, быть может, даже и в Комбре, — что я в первую минуту не понял, о ком говорит г-жа Сван, когда она стала расхваливать нашу старую «nurse».[6] Я не знал по-английски, однако скоро сообразил, что это слово относится к Франсуазе. Как я боялся на Елисейских Полях, что она может произвести неблагоприятное впечатление! — и вдруг я узнал от г-жи Сван, что рассказы Жильберты о моей «nurse» возбудили в ней и ее муже симпатию ко мне. «Чувствуется, что она такая преданная, такая приличная». (Я тотчас же совершенно переменил мнение о Франсуазе. После этого мне уж не казалось столь необходимым иметь гувернантку в макинтоше и с султаном на шляпе.) Наконец, из нескольких слов, сказанных г-жой Сван о г-же Блатен, доброжелательность которой она признавала, опасаясь, однако, ее визитов, я понял, что личное знакомство с этой дамой не было бы так ценно для меня, как я думал, и нисколько не улучшило бы моего положения у Сванов. Если я уже и начал исследовать, благоговейно и радостно трепеща, эту волшебную страну, доступ в которую, доселе запрещенный

---

[6] Примечания: 6
няню *(англ.).*

мне, открылся совершенно неожиданно, то всего лишь на положении друга Жильберты. Царство, в котором меня принимали, само было частью царства еще более таинственного, где Сван и его жена жили своей сверхъестественной жизнью и куда они уходили, пожав мне руку, если им случалось одновременно со мной, но в обратном направлении, проходить по передней. Но вскоре я проник и в самую глубь святилища. Жильберты, например, не оказывалось, а г-н или г-жа Сван были дома. Они справлялись, кто позвонил, и, узнав, что это я, просили меня зайти к ним на минутку, выражая желание, чтобы я в том или ином направлении, ради той или иной цели, воспользовался моим влиянием на их дочь. Мне вспоминалось то письмо, такое исчерпывающее, такое убедительное, которое я недавно написал Свану и которое он даже не удостоил ответом. Я изумлялся бессилию разума, логических доводов и сердца, неспособных и в малой степени переубедить, разрешить хоть одну из тех трудностей, которые впоследствии сама жизнь распутывает с такой легкостью, что даже нельзя сказать, как это произошло. Благодаря моей новой роли — роли друга Жильберты, имеющего на нее прекрасное влияние — я пользовался такими же милостями,

как если бы учился вместе с сыном короля, в колледже, где всегда был бы первым учеником, и благодаря этой случайности мог бы запросто бывать во дворце и получать аудиенции в тронном зале. Сван, беспредельно благосклонный, приглашал меня, как будто он не был обременен занятиями величайшей важности, в свою библиотеку, и в течение часа давал мне возможность отвечать лепетом, долгим застенчивым молчанием, нарушавшимся краткими и бессвязными порывами отваги, на его вопросы, в которых от волнения я не понимал ни слова; он мне показывал художественные произведения и книги, которые, по его мнению, могли заинтересовать меня и относительно которых я заранее был уверен, что они по красоте неизмеримо выше всех тех, что находятся в Лувре и в Национальной библиотеке, но не в силах был на них смотреть. Мне доставило бы удовольствие, если бы в такую минуту его дворецкий попросил меня отдать ему мои часы, булавку для галстука, ботинки и подписать бумагу, в которой я признал бы его своим наследником; пользуясь прекрасным народным выражением, автор которого, так же как и авторы знаменитейших эпопей, остался неизвестен, но которое, так же как эти эпопеи и вопреки

теории Вольфа, наверное имело автора (одного из тех умов, изобретательных и скромных, какие встречаются каждый год, которым принадлежат такие находки, как «дать имя лицу», но которые утаивают свое собственное имя), *я не ведал, что делаю.* Если посещение затягивалось, я разве что удивлялся тому, в какое полное бездействие, в какое бездумное состояние погружают меня эти часы, проводимые под очарованным кровом. Но мое разочарование не было вызвано несовершенством мастерских произведений, показанных мне, или невозможностью остановить на них рассеянный взгляд. Ведь пребывание в кабинете Свана казалось мне чем-то волшебным вовсе не благодаря красоте, присущей этим предметам, которые могли бы быть и самыми уродливыми, а благодаря тому особому грустному и сладостному чувству, которое было свойственно им, которое я уже столько лет связывал с представлением об этой комнате и которое еще и сейчас пронизывало его; бесчисленные зеркала, серебряные щетки, алтари святому Антонию Падуанскому, работы лучших скульпторов и живописцев, друзей г-жи Сван, также не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и ее царственной благосклонности, которое я испытывал, когда

она принимала меня на минуту в своей комнате, где три прекрасных и внушительных создания, ее первая, вторая и третья камеристки, улыбаясь приготовляли чудесные наряды и куда, по приказанию лакея в коротких штанах, объявлявшего мне, что госпожа что-то хочет мне сказать, я направлялся извилистой тропой коридора, наполненного благоуханиями драгоценных духов, ароматические волны которых беспрестанно неслись из уборной г-жи Сван.

Когда г-жа Сван возвращалась к своим гостям, мы всё еще слышали ее голос и смех, потому что даже в присутствии двух человек она, как будто имела дело со всеми «приятелями», говорила громко, отчеканивала слова, беря пример с Хозяйки, которая у себя в маленьком клане так часто делала то же самое, «дирижируя разговором». Так как речениями недавно заимствованными мы, по крайней мере некоторое время, пользуемся охотнее всего, то г-жа Сван порой выбирала выражения, слышанные от изысканных людей, знакомых ее мужа, с которыми он не мог не познакомить ее (им она была обязана жеманной манерой опускать артикль или указательное местоимение перед прилагательным, характеризующим человека), а порою и самые пошлые

(например: «Ерунда!» — излюбленное словечко одной из ее подруг), и старалась вставлять их во все истории, которые любила рассказывать, согласно обыкновению, воспринятому в «маленьком клане». Затем она любила прибавлять: «Мне очень нравится эта история», или: «Ах, признайтесь, это *милая* история!» — выражение, попавшее к ней через посредство ее мужа от Германтов, которых она не знала.

Г-жа Сван уходила из столовой, но ее муж, вернувшись домой, в свою очередь, появлялся среди нас. «Ты не знаешь, твоя мать одна, Жильберта?» — «Нет, папа, у нее еще кто-то есть». — «Как, и сейчас еще? В семь часов! Это ужасно. Бедняжка, верно, в полном изнеможении. Это безобразие. — (Дома у меня это слово произносили иначе, нежели у Сванов.) — Подумайте, с двух часов! — продолжал он, обращаясь ко мне. — А Камиль мне говорил, что между четырьмя и пятью было двенадцать человек. Да что я говорю: двенадцать! он, кажется, сказал: четырнадцать. Нет, двенадцать… словом, я не помню. Когда я возвращался, я забыл, что это ее приемный день, и, увидев все эти экипажи у подъезда, я подумал, что в доме свадьба. Я только вошел в свой кабинет, звонки не прекращались, честное слово,

голова от них болит. И у нее еще много народу?» — «Нет, только две гостьи». — «Ты знаешь, кто?» — «Госпожа Котар и госпожа Бонтан». — «А! жена начальника канцелярии министра общественных работ». — «Я знаю, что ее муж служит в каком-то министерстве, только вот не знаю, в какой должности», — говорила Жильберта деланно-ребячливо.

— Что ты, глупенькая! ты рассуждаешь, как будто тебе два года. Что это ты говоришь: служит в министерстве? Он ни более, ни менее, как начальник канцелярии, начальник всего заведения. Да что это я, впрочем, право, я такой же рассеянный, как ты. Он не начальник канцелярии, он *директор* канцелярии.

— Почем же я знаю? Значит, это большое место — быть директором канцелярии? — отвечала Жильберта, никогда не пропускавшая случая выказать равнодушие к тому, чем гордились ее родители (впрочем, она могла думать, что, делая вид, будто не придает значения столь блистательному знакомству, она только усиливает его блеск).

— Как, большое ли это место! — восклицал Сван, предпочитавший этой скромности, которая могла меня оставить в неведении, более ясный

язык. — Но ведь он после министра самый главный! Он даже больше, чем министр, ведь это он все делает. К тому же он, кажется, с большими дарованиями, исключительный человек, выдающаяся личность. Он кавалер ордена Почетного легиона. Он очаровательный человек и даже очень красивый мужчина. Да и жена его вышла за него замуж, никого не послушавшись, потому что он был «обаятельное существо». Он обладал особенностями, образующими редкое и изящное сочетание: белокурой и шелковистой бородой, красивыми чертами лица, голосом в нос, сильным дыханием и искусственным глазом.

— Должен вам сказать, — прибавлял Сван, обращаясь ко мне, — что мне очень забавно видеть этих людей в теперешнем правительстве, потому что ведь эти Бонтаны — из семьи Бонтан-Шеню, типичной реакционной и клерикальной буржуазной семьи с узкими взглядами. Ваш покойный дед, конечно, знал, по крайней мере по имени и по виду, старика Шеню, который давал кучерам на водку только су, хотя и был богат по своему времени, и барона Брео-Шеню. Все состояние погибло при крахе Всеобщей компании. Вы слишком молоды, чтобы это помнить. И что же, они оправились по мере сил.

«Он дядя одной девочки, которая училась вместе со мной, но гораздо моложе меня классом, знаменитой «Альбертины». Она, конечно, будет очень «fast»,[7] но пока что у нее забавные манеры». — «Удивительная у меня дочь, со всеми она знакома». — «Я не знакома с нею. Я только видела ее мимоходом, со всех сторон кричали: Альбертина, Альбертина. Но я знаю госпожу Бонтан, и она мне тоже не нравится».

— Ты совершенно не права, она очаровательная, хорошенькая, умная. Она даже остроумная. Я пойду поздороваюсь с нею и спрошу, как считает ее муж — будет ли у нас война и можно ли рассчитывать на короля Феодосия. Ведь он должен это знать, не правда ли? Ведь он посвящен в тайны богов.

Прежде Сван так не разговаривал; но кто не видел, как принцессы крови, очень простые в обращении, если десять лет спустя им случится бежать с каким-нибудь лакеем и они стараются восстановить связи, но чувствуют, что посещают их неохотно, внезапно принимают тон старых кумушек, и кто не слыхал, как при упоминании о какой-нибудь герцогине, пользующейся успехом

---

[7] Примечания: 7
легкомысленной *(англ.).*

в свете, они говорят: «Она была вчера у меня» и «Я нигде не бываю»? И не стоит наблюдать нравы, поскольку их можно вывести из психологических законов.

Сваны грешили этим же недостатком, свойственным людям, у которых мало бывают; приезд гостя, приглашение, простая любезность, сказанная сколько-нибудь заметным лицом, были для них событием, которое они старались предать гласности. Если по злополучной случайности Вердюрены оказывались в Лондоне, когда Одетте удавалось дать сколько-нибудь блестящий обед, — принимались меры, чтобы какой-нибудь общий знакомый по телеграфу сообщил им эту новость через Ла-Манш. И даже лестных писем и телеграмм, полученных Одеттой, Сваны не могли держать про себя. О них рассказывали знакомым, эти письма ходили по рукам. Салон Сванов походил, таким образом, на те курортные гостиницы, где телеграммы выставляются напоказ.

Впрочем, лица, знавшие прежнего Свана не только за пределами светского общества, как я, но и в самом обществе, в том кругу Гер-мантов, где к людям, за исключением принцесс и герцогинь, относились с бесконечной строгостью, требуя от них ума и обаяния, откуда изгонялись знаменито-

сти, если их находили скучными и вульгарными, эти лица удивились бы, заметив, что прежний Сван изменял не только своей скромности, когда говорил о своих связях, но и своей требовательности, когда выбирал их. Как он выносил г-жу Бонтан, такую пошлую, такую противную? Как он мог говорить, что она приятна? Воспоминание о среде Германтов, казалось бы, должно было помешать ему в этом, в действительности же оно этому способствовало. Конечно, у Германтов, в отличие от трех четвертей светских салонов, был вкус, даже утонченный вкус, но также и снобизм, а отсюда — возможность внезапных противоречий требованиям вкуса. Если речь шла о человеке, без которого обходились в этом кружке, о министре иностранных дел, слишком уж торжественном республиканце, или о болтливом академике, к нему вполне основательно применялись требования вкуса. Сван жалел герцогиню Германтскую, если ей за обедом в посольстве случалось сидеть рядом с таким человеком, и им в тысячу раз предпочитали человека светского, то есть человека, принадлежащего к среде Германтов, ничем не замечательного, но верного духу Германтов, кого-нибудь, кто был здесь своим человеком. Но если у герцогини Германтской

часто обедала какая-нибудь великая княгиня или принцесса крови, она тоже делалась своим человеком в этой среде, не имея на то никаких прав, совершенно чуждая ей *по* духу. Раз она была принята в это общество, то с наивностью светских людей здесь ухитрялись находить ее приятной, ибо не могли сказать себе, что принимают ее потому, что нашли ее приятной. Приходя на помощь герцогине Германтской, Сван говорил, когда ее высочество уезжала: «В сущности, она славная женщина, у нее даже есть известное чувство юмора. Боже мой, я не думаю, чтобы она углублялась в «Критику чистого разума», но она не лишена прелести». — «Я совершенно с вами согласна», — отвечала герцогиня. «И еще она стеснялась, но вы увидите, она может быть очаровательна». — «Она куда менее несносна, чем г-жа *X.I.* (жена болтливого академика, женщина замечательная), которая вам процитирует двадцать книг». — «Ну, не может быть и сравнения». Способность говорить такие вещи, говорить их искренно, Сван приобрел у герцогини, и он сохранил ее. Теперь он пользовался ею, имея дело с людьми, которых принимал. Он старался различить в них, полюбить в них качества, которые проявляет каждый человек, если на него

смотреть с благожелательной предвзятостью, а не с отвращением требовательных людей; он старался выставить в выгодном свете достоинства г-жи Бонтан, как некогда — принцессы Пармской, которую следовало бы исключить из кружка Германтов, если бы некоторые высочайшие *особы* не пользовались правом «бесплатного входа» и если бы, даже когда дело шло о них, внимание обращалось на остроумие и на привлекательность. Впрочем, уже и раньше можно было видеть, что у Свана была склонность (теперь принявшая только более длительный характер) менять свое положение в свете на другое, которое при известных обстоятельствах ему больше подходило. Только люди, неспособные расчленить в своем представлении то, что на первый взгляд кажется нераздельным, считают, что положение составляет одно целое с личностью. Один и тот же человек, если рассматривать последовательные этапы его жизни, на разных ступенях общественной лестницы окунается в иную среду, которая не является непременно чем-то более возвышенным; и всякий раз, когда в новый период нашей жизни мы завязываем или восстанавливаем связи с определенной средой, где нас лелеют, мы, естественно, начинаем привыкать к ней, пуская

человеческие корни.

Что касается г-жи Бонтан, полагаю также, что, упоминая о ней столь настойчиво, Сван не без удовольствия думал о том, как мои родные узнают, что она бывает у его жены. По правде говоря, дома у нас имена людей, с которыми г-же Сван постепенно удавалось познакомиться, возбуждали скорее любопытство, чем восхищение. Слыша имя г-жи Тронбер, моя мать говорила:

— А! вот и еще новый адепт, и, верно, приведет с собою и других. И, словно сравнивая с колониальной войной манеру г-жи Сван

завоевывать новые связи, несколько поспешную, насильственную и резкую, мама прибавляла:

— Теперь, когда Тронберы покорены, соседние племена не замедлят сдаться.

Встретив на улице г-жу Сван, она рассказывала нам потом:

— Я встретила г-жу Сван в боевой готовности. Она, очевидно, выступала в какой-нибудь многообещающий поход против Мазечутосов, Сингалезцев или Тронберов.

И каждый раз, как я называл ей имена новых людей, которых я видел в этом несколько смешанном и искусственном обществе, куда их

удавалось завлечь нередко с большим трудом из довольно разных сфер, она сразу же угадывала их происхождение и говорила о них как о трофеях, доставшихся дорогой ценой:

— Добыто набегом на такого-то.

Что касается г-жи Котар, то мой отец удивлялся, что заставляет г-жу Сван заманивать эту неотесанную мещанку, и говорил: «Несмотря на положение профессора, должен признаться — не понимаю». Мать, наоборот, прекрасно понимала: она знала, что удовольствие, которое испытывает женщина, попадая в общество, отличное от того, в котором она до сих пор вращалась, значительно умалилось бы, если б она не могла оповестить своих прежних знакомых о тех новых, сравнительно более блестящих связях, которыми она их заменила. Поэтому-то в этот новый, восхитительный мир надо ввести свидетеля, который, словно жужжащее и порхающее насекомое, что садится на цветок, ненароком разнесет потом по знакомым — так, по крайней мере, надеются — новость, скрытый зародыш зависти и изумления. Г-жа Котар, созданная для этой роли, относилась к той особой категории гостей, которых мама, унаследовавшая некоторые черты остроумия своего отца, называла: «чужеземец,

иди и расскажи спартанцам». Впрочем — помимо другой причины, которая стала известна только несколько лет спустя, — г-жа Сван, приглашая эту доброжелательную, сдержанную и скромную приятельницу, могла не опасаться, что вводит на свои блестящие приемы предательницу или соперницу. Она знала, как много буржуазных цветочков может облететь эта прилежная пчелка, вооружившись и эгреткой и сумкой, наполненной визитными карточками. Она знала, сколько та может разнести семян, и, опираясь на теорию вероятностей, имела основание думать, что такой-то завсегдатай салона Вердюренов, вполне возможно, уже послезавтра узнает, что парижский губернатор завез ей свою карточку, или что сам г-н Вердюрен услышит рассказ о том, как г-н Ле-О-де-Прессаньи, президент Concours Hippique,[8] пригласил их на празднество в честь короля Феодосия; она предполагала, что Вердюренам сообщат только об этих двух лестных для нее событиях, потому что внешние формы, в которых мы представляем себе славу и которые стремимся ей придать, немногочисленны — по скудости нашего ума, неспособного вообразить сразу все

[8] Примечания: 8
Общества рысистых испытаний *(фр.)*.

разнообразие ее проявлений, хоть мы смутно и надеемся, что когда-нибудь будем наслаждаться ими всеми одновременно.

Впрочем, г-жа Сван добилась результатов только в так называемых «официальных кругах». Светские дамы ее не посещали. Отнюдь не присутствие республиканских деятелей заставляло их уклоняться от этого. В годы моего раннего детства *светом* считалось все то, что принадлежало к консервативному обществу, и в порядочном салоне нельзя было бы принять республиканца. Люди, жившие в этой среде, воображали, что невозможность принимать у себя «оппортуниста», а тем более — ужасного радикала, будет существовать вечно, как масляные лампы и конки. Но, уподобляясь калейдоскопу, который встряхивают по временам, общество каждый раз по-иному перемещает элементы, считавшиеся неподвижными, и сочетает их в новую фигуру. Я еще не дорос до своего первого причастия, как уже благомыслящие дамы бывали ошеломлены, встретившись в гостях с еврейкой — светской дамой. Эти новые сдвиги калейдоскопа вызываются тем, что философ назвал бы *сменой критерия.* Дело Дрейфуса дало толчок новой смене в период несколько более поздний, чем тот, когда

я начал бывать у г-жи Сван, и в калейдоскопе еще раз перемешались все его цветные лоскутки. Всё еврейское, вплоть до элегантных дам, переместилось вниз, а на его место поднялись неизвестные националисты. Самым блестящим салоном в Париже стал салон ультракатолического австрийского принца. Если бы вместо дела Дрейфуса случилась война с Германией, калейдоскоп сдвинулся бы в другом направлении. Евреи, доказав, к всеобщему удивлению, что они патриоты, сохранили бы свое положение, и никто больше не захотел бы посещать австрийского принца и даже признаваться в том, что бывал у него. Несмотря на это, всякий раз, как общество временно пребывает в неподвижности, люди, живущие в нем, воображают, что никаких изменений больше не может произойти, так же как при появлении телефона они не хотят верить в возможность аэроплана. А газетные философы клеймят предыдущий период, и не только те развлечения, которым предавались тогда и которые кажутся им последним словом развращенности, но даже и произведения художников и философов, которые утрачивают в их глазах всякое значение, как будто они неразрывно связаны с последовательными изменениями светской

суетности. Не меняется лишь одно: всякий раз кажется, что «во Франции что-то изменилось». В ту пору, когда я стал бывать у г-жи Сван, дело Дрейфуса еще не разразилось, и кое-кто из видных евреев был в большой силе. Но всех могущественнее был сэр Руфус Израэльс, жена которого, лэди Израэльс, приходилась теткой Свану. У нее самой не было таких блестящих связей, как у ее племянника, который к тому же недолюбливал ее и никогда особенно часто не бывал у нее, хотя, по всей видимости, должен был стать ее наследником. Но это был единственный человек среди родни Свана, имевший понятие о его положении в свете, прочие же оставались на этот счет в таком же неведении, в каком долгое время находились и мы. Когда один из членов семьи переселяется в высший свет — что кажется ему неповторимой удачей, которой, однако, как он убеждается десять лет спустя, иным образом и на иных основаниях достиг не один из товарищей его детства, — он окружает себя зоной тени, некоей terra incognita,[9] которая во всех подробностях видна всем своим обитателям, но погружена в ночь и небытие для всех тех, кому

---

[9] Примечания: 9
областью неизведанного *(лат.).*

она недоступна, кто проходит вблизи нее, не догадываясь о ее существовании. Так как никакое агентство Гаваса не сообщало кузинам Свана о том, с кем он видится, то (конечно, до его ужасного брака) снисходительные улыбки сопровождали на семейных обедах рассказ, что воскресенье было проведено «добродетельно», что был сделан визит «кузену Шарлю», которого здесь считали бедным, несколько завистливым родственником и называли, изощряясь в остроумии, играя заглавием романа Бальзака, — «Глупый кузен». Но лэди Руфус Израэльс прекрасно знала, кто эти люди, которые дарят Свана своей дружбой, возбуждавшей в ней зависть. Семья ее мужа, почти не уступавшая Ротшильдам, из поколения в поколение вела дела Орлеанского дома. Лэди Израэльс, будучи исключительно богата, пользовалась большим влиянием, и она пустила его в ход, добиваясь, чтобы никто из ее знакомых не принимал Одетту. Ослушалась только одна, и потихоньку. То была графиня де Марсант. Но злому року было угодно, чтобы Одетта, поехав с визитом к г-же де Марсант, вошла к ней почти одновременно с лэди Израэльс. Г-жа де Марсант сидела как на иголках. С трусостью человека, который, однако, мог бы все себе позволить, она ни

разу не обратилась к Одетте, потерявшей всякую охоту продолжать свое вторжение в этот мир, который, впрочем, вовсе не был тот, куда бы ей хотелось получить доступ. В своем полном равнодушии к Сен-Жерменскому предместью Одетта по-прежнему оставалась непросвещенной кокоткой, так не похожей на буржуа, в совершенстве изучивших мельчайшие тонкости генеалогии и чтением старинных мемуаров утоляющих жажду аристократических знакомств, которыми жизнь их не наделила. С другой стороны, Сван, вероятно, по-прежнему оставался тем любовником, которому все эти особенности его давнишней возлюбленной кажутся милыми или безобидными, так как мне часто приходилось слышать, какую ересь с точки зрения света проповедует его жена, а он (то ли нежность к ней еще не исчезла в нем, то ли он ее не уважал, или же ленился просвещать ее) и не думал ее поправлять. Быть может также, это было проявлением той простоты, которая так долго обманывала нас в Комбре и благодаря которой он теперь, продолжая по крайней мере сам быть знакомым с людьми весьма блестящими, не стремился к тому, чтобы в гостиной его жены им придавалось какое-либо значение. Впрочем, они меньше, чем когда бы то ни было, значили в гла-

зах Свана, ибо центр тяжести переместился в его жизни. Во всяком случае, невежество Одетты в светских вопросах простиралось до того, что, если о принцессе Германтской в разговоре упоминали в связи с герцогиней, ее двоюродной сестрой, Одетта говорила: «Ведь вот, они-то принцы, — они, значит, поднялись в чине». Если, говоря о герцоге Шартрском, кто-нибудь называл его «принцем», Одетта поправляла: «Герцог, герцог Шартрский, а не принц». О герцоге Орлеанском, сыне графа Парижского: «Вот смешно, сын больше, чем отец», а так как она была англоманка, то прибавляла: «Запутаешься в этих royalties[10]». А кому-то, спросившему ее, из какой провинции родом Германты, она ответила: «Из Эн».

Впрочем, что касается Одетты, Сван был слеп не только к этим пробелам в ее образовании, но и к ее умственной ограниченности. Более того: всякий раз, как Одетта рассказывала что-нибудь глупое, Сван слушал свою жену с удовольствием, весело, почти с восхищением, хранившим еще, должно быть, следы страсти, между тем как всё то изысканное, даже глубокое, что сам он высказывал в том же разговоре, выслушивалось

---

[10] Примечания: 10
членах королевской семьи *(англ.).*

Одеттой обычно без всякого интереса, довольно небрежно, нетерпеливо и порой встречало сердитые возражения. И можно заключить, что это рабство, в котором пошлое существо держит утонченнейшего человека, есть обычное явление во многих семьях, если к тому же принять во внимание, как часто незаурядная женщина поддается очарованию болвана, беспощадного критика ее тончайших замечаний, между тем как она, бесконечно снисходительная в своей нежности, приходит в восторг от его самых плоских шуток. Возвращаясь к причинам, которые в то время помешали Одетте проникнуть в Сен-Жерменское предместье, надо сказать, что последний сдвиг светского калейдоскопа был вызван рядом скандалов. Женщины, к которым ездили, ни в чем не сомневаясь, оказались публичными девками, английскими шпионками. Некоторое время от людей, так по крайней мере думали, надо было требовать прежде всего, чтобы они занимали твердое положение, пользовались хорошей репутацией… В Одетте сочеталось именно все то, с чем только что порвали и с чем, впрочем, немедленно возобновили связь (ибо люди, не меняясь со дня на день, в новом порядке вещей ищут продолжение старого), стараясь, однако,

придать ему другую форму, которая позволила бы оставаться в заблуждении и думать, что это не то общество, какое было до кризиса. А на «разоблаченных» дам этого общества Одетта уж слишком была похожа. Светские люди весьма близоруки: только что прекратив всякие связи со знакомыми еврейскими дамами и спрашивая себя, как заполнить пустоту, они замечают словно выросшую из-под земли незнакомую даму, тоже еврейку; но благодаря своей новизне она в их представлении не связывается с тем, что они считают долгом презирать. Она не требует, чтобы почитали ее Бога. Ее принимают. В то время, когда я начал посещать Одетту, об антисемитизме еще не было речи. Но она напоминала все то, чего на некоторое время старались избегать.

Сван часто навещал кое-кого из своих прежних знакомых — следовательно, людей, принадлежавших к самому высшему кругу. Впрочем, когда он рассказывал нам, у кого он был, я заметил, что, останавливая свой выбор на ком-либо из тех, кого он знал прежде, он руководствуется вкусом не то художника, не то историка, — вкусом, который поддерживал в нем коллекционера. И, замечая, что какая-нибудь великосветская дама, утратившая свое высокое положение, интересует

его потому, что она была любовницей Листа или что Бальзак посвятил ее бабушке один из своих романов (как он иногда покупал рисунок, если этот рисунок был описан Шатобрианом), я начал подозревать, что мы в Комбре наше ложное представление о Сване как о буржуа, не бывавшем в свете, сменили на другое заблуждение, считая его одним из наиболее светских людей в Париже. Быть другом графа Парижского — это ничего не значит. Сколько этих «друзей принцев», которых не стали бы принимать в мало-мальски разборчивом кругу! Принцы чувствуют себя принцами, они не снобы и к тому же считают себя настолько выше всех, в чьих жилах иная кровь, что буржуа и знатные дворяне стоят в их глазах на одинаково низком уровне.

Впрочем, Свану недостаточно было того наслаждения, которое общество, такое, как оно есть, и привлекавшее его именами, вписанными в историю и еще поддающимися расшифровке, доставляло ему как литератору и художнику, — он также развлекался несколько вульгарно, составляя как бы общественные букеты, группируя разнородные элементы, соединяя людей, набранных из разных мест. Эти опыты занимательной социологии (или по крайней мере занимательной

в глазах Свана) не у всех приятельниц его жены встречали одинаковый — или, во всяком случае, постоянный — отклик. «Я собираюсь пригласить Котаров вместе с герцогиней Вандомской», — говорил он смеясь г-же Бонтан, с видом гастронома, собирающегося проделать опыт, заменить в соусе гвоздику кайеннским перцем. А план этот, который Котарам должен был показаться приятным, а не только занятным, приводил в отчаяние г-жу Бонтан. Сваны недавно представили ее герцогине Вандомской, и ей это показалось столь же лестным, сколь и естественным. Возможность похвастаться этим перед Котарами была едва ли не самое сладостное в этом удовольствии. Но так же, как люди, только что награжденные орденом, желали бы, чтобы источник орденов иссяк, г-же Бонтан хотелось, чтобы после нее принцессе не представляли уже никого из ее общества. Внутренне она проклинала испорченный вкус Свана, который, чтобы осуществить презренную эстетическую прихоть, вынуждал разом стряхнуть всю ту пыль, что она пустила в глаза Котарам. рассказывая им про герцогиню Вандомскую. Как решится она объявить мужу, что профессор и его жена, в свою очередь, тоже испытают это удовольствие, которое, как она

хвасталась ему, было чем-то единственным? Если бы еще Котары могли знать, что их приглашают не всерьез, а ради шутки! Правда, что и Бонтаны были приглашены на тех же основаниях, но Сван, переняв от аристократии неизменные приемы донжуанизма, благодаря которым мужчине удается каждую из двух заурядных женщин убедить в том, что только ее он любит серьезно, говорил г-же Бонтан о герцогине Вандомской как об особе, созданной на то, чтобы она обедала с нею. «Да, мы предполагаем пригласить принцессу вместе с Котарами, — сказала несколько недель спустя г-жа Сван, — мой муж думает, что такое сочетание элементов может оказаться забавным», — ибо, если она заимствовала от «кружка» известные привычки, любезные сердцу г-жи Вердюрен, — например, привычку кричать во весь голос, чтобы «верные» услышали ее, — она, с другой стороны, употребляла некоторые выражения — как, например, «сочетание элементов», — принятые в обществе Германтов, влиянию которого, как море влиянию Луны, она поддавалась на расстоянии и бессознательно, не будучи, однако, в силах заметно приблизиться. «Да, Котары и герцогиня Вандомская, разве вам не кажется, что это будет занятно?» — спросил Сван. «Думаю, что выйдет

очень плохо и доставит вам одни неприятности, не надо играть с огнем», — отвечала в ярости г-жа Бонтан. Впрочем, она и ее муж, так же как и принц Агригентский, были приглашены на этот обед, о котором г-жа Бонтан и г-жа Котар рассказывали в двух редакциях, в зависимости от того, с кем они беседовали. Одним г-жа Бонтан, так же как и г-жа Котар, небрежно отвечала на вопрос о том, кто еще был на этом обеде: «Только принц Агригентский, было совершенно запросто». Но другие решались расспрашивать более подробно (раз кто-то даже задал Котару вопрос: «Но разве там не были Бонтаны?» — «Забыл о них», — покраснев, ответил Котар бестактному собеседнику, которого с этих пор он уже относил к категории злых языков). Для последних и Бонтаны, и Котары усвоили, не советуясь друг с другом, другую версию, характер которой был одинаков и только их имена соответственно менялись местами. Котар говорил: «Ну да, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомские — (с самодовольной улыбкой), — профессор Котар с супругой, и, чёрт их знает почему, — они тут были так же кстати, как волосы в супе, — супруги Бонтаны». Г-жа Бонтан в точности повторяла этот рассказ, с той лишь разницей, что господин и госпожа Бонтан

упоминались с самодовольным пафосом рядом с герцогиней Вандомской и принцем Агригентским, а ничтожествами, которых она под конец обвиняла уже и в том, что они напросились сами, и которые были здесь лишними, оказывались Котары.

Сван после визитов часто возвращался незадолго до обеда. Теперь в шесть часов вечера — в то время дня, в которое он раньше чувствовал себя таким несчастным, — он уже больше не спрашивал себя, чем может быть занята Одетта, и нимало не беспокоился, есть ли у нее кто-нибудь и дома ли она. Порой он вспоминал, как однажды, много лет тому назад, он старался прочесть сквозь конверт письмо Одетты к Форшвилю. Но это воспоминание было неприятно, и вместо того чтобы поддаваться чувству стыда, который он испытывал, он краем рта делал гримаску, которая в случае надобности дополнялась кивком, означавшим: «Что мне до того?» Правда, он полагал теперь, что гипотеза, на которой он прежде часто останавливался и согласно которой жизнь Одетты, на самом деле невинную, чернило только его ревнивое воображение, что эта гипотеза (в сущности, благотворная, — ведь пока не кончилась болезнь его влюбленности, она уменьшала его

страдания, внушая ему, что они воображаемые) была неверна, что права была его ревность и что если Одетта любила его больше, чем он думал, то она и больше изменяла ему. Когда-то, испытывая такие муки, он дал себе клятву, что со временем, разлюбив Одетту и не опасаясь рассердить ее или дать ей повод думать, что он слишком уж любит ее, он даст себе удовлетворение и выяснит с ней, только из любви к истине, как выясняют исторический вопрос: отдавалась ли она Форшвилю в тот день, когда он звонил к ней и стучал в окно, но ему не открыли, после чего Одетта написала Форшвилю, что это приходил ее дядя? Но вопрос, столь занимавший его, что он ждал лишь конца своей ревности, надеясь его выяснить, потерял всякий интерес в глазах Свана, когда он перестал ревновать. Однако не сразу. К Одетте он уже не чувствовал ревности, которую по-прежнему пробуждал в нем тот день, когда он тщетно стучался в дверь маленького особняка на улице Лаперуз. Казалось, что ревность, подобно болезням, зараза которых кроется как будто не столько в человеке, сколько в том или ином месте, в том или ином доме, относилась не столько к самой Одетте, сколько к этому дню, к этому часу утраченного прошлого, когда Сван стучался во все двери ее

особняка. Можно было бы сказать, что только этот день, что только этот час сосредоточили в себе последние частицы той личности, какой был некогда влюбленный Сван и которую он только там обретал вновь. Давно уже ему было безразлично, обманывала ли его Одетта и обманывает ли его теперь. И все же он еще в течение нескольких лет разыскивал прежних слуг Одетты — так долго сохранялось в нем болезненное любопытство, желание узнать, действительно ли в тот день, такой далекий, в шесть часов, Одетта отдавалась Форшвилю. Потом исчезло и самое любопытство, но розыски не прекратились. Он продолжал разузнавать то, что его больше не интересовало, потому что его прежнее «я», впавшее в совершенную дряхлость, еще действовало по инерции, следуя внушениям, до такой степени потерявшим свою силу, что Сван даже не мог представить себе ту тревогу, некогда все же столь мучительную, что, как ему казалось, избавиться от нее было нельзя и только смерть любимой женщины (смерть, которая, как покажет в этой книге жестокий слепок с любви Свана, нисколько не уменьшает страданий ревности) могла, как он думал, расчистить его совершенно загроможденный жизненный путь.

Но осветить те факты жизни Одетты, которые когда-то вызывали в нем эти муки, не было единственным желанием Свана: он хранил про запас и желание отомстить за них, когда, разлюбив Одетту, он уже не будет бояться ее; а случай осуществить это второе желание как раз представлялся, ибо Сван любил другую женщину, женщину, не подававшую повода к ревности, но все же возбуждавшую ревность, потому что он уже был не способен любить по-иному и ту любовь, которой он любил Одетту, он переносил и на другую женщину. Чтобы возродить ревность Свана, вовсе не была необходима измена этой женщины, достаточно было ей по той или иной причине оказаться в отсутствии, например на каком-нибудь вечере, где, как казалось, ей было весело. Этого было довольно, чтобы пробудить в нем давнюю тоску, мучительный и противоречивый нарост на его любви, отдалявший Свана от цели, которую словно стремилась достигнуть эта тоска (искреннее чувство этой молодой женщины к Свану, тайное стремление овладеть ее днями, тайна ее сердца), ибо между Сваном и той, кого он любил, тоска эта воздвигала горы упорных давних подозрений, причиной которых была Одетта, а может быть, та или иная из ее предшественниц,

и которые уже не позволяли состарившемуся любовнику понять его новую возлюбленную иначе, как сквозь давний собирательный призрак «женщины, возбуждавшей его ревность», воплотившей теперь, по его собственному выбору, его новую любовь. Все же Сван часто винил эту ревность в том, что она заставляет его верить в воображаемые измены; но иногда он вспоминал, что подобными же рассуждениями он извинял Одетту, и притом напрасно. Поэтому все то, что в его отсутствие делала любимая им молодая женщина, переставало казаться невинным в его глазах. Но если когда-то он поклялся, что, разлюбив ту, в которой он не угадывал своей будущей жены, он безжалостно выкажет ей свое равнодушие, искреннее наконец, и отомстит за свою гордость, терпевшую долгие унижения, то теперь эта кара, на которую он мог решиться, ничем не рискуя (ибо что ему в том, если он будет пойман на слове и лишен свиданий наедине с Одеттой, которые когда-то были ему столь необходимы), эта кара потеряла для него значение: с любовью вместе исчезло и желание показать, что она исчезла. И Сван, которому некогда так хотелось показать Одетте, заставлявшей его мучиться, что он увлечен другою, теперь, когда он мог бы это

сделать, принимал тысячи предосторожностей, чтобы жена не догадалась об этой новой любви.

Теперь я не только стал бывать на приемах Жильберты, которые прежде были для меня причиной огорчений, так как из-за них Жильберта раньше покидала меня и уходила домой, — мне было дозволено также сопровождать ее вместе с ее матерью на прогулку или на утренний спектакль, который прежде, мешая ей прийти на Елисейские поля, лишал меня ее общества в дни, когда я оставался один на лужайке или перед каруселью, — для меня находилось место в их ландо, и меня даже спрашивали, куда я предпочту поехать — в театр ли, на урок танцев к какой-нибудь подруге Жильберты, на светский раут к друзьям Сванов (то, что г-жа Сван называла «маленький meeting[11]») или осматривать гробницы Сен-Дени.

В те дни, когда мне предстояло выезжать вместе со Сванами, я приходил к ним перед завтраком, который г-жа Сван называла *lunch;* так как приглашали к половине первого, а родители мои завтракали в те годы в четверть двенадцатого, то я, выждав, когда они встанут из-за стола, направ-

---

[11] Примечания: 11
собрание *(англ.).*

лялся к этому пышному кварталу, достаточно пустынному во всякое время дня, особенно же в этот час, когда все сидят дома. Даже зимой, в мороз, если погода была хорошая, время от времени поправляя узелок великолепного галстука от Шарве и следя за тем, не запачкались ли мои лакированные ботинки, я прогуливался вдоль и поперек по улицам, дожидаясь, пока будет двадцать семь минут первого. Уже издали мне было видно, как блестят на солнце, словно все покрытые инеем, нагие деревья в садике Сванов. Правда, их в этом садике было всего два. Благодаря необычному часу зрелище казалось новым. К этим радостям, доставляемым природой, которые усиливались благодаря непривычности, даже благодаря голоду, примешивалось волнующее ожидание завтрака у г-жи Сван, оно не уменьшало их, но, овладевая ими, подчиняло их себе, превращало в светские аксессуары; так что, если мне казалось, что я словно заново открываю ясную погоду, холод, зимнее освещение, которых обычно не видел в этот час, это было точно предисловие к омлету, точно патина, розовый и свежий налет, сливавшийся с облицовкой того таинственного храма, каким было жилище г-жи Сван и внутри которого, напротив, таилось столь-

ко тепла, благоуханий и цветов.

В половине первого я наконец решался войти в этот дом, подобный огромному рождественскому башмаку, сулившему мне сверхъестественные наслаждения. (Слово «Рождество» не было, впрочем, известно ни г-же Сван, ни Жильберте, заменявшим его словом «Christmas» и всегда говорившим о пудинге на Christmas, о том, что им подарили на Christmas, о том, что на Christmas — известие, приводившее меня в безумное отчаяние — их не будет дома. Я счел бы себя опозоренным, если бы даже дома заговорил о Рождестве, и произносил лишь слово «Christmas», что моему отцу казалось крайне смешным.)

Сперва на моем пути появлялся лишь лакей, который, проводив меня через ряд больших гостиных, открывал дверь в гостиную совсем маленькую, пустую, уже начинавшую погружаться в задумчивость благодаря голубому сумеречному свету, падавшему от окон; я оставался один в обществе орхидей, роз и фиалок, которые, подобно людям, ожидающим с вами вместе, но незнакомым с вами, хранили молчание, еще более впечатляющее, ибо оно было отмечено печатью живого существа, и зябко воспринимали тепло, шедшее от раскаленного угля, положенного, как

драгоценность, за стеклянным стеклом экрана в беломраморную чашу, где время от времени рассыпались его горящие рубины.

Я усаживался, но, слыша, как открывается дверь, быстро вскакивал. Это всего-навсего был другой лакей, потом третий, и скудным результатом их хождений, полных напрасной тревоги, являлся уголь, подброшенный в огонь, или вода, налитая в вазы. Я снова оставался один, они же удалялись, закрыв дверь, которую в конце концов должна же была открыть г-жа Сван. И конечно, я меньше волновался бы в сказочной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, как мне казалось, творил превращения, точно в лаборатории Клингзора. Снова раздавались шаги, я не вставал с места, это опять должен был быть лакей, — оказывалось, г-н Сван. «Как? вы — один? Что поделаешь, моя жена никогда не могла, бедняжка, понять, что такое время. Без десяти час. Каждый день все позже. И вот вы увидите, она придет не торопясь, будет думать, что еще рано». А так как он по-прежнему был невроартритиком и появились у него некоторые странности, то, хотя всё это и заставляло Свана беспокоиться за свой желудок, все же его самолюбию льстило, что у него такая неаккуратная жена, так поздно

возвращающаяся из Булонского леса, засиживающаяся у своей портнихи и всегда опаздывающая к завтраку.

Он показывал мне свои новые приобретения и объяснял, чем они замечательны, но от волнения, а также и от непривычки оставаться натощак до такого часу, в моем встревоженном уме воцарялась пустота, так что, сохраняя способность говорить, я не в силах был слушать. К тому же, когда дело шло о произведениях, принадлежащих Свану, для меня было достаточно того, что они находились здесь, составляли одно целое с восхитительным часом, предшествовавшим завтраку. Даже если бы «Джоконда» оказалась здесь, она не доставила бы мне большего удовольствия, чем капот г-жи Сван или ее флаконы с солью.

Я продолжал ждать, один или вместе с Сваном и нередко с Жильбертой, приходившей посидеть с нами. Появление г-жи Сван, подготовленное столькими величественными выходами, должно было быть, как мне казалось, чем-то грандиозным. Я прислушивался к малейшему скрипу. Но ни собор, ни волны во время бури, ни прыжок танцовщика никогда не оказываются такими высокими, какими мы надеялись их увидеть; после всех этих ливрейных лакеев, подобных ста-

тистам, шествие которых по сцене подготовляет заключительное появление королевы и этим самым ослабляет впечатление от него, г-жа Сван, незаметно входя в простеньком котиковом пальто, с вуалеткой, спущенной на покрасневший от холода нос, не сдерживала обещаний, которые, пока я ждал, она расточала моему воображению.

Если же все утро она оставалась дома, то в гостиной она появлялась одетою в пеньюар из светлого крепдешина, казавшийся мне элегантнее всякого платья.

Иногда Сваны решали остаться дома до самого обеда. И вот, так как завтрак был очень поздний, я, глядя на ограду садика, уже замечал, как клонится к закату Солнце этого дня, который, думалось мне, будет не похож на другие дни, и хоть слуги вносили лампы всяких размеров и всяких форм, возгоравшиеся каждая на посвященном ей алтаре какой-нибудь консоли, этажерки, угольника или маленького столика, словно для свершения неведомого обряда, — разговор не порождал ничего необыкновенного, и я уходил разочарованный, как это часто, с самого детства, бывает после ночной мессы.

Но это разочарование было только умственное. Я сиял от радости в этом доме, ожидая, что Жиль-

берта, если ее не было еще с нами, сейчас войдет и через минуту подарит мне на целые часы свое слово, свой взгляд, внимательный и улыбающийся, каким я видел его в первый раз в Комбре. Разве что иногда я начинал чуть-чуть ревновать, замечая, что она часто исчезает в каких-то больших комнатах, в которые вела внутренняя лестница. Вынужденный оставаться в гостиной, как любовник актрисы, располагающий только креслом в партере и тревожно старающийся представить себе, что происходит сейчас за кулисами, в фойе артистов, я ставил Свану искусно замаскированные вопросы по поводу этой другой части дома, но таким тоном, в котором не мог подавить известного беспокойства. Он объяснил мне, что Жильберта пошла в бельевую комнату, предложил мне показать ее и обещал, что всякий раз, как Жильберте надо будет пойти туда, он заставит ее брать меня с собою. Этими словами, успокоившими меня, Сван сразу уничтожил для меня то ужасное расстояние, что отделяет нас от любимой женщины, которая кажется такой далекой. В эту минуту я почувствовал к нему нежность, показавшуюся мне более глубокой, чем моя нежность к Жильберте. Ибо, властелин своей дочери, он дарил ее мне, она же противилась

порой, я не имел непосредственно того влияния на нее, какое получал при посредстве Свана. Кроме того, я любил ее, а значит, не мог видеть ее без того волнения, без того желания чего-то большего, которое, вблизи любимого существа, отнимает у нас ощущение любви.

Впрочем, чаще всего мы не оставались дома, мы отправлялись на прогулку. Иногда, прежде чем идти одеваться, г-жа Сван садилась за рояль. Пальцы ее прекрасных рук, выглядывая из-под рукавов ее крепдешинового пеньюара, розового или белого, часто очень ярких цветов, ложились на клавиши с той же меланхоличностью, что была у нее в глазах, но не в сердце. В один из таких дней ей случилось сыграть ту часть сонаты Вентейля, где проходит коротенькая фраза, которую так любил Сван. Но часто бывает, что мы ничего не слышим, если слушаем музыку несколько сложную, и притом в первый раз. И все же, когда мне потом два или три раза проиграли эту сонату, оказалось, что я ее прекрасно знаю. Поэтому недаром говорят «слышать в первый раз». Если бы, как нам кажется, слушая в первый раз, нам ничего не удавалось различить, то и второй, и третий раз были бы тем же, что первый, и не было бы никаких оснований, чтобы в десятый

раз можно было что-нибудь понять. Вероятно, когда мы слушаем впервые, слабой стороной является не понимание, а память. Ибо наша память, если сравнить с ней сложность впечатлений, с которыми ей приходится сталкиваться, когда мы слушаем музыку, так же коротка и слаба, как память человека, думающего во сне о тысяче вещей, которые он тотчас же забывает, или человека, наполовину впавшего в детство и не помнящего, что ему сказали минуту тому назад. Память не в силах сразу же дать нам воспоминание об этих многообразных впечатлениях. Но постепенно оно складывается в ней, и по отношению к музыке, слышанной два или три раза, мы — словно школьник, прочитавший несколько раз перед сном урок, которого, как ему казалось, он не знает, и на другое утро отвечающий его наизусть. Но только до этого дня я из сонаты Вентейля не слышал ни одного такта, и там, где Сван и его жена различали отчетливую фразу, я был так же далек от ясного восприятия ее, как это бывает при поисках имени, которое стараешься вспомнить и вместо которого находишь только пустоту, откуда час спустя, когда мы не думаем об этом, сами собой, одним прыжком вырвутся тщетно отыскиваемые слоги. И не только не запомина-

ешь сразу подлинно ценные произведения, но даже в пределах каждого из них — и у меня это случилось с сонатой Вентейля — сначала воспринимаются наименее значительные части. Таким образом, я не только ошибался, думая, что в этом произведении я больше не найду ничего нового для себя (почему я долго не искал случая услышать его) после того, как г-жа Сван проиграла мне самую замечательную фразу (в этом отношении я был так же глуп, как те, кто не надеется испытать удивления при виде собора Святого Марка в Венеции, считая, что они по фотографии знают форму его куполов). Мало того, даже когда я прослушал сонату от начала до конца, она почти целиком осталась незримой для меня, словно памятник, в котором, по вине расстояния или тумана, можно различить только смутные детали. Отсюда — меланхолия, связанная с познанием подобных произведений, как и всего того, что воплощается во времени. Когда мне открылось самое сокровенное в ней, тогда то, что я различил, чему вначале отдал предпочтение, уже ускользало от меня, исчезало по вине привычки, недостижимое для моей чувствительности. Так как не все то, что приносила мне эта соната, я мог полюбить одновременно, то я никогда не

обладал ею вполне: она была подобной жизни. Но тая в себе меньше разочарований, чем жизнь, эти великие произведения с самого начала дают нам то, что есть лучшего в них. В сонате Вентейля красоты, которые мы открываем прежде всего, в то же время скорее всего и наскучивают — по той причине, конечно, что они меньше отличаются от того, что нам уже известно. Но когда они отдалились, нам остается полюбить фразу, которая, в силу своей чрезмерной новизны давая только впечатление чего-то смутного, сохранилась неузнанной и нетронутой; тогда она, мимо которой мы проходили каждый день, сами того не зная, которая таилась и, лишь благодаря своей красоте, была невидима и не могла быть узнана, — она последнею приходит к нам. Зато и мы расстанемся с ней последнею. И мы дольше будем любить ее, потому что нам больше понадобилось времени, чтобы полюбить ее. Впрочем, время, которое нужно отдельной личности — как мне по отношению к этой сонате, — чтобы проникнуть в произведение сколько-нибудь глубокое, есть лишь ракурс и как бы символ тех лет, а иногда столетий, которые должны протечь прежде, чем публика сможет полюбить истинно новый шедевр. Поэтому, быть может, гений, чтобы изба-

вить себя от непонимания толпы, говорит себе, что у современников нет чувства необходимой перспективы и что только потомство должно читать произведения, написанные для него, как иные картины, о которых судишь превратно, глядя на них вблизи. Но на самом деле все трусливые предосторожности, чтобы избежать неправильных суждений, бесполезны, эти суждения неизбежны. Гениальное произведение редко вызывает восхищение сразу же, потому что написавший его — необыкновенен, и мало кто на него похож. Его произведение, оплодотворяя немногие умы, способные его понять, само взрастит их и размножит. Публику квартетов Бетховена в течение пятидесяти лет создавали, расширяли сами квартеты Бетховена (квартеты XII, XIII, XIV и XV), совершенствуя, как и все великие произведения, если не артистов, то, во всяком случае, круг слушателей, в широкой мере составленный теперь из элементов, которых нельзя было найти в пору создания шедевра, то есть из людей, способных его любить. То, что называют *потомством,* — это потомство самого произведения. Произведение само (если, упрощая задачу, не принимать в расчет тех гениев, которые могут в свою эпоху параллельно подготовить для будущего публику

более совершенную, публику, которой воспользуются другие гении) создает свое потомство. Если же произведение сохранялось про запас, стало известно лишь потомству, то потомство по отношению к этой вещи явилось бы не потомством, а совокупностью современников, которые просто живут пятьдесят лет спустя. Вот почему артист — а это и сделал Вентейль — должен, если он хочет, чтобы произведение могло идти своим путем, кинуть его, выбрав место поглубже, в далекое открытое грядущее. И всё же, если, не считаясь с этим грядущим временем, которое дает подлинную перспективу шедеврам, непроницательные ценители впадают в ошибку, то, считаясь с ним, ценители тонкие грешат опасной щепетильностью. Конечно, поддаваясь той же иллюзии, благодаря которой на горизонте всё сливается, легко вообразить себе, что все революции, происходившие до сих пор в живописи или музыке, считались всё же с известными правилами, а то, что мы видим сейчас: импрессионизм, искания диссонансов, исключительное пользование китайской гаммой, кубизм, футуризм, — оскорбительно непохоже на всё предыдущее. Ведь на всё предыдущее мы смотрим, не принимая в расчет, что длительный процесс усвоения превратил

его для нас в массу, хотя, конечно, и не совершенно одинаковую, но в общем однородную, где Гюго является соседом Мольера. Подумаем только о тех оскорбительных несообразностях, которые, если не принимать в расчет будущего и связанных с ним перемен, представил бы нам гороскоп наших зрелых лет, составленный в пору нашей юности. Но не все гороскопы правдивы, и если в то целое, что представляет собою красота художественного произведения, мы вводим фактор времени, то примешиваем, по нашему мнению, нечто столь же рискованное, а тем самым лишенное подлинного интереса, как и всякое пророчество, неисполнение которого отнюдь не свидетельствует о скудоумии пророка, ибо то, что превращает в реальность ту или иную возможность или же исключает ее, не входит непременно в компетенцию гения; можно было быть гениальным и не верить в будущность железных дорог или аэропланов либо, будучи великим психологом, не верить в лживость любовницы или друга, чьи измены предсказал бы психолог самый посредственный.

Если я не понял сонаты, то был в восторге от игры г-жи Сван. Ее туше (так же, как ее пеньюар, как благоухания на лестнице ее дома, как ее манто,

как ее хризантемы) казалось мне частью некоего целого, совершенно особого и таинственного мира, — мира бесконечно более возвышенного, нежели тот, где разум может анализировать талант. «Не правда ль, как прекрасна эта соната Вентейля? — сказал мне Сван. — Тот момент, когда под деревьями — ночь, когда арпеджии скрипки роняют свежесть? Сознайтесь, что это очень красиво; здесь вся статичность лунного света, а это и существенно. Неудивительно, если курс лечения светом, вроде того, что проходит моя жена, оказывает влияние на мышцы, раз лунный свет не дает листьям шелохнуться. Вот что так прекрасно изображено в этой коротенькой фразе: это Булонский лес, впавший в каталепсию. На берегу моря это еще разительнее, ведь там — слабые голоса волн, которые прекрасно слышны, потому что кругом все неподвижно. В Париже — совершенно обратное: замечаешь, самое большее, этот необычайный свет на зданиях, это небо, словно озаренное пожаром — бесцветным и безопасным, нечто вроде догадки о каком-то огромном факте из хроники. Но в коротенькой фразе Вентейля, да и во всей сонате, — это не то, это происходит в лесу, в групетто отчетливо слышен чей-то голос: «Так светло, что можно

бы читать газету»». Эти слова Свана могли бы мне внушить неверное представление о сонате, потому что в музыке заключено слишком многое и мы не можем отвлечься от того, что, по внушению, отыскиваем в ней. Но из других его слов я понял, что эта густая ночная листва была просто-напросто той самой, под сенью которой он в ресторанах парижских окрестностей не раз слушал вечером коротенькую фразу сонаты. Вместо глубокого смысла, которого он так часто от нее добивался, она напоминала Свану ту листву, что обвивалась вокруг нее размеренным рисунком (и которую ему хотелось увидеть вновь, ибо фраза, как ему казалось, была заключена внутри нее, словно душа), в ней была вся та весна, которой Сван некогда не смог насладиться, ибо ему, лихорадочно озабоченному, каким он был тогда, не хватало нужного спокойствия, и которую фраза сохранила для него (подобно тому, как для больного сберегают вкусные вещи, которых он не мог есть). О том очаровании, которое порой он испытывал ночью, в Булонском лесу, и о котором соната Вентейля могла ему рассказать, он не мог бы расспросить Одетту, сопровождавшую его, однако, так же как и эта коротенькая фраза. Но Одетта была тогда только подле него (а не в нем,

как мотив Вентейля) — и не видела, следовательно, — хотя бы она и была в тысячу раз более чуткой — того, что никто из нас (я по крайней мере долгое время думал, что это правило не терпит исключений) не в силах вынести наружу. «Ведь в сущности это очень мило, не правда ли, — сказал Сван, — что звук, точно вода, точно зеркало, ловит отражения? А заметьте, что фраза Вентейля показывает мне только то, на что я не обращал внимания в то время. В ней ничего не осталось от моей любви, от моих тогдашних тревог, произошла замена». — «Шарль, всё, что вы тут говорите, мне кажется, не слишком любезно по отношению ко мне». — «Нелюбезно! Женщины бесподобны. Я просто хотел сказать этому юноше, что музыка изображает — по крайней мере для меня — вовсе не «волю в себе» и не «синтез бесконечного», а, например, старика Вердюрена в сюртуке и пальмариум Акклиматизационного сада. Уж сколько раз, не выходя из нашей гостиной, я с ней, с этой маленькой фразой, ездил обедать в Арменонвиль. Боже мой, это ведь все-таки менее скучно, чем обедать там с госпожой де Камбремер». Г-жа Сван рассмеялась. «Эта дама, говорят, была очень влюблена в Шарля», — объяснила она мне тем же тоном, каким незадолго до того, говоря о Вермере

Дельфтском, оказавшемся ей, к моему удивлению, знакомым, она мне ответила: «Дело ведь в том, что мой супруг занимался этим художником, когда ухаживал за мной. Не правда ли, милый мой Шарль?» — «Не судите вкривь и вкось о госпоже де Камбремер», — сказал Сван, в душе весьма польщенный. «Но я ведь только повторяю, что мне говорили. Впрочем, она, кажется, очень умная, я ее не знаю. Я считаю ее очень pushing,[12] что удивляет меня в умной женщине. Но все говорят, что она была от вас без ума, в этом нет ничего обидного». Сван оставался нем и глух, что в своем роде было знаком согласия и доказательством тщеславия. «Уж раз то, что я играю, напоминает Акклиматизационный сад, — продолжала г-жа Сван, шутки ради притворяясь обиженной, — мы могли бы сделать его целью прогулки, если это будет приятно мальчику. Прекрасная погода, и вы освежите дорогие вам воспоминания! Кстати, по поводу Акклиматизационного сада: вы знаете, этот молодой человек думал, будто мы очень любим одну особу, которую я, когда только могу, «ставлю на место», — мадам Блатен! По-моему, для нас очень унизительно, что ее считают на-

[12] Примечания: 12
предприимчивой *(англ.).*

шим другом. Подумайте, даже добрейший доктор Котар, который никогда ни о ком плохо не говорит, заявляет, что она зловонна». — «Что за ужас! За нее говорит только ее поразительное сходство с Савонаролой. В точности портрет Савонаролы работы Фра Бартоломео». Эта мания Свана — отыскивать в живописи подобные сходства — находит себе оправдание, ибо даже то, что мы называем *индивидуальным выражением лица*, является — как приходится с такой грустью убеждаться в этом, когда любишь и когда хотелось бы верить в неповторимую реальность личности, — чем-то общим и могло встречаться в разные эпохи. Но если бы послушать Свана, то шествия волхвов, уже полные таких анахронизмов в эпоху Беноццо Гоццоли, который ввел в них членов рода Медичи, оказались бы еще более анахроничными, так как в них запечатлелись портреты множества людей, современников не Гоццоли, но Свана, то есть живших не только на пятнадцать веков позже Рождества, но и на четыре века позже самого художника. По мнению Свана, не было ни одного сколько-нибудь известного парижанина, которого нельзя было бы узнать в этих шествиях, подобных тому акту одной из пьес Сарду, где по дружбе к автору и к исполнительнице главной

роли, а также ради моды и забавы, появлялись на сцене, каждый на один вечер, все парижские знаменитости, известные врачи, политические деятели, адвокаты. «Но что общего между ней и Акклиматизационным садом?» — «Всё». — «Как, вы полагаете, что зад у нее небесно-голубой, как у обезьян?» — «Шарль, что за неприличие! Нет, я думала о том ответе, который она получила от сингалезца. Расскажите ему, это действительно острый ответ». — «Это так глупо. Вы знаете, госпожа Блатен заговаривает со всеми тоном, который ей самой кажется любезным, а тон этот прежде всего — покровительственный». — «То, что наши соседи с Темзы называют: patronising[13]», — прервала Одетта. — «Недавно она поехала в Акклиматизационный сад, где есть чернокожие — сингалезцы, кажется, — это говорила моя жена, она много сильнее меня в этнографии». — «Да ну, Шарль, не издевайтесь». — «Но я ничуть не издеваюсь. Так вот, она обращается к одному из этих чернокожих: «Здравствуй, негритос»». — «Это еще пустяки». — «Как бы там ни было, это определение не понравилось чернокожему. «Я-то негритос, — рассердился он на г-жу Блатен, — а

[13] Примечания: 13
покровительственно, надменно *(англ.).*

ты — навоз»». — «По-моему, очень забавно. Мне страшно нравится эта история. Не правда ли, «мило»? Так и видишь мамашу Блатен: «Я-то негритос, а ты — навоз»».

Я выразил самое горячее желание отправиться посмотреть на этих сингалезцев, один из которых назвал г-жу Блатен: навоз. Они вовсе не интересовали меня. Но я подумал, что по дороге в Акклиматизационный сад и на обратном пути нам придется проехать Аллею акаций, где я так любовался г-жой Сван, и что, быть может, мулат, приятель Коплена, который — увы — ни разу не видел, как я приветствую г-жу Сван, увидит меня рядом с ней в ее виктории.

В те минуты, когда Жильберта уходила переодеться перед прогулкой, Сваны, оставшись со мной в гостиной, с удовольствием рассказывали мне о редкостных добродетелях своей дочери. Всё, что я мог наблюдать, казалось, подтверждало их слова: я замечал, что она, как я слышал об этом от ее матери, полна нежной продуманной заботливости не только по отношению к своим подругам, но и к прислуге, к бедным, полна готовности сделать что-нибудь приятное, опасений — как бы не огорчить, сказывавшихся в разных мелочах, которые стоили ей порой большого труда. Она

приготовила подарок торговке с Елисейских полей и, хоть шел снег, сама отправилась отдать его, не желая откладывать на другой день.

— Вы не представляете себе, что за сердце у нее, ведь она это не показывает, — говорил ее отец.

Такая юная, она уже казалась рассудительнее своих родителей. Когда Сван говорил, какие большие связи у его жены, Жильберта отворачивала голову и умолкала, но не с видом порицания, а потому, что по отношению к отцу она не допускала и возможности какой бы то ни было критики. Однажды, когда я рассказал ей о мадемуазель Вентейль, она ответила:

— Никогда не познакомлюсь с ней, потому что она нехорошо обращалась со своим отцом, ведь говорят, она очень огорчала его. Вам этого так же не понять, как и мне, ведь вы, наверно, не дольше переживете вашего папу, чем я моего, да это и вполне естественно. Как забыть того, кого мы всегда любили?

А как-то раз, когда она еще больше, чем всегда, ласкалась к Свану и я заговорил об этом после его ухода, — она сказала: «Да, бедный папа, скоро годовщина смерти его отца. Вы можете понять, что он переживает, вам ведь это понятно, мы с вами одинаково это чувствуем. Так вот, я стара-

юсь быть не такой скверной, как всегда». — «Но он-то не считает вас скверной, он считает, что вы самая хорошая». — «Бедный папа, это потому, что он слишком добрый».

Родители не только восхваляли мне добродетели Жильберты, той самой Жильберты, которая даже и тогда, когда я еще ни разу не видел ее, представлялась мне на фоне церкви, где-нибудь в Иль-де-Франсе, и которая потом, вызывая во мне уже не мечты, но воспоминания, всегда оставалась за изгородью из розового боярышника рядом с крутой тропинкой, где я проходил, направляясь в сторону Мезеглиза. Когда я, стараясь говорить равнодушным тоном друга семейства, которому хотелось бы знать, к кому привязан ребенок, кого из своих подруг Жильберта любит больше всего, спросил об этом г-жу Сван, она мне ответила:

— Но, вероятно, вам это лучше знать, — вам, главному любимцу, главному crack,[14] как говорят англичане.

Разумеется, в случаях столь полного совпадения, когда действительность прилаживается и применяется к тому, о чем мы так давно мечтаем, она совершенно скрывает от нас наши мечты,

---

[14] Примечания: 14
вошедшему в моду *(англ.)*.

сливается с ними, как две равные фигуры, образующие, после наложения друг на друга, одну, тогда как нам, для того чтобы придать нашей радости всю полноту ее значения, хотелось бы, напротив, сохранить за всеми элементами нашего желания, даже в ту минуту, когда мы их касаемся, тем самым укрепляя свою уверенность в том, что это именно они, — престиж недосягаемости. И мысль не в силах даже восстановить прежнее состояние, чтобы сопоставить его с этим новым, потому что у нее нет больше свободы действий: знание, приобретенное нами, воспоминание о первых минутах, казавшихся такими несбыточными, услышанные нами слова заграждают вход в наше сознание и завладевают нашей памятью в гораздо большей мере, чем нашим воображением; на наше прошлое, созерцая которое мы уже не властны отвлечься от них, они оказывают задним числом влияние более сильное, чем на будущее, форма которого остается еще свободной. Я целые годы мог думать, что начать посещать г-жу Сван — смутная греза, никогда для меня не осуществимая; а теперь, стоило мне пробыть у нее четверть часа, — и время, когда я не был знаком с ней, казалось мне химерическим и смутным, как возможность, упраздненная осуществле-

нием другой возможности. Разве эта столовая могла еще оставаться для меня местом непостижимым, предметом моих мечтаний, когда при каждом движении моих мыслей я встречался с непреломляющимися лучами, исходившими в бесконечность, вплоть до самого далекого моего прошлого, от омара по-американски, которого я только что поел? Должно быть, и Сван испытывал нечто подобное, ибо эти покои, где он принимал меня, можно было рассматривать как некое место, слившееся воедино, совпавшее не только с той идеальной квартирой, что родилась в моем воображении, но и с другой еще, которую ревнивая любовь Свана, столь же изобретательная, как и мои мечты, часто рисовала ему, — квартирой общей для него с Одеттой, казавшейся ему такой недостижимой в тот вечер, когда она пригласила его вместе с Форшвилем заехать к ней выпить оранжаду; и столовая, где мы завтракали, для него теперь вобрала в себя тот несбыточный рай, где он с легким нетерпением, но также и с некоторой долей удовлетворенного самолюбия мог сказать: «Барыня готова?» — те самые слова, которых, как ему казалось раньше и о чем он не мог без тревоги подумать, ему никогда не придется говорить *их* дворецкому. Должно быть, и я, в такой же мере

как и Сван, не мог познать свое счастье, и если сама Жильберта восклицала: «Кто бы сказал, что та девочка, на которую вы молча смотрели, когда она играла, станет вашим лучшим другом и что вы будете приходить к ней, когда вам захочется!» — она говорила о перемене, которую я, глядя со стороны, конечно, должен был признать, но которой внутренне я не усвоил, ибо она складывалась из двух разных состояний, и мне не удавалось представить их себе одновременно так, чтобы они не утрачивали своего различия.

И все же эта квартира, благодаря тому, что воля Свана так страстно стремилась к ней, должно быть, сохранила для него некоторую прелесть, поскольку об этом я мог судить по себе, для которого она не утратила всей своей таинственности. То особое обаяние, которое в моем представлении с таких давних пор окружало жизнь Сванов, я не совсем изгнал из их дома, когда сам проник в него; я только оттеснил его, подчинив себе, чужеземцу, недавнему парии, которому г-жа Сван теперь милостиво пододвигала, приглашая сесть, восхитительное, враждебное и скандализованное кресло; но это очарование я еще чувствую вокруг себя, вспоминая о нем. Не оттого ли, что в те дни, когда Сваны приглашали меня завтракать,

а потом ехать гулять с ними и с Жильбертой, я, в одиночестве ожидания глядя на ковер, на кресла, на консоли, на ширмы, на картины, оставлял на них печать жившей во мне мысли, что вот войдет г-жа Сван, или ее муж, или Жильберта? Не оттого ли, что потом все эти вещи жили в моей памяти по соседству со Сванами и под конец в них что-то перешло от Сванов? Не оттого ли, что, как я знал, Сваны проводили свою жизнь среди этих вещей, каждая из них становилась в моих глазах словно эмблемой их особой жизни, их обыкновений, которые слишком долго оставались недоступны для меня, так что и теперь продолжали казаться мне чуждыми, даже когда мне милостиво разрешили принять в них участие? Как бы то ни было, всякий раз, что мне вспоминается эта гостиная, которую Сван (критикуя, без всякого намерения перечить в чем-нибудь вкусам своей жены) находил такой разнородной по составу, — потому что, хотя она и была задумана наполовину как оранжерея, наполовину как ателье, в подражание квартире, где он познакомился с Одеттой, последняя начала уже заменять в этой путанице целый ряд вещей в китайском вкусе, казавшихся ей теперь не совсем «настоящими», очень «не стильными», множеством маленьких стульев,

обитых старинным шелком в стиле Людовика XIV (не считая шедевров, перевезенных Сваном из особняка на Орлеанской набережной), — она, эта сборная гостиная, напротив, полна цельности, единства, неповторимого очарования, которых никогда не бывает ни в обстановке, завещанной нам прошлым и сохранившейся в самой полной неприкосновенности, ни в обстановке самой современной, носящей отпечаток живой личности: ибо только мы сами, веря, что вещи, которые мы видим, живут своей особой жизнью, можем в некоторые из них вложить душу, которая сохраняется в них и получает в нас свое развитие. Все же представления, которые я составил себе о часах, проводимых Сванами в этой квартире, являвшейся для будничной стороны их жизни тем же, чем тело для души, и выражавшей своеобразие этой жизни, столь непохожей на времяпрепровождение других, — представления эти, всегда одинаково волнующие и не поддающиеся определению, слились, сплавились с обстановкой, с плотными коврами, с расположением окон, с поведением прислуги. Когда после завтрака мы шли пить кофе в широкий фонарь гостиной на солнце и г-жа Сван спрашивала меня, сколько кусков сахара мне положить, от шелкового пуфа,

который она пододвигала мне, веяло не только мучительным очарованием, открывшимся мне когда-то — у ограды из розового боярышника, а потом около лавровых деревьев — в имени Жильберты, но вместе и той враждебностью, с которой отнеслись ко мне ее родители и которая, казалось, так хорошо была известна этому маленькому пуфу, разделявшему ее, что я считал себя недостойным его и находил некоторой подлостью коснуться ногой его беззащитной обивки; — некая затаенная во всей этой обстановке душа связывала его с освещением, свойственным двум часам дня, не таким, как в остальной части этого залива, где у наших ног переливались золотые волны, из которых, словно волшебные острова, всплывали голубоватые диваны и туманные ковры; и не было ни одной вещи, вплоть до картины Рубенса, висевшей над камином, которая не обладала бы таким же, и почти столь же властным, очарованием, как свановские ботинки на шнурках и его пальто с пелериной, подобие которого мне так хотелось иметь и замены которого другим Одетта требовала теперь от мужа, желая, чтоб он был элегантнее, раз я делаю им честь, сопровождая их на прогулке. Она тоже уходила переодеваться, хоть я и уверял ее, что никакое

платье для визитов не сравнится с чудесным крепдешиновым или шелковым пеньюаром, бледно-розовым, вишневым, розовым «Тьеполо», белым, лиловым, зеленым, красным, желтым сплошь или с узорами, в котором г-жа Сван завтракала и который собиралась снять. Когда я говорил, что ей следовало бы идти в этом платье, она смеялась — потому ли, что ее забавляло мое невежество, или мой комплимент доставлял ей удовольствие. Такое обилие пеньюаров она оправдывала тем, что только в них ей было по себе, и она покидала нас, чтобы надеть одно из тех царственных платьев, которые на всякого производили впечатление и среди которых мне, однако, предлагали порой указать по моему вкусу самое подходящее.

Как я был горд, когда в Акклиматизационном саду, выйдя из экипажа, шел рядом с г-жой Сван! На нее, шествующую небрежной походкой, в развевающемся манто, я бросал восхищенные взгляды, ответом на которые была кокетливая, долгая улыбка. Теперь, когда мы встречали кого-нибудь из товарищей Жильберты, мальчика или девочку, кланявшихся издали, я сам в свой черед оказывался в их глазах одним из тех существ, которым завидовали, одним из тех друзей

Жильберты, которые знакомы с ее семьей и приобщены к другой части ее жизни, той, что протекала не на Елисейских Полях.

В аллеях Булонского Леса или Акклиматизационного сада мы часто встречались с какой-нибудь великосветской дамой — приятельницей Свана, причем ему случалось не замечать, что она с ним здоровается, так что на нее указывала ему жена. «Шарль, вы не видите госпожу де Монморанси?» И Сван, с приветливой улыбкой, которой он был обязан долгим годам дружбы, все же снимал шляпу широким изящным жестом, свойственным лишь ему. Дама иногда останавливалась, довольная, что может сказать г-же Сван любезность, которая ни к чему не обяжет и которой та, как это было известно, не постарается воспользоваться, настолько Сван приучил ее к сдержанности. Это не помешало ей усвоить вполне светские манеры, и как бы изящна и благородна ни была осанка дамы, г-жа Сван никогда не уступала ей в этом отношении; остановившись на минуту поговорить с приятельницей мужа, она с такой простотой представляла ей Жильберту и меня, в приветствии ее было столько свободы и спокойствия, что трудно было решить, кто из них двух — великосветская дама: жена ли Свана, или встре-

тившаяся нам аристократка. В тот день, когда мы ходили смотреть сингалезцев, на обратном пути навстречу нам показалась, в сопровождении двух других, как будто составлявших ее свиту, пожилая, но еще красивая дама в темном манто и в маленькой белой шляпке, подвязанной на шее двумя лентами. «А! вот это будет интересно для вас», — сказал мне Сван. Старая дама, от которой нас теперь отделяло несколько шагов, улыбалась ласково и нежно. Сван снял шляпу, г-жа Сван сделала глубокий реверанс и собиралась поцеловать руку этой словно сошедшей с портрета Винтергальтера даме, но та подняла ее и поцеловала. «Ну, наденете ли вы шляпу?» — сказала она Свану голосом грубым и чуть сердитым, как старая приятельница. «Я представлю вас ее императорскому высочеству», — сказала мне г-жа Сван. Сван на минуту отвел меня в сторону, пока г-жа Сван разговаривала с высочеством о хорошей погоде и о зверях, только что полученных Акклиматизационным садом. «Это принцесса Матильда, — сказал он мне. — Знаете? — приятельница Флобера, Сент-Бёва, Дюма. Подумайте, племянница Наполеона I! Ее руки просили Наполеон III и русский император. Не правда ли, это интересно? Поговорите с ней. Но я не хотел

бы, чтоб она целый час продержала нас стоя. Я встретил Тэна, который мне сказал, что ваше высочество в ссоре с ним», — обратился к ней Сван. «Он вел себя как свинья, — сказала она резко и произнося последнее слово так, точно это было имя какого-нибудь епископа — современника Жанны д'Арк. — После его статьи об императоре я дала ему понять, что мы больше не знакомы». Я испытал то же удивление, какое испытываешь, открывая переписку герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской. И действительно, принцесса Матильда, оживленная чувствами столь французскими, переживала их с честной грубостью, свойственной старой Германии и унаследованной ею, вероятно, от матери, принцессы Вюртембергской. Свою несколько шероховатую и почти мужскую прямоту она, улыбаясь, смягчала итальянской томностью. И все это сливалось с туалетом, настолько напоминавшим Вторую империю, что хотя принцесса и носила его, вероятно, только из привязанности к модам, которые были ей милы, всё же, казалось, она намеренно стремится избежать исторической ошибки и оправдать ожидания тех, кто ожидал от нее воскрешения иной эпохи. Я шепнул Свану, чтобы он спросил ее, знала ли

она Мюссе. «Очень мало, мсье», — ответила она, делая вид, что недовольна, и конечно, Свана она назвала *мсье* только шутки ради, так как близко знала его. «Он обедал у меня один раз. Я пригласила его к семи часам. Так как в половине восьмого его еще не было, мы сели за стол. Он приходит в восемь, здоровается со мной, садится, рта не раскрывает и уходит сразу после обеда, так что я не слышала и звука его голоса. Он был мертвецки пьян. Это не внушило мне особого желания повторить попытку». Сван и я стояли в стороне. «Надеюсь, этот маленький сеанс не затянется, — сказал он мне, — у меня пятки заболели. Да и не знаю, зачем моя жена поддерживает разговор. И она же ведь потом будет жаловаться, что устала, а я так терпеть не могу этих стоянок». Действительно, г-жа Сван, получившая эти сведения от г-жи Бонтан, как раз сообщала принцессе, что правительство, сознав наконец свою неучтивость, решило послать ей приглашение присутствовать послезавтра на трибуне, при посещении царем Николаем Дома Инвалидов. Но принцесса, несмотря на свое обращение, несмотря на характер окружающей ее среды, которую составляли главным образом художники и писатели, в сущности, всякий раз, когда надо было действовать,

оставалась племянницей Наполеона: «Да, мадам, я получила его сегодня утром и отправила назад министру, к которому оно, вероятно, сейчас уже и вернулось. Я написала ему, что не нуждаюсь в приглашениях, чтобы навещать Дом Инвалидов. Если правительство желает, чтобы я посетила его, то я буду там, но не на трибуне, а в нашем склепе, где гробница императора. Мне для этого не нужно билетов. У меня ключи. Прихожу, когда хочу. Правительству только остается сообщить мне, желает ли оно или не желает, чтобы я присутствовала. Но если я и буду, то только там, или уж не буду вовсе». В эту минуту г-же Сван и мне поклонился молодой человек, поздоровавшийся с нами на ходу и с которым, я думал, она не была знакома: Блок. На мой вопрос г-жа Сван ответила, что он был представлен ей г-жой Бонтан, что он прикомандирован к канцелярии министра, — факт, неизвестный мне. Впрочем, она, должно быть, не часто встречалась с ним — или же не хотела называть его имени, находя его, вероятно, недостаточно «шикарным», так как она сказала, что его зовут г-н Морель. Я стал уверять ее, что она ошибается, что его зовут Блок. Принцесса поправила волочившийся за ней шлейф, на который г-жа Сван глядела с восхищением. «Это меха,

которые прислал мне русский император, — сказала принцесса, — а так как я сейчас была у него, то и надела их, чтобы показать, какое вышло из них манто». — «Говорят, принц Людовик поступил в русскую армию; вашему высочеству, верно, грустно расстаться с ним», — сказала г-жа Сван, не замечавшая нетерпения своего мужа. «Очень ему это нужно! Я говорила ему: если в роду у нас был военный, то это еще не причина», — ответила принцесса, с внезапной простотой намекая на Наполеона I. Свану больше не терпелось: «Ваше высочество, разрешите мне взять на себя вашу роль и просить позволения откланяться: моя жена была серьезно больна, и я не хотел бы, чтоб она оставалась стоять на месте». Г-жа Сван снова сделала реверанс, и принцесса подарила нас всех божественной улыбкой, которая, казалось, была навеяна прошлым, грацией ее молодости, вечерами в Компьене, и скользнула, нежная и неизменная, по ее лицу, еще только что брюзгливому; затем принцесса удалилась в сопровождении двух фрейлин, которые, как подобает толмачам, нянькам или сиделкам, вкрапливали в наш разговор бессодержательные фразы и ненужные объяснения. «Вам надо будет зайти расписаться у ней как-нибудь на этой неде-

ле, — сказала мне г-жа Сван, — у всех этих, как говорят англичане, royalties визитных карточек не загибают, но она пошлет вам приглашение, если вы распишетесь у нее».

Порою в эти последние дни зимы, прежде чем отправиться на прогулку, мы заходили на одну из тех маленьких выставок, которые открывались в то время и где Свана, видного коллекционера, с особой почтительностью приветствовали продавцы картин, устраивавшие эти выставки. И в это еще холодноватое время года мои давние мечты, мечты о путешествии на юг и в Венецию, пробуждались вновь, пробуждались в этих залах, где весна, бывшая уже в разгаре, и жаркое солнце покрывали лиловатыми отблесками розовые отроги Альп и придавали Большому каналу темную прозрачность изумруда. В плохую погоду мы отправлялись в концерт или в театр, а потом куда-нибудь пить чай. Когда г-жа Сван хотела сказать мне что-нибудь такое, что должно было остаться непонятным посетителям, сидевшим за соседними столиками, а то и гарсонам, она обращалась ко мне по-английски, точно это был язык, известный лишь нам двоим. Однако же его знали все, только я один еще не научился ему и был принужден сообщить об этом г-же Сван,

чтобы она больше не делала насчет тех, кто пил чай или подавал его, замечаний, которые, как я угадывал, были нелестны и в которых я не понимал ни слова, тогда как они были совершенно понятны тем, к кому относились.

Однажды, когда мы собирались пойти на утренний спектакль, Жильберта повергла меня в глубокое удивление. Это был именно тот день, о котором она задолго мне рассказывала, и на этот день приходилась годовщина смерти ее деда. Мы с ней и ее гувернанткой должны были идти слушать отрывки из оперы, и Жильберта переоделась в ожидании этого концерта, храня тот равнодушный вид, который всегда бывал у нее, когда мы что-нибудь предпринимали; она говорила, что ей все равно, только бы доставить мне удовольствие и сделать приятное родителям. Перед завтраком г-жа Сван отвела нас в сторону и сказала ей, что ее отец будет недоволен, если мы в такой день отправимся в концерт. Я нашел это вполне естественным. Жильберта осталась безучастна, но побледнела от злости, которую не смогла скрыть, и больше не сказала ни слова. Когда г-н Сван вернулся, жена отвела его в противоположный угол гостиной и что-то сказала ему на ухо. Он подозвал Жильберту и увел ее в

соседнюю комнату. Оттуда послышались возбужденные голоса. Всё же я не мог поверить, чтобы Жильберта, такая покорная, такая нежная, такая благоразумная, не пожелала исполнить просьбу отца, в такой день и по такой ничтожной причине. Наконец Сван вышел, говоря ей:

— Ты слышала, что я тебе сказал. Теперь делай что хочешь. Злобное выражение не исчезло с лица Жильберты за всё время

завтрака, после которого мы пошли в ее комнату. Потом вдруг, без всяких колебаний, как будто бы их у нее и не было вовсе, она воскликнула: «Два часа! Но вы знаете, что концерт начинается в половине третьего». И она стала торопить гувернантку.

— Но разве это не будет неприятно вашему отцу? — сказал я.

— Ничуть.

— Однако он опасался, как бы это не показалось странным из-за этой годовщины.

— Какое мне дело до того, что думают другие. По-моему, смешно считаться с чужим мнением, когда говоришь о чувстве. Чувствуешь для себя, а не для публики. Мадемуазель, у которой мало развлечений, радовалась, что пойдет на этот концерт, и я не стану лишать ее этого удовольствия,

чтобы доставить удовольствие публике.

Она взяла шляпу.

— Жильберта, — сказал я, беря ее за руку, — ведь это не для того, чтобы сделать удовольствие публике, а чтоб сделать удовольствие вашему отцу.

— Надеюсь, вы не собираетесь делать мне замечания, — резко крикнула она и вырвала руку.

Оказывая мне милость, еще более драгоценную, нежели прогулки в Акклиматизационный сад или посещение концертов, Сваны приобщили меня даже к своей дружбе с Берготом, явившейся еще до знакомства с Жильбертой источником обаяния, которое я в них находил, когда думал, что благодаря близости с божественным старцем Жильберта могла бы стать для меня самым страстно любимым другом, если бы ее несомненное презрение ко мне не отнимало у меня надежды на то, что когда-нибудь она увезет меня вместе с ним осматривать его любимые города. И вот однажды г-жа Сван пригласила меня на званый завтрак. Я не знал, кто будет в числе гостей. Только что войдя, еще в передней, я был сбит с толку одним смутившим меня обстоятельством. Г-жа Сван редко пропускала случай усвоить одно из тех обыкновений, которые в течение сезона считаются элегантными, но, не будучи в

силах удержаться, вскоре же забываются (так, за несколько лет до этого у нее был свой «hansom cab»,[15] и она посылала печатные приглашения на завтрак, «to meet»[16] какое-нибудь более или менее замечательное лицо). Иногда в этих обыкновениях не было ничего таинственного, и они не требовали специального посвящения. Так, следуя жалкому новшеству тех годов, вывезенному из Англии, Одетта заказала для своего мужа визитные карточки, где имени Шарля Сван предшествовали буквы: *Mr.* После того как я сделал ей первый визит, г-жа Сван, пользуясь ее выражением, «загнула» у меня одну из таких карточек. Еще никогда никто не оставлял у меня карточек; я почувствовал такую гордость, такое волнение, такую благодарность, что, собрав все свои деньги, заказал великолепную корзину камелий и послал ее г-же Сван. Я умолял отца завезти ей визитную карточку, но сначала поскорее заказать самому такие карточки, где бы имени его предшествовало: *Mr.* Он не внял ни той, ни другой моей просьбе, несколько дней я был в

[15] Примечания: 15

Двухколесный экипаж, в котором место для кучера располагалось сзади, так что править приходилось через голову седока *(англ.).*

[16] Примечания: 16

встретить *(англ.).*

отчаянии, а потом пришел к заключению, что он, пожалуй, прав. Но эта мода писать *Mr.* была если и бесцельна, то все же понятна. Иначе обстояло дело с другим новшеством, которое мне было дано узнать в день этого завтрака, но в смысл которого я так и не проник. Когда я проходил из передней в гостиную, дворецкий подал мне маленький и продолговатый конверт, на котором было написано мое имя. Удивленный, я поблагодарил его, а между тем взглянул на конверт. Я не знал, что с ним делать, как иностранец, не умеющий обращаться с теми инструментиками, которые на обедах у китайцев раздаются гостям. Я увидел, что конверт запечатан, побоялся проявить нескромность, открыв его сразу же, и положил в карман, сделав вид, что понимаю. Несколько дней тому назад г-жа Сван написала мне, приглашая завтракать в «небольшой компании». Было, однако, шестнадцать человек, в числе которых, о чем я совершенно не подозревал, находился Бергот. Г-жа Сван, только что представившая меня некоторым из них, вдруг, сразу же вслед за моим именем, тем же тоном, которым она произносила его, произнесла имя нежного седовласого Певца (как будто только мы двое были приглашены на завтрак и были одинаково рады познакомиться

друг с другом). Это имя — Бергот — заставило меня содрогнуться, точно выстрел из револьвера, наведенного на меня, но инстинктивно соблюдая приличие, я поклонился; передо мной, подобный тем фокусникам, что выходят, невредимые и одетые в сюртук, из клубов порохового дыма, откуда вылетает голубь, стоял, отвечая на мой поклон, человек молодой, тяжеловесный, маленький, коренастый и близорукий, с красным носом в виде раковины улитки и с черной бородкой. Я был смертельно опечален, ибо в прах распался для меня не только тот мечтательный старец, от которого уже ничего не оставалось, — исчезла красота огромного творения, вместилищем которого могло быть в моих глазах изнемогающее священное тело, словно храм воздвигнутое мной нарочно для него, но для которого совсем не оставалось места в приземистом, состоящем из кровеносных сосудов, костей и мускулов теле стоявшего передо мной человечка со вздернутым носом и черной бородкой. Весь тот Бергот, которого создавал я сам, медленно и осторожно, капля за каплей, словно это был сталактит, вкладывая в него прозрачную красоту его книг, — этот Бергот оказывался вдруг ни на что не годным, раз нельзя было устранить улиткообразный нос и убрать

черную бородку, подобно тому как становится ненужным решение задачи, в условие которой мы недостаточно вникли, упустив из виду, что итог должен составить определенную цифру. Нос и бородка были элементы неустранимые и тем более досадные, что, заставляя меня полностью перестроить личность Бергота, они, казалось, все время заключали в себе, создавали, выделяли из себя особый вид ума, деятельного и самодовольного, что было совершенно ни к чему, ибо этот ум ничего общего не имел с умом, который наполнял его книги, так хорошо знакомые мне и проникнутые сладостной и божественной мудростью. Исходя из них, я никогда бы не натолкнулся на улиткообразный нос; но исходя из этого носа, который, казалось, ни о чем не беспокоился, был вполне развязен и «сам себе хозяин», я пустился бы в направлении, совершенно противоположном творчеству Бергота, набрел бы, по-видимому, на интеллект какого-нибудь торопливого инженера из числа тех, которые, когда им кланяются, считают хорошим тоном сказать: «Благодарю вас, а как вы?» — прежде чем их успеют спросить, как они поживают, и которые, когда им кто-нибудь говорит, что очень рад знакомству, отвечают с лаконичностью, уместной, по их мнению, умной

и современной, поскольку она помогает сберечь драгоценное время: «взаимно». Конечно, имена — это художники-фантасты, которые рисуют нам столь непохожие изображения людей и стран, что мы испытываем своего рода изумление, когда вместо воображаемого мира нам предстоит мир видимый (впрочем, тоже не являющийся миром истинным, ибо наши чувства не в большей мере, чем воображение, способны схватывать сходство, и те в конце концов приблизительные зарисовки действительности, которых удается достичь, по крайней мере так же отличаются от мира зримого, как он отличается от мира воображаемого). Но что касается Бергота, то смущение, в которое приводило меня имя заранее известное, было ничто в сравнении с замешательством, вызванным его знакомым мне творчеством, к которому я принужден был, словно к воздушному шару, привязать человека с бородкой, не зная, будет ли шар в силах его поднять. По-видимому, все же это он написал книги, которые так нравились мне, потому что, когда г-жа Сван сочла нужным сказать ему о моем пристрастии к одной из них, его ничуть не удивило, что об этом сообщают ему, а не какому-нибудь другому гостю, и он как будто не увидел в этом недоразумения; нет, заполняя на-

детый им в честь всех этих званых гостей сюртук телом, жадно готовящимся к близкому завтраку, занятый иными существенными реальностями, он — словно дело шло всего лишь о каком-нибудь давнем эпизоде его жизни, словно был сделан намек на костюм герцога Гиза, в который он был одет в таком-то году на костюмированном балу, — улыбнулся при мысли о своих книгах, которые сразу же опустились в моем мнении (увлекая в своем падении всю ценность Прекрасного, Вселенной, жизни) — настолько, что оказались лишь жалким развлечением человека с бородкой. Я говорил себе, что он, должно быть, трудился над ними, но если бы ему пришлось жить на острове, окруженном месторождениями жемчуга, он вместо того с успехом занялся бы торговлей жемчугом. Творчество его уже не казалось мне больше таким непреложным. И тогда я спросил себя, действительно ли оригинальность доказывает, что великие писатели — боги, из которых каждый царит над страной, только ему принадлежащей, или же есть во всем этом доля обмана, не являются ли различия между произведениями скорее результатом работы, чем выражением коренного различия в самой сущности разных людей.

Между тем уже пошли к столу. Возле своей тарелки я увидел гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Она не так затруднила меня, как конверт, который был передан мне в передней и о котором я совершенно забыл. Гвоздика, хотя и столь же новая для меня, стала более понятной, когда я увидел, что все гости-мужчины, которым возле прибора было положено по такой же гвоздике, взяли ее и воткнули в петлицу сюртука. Я сделал то же самое с непринужденностью вольнодумца, который не знает мессы, но, попав в церковь, встает тогда же, когда встают все, и становится на колени чуть позже, чем все прочие. Меньше понравилось мне другое обыкновение, неизвестное мне и не столь эфемерное. Возле моей тарелки стояла с другой стороны тарелочка, наполненная черным веществом, которое было икрой, как я узнал впоследствии. Что с ним делать, я не знал, но решил не есть его.

Бергот сидел недалеко от меня, я прекрасно слышал всё, что он говорил. Тут мне стало понятно впечатление г-на де Норпуа. Действительно, у него был странный голос; ничто так не влияет на материальные особенности голоса, как наличие мысли. Звучность дифтонгов, энергичный

характер губных зависят от этого. Зависит и дикция. Его дикция показалась мне совершенно непохожей на его манеру писать, и даже то, что он говорил, — непохожим на то, чем полны были его произведения. Но голос принадлежит маске, и он не в силах заставить нас сразу же угадать лицо, открывавшееся нам в стиле. В некоторые моменты разговора, когда Бергот прибегал к той манере, которая не одному лишь господину де Норпуа казалась искусственной и неприятной, я не сразу открывал точное соответствие с теми местами в его книгах, где она принимала столь поэтическую и музыкальную форму. Тогда он обнаруживал в своих словах пластическую красоту, независимую от смысла фраз; а так как человеческое слово связано с душой, но не выражает ее подобно стилю, то казалось, что Бергот говорит почти наперекор смыслу, придавая напевность отдельным словам, а если проводил в них единый образ — растягивая их, не делая интервалов, как будто это был один и тот же звук, утомительно однообразный. Таким образом вычурность, напыщенность и однообразие речевой манеры характеризовали эстетические качества его суждений и являлись в его беседе следствием той же самой способности, которая в его книгах вызыва-

ла последовательность образов и гармонию. Мне сперва тем труднее было заметить это, что в такие моменты слова его не казались словами Бергота, именно потому, что это был подлинный Бергот. Они полны были точных мыслей, не встречавшихся в том «берготовском стиле», который усвоили себе многие хроникеры; и это несходство — предстающее нам в неясном свете в преломлении разговора, точно образ, видимый сквозь закопченное стекло, — было, вероятно, другим выражением того факта, что страница Бергота никогда не совпадала с тем, что бы мог написать любой из числа этих плоских подражателей, украшавших, однако, свою прозу, и в газетных статьях и в книгах, таким множеством образов и мыслей «под Бергота». Это различие в стиле вызывалось тем, что «берготовское» было прежде всего неким драгоценным и подлинным началом, затаенным в каждой вещи и извлекаемым оттуда даром этого великого писателя, — задача, которую и ставил себе сладостный Певец, не преследовавший цели писать под Бергота. По правде говоря, он делал это невольно, потому что был Бергот, и в этом смысле каждая из новых красот его произведений была частицей Бергота, затаившейся в вещи и им оттуда извлеченной.

Но если тем самым каждая из этих красот была связана с другими и могла быть познана, она все же оставалась своеобразной, как то открытие, которое произвело ее на свет, — новой, а следовательно, не похожей на то, что называли «берготовским стилем», представлявшим собой смутный синтез всех Берготов, уже им найденных и записанных, которые отнюдь не позволяли бездарным людям предсказывать, что он откроет где-нибудь еще. В таком положении все большие писатели: красоту их фраз нельзя предугадать, как и красоту женщины, которой еще не знаешь; она — результат творчества, потому что относится к предмету внешнего мира, о котором они думают (а вовсе не о себе) и которому еще не нашли выражения. Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае и напишет первую строку портрета Виллара: «То был довольно высокого роста смуглый мужчина с лицом живым, открытым, рельефным», но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами: «и, право, немного шальным»? Настоящее разнообразие — в этой полноте реальных и неожиданных элементов,

в ветке, усеянной синими цветами, которая, совершенно вопреки ожиданию, бросается в глаза на фоне весенней изгороди, уже казавшейся нам сплошным цветением; меж тем как чисто формальное подражание разнообразию (а таким же способом можно рассуждать и применительно ко всем другим особенностям стиля) — лишь пустота и однообразие, то есть полнейшая противоположность разнообразию, и в произведениях подражателей оно может прельстить только того, кому это разнообразие не было понятно в созданиях мастеров, — только ему подражатель и может напомнить мастера.

И так же как голос Бергота, наверно, очаровал бы нас, если бы это был не он, а какой-нибудь любитель, декламирующий поддельного Бергота, тогда как на самом деле с мыслью Бергота, деятельной и настойчивой, голос этот связывали жизненные нити, слухом улавливаемые не сразу, — совершенно так же и в языке Бергота, с точностью применявшего свою мысль к нравившейся ему действительности, было что-то положительное, чрезмерно питательное, разочаровывавшее тех, кто ожидал, что он будет говорить лишь о «вечном потоке видимостей» и о «таинственных трепетах красоты». К то-

му же необычайность и новизна всего, что он писал, сказывались, когда он говорил, в такой хитроумной постановке вопросов, в таком пренебрежении ко всем существовавшим до сих пор решениям, что можно было подумать, будто он затрагивает лишь мелкие частности, впадает в заблуждение, говорит парадоксы, и, таким образом, мысли его чаще всего казались смутными: ведь каждый называет *ясными мыслями* мысли, отличающиеся той же степенью смутности, что и его собственные. Впрочем, предварительным условием всякого новшества является устранение шаблонов, к которым мы привыкли и которые были для нас олицетворением жизненности, так что всякая новизна речи, равно как и всякая оригинальность в живописи, в музыке, всегда будет казаться надуманной и утомительной. Она основывается на тропах, необычных для нас; нам кажется, что собеседник говорит только метафорами, а это надоедает и производит впечатление неискренности. (В сущности, и старые формы речи тоже когда-то являлись трудными для восприятия образами, пока слушателю был еще неведом мир, изображаемый ими. Но уже давно принято считать, что это и есть настоящий мир, и на него полагаться.) Вот почему, когда

Бергот говорил про Котара, что это — чёртик в банке, старающийся сохранить равновесие, — слова, совершенно простые с нашей теперешней точки зрения, — или про Бришо, что «прическа причиняет ему еще больше забот, чем г-же Сван, так как, занятый и профилем своим и репутацией, он должен стараться о такой куафюре, по которой его всегда можно было бы принять и за льва, и за философа», — слушатель скоро начинал чувствовать усталость и хотел найти опору в чем-то более конкретном, то есть, попросту говоря, в чем-то более обычном. Хотя неузнаваемые слова, которые произносила маска, бывшая у меня перед глазами, надо было, конечно, связать с писателем, возбуждавшим мое восхищение, всё же они не умещались в его книги наподобие квадратиков головоломки, которые нужно вдвинуть в другие, — они лежали в другой плоскости и требовали транспонировки, благодаря которой я однажды, повторяя себе слышанные от Бергота фразы, нашел в них все приемы его литературного стиля, узнал и смог определить различные его элементы в этой устной речи, казавшейся мне такой далекой от него.

В частности, особая, почти преувеличенная тщательность и энергия, с которой он произносил

отдельные слова, отдельные прилагательные, чаще встречавшиеся в его речах и не лишенные пафоса, выделяя каждый слог, а последний слог произнося нараспев (как, например в слове «visage», которым он заменял всегда слово «figure»[17] и в котором увеличивал число *v, s, g* — как будто выпуская их из разжимаемой в эти минуты ладони), в точности соответствовала тому почетному месту, на которое он в своей прозе ставил эти любимые слова, освещая их, предваряя своего рода полями и связывая с общим составом фразы таким способом, что читателю приходилось, во избежание метрической ошибки, принимать во внимание их «количество». Однако в разговорах Бергота нельзя было встретить того особого освещения, которое в его книгах, как и у других авторов, часто видоизменяет в написанной фразе внешний облик слова. Конечно, этот свет подымается из далеких глубин и лучи его не касаются наших слов в те часы, когда, открывшись другим в беседе, мы в известной степени закрываемся от самих себя. С этой точки зрения, в его книгах было больше интонаций, больше ударений, чем в его речах, — ударений,

[17] Примечания: 17
обличье, облик *(фр.).*

независимых от красоты стиля, которых сам автор, вероятно, не замечал, потому что они неотделимы от всей его личности. В те минуты, когда Бергот в своих книгах становился совершенно естественным, именно эти ударения придавали ритм написанным словам, часто весьма незначительным. Ударения эти не отмечены в тексте, ничто не указывает на них, и всё же они сами присоединяются к фразам, нельзя прочитать их иначе, они — самое эфемерное и все-таки самое глубокое в писателе, и они-то и послужат истинным свидетельством об его природе, они скажут, был ли он нежен, несмотря на все то жесткое, что было им высказано, и чувствителен, несмотря на всю свою чувственность.

Некоторые особенности произношения, лишь слабо выраженные в речи Бергота, были свойственны не ему одному, ибо когда позднее я познакомился с его братьями и сестрами, я нашел у них все это в гораздо более резкой форме. В последних словах веселой фразы появлялась какая-то хриплая отрывистость, в конце фразы печальной слышалась слабость, замирание. Сван, знавший Мэтра *ребенком,* говорил мне, что в то время у него, совершенно так же как у его братьев и сестер, слышались в голосе эти переходы, в

известной степени наследственные, — сменявшие друг друга крики буйной веселости и рокот вялой меланхолии — и что в комнате, где они играли все вместе, он лучше всех исполнял свою партию в этих концертах, порой оглушительных, порой томных. Как ни своеобразен весь этот шум, производимый людьми, он мимолетен и не переживает их. Но иначе было с произношением семейства Бергот. Ибо, хотя и трудно понять, даже в «Мейстерзингерах», как может композитор сочинять музыку, слушая щебетанье птиц, все же Бергот перенес в свою прозу и закрепил в ней эту манеру задерживаться на словах, которые повторяются, как крики радости, или падают, словно капли, грустными вздохами. В его книгах иные фразы завершаются непрерывным нарастанием звучностей, как в последних аккордах оперной увертюры, которая не может кончить и несколько раз повторяет заключительную каденцию, пока дирижер не положит свою палочку, — нарастанием, в котором впоследствии я узнал музыкальный эквивалент фонетической меди семейства Бергот. Но сам он, с тех пор как перенес ее в свои книги, бессознательно перестал пользоваться ею в своей беседе. С того дня, как он начал писать, а тем более впоследствии, когда я

познакомился с ним, она уже не существовала в инструментовке его речи.

Молодые Берготы — будущий писатель и его братья и сестры — наверно, стояли не выше, а ниже тех молодых людей, более тонких и более остроумных, которым Берготы казались слишком шумными и даже немного вульгарными, которых они раздражали своими шутками, характерными для «стиля» их дома, не то вычурного, не то придурковатого. Но гений, даже крупный талант, обусловлен не столько своим интеллектуальным превосходством и социальной изысканностью, сколько способностью преобразовывать, транспонировать. Для того чтобы нагреть жидкость с помощью электрической лампы, вовсе не требуется лампа самая мощная, но такая, в которой ток мог бы перестать давать свет, изменил бы свою форму и вместо света мог бы дать тепло. Чтобы двигаться по воздуху, нужен не самый мощный автомобиль, но такой, который, перестав двигаться по земле и пересекши вертикально линию своего движения, мог бы превратить свою горизонтальную скорость в энергию подъема. Точно так же и творцы гениальных произведений — это вовсе не те, кто живет в среде самой утонченной, чья речь отличается наибольшим блеском, кто

обладает самым широким образованием, но те, кто обладает даром, перестав жить для самого себя, сделать из своей личности подобие зеркала, так чтобы жизнь их, сколь бы ни была она ничтожна с точки зрения светской, и даже отчасти с точки зрения интеллектуальной, отражалась в нем, ибо гений — это способность отражать, а не качества отраженного зрелища, взятые сами по себе. В день, когда молодой Бергот смог показать миру своих читателей безвкусную гостиную, где протекало его детство, и те не слишком забавные разговоры, которые он вел там с братьями, — в тот день он поднялся выше друзей своей семьи, более остроумных и более изысканных: те в своих прекрасных «роллс-ройсах» могли возвращаться домой, свидетельствуя некоторое презрение к пошлости Берготов, а он, сумев наконец на своем скромном аппарате отделиться от земли, летал над ними.

Другие особенности языка роднили его уже не с членами семьи, а с некоторыми современными ему писателями. Более молодые среди них, начинавшие отрекаться от него и утверждавшие, что у них нет никакого интеллектуального сходства с ним, проявляли его невольно, применяя те же самые наречия, те же самые предлоги, которые

повторял и он, так же строя фразы, говоря тем же приглушенным, замедленным тоном, отталкиваясь от красноречия и легкого языка предыдущего поколения. Быть может, эти молодые люди — мы увидим, что такие встречались, — не знали Бергота. Но его манера мышления, привитая этим писателям, вызвала у них те изменения синтаксиса и акцентовки, в которых неизбежно сказывается связь с духовной оригинальностью. Связь, которая требует, впрочем, разъяснения. Так, Бергот, если он никому не был обязан своей литературной манерой, то манеру говорить он заимствовал от одного из своих давних товарищей, который замечательно владел искусством разговора и влияние которого он испытал, которому он невольно подражал в беседе, но который, будучи менее одаренным, никогда не написал ни одной по-настоящему значительной книги. Таким образом, если ограничиться оригинальностью устной речи, то Бергота пришлось бы признать учеником, писателем второстепенным, меж тем как, поддаваясь влиянию своего друга в области разговора, он как писатель проявил творческую оригинальность. Наверно, для того, чтобы отграничить себя от предыдущего поколения, слишком уж склонного к абстракциям, к

эффектным общим местам, Бергот, если благоприятно отзывался о книге, всегда также выделял, приводил в виде примера какую-нибудь сцену, отличавшуюся образностью, какую-нибудь картину, лишенную рационалистического смысла. «О да! — говорил он, — это хорошо! там есть девочка в оранжевом платке, о! это хорошо», или еще: «Ах! там есть место, где полк проходит через город, о да, это хорошо!» Что до стиля, Бергот оказывался не вполне современным (а вообще был исключительно верен своей родине, ненавидел Толстого, Джордж Элиот, Ибсена и Достоевского), ибо всякий раз, когда он хвалил чей-нибудь стиль, он прибегал к слову: «нежный». «Да, я все-таки люблю Шатобриана больше в «Атала», чем в «Рене»: по-моему, это более *нежно».* Он произносил это слово, как врач, который в ответ на уверения пациента, что молоко вызывает у него боли в желудке, говорит: «Но ведь молоко — вещь очень нежная». И действительно, в стиле Бергота была особая гармония, подобная той, которая иным ораторам древности снискала похвалы, мало понятные для нас, привыкших к нашим новым языкам, где не ищут этого рода эффектов.

Также, когда кто-нибудь выражал ему свое восхищение по поводу того или иного места из

его книги, он с робкой улыбкой говорил: «Мне кажется, это довольно правдиво, довольно точно, это может быть полезно», — но говорил только из скромности, как женщина, которую уверяют, что ее платье или ее дочь очаровательны, отвечает в первом случае: «Оно удобное», во втором: «У нее хороший характер». Но инстинкт зодчего был слишком силён в Берготе, чтобы он мог не знать, что единственное доказательство полезности его построек и их соответствия истине — это радость, ими доставленная, сперва ему, а потом и другим. И только много лет спустя, когда у него уже не было таланта, Бергот — лишь бы не уничтожить, как она того заслуживала, лишь бы напечатать вещь, которой он был недоволен, — говорил, на этот раз уже самому себе: «Как бы то ни было, это довольно точно, это не бесполезно для моей родины». Так что фразу, которую некогда, хитря по скромности, он шептал своим поклонникам, он теперь твердил тайникам своего сердца, уязвленный уже в своем самолюбии. И те же слова, которые служили Берготу ненужным оправданием ценности его первых произведений, стали для него тщетным утешением в слабости последних.

В особой строгости присущего ему вкуса, в твердом желании писать всегда только такие

вещи, о которых он мог бы сказать: «Это — нежно», благодаря чему его столько лет считали мастером бесплодным, жеманным, чеканщиком безделок, — была, напротив, тайна его силы, ибо привычка так же определяет стиль писателя, как и характер человека, и автор, несколько раз испытавший удовлетворение тем, что ему удалось выразить свою мысль с известной приятностью, навсегда кладет границы своему таланту, подобно тому как, делая частые уступки удовольствиям, лени или страху перед болью, мы создаем себе представление о нашей личности, в котором смягчены до неузнаваемости наши пороки и положен предел нашим добродетелям.

Если всё же, несмотря на такое сходство между писателем и человеком, обнаруженное мной впоследствии, я в первую минуту г-же Сван не поверил, что передо мной Бергот, автор стольких божественных книг, я, пожалуй, был не совсем не прав, так как сам он тоже в полном смысле слова в это «не верил». Он не верил в это, раз он так заискивал у людей светских (не будучи, впрочем, снобом), у литераторов, у журналистов, стоявших гораздо ниже его. Правда, теперь, благодаря всеобщему признанию, ему стало известно, что у него талант, в сравнении с которым положение

в свете и официальные должности — ничто. Ему стало известно, что у него есть талант, но он не верил в это, поскольку продолжал притворяться почтительным к ничтожным писателям, лишь бы поскорее стать академиком, между тем как Академия или Сен-Жерменское предместье имеет столь же малое отношение к частице Вечного Духа, каковой является автор книг Бергота, как и к принципу причинности или идее Бога. Это он тоже знал, как клептоман без всякой пользы знает, что красть дурно. И человек с бородкой и носом в форме улитки прибегал к хитростям джентльмена, ворующего вилки, стараясь приблизиться к вожделенному академическому креслу, к какой-нибудь герцогине, располагающей в случае избрания несколькими голосами, но приблизиться так, чтобы никто из тех, кто считает преследование подобной цели пороком, не заметил его маневров. Это удавалось ему лишь наполовину, с речами настоящего Бергота перемежались речи Бергота эгоиста, честолюбца, который о таких-то людях, влиятельных, знатных или богатых, говорит только затем, чтобы придать себе вес, — между тем как в своих книгах, когда он действительно становился самим собой, так отчетливо показывал чистое, словно родник,

обаяние бедности.

Что касается других его пороков, на которые намекал г-н де Норпуа, этой полуизвращенной любви, которая, как говорят, осложнялась даже нечистоплотностью в денежных делах, то хотя они и резко противоречили тенденции его последних романов, полных заботы о нравственности, такой щепетильной, такой болезненной, что малейшие радости его героев были отравлены ею и даже читателя охватывало тоскливое чувство, в преломлении которого самое безмятежное существование казалось невыносимым, — пороки эти, хотя бы Бергот заслуживал упрека в них, всё же не доказывали, что его творчество лживо, а его чувствительность притворна. Как патология знает состояния внешне похожие, но вызванные одни — избытком, другие же — недостатком напряжения, секреции и т. д., так могут быть пороки, происходящие от избытка чувствительности, и пороки, происходящие от недостатка ее. Пожалуй, лишь по отношению к действительно порочной жизни нравственную проблему можно ставить во всей ее тревожной силе. И решение этой проблемы художник дает не в плане своей личной жизни, а в плане той жизни, что является для него настоящей, дает решение общее, лите-

ратурное. Как великие учители Церкви нередко начинали с того, что, будучи сами нравственны, познавали человеческие грехи и делали вывод о своей личной святости, так нередко большие художники, будучи сами людьми дурными, пользуются своими пороками, чтобы постичь всеобщие нравственные законы. Пороки окружающей среды (или хотя бы ее слабости и смешные стороны), непристойные речи, легкомысленное и шокирующее поведение собственной дочери, измены жены или собственные грехи — вот что чаще всего клеймят писатели в своих диатрибах, ничего не меняя после них и оставляя в силе дурной тон, царящий у их очага. Но прежде этот контраст поражал не так резко, как теперь, во времена Бергота, потому что, с одной стороны, по мере того как развращалось общество, понятия о нравственности становились чище, с другой же стороны — публика больше, чем когда-либо прежде, стала осведомлена о частной жизни писателей; и вот иногда вечером в театре зрители указывали друг другу на автора, которым я так восхищался в Комбре, сидевшего в глубине ложи в таком окружении, которое само по себе уже служило странно комическим или щемящим комментарием, бесстыдным опровержением

тезиса, защищаемого им в его последнем произведении. О хороших или дурных свойствах Бергота меня осведомили главным образом не рассказы тех или иных людей. Кто-нибудь из его близких приводил доказательство его жестокости, а человек, не знакомый с ним, рассказывал о его глубокой чувствительности (трогательной потому, что сам он, очевидно, хотел скрыть ее). Он жестоко поступил со своей женой. Но в деревенской гостинице, где он остановился на ночь, он задержался, чтобы присмотреть за бедной женщиной, пытавшейся утопиться, а когда ему пришлось уехать, оставил хозяину гостиницы много денег, чтобы тот не прогонял эту несчастную и позаботился о ней. Быть может, чем более развивался в Берготе великий писатель, развивался за счет человека с бородкой, тем более его личная жизнь тонула в потоке всех этих жизней, создаваемых его воображением, и, по его мнению, уже не требовала от него исполнения какого-то действительного долга, сменившегося в его глазах обязанностью воображать эти чужие жизни. Но в то же время — потому, что чужие чувства он представлял себе точно свои собственные, — если ему приходилось, хотя бы случайно, иметь дело с кем-нибудь обездоленным, он ста-

новился не на свою личную точку зрения, а на точку зрения страдальца, точку зрения, с которой его ужаснули бы речи всех тех, кто перед лицом чужого страдания продолжает думать о своих мелочных делах. Так возбуждал он справедливое возмущение и неизгладимую благодарность.

Это прежде всего был человек, в глубине души любивший только известные образы, любивший только сочетать их и изображать словами (как если бы то была миниатюра на дне шкатулки). Стоило прислать ему в подарок какую-нибудь безделицу, становившуюся для него поводом для сочетания образов, он не скупился на выражения благодарности, которой не возбуждал в нем богатый подарок. И если бы ему пришлось защищаться перед судом, он невольно стал бы подыскивать слова независимо от впечатления, которое они должны бы произвести на судью, но в соответствии с образами, которые, наверно, прошли бы незамеченными судьей.

В тот день, когда я в первый раз увидел его у родителей Жильберты, я рассказал Берготу, что недавно видел Берма в «Федре»; он сказал мне, что в той сцене, где она застывает, подняв руку до уровня плеча, — одной из сцен, в которых ей так аплодировали, — ей удалось воскресить благо-

родные формы великих произведений искусства, быть может, никогда ею не виданных: Гесперид с метопы в Олимпии, делающую тот же жест, и прекрасных дев древнего Эрехтейона.

— Может быть, она угадала, а впрочем, она, вероятно, посещает музеи. Это любопытно было бы «зарубить в памяти» («зарубить» было излюбленным выражением Бергота, которое заимствовали у него молодые люди, никогда не видавшие его и говорившие так же, как он, словно по внушению на расстоянии).

— Вы думаете о кариатидах? — спросил Сван.

— Нет, нет, — сказал Бергот, — если не считать сцены, где она признается Эноне в своей страсти и где она воспроизводит рукой движение Гегесо со стэллы на керамике, она воскрешает искусство гораздо более древнее. Я говорил о Корах древнего Эрехтейона, и я признаю, что, пожалуй, нет ничего более далекого от искусства Расина, но чего только не видели в «Федре»… одной деталью больше… Ах! и к тому же ведь она так мила, эта маленькая Федра VI века, вертикальная линия руки, локон «под мрамор», да, все-таки удивительно — найти все это. Тут гораздо больше античности, чем во многих книгах, которые в этом году называют «античными».

Так как в одной из книг Бергота содержалось знаменитое обращение к этим архаическим статуям, то сказанные им только что слова были для меня вполне ясны и служили лишним поводом проявить интерес к игре Берма. Я старался представить себе ее такой, какой она была в сцене, где, как я помнил, она подымала руку на уровень плеча. И я говорил себе: «Вот Гесперида из Олимпии; вот сестра одной из этих удивительных орант Акрополя; вот это благородное искусство». Но для того, чтобы эти мысли могли украсить жест Берма в моих глазах, Берготу следовало бы внушить их мне до спектакля. Пока эта поза актрисы воочию существовала предо мною, в тот миг, когда явление еще несет в себе всю полноту реальности, я мог бы попытаться извлечь из него понятие об архаической скульптуре. Но у меня осталось от Берма в этой сцене только воспоминание, уже неизменное, тощее, словно образ, лишенный тех глубоких подземных пластов настоящего, где можно копаться и откуда можно извлечь нечто новое и правдивое, образ, которому нельзя уже дать ретроспективное толкование, поддающееся проверке, объективному подтверждению. Г-жа Сван, желая принять участие в разговоре, спросила меня, не забыла ли

Жильберта дать мне брошюру Бергота о Федре. «Дочь у меня такая забывчивая», — прибавила она. Бергот скромно улыбнулся и начал уверять, что эти страницы не имеют значения. «Но это так прелестно, эта маленькая статья, этот маленький *tract*[18]», — сказала г-жа Сван, стараясь быть любезной хозяйкой и дать понять, что она читала брошюру, а также потому, что она любила не только хвалить Бергота, но также и делать отбор среди написанного им, руководить им. И действительно, она вдохновляла его — иначе, впрочем, чем думала. Словом сказать, между изяществом салона г-жи Сван и целым рядом элементов в творчестве Бергота существует такая связь, что для нынешних стариков одно могло бы служить комментарием к другому. Я решился рассказать о своих впечатлениях. Берготу они часто казались неправильными, но он не перебивал меня. Я сказал ему, что мне понравилось зеленое освещение в ту минуту, когда Федра подымает руку. «О! вы бы доставили огромное удовольствие декоратору, большому художнику, я ему это передам, потому что он очень гордится этим освещением. Мне, надо сказать, это не особенно

---

[18] Примечания: 18
трактат, брошюра *(лат.).*

нравится, все залито аквамариновой краской, маленькая Федра тут уж слишком похожа на ветку коралла в глубине аквариума. Вы скажете, что благодаря этому подчеркивается космическая сторона драмы? Это верно. Но все-таки это было бы лучше в пьесе, действие которой происходит у Нептуна. Я, конечно, знаю, что в «Федре» играет роль и мщение Нептуна. Боже мой, я отнюдь не требую, чтобы все думали только о Пор-Рояле, но ведь все-таки, в конце концов, Расин описывает не любовь морских ежей. Но, в конце концов, этого и хотел мой приятель, и все-таки это очень сильно и, в сущности, довольно красиво. Да ведь вам, в конце концов, это понравилось, вы это поняли, не правда ли? в сущности, мы одинаково смотрим на это: то, что он сделал, несколько бессмысленно, но, в конце концов, это очень умно». И когда мнение Бергота противоречило моему, оно отнюдь не приводило меня к молчанию, к неспособности что-либо возразить, как суждение г-на де Норпуа. Это не доказывает, что взгляды Бергота были менее вески, чем взгляды посла, напротив. Сильная мысль какую-то долю своей силы сообщает оппоненту. Принадлежа к числу всеобщих умственных ценностей, она проникает в ум человека, с которым спорит, прививается

среди смежных мыслей, с помощью которых, возвращая себе долю своего превосходства, он дополняет, выправляет ее, так что конечное суждение в известной мере является созданием обоих спорщиков. Только на мысли, которые, собственно говоря, не являются мыслями, на мысли, ни на чем не основанные, не находящие себе точки опоры, братской поддержки в уме противника, последний, борясь с совершенной пустотой, ничего не может ответить. Доводы г-на де Норпуа (в вопросах искусства) оставались без возражений, ибо в них не было ничего реального.

Так как Бергот не отверг моих соображений, я признался ему, что г-н де Норпуа отнесся к ним пренебрежительно. «Но ведь это же старый глупец, — ответил он, — он вас поклевал, как чиж, потому что всегда думает, что имеет дело с пышкой или с каракатицей». — «Как, вы знакомы с Норпуа?» — сказал мне Сван. «О, он — скучный, как дождь, — вмешалась его жена, очень доверявшая суждениям Бергота и, наверно, опасавшаяся, что г-н де Норпуа мог дурно отозваться у нас о ней. — Я хотела поговорить с ним после обеда, и не знаю, в чем тут дело — в старости или в пищеварении, — но он весь заплесневел. Кажется, надо было бы его протереть!» — «Да, не правда

ли, — сказал Бергот, — он часто бывает вынужден молчать, чтобы не истратить до конца вечера всего запаса глупостей, которые не хуже крахмала распрямляют его манишку и от которых лучше сидит его белый жилет». — «По-моему, Бергот и моя жена судят очень строго, — сказал Сван, который дома брал на себя роль рассудительного героя. — Я понимаю, что Норпуа не может особенно интересовать вас, но под другим углом зрения — (ибо Сван любил собирать «красоты жизни») — он довольно своеобразен, — довольно своеобразен как «любовник». Когда он служил секретарем посольства в Риме, — прибавил он, удостоверившись сперва, что Жильберта не может его услышать, — у него была любовница в Париже (от которой он был без ума), и он находил способы приезжать два раза в неделю, чтобы видеть ее два часа. Впрочем, это была очень умная женщина, в свое время очаровательная, теперь она вдова. А с тех пор много их было еще. Сам я с ума бы сошел, если бы любимой женщине пришлось жить в Париже, в то время как я должен был бы оставаться в Риме. Людям нервным следовало бы влюбляться только в таких женщин, которые «пониже», как говорят в простонародье, чтобы любимая женщина, завися от них, нахо-

дилась в их распоряжении». В этот момент Сван заметил, что это правило я могу отнести к нему и к Одетте. И так как даже у людей незаурядных в ту минуту, когда они вместе с вами точно парят над жизнью, самолюбие остается мелочным, он очень рассердился на меня. Но это выразилось только в беспокойстве его взгляда. В данную минуту он ничего не сказал мне. Этому не следует слишком удивляться. Когда Расин, как гласит рассказ, вымышленный впрочем, тема которого, однако, каждый день повторяется в жизни Парижа, намекнул на Скаррона в присутствии Людовика XIV, могущественнейший в мире король ничего не сказал поэту в тот вечер. И только на другой день поэта постигла опала.

Но так как всякая теория стремится достичь полного выражения, то Сван, после этой минуты раздражения, протерев свой монокль, уточнил свою мысль следующими словами, которым впоследствии суждено было приобрести в моей памяти ценность пророческого предостережения, непонятого мною. «Однако опасность этого рода любви заключается в том, что подчиненное положение женщины хотя и успокаивает на время ревность мужчины, но делает ее еще более требовательной. Он в конце концов заставляет

свою любовницу жить так, как живут те узники, ради которых и ночью и днем жгут свет, чтобы лучше охранять их. И обычно это кончается драмой».

Я снова коснулся г-на де Норпуа. «Не доверяйте ему, у него очень злой язык», — сказала г-жа Сван таким тоном, который, как мне показалось, тем более подтверждал факт неблагоприятного отзыва о ней г-на де Норпуа, что Сван с укоризной посмотрел на жену, словно стараясь удержать ее от дальнейших признаний.

Между тем Жильберта, которой уже дважды говорили, что пора собираться на прогулку, оставалась с нами и слушала, сидя между матерью и отцом, к плечу которого она ласково прильнула. На первый взгляд не могло быть более резкого контраста с г-жой Сван, брюнеткой, чем эта рыжеволосая девушка с золотистой кожей. Но в следующую минуту в Жильберте можно было узнать немало черт — например, нос, высеченный с внезапной и непогрешимой уверенностью тем незримым ваятелем, чей резец трудился для многих поколений, — выражение лица, движения ее матери; если бы прибегнуть к сравнению из области другого искусства, она напоминала еще не очень близкий к оригиналу портрет г-жи

Сван, которую художник, из прихоти колориста, заставил позировать в обличье венецианки, готовой отправиться на «diner de tetes».[19] А так как у нее не только был белокурый парик, но и ни единого темного атома не знала ее плоть, лишенная всякой смуглости и, казалось, более обнаженная, залитая лучами внутреннего солнца, то грим уже не был чем-то внешним, а сливался с ее телом; Жильберта словно изображала какое-то сказочное животное или надела мифологическую личину. Эта золотистая кожа так напоминала кожу ее отца, что, казалось, природа, создавая Жильберту, ставила перед собой задачу по частям воссоздать г-жу Сван, располагая, однако, в качестве материала лишь кожей г-на Свана. И природа мастерски воспользовалась ею, как столяр-краснодеревщик, старающийся сохранить на доске каждую жилку, каждый кружок. На лице Жильберты, у уголка носа, в точности воспроизводившего нос Одетты, кожа вздулась, сохраняя в их неприкосновенности две родинки Свана. То была новая разновидность г-жи Сван, возникшая рядом с нею, как белая сирень рядом с сиренью лиловой. Однако не следует думать, что сходство

---

[19] Примечания: 19
маскарад *(фр.).*

с отцом и с матерью разграничивалось у дочери совершенно четко. Порой, когда Жильберта смеялась, овал отцовской щеки обозначался на фоне лица матери, словно их соединили вместе, желая узнать, что получится из этого сочетания; этот овал появлялся как зародыш, он удлинялся вкось, набухал, мгновение спустя его уже не было. В глазах Жильберты была прямота доброго отцовского взгляда; этот взгляд был у нее, когда она подарила мне агатовый шарик и сказала: «Сохраните его на память о нашей дружбе». Но если Жильберте задавали вопрос, что она делала, в этих же глазах появлялось беспокойство, неуверенность, притворство, тоска, овладевавшие прежде Одеттой, когда Сван спрашивал ее, где она была, и когда она давала один из тех лживых ответов, которые приводили в отчаяние любовника, а теперь заставляли его, нелюбопытного и осторожного мужа, резко менять тему разговора. На Елисейских Полях я часто начинал беспокоиться, замечая у Жильберты этот взгляд. Но большей частью это было напрасно. Потому что у нее этот взгляд, унаследованный от матери чисто физически, уже ничему не соответствовал, по крайней мере в данном случае. Хотя она была всего только в школе, хотя домой она возвращалась

с уроков, зрачки Жильберты проделывали то же движение, которое когда-то в глазах Одетты было вызвано страхом, как бы не обнаружилось, что она принимала днем одного из своих любовников или что она торопится на свидание. Так два существа — Одетта и Сван — поочередно владели телом этой Мелузины, то приливая, то отливая.

Разумеется, известно, что в ребенке отражаются черты отца и матери. Всё же унаследованные достоинства и недостатки распределяются так странно, что из двух достоинств, казавшихся неразрывно слитыми друг с другом в одном из родителей, мы у ребенка встречаем только одно, и притом в сочетании с каким-либо недостатком другого родителя, казалось бы, несовместимым с ним. Даже воплощение нравственного достоинства в каком-либо исключающем его телесном дефекте часто является законом семейного сходства. Из двух сестер одна, вместе с благородной осанкой отца, унаследует мещанский ум своей матери; другая же, целиком унаследовавшая отцовский ум, явит его миру, сохраняя материнскую наружность: толстый нос матери, ее жилистый живот, даже голос станут внешней оболочкой способностей, с которыми связывался иной, гордый облик. Таким образом, о каждой из

сестер можно будет с одинаковым основанием говорить, что именно она больше всего унаследовала от одного из родителей. Правда, Жильберта была единственная дочь, но было по крайней мере две Жильберты. Оба начала — отцовское и материнское — не только смешались в ней, они боролись за нее, да и это было бы неточное выражение и давало бы повод думать, что в то же время какая-то третья Жильберта мучится, став жертвой тех двух. Жильберта же поочередно была то одной, то другой, и в каждую минуту — целиком какой-нибудь одной, так что, делаясь злой, была не в состоянии мучиться этим, ибо лучшая Жильберта, отсутствуя в это время, не могла заметить такой упадок. Вот почему худшей из них могли быть вполне приятны удовольствия не слишком благородные. Когда в одной из них говорило отцовское сердце, у нее появлялась широта мыслей, хотелось вместе с ней приняться за какое-нибудь прекрасное, доброе дело, можно было сказать ей об этом; но в минуту решения уже очередь была за сердцем матери, и оно отвечало вам; и вы бывали разочарованы и раздражены — почти заинтригованы, словно произошла подмена, — каким-нибудь мелочным замечанием, лукавым хихиканьем, доставляв-

шим удовольствие Жильберте, потому что оно принадлежало той, кем она была в ту минуту. Расстояние между обеими Жильбертами бывало порой так велико, что вы спрашивали себя — напрасно, впрочем, — что вы могли ей сделать, отчего она стала совсем иной. Она не только не приходила на свидание, которое сама предложила, и не приносила потом извинения, но каков бы ни был повод, заставивший ее изменить свое намерение, она становилась такой непохожей на себя, что можно было подумать: вас ввело в обман сходство, вроде того, на котором построена интрига «Близнецов», и перед вами не тот человек, который так мило просил вас прийти, — если бы не досада, обличавшая, что она чувствует себя виноватой и желала бы избежать объяснений.

— Ну, иди-ка, ты заставишь нас ждать, — сказала ей мать.

— Мне так хорошо рядом с папочкой, мне хочется еще немножко посидеть, — отвечала Жильберта, пряча голову под руку отца, который нежно погладил ее белокурые волосы.

Сван был один из тех людей, которые долго жили иллюзиями любви и видели, что, осчастливив многих женщин, дав им благосостояние, они не пробудили в них ни благодарности, ни нежного

чувства; но им кажется, что в своем ребенке они находят ту привязанность, воплощенную в самом их имени, благодаря которой они будут жить и после смерти. Когда не станет Шарля Свана, останется еще мадемуазель Сван или некая г-жа Х, урожденная Сван, которая по-прежнему будет любить умершего отца. И, быть может, даже слишком страстно любить, думал, наверно, Сван, так как он ответил Жильберте: «Ты хорошая девочка» — тоном растроганным и полным того беспокойства, что внушает нам будущее человека, который слишком страстно к нам привязан и должен будет пережить нас. Чтобы скрыть свое волнение, он присоединился к нашему разговору о Берма. Он заметил мне — но тоном рассеянным, скучающим, словно он, так сказать, хотел остаться вдалеке от того, о чем говорил, — как умно, как неожиданно правдиво актриса отвечает Эноне: «Ты это знала!» Он был прав. Ценность этой интонации, по крайней мере, была действительно понятна и потому могла бы удовлетворить мое желание найти бесспорные данные для того, чтобы восхищаться Берма. Но именно в силу своей ясности она для этого не годилась. Интонация была такая удачная, цель ее и смысл были так отчетливы, что казалось, она существует сама по

себе и всякая умная актриса могла бы овладеть ею. То была прекрасная мысль; но всякий, кому она открылась бы с такой полнотой, тем самым овладел бы ею. Берма принадлежала честь открытия, но можно ли говорить об «открытии», если дело идет о чем-то таком, что не отличается от полученного в готовом виде, что не связано с вами органически, если потом другой может воспроизвести это же самое?

«Боже мой, как от вашего присутствия повышается *уровень разговора!* — сказал мне, как будто извиняясь перед Берготом, Сван, усвоивший в кругу Германтов обыкновение принимать великих художников как хороших знакомых, которых угощают их любимыми блюдами, занимают играми или, в деревне, спортом, по их вкусу. — Мы ведь как будто говорим об *искусстве»,* — прибавил он. «Это прекрасно, мне это очень нравится», — сказала г-жа Сван, взглядом поблагодарив меня — по доброте своей и потому еще, что сохранила давнишнюю склонность к умным разговорам. Потом Бергот разговаривал с другими, главным образом с Жильбертой. Все то, что я чувствовал, я рассказал ему с непринужденностью, удивившей меня и объяснявшейся тем, что, привыкнув за долгие годы (в течение столь-

ких часов, посвященных уединению и чтению, когда он был лучшей частью меня самого) быть с ним искренним, откровенным, доверчивым, я стеснялся его меньше, чем человека, с которым мне пришлось бы разговаривать впервые. И всё же как раз поэтому меня очень тревожило, какое впечатление я произведу на него, потому что не сегодня, но еще в те далекие уже дни, когда я начал читать его книги, сидя в нашем саду в Комбре, во мне возникло сомнение, не станет ли он презирать мои мысли. Быть может, мне все-таки следовало бы сказать себе, что если я искренно, отдаваясь моим мыслям, увлекался, с одной стороны, произведениями Бергота, а с другой — испытал в театре разочарование, причины которого мне были непонятны, то эти два мои инстинктивных движения, вероятно, не так уж далеки друг от друга, но повинуются одним и тем же законам, и что ум Бергота, который так нравился мне в его книгах, не вовсе чужд и враждебен и моему разочарованию, и моему неумению его высказать. Ибо мой разум должен быть единым, и даже, быть может, существует только один разум, один для всех, — разум, на который каждый устремляет взоры из глубины своего индивидуального тела, словно в театре,

где у каждого свое место, но зато для всех одна сцена. Правда, мысли, в которые мне нравилось вникать, были не из числа тех, которыми Бергот обычно занимался в своих книгах. Но если разум, находившийся в его и моем распоряжении, был один и тот же, то, слыша, как я их высказываю, он должен был вспомнить их, полюбить, улыбнуться им, — вероятно, храня перед своим духовным взором, вопреки моим предположениям, еще и иную область разума, кроме той, отрезок которой перешел в его книги и на основании которой я представил себе весь его умственный мир. Подобно тому как священники, обладая величайшим знанием сердца, отлично могут отпускать грехи, которых сами не совершают, так и гений, обладая величайшим знанием разума, отлично может понять мысли, наиболее противоположные тем, что составляют основу его собственных произведений. Мне следовало бы сказать себе все это (в чем, кстати, нет ничего особенно приятного, потому что благосклонность возвышенных умов бывает связана с непониманием и враждебностью умов посредственных, а любезность великого писателя, замену которой можно в крайнем случае найти в его книгах, доставляет нам радость, уступающую по своей силе тем мукам, что нам

приходится терпеть от враждебности женщины, которую мы выбрали не ради ее ума, но которую не в силах не любить). Мне следовало бы сказать себе все это, но я не говорил, я был уверен, что показался Берготу глупым, как вдруг Жильберта шепнула мне на ухо:

— Я в полном восторге, вы ведь покорили моего большого друга, Бергота. Он сказал маме, что считает вас чрезвычайно умным.

— Куда мы пойдем? — спросил я Жильберту.

— О! куда захотят, мне, вы знаете, ведь все равно, куда…

Но после случая, имевшего место в годовщину смерти ее деда, я спрашивал себя, такой ли у Жильберты характер, как я себе представлял, и за этим равнодушием к тому, что будут делать, за этим благоразумием, за этим спокойствием, за этой кроткой постоянной покорностью не скрываются ли, напротив, желания очень страстные, которые она из самолюбия не хочет показывать и которые проявляются только в минуты внезапной строптивости, если случайно им приходится натолкнуться на сопротивление.

Так как Бергот жил в том же квартале, что и мои родители, мы уехали вместе; по дороге он заговорил о моем здоровье: «Наши друзья сказали

мне, что вы болеете. Мне очень вас жаль. И все-таки, несмотря на это, не слишком жаль, так как я вижу, что вам понятны умственные радости, а это, вероятно, самое главное для вас, как и для всех тех, кому они знакомы».

Увы! его слова — я это чувствовал — так трудно было применить ко мне: ведь всякое рассуждение, даже самое возвышенное, оставляло меня холодным, я бывал счастлив и в хорошем настроении только в минуты праздности; я чувствовал, какой чисто материальный характер носят мои жизненные стремления и как легко обошелся бы я без работы мысли. Так как среди своих радостей я не замечал тех, что исходили из иных источников, более или менее глубоких и полноводных, то, собираясь ответить ему, я подумал, что мне по сердцу пришлась бы жизнь, в которой я был бы дружен с герцогиней Германтской и часто мог бы ощущать, как в бывшей таможенной конторе на Елисейских полях, свежесть, напоминающую Комбре. Но этот идеал жизни, в котором я не смел ему признаться, не оставлял никакого места для радостей умственных.

— Нет, мсье, умственные радости мало значат для меня, я стремлюсь не к ним, я даже не знаю, ощущал ли я их когда-нибудь.

— Право? Вы думаете? — ответил он. — Ну, и все-таки нет, уверяю вас, это вам должно быть дороже всего, так я себе представляю, вот что я думаю.

Он не убедил меня, конечно; и все-таки я почувствовал себя более счастливым, не столь обездоленным. Слова г-на де Норпуа заставили меня смотреть на минуты мечтательности, восторга, веры в самого себя как на нечто совершенно субъективное и обманчивое. И вот, если верить Берготу, очевидно понимавшему меня, оказывалось, наоборот, что не надо было считаться именно с моими сомнениями, с моим отвращением к самому себе. В особенности все то, что он сказал о г-не де Норпуа, значительно уменьшило в моих глазах вескость приговора, казавшегося мне безапелляционным.

«Хороший у вас врач? — спросил меня Бергот. — Кто вас лечит?» Я сказал ему, что меня посещал и, вероятно, еще будет посещать Котар. «Но это же не то, что вам нужно. Какой он врач, я не знаю. Но я видел его у г-жи Сван, — ответил он. — Это глупец. Даже если предположить, что это не мешает ему быть хорошим врачом, в чем я сомневаюсь, это мешает быть хорошим врачом для художников, для культурных людей. Таким

людям, как вы, нужен особый врач, я сказал бы даже: специальный режим, специальные лекарства. Котар будет вам неприятен, и одно это помешает его лечению быть успешным. И к тому же вас нельзя лечить, как всякого другого. Болезни людей культурных на три четверти зависят от их интеллекта. Нужно по крайней мере, чтобы их врачу эта болезнь была знакома. Как может Котар лечить вас? Он сможет предусмотреть, что вам трудно будет переварить какой-нибудь соус, предусмотреть гастрическое осложнение, но не сможет предусмотреть, что вы будете читать Шекспира… Вот почему его расчеты неприменимы к вам, равновесие нарушено, чёртик в банке снова поднимается наверх. Котар найдет у вас расширение желудка, ему не стоит и осматривать вас, потому что это расширение у него уже в глазу. Вы сами можете его увидеть, оно отражается у него в пенсне». Такая манера разговаривать очень утомляла меня, я рассуждал с тупостью здравого смысла: «Расширение желудка не в большей мере отражается в пенсне профессора Котара, чем глупости г-на де Норпуа укрыты в его белом жилете». «Я скорее посоветовал бы вам, — продолжал Бергот, — доктора дю Бульбона, врача вполне культурного». — «Он большой поклонник

ваших произведений», — ответил я. Я увидел, что Берготу это известно, и отсюда заключил, что родственные умы быстро находят друг друга, что редко встречаются настоящие «неведомые друзья». То, что Бергот сказал о Котаре, поразило меня, настолько оно противоречило всем моим взглядам. Меня отнюдь не беспокоило, что врач мой, может быть, неприятный человек; я ждал, что благодаря искусству, законы которого были мне непонятны, он, как прорицатель, рассмотрев мои внутренности, изречет непреложное суждение о моем здоровье. И мне вовсе не нужно было, чтобы он, может быть, и уступая мне умом, старался понять мой ум, на который я смотрел лишь как на безразличное само по себе средство для достижения истин, лежащих вне меня. Я очень сомневался в том, что умные люди нуждаются в иной гигиене, чем дураки, и готов был следовать гигиене для дураков. «Вот кто нуждается в хорошем враче, так это наш друг Сван», — сказал Бергот. А когда я спросил, чем он болен, Бергот сказал: «Ведь это же человек, женившийся на кокотке, ему каждый день приходится терпеть сотни обид от женщин, которые не хотят принимать его жену, или от мужчин, живших с нею. От этих обид у него рот свело. Посмотрите, как он

хмурит брови, когда возвращается домой и хочет узнать, кто у них в гостях». Недоброжелательство Бергота по отношению к своим старинным друзьям в разговоре с чужим человеком было для меня такой же новостью, как и тот почти умиленный тон, которым он все время беседовал со Сванами, когда был у них. Конечно, человек вроде, например, сестры моей бабушки ни одному из членов нашей семьи не был способен наговорить столько ласковых слов, сколько Бергот расточил в моем присутствии Сванам. Она с удовольствием говорила и неприятности, даже тем, кого любила. Но в их отсутствие она не сказала бы ничего такого, чего они не могли бы услышать. Не было ничего менее похожего на *свет*, чем наше общество в Комбре. Общество Сванов было уже переходом к нему, к его изменчивым волнам. Это было еще не открытое море, но уже лагуна. «Все это между нами», — сказал Бергот, прощаясь со мной у моего подъезда. Несколько лет спустя я ответил бы ему: «Я нем как могила». Это — ритуальная фраза светских людей, дающая всякий раз ложное успокоение тому, кто злословит. Я уже и тогда обратился бы с этой фразой к Берготу, ибо не все наши слова мы придумываем сами, особенно когда действуем как члены обще-

ства. Но она еще не была мне известна. Между тем сестра моей бабушки сказала бы в подобном случае: «Если вы не хотите, чтоб это передавали, тогда зачем же вы говорите?» Так отвечают люди необщительные, «задиры». Я не был из их числа — я молча поклонился.

Литераторы, в моих глазах особы важные, годами вели интриги, чтобы завязать с Берготом отношения, всегда остававшиеся узко литературными и не выходившие за пределы его рабочего кабинета, я же оказался в числе друзей великого писателя сразу и без хлопот, как человек, который, вместо того чтобы стоять вместе со всеми в очереди за билетом и получить скверное место, достает самое лучшее, проникнув через проход, закрытый для других. Если Сваны мне его открыли, то, наверно, потому, что родители Жильберты, словно король, приглашающий товарищей своих детей в королевскую ложу или на королевскую яхту, и друзей своей дочери принимали среди драгоценных вещей, которыми они владели, а также в кругу близких им людей, представлявших еще большую драгоценность. Но в то время я думал, и, может быть, не без оснований, что эта любезность Свана косвенно относилась к моим родителям. Помнится, я слышал когда-то в Ком-

бре, что, зная мое преклонение перед Берготом, он предлагал им взять меня на обед к нему, но мои родители не согласились, ответив, что я еще слишком молод и слишком нервен для того, чтобы «выезжать». Конечно, для некоторых людей, и как раз для тех, что казались мне самыми необыкновенными, мои родители представляли нечто совсем иное, чем для меня; вот почему, так же как в те дни, когда дама в розовом расточала похвалы моему отцу, которых он был так недостоин, мне теперь страстно хотелось, чтобы родители мои поняли, какой я получил неоцененный подарок, и выразили благодарность этому любезному и щедрому Свану, который сделал мне или им этот подарок, не подавая и вида, что помнит о его цене, подобно прелестному царю-волхву на фреске Луини, тонконосому и белокурому, с которым, говорят, в прежние времена у него находили большое сходство.

К несчастью, эту оказанную мне Сваном милость, которую я, вернувшись домой и даже не успев еще снять пальто, возвестил моим родителям, в надежде, что она пробудит в их сердце то же чувство умиления, как и у меня, и вынудит их по отношению к Сванам к какой-нибудь любезности, необычайной и решительной, — эту

милость они как будто не очень оценили. «Сван представил тебя Берготу? Чудное знакомство, прелестные связи! — насмешливо воскликнул мой отец. — Только этого недоставало!» Увы, когда я прибавил, что ему вовсе не нравится г-н де Норпуа, отец продолжал: «Разумеется! Это доказывает, что он человек неискренний и недоброжелательный. Мой бедный сын, у тебя уж и так не много было здравого смысла, я в отчаянии, что ты оказался в таком обществе, от которого окончательно свихнешься».

Даже то, что я ходил к Сванам, отнюдь не радовало моих родных. Знакомство с Берготом явилось для них пагубным, но естественным следствием исходной ошибки, той слабости, которой они поддались и которую мой дед назвал бы «отсутствием предусмотрительности». Я почувствовал, что мне остается, чтобы их совсем рассердить, сказать еще, что этот развращенный человек, не ценящий г-на де Норпуа, нашел меня чрезвычайно умным. Действительно, когда отец находил, что кто-нибудь, например тот или иной из моих товарищей, стоит на ложном пути, как я в данный момент, то одобрительный о нем отзыв человека, которого отец не уважал, являлся в его глазах подтверждением его неблагоприятного

диагноза. Болезнь представлялась ему еще более серьезной. Я ждал уже, что он воскликнет: «Разумеется, *одно к одному!*» — слова, пугавшие меня неопределенностью и широтой тех реформ, которые они грозили немедленно внести в мою столь сладостную жизнь. Но так как ничто уже не могло изгладить впечатление, создавшееся у моих родителей, даже если б я и не сообщил им, что сказал обо мне Бергот, то не имело большого значения, будет ли оно чуть более неблагоприятно. К тому же мне казалось: они так не правы, так ошибаются, — что у меня не только не было надежды, но не было и желания внушить им более правильный взгляд. Однако, представив себе в ту минуту, когда слова срывались с моих губ, как они испугаются при мысли, что я понравился человеку, который людей умных считает дураками, заслуживает презрения честных людей и похвала которого, желанная для меня, поощряет меня ко злу, я понизил голос и почувствовал себя несколько пристыженным, завершая свой рассказ такой фразой: «Он сказал Сванам, что считает меня чрезвычайно умным». Как отравленная собака невольно бросается в поле на траву, которая именно и является противоядием от проглоченной отравы, я, сам того

не подозревая, произнес то единственное слово, что было в состоянии победить предубеждение моих родителей против Бергота, предубеждение, с которым ничего не могли бы поделать все мои самые совершенные доводы в его пользу, все самые законные мои похвалы ему. В ту же минуту положение изменилось.

— А-а!.. Он сказал, что считает тебя умным, — сказала моя мать. — Мне это приятно, потому что ведь он талант.

— Как? Он это сказал? — переспросил отец. — Я ничуть не отрицаю его литературных заслуг, перед которыми все преклоняются, досадно только, что он ведет такой недостойный образ жизни, на который намекал старик Норпуа, — прибавил он, не замечая, что с верховной мощью волшебных слов, произнесенных мной, уже не в силах были бороться ни безнравственная жизнь Бергота, ни ошибочность его суждений.

— Ах, друг мой, — перебила мама, — ничто не доказывает, что это правда. Чего только не говорят. Впрочем, господин де Норпуа как нельзя более мил, но он не всегда слишком благожелателен, особенно по отношению к людям из другого лагеря.

— Это верно, я тоже замечал, — ответил отец.

— И потом, ведь многое можно извинить Берготу за то, что он одобрил моего мальчугана, — продолжала мама, проводя пальцами по моим волосам и остановив на мне долгий задумчивый взгляд.

Впрочем, моя мать не дожидалась приговора Бергота, чтоб разрешить мне пригласить к чаю Жильберту, когда в гостях у меня будут друзья. Но я не решался на это по двум причинам. Первая заключалась в том, что у Жильберты подавали всегда только чай. У нас же, напротив, мама настаивала на том, чтобы, кроме чая, подавался и шоколад. Я боялся, как бы Жильберта не сочла это вульгарным и не исполнилась бы великого презрения к нам. Другая причина — трудности этикета, которые мне никогда не удавалось преодолеть. Когда я входил к г-же Сван, она меня спрашивала:

— Как поживает ваша мама?

Я попытался узнать у мамы, сделает ли она то же самое, когда придет Жильберта, — пункт, имевший для меня большую важность, нежели при дворе Людовика XIV вопрос об обращении «монсеньор». Но мама ничего не желала слышать.

— Да нет, раз я не знакома с госпожой Сван.

— Но ведь и она не знакома с тобой.

— Я и не говорю, но мы же не обязаны делать обе совершенно то же самое. У меня для Жильберты найдутся другие любезности, каких у госпожи Сван не будет для тебя.

Но меня это не убедило, и я предпочел не приглашать Жильберту.

После разговора с родителями я пошел переодеться и, опустив руку в карман, вдруг обнаружил там конверт, который вручил мне дворецкий Сванов у двери в гостиную. Я был теперь один. Я открыл его, внутри была карточка, где указывалось, которой из дам я должен предложить руку, чтоб вести ее к столу.

Случилось это в те времена, когда Блок перевернул мою концепцию мира, раскрыл для меня новые возможности счастья (которые, впрочем, превратились потом в возможности страдания), уверив меня, что, вопреки моим представлениям эпохи прогулок в сторону Мезеглиза, женщины всегда рады заняться любовным ремеслом. Эту услугу он дополнил другою, которую мне пришлось оценить лишь значительно позднее: он впервые сводил меня в дом свиданий. Правда, он говорил мне, что есть много хорошеньких женщин, которыми можно обладать. Но в моем

представлении у них был неясный облик, и дома свиданий позволили мне заменить его новыми конкретными лицами. Таким образом, если по отношению к Блоку — за его «благую весть», что счастье, обладание красотой, не является в этом мире чем-то недостижимым и что мы напрасно навсегда отказываемся от него, — я должен был чувствовать ту же благодарность, что по отношению, скажем, к врачу или философу-оптимисту, вселяющим в нас надежду на долголетие в этом мире и на то, что мы не вполне с ним расстанемся, переселившись в мир иной, — то дома свиданий, которые я стал посещать через несколько лет, давая мне испробовать счастье, позволяя прибавить к красоте женщины элемент, который мы не можем изобрести, который не является лишь итогом ранее виденного, воистину божественный дар, единственный, которым мы не можем наделить себя сами, перед которым бессильны все логические построения нашего ума и которого мы можем требовать только от действительности: индивидуальное обаяние, — дома свиданий заслужили того, чтобы я поместил их наряду с другими источниками благодеяний, более новыми, но приносящими подобную же пользу (не располагая ими, мы без увлечения

представляли себе обаяние Мантеньи, Вагнера, Сиены по аналогии с другими художниками, другими композиторами, другими городами), — с иллюстрированными изданиями по истории живописи, симфоническими концертами и книгами о «городах — памятниках искусства». Но дом, куда сводил меня Блок и где сам он, впрочем, давно уже не бывал, оказался слишком низкого сорта, персонал в нем был слишком посредственный и обновлялся слишком редко, чтобы я мог удовлетворить свое давнее любопытство или почувствовать новое. Хозяйка этого дома не знала ни одной из женщин, которых у нее спрашивали, и всегда предлагала таких, которых никто не захотел бы. Она особенно расхваливала мне одну из них, о которой с многообещающей улыбкой (как будто это была редкость, лакомое блюдо) говорила: «Она еврейка! Это вам ничего не говорит?» (Поэтому, очевидно, она ее и называла *Рахилью.)* И в возбуждении, нелепом и притворном, но, по ее мнению, заразительном, кончавшемся каким-то почти что блаженным хрипением, она прибавляла: «Только подумайте, миленький, еврейка, ведь тут можно с ума сойти! Ра!» Эта Рахиль, которую я незаметно для нее разглядел, была брюнетка, некрасивая, но с виду

умная; облизывая губы, она нахально улыбалась клиентам, которые с ней знакомились и вступали в разговор. Ее худое и узкое лицо обрамляли черные завитые волосы, причудливые, словно штрихи тушью. Хозяйке, которая предлагала мне ее с особенной настойчивостью, расхваливая ее ум и образованность, я каждый раз давал обещание, что как-нибудь не премину прийти исключительно для того, чтобы познакомиться с Рахилью, получившей от меня прозвище: «Рахиль, когда Господня…» Но в первый вечер я услышал, как уходя она говорила хозяйке:

— Значит, решено, завтра я свободна; если к вам кто-нибудь придет, вы не забудете послать за мной.

И слова эти помешали мне увидеть в ней человека, потому что сразу заставили меня отнести ее к общей категории женщин, привыкших приходить сюда вечером посмотреть, нельзя ли заработать один или два луи. Она только варьировала форму фразы, говоря: «Если я вам понадоблюсь» или: «Если вам кто-нибудь понадобится».

Хозяйка, не знакомая с оперой Галеви, не знала, откуда я взял обыкновение говорить: «Рахиль, когда Господня». Но непонятная шутка никогда

не казалась ей от этого менее забавной, и хозяйка говорила мне, всякий раз смеясь от всего сердца:

— Так, значит, сегодня вечером я еще не соединю вас с Рахилью, «когда Господня»? Как это вы говорите: «Рахиль, когда Господня»! Ах, прекрасно придумано! Я вас поженю. Вот увидите, не будете жалеть.

Однажды я чуть было не решился, но она оказалась «в работе», другой раз — в руках «парикмахера», старого господина, который всего только и умел, что поливать маслом распущенные волосы женщины и затем причесывать их. И я устал ждать, хотя какие-то обычные посетительницы, очень жалкие, якобы работницы, но всегда сидевшие без работы, являлись, чтоб приготовить тизану и завести со мной долгую беседу, которой — несмотря на серьезность затрагиваемых тем — нагота моих собеседниц, частичная или полная, сообщала пряную простоту. Впрочем, я перестал бывать в этом доме, потому что, желая засвидетельствовать мои лучшие чувства женщине, содержавшей его и нуждавшейся в мебели, я подарил ей кое-что из обстановки, полученной мной в наследство от тети Леонии, между прочим большой диван. Мебель эту мне не приходилось видеть, потому что отсутствие

места не позволило моим родителям перевезти ее к нам и она была свалена в сарае.

Но как только я встретился с ней в доме, где на нее садились эти женщины, все добродетели, которыми дышала комната моей тетки в Комбре, представились мне, измученные пыткой тех жестоких прикосновений, во власть которых я их отдал, беззащитных! Даже если бы при мне изнасиловали покойницу, и то я не стал бы так мучиться. Я уже и не возвращался к сводне, ибо мне чудилось, что эта мебель — живая, что она обращается ко мне с мольбой, как те неодушевленные с виду вещи из персидской сказки, в которых заключены души, терпящие муку и умоляющие освободить их. К тому же, так как память является для нас обычно не хронологической последовательностью наших воспоминаний, но чем-то вроде отражения, опрокидывающего порядок отдельных частей, я лишь значительно позднее вспомнил, что именно на этом диване много лет тому назад я впервые изведал наслаждения любви с одной из моих кузин, от которой я, не зная, где бы нам с ней устроиться, получил довольно рискованный совет воспользоваться тем временем, когда тети Леонии не будет в комнате.

Другую часть мебели и, главное, великолепное старинное серебро тети Леонии я продал, не послушавшись советов моих родителей, чтобы иметь в своем распоряжении больше денег и быть в состоянии посылать больше цветов г-же Сван, которая, получая от меня огромные корзины орхидей, говорила мне: «Если б я была вашим отцом, я назначила бы вам опеку». Как мог я предположить, что когда-нибудь я особенно пожалею об этом серебре и что иные радости я предпочту потерявшему для меня всякий смысл удовольствию оказывать внимание родителям Жильберты. Также ради Жильберты и для того, чтобы не расставаться с нею, решил я не поступать на службу в посольстве. Окончательные решения всегда имеют причиной расположение ума, которому не суждено быть длительным. Едва ли я мог представить себе, что та странная сущность, которая воплощалась в Жильберте и озаряла своими лучами ее родителей, ее дом, наполняя меня равнодушием ко всему остальному, что эта сущность сможет оторваться от нее, перейти в другого человека. Подлинно та же самая сущность, но которой предстояло оказать на меня совсем иное действие. Ибо одна и та же болезнь эволюционирует, и сладостная отрава

уже не может поглощаться по-прежнему, когда с годами уменьшается выносливость сердца.

Между тем моим родителям хотелось, чтобы ум, который признавал во мне Бергот, проявился в каком-нибудь замечательном труде. До моего знакомства со Сванами я думал, что работать мне мешает возбуждение, вызываемое невозможностью свободно встречаться с Жильбертой. Но с тех пор как их дом открылся для меня, я, едва усевшись за письменный стол, уже вскакивал и бежал к ним. А когда я расставался с ними и возвращался домой, мое одиночество было только кажущимся, моя мысль была уже не в силах плыть против течения слов, которому я бессознательно отдавался целыми часами. Оставшись один, я продолжал придумывать фразы, которые могли бы понравиться Сванам, а чтобы сделать игру более интересной, я играл и роль отсутствующих партнеров, задавал себе вымышленные вопросы, построенные так, чтобы мои блестящие остроты служили только удачными ответами на них. Это занятие, хоть и безмолвное, было все же разговором, а не размышлением, и мое одиночество — мысленно созданной светской жизнью, где моими словами руководил не я сам, а воображаемые собеседники, и где взамен

мыслей, казавшихся мне истинными, создавая мысли, не стоившие мне никакого труда, рождавшиеся во мне самом, я испытывал то совершенно пассивное удовольствие, которое полный покой доставляет человеку, чувствующему тяжесть от плохого пищеварения.

Если бы мое намерение приняться за работу не было так твердо, я, может быть, сделал бы усилие, чтобы начать сразу же. Но так как мое решение было непреложным и так как в течение двадцати четырех часов, в еще не заполненной рамке завтрашнего дня, где все так хорошо размещалось, потому что я еще не дошел до него, мои благие намерения с легкостью должны были осуществиться, то вечер, когда мне было не по себе, не подобало избирать для начала, которому — увы! — и следующие за этим дни благоприятствовали не в большей мере. Но я был благоразумен. Тот, кто ждал годы, поступил бы по-ребячески, если бы не мог вытерпеть трехдневной отсрочки. Уверенный в том, что послезавтра у меня уже будет написано несколько страниц, я ничего не говорил родным о своем решении; я считал, что лучше потерпеть несколько часов и принести бабушке, утешенной и поверившей, начатую работу. К несчастью, завтра — это не

был тот день, обширный и расположенный где-то вовне, которого я лихорадочно ждал. Когда «завтра» кончалось, это просто значило, что моя лень и моя мучительная борьба с внутренними препятствиями продлились еще сутки. А несколько дней спустя, когда планы мои все еще не были исполнены, у меня уже исчезла былая надежда на их немедленное осуществление — следовательно, еще в большей мере утрачивалась решимость все подчинить этой цели: я снова стал засиживаться ночью, так как мне уже не являлся отчетливый образ начинающейся завтра утром работы, который мог бы заставить меня рано лечь спать. Чтобы оживить в себе свое увлечение, мне нужно было несколько дней отдохнуть, и единственный раз, когда бабушка решилась тоном мягким и разочарованным сделать мне упрек: «Ну, что же эта работа, об ней даже и речи нет больше?» — я рассердился на нее, убежденный в том, что, не видя, как неуклонно мое намерение, она снова заставила меня отложить, и может быть надолго, его осуществление, взволновав меня своей несправедливостью, под впечатлением которой мне не хотелось бы начинать мой труд. Она почувствовала, что ее скептицизм нечаянно поколебал мою волю. Она попросила извинения,

сказала, целуя меня: «Прости, я больше ничего не буду говорить». И чтобы я не терял бодрости, уверила меня, что как только я поздоровею, работа пойдет сама собой.

Впрочем, говорил я себе, разве, проводя время у Сванов, я не делаю то же, что Бергот? Моим родным едва ли не казалось, что я, хоть и будучи ленив, веду образ жизни, наиболее благоприятный для таланта, ибо вращаюсь в той же гостиной, что и великий писатель. И всё же быть избавленным от необходимости самому изнутри создавать в себе этот талант, принимая его из чужих рук, так же невозможно, как укрепить свое здоровье (пренебрегая всеми правилами гигиены и позволяя себе самые вредные излишества) только благодаря тому, что где-либо в гостях часто обедаешь в обществе врача. Впрочем, человек, более всех находившийся во власти заблуждения, жертвами которого являлись и мои родные и я сам, была г-жа Сван. Когда я говорил ей, что не смогу прийти, так как мне надо работать, она, по-видимому, считала, что я очень важничаю, что мои слова и глуповаты, и несколько самонадеянны.

— Но ведь Бергот приходит же? Или вы находите, что он плохо пишет? Вскоре это будет еще лучше, — прибавляла она, — потому что в газете

он еще более отточен, более собран, чем в книгах, где он несколько расплывается. Я добилась того, что он будет теперь писать в «Фигаро» «leader article».[20] Это как раз будет «the right man in the right place».[21]

И она прибавляла:

— Приходите, он лучше, чем кто другой, скажет вам, что надо делать.

И как вольноопределяющегося зовут в гости вместе с его командиром, так же она в интересах моей карьеры, как будто великие произведения создаются благодаря «знакомствам», напоминала мне, чтобы я не забыл прийти завтра обедать вместе с Берготом.

Таким образом, ни со стороны Сванов, ни со стороны моих родных, то есть всех тех, кто в разное время считал, по-видимому, своим долгом препятствовать этому, не оказывалось больше никакого противодействия сладостному образу жизни, при котором я мог когда угодно встречаться с Жильбертой, полный восхищения, если не спокойствия. Покоя не может быть в любви, ибо то, что достигнуто, является всегда лишь

---

[20] Примечания: 20
передовую статью *(англ.).*

[21] Примечания: 21
нужный человек в нужном месте *(англ.).*

исходной точкой для новых, более смелых желаний. Пока мне нельзя было посещать Жильберту, я, устремив взоры на это недостижимое блаженство, даже не мог вообразить себе те новые источники волнений, которые меня там ждали. Как только сопротивление ее родителей было сломлено и вопрос был решен, он опять начал возникать все в новых и новых формах. В этом смысле, действительно, каждый день начиналась новая дружба. Каждый вечер, возвращаясь домой, я ясно сознавал, что мне надо сказать Жильберте нечто очень существенное, от чего зависит наша дружба, и это никогда не бывало одно и то же. Но я был счастлив наконец, и ничто не угрожало моему счастью. Увы! угроза возникала с той стороны, откуда я никогда не предвидел опасности, — со стороны Жильберты и меня самого. Между тем меня должно было бы мучить то, что, напротив, успокаивало меня, то, что казалось мне счастьем. Счастье в любви — состояние ненормальное, способное вдруг придать самой обыкновенной с виду и всегда возможной случайности важность, вовсе ей не соответствующую. Нас делает такими счастливыми наличие в сердце какой-то неустойчивости, которую все время пытаешься сохранить и которой почти не

замечаешь, пока не происходит сдвиг. На самом же деле в любви есть непрестанное страдание, которое радость нейтрализует, превращает в нечто потенциальное, отдаляет, но которое каждую минуту может стать тем, чем оно было бы уже давно, если бы не удавалось достичь желанной цели, то есть чем-то нестерпимым.

Я неоднократно чувствовал, что Жильберта желала бы отсрочить день моего посещения. Правда, когда мне слишком уж хотелось видеть ее, мне стоило только добиться приглашения от ее родителей, в которых все больше возрастала уверенность, что я оказываю на нее благотворное влияние. Благодаря им, думал я, любовь моя не подвергается ни малейшей опасности: поскольку они на моей стороне, я могу быть спокоен, так как Жильберта у них в полном повиновении. К несчастью, кой-какие признаки нетерпения, проявляемого ею, когда ее отец приглашал меня до известной степени против ее желания, заставили меня задать себе вопрос, не является ли то, что я считал защитой моего счастья, напротив, тайной причиной, по которой оно не может быть долговечным.

Когда я в последний раз посетил Жильберту, шел дождь; она была приглашена на урок тан-

цев в дом, слишком мало знакомый ей, чтоб она могла взять меня с собой. По случаю сырости я принял в тот день большую дозу кофеина, чем обычно. Может быть, от того, что погода была плохая, может быть, от того, что ей не нравился дом, где предполагалось это «утро», г-жа Сван, в ту самую минуту, когда ее дочь собиралась уходить, чрезвычайно резко окликнула ее: «Жильберта!» — и указала ей на меня, давая понять, что я пришел ради нее и что она должна остаться со мной. Это «Жильберта» она произнесла, вернее крикнула, руководясь по отношению ко мне добрыми намерениями, но по тому, как Жильберта пожала плечами, снимая пальто, я понял, что ее мать невольно ускорила процесс эволюции, понемногу отдалявший меня от моей приятельницы, — эволюции, которую до этих пор еще, может быть, и удалось бы остановить. «Мы не обязаны всякий день танцевать», — сказала своей дочери Одетта, с благоразумием, которому, наверно, научилась когда-то у Свана. Потом, снова становясь Одеттой, она заговорила с дочерью по-английски. И сразу же как будто стена скрыла от меня часть жизни Жильберты, как будто злой гений умчал от меня в даль мою приятельницу. В языке, нам знакомом, мы подменили непроницаемость звуков

прозрачностью идей. Но незнакомый нам язык — запертый дворец, где та, которую мы любим, может обманывать нас, мы же, оставаясь вне его и корчась в отчаянии бессилия, ничего не можем увидеть и ничему не можем помешать. Так и этот разговор по-английски, который месяц тому назад вызвал бы у меня улыбку, теперь, когда в двух шагах от меня его вели два неподвижно стоявших человека, только усиливал мою тревогу и указывал ей путь упоминанием отдельных французских собственных имен; он был для меня так же мучителен, как похищение, возбуждал во мне такое же чувство одиночества и покинутости. Наконец, г-жа Сван оставила нас вдвоем. В тот день, быть может, от обиды на меня, явившейся невольной причиной того, что ей не пришлось повеселиться, а может быть, и потому, что, догадываясь о ее гневе, я из предусмотрительности держался более холодно, чем обычно, лицо Жильберты, совершенно безрадостное, померкшее, опустошенное, казалось, все время было полно меланхолического сожаления о том па-де-катр, которого из-за меня ей не удалось протанцевать, и выражало подозрение, что ни один человек, и прежде всего я, не в силах уразуметь тончайших причин, определявших собою ее сентименталь-

ную склонность к бостону. Она ограничилась тем, что, касаясь погоды, упорства дождя, хода часов, поддерживала со мной разговор, испещренный паузами и односложными репликами, причем и я сам, с каким-то бешенством отчаяния, губил минуты, которые мы могли бы посвятить дружбе и счастью. Все наши слова приобретали оттенок какой-то крайней жесткости, вызванной парок-сизмом их парадоксальной незначительности, который все же утешал меня, ибо он не позволял Жильберте впасть в заблуждение и поверить в банальность моих замечаний и в равнодушие моего тона. Напрасно я говорил: «Мне кажется, еще на днях часы отставали», — она, очевидно, переводила эти слова так: «Какая вы злая!» Как я ни упорствовал, продолжая в течение всего дождливого дня эту беспросветную беседу, — я знал, что моя холодность не была чем-то окончательно застывшим, как я старался показать, и Жильберта не могла не почувствовать, что если, уже три раза упомянув о том, что дни становятся короче, я и в четвертый раз решусь сказать ей это, то мне трудно будет удержаться от рыданий. Когда она была такая, когда улыбка не наполняла ее взгляда и не раскрывала ее лица, ее грустные глаза и угрюмые черты запечатлевались неска-

занно томительной монотонностью. Ее лицо, почти мертвенно-бледное, напоминало тогда те тоскливые плоские побережья, где море, далеко отступив, утомляет вас всегда ровным тусклым блеском, окаймленным неподвижным и давящим горизонтом. Видя, наконец, что в Жильберте не происходит желанной перемены, которой я ждал уже несколько часов, я сказал ей, что она нехорошая. «Это вы нехороший», — ответила она мне. «Да нет же!» Я спросил себя, что я ей сделал, и, не находя ответа, спросил ее. «Конечно, вам кажется, что вы хороший!» — отвечала она со смехом и продолжала смеяться. Тогда я почувствовал, как мучительна для меня невозможность постичь ту линию ее мысли, которая обозначилась смехом. Казалось, этим смехом она хотела сказать: «Нет, нет, вы меня не проведете, что бы вы ни говорили, я знаю, вы от меня без ума, но мне ни холодно ни жарко, потому что мне на вас наплевать». Но я говорил себе, что в конце концов смех — язык недостаточно определенный, и во мне не было уверенности, что этот смех я толкую правильно. И ведь в словах Жильберты была доброжелательность. «Но почему же я нехороший? — спрашивал я ее. — Скажите мне, я сделаю все, что вы захотите». — «Нет, это

было бы ни к чему, я не могу вам объяснить». Была минута, когда я испугался, как бы она не подумала, что я не люблю ее, и это явилось новым страданием, не менее острым, но требовавшим иной диалектики. «Если б вы знали, как вы меня огорчаете, вы сказали бы мне». Но это огорчение, которое должно было бы ее порадовать, если бы она усомнилась в моей любви, напротив, рассердило ее. Тогда, поняв свою ошибку, решив, что больше я не буду считаться с ее словами, которым и не поверю, не мешая ей говорить: «Я, право же, вас любила, вы это поймете потом» (это «потом», когда, как уверяют преступники, откроется их невиновность, по каким-то загадочным причинам никогда не совпадает с моментом их допроса), — я нашел в себе достаточно мужества, чтобы принять внезапное решение больше с ней не видеться, не объявляя ей об этом, так как она бы мне не поверила.

Горе, виновником которого оказывается любимый нами человек, может быть тяжким даже и тогда, когда мы окружены заботами, делами, радостями, не связанными с этим человеком, и лишь изредка от них отвлекаемся, вспоминая о нем. Но если это горе — как было со мной — возникает в минуту, когда все наше существо

проникнуто счастьем от встреч с этим человеком, то резкий перелом, совершающийся в нашей душе, доселе солнечной, уравновешенной и спокойной, вызывает в нас жестокую бурю, бороться с которой до конца у нас, может быть, и не хватит сил. Буря, разразившаяся в моем сердце, была так неистова, что я вернулся домой растерзанный, разбитый, чувствуя, что, только повернув назад, только вернувшись под тем или иным предлогом к Жильберте, смогу перевести дыхание. Но она решила бы про себя: «Опять он! Положительно, я могу себе позволить все, что хочу, он всякий раз будет возвращаться ко мне тем более покорный, чем несчастнее он был, покидая меня». Потом мои мысли непреодолимо возвращали меня к ней, и эти колебания, эта растерянность внутреннего компаса продолжались и дома и нашли свое выражение в черновиках полных противоречий писем, которые я писал Жильберте.

Мне предстояло пережить одно из тех тяжелых состояний, с которыми нам обычно не раз приходится столкнуться в жизни, но к которым, хотя бы никаких изменений не претерпел ни характер наш, ни природная наша сущность, — природная сущность, сама создающая нашу любовь и даже, пожалуй, женщин, любимых нами, вплоть до их

недостатков, — мы каждый раз, то есть в разном возрасте, относимся по-иному. В такие минуты наша жизнь распадается на части, которые оказываются как бы на двух противоположных чашках весов, вмещающих их целиком. На одной из них — ваше желание избежать невыгодного впечатления, не показаться слишком жалким в глазах женщины, которую мы любим, не понимая ее, но которую нам представляется более правильным держать немного в стороне, чтобы у ней не явилось мысли о своей незаменимости, мысли, способной отвратить ее от нас; на другой же чашке — страдание, и страдание не частичное, локализованное, а такое, которое мы могли бы заглушить только в том случае, если бы, не стараясь больше понравиться этой женщине и уверить ее, что мы можем без нее обойтись, мы вернулись к ней. Если с чашки, где лежит гордость, снять маленькую частицу воли, которая по нашей слабости поизносилась с годами, а на чашку, где лежит горе, положить приобретенное тем временем и запущенное по нашей вине физическое страдание, то вместо мужественного решения, которое взяло бы верх в двадцать лет, другая чашка, чрезмерно отяжелев и лишившись противовеса, увлечет нас вниз, когда нам стукнет

пятьдесят. Тем более что положения меняются, хотя бы и повторяясь, и может случиться, что к середине или к концу жизни мы с пагубной снисходительностью по отношению к себе осложним любовь привычкой, чуждой молодости, которую удерживают иные обязанности, которая не так свободно располагает собой.

Только что успевал я написать Жильберте письмо, где давал волю грозе моего гнева, не упуская, однако, случая бросить спасательный круг в виде нескольких, как бы случайно проскользнувших слов, чтобы примирение могло за что-нибудь зацепиться, — как, минуту спустя, когда ветер уже менялся, я обращался к ней с фразами, полными любви, окрашенными нежностью, которая сквозила в отдельных отчаянных выражениях, в таких словах, как «больше никогда», столь умилительных для пишущего, но столь несносных для той, кто будет их читать, независимо от того, найдет ли она их лживыми и истолкует это «больше никогда» как «сегодня вечером, если вы не прогоните меня», или поверит этим словам, возвещающим ей окончательный разрыв, к которому мы относимся с таким полным равнодушием, когда дело идет о существе, безразличном для нас. Но если, любя, мы не в

состоянии поступить так, как подобало бы достойному предшественнику человека, которым мы вскоре сделаемся и который уже не будет любить, то каким образом могли бы мы представить себе умонастроение женщины, которой, зная даже, что ей до нас нет дела, но стараясь утешить свое горе или убаюкать себя прекрасной грезой, мы вкладывали в уста такие речи, как если бы она нас любила? В мыслях и поступках любимой женщины мы так же плохо разбираемся, как первые физики разбирались в явлениях природы (пока не возникла наука и не внесла некоторой ясности в мир неведомого). Или, того хуже, — как человек, сознанию которого остался бы почти совершенно чужд закон причинности, как человек, который был бы не в состоянии протянуть нить от одного явления к другому и для которого зрелище мира было бы так же смутно, как сон. Правда, я старался выйти из этой путаницы, отыскать причины. Я старался даже быть «объективным» и для этого не упускать из виду несоответствие между значением, которое Жильберта имела для меня, и тем значением, которое не только я имел для нее, но которое и сама она имела для других, — несоответствие, которое, если бы я не учел его, могло бы заставить меня принять ка-

кую-нибудь простую любезность со стороны моей приятельницы за страстное признание, смешную и унизительную выходку с моей стороны — за изящное и свободное движение, приближающее вас к прекрасным взорам. Но я боялся также впасть в противоположную крайность, ту крайность, когда в неаккуратности Жильберты, опаздывающей на свидание, я стал бы видеть знак ее досады, непоправимой враждебности. Между этими двумя равно деформирующими точками зрения я старался найти ту, с которой я правильно мог бы смотреть на вещи; вычисления, которые мне приходилось делать для этого, несколько отвлекали меня от моего горя; и то ли повинуясь ответу чисел, то ли вкладывая в них желательный мне ответ, я решал завтра же пойти к Сванам, уже радуясь этому, но как человек, долго мучившийся мыслью о путешествии, которое ему не хотелось предпринимать, доехавший только до вокзала и вернувшийся домой, где он распаковывает свои чемоданы. А так как в минуты колебания уже из одной мысли о возможности решения (если только мы не парализуем эту мысль, внушив себе, что не примем никакого решения), словно из живучего семени, перед нами возникает во всех подробностях

картина тех чувств, которые вызвало бы в нас осуществление поступка, то я, сказав себе, что вел себя очень нелепо, намереваясь больше не видеться с Жильбертой и тем самым причиняя себе такую же боль, как если бы я уже осуществил это намерение, и что раз я в конце концов вернусь к ней, я мог бы уберечь себя от стольких колебаний и мучительных решений. Но эта восстановленная дружба прервалась, как только я пришел к Сванам, и не оттого, что их дворецкий, очень любивший меня, сказал, что Жильберты нет дома (действительно, я в тот же вечер от людей, видевших ее, узнал, что это была правда), а оттого, как он сказал: «Сударь, барышни нет дома, уверяю вас, сударь, я не лгу. Если угодно проверить, могу позвать горничную. Барин ведь знает, я все готов сделать, чтобы доставить ему удовольствие, и если б барышня была дома, я сразу же проводил бы барина к ней». Слова эти, из числа тех, которые единственно важны для нас, потому что, сказанные невольно, они хотя бы в общих чертах дают нам рентгенограмму не навлекающей на себя подозрений действительности, которую скрыла бы обдуманная речь, — слова эти показывали, что у людей, окружавших Жильберту, создалось впечатление, будто я ей мешаю;

вот почему, как только дворецкий произнес эти слова, они зародили во мне ненависть, которую я предпочел обратить не на Жильберту, а на дворецкого; на нем сосредоточилось все чувство негодования, которое могла бы возбудить во мне моя приятельница; освобожденная от этого чувства благодаря его словам, любовь осталась одна; но эти же слова вместе с тем показали мне, что некоторое время я не должен стараться увидеть Жильберту. Она, разумеется, напишет мне, будет извиняться. Несмотря на это, я не сразу пойду к ней, чтобы доказать ей, что могу жить и без нее. К тому же, если бы я получил ее письмо, мне некоторое время было бы легче лишать себя встреч с Жильбертой, так как я был бы уверен, что увижу ее, как только мне захочется. Чтобы с меньшей тоской перенести добровольную разлуку, мне нужно было освободить свое сердце от страшной неуверенности: не навсегда ли мы поссорились, не обручена ли она, не уехала ли, не похищена ли? Следующие дни напоминали ту оставшуюся в прошлом новогоднюю неделю, что мне пришлось провести без Жильберты. Но тогда, с одной стороны, я был уверен, что, как только минет эта неделя, моя приятельница вернется на Елисейские Поля и я по-прежнему буду видеть ее;

с другой же стороны, я знал не менее твердо, что, пока не кончатся новогодние каникулы, не стоит и ходить на Елисейские поля. Таким образом, в течение этой грустной, давно минувшей недели я спокойно переносил свою грусть, потому что к ней не примешивалась ни боязнь, ни надежда. Теперь же, напротив, именно это последнее чувство почти в такой же степени, как и боязнь, сделало мое страдание невыносимым. Не получив в тот же вечер письма от Жильберты, я отнес это на счет ее небрежности, ее занятости, я не сомневался, что это письмо будет в утренней почте.

Я ждал его каждый день с дрожью в сердце, сменявшейся подавленностью, когда приходили письма от людей, которые не были Жильбертой, или ничего не оказывалось, что было не хуже, так как доказательства дружбы других людей заставляли меня еще больнее почувствовать ее равнодушие. Я переносил надежду на следующую почту. Я не решался выходить из дому даже в промежутки между приходами почтальона, так как она могла прислать свое письмо с лакеем. Потом наступал час, когда ни почтальон, ни лакей от Сванов больше не мог прийти и надежду на успокоение надо было отложить до завтрашнего утра, — и вот, считая, что мое страдание будет

непродолжительным, я, так сказать, был вынужден непрестанно обновлять его. Горе, может быть, оставалось тем же, но вместо того чтобы, как прежде, служить однообразным продолжением исходной эмоции, оно воскресало по нескольку раз в день, начинаясь эмоцией, которая так часто повторялась, что — будучи состоянием почти физическим и столь преходящим — делалась чем-то устойчивым, и не успевала еще затихнуть тревога, порожденная ожиданием, как для ожидания появлялся новый повод, так что весь день не было ни одной минуты, когда я не испытывал бы беспокойства, которое так трудно вытерпеть и в течение часа. Так мое страдание было несравненно более мучительно, чем тогда, в ту новогоднюю пору, потому что на этот раз вместо простого и чистого приятия страдания во мне жила надежда, что оно каждую минуту может кончиться. Однако в конце концов я должен был принять его, и я понял тогда, что это — окончательно, и навсегда отказался от Жильберты, ради моей же любви к ней и желая прежде всего, чтобы у ней не осталось обо мне презрительного воспоминания. И вот, чтобы она не могла предположить во мне чего-либо вроде оскорбленной любви, я, даже когда она потом назначала мне

свидание, нередко соглашался, а в последнюю минуту писал ей, что не могу прийти, выражая, однако, свое отчаяние, как поступил бы по отношению к человеку, которого мне не хотелось бы видеть. Эти слова сожаления, обыкновенно приберегаемые для людей, нам безразличных, должны были, как мне казалось, с большим успехом убедить Жильберту в моем равнодушии, чем тот притворно-равнодушный тон, каким говорят с человеком любимым. Когда я докажу ей, что у меня нет охоты видеть ее, докажу не словами, нет, а действиями, бесконечно повторенными, тогда, может быть, у нее появится охота видеть меня. Увы, это было ни к чему; пытаться, не видясь с ней, воскресить в ней это желание увидеться со мной — значило потерять ее навсегда; прежде всего потому, что если бы я хотел укрепить это воскресающее желание, мне бы не следовало повиноваться ему тотчас же; к тому же самые мучительные часы были бы уже позади; вот в эту минуту она мне необходима, и мне хотелось бы предупредить ее, что скоро, когда она вновь увидится со мной, она успокоит боль, настолько уже затихшую, что эта боль не будет уже, как еще была бы в данную минуту, поводом для сдачи, для примирения, для новых встреч, которые поло-

жили бы ей конец. И ведь потом, когда я наконец без риска — настолько в Жильберте окрепнет ее склонность ко мне — смогу признаться в моей склонности к ней, склонность эта, не в силах будучи вынести такую долгую разлуку, уже исчезнет: Жильберта станет мне безразлична. Я это знал, но не мог ей сказать; она подумала бы, что, утверждая, будто я разлюбил ее, слишком долго ее не видя, я делаю это лишь затем, чтобы она поскорее позвала меня к себе. А пока что мне эту разлуку облегчало то обстоятельство, что (с целью наглядно показать ей, что, несмотря на мои уверения, я по своей воле, а не в силу какого-нибудь препятствия, не по болезни лишаю себя свидания с нею) всякий раз, когда мне было известно заранее, что Жильберты не будет дома, что она собирается куда-нибудь вместе с подругой и не вернется обедать, я отправлялся к г-же Сван (которая стала для меня теперь тем же, чем была в то время, когда мне так трудно было видеться с ее дочерью и когда, если она не приходила на Елисейские Поля, я отправлялся гулять в Аллею акаций). Таким образом, я должен был услышать что-нибудь о Жильберте и был уверен, что и обо мне будут говорить при ней, и в таких тонах, что она убедится в моем равнодушии. И как все те,

кому приходится страдать, я находил, что мое печальное положение могло бы быть и хуже. Ибо, имея свободный доступ в дом Жильберты, я все время говорил себе, что, несмотря на мое твердое решение не пользоваться этим правом, все же, если боль моя сделается слишком острой, я смогу прекратить ее. Свое горе я чувствовал изо дня в день. Да и это не слишком сильно сказано. Сколько раз в течение часа (но теперь уже без тревоги ожидания, которая угнетала меня в первые недели после нашей ссоры, до того как я снова стал бывать у Сванов) читал я себе вслух письмо, которое Жильберта пришлет же мне в один прекрасный день, даже, может быть, сама принесет. Постоянно стоявший передо мной образ этого воображаемого счастья помогал мне переносить гибель счастья действительного. По отношению к женщинам, которые не любят нас, мы ведем себя как по отношению к «пропавшим без вести»: сознание безнадежности не мешает нам ожидать. Мы живем настороже, прислушиваясь; мать, чей сын ушел в море, в опасное плавание, каждую минуту воображает, даже если давно уже нет сомнений в его гибели, что вот он войдет, спасшийся чудом, целый и невредимый. И это ожидание, в зависимости от силы воспоминаний

и сопротивляемости органов, или помогает ей прожить годы, по прошествии которых она в силах будет вынести его смерть, начнет понемногу забывать и вернется к жизни, или убивает ее.

С другой стороны, мое горе несколько умерялось мыслью, что оно служит на пользу моей любви. Каждый визит, который я делал г-же Сван в отсутствие Жильберты, был для меня мучителен, но я чувствовал, что тем самым я выигрываю в глазах Жильберты.

Впрочем, если я, прежде чем идти к г-же Сван, всегда старался удостовериться в том, что ее дочери не будет дома, это зависело не только от моего решения оставаться с ней в ссоре, но не в меньшей степени и от надежды помириться с ней, которая «накладывалась» на мою волю к отречению (в душе человеческой мало что является абсолютным, по крайней мере в смысле некоторого постоянства: ведь одним из ее законов, получающим подкрепление от неожиданных наплывов разнородных воспоминаний, служит чередование) и скрывала от меня то, что было в ней особенно мучительно. Я отлично сознавал, сколь химерична эта надежда. Я был словно нищий, который не так обильно орошает слезами свой черствый хлеб, если внушит себе, что, быть

может, сейчас какой-нибудь чужестранец оставит ему все свое состояние. Всем нам приходится поддерживать в себе какую-нибудь фантазию, иначе действительность станет несносной. А я в большей неприкосновенности мог сохранять мои надежды — вместе с тем и легче переживал разлуку, — не видя Жильберты. Если бы мы встретились с ней у ее матери лицом к лицу, мы, может быть, сказали бы друг другу непоправимые слова, которые сделали бы нашу ссору окончательной, убили бы мои надежды и в то же время, вызвав новую тревогу, разбудили бы мою любовь и затруднили бы мне примирение с моей участью.

Уже весьма давно и задолго до моей ссоры с ее дочерью г-жа Сван сказала мне: «Это очень хорошо, что вы ходите к Жильберте, но мне тоже было бы приятно, если бы вы иногда приходили и ко *мне*, правда, не на мои сборища, когда у меня куча народу и вам было бы скучно, но в другие дни, когда вы всегда застанете меня попозднее». Итак, приходя к ней, я как будто всего лишь исполнял, много времени спустя, желание, давно уже высказанное ею. И в час очень поздний, уже к ночи, почти в такое время, когда мои родители садились за стол, я отправлялся к г-же Сван с визитом, в течение которого, как мне было

известно, я не встречу Жильберту, но думать все-таки буду только о ней. В этом, считавшемся тогда отдаленным, квартале Парижа, более темного, чем теперь, где на улицах, даже в центре, вовсе не было электричества, где и в домах оно редко встречалось, лампа, зажженная где-нибудь в гостиной в нижнем этаже (например, в той комнате, где обычно принимала г-жа Сван), только и освещала улицу и заставляла прохожего поднять глаза и увидеть в этом ярком свете явную, хоть и замаскированную причину того, что перед подъездом стоит несколько великолепных карет. Видя, как одна из этих карет трогается с места, прохожий не без волнения думал, что в этой загадочной причине произошли какие-то изменения; но это всего-навсего кучер, опасаясь, как бы не прозябли лошади, по временам давал им пройти взад и вперед, и впечатление было тем сильнее, что благодаря резиновым шинам шаги лошадей еще отчетливее и яснее раздавались среди тишины.

«Зимние сады», которые в те годы обычно являлись глазам прохожего, по какой бы улице он ни шел, если только квартира находилась не слишком высоко над тротуаром, теперь можно увидеть только на гелиогравюре в какой-нибудь подароч-

ной книге П.-Ж. Сталя, где, в противоположность нынешним гостиным во вкусе Людовика XVI и редким в них цветам — какой-нибудь розе или японскому ирису в узкой хрустальной вазе, в которой уже не поместился бы другой цветок, — сады эти, благодаря обилию комнатных растений и полному отсутствию стиля в их расположении, кажутся созданными скорее живой и очаровательной страстью хозяйки дома к ботанике, чем холодными заботами о мертвой декорации. В более крупных масштабах, в особняках того времени, они напоминали те миниатюрные и портативные оранжереи, которые утром первого января ставились возле зажженной лампы — так как у детей не хватало терпения дождаться, чтоб рассвело, — в числе прочих новогодних подарков, являясь, однако, самым лучшим среди них, заставляя забыть зимнюю наготу и утешая видом растений, за которыми надо будет ухаживать; но еще более, чем на такие оранжереи, эти зимние сады похожи были на оранжерею, которая виднелась совсем рядом с ними, нарисованная в красивой книжке (другом новогоднем подарке), и которая — хотя она была подарена не детям, а героине произведения, м-ль Лили, — приводила их в такой восторг, что теперь, став почти ста-

риками, они спрашивают себя, не была ли в ту блаженную пору зима самым прекрасным временем года. И наконец, в глубине зимнего сада, сквозь разнообразную растительность, благодаря которой освещенное окно, если смотреть на него с улицы, напоминало стёкла этих детских оранжерей, нарисованных или существующих в самом деле, прохожий, поднявшись на цыпочки, видел большей частью мужчину в сюртуке, с гарденией или гвоздикой в петлице, который стоял перед дамой, сидевшей в кресле, — различал их неясно, как будто это была резьба на топазе, в глубине гостиной, где от самовара — одного из последних нововведений того времени — подымался пар, который, может быть, идет от него и теперь, но, в силу привычки, его уже никто не замечает. Г-жа Сван придавала большое значение этому «чаю»: она видела особую оригинальность и прелесть в том, чтобы сказать мужчине: «Вы каждый день застанете меня попозже, приходите выпить чаю», — тонкой и нежной улыбкой сопровождая эти слова, которые она произносила с чуть слышным английским акцентом и которые собеседник принимал к сведению, отвечая многозначительным поклоном, словно это было нечто важное и необычное, требовавшее к себе уважения и вни-

мания. Кроме упомянутых выше, была еще одна причина, по которой цветы в гостиной г-жи Сван имели не только характер украшения; причина эта была связана не с эпохой, а отчасти с прежним образом жизни Одетты. Кокотка высшего разряда, какой и была она, живет прежде всего для своих любовников, то есть живет у себя дома, а это может привести ее к тому, что она станет жить для себя. Вещи, которые можно увидеть у порядочной женщины и которые, разумеется, и в ее глазах могут иметь значение, во всяком случае больше всего значат для кокотки. Апогей ее дня не та минута, когда она одевается для всех, но та, когда она раздевается ради одного. В капоте, в ночной рубашке, она должна быть так же элегантна, как и в вечернем туалете. Другие женщины щеголяют своими драгоценностями, она живет в интимном общении со своими жемчугами. Этот образ жизни обязывает, а под конец и развивает вкус к скрытой роскоши, вкус почти бескорыстный. У г-жи Сван он был направлен на цветы. Рядом с ее креслом всегда стояла огромная хрустальная чаша, полная пармских фиалок или маргариток, лепестки которых осыпались в воду, и, казалось, сообщавшая гостю о каком-то любимом и прерванном занятии — как,

например, о чашке чаю, которую г-жа Сван выпила бы в одиночестве, для своего удовольствия, или о занятии более интимном и более загадочном, — так что, увидев цветы, выставленные там, хотелось извиниться, как если бы вы взглянули на заглавие еще раскрытого томика, которое могло бы рассказать, что сейчас еще только читала Одетта, а таким образом, пожалуй, и то, о чем она теперь думает. В цветах было больше жизни, чем в книге; вы чувствовали неловкость, когда, придя с визитом к г-же Сван, замечали, что она не одна, или, войдя в комнату вместе с нею, видели, что гостиная не стоит пустая, — такое загадочное место занимали в ней эти цветы, связанные с неизвестными вам часами в жизни хозяйки дома, цветы, не приготовленные ради гостей Одетты, но словно забытые там, словно о чем-то с ней беседовавшие и еще не кончившие беседу, которой вы боялись помешать и тайну которой тщетно пытались прочитать, вперив взгляд в жидкий, блеклый, лиловый и помятый цвет пармских фиалок. С конца октября Одетта, насколько могла, регулярно возвращалась домой к чаю, который в то время еще называли «five

o'clock tea»,[22] так как она слышала (и любила повторять), что если г-жа Вердюрен устроила у себя салон, то это потому, что всегда можно было с уверенностью застать ее дома в определенный час. Она воображала, что и у нее есть салон в таком же духе, только более свободный: «senza rigore»,[23] любила она говорить. Так она себе самой казалась чем-то вроде Леспинас и думала, что основала соперничающий салон, похитив из салона дю Деффан кружок самых приятных его членов, в частности Свана, последовавшего за ней в изгнание и уединение, согласно версии, поверить в которую ей, разумеется, удалось бы заставить новых приятельниц, не знакомых с прошлым, но не самое себя. Но мы столько раз играем в обществе некоторые излюбленные роли и столько раз повторяем их про себя, что скорее полагаемся на их мнимое свидетельство, чем на действительность, почти совершенно забытую. В дни, когда г-жа Сван не выходила вовсе, на ней можно было увидеть крепдешиновый пеньюар, белый как первый снег, иногда же одно из тех длинных, как будто сплошь усеянных

---

[22] Примечания: 22
«файв-о-клок», чаепитие в 5 часов *(англ.).*

[23] Примечания: 23
без строгости *(лат.).*

розовыми или белыми лепестками гофрированных платьев из шелкового муслина, которые теперь нашли бы неподходящими для зимы, и совершенно напрасно. Ибо эти легкие материи и эти мягкие краски придавали женщине — в тогдашних очень теплых гостиных, защищенных портьерами и удостаивавшихся самой утонченной похвалы, когда автор светского романа того времени начинал говорить о «мягкой нежности их обивки», — тот же зябкий вид, что был у роз, которые, несмотря на зиму, стояли возле нее в своей алой наготе, совсем как весной. Так как звуки заглушались коврами и хозяйка дома, сидя в глубине комнаты не знала, как теперь, о том, что вы вошли, то она еще продолжала читать, когда вы были уже почти возле нее, а это еще усиливало романтическое впечатление, обаяние тайны, застигнутой врасплох, которым окрашены теперь для нас воспоминания об этих платьях, уже тогда вышедших из моды и не оставленных, кажется, одной только г-жой Сван, — платьях, внушающих нам мысль, что носящая их женщина должна быть героиней романа, так как большинство из нас видело их только в романах Анри Гревиля. Теперь, в начале зимы, у Одетты в гостиной стояли огромные хризантемы, такие

разнообразные по краскам, каких Сван не мог бы прежде увидеть у нее. Мое восхищение ими — когда я приходил к г-же Сван с одним из тех печальных визитов, во время которых моя тоска заставляла меня находить в ней вновь всю таинственную поэтичность матери той самой Жильберты, что завтра услышит от нее: «Твой приятель приходил ко мне», — было, наверно, вызвано тем, что они, бледно-розовые, как шелк ее кресел во вкусе Людовика XIV, белоснежные, как ее пеньюар из крепдешина, или же медно-красные, как ее самовар, являлись добавкой к убранству салона, такой яркой, такой утонченной, но живой и способной просуществовать только несколько дней. Но я умилялся — потому, что всё же в этих хризантемах было больше постоянства, чем мимолетности, если сопоставить их с теми, столь же розовыми или медно-красными цветами, которые закатное Солнце так щедро бросает в туман ноябрьских сумерек, и потому, что, увидев, как они гасли в небе, я, войдя к г-же Сван, вновь встречался с ними, воскресшими в пылающей палитре цветов, перешедшими в нее. Словно огни, похищенные великим колористом среди непостоянства атмосферы и солнца для того, чтобы сделаться украшением человеческого

жилья, они, эти хризантемы, несмотря на всю мою печаль, звали меня в часы вечернего чая жадно вкушать те столь краткие ноябрьские утехи, которые они зажигали тут же, рядом со мной, во всем их интимном и таинственном великолепии. Увы, не в разговорах, которые я слушал, мог бы я вкусить это великолепие: они были так далеки от него. Даже с г-жой Котар, несмотря на то что время было позднее, г-жа Сван принимала ласковый тон, если надо было сказать: «Да нет, не поздно, не смотрите на часы, еще не время, они стоят; куда вы так торопитесь?» — и она снова предлагала сладкий пирожок жене профессора, все время державшей в руке сумочку для визитных карточек.

«Из этого дома невозможно уйти», — говорила г-же Сван г-жа Бонтан, а между тем г-жа Котар, изумленная, что слышит свою собственную мысль, восклицала: «То же самое и я говорю себе всегда, в своем умишке, пред судом моей совести!» — вызывая одобрение господ из Жокей-Клуба, рассыпавшихся в поклонах и словно удостоившихся величайшей чести, когда г-жа Сван представляла их этой маленькой, не слишком любезной мещаночке, которая с блестящими друзьями Одетты вела себя осторожно, если даже

не «оборонительно», как она выражалась, ибо о самых простых вещах всегда говорила высоким языком. «Этого не скажешь, вот уже три среды вы мне изменяете», — говорила г-же Котар г-жа Сван. «Это правда, Одетта, я не видела вас *целые века, целую вечность.* Вы видите, я сама признаю себя виновной, но надо вам сказать, — прибавляла она тоном стыдливым и неопределенным, так как, хоть она и была женой врача, все же не решилась бы заговорить без иносказаний о ревматизме или о почечных коликах, — у меня было столько маленьких *несчастий.* У каждого свои. И потом, у меня был кризис с мужской прислугой. Хоть я и не так уж властолюбива, не более чем другие, мне пришлось, ради острастки, рассчитать нашего Вателя, который, впрочем, кажется, искал места более прибыльного. Но его уход чуть было не вызвал отставки всего министерства. Моя горничная тоже не хотела оставаться, творилось нечто гомерическое. Невзирая ни на что, я крепко держала руль, и это для меня настоящий урок, которого я не забуду. Я вам надоедаю всеми этими историями с прислугой, но вы знаете не хуже меня, какая это возня, когда приходится менять ваш персонал».

«А мы не увидим вашу очаровательную дочь?»

— спрашивала она. «Нет, моя очаровательная дочь обедает у подруги, — отвечала г-жа Сван и прибавляла, обращаясь ко мне: — Она, мне кажется, писала вам, чтобы вы приходили к ней завтра. А как ваши бэби?» — спрашивала она жену профессора. Я с облегчением вздыхал. Эти слова г-жи Сван, доказывавшие мне, что я, когда захочу, смогу увидеть Жильберту, приносили мне как раз то благо, которого я искал здесь и которое в то время делало столь необходимыми для меня посещения г-жи Сван. «Нет, а впрочем, я напишу ей записочку сегодня вечером. Нам с Жильбертой нельзя больше видеться», — прибавлял я, как будто приписывая нашу разлуку таинственной причине, что давало мне еще иллюзию любви, поддерживавшуюся также и благодаря той нежности, с которой я говорил о Жильберте и с которой она говорила обо мне. «Знаете, она бесконечно любит вас, — говорила мне г-жа Сван. — Так вы не хотите прийти завтра?» И вдруг я испытывал радостный подъем, я говорил себе: «Но, в конце концов, почему бы и нет, раз ее мать сама мне это предлагает?» Но я тотчас впадал в уныние. Я опасался, как бы Жильберта, встретившись со мной вновь, не подумала, что мое равнодушие за последние дни было притворством, и предпочитал

продолжать разлуку. Пока мы так разговаривали в стороне, г-жа Бонтан жаловалась на то, как ей наскучили жены политических деятелей, ибо она прикидывалась, что всех считает невыносимыми и смешными и что положение, занимаемое ее мужем, приводит ее в отчаяние. «Значит, вы можете вот так подряд принять пятьдесят докторских жен? — говорила она г-же Котар, которая, напротив, благожелательно относилась ко всякому и была исполнена уважения ко всем обязанностям. — Ах, вы добродетельны! Мне в министерстве, конечно, приходится, я должна. Но, ей-богу, мне это не под силу, вы знаете, все эти жены чиновников — не могу удержаться, чтоб не высунуть им язык. И племянница Альбертина в меня. Вы не представляете себе, какая она дерзкая, эта малышка. На прошлой неделе у меня в мой день была жена товарища министра финансов и рассказывала, что ничего не понимает в стряпне. «Но, сударыня, — заметила ей с очаровательной улыбкой моя племянница, — все-таки вы должны были бы знать, что это такое, ведь ваш отец был поваренком»». — «О! мне это очень нравится; по-моему, это прелестно, — говорила г-жа Сван. — Но по крайней мере в дни, когда у доктора прием, вы должны были бы устраивать-

ся поуютнее — цветы, книги, вещи, которые вы любите», — советовала она г-же Котар. «Вот так выпалила в лицо, выпалила, не заставила себя просить. И ни о чем не предупредила меня, маленькая притворщица, хитрая она, как обезьяна. Это ваше счастье, что вы можете сдерживаться: завидую людям, которые умеют прятать свои мысли». — «Но мне в этом нет нужды: я не такая требовательная, — мягко отвечала г-жа Котар. — Во-первых, на это у меня не такие права, как у вас, — прибавляла она уже более твердо, как она делала всегда, если ей надо было подчеркнуть какую-нибудь тонкую любезность, искусную лесть, которую ей удавалось ввернуть в разговор и которая вызывала восхищение ее мужа и помогала его карьере. — И ведь я с удовольствием делаю все то, что может быть полезно профессору».

— Но, сударыня, надо быть в состоянии. Вероятно, вы совсем не нервная. Я, когда вижу, как жена военного министра строит гримасы, я сразу же начинаю ей подражать. Это ужасно, когда вот такой темперамент.

— Ах да, — говорила г-жа Котар, — я слыхала, что у нее тик; мой муж тоже знаком с очень важными лицами, и, разумеется, когда эти господа беседуют между собой…

— Да, вот еще, сударыня, это как с обер-гофмаршалом, он горбатый, не успеет он и пяти минут посидеть у меня, как я уже трогаю его за горб. Мой муж говорит, что его сместят из-за меня. Ну, довольно о министерстве! Да, довольно о министерстве, я хотела поставить это, вместо девиза, на моей почтовой бумаге. Я уверена, что шокирую вас, потому что вы добрая, а для меня, признаюсь, самое веселое — это злословить. Без этого жизнь была бы очень однообразна.

И она все время продолжала говорить о министерстве, как будто это был Олимп. Чтобы переменить разговор, г-жа Сван обращалась к г-же Котар:

— А какая вы нарядная! Redfern fecit?[24]

— Нет, вы знаете, что я верна Раутницу. Впрочем, это переделка.

— Ну, да это же роскошно!

— Сколько, как вы думаете?.. Нет, меняйте первую цифру.

— Как, но это же пустяки, это даром. Мне говорили, втрое дороже.

— Вот как пишется история, — заключала жена доктора. И, показывая г-же Сван шарф, который

---

[24] Примечания: 24
Редферн сделал? *(лат.)*

та подарила ей: — Поглядите, Одетта. Узнаёте?

Из-за портьеры кто-то просовывал голову, церемонно-почтительно, притворяясь для шутки, что боится помешать: то был Сван. «Одетта, принц Агригентский у меня в кабинете и спрашивает, можно ли ему будет прийти засвидетельствовать свое почтение. Что мне ответить ему?» — «Да я буду в восторге», — с чувством удовлетворения говорила Одетта, не изменяя своему спокойствию, которое ей тем легче было сохранять, что она всегда, даже будучи кокоткой, принимала светских людей. Сван уходил сообщить о разрешении и вместе с принцем возвращался к жене, если только за это время не приезжала г-жа Вердюрен. Женившись на Одетте, Сван потребовал от нее, чтоб она перестала посещать «маленький клан» (на это у него были причины, а если бы их и не было, он все-таки сделал бы это, повинуясь закону неблагодарности, который не терпит исключений и подчеркивает неосмотрительность или бескорыстие всех сводников). Он только разрешил Одетте обмениваться с г-жой Вердюрен двумя визитами в год, что опять-таки было крайностью в глазах «верных», возмущенных обидой, которая была нанесена Хозяйке, столько лет относившейся к Одетте и даже к Свану как к своим

любимцам. Ибо, если здесь и были изменники, которые порой пропускали вечера и, ничего не говоря, отправлялись к пригласившей их Одетте, готовые в случае изобличения сослаться на то, что им любопытно было встретить Бергота (хотя Хозяйка утверждала, что он не бывает у Сванов, лишен таланта, и, несмотря на это, пользуясь ее любимым выражением, старалась «привлечь» его), в «маленьком кружке» были и свои «фанатики». И они-то, не зная особых правил приличия, часто удерживающих нас от крайних шагов, которые предпринимаются с целью доставить нашему противнику неприятность, желали бы — но этого не добились, — чтобы г-жа Вердюрен прекратила отношения с Одеттой и лишила ее удовольствия говорить с улыбкой: «Со времен раскола мы очень редко бываем у Хозяйки. Это можно было, когда мой муж был холостяком, но для людей семейных это не всегда легко… Господин Сван, откровенно говоря, не переваривает матушку Вердюрен и не слишком одобрил бы, если бы я стала постоянно бывать у нее. А я верная супруга…» Сван сопровождал туда жену на званые вечера, но избегал присутствовать, когда г-жа Вердюрен приезжала с визитом к Одетте. Вот почему, если в гостиной находилась г-жа

Вердюрен, принц Агригентский входил один. Его одного только и представляла Одетта, предпочитавшая, чтобы г-жа Вердюрен не слыхала безвестных имен и, видя кругом ряд незнакомых лиц, могла подумать, что находится среди аристократических знаменитостей, — расчет настолько удачный, что вечером г-жа Вердюрен с отвращением говорила мужу: «Прелестное общество! Там был весь цвет реакции!» Одетта находилась в обратном заблуждении по отношению к г-же Вердюрен. Правда, салон последней в то время еще не начинал становиться тем, чем, как мы увидим, он стал потом. Г-жа Вердюрен не дошла еще даже до того инкубационного периода, когда отменяют большие празднества, на которых немногие, только что приобретенные, полные блеска элементы потонули бы в массе сброда, и когда предпочитают подождать, чтобы те десять праведников, которых удалось привлечь, силой размножения произвели бы семьюдесятью десять подобных себе. Подобно тому как это не замедлила сделать Одетта, и г-жа Вердюрен наметила своим «объектом» свет, но сфера нападения была у нее еще столь ограниченная и к тому же столь удаленная от той, где Одетта имела некоторые шансы достичь подобного же результата,

проложить себе путь, что последняя жила в самом полном неведении насчет стратегических планов, вырабатывавшихся Хозяйкой. И Одетта, когда ей говорили о снобизме г-жи Вердюрен, совершенно чистосердечно начинала смеяться и отвечала: «Совсем наоборот. Во-первых, у нее нет самого основного, она ни с кем не знакома. Потом, надо отдать ей справедливость, что так ей и нравится. Нет, ей нравятся ее среды, приятные собеседники». И втайне она завидовала искусству г-жи Вердюрен (хотя и не отчаивалась в том, что сможет изучить его, пройдя такую школу), которому Хозяйка умела придать столь прекрасную внушительность, хотя оно и не имеет другой цели, как только оттенять несуществующее, придавать форму небытию, и является, собственно говоря, искусством пустоты: умением хозяйки дома «соединить», «сгруппировать», «обратить внимание», «стушеваться», послужить «связующим звеном».

Во всяком случае, на приятельниц г-жи Сван производило впечатление, что они видят у нее женщину, которую всякий представлял себе не иначе, как в ее собственном салоне, среди обрамлявших ее неразлучных гостей, среди целого кружка, ожившего теперь, сконцентри-

ровавшегося, сжавшегося на одном кресле, в образе Хозяйки, которая стала теперь гостьей, закутавшись в манто на гагачьем пуху, таком же мягком, как белые меха, лежавшие на полу здесь в салоне, где г-жа Вердюрен сама по себе была салоном. Самые робкие дамы из скромности хотели удалиться и, прибегая к множественному числу, как в том случае, когда хотят намекнуть окружающим, что благоразумнее не утомлять выздоравливающую, которая первый раз встала с постели, говорили: «Одетта, мы покидаем вас». Г-жа Котар, которую Хозяйка называла по имени, возбуждала зависть. «Так я похищаю вас?» — говорила ей г-жа Вердюрен, не переносившая мысли, что кто-нибудь из «верных» останется здесь, вместо того чтоб последовать за нею. «Г-жа Бонтан так любезна, что отвезет меня, — отвечала г-жа Котар, не желая показать вида, что ради особы более знаменитой она забывает о г-же Бонтан, которая предложила подвезти ее в казенной карете и на предложение которой она согласилась. — Признаюсь, я особенно благодарна друзьям, которые так добры, что приглашают меня к себе в экипаж. Это прямо клад для меня. Ведь у меня нет своего автомедона». — «Тем более, — отвечала Хозяйка (не решаясь сказать ничего лишнего,

так как была немного знакома с г-жой Бонтан и только что пригласила ее на свои среды), — что от госпожи де Креси до вас не близко. Ах, боже мой, я никогда не приучусь говорить: госпожа Сван». Это была шутка, принятая в «маленьком клане», где люди не слишком умные притворялись, что не могут привыкнуть говорить: госпожа Сван. «Я так привыкла говорить: госпожа де Креси, я опять чуть было не ошиблась». Однако г-жа Вердюрен, обращаясь к Одетте, не ошибалась, и обмолвки ее были сознательны. «Вы не боитесь, Одетта, жить в таком глухом месте? Мне кажется, я никогда бы не была вполне спокойна, возвращаясь вечером. И к тому же так сыро. Это, должно быть, не полезно для вашего мужа при его экземе. Крыс у вас нет, по крайней мере?» — «Что вы! Какая гадость!» — «Тем лучше, мне так говорили. Я очень рада, что это оказывается неправда, потому что я их ужасно боюсь, и я бы к вам больше не приехала. До свиданья, моя милая, до скорого, надеюсь: вы знаете, как я рада вас видеть. Вы не умеете расставлять хризантемы, — уходя, говорила она г-же Сван, которая вставала, чтобы проводить ее. — Это японские цветы, их расставлять нужно так, как это делают японцы». — «Я не согласна с госпожой Вердюрен, хотя во всем остальном она

для меня закон и пророки. Только вы, Одетта, умеете находить такие прекрасные хризантемы или, может быть, кризантемы, — не знаю, как будет правильно», — объявляла г-жа Котар, когда за Хозяйкой закрывалась дверь. «Милая госпожа Вердюрен не всегда особенно благосклонна к чужим цветам», — мягко отвечала г-жа Сван. «Кто ваш поставщик, Одетта? — спрашивала г-жа Котар, желая прервать критические замечания по адресу Хозяйки. — Леметр? Признаюсь, что на днях у Леметра было выставлено большое розовое растение, которое подвигло меня совершить безумие». Но по своей стыдливости она отказалась сообщить более точные сведения о цене растения и сказала только, что профессор, «которого, однако, не так легко рассердить», обнажил шпагу и сказал ей, что она не знает цены деньгам. «Нет, нет, мой присяжный поставщик — Дебак, никто иной». — «И мой тоже, — говорила г-жа Котар, — но, каюсь, я изменяю ему с Лашомом». — «Ах, вы изменяете ему с Лашомом? я скажу ему», — отвечала Одетта, стараясь быть остроумной и руководить разговором в своей гостиной, где ей было более по себе, чем в «маленьком клане». «Впрочем, Лашом становится слишком дорог: цены у него исключительные,

знаете; цены, по-моему, непристойные!» — прибавляла она смеясь.

Тем временем г-жа Бонтан — которая сто раз говорила, что не хочет бывать у Вердюренов, — в восторге от того, что ее пригласили на среды, обдумывала, как устроить, чтобы попадать на них возможно чаще. Ей было не известно желание г-жи Вердюрен, чтобы приглашенные не пропускали ни одной среды; с другой же стороны, она была одной из тех, знакомства которых особенно не добиваются и которые, получая от хозяйки дома приглашение на «серию», ездят к ней не так, как те, кто всегда умеет сделать приятное, если найдется время и желание побывать в гостях; они, напротив, лишают себя, например, первого и третьего вечера, воображая, что их отсутствие будет замечено, и приберегают себя на второй и четвертый, если только их не информируют, что третий вечер будет особенно блестящ и они не нарушат этот порядок, ссылаясь на то, что «последний раз они, к сожалению, не были свободны». Так г-жа Бонтан вычисляла, сколько еще должно быть сред до Пасхи и к какому способу прибегнуть, чтобы лишний раз воспользоваться приглашением, но не показаться навязчивой. Она рассчитывала на г-жу Котар, с которой долж-

на была ехать домой, надеясь получить от нее некоторые указания. «Ах, госпожа Бонтан, я вижу, вы встаете, это очень нехорошо — подавать знак к бегству. Вы должны вознаградить меня за то, что не были прошлый четверг… Ну присядьте на минутку. Ведь до обеда у вас уже не хватит времени на визиты. Право, вас ничем не соблазнить, — прибавляла г-жа Сван и, протягивая тарелку с пирожными: — Знаете, это совсем не плохо — эти маленькие гадости. На вид они невзрачны, но попробуйте, вы мне скажете ваше мнение». — «Напротив, они восхитительны, — отвечала г-жа Котар, — у вас, Одетта, всегда всего вдоволь. Я могу не спрашивать, какой они марки, я знаю, что вы всё заказываете у Ребате. Должна сказать, что я более эклектична. За птифурами, за всякими сластями я часто адресуюсь к Бурбонне. Но я согласна, там не знают, что такое настоящее мороженое. А во всем, что касается мороженого, сиропов, шербетов, Ребате — великий художник. Как сказал бы мой муж, пес plus ultra[25]». — «Но это сделано совсем просто. Разве нет?» — «Я не смогу обедать, — отвечала г-жа Бонтан, — но я присяду на минутку; вы знаете, я

[25] Примечания: 25
непревзойденный *(лат.).*

обожаю разговаривать с умной женщиной». — «Вы сочтете меня нескромной, Одетта, но мне хотелось бы знать, какого вы мнения о шляпе г-жи Тронбер. Я, правда, знаю, что большие шляпы теперь в моде. Все-таки у нее, пожалуй, несколько утрировано. Но рядом с той шляпой, в которой она недавно была у меня, сегодняшняя шляпа прямо микроскопическая». — «Да нет, я не умная, — говорила Одетта, думая, что это мило, — в сущности, я очень легковерна, верю всему, что говорят, огорчаюсь по пустякам». И она давала понять, что вначале много страдала, выйдя замуж за такого человека, как Сван, который жил своей особой жизнью и ее обманывал. Между тем принц Агригентский, услышав слова «я не умная», считал своим долгом возражать, но он не был находчив на ответы. «Та-та-та! — восклицала г-жа Бонтан, — вы не умная!» — «В самом деле, я спрашивал себя: что я слышу? — говорил принц Агригентский, пользуясь случаем. — Наверно, меня обманул слух». — «Да нет, уверяю вас, — говорила Одетта, — я маленькая мещаночка, очень конфузливая, полная предрассудков, живущая в своей норе и, главное, очень невежественная». И спрашивала у принца о бароне де Шарлюсе: «Видели вы милого баронета?» — «Вы невеже-

ственная! — восклицала г-жа Бонтан. — Ну так что бы вы сказали о наших официальных кругах, о всех этих превосходительных женах, которые умеют болтать только о тряпках!.. Вот, например, мадам, не далее как неделю тому назад я заговорила с министершей народного просвещения о «Лоэнгрине». Она мне отвечает: «Лоэнгрин? Ах да! последнее обозрение в «Фоли-Бержер», кажется, преуморительное». Как вам это понравится, мадам? Когда слышишь подобные вещи, прямо кипишь. Мне хотелось дать ей пощечину. Ведь я, знаете ли, не без характера. Как по-вашему, мсье, — обращалась она ко мне, — разве я не права?» — «Послушайте, — говорила г-жа Котар, — можно извинить неудачный ответ, когда спрашивают так вдруг, неожиданно. Мне это отчасти знакомо, потому что у госпожи Вердюрен привычка приставлять нож к горлу». — «Кстати, по поводу госпожи Вердюрен, — спрашивала г-жа Бонтан г-жу Котар: — вы знаете, кто будет у нее в ближайшую среду?.. Да, я вспомнила, что мы приняли приглашение на ближайшую среду. Не хотите ли отобедать у нас в среду на будущей неделе? Мы поехали бы вместе к госпоже Вердюрен. Я стесняюсь войти одна, не знаю почему, эта большая женщина всегда меня пугает». — «Я

вам объясню, — отвечала г-жа Котар, — что вас пугает в госпоже Вердюрен: это — ее голос. Что поделаешь, не у всех такой милый голос, как у госпожи Сван. Но едва начнутся переговоры, как выражается Хозяйка, и лед будет сломан. Ведь, в сущности, она очень радушна. Но я прекрасно понимаю ваше чувство, всегда неприятно очутиться в первый раз в чужом краю». — «Вы тоже могли бы отобедать с нами, — говорила г-жа Бонтан г-же Сван. — После обеда мы все поехали бы к Вердюренам, вердюрениться, и даже если в результате Хозяйка выпучит глаза и больше меня не пригласит, то все-таки, приехав к ней, мы будем болтать втроем; я чувствую, мне это будет всего приятнее». Но это утверждение было, очевидно, не очень правдиво, потому что г-жа Бонтан спрашивала: «Как вы думаете, кто там будет в среду на будущей неделе? Что там будет происходить? По крайней мере, не будет там слишком много народу?» — «Я-то, наверно, не поеду, — говорила Одетта. — Мы только ненадолго появимся на последней среде. Если вам безразлично подождать до тех пор…» Но г-жу Бонтан, видимо, не прельщала эта предлагаемая отсрочка.

Хотя умственные достоинства салона и степень

его элегантности обычно находятся в отношении скорее обратном, чем прямом, надо полагать, поскольку Сван находил г-жу Бонтан приятной, что всякий упадок, с которым мы примирились, делает нас менее требовательными к тем, в чьем обществе мы покорно находим удовольствие, — менее требовательными к их уму, а также ко всему остальному. Если это верно, то отдельные люди, подобно народам, обречены видеть, как с утратой независимости исчезает их культура и даже язык. Одно из последствий этой снисходительности — то, что с известного возраста в нас усиливается склонность находить приятными слова, выражающие почтение к нашему складу ума, к нашим вкусам, поощряющие нас отдаться им; это тот возраст, когда великий художник предпочитает обществу оригинальных талантов общество своих учеников, у которых нет с ним ничего общего, кроме буквы его доктрины, и которые кадят ему, его слушают; или когда незаурядные мужчина или женщина, живущие для любви, сочтут где-нибудь в обществе самым умным человека, стоящего, может быть, и ниже их, но показавшего какой-нибудь фразой, что он умеет понять и оценить жизнь, посвященную искусству любви, и этим самым приятно

пощекотавшего сладострастные склонности любовника или любовницы; это был также тот возраст, когда Свану, поскольку он стал мужем Одетты, нравилось слушать г-жу Бонтан, говорившую, что смешно принимать одних только герцогинь (из чего он делал вывод, вопреки тому, как он отнесся бы к этому прежде у Вердюренов, что она — женщина добрая, очень умная и без всякого снобизма), нравилось рассказывать ей истории, от которых она «покатывалась», так как не знала их, и которые, впрочем, «схватывала» быстро, нравилось говорить комплименты и развлекаться. «Значит, доктор не сходит с ума по цветам, как вы?» — спрашивала г-жа Сван г-жу Котар. «О, знаете, мой муж — мудрец, он умерен во всем! Впрочем, нет, у него есть страсть». Г-жа Бонтан, взгляд которой загорался недоброжелательством, спрашивала: «А какая?» Г-жа Котар просто отвечала: «Чтение». — «О, страсть вполне успокоительная в супружеской жизни!» — восклицала г-жа Бонтан, подавляя сатанинский хохот. «Когда доктор погрузится в книгу, знаете!» — «Ну так что же, мадам, это вас не должно особенно пугать…» — «Как не должно… а его зрение? Мне пора возвращаться к нему, Одетта, а в вашу дверь я снова постучусь в самом скором

времени. Кстати по поводу зрения: слышали вы, что особняк, который купила г-жа Вердюрен, будет освещаться электричеством? Я это знаю не от моей собственной полиции, а из другого источника: мне это говорил сам монтёр Мильде. Вы видите, я ссылаюсь на *свои* источники! Вплоть до спален, где будут электрические лампы с абажурами, рассеивающими свет. По-видимому, очаровательная роскошь. Наши современницы непременно желают чего-нибудь нового, хотя бы и по-разному. Сестра мужа одной из моих приятельниц поставила у себя телефон! Она может говорить со своими поставщиками, не выходя из квартиры! Признаюсь, я безобразно интриговала, лишь бы мне разрешили прийти как-нибудь поговорить у аппарата. Это меня очень соблазняет, но скорее у приятельницы, чем у себя. Мне кажется, мне было бы неприятно иметь телефон у себя дома. Вначале будет занятно, но когда привыкнешь, голова затрещит. Ну, Одетта, я бегу, не задерживайте больше госпожу Бонтан, так как я на ее попечении, я непременно должна вырваться от вас, вот будет мило, я вернусь домой после мужа!»

И мне тоже пора было возвращаться домой, не вкусив зимних утех, для которых хризанте-

мы как бы служили блестящей оболочкой. Эти утехи не пришли, а между тем г-жа Сван уже, по-видимому, ничего не ждала. Она приказывала слугам убрать чай, как будто объявляя: «Время закрывать!» И наконец она мне говорила: «Так вы в самом деле уходите? Ну что же, good-bye[26]». Я чувствовал, что даже оставшись здесь, я бы не узнал этих неведомых утех и что меня лишает их не только моя печаль. Так, может быть, их и не встретишь на этой проторенной дороге, где часы так быстро мчат к минуте расставанья, а скорее на каком-нибудь незнакомом мне проселке, куда надо было бы свернуть? По крайней мере, цель моего визита была достигнута: Жильберта будет знать, что в ее отсутствие я был у ее родителей и при этом, как не переставала твердить г-жа Котар, «сразу же, с первого взгляда», покорил г-жу Вердюрен, которая, по словам жены доктора, «никогда не рассыпалась в таких любезностях». «Очевидно, — сказала она, — вас связывает родство атомов». Жильберта будет знать, что я, как и подобало, с нежностью говорил о ней, но что я больше не чувствую этой невозможности жить без нее, казавшейся мне причиной скуки, кото-

[26] Примечания: 26
прощайте *(англ.)*.

рую последнее время она испытывала в моем обществе. Я сказал г-же Сван, что не могу больше встречаться с Жильбертой. Я сказал это так, как будто навсегда решил не видеться с ней. И письмо, которое я собирался послать Жильберте, будет иметь этот же смысл. Лишь самому себе, чтобы поддержать в себе мужество, я предлагал сделать на несколько дней краткое и последнее усилие. Я говорил себе: «Это — последнее свидание, от которого я отказываюсь, на следующее я приду». Чтобы сделать разлуку менее трудной, я не представлял ее себе окончательной. Но ясно чувствовал, что она будет окончательной.

Первое января было для меня особенно мучительно в том году. Конечно, когда мы несчастны, мучительна всякая дата, всякая годовщина. Но если, например, мы скорбим об утрате любимого человека, страдание сводится только к более живому сравнению с прошлым. В данном случае примешивалась невыраженная надежда, что Жильберта, предоставив мне сделать первые шаги и видя, что я не предпринял их, ждет только Нового года, как повода, чтобы написать мне: «Ну что же, в чем дело, я без ума от вас, приходите, мы объяснимся начистоту, не могу жить, не видя вас». С наступлением последних дней старого

года это письмо начало мне казаться вероятным. Оно, может быть, не было бы таким, но чтобы поверить в его вероятность, нам достаточно желания, потребности в нем. Солдат уверен, что ему будет дана бесконечно пролонгируемая отсрочка, прежде чем его убьют, а вор — прежде чем его поймают, люди же вообще — прежде чем им придется умереть. Вот где амулет, предохраняющий личность — а иногда и целый народ — если не от опасности, то от боязни опасности, в действительности — от веры в опасность, что в некоторых случаях позволяет преодолевать ее, не требуя храбрости. Такая же уверенность, и столь же необоснованная, поддерживает любовника, рассчитывающего на примирение, на письмо. Чтобы не ждать письма, мне стоило только перестать желать его. Как бы ни были мы, по нашему убеждению, равнодушны к той, которую мы еще любим, мы все же приписываем ей ряд мыслей — хотя бы и о равнодушии, — намерение их выразить, сложность внутренней жизни, где мы, быть может, являемся предметом антипатии, но также и непрестанного внимания. Напротив, чтобы вообразить состояние Жильберты, мне бы надо было попросту обладать даром прозрения и уже первого января того года предвосхитить все то,

что я бы почувствовал первого января одного из будущих годов, когда внимание, или молчание, или нежность, или холодность Жильберты остались бы более или менее незамеченными мною и когда я не подумал бы, даже не мог бы подумать, искать решения вопросов, которые более не возникали бы для меня. Когда мы любим, любовь слишком велика, чтобы полностью вместиться в нас; излучаясь, она направляется к любимому человеку, встречает в нем поверхность, которая ее задерживает, заставляет вернуться к исходной точке, и вот этот удар, возвращающий нашу влюбленность назад, мы и называем *чувствами другого,* и он сильнее нас очаровывает, чем ее движение, направленное вперед, так как мы не видим, что он исходит от нас. Первого января часы пробили положенное число раз, а письма от Жильберты не пришло. А так как я получил еще несколько поздравительных писем, запоздалых или задержавшихся по вине почты, слишком загруженной в эти дни, то третьего и четвертого января я продолжал еще надеяться, но все меньше и меньше. Я много плакал в следующие дни. Наверное, оттого, что, будучи менее искренен, чем я думал, когда решил отказаться от Жильберты, я сохранял надежду на это новогоднее

письмо. И, видя, что эта надежда истощилась прежде, чем я успел найти ей замену, я мучился, как больной, опорожнивший склянку с морфием, не имея под рукой другой. Но, может быть (и эти два объяснения не исключают друг друга, так как иногда одно и то же чувство бывает противоречиво), надежда на получение письма приблизила ко мне образ Жильберты, воссоздала волнение, которое возбуждало во мне прежде ожидание встречи с ней, ее вид, ее манера держаться со мной. Немедленная возможность примирения уничтожила вещь, в огромных размерах которой мы не отдаем себе отчета, — покорность судьбе. Неврастеники не могут поверить людям, уверяющим их, что они постепенно успокоятся, если будут лежать в постели, не получая писем, не читая газет. Они думают, что этот режим только обострит их нервозность. Также и влюбленные не могут поверить в благотворное действие самоотречения, не испытав его, пребывая в состоянии, ему противоположном.

Так как сердцебиения у меня усилились, мне уменьшили дозу кофеина, и они прекратились. Тогда я стал спрашивать себя, не лекарство ли было хоть отчасти причиной той тоски, которую я испытывал, когда почти поссорился с

Жильбертой, и которую всякий раз, как она возобновлялась, я приписывал тому, что больше не увижу моей приятельницы или увижу только с риском застать ее в том же скверном расположении духа. Но если это лекарство было источником мук, ложно истолкованных моим воображением (в чем не было бы ничего необыкновенного, так как самые жестокие нравственные страдания любовников нередко определяются физической привычкой к женщине, с которой они живут), то было оно наподобие волшебного напитка, который хотя и давно выпит, по-прежнему соединяет Тристана и Изольду. Ибо улучшение физического состояния, почти сразу же вызванное уменьшением доз кофеина, не остановило течения моей тоски, если и не возникшей от приемов яда, то, по крайней мере, обострившейся от них.

Однако в средних числах января, когда я наконец утратил надежды на новогоднее письмо и когда наконец успокоилась новая боль, сопутствовавшая их крушению, возобновилась моя «предпраздничная» печаль. Всего болезненнее в ней было, пожалуй, то, что я сам же являлся ее бессознательным, добровольным, безжалостным и терпеливым виновником. То единственное, чем я дорожил, — мои отношения с Жильбер-

той — я сам же старался сделать невозможным, затягивая разлуку с моей приятельницей и тем постепенно создавая не равнодушие ее ко мне, а то, что в итоге должно было свестись к тому же самому, — мое равнодушие к ней. Я упорно преследовал свою цель, медленно и жестоко убивая в себе то «я», которое любило Жильберту, причем ясно видел не только то, что я делал в ту минуту, но и то, что от этого случится в будущем; я не только знал, что со временем не буду любить Жильберту, но знал, что и она пожалеет об этом и что ее попытки встретиться тогда со мной будут так же тщетны, как те, которые я предпринимаю сейчас, — не потому, что я слишком буду любить ее, но потому, что, наверно, я буду любить другую женщину, к которой и буду стремиться, которую буду ждать целыми часами, не смея ни одной секунды отдать Жильберте, потому что она уже ничего не будет для меня значить. И, несомненно, в ту самую минуту, когда (так как я решил не видеться с ней больше, если только не получу от нее формального требования объясниться, настоящего признания в любви, что уже было совсем невероятно) я уже потерял Жильберту, хотя любил ее еще сильнее, я чувствовал, чем она была для меня, чувствовал отчетливее, чем в

прошлом году, когда я проводил с ней, если мне хотелось, все послеобеденные часы и думал, что ничто не угрожает нашей дружбе; несомненно, в ту минуту мысль, что когда-нибудь те же чувства будет возбуждать во мне другая женщина, мне была ненавистна, потому что эта мысль отнимала у меня не только Жильберту, но также и мою любовь и мое страдание. Мою любовь и мое страдание, в которых я, заливаясь слезами, пытался постичь, что такое Жильберта, и по которым нельзя было не заключить, что они относятся не к ней одной и станут рано или поздно достоянием какой-либо другой женщины. Таким образом — так по крайней мере я думал в то время — мы всегда отделены от другого существа; любя, мы чувствуем, что эта любовь не носит его имени, может воскреснуть в будущем, могла бы, даже и в прошлом, быть посвящена той, а не этой женщине. А когда мы не любим и философически миримся с противоречиями любви, то ведь этой любви, о которой говорится так спокойно, мы тогда не чувствуем, следовательно, не знаем ее, потому что знание подобных вещей страдает перебоями и не переживает подлинно испытываемого чувства. Об этом будущем, в котором я разлюблю Жильберту и которое мои мучения

помогали мне угадывать, хотя воображение не могло еще отчетливо его себе представить, еще было время предупредить Жильберту, сказав ей, что постепенно оно зарождается и что наступление его если не близко, то, во всяком случае, неизбежно в том случае, если сама она, Жильберта, не придет мне на помощь и не уничтожит в зародыше мое будущее равнодушие. Сколько раз я был готов написать и даже пойти сказать Жильберте: «Берегитесь, я принял решение, попытка, которую я делаю, последняя попытка. Я вижусь с вами в последний раз. Скоро я уже не буду вас любить». Что толку? По какому праву стал бы я упрекать Жильберту в равнодушии, которое, не видя в этом никакой вины, я выражал ко всему, что не была она? В последний раз! Мне это казалось чем-то безмерным, потому что я любил Жильберту. На нее же это, наверно, подействовало бы не больше, чем письмо, в котором какой-нибудь друг, покидающий родину, просит разрешения посетить нас, разрешения, в котором мы ему отказываем, как постылой женщине, потому что нас ждет какое-нибудь развлечение. Время, которым мы располагаем каждый день, эластично; страсть, нами испытываемая, его растягивает, страсть, нами внушаемая, сжимает

его, а привычки его наполняют.

Впрочем, что бы я ни говорил Жильберте, она бы меня не услышала. Говоря, мы всегда воображаем, что нас слушают наши собственные уши, наш собственный ум. Слова мои донеслись бы к Жильберте в искаженном виде, как если бы им надо было проникнуть сквозь подвижную завесу водопада, прежде чем достигнуть моей приятельницы, неузнаваемые, смешные для слуха, лишенные всякого смысла. Истина, вкладываемая в слова, не всегда пробивает себе прямой путь, она не обладает непререкаемой очевидностью. Требуется немало времени, чтобы в них могла вылиться подобная истина. Тогда политический противник, вопреки всем доводам и всем доказательствам считавший приверженца враждебной доктрины предателем, начинает разделять ненавистные убеждения, которыми тот, кто напрасно старался их распространять, уже больше не дорожит. Тогда мастерское произведение, которое, с точки зрения поклонников, читавших его вслух, казалось, заключало в себе доказательства своего совершенства, но являло их слушателям только нелепую и ничтожную картину, будет последними объявлено шедевром, слишком поздно, чтобы автор мог это узнать.

Также и в любви: что бы мы ни делали, преграды не могут быть сломлены извне, силой того, кого они приводят в отчаяние; и лишь тогда, когда он уже не будет думать о них, — внезапно, в результате работы, проделанной в другом месте, в сердце той, которая не любила, преграды эти, прежде безуспешно атакуемые, падут теперь без пользы для него. Если бы я возвестил Жильберте мое будущее равнодушие и средство, как его предотвратить, она из этой попытки заключила бы, что моя любовь к ней, моя потребность в ней еще сильнее, чем она думала, и ей было бы еще неприятнее видеть меня. Впрочем, эта любовь, вызывая во мне смену разнородных душевных состояний, несомненно, помогала мне в большей мере, чем сама Жильберта, предвидеть ее, этой любви, конец. Однако я, может быть, и обратился бы к Жильберте с таким предупреждением, письменно или устно, когда прошло бы достаточно времени и она стала бы менее необходимой для меня, а также сама могла бы убедиться в этом. К сожалению, нашлись люди, которые, с хорошими или дурными намерениями, стали говорить ей обо мне в таком тоне, что, вероятно, она подумала, будто это делается по моей просьбе. Всякий раз как я узнавал, что Котар, или даже моя мать, или

сам г-н де Норпуа неловкими словами лишали смысла все те жертвы, которые я приносил, портили все плоды моей сдержанности, представляя дело в таком виде, как будто я от нее отказался, я испытывал двойную досаду. Во-первых, данный день мне приходилось считать только началом мучительного и плодотворного воздержания, которое эти докучные люди нарушили без моего ведома, а следовательно, свели на нет. Но помимо всего, мне теперь доставило бы меньшее удовольствие видеть Жильберту, которая уже не думала, что я с достоинством покорился необходимости, а считала, что я, притаившись в тени, интригую ради свидания, которое она не соблаговолила мне назначить. Я проклинал эту пустую болтовню людей, часто причиняющих вам в определенный момент столько зла — даже без намерения повредить или оказать услугу, а просто так, чтобы поговорить, иногда потому, что мы сами не могли удержаться в их присутствии от того же самого, и потому, что они нескромны (так же, как и мы). Правда, в роковой работе, ведущей к уничтожению нашей любви, они играют далеко не столь значительную роль, как те два лица, что имеют обыкновение, одно от избытка доброты, а другое от избытка злобы, все разрушать в тот же миг,

когда все готово было уладиться. Но на этих двух лиц мы не сердимся, как на несносных Котаров, потому что одно из них — любимый человек, а другое — это мы сами.

Но так как почти каждый раз, что я навещал г-жу Сван, она звала меня приходить пить чай с ее дочерью и рекомендовала мне отвечать непосредственно ей, то я часто писал Жильберте, и в этой переписке я не искал фраз, которые могли бы, как мне казалось, убедить ее, я пытался лишь проложить потоку моих слез самое покойное русло. Ибо печаль, подобно желанию, не занимается самоанализом, но стремится к успокоению; когда начинаешь любить, время проходит не в размышлениях о том, что такое твоя любовь, но в приготовлениях, обеспечивающих завтрашнее свидание. Когда поступаешься чем-нибудь дорогим, то бываешь озабочен не познанием своей печали, но тем, чтобы высказать ее самыми нежными словами той, которая нам ее причиняет. Говоришь то, что чувствуешь потребность выразить и чего та, другая, не поймет, говоришь только для самого себя. Я писал: «Я думал, что это будет невозможно. Увы, я вижу, что это не так трудно». Я также говорил: «Вероятно, я вас больше не увижу», — говорил это, по-прежнему

остерегаясь холодности, которую она могла бы найти притворной; и когда я писал эти слова, я плакал, так как чувствовал, что они выражают не то, чему мне хотелось бы верить, но то, что случится в действительности. Ведь когда она следующий раз попросит меня о свидании, я, как и теперь, найду в себе мужество не уступить и так, от отказа к отказу, постепенно дойду до того, что, не видясь с ней больше, я и не буду хотеть ее видеть. Я плакал, но находил в себе мужество, познавал блаженство жертвовать счастьем встречи ради возможности понравиться ей со временем, когда, увы, мне будет безразлично, нравлюсь ли я ей. Даже гипотеза — впрочем, столь мало правдоподобная, — что она все еще любит меня, как она утверждала, когда я в последний раз был у нее, и то, что я принял в ней за досаду, которую обыкновенно вызывает общество надоевшего человека, имело причиной ревнивую обидчивость, притворное равнодушие, подобное моему, — даже эта гипотеза делала мое решение менее мучительным. Мне казалось тогда, что через несколько лет, когда мы успеем забыть друг друга, когда я смогу сказать ей задним числом, что это самое письмо, которое я писал в ту минуту, было совершенно неискренно, она мне ответит:

«Как? Вы меня любили? Вы? Если бы вы знали, как я его ждала, этого письма, как я надеялась на свидание, как я плакала». Мысль, завладевшая мной, когда я сидел за письмом к ней, тотчас же по возвращении от ее матери, мысль о том, что, быть может, я подготовляю сейчас подобное недоразумение, эта мысль, такая печальная, позволяя мне воображать, будто я любим Жильбертой, тем самым побуждала меня продолжать письмо.

Если, покидая г-жу Сван, когда ее «чай» приближался к концу, я думал о том, что я буду писать ее дочери, то г-жа Котар, уходя, занята была мыслями совершенно иного характера. Делая «маленький смотр», она не упустила случая поздравить г-жу Сван с новой мебелью, с последними приобретениями, замеченными в гостиной. Она, впрочем, могла встретить здесь кое-какие, хоть и очень немногочисленные вещи, находившиеся когда-то у Одетты в ее особняке на улице Лаперуз, в частности зверей, сделанных из драгоценного материала, ее фетишей.

Но когда г-жа Сван от одного из своих друзей, которого чтила, узнала слово «затасканный» — открывшее ей новые горизонты, так как оно обозначало именно те вещи, в которых несколько лет тому назад она видела «шик», — то все

эти вещи, одна за другой, последовали в ссылку, вслед за золоченым трельяжем, поддерживавшим хризантемы, за многими бонбоньерками от Жири и почтовой бумагой с короной (не говоря уже о картонных луидорах, разбросанных на каминах и принесенных в жертву еще задолго до знакомства со Сваном по совету человека, который не лишен был вкуса). Впрочем, среди художественного беспорядка, среди пестроты ателье, в этих комнатах, где стены еще были выкрашены в темные цвета, как нельзя более отдалявшие их от белых гостиных, которые г-жа Сван завела несколько позднее, Дальний Восток все глубже отступал перед натиском XVIII века; и подушки, которые г-жа Сван, желая усадить меня с большим «комфортом», нагромождала у меня за спиной и уминала, были усеяны букетами во вкусе Людовика XV, а не китайскими драконами, как раньше. В комнате, где ее чаще всего можно было найти и о которой она говорила: «Да, мне она очень нравится, я много в ней сижу; я не могла бы жить среди неприязненных и безвкусных вещей; здесь я работаю» (точнее не указывая, впрочем, над чем она работает, над картиной ли, или, может быть, над книгой; желание писать книги начало появляться у женщин, любящих

чем-нибудь заняться, избегающих безделья), она была окружена саксонским фарфором (настолько любя этот вид фарфора, название которого она произносила с английским акцентом, что говорила по любому поводу: «это мило, это напоминает цветы из Сакса»); еще больше, чем прежде по поводу китайских болванчиков и ваз, она опасалась, что его коснутся невежественные руки слуг, которых за причиненное ей волнение она карала вспышками гнева, не возмущавшими Свана, такого вежливого и мягкого хозяина, если он при этом присутствовал. Отчетливое понимание некоторых слабостей не умаляет, впрочем, нежности, наоборот, она заставляет нас находить их очаровательными. Теперь своих близких друзей Одетта реже принимала в японском халате, отдавая предпочтение светло-шелковым и пенистым пеньюарам Ватто, в которые она погружалась, словно лаская на груди их цветущую пену, в которых она тешилась и нежилась с видом такого довольства, чувствуя такую свежесть кожи и так глубоко дыша, что, казалось, смотрела на них не как на украшение, вроде рамы, но как на

нечто необходимое, вроде «tub»[27] и «footing»,[28] удовлетворяющее требованиям ее внешности и ее утонченной гигиены. Она имела обыкновение говорить, что ей легче было бы обойтись без хлеба, чем без искусства и без чистоты, и что если бы сгорели целые «полчища» знакомых, это огорчило бы ее меньше, чем если бы сгорела «Джоконда». Теории эти ее приятельницам казались парадоксальными, но благодаря им она среди них считалась женщиной незаурядной и каждую неделю принимала визит бельгийского посланника, так что в том маленьком мире, солнцем которого она была, каждый был бы удивлен, узнав, что в других местах, у Вердюренов например, ее считают глупой. Благодаря этой живости ума г-жа Сван предпочитала общество мужчин обществу женщин. Но когда она критиковала последних, то всегда как кокотка, указывая в них недостатки, которые могли бы им повредить в глазах мужчин, — толстые кости, дурной цвет лица, безграмотность, волосы на ногах, скверный запах, фальшивые брови. Напротив, к женщине, проявившей к ней прежде снисходительность и

---

[27] Примечания: 27
ванны *(англ.).*

[28] Примечания: 28
коврика для ног *(англ.).*

любезность, она относилась с большей нежностью, особенно если та была несчастна. Она умело защищала ее и говорила: «К ней несправедливы, ведь она милая женщина, я вас уверяю».

Не только обстановку, но и самое Одетту трудно было бы узнать г-же Котар и всем тем, кто раньше бывал у г-жи де Креси, если бы они долгое время не виделись. Она казалась на много лет моложе, чем раньше. Без сомнения, это отчасти было вызвано тем, что она пополнела и, поздоровев, была на вид более спокойной, свежей, отдохнувшей; с другой же стороны, тем, что новые прически с приглаженными волосами оставляли более открытым ее лицо, которое оживляла розовая пудра, и глаза ее и профиль выделялись не так резко, как прежде. Но другая причина этой перемены заключалась в том, что, достигнув середины жизни, Одетта наконец открыла или изобрела свой индивидуальный облик, неизменный «характер», особый «вид красоты», и нескладные черты своего лица — которые, будучи так долго предоставлены рискованным и бессильным прихотям плоти, при малейшем утомлении переживая целые годы и на время старея, создали ей, худо ли, хорошо ли, смотря по ее расположению и ее виду, облик невыдержанный, изменчивый,

расплывчатый и очаровательный, — подчинила этому определенному типу, словно бессмертной юности.

У Свана в комнате, вместо недавно снятых прекрасных фотографий его жены, на которых то же загадочное и победоносное выражение позволяло узнать, какие бы платье и шляпа ни были на ней, ее торжествующий силуэт и лицо, был маленький старый дагерротип, совсем простенький, где, казалось, отсутствовали молодость и красота Одетты, еще не найденные ею в то давнее время. Но, должно быть, Сван, хранивший верность иному представлению или вернувшийся к нему, в этой молодой худощавой женщине с задумчивыми глазами, с усталыми чертами лица, то ли идущей вперед, то ли застывшей на месте, ценил скорее боттичеллиевскую грацию. Ему действительно и до сих пор нравилось видеть в своей жене образ Боттичелли. Одетта же, которая, напротив, старалась не подчеркнуть, а сгладить, скрыть все то, что ей не нравилось в себе самой, что для художника составляло, может быть, ее «характер», но что с ее женской точки зрения было недостатком, и слышать не желала об этом живописце. У Свана был чудесный восточный шарф, голубой с розовым, который он купил

потому, что он был точь-в-точь такой же, как покрывало на Богоматери в Magnificat. Но г-жа Сван не желала носить его. Лишь однажды она позволила мужу заказать ей платье, все усеянное маргаритками, васильками, незабудками и колокольчиками, как у Примаверы в «Весне». Иногда вечером, если она была утомлена, он совсем шепотом обращал мое внимание на неосознанное ею самой мягкое, немного беспокойное движение ее задумчивых рук, напоминающее Богоматерь, когда она макает перо в чернильницу, которую ей протягивает ангел, чтобы писать в священной книге, где уже начертано слово «Magnificat». Но он прибавлял: «Только не говорите ей, а то она переменит позу».

За исключением этих минут невольной слабости, когда Сван вновь пытался отыскать меланхоличный боттичеллиевский ритм, тело Одетты было теперь очерчено как единый силуэт, обведенный сплошной «линией», которая, следуя контуру женщины, отказывалась от неровностей, искусственных выступов и выемок, сложности, разбросанности, разнородности прежних мод, но зато там, где ошибалась анатомия, допуская ненужные отклонения в ту или иную сторону от идеального плана, смелой чертой выправляла

шероховатости природы, восполняла на протяжении целого отрезка недостатки как тела, так и материи. «Подшивные» подушечки ужасного турнюра исчезли так же, как и туго натянутые благодаря китовому усу корсажи с баской поверх юбки, долгое время добавлявшие Одетте поддельный живот и придававшие ей такой вид, будто она состоит из разрозненных частей, не связанных единством личности. Вертикальная линия бахромы и кривая линия рюшей сменились изгибом тела, которое теперь, приняв форму живую и упорядоченную, выступало из долгого хаоса, освобождалось от туманного покрова развенчанных мод, и шелк под ним начинал колебаться, словно волны под ударами сирены, а перкаль очеловечивался. Но г-жа Сван все-таки пожелала и сумела сохранить черты некоторых из этих мод, даже на фоне тех, что стали на их место. Когда вечером, не будучи в силах заниматься и зная, что Жильберта сейчас в театре с подругами, я невзначай приходил к ее родителям, я часто заставал г-жу Сван в изящном дезабилье, у которого юбка красивого темного цвета, красного или оранжевого, приобретавшего какую-то особую значительность, потому что он уже не был в моде, прорезывалась наискось широкой ажурной полосой черных кру-

жев, напоминавшей былые воланы. Когда, еще до моей ссоры с ее дочерью, она холодным весенним днем взяла меня с собой в Акклиматизационный сад, то под жакетом, который она распахивала, разгоряченная ходьбой, «выступ» зубчиками ее шемизетки казался отворотом несуществующего жилета, похожего на один из тех, что она носила несколько лет тому назад, предпочитая в них слегка раскромсанные края; ее «шотландский» галстук — которому она оставалась верна, но так смягчив тона (красное сменив на розовое и синее на сиреневое), что можно было почти принять его за тафту цвета голубиной шейки, являвшуюся последней модой, — был завязан под ее подбородком таким образом, что не было видно, откуда он начинается, и невольно вспоминались завязки от шляп, которых уже больше не носили. Если бы ей только удалось «продержаться» так еще некоторое время, молодые люди, стараясь вникнуть в ее туалеты, стали бы говорить: «Мадам Сван — ведь это целая эпоха, не правда ли?» Словно в стиле большого искусства, представляющего наслоение различных форм и крепко скрытой традиции, в туалете г-жи Сван, благодаря этим неясным воспоминаниям о жилетах или пряжках, а иногда поползновению, тотчас же

подавляемому, к жакетке «сот-ан-барк», вплоть до смутного и отдаленного намека на бархатку «следуйте за мной, молодой человек», под покровом конкретных форм оживало не выраженное до конца сходство с другими туалетами, более давними, которые не были на самом деле осуществлены портнихой или модисткой, но о которых непрестанно думалось и которые придавали г-же Сван некое благородство — может быть, потому, что эти наряды, именно в силу своей бесполезности, соответствовали, казалось, цели более высокой, чем польза, а может быть, благодаря сохранившимся чертам минувших лет или же индивидуальному своеобразию костюма, присущему этой женщине и придававшему самым различным ее платьям семейное сходство. Чувствовалось, что в своих одеждах она ставит своей целью не только удобство или украшение своего тела: она была окружена своим туалетом, как утонченной и одухотворенной формой целого периода цивилизации.

Когда Жильберте, обычно приглашавшей к себе на «чай» в дни приемов своей матери, случалось отсутствовать и потому я мог идти на «сборище» к г-же Сван, я заставал ее в каком-нибудь пышном платье, иногда из тафты, иногда из фая, или

бархата, или крепдешина, или атласа, или шелка, уже не такого свободного фасона, как дезабилье, в которых она обычно ходила дома, но как будто задуманном для выхода и придававшем ее праздности в эти послеобеденные часы какую-то живость и возбужденность. При этом смелая простота их покроя была хорошо приспособлена к ее фигуре и движениям, как бы окрашенным в цвет рукавов, ежедневно менявшийся; можно было бы сказать, что в синем бархате внезапно являлась решимость, в белой тафте — покладистость, и что предельная и полная благородства сдержанность, с которой она протягивала руку, воплотилась, чтобы стать видимой, в черном крепдешине, сияющем улыбкой великих жертв. Но в то же время сложность отделок, лишенных практической цели, видимого смысла, сообщала этим столь живым платьям как бы бескорыстность, задумчивость, сокровенность, гармонировавшую с меланхолией, которую всегда хранила г-жа Сван, по крайней мере в синеве под глазами и в кистях рук. Под бесчисленным множеством браслетов в сапфирах, эмалевых четырехлистников, серебряных медалей, золотых медальонов, бирюзовых амулетов, цепочек с рубинами, топазовых брелоков, на самом платье

бывал нарисован особый узор, продолжавшийся и на кокетке, тянулись ряды маленьких атласных пуговок, ничего не застегивавших и не расстегивавшихся, выступала тесьма, стремившаяся, казалось, доставить удовольствие тщательностью и скромностью нежного призыва, и все это, так же как и драгоценности, — всему этому и не могло быть иного оправдания — словно выдавало какое-то намерение, служило залогом нежности, скрывало признание, соответствовало какому-то предрассудку, хранило память об исцелении, обете, любви или споре. И по временам в синем бархате корсажа виднелся чуть заметный прорез во вкусе эпохи Генриха II — или в черном атласном платье оказывалось маленькое вздутие, которое, появляясь то под юбкой с подборами во вкусе Людовика XV, то, напротив, в рукавах около плеч и напоминая «окорока» 1830 года, незаметно сближало платье с театральным костюмом и под оболочкой современной жизни как бы намекало на незримое прошлое, сообщая облику г-жи Сван прелесть героини, исторической или романтической. И когда я обращал на это внимание, она говорила: «Я в гольф не играю, как некоторые мои приятельницы. Мне было бы непростительно, подобно им, ходить в свитере».

В суете гостиной, только что проводив гостью или предлагая другой тарелку с пирожными, г-жа Сван, проходя мимо меня, говорила вполголоса: «Жильберта мне поручила непременно пригласить вас завтракать послезавтра. Я не была уверена, что увижу вас, и написала бы вам, если бы вы не пришли». Я продолжал упорствовать. Это упорство стоило мне все меньше и меньше труда, ибо, как бы мы ни любили яд, приносящий нам вред, все же, когда в силу обстоятельств мы уже долгое время лишены его, нельзя не оценить обретённого покоя, отсутствия волнений и страданий. Если нельзя с полной искренностью сказать, что никогда больше не захочешь видеть ту, которую любишь, то столь же неискренно было бы сказать, что хочешь ее увидеть. Ибо, конечно, разлуку мы можем вынести только благодаря тому, что представляем ее себе короткой и думаем о дне, когда снова увидимся, но, с другой стороны, мы чувствуем, насколько эти каждодневные мечты о близком и все время откладываемом свидании менее мучительны, чем была бы встреча, за которой, пожалуй, последовала бы ревность, так что известие о предстоящем свидании с любимой вызвало бы в нас малоприятное волнение. Теперь откладываешь со дня

на день уже не конец невыносимой тоски, причина которой — разлука, но устрашающее нас возобновление безысходных тревог. Насколько мы предпочитаем подобной встрече послушное воспоминание, которое как угодно можно дополнять мечтами, где женщина, на самом деле нас не любящая, признается нам в любви, — постепенно примешивая к воспоминанию все, чего нам хочется, — воспоминание, которому мы можем придать всю желанную прелесть, — насколько мы предпочитаем его откладываемому разговору, когда нам пришлось бы иметь дело с человеком, которому уже нельзя было бы по своей воле предписать желанные слова, но который снова дал бы нам почувствовать свою холодность и неожиданную резкость. Всем нам известно, что, когда мы перестаем любить, забвение, даже неясное воспоминание не причиняет столько мук, как несчастная любовь. И я безотчетно предпочитал ей умиротворяющий покой этого предвкушаемого забвения.

Впрочем, болезненность такого метода врачевания — путем душевного отчуждения и разобщения — с течением времени все более идет на убыль по той причине, что оно ослабляет, пока совершенно не исцелит от нее, навязчи-

вую идею, какою является любовь. Моя любовь была еще настолько сильна, что мне хотелось приобрести в глазах Жильберты прежний вес, который благодаря добровольной разлуке, казалось мне, будет все возрастать, так что каждый из этих спокойных и грустных дней, когда я с ней не виделся, следовавших один за другим без перебоев, сами собой (если только не портила дела чья-либо неуместная услуга), был день не потерянный, а выигранный. Выигранный, может быть, без пользы, так как вскоре меня уже можно было бы признать излечившимся. Есть силы, которые под влиянием смирения, одной из форм привычки, возрастают беспредельно. Те столь ничтожные силы, которые способны были поддерживать меня в первый вечер после ссоры с Жильбертой, достигли с тех пор мощи, не поддающейся определению. Однако заложенная во всем существующем склонность к самопродолжению прерывается по временам резкими вспышками, которым мы поддаемся, тем более уверенные в себе, что знаем, сколько дней, сколько месяцев мы могли и сможем еще терпеть лишения. И часто именно тогда, когда кошелек, в который мы откладываем, готов наполниться, мы разом его опустошаем; именно тогда, когда мы уже при-

выкли к лечению, мы, не ожидая его результатов, бросаем его. И однажды, когда г-жа Сван твердила мне обычные слова о том, как приятно было бы Жильберте увидеть меня, приближая ко мне счастье, которого я так долго себя лишал, я был потрясен, осознав, что еще можно насладиться им, я с трудом мог дождаться следующего дня, я решил явиться к Жильберте невзначай еще до обеда.

Переждать целый день мне помог план, на котором я остановился. Когда все будет забыто, когда я помирюсь с Жильбертой, я буду держать себя с нею как влюбленный. Каждый день она будет получать от меня самые прекрасные цветы на свете. А если г-жа Сван, хотя у нее и не было права быть слишком строгой матерью, не позволит мне каждый день посылать цветы, я придумаю подарки более драгоценные и менее частые. Родители мои не давали мне достаточно денег, чтобы я мог покупать дорогие вещи. Я вспомнил о большой старинной вазе китайского фарфора, которую получил в наследство от своей тети Леонии и относительно которой мама каждый день предрекала, что вот Франсуаза придет к ней и скажет: «Расклеилась», и что от вазы ничего не останется. Если так, то не благоразумнее ли

будет продать ее, продать для того, чтобы иметь возможность доставлять Жильберте любое удовольствие, какое мне захочется? Мне казалось, что я смогу получить за нее тысячу франков. Я велел ее завернуть. Привычка всегда мешала мне замечать ее; расставание с ней имело по крайней мере то преимущество, что я с ней познакомился. Я захватил ее с собой, отправляясь к Сванам, и, сказав кучеру их адрес, велел ему ехать через Елисейские Поля, где на углу был большой магазин китайских вещей, с владельцем которого мой отец был знаком. К моему великому удивлению, он сразу же предложил мне за вазу не тысячу, а десять тысяч франков. Я с восторгом взял эти банковские билеты; целый год можно будет засыпать каждый день Жильберту розами и сиренью. Когда я, расставшись с торговцем, снова сел в экипаж, кучер вполне естественно, так как Сваны жили поблизости от Булонского Леса, избрал вместо обычной дороги аллею Елисейских Полей. Когда он уже в сумерках миновал угол улицы Берри, мне показалось, что я увидел совсем близко от дома Сванов Жильберту, но она шла в обратном направлении и удалялась от него твердой, хоть и неторопливой походкой, разговаривая с молодым человеком, который шел рядом

с ней и лица которого я не мог рассмотреть. Я привстал в экипаже, чуть было не велел кучеру остановиться, потом раздумал. Эти двое гуляющих находились уже в некотором отдалении, и две параллельные легкие линии, начертанные их медленной прогулкой, смутно намечались в елисейской тени. Вскоре я подъехал к дому Жильберты. Меня приняла г-жа Сван: «Ах, она будет в отчаянии, — сказала она мне, — не знаю, как это ее нет дома. Ей было очень жарко на одном из уроков, она сказала мне, что хочет пройтись немного со своей подругой». — «Мне кажется, я видел ее в аллее Елисейских Полей». — «Не думаю, чтобы это была она. Во всяком случае, не говорите об этом ее отцу, он не любит, чтобы она выходила в такие часы. Good evening[29]». Я вышел, велел кучеру ехать тою же дорогой, но не встретил гуляющих. Где были они? О чем говорили они так таинственно в вечерних сумерках?

Я вернулся домой, в отчаянии сжимая нежданные десять тысяч франков, дававшие мне возможность сделать столько приятного этой Жильберте, с которой я теперь решил больше не видаться. Разумеется, эта остановка в мага-

---

[29] Примечания: 29
Добрый вечер *(англ.).*

зине китайских вещей обрадовала меня, дав мне надежду, что отныне моя приятельница будет всегда довольна мной и благодарна мне. Но если бы не эта остановка, если бы экипаж не направился по аллее Елисейских Полей, я не встретил бы Жильберту и этого молодого человека. Так одно и то же событие разветвляется в противоположные стороны, и несчастье, которое оно зарождает, уничтожает вызванное им счастье. Со мной произошло обратное тому, что так часто встречается. Человек стремится к радости, но лишен материальной возможности достичь ее. «Печально, — сказал Лабрюйер, — любить, не имея большого состояния». Единственное, что остается, это постепенно истреблять в себе стремление к этой радости. Мне, напротив, дана была материальная возможность, но в тот же миг, если не с логической необходимостью, то по крайней мере как случайное последствие первоначальной удачи, — радость была похищена. Кажется, впрочем, что так должно быть всегда. Обычно, правда, она похищается не в тот же самый вечер, когда мы приобрели то, что делает ее возможной. По большей части мы еще некоторое время продолжаем напрягать силы и надеяться. Но счастье никогда не может осуществиться.

Если удается преодолеть препятствия, природа переносит борьбу извне вовнутрь и постепенно вызывает в нашем сердце такие перемены, что ему начинает хотеться чего-либо иного взамен того, чем ему предстояло обладать. А если развязка совершилась так быстро, что наше сердце не успело измениться, природа от этого не теряет еще надежды победить нас средствами, правда, более медленными, более тонкими, но столь же действенными. И вот тогда, в последнюю секунду, обладание счастьем похищается у нас, или, вернее, природа с помощью дьявольской хитрости само это обладание делает средством к разрушению счастья. Потерпев неудачу во всем, что относилось к миру действительности, к миру жизни, природа создает последнюю невозможность, психологическую невозможность счастья. Счастье или вовсе не наступает, или вызывает самую горькую реакцию.

Я спрятал десять тысяч франков. Но они мне уже были ни к чему. Впрочем, я истратил их скорее, чем если бы посылал каждый день цветы Жильберте, ибо, когда наступал вечер, я чувствовал себя таким несчастным, что не мог оставаться дома и уходил плакать в объятиях женщин, которых не любил. А доставить какое-нибудь

удовольствие Жильберте мне уже больше не хотелось, вернуться теперь в дом Жильберты было бы для меня одно мучение. Даже свидание с Жильбертой, которое еще накануне было бы для меня так сладостно, уже не удовлетворило бы меня. Ведь я беспокоился бы все то время, когда ее не было бы рядом со мной. Вот почему женщина всякий раз, когда причиняет нам новое страдание, часто сама того не зная, усиливает свою власть над нами — но также и наши требования к ней. Причиняя нам эту боль, женщина все больше опутывает нас, удваивает сковывающие нас цепи — но также и те, которых до сих пор нам было бы достаточно, чтобы сковать ее и чувствовать себя спокойными. Еще накануне, если бы я мог думать, что я не надоел Жильберте, я бы удовольствовался требованием редких свиданий, которых мне теперь было бы недостаточно и которые я заменил бы теперь совсем иными условиями. Ведь в любви, в противоположность тому, что происходит после сражений, мы ставим условия тем более суровые, тем более тяжелые, чем сильнее было наше поражение, если, конечно, мы еще в состоянии их поставить. Не так поступил я с Жильбертой. И сначала я предпочел не бывать у ее матери. Я все продол-

жал твердить себе, что Жильберта не любит меня, что я знаю это достаточно давно, что могу увидеться с ней, если захочу, а если не захочу, то в конце концов забыть ее. Но эти мысли, как лекарство, недействительное против некоторых болезней, были совершенно бессильны по отношению к тем двум параллельным линиям, которые я время от времени снова видел пред собой, медленно уводившим Жильберту и молодого человека в глубь аллеи Елисейских Полей. Это была новая боль, которая в конце концов тоже притупилась бы, и это был образ, который впоследствии мог представиться мне, очищенный от всего вредоносного, что было в нем, подобно тем смертельным ядам, к которым не опасно прикасаться, подобно динамиту, о который, не опасаясь взрыва, можно закурить папиросу, если количество его незначительно. А пока что во мне была другая сила, со всем напряжением боровшаяся против той нездоровой силы, которая неизменно рисовала мне прогулку Жильберты в сумерках: стремясь сломить не прекращавшийся натиск памяти, с успехом работала в противоположном направлении моя фантазия. Первая из этих двух сил по-прежнему показывала мне парочку, удалявшуюся по аллее Елисейских По-

лей, и выхватывала для меня из прошлого другие неприятные картины, например Жильберту, пожимавшую плечами, когда мать просила ее остаться со мной. Но другая сила, вышивая по канве моих надежд, рисовала будущее, открывавшееся с гораздо большей приветливостью, чем это бедное, в сущности такое скудное, прошлое. За какую-нибудь одну минуту, когда я снова видел перед собой надутую Жильберту, меня вознаграждало столько других минут, когда я старался придумать, какие попытки она предпримет, чтобы добиться нашего примирения, может быть нашей помолвки. Правда, что эту силу, которой фантазия указывала путь в будущее, она черпала в прошлом. По мере того как стала бы сглаживаться моя досада на то, что Жильберта пожала плечами, стало бы сглаживаться и воспоминание о ее прелести, воспоминание, заставлявшее меня желать, чтобы она возвратилась ко мне. Но прошлое еще далеко не умерло для меня. Я все еще любил ту, которую, как мне казалось, ненавижу. И всякий раз, как хвалили мою прическу, находили, что у меня хороший вид, мне хотелось, чтобы она была здесь. Меня сердило в то время, что многие выражали желание видеть меня у себя, и я отказывался бывать в гостях. У нас дома

произошла сцена из-за того, что я не поехал с моим отцом на официальный обед, где должны были быть Бонтаны со своей племянницей Альбертиной, совсем молоденькой девушкой, почти ребенком. Так отдельные периоды нашей жизни проходят один мимо другого. Ради человека, которого любишь и который когда-нибудь станет таким безразличным для нас, мы с презрением отказываемся видеть того, кто безразличен для нас сегодня, кого мы завтра полюбим, кого, если бы согласились увидеть, мы могли бы полюбить и раньше, и кто таким образом сократил бы наши теперешние страдания, правда, для того чтобы заменить их другими. Мои страдания видоизменялись. Я с удивлением замечал в самом себе нынче одно, завтра другое чувство, обычно внушенное той или иной надеждой, тем или иным опасением, связанным с Жильбертой. С Жильбертой, которую я носил в самом себе. Мне надо было сказать себе, что та, другая, настоящая, может быть совершенно не похожа на эту, не знает всех тех сожалений, которые я ей приписываю, вероятно, думает обо мне гораздо меньше, чем я думаю о ней и даже чем я заставляю ее думать обо мне, когда нахожусь наедине с моей вымышленной Жильбертой, пытаюсь понять ее

истинные намерения на мой счет и воображаю таким образом, что ее внимание постоянно обращено на меня. В периоды, когда печаль еще длится, хотя и ослабевает, надо различать то ее проявление, которое вызывает в нас постоянная мысль о самом человеке, и то, что возбуждают в вас некоторые воспоминания, та или иная насмешливая фраза, сказанная нам, то или иное слово в полученном письме. Имея в виду описать разные формы печали в дальнейшем, в связи с любовью более поздней, заметим, что первая форма ее проявления бесконечно менее мучительна, чем вторая. Это обусловлено тем, что наше представление о человеке, никогда в нас не умирая, бывает украшено ореолом, которым мы сразу же окружаем этого человека, и запечатлевается если не отрадой, даруемой нередко надеждой, то по крайней мере спокойствием постоянной тоски. (Впрочем, надо заметить, что образ человека, причиняющего нам такие страдания, играет небольшую роль в осложнениях, которые усугубляют любовную печаль, затягивают ее и мешают излечиться от нее, подобно тому как в некоторых болезнях причина несоизмерима с последующей лихорадкой и медленностью выздоровления.) Но если представление о любимом

человеке отражает в общем оптимистические наклонности ума, то не так обстоит дело с этими особыми воспоминаниями, с этими насмешливыми речами, с этим враждебным письмом (только одно такое письмо получил я от Жильберты); можно было бы сказать, что сам человек таится в этих обрывках, хотя бы столь ничтожных, и достигает такой мощи, какой он далеко не имеет в привычном представлении, составившемся у нас о нем в целом. Ведь письмо мы не созерцали в меланхолическом покое сожаления, как созерцали образ любимой; мы читали, мы глотали его в страшной тревоге, которой душило нас неожиданное несчастие. Эта печаль возникает иначе; она приходит к нам извне и достигает нашего сердца путем жесточайшего страдания. Образ нашей милой, хоть он кажется нам давним, подлинным, мы в действительности переделывали по многу раз. Жестокое воспоминание — оно не современник этого подновленного образа, оно другого века, оно — один из немногих очевидцев чудовищного прошлого. Но так как это прошлое продолжает существовать — вне нас, ибо нам угодно было заменить его волшебным золотым веком, раем, где все примиряются друг с другом, — то эти воспоминания, эти письма зовут к

действительности и, причиняя внезапную боль, должны бы дать нам почувствовать, насколько мы от нее удалились в безумных надеждах наших каждодневных ожиданий. Это не значит, что действительность должна оставаться неизменной, хоть это иногда и случается. В нашей жизни много есть женщин, с которыми мы никогда не старались увидаться снова и которые, вполне естественно, на наше вовсе не преднамеренное молчание отвечали таким же молчанием. Но так как этих женщин мы не любили, то и не вели счёта годам, проведенным вдали от них, и этим примером, который мог бы опровергнуть нас, мы пренебрегаем, рассуждая о пользе уединения, подобно тому как люди, верящие в предчувствия, не обращают внимания на все те случаи, когда их предчувствие не оправдалось.

Но в конце концов уединение может принести пользу. Желание, потребность в новой встрече с нами пробуждается наконец в сердце, которое в настоящем от нас отрекается. Но только для этого нужно время. Наши требования к времени непомерны и не уступают жажде перемены, которой требует наше сердце. Во-первых, именно времени нам труднее всего сделать уступку, потому что наше страдание жестоко и мы спе-

шим увидеть его конец. Потом, время, которое потребуется другому сердцу, чтобы измениться, поможет перемениться и нашему сердцу, так что, сделавшись достижимой, цель, которую мы себе ставили, перестанет быть целью для нас. Впрочем, самая мысль, что цель станет достижимой, что нет такого счастья, которого в конце концов, когда оно уже не будет счастьем для нас, мы не могли бы добиться, эта мысль заключает в себе долю — но только долю! — истины. Оно достанется нам, когда мы станем к нему равнодушным. Но именно это равнодушие делает нас менее требовательными и позволяет поверить задним числом в то, что доставшееся нам наконец счастье привело бы нас в восторг в ту пору, когда оно, быть может, показалось бы нам весьма неполным. Нельзя быть ни очень требовательным, ни очень хорошим судьей по отношению к тому, до чего нам нет дела. Любезность существа, которое мы больше не любим, любезность, которая нашему равнодушию кажется чрезвычайной, быть может, далеко не удовлетворила бы нашу любовь. Мы думаем о том удовольствии, которое доставили бы нам эти нежные слова, приглашение на свидание, но не думаем о всех тех, которые нам хотелось бы слышать вслед за ними, и которым,

быть может, мы нашей жадностью не дали бы осуществиться. Таким образом, нет уверенности в том, что счастье, пришедшее слишком поздно, когда мы уже не можем насладиться им, когда мы уже не любим, является совершенно тем же самым счастьем, недостижимость которого делала нас когда-то такими несчастными. Один лишь человек мог бы решить вопрос — наше прежнее «я»; его уже нет; и, наверно, стоило бы ему вернуться, чтобы счастье, тождественное или не тождественное, растаяло.

В ожидании, что моя мечта, хотя и поздно, все же осуществится, потеряв для меня уже всякий смысл, я, создавая в своем воображении — как в то время, когда я был едва знаком с Жильбертой, — слова, письма, в которых она молила меня о прощении, признавалась мне, что не любила никого, кроме меня, и просила меня жениться на ней, достиг того, что цепь сладостных образов, непрестанно воссоздаваемых, заняла наконец в моем уме место более значительное, чем образ Жильберты с молодым человеком, который уже ни в чем не находил себе опоры. Я, быть может, вернулся бы тогда к г-же Сван, если бы не увиденный мною сон, в котором кто-то из моих друзей, мне, однако, неизвестный, вел себя по

отношению ко мне в высшей степени лицемерно, убежденный и в моем лицемерии. Внезапно проснувшись от боли, вызванной этим сном, и видя, что она продолжается, я стал о нем думать, пытался припомнить, кто был этот друг, которого я видел во сне и чье испанское имя уже утратило свою отчетливость. Совместив в себе Иосифа и фараона, я стал толковать мой сон. Я знал, что часто не следует считаться с наружностью действующих лиц, которые могут быть замаскированы и с кем-нибудь другим поменялись лицом, как в каком-нибудь соборе те изувеченные статуи святых, которые реставрировал невежественный археолог, приставивший голову одного к туловищу другого и смешавший атрибуты и имена. Атрибуты и имена, присущие людям во сне, могут ввести нас в заблуждение. Любимого человека мы должны узнавать лишь по силе страдания, которое чувствуем. Мое страдание показало мне, что существо, недавнее лицемерие которого еще мучило меня, было Жильбертой, принявшей в моем сне облик юноши. Я вспомнил тогда, что последний раз, когда я видел ее, в день, когда мать не пустила ее на урок танцев, она, то ли искренно, то ли притворно, как-то странно смеясь, отказалась поверить в мое доброе отно-

шение к ней. По ассоциации это воспоминание вызвало в моей памяти еще и другое. Задолго до того Сван не хотел верить ни в мою искренность, ни в то, что я могу быть настоящим другом Жильберты. Напрасно я писал ему, Жильберта принесла назад мое письмо и вернула мне его с тем же непонятным смехом. Она не сразу вернула мне его, мне вспомнилась вся сцена, за группой лавровых деревьев. В несчастье мы сразу становимся нравственными. Теперешняя неприязнь ко мне Жильберты представилась мне наказанием, которому жизнь подвергла меня за мое поведение в тот день. Мы думаем избегнуть наказаний, остерегаясь экипажей при переходе через улицу, избегая опасностей. Но есть наказания внутренние. Несчастье приходит оттуда, откуда мы и не ожидали его, изнутри, из сердца. Слова Жильберты: «Если хотите, поборемся еще» — привели меня в ужас. Я представил себе, что она может вести себя так и дома, в бельевой комнате, с молодым человеком, которого я видел рядом с нею в аллее Елисейских полей. Таким образом, если я был безумен, считая (некоторое время тому назад), что я благополучно обеспечил себе счастье, то теперь, когда я от счастья отказался, таким же безумием была уверенность,

что я по крайней мере нашел и смогу сохранить покой. Ведь пока наше сердце постоянно сохраняет образ другого человека, не только наше счастье может быть разрушено в любую минуту; когда это счастье исчезает, когда нам приходится страдать и когда потом нам удается усыпить наше страдание, столь же обманчивым, как и счастье, столь же непрочным оказывается покой. Покой наконец вернулся ко мне, ибо то, что, видоизменяя наше нравственное состояние, наши желания, вторгается по воле мечты в наш ум, постепенно рассеивается, постоянства и длительности ничему не дано, даже муке. Впрочем, те, кто страдает от любви, являются, подобно некоторым больным, своим собственным врачом. Так как утешение им может дать только существо, ставшее виновником их муки, и так как эта мука излучается от него, то в ней они в конце концов находят лекарство. Она сама в известный срок открывает им это лекарство, ибо по мере того, как они копаются в ней, эта мука в новом свете показывает им оплакиваемое существо, порою столь ненавистное, что уже нет и желания увидеться вновь, так как надо было бы помучить его, чтобы найти удовольствие в свидании, а порою столь нежное, что эту нежность, которую

ему приписываешь, ставишь ему в заслугу и видишь в ней повод к надежде. Но хотя страдания, возобновившиеся во мне, в конце концов и улеглись, я решил только изредка бывать у г-жи Сван. Дело прежде всего в том, что у человека любящего и покинутого чувство ожидания, с которым он живет, даже не признаваясь себе в нем, видоизменяется само собой и, хотя оно казалось бы и неизменно, заставляет первоначальное состояние смениться другим, совершенно противоположным. Первое из них было следствием, отражением мучительных событий, которые нас потрясли. К ожиданию того, что могло бы случиться, примешивается страх, тем более что в данную минуту, если ничего нового не последует со стороны той, которую мы любим, нам хочется действовать самим и мы не слишком уверены в успехе попытки, после которой уже, пожалуй, будет невозможно предпринять другую. Но вскоре наше все продолжающееся ожидание незаметно для нас определяется, как мы видим, уже не воспоминаниями о прошлом, которое мы пережили, но надеждою на воображаемое будущее. С этого момента оно почти приятно. К тому же в первой своей стадии оно, несколько затянувшись, приучило нас жить упованиями. Страдание,

испытанное во время последних встреч, еще живет в нас, но уже затихает. Мы не торопимся пробудить его, тем более что нам не ясно, чего бы мы потребовали теперь. Чуть большая степень обладания любимой женщиной сделала бы для нас только более необходимым то, чем мы не обладаем и что, вопреки всему — так как потребности наши рождаются из их удовлетворения — осталось бы для нас чем-то незаменимым.

Наконец еще одна, последняя, причина прибавилась к прежним, заставив меня совершенно прекратить мои визиты к г-же Сван. Эта причина, более запоздалая, была не та, что я уже забыл Жильберту, но что я старался скорее забыть ее. Конечно, с тех пор как большое страдание прекратилось, посещения г-жи Сван снова сделались для остатков моей грусти тем успокоительным средством и развлечением, которое вначале было так драгоценно для меня. Но то, что лежало в основе первого, обусловливало также неудобства второго, а именно: с этими визитами было тесно связано воспоминание о Жильберте. Развлечение принесло бы мне пользу только в том случае, если бы с чувством, которое уже не оживлялось присутствием Жильберты, оно привело в столкновение мысли, интересы, страсти, в которых

Жильберта была бы ни при чем.

Эти состояния сознания, которым любимое существо остается чуждо, занимают тогда место, которое, какое бы малое оно ни было сперва, расширяется в ущерб любви, занимавшей всю душу целиком. Надо стараться воспитать, взрастить эти мысли, меж тем как чувство являющееся уже только воспоминанием, клонится к закату, — так чтобы новые элементы, вошедшие в сознание, оспаривали, вырывали у него все большую и большую часть души и наконец отняли ее целиком. Я отдавал себе отчет в том, что это единственный способ умертвить любовь, и я был еще достаточно молод, достаточно отважен, чтобы попытаться сделать это, чтобы принять жесточайшую из мук, которая рождается от уверенности, что, сколько бы времени ни пришлось потратить, мы добьемся удачи. Причина, на которую я ссылался теперь в моих письмах к Жильберте, отказываясь от встречи с ней, была намеком на какое-то таинственное, совершенно вымышленное недоразумение, которое будто бы произошло между нею и мной и которое, как я надеялся вначале, могло бы вызвать с ее стороны просьбу объясниться. Но на самом деле никогда, даже в самых незначительных житейских

отношениях, не попросит объяснения адресат, который знает, что неясная, лживая, обвиняющая фраза вставлена нарочно для того, чтобы он стал возражать, и который слишком рад тому, что он является, как он это чувствует, хозяином положения. Тем более это касается отношений более нежных, когда любовь так красноречива, равнодушие же так нелюбопытно. Так как Жильберта не усомнилась в этом недоразумении и не постаралась узнать его, оно превратилось для меня в некую реальность, на которую я ссылался в каждом письме. И в этих ложно понятых положениях, в притворной холодности, заключено колдовство, увеличивающее нашу настойчивость. Я столько раз писал: «С тех пор как наши сердца разлучены», стараясь вызвать со стороны Жильберты ответ: «Но это не так, давайте объяснимся», что наконец убедил себя в истинности их. Все время повторяя: «Пусть жизнь для нас переменилась, она не изгладит чувства, которое было в нас», — с тем чтобы наконец услышать в ответ: «Но ведь ничего не изменилось, это чувство сильнее, чем когда бы то ни было», — я жил с мыслью, что жизнь действительно переменилась, что мы сохраним воспоминание о чувстве, которого не стало, подобно тому как некоторые

неврастеники, симулируя ту или иную болезнь, в конце концов навсегда остаются больными. Теперь всякий раз, когда мне надо было писать Жильберте, я вспоминал об этой воображаемой перемене, наличность которой, подтверждавшаяся молчанием на этот счет Жильберты в ее ответах, должна была отныне отделять нас друг от друга. Потом Жильберта перестала отмалчиваться. Она сама стала на мою точку зрения и, подобно тому как в официальных тостах глава государства, которого принимают, прибегает более или менее к тем же самым выражениям, которыми пользовался глава государства, оказывающий ему прием, — каждый раз, что я писал Жильберте: «Пусть жизнь нас разлучила, воспоминание о том времени, когда мы встречались, останется», она не упускала случая ответить: «Пусть жизнь нас разлучила, она не заставит нас забыть чудные часы, которые нам всегда будут дороги» (нас очень затруднило бы сказать, почему «жизнь» разлучила нас, какая произошла перемена). Я уже не слишком страдал. Все же однажды, сообщая ей в письме, что я узнал о смерти старушки-торговки, продававшей леденцы на Елисейских Полях, и написав следующие слова: «Я подумал, что Вас это огорчит, во мне это разбудило столько воспо-

минаний», — я не мог удержаться от слез, когда заметил, что говорю в прошедшем времени, как будто речь шла о покойнике, уже почти забытом, о той любви, о которой я невольно думал как о чем-то живом, по крайней мере способном возродиться. Ничего не могло быть нежнее этой переписки двух друзей, больше не желавших видеться. Письма Жильберты были исполнены той же нежности, что и письма, которые я писал людям безразличным, и давали мне те же видимые доказательства симпатии, столь сладостные для меня, когда они исходили от Жильберты.

Впрочем, каждый новый отказ от свидания стоил мне все меньше и меньше труда. И так как она становилась мне менее дорога, то моим болезненным воспоминаниям уже недоставало силы, чтобы помешать непрестанному возвращению удовольствия, которое я находил в мыслях о Флоренции, о Венеции. В такие минуты я жалел, что отказался от дипломатической карьеры и создал себе оседлый образ жизни, только бы не отдаляться от девушки, с которой я больше не увижусь и которую я уже почти забыл. Мы строим себе жизнь ради определенного человека, а когда наконец мы можем принять его в построенном здании, он не приходит, потом умирает для нас,

и мы живем пленниками дома, предназначавшегося только для него. Если Венеция казалась моим родителям слишком далекой и слишком нездоровой для меня, то, по крайней мере, легко и неутомительно было поселиться в Бальбеке. Но для этого надо было покинуть Париж, отказаться от этих посещений, благодаря которым, как ни редки они были, я слышал иногда разговоры г-жи Сван о ее дочери. Впрочем, порою я испытывал там удовольствие, в котором Жильберта была ни при чем.

Когда приблизилась весна и холода вернулись, в дни «ледяных святых» и предпасхальных дождей с градом, г-жа Сван, находя, что у нее можно замерзнуть, часто принимала гостей в мехах, ее зябкие руки и плечи исчезали под белым блестящим покровом огромной плоской муфты и пелерины из горностая, с которыми она не расставалась, вернувшись домой, и которые напоминали последние нерастаявшие комья зимнего снега, более упорные и не поддававшиеся влиянию комнатного тепла и времени года. И вся истинность этих ледяных, но уже расцветающих недель раскрывалась мне в этой гостиной, которую я вскоре перестану посещать, благодаря иной, более упоительной белизне, вроде, напри-

мер, белизны цветов бульденеж, стебли которых, голые, как прямые деревца у прерафаэлитов, возносили свои шары, состоящие из отдельных лепестков, гладкие, белые, как ангелы-благо-вестники, и окруженные благоуханием лимона. Ибо владелице Тансонвильского замка было извест-но, что апрель, даже ледяной, все же не лишен цветов, что зима, весна, лето не отделены друг от друга столь герметическими перегородками, как думает бульварный фланер, который вплоть до первых жарких дней представляет себе мир чем-то состоящим из голых домов под дождем. До-вольствовалась ли г-жа Сван тем, что присылал ей ее садовник из Комбре, и не заполняла ли она пробелов с помощью «придворной» цветочницы, прибегая к займам у ранней средиземной весны, этого я отнюдь не утверждаю, да мне до этого не было и дела. Чтобы затосковать о деревне, мне стоило увидеть рядом со снежными полями муфты г-жи Сван эти бульденеж (которые, может быть, хозяйка дома, по совету Бергота, поставила только для того, чтобы они сочетались с ее обста-новкой и туалетом в одну «мажорную симфонию в белом»), они напоминали мне, что волшебство Страстной пятницы — чудо естественное, ко-торое, если быть более благоразумным, можно

видеть каждый год; получая поддержку в остром и опьяняющем аромате каких-то других цветов, неизвестных мне по названию, столько раз заставлявших меня останавливаться во время моих прогулок в Комбре, они делали для меня гостиную г-жи Сван такой же девственной, такой же невинно цветущей, хоть и без единого листка, столь же наполненной подлинными запахами, как крутая тропинка Тансонвиля.

Но воспоминание о нем уже переполняло меру. Оно грозило оживить то малое, что осталось во мне от любви к Жильберте. Вот почему, хотя эти визиты к г-же Сван совершенно потеряли для меня свою мучительность, я бывал у нее все реже и, как можно меньше старался видеть ее. Самое большее, что я иногда позволял себе, так как по-прежнему не покидал Парижа, были прогулки вместе с нею. Вернулись наконец ясные дни и тепло. Зная, что перед завтраком г-жа Сван выходит на часок, чтобы пройтись по авеню Булонского Леса поблизости от Триумфальной арки и того места, которое называли тогда «Клубом голодранцев», ибо туда приходили смотреть на богачей люди, знавшие их только по имени, — я получил от моих родителей позволение завтракать по воскресеньям — в другие дни я не был

свободен в это время — гораздо позже, чем они, в четверть второго, чтобы сперва прогуляться. Я ни разу не упустил этого случая за весь май, так как Жильберта уехала за город, к подругам. В двенадцать часов я подходил к Триумфальной арке. Я сторожил у начала авеню, не спуская глаз с угла той маленькой улицы, по которой г-же Сван оставалось пройти несколько метров от дома. Так как это был час, когда большинство гуляющих возвращались домой завтракать, то оставалось не много народу, большею частью публика элегантная. Внезапно в аллее, усыпанной песком, запоздалая, медлительная, пышная, как самый прекрасный цветок, раскрывающийся только в полдень, появлялась г-жа Сван, расцветая туалетом, который каждый раз был другой, но запомнился мне бледно-лиловым; затем она поднимала и раскрывала на длинном стержне, в минуту своего ярчайшего сияния, шелковистый флаг широкого зонтика такого же оттенка, как опадающие лепестки ее платья. Целая свита окружала ее: Сван, четыре или пять клубменов, навестивших ее утром или встретившихся с ней по дороге; их послушная черная или серая масса, исполнявшая почти механически роль простого обрамления Одетты, придавала этой женщине, у

которой одной взгляд отличался живостью, такой вид, словно, окруженная этими мужчинами, она смотрит из окна, к которому подошла, и выделяла ее, хрупкую и бесстрашную, во всей обнаженности ее нежных красок, точно существо иной породы, неведомой расы и почти воинственной мощи, благодаря которой она затмевала всю свою многочисленную свиту. Радуясь хорошей погоде, солнцу, которое еще не было слишком жгуче, улыбающаяся, уверенная и спокойная, как творец, завершивший дело рук своих и уже не заботящийся об остальном, убежденная в том, что ее туалет, — хотя бы профаны-прохожие и не оценили его, — самый элегантный из всех, она носила его для себя и для своих друзей, с полной естественностью, не слишком занятая им, но и не вполне к нему равнодушная, не мешая бантикам на корсаже и юбке слегка развеваться, словно живым существам, о присутствии которых она знала и которым она снисходительно позволяла тешиться своей игрой, в соответствии со свойственным им ритмом, лишь бы они следовали по тому же пути, что она, и даже на свой бледно-лиловый зонтик, который она часто держала еще закрытым, когда появлялась, она роняла, как на букет пармских фиалок, взгляд такой счастливый

и нежный, что в нем как будто хранилась еще улыбка, даже когда он останавливался не на ее друзьях, а на неодушевленном предмете. Своим туалетом она создавала предначертанную для него грань изысканности, за которую не переступали мужчины из числа тех, с кем г-жа Сван обращалась наиболее по-товарищески, и необходимость которой они признавали, не без доли почтения, как люди непосвященные, сознающиеся в своем невежестве, полагаясь в этом отношении на компетентность и правомочия своей приятельницы, подобно тому как больного признают компетентным относительно необходимого ему режима или мать — относительно воспитания ее детей. Поздний час, когда появлялась г-жа Сван, не в меньшей степени, чем двор, окружавший ее и, казалось, не замечавший прохожих, вызывал представление о тех комнатах, где она провела такое долгое утро и куда ей надо будет вскоре вернуться завтракать; она как будто подчеркивала их близость небрежным спокойствием своей прогулки, точно это была медленная прогулка по собственному саду; можно было подумать, что она еще окружена прохладной тенью, царящей внутри комнат. Но именно благодаря этому я, глядя на нее, лишь сильнее чувствовал разлитый

кругом весенний воздух и тепло. Тем более что мне, уже твердо верившему в необходимость, неповторимость связи, соединявшей туалет г-жи Сван с временем года и часом дня в силу обрядов и ритуалов, в которых она была глубоко сведуща, казалось, что цветы на ее упругой соломенной шляпе, ленточки на ее платье вызваны к жизни месяцем маем, притом гораздо более естественно, чем цветы садов и лесов; и чтоб понять трепет наступившей весны, мне достаточно было поднять глаза на ее зонтик, раскрытый, распростертый, словно второе небо, более близкое, круглое, милостивое, подвижное и голубое. Ведь ценность этих ритуалов, если они были полновластны, а следовательно, и поведения г-жи Сван, заключалась в снисходительной покорности утру, весне, солнцу, которые мне казались недостаточно польщенными тем, что женщина столь изысканная соблаговолила обратить на них внимание и, надев ради них платье из материи более светлой и легкой, напоминавшее благодаря вырезу ворота и широким рукавам о влажности шеи и кистей рук, оказывает им всяческие любезности, как светская дама, которая, весело снизойдя до того, чтобы посетить в деревне людей простых и знакомых всем, даже простонародью, тем не

менее сочла нужным надеть, именно ради этого дня, сельский наряд. Как только она появлялась, я кланялся г-же Сван, она меня останавливала и говорила с улыбкой: «Good morning».[30] Мы шли несколько шагов. И мне становилось понятно, что, одеваясь согласно этим канонам, она ради самой себя повинуется им, как некоей высшей премудрости, верховной жрицей которой она является; если случалось, что, разгорячившись, она распахивала или вовсе снимала и давала нести мне свой жакет, который сперва не собиралась даже расстегивать, я открывал на шемизетке тысячи мелочей, которые вполне могли остаться незамеченными, как те места в партии оркестра, к которым композитор отнесся со всею тщательностью, хоть им и никогда не суждено дойти до слуха публики; или в рукавах жакета, лежавшего у меня на руке, я замечал и долго разглядывал, для своего удовольствия или же из любезности, какую-нибудь прелестную деталь, полоску, очаровательную по цвету, светло-лиловый шелк, обычно скрытый от глаз, но отделанный с такой же тонкостью, как и всё, что было на виду, словно готическая лепка собора, скрытая на задней сто-

---

[30] Примечания: 30
Доброе утро *(англ.)*.

роне балюстрады, на высоте восьмидесяти футов, и столь же совершенная, как барельеф главного портала, но невиданная никогда и никем до тех пор, пока художник во время путешествия, случайно, не получил разрешения подняться наверх, чтобы с высоты оглядеть город, став меж двух башен.

Впечатление, что г-жа Сван гуляет по авеню Булонского Леса как по аллее собственного сада, усиливалось еще благодаря тому — особенно у людей, которым не была известна ее привычка к «footing», — что она приходила пешком, и экипаж не следовал за ней, за этой женщиной, которую, начиная с мая-месяца, все привыкли видеть проезжающей в огромной открытой восьмирессорной виктории, где она, обвеваемая теплом, восседала томная и величественная, как богиня, причем упряжь была самая лучшая и ливрея самая корректная в Париже. Когда г-жа Сван шла пешком, то, главным образом благодаря походке, более медленной из-за жары, создавалось впечатление, что она поддалась любопытству, что она изящно нарушила правила этикета, точно монарх, который, ни с кем не посоветовавшись, сопутствуемый восхищением несколько скандализованной свиты, не смеющей ничего сказать,

выходит из своей ложи во время спектакля-гала, чтобы посетить фойе, где он на несколько минут смешивается с прочими зрителями. Толпа чувствовала между собой и г-жой Сван преграды богатства, самые непреодолимые в ее глазах. Свои преграды есть и у Сен-Жерменского предместья, но они менее поражают взгляд и воображение «голодранцев». В присутствии великосветской дамы, у которой больше простоты, которую легче принять за какую-нибудь мещаночку и которая ближе к народу, они не в такой степени ощущают свое неравенство, не чувствуют себя такими недостойными, почти что заслуживающими презрения, как в присутствии какой-нибудь мадам Сван. Конечно, блеск, окружающий этих женщин, их самих не ослепляет, как этих «голодранцев», они уже не обращают на него внимания, но объясняется это тем, что они к нему привыкли, то есть начинают в конце концов считать его как нельзя более естественным и необходимым и судить обо всех прочих лишь по степени их посвященности или непосвященности в эти привычки роскоши; таким образом (поскольку великолепие, которым они блещут и которое открывают в других, совершенно материально, легко может быть отмечено, приобретается не сразу, возмещается с трудом),

если эти женщины относят встретившегося им прохожего на самую низшую ступень, то и он совершенно так же, то есть непосредственно, с первого же взгляда, безоговорочно ставит их на высшую ступень. Может быть, этот особый класс общества, к которому принадлежали тогда женщины вроде лэди Израэльс, уже проникшей в аристократические круги, и г-жа Сван, которой со временем предстояло познакомиться с ними, этот промежуточный класс, стоявший ниже Сен-Жерменского предместья, потому что он заискивал перед ним, но выше всего того, что к Сен-Жерменскому предместью не относится, и который отличался тем, что, уже отойдя от мира богачей, он все еще был носителем богатства, но богатства, усвоившего гибкость, послушного художественному назначению, художественной идее, денег, которые можно перечеканить, поэтически изукрасить и которые умеют улыбаться, — может быть, этот класс теперь уже и не существует во всей полноте своего обаяния и характера. Впрочем, женщинам, принадлежавшим к нему, теперь недоставало бы главного условия их могущества, так как с возрастом они почти все утратили свою красоту. И с высоты, на которую возносило ее не только ее благородное богат-

ство, но и торжествующий расцвет ее еще такой обольстительной летней зрелости, г-жа Сван, величественная, улыбающаяся, исполненная доброты, медленно шествуя по авеню Булонского Леса, подобно Гипатии, глядела на миры, кружившиеся у ее ног. Молодые люди, шедшие мимо, с боязнью смотрели на нее, не уверенные в том, достаточно ли их поверхностное знакомство с ней (тем более что, будучи едва только представлены Свану, они опасались, что он может их не узнать), чтобы позволить себе приветствовать ее поклоном. И не иначе как дрожа за последствия, они решались на этот поклон, задавая себе вопрос, не повлечет ли их дерзко вызывающий святотатственный жест, посягающий на нерушимое главенство касты, целую цепь катастроф и не обрушит ли он на них кару какого-нибудь бога? Но он вызывал только, как часовой механизм, жестикуляцию кланяющихся человечков, являвшихся не чем иным, как свитою Одетты, начиная Сваном, который приподнимал свой цилиндр с зеленой кожаной подкладкой, благосклонно улыбаясь, чему он научился в Сен-Жерменском предместье, но уже без того равнодушия, которое раньше примешивалось к этой улыбке. Оно теперь сменилось (как будто он в известной мере

проникся предрассудками Одетты) и досадой на то, что ему приходится отвечать на поклон человека, недостаточно хорошо одетого, и удовлетворением от того, что у жены его столько знакомых, — чувством смешанным, которым он в таких выражениях делился с блестящими друзьями, сопровождавшими ее: «Еще один! Честное слово, я задаю себе вопрос, где Одетта взяла всю эту публику!» А в это время, ответив кивком головы взволнованному прохожему, уже скрывшемуся из виду, но все еще ощущавшему сердцебиение, г-жа Сван обращалась ко мне. «Итак, — говорила она мне, — все кончено? Вы больше никогда не придете к Жильберте? Я рада, что для меня вы делаете исключение и что вы не совсем забросили меня. Мне приятно вас видеть, но мне нравилось также и ваше влияние на мою дочь. Мне кажется, что и она очень жалеет. Ну, не буду вас неволить, а то вы и со мной не захотите больше видеться!» — «Одетта, Саган здоровается с вами», — замечал жене Сван. И в самом деле, князь, словно в великолепном театральном или цирковом апофеозе или как персонаж старинной картины, ставил своего коня во фрунт и кланялся Одетте, подчеркивая этим широким жестом, театральным и как будто аллегорическим, всю

рыцарственную учтивость вельможи, выражающего свое почтение женщине, хотя бы она была воплощена в такой женщине, которую не могли бы посетить его мать и сестра. Впрочем, г-же Сван, узнавая ее в прозрачной и сверкающей, как лак, тени ее зонта, каждую минуту кланялись последние из запоздалых всадников, мчавшихся галопом, словно в кинематографической ленте, по солнечной белизне авеню, разные члены клуба, имена которых, знаменитые у публики — Антуан де Кастеллан, Адальбер де Монморанси и столько других, — были для г-жи Сван привычными именами друзей. А так как для воспоминаний о чувствах поэтических средняя длительность жизни — относительная долговечность, — гораздо больше, чем для воспоминаний о страданиях сердца, то, когда уже давно замерли во мне огорчения, причиной которых была Жильберта, их пережило удовольствие, которое я испытываю каждый раз, когда в мае-месяце по своего рода солнечным часам слежу минуты, отделяющие четверть первого от часа, и вижу себя вновь беседующим с г-жой Сван в тени ее зонтика, словно в беседке из глициний.

Часть вторая
ИМЕНА
МЕСТНОСТЕЙ: МЕСТНОСТЬ

Я был уже почти совершенно равнодушен к Жильберте, когда, два года спустя, мы с бабушкой поехали в Бальбек. Когда меня пленяло новое лицо, когда я надеялся, что какая-то другая девушка будет со мною вместе осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я с грустью говорил себе, что наша любовь, поскольку она связана с определенным человеком, есть, пожалуй, нечто не вполне реальное, ибо если приятные или мучительные мечты и могут некоторое время ассоциировать ее с тою или иной женщиной настолько, что заставляют нас думать, будто она неизбежно внушила нам эту любовь, зато, когда мы сознательно или невольно для себя отрешаемся от этих ассоциаций, эта любовь, точно она, напротив, есть что-то произвольное и исходящее только от нас, воскресает для того, чтобы перенестись на другую женщину. Всё же в момент отъезда в Бальбек и первое время пребывания там равнодушие мое было еще неустойчиво.

Часто (ведь наша жизнь протекает не хронологически, и в череду дней вторгается столько анахронизмов!) случалось мне переживать не вчерашний день, а один из тех более давних, когда я любил Жильберту. Тогда мне вдруг становилось больно оттого, что я ее не вижу, как если бы это было в те прежние годы. Мое «я», которое любило ее, а теперь почти целиком сменилось другим «я», возникало вновь, и ничтожный повод возвращал меня к нему гораздо чаще, чем повод значительный. Например, забегая вперед и уже касаясь моего пребывания в Нормандии: я раз услышал в Бальбеке, как незнакомец, с которым я повстречался на дамбе, сказал: «Семейство директора канцелярии Министерства почт». Казалось бы (так как я тогда еще не знал, какое влияние будет иметь на мою жизнь это семейство), эти слова должны были показаться мне праздными, а между тем они причинили мне острую боль — боль, которую ощущало от разлуки с Жильбертой мое прежнее «я», уже давно переставшее существовать во всей своей полноте. Дело в том, что я никогда не вспоминал об одном разговоре Жильберты и Свана, происходившем при мне и касавшемся семейства «директора канцелярии Министерства почт». А воспоминания любви не

являются нарушением общих законов памяти, которые сами подвластны еще более общим законам привычки. Так как всё ослабляется ею, то наилучшим напоминанием о человеке служит нам как раз то, что мы позабыли (ибо оно было незначительно и, позабытое, осталось для нас во всей своей силе). Вот почему лучшее, что есть в нашей памяти, находится вне нас, в дуновении влажного ветра, в затхлом запахе комнаты или в запахе впервые затопленного камина — всюду, где мы обретаем часть самих себя, ту часть, которой наше сознание, не прибегавшее к ней, пренебрегло, последний остаток прошлого, самый лучший, который, когда все слезы, казалось, уже выплаканы, умеет вновь источить их у нас. Вне нас? В нас самих, правильнее будет сказать, но скрытый от наших взоров, погруженный в забвение, более или менее долгое. Только благодаря этому забвению мы вновь, время от времени, можем обретать то существо, которым были прежде, глядеть на мир его глазами, снова страдать, потому что мы уже перестали быть собою, но стали им, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны. В ярком свете привычной памяти образы прошлого мало-помалу тускнеют, стираются, от них ничего не остается, мы их боль-

ше не найдем. Или, вернее, мы не могли бы их больше найти, если бы какое-нибудь сочетание слов (например, «управляющий канцелярией Министерства почт») не было тщательно спрятано в забвении, подобно тому как в Национальную библиотеку сдают экземпляр книги, которой иначе нельзя было бы найти.

Но это страдание и эти вспышки любви к Жильберте длились не больше, чем это бывает во сне, и на этот раз, напротив, потому, что здесь, в Бальбеке, недоставало старой Привычки, которая могла бы их продлить. И если эти следствия Привычки кажутся противоречивыми, это вызвано тем, что она повинуется сложным законам. В Париже я благодаря Привычке становился все более и более равнодушен к Жильберте. Перемена в привычках, то есть мгновенное прекращение Привычки, завершила ее дело, когда я уехал в Бальбек. Она ослабляет, но придает устойчивость, она вызывает процесс распадения, но бесконечно затягивает его. Многие годы я каждый день так или иначе воссоздавал то душевное состояние, которое было у меня накануне. В Бальбеке новая для меня кровать, рядом с которой мне утром ставили легкий завтрак, не такой, какой мне подавали в Париже, уже не могла поддерживать

во мне мысли, которыми питалась моя любовь к Жильберте: есть случаи (довольно редкие, правда), когда неподвижная жизнь задерживает ход дней, и перемена места становится лучшим средством, чтобы наверстать время. Моя поездка в Бальбек была словно первая прогулка выздоравливающего, который только ее и ждал, чтобы заметить, что он выздоровел.

Теперь это путешествие, вероятно, предпочли бы совершить в автомобиле, думая таким образом получить от него больше удовольствия. Благодаря этому оно в известном смысле оказалось бы более правдивым, потому что тут была бы возможность ближе и гораздо непосредственнее проследить постепенные изменения земной поверхности. Но ведь специфическое удовольствие от путешествия вовсе не в том, чтобы иметь возможность выходить по дороге и останавливаться в пути, когда устанешь, а в том, чтобы как можно больше углублять — отнюдь не сглаживать — разницу между отъездом и прибытием, ощущать ее во всей ее полноте, цельности, такою, какой она являлась нашей мысли, когда воображение переносило нас оттуда, где мы жили, к самой цели наших желаний, одним скачком, который казался нам чудесным

не столько потому, что он преодолевал расстояние, сколько потому, что соединял между собой две индивидуально-своеобразные точки Земного Шара, вел нас от одного имени к другому; скачок этот находит схематическое выражение (гораздо более удачное, нежели какая-нибудь прогулка в лодке, во время которой, раз мы можем выйти на берег по своему желанию, момента прибытия не существует) в той таинственной процедуре, что совершается в специально устроенных для этого местах — на вокзалах, — уже, так сказать, не являющихся частью города, но заключающих в себе его индивидуальную сущность, подобно тому как на сигнальных надписях они носят его имя.

Но наше время во всех областях страдает манией показывать вещи только в их действительном окружении и тем самым устраняет главное: акт сознания, который обособил их от него. Картину «выставляют» среди мебели, безделушек, портьер современной эпохи, среди пошлой декорации, которую так отлично умеет создать хозяйка современного особняка, накануне еще совершенно невежественная, а сегодня целые дни просиживающая в архивах и библиотеках, и на фоне которой мастерское произведение, когда мы глядим на него во время обеда, не дает нам

той пьянящей радости, какой мы можем ждать от него лишь в залах музея, где, благодаря их обнаженности и отсутствию каких бы то ни было мелочей, отчетливее символизируются те внутренние пространства, куда художник уходил, чтобы творить.

К несчастью, эти волшебные места — вокзалы, откуда мы отправляемся в далекий путь, — носят вместе с тем и трагический характер, ибо если в них совершается чудо, благодаря которому страна, существовавшая только в наших мыслях, превращается в страну, где мы будем жить, то по этой же причине мы, по выходе из зала ожидания, уже должны отказаться от возможности вернуться в привычную для нас комнату, где мы были еще так недавно. Надо оставить всякую надежду провести ночь у себя дома, едва мы вступаем в эти смрадные пещеры, через которые лежит путь к таинству — в одно из тех больших застекленных помещений, как на вокзале Сен-Лазар, откуда поезд должен был увезти меня в Бальбек и где над выпотрошенным городом развертывалось огромное бурое небо, угрожающее самыми драматическими бедами, подобно тому почти парижскому современному небу, какое мы видим на некоторых картинах

Мантенъи или Веронезе и под которым могло бы совершиться только страшное и торжественное событие, вроде отъезда по железной дороге или водружения креста.

Покуда я довольствовался тем, что, лежа в Париже в своей постели, созерцал персидскую церковь Бальбека, окруженную снежным вихрем бури, мое тело ничуть не возражало против этого путешествия. Возражения возникли только тогда, когда оно поняло, что и ему придется в этом участвовать и что вечером по приезде меня отведут в «мою» комнату, ему не знакомую. Возмущение его было тем более глубоко, что только накануне отъезда я узнал, что моя мать не поедет с нами, так как отец, занятый в министерстве до своей поездки в Испанию вместе с г-ном де Норпуа, предпочел снять дачу в окрестностях Парижа. Впрочем, лицезрение Бальбека не казалось мне менее желанным от того, что его приходилось достичь ценой некоторых неудобств, напротив, воплощавших и обеспечивавших в моих глазах подлинность впечатления, которого я искал, — впечатления, которого не заменило бы ни одно мнимо равноценное зрелище, ни одна «панорама», хотя бы я мог посмотреть ее, и не лишаясь собственной постели. Не в первый раз я чув-

ствовал, что человек, который любит, и человек, который ощущает удовольствие, — разные люди. Мне казалось, что я столь же страстно стремлюсь в Бальбек, как и лечивший меня доктор, который утром в день отъезда, удивляясь, что у меня такой несчастный вид, сказал: «Уверяю вас, что если б только у меня была возможность поехать на неделю подышать свежим воздухом на берег моря, я бы не заставил себя просить. У вас там будут скачки, гребные гонки, это прелестно». Но мне уже давно было известно и даже еще задолго до того, как я слушал Берма, что, каков бы ни был предмет моих желаний, он не может достаться мне иначе, как ценой мучительных поисков, в течение которых мне надо будет прежде всего принести мои наслаждения в жертву этому высшему благу, а не искать их в нем.

Бабушка, разумеется, смотрела на отъезд наш несколько иначе и, по-прежнему стремясь вкладывать в подарки, которые я получал, художественный смысл, желала — с целью преподнести мне хотя бы до некоторой степени старинную «гравюру» этого путешествия — проделать со мной, частью по железной дороге, частью же в экипаже, тот самый путь, которым ехала, отправляясь из Парижа в Лориан, через Шон и

Понт-Одемер, г-жа де Севинье. Но бабушка должна была отказаться от этого плана, так как ему воспротивился мой отец, знавший, что если она затевает путешествие с целью извлечь из него всю ту пользу для ума, которую оно способно дать, то можно с уверенностью предсказать опоздания на поезда, потерю багажа, простуды и нарушение правил. Бабушку по крайней мере утешала мысль, что, отправляясь на пляж, мы не встретим помехи в виде нечаянного прибытия, по выражению ее любимой Севинье, «подлецов-гостей»: ведь в Бальбеке у нас не будет знакомых, ибо Легранден так и не предложил нам рекомендательного письма к своей сестре. (Уклончивость, встретившая другую оценку со стороны моих теток Селины и Виктории, которые, еще девушкой зная ту, кого они до сих пор, чтобы подчеркнуть эту прежнюю близость, называли не иначе, как «Рене де Камбремер», и сохраняя еще полученные от нее подарки, украшающие комнаты и упоминаемые в разговоре, но уже не соответствующие новой действительности, думали, что мстят за нанесенное нам оскорбление, когда в гостях у ее матери, г-жи Легранден, совершенно не произносили ее имени, а по выходе от нее поздравляли друг друга такими фразами: «Я не упоминала об

известной тебе особе», «Я думаю, меня *поняли».)*

Итак, нам предстояло попросту уехать из Парижа поездом, отходившим в час двадцать две минуты, который я, притворяясь, будто это мне не известно, издавна любил отыскивать в железнодорожном указателе, где он каждый раз вызывал во мне волнение, почти что полную и блаженную иллюзию отъезда. Так как образ счастья определяется в нашем воображении скорее тождеством желаний, возбуждаемых им в нас, чем точностью наших сведений о нем, то мне казалось, что я знаю его во всех подробностях, и я не сомневался, что в вагоне испытаю специфическое удовольствие, когда к вечеру станет прохладнее, и буду любоваться открывающимся видом при приближении к той или иной станции; мало-помалу этот поезд, каждый раз будя в моем сознании образы одних и тех же городов, окутанных для меня тем вечерним светом, в лучах которого он совершает свой путь, начал мне казаться непохожим на все другие поезда; и наконец, как это часто случается, когда, совершенно не зная человека, мы тешимся мыслью, будто приобрели его дружбу, я наделил своеобразной и неизменной наружностью того белокурого странствующего художника, который будто бы взял меня с собою и с которым я распро-

стился у стен собора в Сен-Ло, перед тем как он направил свой путь к западу.

Так как бабушка не могла решиться просто «взять да поехать» в Бальбек, то она собиралась остановиться на сутки у своей приятельницы, я же должен был в тот же вечер ехать дальше, чтобы не стеснить ее, а также чтобы иметь возможность сразу же в день приезда осмотреть бальбекскую церковь, которая, как мы узнали, находилась довольно далеко от Бальбек-пляжа, так что потом, когда начались бы ванны, мне, пожалуй, не удалось бы в нее попасть. И, пожалуй, мне было менее мучительно сознавать, что чудесная цель моего путешествия будет достигнута до наступления той страшной первой ночи, когда я войду в новое для меня жилище и подчинюсь необходимости жить в нем. Но сначала надо было расстаться с прежним; моей матери удалось в тот же день устроиться в Сен-Клу, и она собиралась или делала вид, что собирается, проводив нас, отправиться туда прямо с вокзала, не заезжая домой, иначе она опасалась, что и я пожелаю вернуться с ней, вместо того чтобы ехать в Бальбек. И даже под тем предлогом, что у нее много дела на даче, которую она наняла, и что времени у нее в обрез, на самом же деле для того, чтоб избавить

меня от тягости этого прощания, она решила не оставаться с нами до самой минуты отхода поезда, когда разлука, прикрытая до тех пор суетней и приготовлениями, еще ни к чему окончательно не обязывающими, внезапно вырастает перед нами, невыносимая и уже неизбежная, целиком сосредоточенная в одном напряженнейшем миге предельно четкого и бессильного прозрения.

В первый раз в жизни я почувствовал, что моя мать может жить без меня, не для меня, другой жизнью, чем я. Ей предстояло теперь остаться с моим отцом, которому, как ей, вероятно, казалось, моя болезненность, моя нервность несколько усложняют и омрачают жизнь. Эта разлука приводила меня в тем большее отчаяние, что она, думал я, являлась, вероятно, для моей матери завершением ряда разочарований, которые я причинял ей, которые она скрывала от меня и после которых убедилась в невозможности для нас совместного летнего отдыха; а может быть, также и первым опытом того нового образа жизни, который ей предстояло вести в будущем, когда постепенно для нее и для отца начнет приближаться старость, образа жизни, при котором я реже буду видеть ее, при котором — а это мне даже в кошмарах никогда не грезилось — она

станет для меня немного чужой: дамой, возвращающейся в одиночестве в свой дом, где меня не будет, и спрашивающей у консьержа, нет ли писем от меня.

Я с трудом мог ответить носильщику, который хотел взять мой чемодан. Моя мать старалась утешить меня способами, самыми действенными на ее взгляд. Она считала бесполезным притворяться, будто не замечает моей печали, она ласково подшучивала над ней:

— Ну а что сказала бы бальбекская церковь, если бы знала, что отправляются смотреть на нее с таким несчастным видом? Разве это тот восторженный путешественник, о котором говорит Рёскин? Впрочем, я узнаю, был ли ты на высоте положения. Даже и вдали от вас я не расстанусь со своим зверенышем. Завтра ты получишь письмо от своей мамы.

— Дочь моя, — сказала бабушка, — ты, совсем как госпожа де Севинье, смотришь на карту и ни на миг не покидаешь нас.

Потом мама пробовала развлечь меня, она спрашивала, что я закажу на обед, хвалила Франсуазу, восхищалась ее шляпой и манто, которые не узнавала, хотя они в свое время и приводили ее в ужас, когда она видела их новыми на моей

двоюродной бабушке, причем над шляпой высилась огромная птица, а манто было расшито отвратительными узорами и черным стеклярусом. Но когда манто вышло из употребления, Франсуаза дала его перелицевать, и наружу оно теперь обернулось гладким сукном красивого цвета. Что касается птицы, то она давно была сломана, и ее убрали. Бывает иногда, что какую-нибудь тонкость, к которой тщетно стремится самый вдумчивый художник, мы с волнением замечаем в народной песне, на фасаде крестьянского дома, где над дверью, как раз на нужном месте, распускается белая или желтая роза, — так и Франсуаза с безошибочным и наивным вкусом украсила шляпу бархатным бантом и шелковой лентой, которые вызвали бы наше восхищение на портрете работы Шардена или Уистлера и благодаря которым шляпа стала очаровательной.

Если подыскивать сравнение более старинное, то скромность и честность — нередко придававшие благородство лицу нашей старой служанки и распространявшиеся и на одежды, которые она, как женщина сдержанная и чуждая всякой низости, умеющая «себя держать» и знающая «свое место», выбрала в дорогу с таким расчетом, чтобы они не компрометировали нас, но вместе с тем

и не привлекали к ней внимания, — уподобляли Франсуазу в ее манто из сукна вишневого цвета, уже полинялого, с мягким меховым воротником, одному из тех изображений Анны Бретонской, работы старинного мастера, в каком-нибудь Часослове, где всё на своем месте, где понимание целого так равномерно сказывается в отдельных частях, что пышное и вышедшее из употребления своеобразие одежды выражает ту же благочестивую степенность, что и глаза, губы и руки.

В отношении Франсуазы нельзя было бы говорить о мыслях. Она не знала ничего, в том полном смысле слова, когда *не знать ничего* — значит не понимать ничего, кроме тех редких истин, которые непосредственно открываются сердцу. Огромный мир мысли для нее не существовал. Но ясность ее взгляда, тонкие очертания носа, губ, все эти особенности, так часто отсутствующие у людей культурных, у которых они означали бы высшее превосходство, благородную независимость незаурядного ума, все это вызывало смущение, точно умный и добрый взгляд собаки, которой все же, как мы знаем, чужды все человеческие понятия, и мог возникнуть вопрос, не встречаются ли среди крестьян, этих меньших братьев, существа, которые являются как бы выс-

шими в мире нищих духом, или, вернее, будучи обречены несправедливой судьбой жить среди нищих духом, лишены света, но все же связаны с существами высшими родством более естественным, более органическим, чем большинство людей образованных, являются словно рассеявшимися, сбившимися с пути, лишенными разума членами одной святой семьи, родней высочайших умов, не вышедшей из детства, и которым — как об этом говорят понятные всякому лучи, исходящие из их глаз, где они, впрочем, ничего не освещают, — недостает только знаний, чтобы обнаружить свой талант.

Моя мать, видя, что я с трудом сдерживаю слезы, говорила мне: «Регул имел обыкновение в важных случаях… и к тому же ведь это нелюбезно по отношению к твоей маме. Обратимся, как твоя бабушка, к госпоже де Севинье: «Я буду вынуждена вооружиться всем тем мужеством, которого нет у тебя»». И, вспомнив, что любовь к другим отвлекает нас от эгоистических страданий, она старалась доставить мне удовольствие, говоря, что ее поездка в Сен-Клу, по всей вероятности, совершится благополучно, что она довольна фиакром, который ее ждет, что кучер вежлив, а экипаж удобен. Я силился улыбнуться, слушая

эти подробности, и кивал головой, словно подтверждая их и выражая свое удовольствие. Но они помогали мне только еще отчетливее представить себе отъезд мамы, и, как будто она уже была разлучена со мной, сердце у меня сжималось при взгляде на нее, стоявшую в этой круглой соломенной шляпе, которую она купила для дачи, в легком платье, которое она надела ради этой долгой поездки по жаре и благодаря которому она становилась другой, уже принадлежала вилле «Монтретум», где я не мог ее увидеть.

Во избежание приступов удушья, которые должно было вызвать у меня путешествие, врач мне посоветовал выпить в момент отъезда побольше пива или коньяку, чтобы вызвать состояние, называемое им «эйфорией», при котором нервная система на время становится менее восприимчивой. Я еще не был уверен, буду ли я это делать, но мне по крайней мере хотелось, чтобы в случае, если я решусь на это, бабушка признала, что право и благоразумие на моей стороне. Вот почему я заговаривал об этом так, как будто я только колебался, где буду пить, — в буфете или вагоне-ресторане. Но сразу же увидел по лицу бабушки, что она этого не одобряет и даже не хочет останавливаться на этой мысли.

«Как! — воскликнул я, внезапно приняв решение идти пить, осуществление которого становилось необходимым для того, чтобы доказать мою независимость, ибо одно словесное проявление ее не смогло не вызвать протеста. — Как! ты знаешь, какой я больной, ты знаешь, что сказал мне доктор, и вот что ты мне советуешь!»

Когда я объяснил бабушке мое недомогание, она с такой добротой, с такой грустью ответила: «Ну, тогда иди скорее, выпей пива или ликеру, если это должно тебе помочь», что я бросился к ней на шею и расцеловал ее. Если я все же отправился в вагон-ресторан и выпил там гораздо больше, чем следовало, то сделал это потому, что мне угрожал, я это чувствовал, слишком сильный приступ, и это огорчило бы ее еще больше. Когда на первой станции я вернулся в наш вагон, я сказал бабушке, что меня очень радует поездка в Бальбек, что я чувствую, что все устроится прекрасно, что, в сущности, я скоро привыкну к жизни вдали от мамы, что этот поезд приятен, что буфетчик и служащие в вагоне-ресторане так очаровательны, что мне хотелось бы почаще совершать этот переезд, лишь бы иметь возможность видеть их. Однако у бабушки все эти приятные известия, по-видимому, не вызвали такой же радости. Она

мне ответила, избегая смотреть на меня:

— Тебе, может быть, следовало бы немного поспать, — и повернулась к окну, на котором мы спустили занавеску, не заполнявшую, однако, всей рамы, так что Солнце могло бросать на полированный дуб двери и сукно скамейки (составляя как бы рекламу жизни среди природы, рекламу гораздо более убедительную, чем те, что заботами железнодорожной компании были слишком высоко повешены в вагоне и изображали местности, названия которых я не мог разобрать) тот же теплый и спокойный свет, что дремал сейчас на лесных полянах.

Но я видел, что бабушка, думая, будто я лежу с закрытыми глазами, по временам бросала на меня взгляд из-под своей вуали с крупными горошинами, потом отворачивалась, потом снова смотрела, как человек, который с усилием старается приучить себя к трудному упражнению.

Тогда я заговорил с ней, но это, по-видимому, ей не было приятно. А мне мой голос все-таки доставлял удовольствие, так же как и самые незаметные, самые затаенные движения моего тела. Зато я и старался их продлить, каждую интонацию старался подольше затянуть; на чем бы я ни остановился взглядом, мне было хорошо,

и взгляд задерживался дольше обычного. «Ну, отдохни, — сказала мне бабушка. — Если ты не можешь спать, почитай что-нибудь». И она протянула мне томик г-жи де Севинье, который я и открыл, меж тем как сама она погружена была в «Воспоминания г-жи де Босержан». Она путешествовала, всегда имея при себе томик той и другой. Это были ее два любимых автора. Так как мне в эту минуту не хотелось поворачивать голову и большое удовольствие доставляла раз принятая поза, то я продолжал держать томик г-жи де Севинье, не открывая его и не опуская на него взгляд, перед которым была только синяя штора на окне. Но созерцать эту штору было восхитительно, и я бы даже не потрудился ответить тому, кто пожелал бы отвлечь меня от моих созерцаний. Казалось, синий цвет шторы, благодаря, может быть, не красоте, но чрезвычайной своей яркости, настолько затмил для меня все цвета, являвшиеся моим глазам со дня моего рождения до той минуты, когда я выпил вина и оно начало оказывать свое действие, что рядом с этой синевой шторы все они были такими же тусклыми, такими же несуществующими, каким может представляться слепорожденным, подвергшимся операции в зрелом возрасте и

увидевшим наконец краски, тот мрак, в котором они жили. Старый кондуктор пришел проверить наши билеты. Серебряный блеск металлических пуговиц на его мундире не мог не очаровать меня. Я хотел попросить его сесть рядом с нами. Но он прошел в другой вагон, и я с завистью стал думать о жизни железнодорожников, которые, проводя все время на путях, наверно, каждый день видят этого старого кондуктора. Удовольствие, которое я испытывал, созерцая синюю штору и чувствуя, что рот у меня полуоткрыт, начало наконец ослабевать. Я сделался более подвижен; я начал немного шевелиться; я раскрыл томик, который мне протянула бабушка, и смог остановить мое внимание на отдельных страницах, выбранных наудачу. Читая, я чувствовал, как все больше восхищаюсь г-жой де Севинье.

Не следует поддаваться впечатлению чисто формальных особенностей, связанных с эпохой и салонной жизнью и позволяющих некоторым думать, что они знают Севинье, если они умеют сказать: «Шлите мне мою служанку», или «В этом графе заметен острый ум», или «Сенокос — что может быть милее». Уже г-жа де Симиан думает, что напоминает свою бабушку, когда пишет: «Сударь, г-н де ла Були в добром здоровье и вполне

сможет выслушать вести о своей смерти», — или: «Ах, дорогой мой маркиз, как мне нравится ваше письмо! Как на него не ответить», — или еще: «Мне кажется, сударь, ваш долг отвечать мне, а мой — посылать вам бергамотные табакерки. Ставлю вам на счет восемь, потом последуют остальные… Земля никогда не рождала такого количества — очевидно, затем, чтобы сделать вам приятное». И она пишет в том же духе письмо о кровопускании, письмо о лимонах и т. д., которые ей представляются письмами г-жи де Севинье. Но бабушка, пришедшая к ним внутренним путем, благодаря любви к своим, к природе, научила меня любить ее подлинные красоты, совершенно иные. Они должны были вскоре тем сильнее поразить меня, что г-жа де Севинье является великой художницей, принадлежащей к той же семье, что и живописец, которого мне предстояло встретить в Бальбеке и который оказал такое глубокое влияние на мою манеру видеть вещи, — Эльстир. В Бальбеке я отдал себе отчет в том, что она показывает нам вещи тем же самым методом, в порядке наших восприятий, не объясняя нам их предварительно путем причинной связи. Но уже и сейчас, в этом вагоне, перечитывая письмо, где появляется лунный свет: «Я не могу

противостоять искушению, надеваю все свои чепцы и шлемы, вовсе не необходимые, выхожу на бульвар, где воздух так же хорош, как в моей комнате, вижу тысячи химер, *белых и черных монахов, несколько серых и белых монахинь, тут и там разбросанное белье, покойников в саванах, прислоненных к самым деревьям,* и т. д.», — я был в восхищении от того, что несколько позднее назвал бы элементами Достоевского в *«Письмах г-жи де Севинье»* (разве не рисует она пейзажи тем же методом, каким он изображает характеры?).

Когда вечером, проводив бабушку и проведя несколько часов у ее приятельницы, я один сел в поезд, наступившая ночь мне по крайней мере не показалась трудною: ведь мне не надо было проводить ее в тюрьме комнаты, дремота которой не давала бы мне уснуть; я был окружен всеми этими деятельно-успокоительными движениями поезда, составлявшими мое общество, готовыми вступить со мной в беседу в том случае, если бы сон не пришел ко мне, баюкавшими меня своими шумами, которые, как звон колоколов в Комбре, сочетались по моему произволу то в один, то в другой ритм (представляя сперва четыре равномерных шестнадцатых, потом одну шестнадцатую, бешено убыстренную к четвер-

ти); они нейтрализовали центробежную силу моей бессонницы, оказывая на нее встречные давления, которые поддерживали меня в равновесии и служили опорой моей неподвижности, а потом и дремоте, давая то же ощущение свежести, какое дал бы мне отдых, достигнутый благодаря бдительности могучих сил природы и жизни, как если бы я на мгновение воплотился в какую-нибудь рыбу, что спит в глубине моря, уносимая во сне течением и волнами, или в орла, распростертого в воздухе и поддерживаемого одной лишь бурей.

Восходы Солнца — такая же принадлежность долгих путешествий по железной дороге, как крутые яйца, иллюстрированные журналы, игра в карты, реки с ворочающимися, но не двигающимися вперед лодками. Анализируя мысли, наполнявшие мое сознание в предыдущие мгновения, с целью дать себе отчет в том, спал ли я или нет (причем самая неуверенность, заставлявшая меня ставить себе этот вопрос, готова была дать мне утвердительный ответ), вдруг я увидел в окно над маленьким черным леском зазубренные облака, мягкий луч которых был окрашен в безжизненный розовый цвет, закрепленный, неизменный, как окраска перьев птичьего крыла, дарованная

ему природой, или тон пастели, положенный по прихоти художника. Но я чувствовал, что этот цвет не косность и не прихоть, а необходимость и жизнь. Вскоре за этим розовым куском стали нагромождаться пласты света. Он сделался ярче, небо окрасилось румянцем, который я, прильнув к стеклу, старался лучше разглядеть, ибо чувствовал его связь с глубинным бытием природы, но в этот миг линия железной дороги изменила направление, поезд сделал поворот; утренний пейзаж в раме окна сменился погруженной в ночь деревней, с крышами, которые светились голубым лунным блеском, с плотом, забрызганным опалом и перламутром ночи, под небом, еще усеянным всеми ее звездами, и я сокрушался, что потерял из виду розовую полосу неба, как вдруг заметил ее вновь, но на этот раз уже красную, в противоположном окне, где она опять исчезла при новом повороте пути; и я только и делал, что перебегал от одного окна к другому, чтобы сблизить, вновь соединить перемежающиеся, противоположные обрывки моего прекрасного, багряного, изменчивого утра и создать полное представление, цельную картину.

Местность сделалась неровной, обрывистой, поезд остановился у маленькой станции, меж-

ду двух гор. В глубине ущелья, на краю потока, видна была только сторожка, стоявшая в воде, которая доходила до ее окон. И если человеческое существо может быть порождением почвы, своеобразную прелесть которой мы в нем чувствуем, то в еще большей степени, чем та крестьянка, о появлении которой я так страстно мечтал, в одиночестве блуждая в направлении Мезеглиза, в Руссенвильских лесах, таким существом должна была явиться высокая девушка, вышедшая из этого дома и с кувшином молока направившаяся к станции по тропинке, освещенной косыми лучами восходящего Солнца. В этом ущелье, отрезанном горами от всего остального мира, она, должно быть, никогда никого не видела, кроме пассажиров в поездах, останавливавшихся здесь на какую-нибудь минуту. Она прошла вдоль вагонов, предлагая кофе с молоком немногим проснувшимся пассажирам. Ее лицо, освещенное красными отблесками утра, было алее неба. Глядя на нее, я опять почувствовал желание жить, которое в нас воскресает всякий раз, как мы снова сознаем красоту и счастье. Мы всегда забываем, что они неповторимы и, подменяя их в своем уме условным представлением, которое возникает в нас в результате созерцания разных понравив-

шихся нам лиц, удовольствий, изведанных нами, мы имеем дело лишь с отвлеченными образами, вялыми и бледными, потому что им как раз недостает оттенка новизны, несходства с тем, что нам знакомо, того оттенка, который присущ красоте и счастью. И мы произносим пессимистический приговор жизни, который кажется нам справедливым, ибо мы думаем, что приняли в расчет счастье и красоту, в то время как мы их устранили и заменили собирательным представлением, в котором от них не осталось ни единого атома. Так заранее зевает от скуки эрудит, которому рассказывают о новой «прекрасной книге», потому что он представляет себе некую смесь из всех прочитанных им прекрасных книг, меж тем как прекрасная книга своеобразна, неожиданна и не является суммой предшествующих шедевров, которые нам еще недостаточно в совершенстве усвоить для того, чтобы обрести ее, ибо она именно вне их пределов. Но стоит ему ознакомиться с этим новым произведением, эрудит, еще так недавно пресыщенный, чувствует интерес к той действительности, которую она рисует. Так, непохожая на идеалы красоты, которые рисовало мое воображение, когда я был один, красивая девушка сразу же вызвала во мне ощущение

счастья (единственная форма, всегда своеобразная, в которой мы только и можем познать это счастье), счастья, которое осуществилось бы, если б жить подле нее. Но здесь в значительной мере играло роль и внезапное нарушение Привычки. Всем моим существом, готовым изведать жгучие наслаждения, ощущал я эту девушку, продававшую молоко. Ведь мы обычно живем лишь малой частью нашего существа, большая часть наших свойств дремлет, полагаясь на Привычку, которая знает, что делать, и не нуждается в них. Но этим утром, в пути, нарушение рутины моей жизни, перемена места и необычность часа сделали необходимым их участие. Привычка, связанная с неподвижной жизнью и чуждая раннему вставанию, изменила мне, и все мои способности поспешили ей на смену, соревнуясь в усердии друг с другом, подымаясь разом, как волны, на непривычно высокий уровень — от самой низкой до самой возвышенной, начиная дыханием, аппетитом и кровообращением и кончая чувствительностью и фантазией. Не знаю, быть может, дикая прелесть этих мест дополняла очарование этой девушки, внушая мысль, что она не похожа на других женщин, но и она, в свою очередь, усиливала впечатление этой прелести.

Жизнь показалась бы мне восхитительной, если б только я мог часы за часами проводить подле нее, сопровождать ее на берег потока, в коровник, на станцию, всегда быть с нею, чувствовать, что она знает меня, что я занимаю место в ее мыслях. Она посвятила бы меня в прелести деревенской жизни и ранних утренних часов. Я сделал ей знак, чтоб она дала мне кофе с молоком. Я нуждался в том, чтобы она обратила на меня внимание. Она меня не видела, я подозвал ее. Лицо этой девушки, высокой ростом, было так золотисто и так румяно, как если бы я глядел на нее сквозь цветные стекла. Она вернулась назад, я не мог оторвать глаз от ее лица, становившегося все более и более широким, точно солнце, в которое можно было бы вперить взор и которое совсем приблизилось бы к вам, позволяя глядеть на себя вблизи, ослепляя вас золотом и багрянцем. Она остановила на мне зоркий взгляд, но кондуктора уже захлопывали дверцы вагонов, поезд тронулся; я видел, как она вышла со станции и пошла той же тропинкой, было уже совсем светло: я удалялся от зари. Была ли эта девушка причиной моего возбуждения или, напротив, само оно в значительной мере явилось причиной того удовольствия, которое я чувствовал, находясь

вблизи нее, во всяком случае одно было так тесно связано с другим, что мое желание увидеть ее вновь было прежде всего духовной потребностью — потребностью не дать окончательно заглохнуть этому состоянию возбуждения, не навсегда расстаться с существом, которое, даже само того не зная, было с ним связано. Это состояние было не только приятно. Главное, оно (подобно тому как более сильное напряжение струны или более быстрая вибрация нерва обусловливает другое качество звука или другой цвет) придавало иную тональность всему, что я видел, оно вводило меня в качестве действующего лица в неведомый и несравненно более интересный мир; эта красивая девушка, которую я все еще видел, хотя поезд ускорял свой ход, была словно частица иной жизни, не той, которую я знал, отделенной от нее каймой, — жизни, где ощущения, вызываемые предметами, были уже иные и разлука с которой была бы для меня теперь то же, что смерть. Чтобы иметь отраду чувствовать по крайней мере свою связь с этой жизнью, мне достаточно было бы жить не слишком далеко от этой станции и приходить каждое утро брать кофе с молоком у этой крестьянки. Но увы! она будет отсутствовать в той другой жизни, к которой

я направлялся все быстрее и быстрее и с которой мог примириться не иначе, как измышляя планы, которые когда-нибудь позволили бы мне поехать этим же поездом и остановиться на этой же станции, — замысел, имевший то преимущество, что он давал пищу тому своекорыстному, деятельному, практическому, машинальному, ленивому, центробежному расположению, в каком находится наш ум, ибо он охотно избегает усилия, необходимого для того, чтобы углубить в себе и бескорыстно обобщить отрадное впечатление, испытанное нами. А так как, с другой стороны, нам хочется все еще думать о нем, то ум наш охотнее представляет его себе в будущем, искусно подготовляя обстоятельства, которые могут воссоздать его, благодаря чему, хоть это нисколько не помогает нам понять его сущность, мы избавлены от труда, с которым нам пришлось бы воспроизводить его в самих себе, и можем надеяться вновь получить его извне.

Названия некоторых городов, как *Везле* или *Шартр*, *Бурж* или *Бове*, служат сокращенным наименованием их главной церкви. Это неполное значение, в котором мы так часто принимаем их, в конце концов — если дело идет о местах, нам еще незнакомых, — высекает все имя цели-

ком, так что, когда мы захотим вложить в него представление о городе — городе, никогда не виданном, — оно придаст ему — словно литейная форма — ту же чеканку и тот же стиль, превратит его в своеобразный большой собор. Однако имя *Бальбек,* почти персидское по стилю, я прочел на железнодорожной станции — белую надпись на синем сигнальном аппарате над буфетом. Я быстро прошел через вокзал, пересек прилегающий к нему бульвар и спросил, как выйти на пляж, торопясь увидеть только церковь и море; но никто как будто не понимал, о чем я спрашиваю. В старом Бальбеке, в Бальбеке-городе, где я находился, не было ни пляжа, ни порта. Правда, согласно легенде, именно в море нашли рыбаки чудотворное изображение Христа, о чем повествовал один из витражей этой церкви, отделенной от меня теперь расстоянием в несколько метров и камни, из которых была построена эта церковь и ее башни, были ведь обломками прибрежных скал, разбитых прибоем. Но море, которое по этой причине бушевало в моем воображении под самыми окнами церкви, находилось за пять с лишним лье, в Бальбек-пляже, а эта высившаяся рядом с куполом колокольня, на которую обрушивались вихри, вокруг которой носились

птицы, на фундаменте которой, как я всегда представлял себе, осаждалась пена беспокойных волн, — эта колокольня стояла среди площади, где разветвлялись два трамвайных пути, где напротив было кафе с надписью золотыми буквами: «Бильярд»; она выделялась на фоне домов, над крышами которых не было видно ни одной мачты. И церковь — проникая в мое сознание вместе с кафе, вместе с прохожим, у которого надо было спросить дорогу, вместе с вокзалом, куда я должен был вернуться, — составляла одно целое со своим окружением, казалась случайностью, порождением предвечерней поры, в блеске которой эта бархатистая округлая чаша выделялась на небе, словно плод, розовый, золотистый и сочный, зревший под теми же лучами, что омывали трубы окрестных домов. Но я уже думал только о вечном смысле скульптуры, когда узнал статуи апостолов, копии которых видел в музее Трокадеро и которые, став по обе стороны Богоматери в углублении паперти, словно приветствуя, ожидали меня. Добродушные, курносые, кроткие, со сгорбленными спинами, они как будто гостеприимно выступали вперед, воспевая хвалу красоте дня. Но вы замечали, что выражение лица у них застыло, как у покойника, и меняется

лишь тогда, когда вы обходили их кругом. Я говорил себе: это здесь, это бальбекская церковь. Эта площадь, у которой такой вид, будто ей понятна ее слава, — единственное место в мире, обладающее бальбекскою церковью. То, что я видел до сих пор, были фотографии этой церкви, и эта Богоматерь на паперти, эти статуи апостолов, такие знаменитые, были мне знакомы только по слепкам. Теперь же передо мной — сама церковь, сама статуя, это они; они, единственные, а это гораздо больше.

Это было, пожалуй, и меньше. Подобно тому как юноше в день экзамена или дуэли безделицей кажется заданный ему вопрос или сделанный им выстрел в сравнении с теми запасами знания и мужества, которыми он обладает и которые хотел бы доказать, так и мой ум, представлявший себе эту «Богоматерь на паперти» — вне связи с теми снимками, которые были у меня, не подверженной превратностям, которые могли им грозить, не задеваемой их разрушением, — идеалом, обладающим универсальной ценностью, испытывал удивление при виде этой уже тысячекратно изваянной им статуи, которая низведена была теперь к своему каменному облику, находилась от меня на таком же расстоянии, как избирательное объ-

явление и кончик моей трости, была прикована к площади, неотделима от начинавшейся здесь главной улицы, не могла уйти от взоров кафе и конторы омнибусов, должна была делить с учетно-ссудной конторой банка лучи закатного Солнца, падавшие на ее лицо, — а несколько позднее свет фонаря, — так же как это отделение кредитного общества, должна была вдыхать кухонный чад, шедший из лавки пирожника, была до такой степени подвластна деспотизму случайного прохожего, что если бы я захотел начертать на этом камне мою подпись, то она, прославленная Богоматерь, которую я до сих пор наделял абсолютным бытием и неосязаемой красотой, Богоматерь Бальбека, не знающая себе равных (а значит, увы, и единственная), должна была бы нести на своем теле, запачканном тою же сажею, что и соседние дома, следы мела и буквы моего имени, не в силах освободиться от них и выставляя их напоказ всем почитателям, приехавшим смотреть на нее, и она же, наконец, бессмертное и так давно желанное произведение искусства, на моих глазах претерпевала такую же метаморфозу, как и церковь, превратившись в маленькую каменную старушку, высоту которой я мог измерить, а морщины — сосчитать. Время

шло, пора было возвращаться на вокзал, где я должен был ждать бабушку и Франсуазу, чтобы ехать вместе с ними в Бальбек-пляж. Я вспомнил то, что читал про Бальбек, вспомнил слова Свана: «Очаровательно, это так же прекрасно, как Сиена». И, виня в моем разочаровании только случайности, дурное расположение, в котором я находился, мою усталость, мое неумение видеть вещи, я пытался утешить себя мыслью, что остаются другие, нетронутые для меня города, что вскоре мне, быть может, удастся проникнуть, словно сквозь жемчужный дождь, в Кемперле, полный щебечущей свежести падающих капель, окунуться в зеленовато-розовые отблески, заливающие Пон-Авен; но что до Бальбека, то, как только я вступил в него, произошло то же самое, как если бы я приоткрыл имя, которое надо было держать герметически закрытым и куда, пользуясь тем, что я неосторожно дал им доступ, изгнав оттуда все образы, жившие там до сих пор, ворвались: вагон трамвая, кафе, люди, проходившие по площади, отделение учетного банка, непреодолимо вталкиваемые давлением извне и пневматической силой; они внедрились в самые слоги этого имени, которые, вновь сомкнувшись над ними, позволяли им теперь

обрамлять паперть персидской церкви и уже не могли бы отрешиться от них.

В поезде местного сообщения, который должен был доставить нас в Бальбек-пляж, я нашел бабушку, но нашел ее одну, так как она вздумала послать вперед, чтобы всё было заранее готово (но, дав неверное указание, направила в противоположную сторону), Франсуазу, которая в эту минуту, ничего не подозревая, мчалась на всех парах к Нанту и, пожалуй, должна была проснуться в Бордо. Едва я уселся в вагоне, который был наполнен мимолетным светом заката и устойчивым послеполуденным зноем (причем этот свет, ярко освещая лицо бабушки, увы, позволял мне видеть, как утомил ее зной), она спросила меня: «Ну что же, как Бальбек?» — с улыбкой, озаренной таким жгучим ожиданием удовольствия, которое, как она надеялась, я испытал, что я не решился сразу же признаться ей в моем разочаровании. Впрочем, впечатление, которого домогался мой ум, занимало меня все меньше и меньше по мере того, как мы приближались к месту, к которому предстояло привыкнуть моему телу. Ожидая конца этого путешествия, которое должно было длиться еще больше часа, я старался представить себе управляющего бальбекской

гостиницей, для которого я в эту минуту еще не существовал, и мне хотелось бы предстать перед ним в обществе более эффектном, чем общество моей бабушки, которая, наверно, станет с ним торговаться. Он представлялся мне существом несомненно спесивым, но представлялся очень смутно.

Вагончики поездов то и дело останавливались у какой-нибудь станции из числа тех, что предшествовали Бальбек-пляжу, и самые названия которых (Энкарвиль, Маркувиль, Довиль, Понт-а-Кулевр, Арамбувиль, Сен-Мар-ле-Вье, Эрмонвиль, Менвиль) казались мне чуждыми, тогда как если бы я прочел их в книге, в них оказалось бы известное сходство с названиями некоторых местностей поблизости от Комбре. Но для слуха музыканта два мотива, представляющие в материальном звучании целый ряд одинаковых нот, могут казаться совершенно непохожими, если по-разному окрашена их гармония и оркестровка. Точно так же эти грустные имена, полные песка, соли, пространства, слишком легкого и пустынного, над которыми слог «виль» взлетал, как слово «летает» в игре «ворона летает», менее всего напоминали мне имена Руссенвиль или Мартенвиль; моя двоюродная бабушка так часто

произносила их при мне за столом в «зале», что они приобрели особую мрачную прелесть, сочетавшую в себе вкус варенья, запах горящих дров и бумаги какой-нибудь книги Бергота, цвет стены соседнего дома, выстроенного из песчаника, и даже и теперь они сохраняют свою особую силу, подымаясь, как пузырьки воздуха, из глубин моей памяти и пробиваясь на поверхность ее сквозь напластования разных периодов жизни.

То были маленькие станции, высившиеся над морем на прибрежных дюнах или приспособлявшиеся уже к наступающей ночи у подножия ярко-зеленых холмов неприветливой формы, которая напоминала диван в комнате гостиницы, куда вы только что приехали; они были составлены из нескольких вилл, за которыми виднелись площадки для тенниса, а кое-где и казино с флагом, треплющимся под крепнущим, порывистым и тоскливым ветром; эти маленькие станции впервые показывали мне своих обычных обитателей, но показывали мне их извне — теннисистов в белых фуражках, начальника станции, живущего там же, вблизи своих тамарисков и роз, даму в канотье, которая, следуя каждодневному распорядку своей жизни, навеки скрытой от меня, кликала свою борзую, отстав-

шую от нее, и возвращалась в свой домик, где уже была зажжена лампа, — образы, болезненно поражавшие своей непривычной обыденностью и пренебрежительной простотой мои неискушенные глаза и мое выбитое из колеи сердце. Но как усилились мои страдания, когда мы вошли в вестибюль бальбекского Гранд-отеля, очутившись у подножия величественной лестницы поддельного мрамора, и когда бабушка, не заботясь о том, что она может усугубить враждебность и презрение чужих людей, среди которых нам предстояло жить, стала спорить об «условиях» с управляющим, толстым увальнем в щегольском смокинге, с лицом и голосом, испещренным шрамами (на лице — от выдавливания многочисленных прыщей, а в речи — от многообразия произношений, которым он был обязан отдаленности места своего рождения и космополитическому детству); он окидывал прибывающие омнибусы взором психолога, принимая обыкновенно людей знатных за мелкоту, а отельных воров — за людей знатных. По-видимому, забыв о том, что сам он не получает пятисот франков месячного жалованья, он глубоко презирал людей, для которых пятьсот франков — или, вернее, как он говорил, «двадцать пять луидоров» — составляют

«сумму», и смотрел на них как на париев, для которых вовсе не предназначался Гранд-отель. Правда, что и в этом отеле жили люди, платившие не слишком дорого и все же пользовавшиеся уважением управляющего, при условии, если он был уверен, что расходов они избегают не по бедности, но по скупости. В самом деле, скупость ничуть не может повредить престижу, ибо она — порок, а следовательно, может встретиться у людей, занимающих любое положение в обществе. Единственное, на что управляющий обращал внимание, было положение в обществе — положение в обществе или, вернее, признаки, указывавшие, по его мнению, на возвышенность этого положения, как, например, способность не снимать шляпу при входе в вестибюль, носить широкие штаны до колен, пальто в талию и вынимать из тисненого сафьянового портсигара сигару с пурпурно-золотым пояском (преимущества, которыми я, увы, не обладал). Он испещрял свои коммерческие разговоры изысканными, но обессмысленными выражениями.

В то время как бабушка, не оскорбляясь тем, что он слушал ее, не снимая шляпы и насвистывая, спрашивала его деланным тоном: «А какие у вас… цены? О, слишком высокие для моего скромного

бюджета», — я, сидя в ожидании на скамейке, пытался уйти в себя как можно глубже, спрятаться в мысли о вечном, не оставив ни одной живой частицы своего существа на поверхности тела — приведенного в состояние бесчувственности, как это бывает с животными, которые, будучи ранены, инстинктивно представляются мертвыми, — чтобы меньше мучиться в этом новом месте, непривычность которого была для меня тем чувствительнее, чем привычнее, по-видимому, чувствовали себя здесь элегантная дама, которой управляющий выражал свое уважение, заигрывая с ее собачкой, молодой фат с пером на шляпе, возвращавшийся в отель и спрашивавший, не было ли писем, — все эти люди, для которых подняться по этим ступенькам поддельного мрамора значило: вернуться к себе домой. И в то же время взглядом Миноса, Эака и Радаманта (взглядом, в который моя опустошенная душа погрузилась, как в некий неведомый мир, где ничто ее уже не защищало) строго окинули меня господа, которые, по-видимому, будучи мало знакомы с искусством «принимать», носили звание «заведующих приемом»; несколько далее, за непроницаемой стеклянной стеной, люди сидели в читальне, для описания которой

я должен был бы искать красок у Данте, то в его «Рае», то в его «Аде», в зависимости от того, думал ли я о блаженстве избранных, имевших право безмятежно заниматься там чтением, или о том ужасе, в который повергла бы меня бабушка, если бы, равнодушная к подобным впечатлениям, она велела мне проникнуть туда.

Чувство одиночества минуту спустя еще более усилилось во мне. Когда я признался бабушке, что мне нехорошо и что, как мне кажется, нам придется вернуться в Париж, она, ничего не возразив, сказала, что выйдет сделать кой-какие покупки, нужные и в том случае, если мы уедем, и в том случае, если останемся (и которые, как я узнал впоследствии, все предназначались для меня, так как с Франсуазой были вещи, без которых я не мог обойтись); в ожидании я пошел прогуляться по улицам, полным народа, который поддерживал на них комнатную температуру, и где еще были открыты парикмахерская и кондитерская, посетители которой ели мороженое перед статуей Дюге-Труэна. Она доставила мне примерно такое же удовольствие, какое снимок ее в иллюстрированном журнале может доставить больному, ожидающему в приемной у хирурга. Я удивлялся тому, что есть люди, на-

столько непохожие на меня, что управляющий мог посоветовать мне в виде развлечения эту прогулку по городу, и что место пытки, каким является новое местопребывание, могло казаться некоторым людям «местом восхитительным», как гласил проспект гостиницы, в котором могли быть и преувеличения, но который все же обращался к целому кругу клиентов и льстил их вкусам. Правда, что, стараясь привлечь их в бальбекский Гранд-отель, он приводил в качестве доводов не только «превосходную кухню» и «феерическое зрелище, представляемое садами казино», но и «законы ее величества моды, которые нельзя безнаказанно преступать, иначе можно прослыть человеком, лишенным вкуса, чему никто из благовоспитанных людей не пожелал бы себя подвергнуть». Потребность увидеть бабушку возросла во мне и оттого, что, как я опасался, я причинил ей разочарование. Она должна была впасть в уныние, прийти к мысли, что если я не выношу этой усталости, то нельзя надеяться, чтобы какое бы то ни было путешествие могло принести мне пользу. Я решил вернуться и ждать ее; сам управляющий нажал кнопку, и личность, еще не знакомая мне, называвшаяся «лифтер» (и помещавшаяся, подобно фотографу

в его застекленном ателье или органисту в его будочке, под самой крышей отеля, на такой высоте, где мог бы прийтись фонарь нормандской церкви), стала спускаться ко мне с проворством прирученной белки-хлопотуньи, заключенной в клетку. Потом, вновь начав скользить вдоль столба, личность эта увлекла меня с собою вверх, к куполу коммерческого храма. В каждом этаже, по обеим сторонам внутренней лестницы, веером раскрывались сумрачные галереи, по которым проходила горничная с подушкой. На ее лицо, смутно вырисовывавшееся в сумраке, я надевал маску моих самых жгучих снов, но в ее взгляде, обращенном ко мне, я читал лишь отвращение к моему ничтожеству. Между тем, чтобы рассеять смертельную тоску, которую я испытывал во время этого бесконечного подъема, прорезывая в тишине таинственный, но лишенный поэзии полумрак, освещаемый только вертикальным рядом цветных окошек уборных каждого этажа, я заговорил с юным органистом, виновником моего путешествия и товарищем моего плена, продолжавшим орудовать регистрами своего инструмента и приводить в действие трубы. Я попросил извинения, что занимаю столько места, причиняю ему столько труда, и спросил его, не

мешаю ли я ему в его занятиях этим искусством, к которому, чтобы польстить виртуозу, я не только выказал любопытство, но даже признался в особом пристрастии. Но он ничего не ответил — потому ли, что его удивили мои слова, или потому, что он был поглощен своим делом, заботился о соблюдении этикета, плохо слышал, чтил место своей работы, опасался несчастного случая, был умственно вял или исполнял предписание управляющего.

Ничто, быть может, не дает в такой степени впечатления реальности внешнего мира, как перемена положения по отношению к нам другого, хотя бы и незначительного, лица до и после нашего знакомства с ним. Я продолжал быть тем же человеком, который к вечеру сел в маленький вагон бальбекского поезда, во мне была та же душа. Но в этой душе, в том месте, которое в шесть часов, вместе с невозможностью представить себе управляющего, отель, прислугу, заполнялось неясным и боязливым ожиданием минуты приезда, находились теперь выдавленные прыщи на лице космополитического управляющего (на самом деле уроженца Монако, принявшего французское подданство, хотя — как он говорил, ибо всегда пользовался выражениями, казавшимися

ему изысканными, и не замечал их неправильности — он «произошел от Румынии»), его жест, которым он вызывал лифтера, сам лифтер, целый ряд марионеток, появившихся из этого ящика Пандоры, которым был Гранд-отель, непреложных, неизменных и как всё то, что уже осуществилось, мертвящих. Но по крайней мере эта перемена, в которой я участия не принимал, доказывала мне, что произошло нечто помимо меня — как бы незначительно само по себе ни было это происшествие — и я был словно путешественник, который, заметив, что Солнце, светившее ему в глаза в начале его пути, находится позади него, заключает, что время не стояло на месте. Я был разбит усталостью, меня лихорадило; я бы лег, но у меня не было ни одной из вещей, которые для этого нужны. Мне хотелось бы по крайней мере прилечь на минуту на постель, но к чему бы это было, если я всё равно не нашел бы покоя для той совокупности ощущений, которую всегда представляет собой наше если не материальное, то сознающее себя тело, и если те незнакомые вещи, которые окружали его, заставляя его восприятия всё время быть настороже, стали бы держать мое зрение, мой слух, все мои органы чувств в положении столь же стесненном и неудобном

(даже если бы я вытянул ноги), как положение кардинала Ла Балю в его клетке, где он не мог ни стать, ни сесть. Наше внимание наполняет комнату вещами, а привычка освобождает ее от них и расчищает для нас место. Места не было для меня в моей бальбекской комнате (только по названию моей), она полна была предметов, не знакомых со мною, ответивших мне таким же недоверчивым взглядом, какой и я бросил им, и вовсе не пожелавших принять в расчет мое существование, заявлявших, что я нарушаю их жизненный уклад. Часы — а ведь дома я слышал их тиканье лишь в течение нескольких секунд в неделю, только тогда, когда выходил из глубокой задумчивости, — продолжали, ни на мгновение не умолкая, говорить что-то на незнакомом мне языке, по-видимому что-то неприятное для меня, так как длинные фиолетовые занавеси слушали их, ничего не отвечая, но с видом человека, пожимающего плечами и показывающего этим, что его раздражает присутствие третьего лица. Этой комнате, такой высокой, они придавали квази-исторический характер, благодаря которому она могла бы оказаться подходящим местом для убийства герцога де Гиза, а в более поздние времена — для экскурсии туристов, руководи-

мых гидом агентства Кука, но отнюдь не для моего сна. Меня мучили своим присутствием книжные шкапики со стеклянными дверцами, тянувшиеся вдоль стен, но особенно — большое зеркало на ножках, которое стояло поперек комнаты и без удаления которого, я это чувствовал, мне будет невозможно передохнуть. Я то и дело возводил кверху мой взгляд — которому вещи в моей парижской комнате причиняли не большее неудобство, чем собственные мои зрачки, ибо они были только продолжением моих органов, добавлением к моему телу, — возводил его к слишком приподнятому потолку этой вышки, выбранной для меня бабушкой и помещавшейся под самой крышей отеля; и, проникая в самую глубь, более сокровенную, чем те сферы, куда проникает зрение и слух, в ту сферу, где мы ощущаем качества запахов, чуть ли не внутрь моего «я», вторгался запах ветиверии и выбивал меня с последних позиций, а я тщетно и не без усилий старался отразить его, все время тревожно принюхиваясь. Лишенный теперь и вселенной, и комнаты, и тела, которому угрожали обступившие меня враги, до мозга костей охваченный лихорадкой, я был один, мне хотелось умереть. И вот тогда вошла бабушка, и перед моим загнанным сердцем тот-

час же открылись бесконечные просторы.

На ней был перкалевый капот, который дома она надевала каждый раз, когда кто-нибудь из нас заболевал (потому что в нем ей было удобнее, как она говорила, всегда эгоистическими побуждениями объясняя то, что делала); он заменял ей передник служанки и сиделки, рясу монахини, когда она ухаживала за нами, дежурила у наших постелей. Но если заботы сиделки или сестры милосердия, их доброта, достоинства, которые мы признаём в них, и благодарность, которую мы к ним чувствуем, только обостряют в нас сознание того, что для них мы — посторонние, усиливают чувство нашего одиночества, необходимости самим нести бремя наших мыслей, нашей жажды жизни, то я знал, что, когда я с бабушкой, какое бы огромное горе ни было у меня, оно встретит в ней жалость еще более беспредельную; что всё, чем я был полон, мои заботы, мои желания найдут поддержку в ее стремлении сохранить и укрепить мою жизнь, стремлении более сильном, чем то, которое я испытывал сам; и мысли мои продолжались в ней, не отклоняясь в сторону, потому что, переходя из моего сознания в ее сознание, они не меняли среды, личность оставалась той же. И — словно человек, который,

завязывая галстук перед зеркалом, не понимает, что конец, отражение которого он видит, не тот, к которому он протягивает руку, или словно собака, которая ловит на земле пляшущую тень насекомого, — обманутый видимостью тела, как всегда случается в этом мире, где мы не можем прямо заглядывать в души, я бросился в объятия бабушки и приник губами к ее лицу, как если бы это был путь к ее огромному сердцу, которое она мне открывала. И вот, прильнув ртом к ее лбу, к ее щекам, я черпал в них нечто целебное, живительное и застывал в неподвижности, серьезный и жадный, как ребенок, сосущий грудь.

Потом я долго, не отрываясь, глядел на ее широкое лицо, подобное облаку, пламенеющему и спокойному, за которым чувствовалось лучистое сияние нежности. И всё, что хотя бы в самой слабой степени передавало частицу ее чувства, всё, что еще могло быть таким образом названо ее принадлежностью, сразу же так одухотворялось, так освящалось, что ее прекрасные, едва седеющие волосы я гладил ладонями с таким же благоговением, с такой же осторожностью и мягкостью, как если бы я ласкал ее доброту. Она такое наслаждение находила во всяком усилии, которое могло облегчить мое состояние, и нечто

столь сладостное было для нее в минуте неподвижности и спокойствия, выпавшей для моего усталого тела, что, когда я, увидев ее намерение помочь мне разуться и лечь в постель, сделал жест, чтобы помешать ей в этом, и уже собрался раздеваться сам, она с мольбой во взгляде остановила мои руки, притрагивавшиеся к пуговицам моей куртки и моих ботинок.

— О, прошу тебя! — сказала она. — Это такая радость для твоей бабушки. И главное, не забудь постучать в стену, если тебе что-нибудь понадобится ночью; моя постель стоит тут же, стенка тонкая. Сейчас же, как ляжешь, сделай это, мы посмотрим, хорошо ли мы друг друга понимаем.

И действительно, я в тот вечер постучал ей три раза — и затем, неделю спустя, когда я заболел, снова проделывал это в течение нескольких дней каждое утро, так как бабушке хотелось пораньше принести мне молоко. И вот, когда мне начинало казаться, что она проснулась, я решался — чтобы не заставлять ее ждать и чтобы она сразу же затем могла снова уснуть — стукнуть три раза, робко, тихо и все-таки отчетливо, потому что, опасаясь прервать ее сон в том случае, если бы я ошибся и она спала, я не хотел в то же время заставлять ее понапрасну прислушиваться к зову, которого она

не расслышала бы сразу и который я не решился бы возобновить. И едва я успевал стукнуть три раза, я уже слышал другой троекратный стук, отличавшийся по интонации, полный спокойной твердости, повторявшийся еще дважды ради большей ясности и говоривший: «Не волнуйся, я слышала, сейчас приду»; и вскоре бабушка приходила. Я рассказывал ей, что боялся, что она меня не услышала или подумала, будто это стучит какой-нибудь сосед; она смеялась:

— Спутать стуки моего бедняжки с чьими-нибудь другими, — да ведь среди тысячи других бабушка их узнает! Ты думаешь, что на свете могут быть другие такие же глупые, такие же лихорадочные, такие же испуганные — страшно и разбудить, и страшно, что я не пойму. Но даже если б мой мышонок только поскребся, все-таки его сразу же можно было бы узнать, тем более что ведь он — единственный такой, и его так жалко. Я уже слышала, как он не решается, ворочается в постели, что-то там затевает.

Она приподымала жалюзи; за выступом постройки нашего отеля солнце уже успевало взобраться на крыши, словно кровельщик, рано утром принимающийся за свою работу и делающий ее в тишине, чтобы не разбудить еще

спящий город, неподвижность которого ярче оттеняет его проворство. Она говорила мне, который час, какая сегодня будет погода, что мне не стоит подходить к окну, что над морем туман, открыта ли булочная, какой это экипаж проехал по улице, — все эти незначительные детали, сопутствующие поднятию занавесей, этот скромный *introitus*[31]дня, при котором никто не присутствует, кусочек жизни, принадлежащий только нам двоим, который я рад буду вспомнить в течение дня в разговоре с Франсуазой или с кем-нибудь посторонним, рассказывая о тумане, стоявшем в шесть часов, таком густом, что хоть ножом режь, гордясь не своей осведомленностью, а знаком внимания, оказанного только мне одному; сладостный утренний миг, начинавшийся, точно симфония, диалогом, ритм которого отбивали мои три стука, получавшие в ответ от стены, преисполненной нежности, радости, гармонии, ставшей чем-то бесплотным, запевшей, словно ангелы, тремя другими стуками, страстно ожидаемыми, повторяемыми еще два раза, — стуками, в которые во всей своей полноте проникала душа моей бабушки и которые несли

[31] Примечания: 31

вход, введение; молитва, с которой начинается католическая месса *(лат).*

мне обещание ее прихода, радостные, как Благая весть, и музыкально точные. Но в эту первую ночь по приезде, когда бабушка оставила меня одного, я снова начал страдать, как страдал уже в Париже перед отъездом. Быть может, ужас, который я испытывал, — который испытывает столько других, — проводя ночь в незнакомой комнате, быть может, этот ужас — не что иное, как самое слабое, смутное, органическое, почти бессознательное проявление отчаянного протеста со стороны всего лучшего, что есть в нашей теперешней жизни, против нашей готовности примириться с перспективой будущего, в котором оно — это лучшее — не участвует; протеста, лежащего в основе того трепета, в который так часто повергала меня мысль, что мои родители когда-нибудь умрут, что обстоятельства заставят меня жить вдали от Жильберты или просто поселиться навсегда в стране, где я больше не увижу моих друзей; протеста, лежавшего также и в основе моей неохоты думать о собственной смерти или о жизни вроде той, какую Бергот обещал людям в своих книгах, куда я не мог бы унести мои воспоминания, мои недостатки, мой характер, не мирившиеся с мыслью, что они прекратят свое существование, и не желавшие

для меня ни уничтожения, ни вечности, где их больше не будет.

Когда однажды в Париже я чувствовал себя исключительно плохо и Сван мне сказал: «Вам надо было бы уехать на чудесные острова Океании, вы увидите, что никогда не вернетесь оттуда», — мне хотелось ему ответить: «Но тогда я больше не увижу вашей дочери, я буду жить среди вещей и людей, которых она никогда не видела». И все же мой рассудок говорил мне: «Что тебе в том, раз это не будет тебя огорчать? Если г-н Сван говорит тебе, что ты не вернешься, он тем самым имеет в виду, что ты и не захочешь вернуться, а если ты не захочешь, то это значит, что там ты будешь счастлив». Ибо мой рассудок знал, что привычка — привычка, которая теперь предпримет попытку заставить меня полюбить это незнакомое мне жилище, передвинет зеркало, переменит оттенок занавесей, остановит часы, — берет на себя и заботу о том, чтобы сделать дорогими для нас сожителей, вначале нам не понравившихся, придать другую форму их лицам, сделать симпатичным звук их голоса, изменить склонность сердец. Конечно, эти новые привязанности к новым местам и людям возникают на основе забвения старых; но мой рассудок именно пола-

гал, что я без страха смогу смотреть в лицо той жизни, где я навеки буду разлучен с людьми, память о которых утрачу, и, словно утешая, он нес моему сердцу обещание забвения, которое, напротив, только усиливало его отчаяние. Не то чтобы наше сердце, когда разлука уже совершилась, само не испытывало болеутоляющих влияний привычки; но до тех пор оно продолжает страдать. И боязнь будущего, в котором мы будем лишены возможности видеть любимых нами людей и беседовать с ними, что составляет сейчас нашу величайшую радость, — эта боязнь отнюдь не рассеивается, а возрастает, когда мы начинаем думать, что к боли, вызванной этим лишением, присоединится еще и то, что сейчас кажется нам еще более мучительным: неспособность ощутить ее как боль, равнодушие к ней, ибо тогда изменится и наше «я», мы не будем чувствовать не только обаяния наших родителей, нашей любовницы, наших друзей, но и нашей привязанности к ним; она так основательно будет вырвана из нашего сердца, в котором занимает сейчас столь видное место, что мы сможем находить удовольствие в этой жизни розно с ними, одна мысль о которой в настоящее время приводит нас в ужас; итак, это будет подлинной

смертью нашей личности, смертью, за которой, правда, последует воскресение, но уже в другом «я», до любви к которому не могут возвыситься элементы прежнего «я», обреченные на смерть. Это они — даже самые хилые среди них, вроде, например, смутной привязанности к размерам комнаты, к ее воздуху, — приходят в смятение и протестуют, поднимая восстания, в которых следует видеть затаенную, частичную, осязаемую и подлинную форму сопротивления смерти, долгого, отчаянного и каждодневного сопротивления той частичной и постепенной смерти, которая непрерывно вторгается в нашу жизнь, каждое мгновение отрывая от нас клочья нашей личности, после отмирания которых размножаются новые клетки. И в таком нервном существе, каким был я, в существе, чьи нервы-посредники плохо исполняют свои функции — не останавливают на пути к сознанию жалобу обреченных на гибель ничтожнейших элементов нашего «я», а, напротив, открывают ей туда доступ во всей ее отчетливости, полноте, неизмеримости и болезненности, — томительная тревога, возникавшая во мне под этим незнакомым и слишком высоким потолком, была лишь выражением протеста со стороны не умершей во мне привязанности

к привычному и низкому потолку. Конечно, эта привязанность должна будет исчезнуть, уступив место другой (тогда смерть, а затем новая жизнь, под именем Привычки, выполнят свою двойную работу); но пока не наступит это уничтожение, ей каждый вечер предстоит страдать, особенно же в этот первый вечер, когда она поставлена лицом к лицу с будущим, уже осуществившимся, где для нее не оказалось места; и она восставала, она терзала меня своим жалобным криком всякий раз, когда мои взгляды, не в силах отвернуться от того, что их оскорбляло, пытались остановиться на недосягаемом потолке. Но на другое утро — после того как слуга разбудил меня, принеся теплой воды, и когда я стал одеваться, тщетно пытаясь отыскать нужные мне вещи в чемодане, откуда я вперемешку вытаскивал то, что мне было совершенно ни к чему, — какою радостью было, наряду с приятными мыслями о завтраке и прогулке, видеть в окне и в стеклах книжных шкапов, точно в иллюминаторах каюты, море — открытое, безоблачное и все же наполовину подернутое тенью, отделенной тонкой и подвижной линией от светлого пространства, и следить взглядом за волнами, которые устремлялись одна вслед за другой, словно гимнасты на трамплине. Не вы-

пуская из рук туго накрахмаленного полотенца, на котором было написано название гостиницы и которым я тщетно пытался обтереться досуха, я каждую минуту вновь подходил к окну — еще раз бросить взгляд на эту ослепительную и холмистую ширь и на снеговые гребни волн цвета изумруда, местами гладкого и полупрозрачного, волн, которые со спокойным неистовством и ощерясь по-львиному обрушивали свои скаты, загоравшиеся под лучами Солнца безликой улыбкой. Я потом каждое утро подходил к этому окну, как к окну дилижанса, где мы провели ночь и желаем посмотреть, приблизилась ли или удалилась вожделенная горная цепь, — а здесь эти морские холмы, которые, прежде чем вернутся к нам пляшущим бегом, могут отступить так далеко, что часто лишь за широкой песчаной равниной я замечал, на большом расстоянии, их первые волнистые линии в прозрачно-туманной и голубоватой дали, словно те ледники, что мы видим на заднем плане картин ранних тосканских живописцев. Другие разы солнце совсем близко от меня смеялось на поверхности волн такого же нежно-зеленого цвета, как зелень альпийских лугов (в горах, где солнце приляжет то здесь, то там, подобно великану, который весело,

неровными прыжками, стал бы спускаться по их склонам) благодаря не столько влажности почвы, сколько текучей подвижности света. Впрочем, именно свет, проникая сквозь брешь, которую морской берег и волны пробивают в толще мира, и в ней скопляясь, — именно свет главным образом сдвигает и размещает холмы на поверхности моря, смотря по направлению, откуда он исходит и по которому следит за ним глаз. Разница в освещении не в меньшей степени меняет план местности, ставит перед нами не меньше новых заманчивых целей, чем долгое и содержательное путешествие. Когда утром Солнце вставало за гостиницей, открывая передо мной озаренный песчаный берег вплоть до ближайших отрогов моря, оно, казалось, являло мне иной его склон и звало меня, по вращающейся дороге своих лучей, в неподвижное и полное разнообразия странствие по красивейшим уголкам причудливо-живописного пейзажа сменяющихся часов. И начиная с этого первого утра Солнце улыбающимся перстом показывало мне вдали голубые вершины моря, не обозначенные ни на одной географической карте, пока, опьяненное головокружительной прогулкой по звучной и хаотической поверхности их гребней и их лавин,

оно не приходило в мою комнату укрыться от ветра, раскинувшись на неубранной постели и рассыпая свои сокровища на мокрый умывальник, в раскрытый чемодан, самым своим великолепием и неуместной своей роскошью усиливая впечатление господствовавшего там беспорядка. Увы! час спустя, когда мы сидели за завтраком в большой столовой и из кожаной фляжки лимона выжимали золотистые капли на камбалу, от которой на наших тарелках вскоре оставались лишь кости, завитые как перо и звонкие как кифара, моей бабушке показалось слишком тягостным не чувствовать живительного дуновения морского ветра, от которого нас отделяло прозрачное, но закрытое стекло окна, хотя оно и позволяло нам видеть весь пляж, а небо заполняло его настолько, что синева его казалась цветом стекла и белые облака — пузырьками на нем. Уверив себя, что я сижу «на краю мола» или в глубине «будуара», о котором говорит Бодлер, я задавал себе вопрос, не есть ли его «солнце, сверкающее над морем», — столь непохожее на вечерние лучи, простые и скользящие на поверхности трепетной золотой чертой, — то самое, что в эту минуту зажигает море как топаз, приводя его в состояние брожения, делая свет-

лым и молочным, словно пенящееся пиво, между тем как тут и там по нему пробегали большие синие тени, которые, казалось, некий бог, передвигая в небе зеркало, гоняет для своей забавы с места на место. К несчастью, не только внешним видом отличалась от «залы» в Комбре, из окон которой виднелись соседние дома, эта бальбекская столовая, с голыми стенами, наполненная зелеными, как вода в бассейне, солнечными лучами и отделенная расстоянием всего лишь в несколько метров от высоко поднявшейся воды и яркого дневного света, которые, словно перед небесным чертогом, воздвигали перед ней из золота и изумруда несокрушимый и полный движения крепостной вал. Так как в Комбре нас знали все, мне ни до кого не было дела. На морском курорте только и знаешь, что своих соседей. Я еще не был достаточно взрослым и оставался еще слишком чувствительным, чтоб отказаться от желания понравиться другим, привлечь их к себе. У меня не было того более благородного равнодушия, какое светский человек проявил бы и по отношению к людям, сидевшим в столовой за завтраком, и по отношению к проходящим по дамбе юношам и девушкам, с которыми мне нельзя было совершать экскурсий, — мысль,

причинявшая мне страдание, менее сильное, однако, чем то, которое я испытал бы, если бы моя бабушка, презиравшая светские приличия и озабоченная только моим здоровьем, обратилась к ним с унизительной для меня просьбой сделать меня спутником их прогулок. Входили ли они в какое-то неизвестное мне строение или же выходили из него с ракетками в руках, направляясь на теннис, или садились на лошадей, копыта которых топтали мое сердце, я со страстным любопытством глядел на них, освещенных этим ослепительным сиянием пляжа, где меняются все общественные пропорции, я следил за всеми их движениями в это прозрачное большое окно, пропускавшее столько света. Но оно преграждало путь ветру, а это был недостаток, по мнению бабушки, которая, не в силах примириться с мыслью, чтобы я хотя на час лишился благотворного действия свежего воздуха, потихоньку открыла окно, и в тот же миг взвились вверх меню, газеты, вуали и фуражки всех, кто сидел за завтраком; сама же она, поддерживаемая небесным дуновением, спокойная и улыбающаяся, как святая Бландина, стояла под градом оскорбительных замечаний, которые, усиливая во мне ощущение одиночества и грусти, объединили против нас

презрительных, растрепанных и разъяренных туристов.

Известная часть их — а в Бальбеке это придавало обитателям гостиницы довольно ярко выраженный местный характер, отличавший их от обычного банально богатого и космополитического населения подобного рода роскошных отелей, — состояла из именитых граждан главных департаментов этой части Франции: из председателя суда в Кане, старшины адвокатов Шербура, старшего нотариуса из Ле-Мана, покидавших на время вакаций места, по которым они в течение всего года были разбросаны одиночками, словно пешки на шашечной доске, и собиравшихся в этой гостинице. Они поселялись всегда в одних и тех же комнатах и вместе со своими женами, претендовавшими на аристократизм, составляли замкнутый кружок, к которому присоединялись видный адвокат и видный врач из Парижа, говорившие им в день отъезда:

— Ах да! Вы едете не тем поездом, что мы, вы — привилегированные, вы приедете домой к завтраку.

— Как, привилегированные? Вы-то живете в столице, в Париже, в большом городе, а я живу в жалкой провинции, в городишке, где сто тысяч

населения, — по последней переписи, правда, сто две. Но что это по сравнению с вами, раз вы насчитываете два миллиона пятьсот тысяч? и у вас там асфальт и блестящее парижское общество?

Они говорили это, по-крестьянски раскатисто произнося «р», не вкладывая горечи в свои слова, потому что они были провинциальные знаменитости и могли бы, как и другие, переселиться в Париж — председателю суда в Кане несколько раз предлагали место в кассационном суде, — но предпочитали оставаться на прежнем месте, из любви к своему городу, или к безвестности, или к славе, или потому, что они были реакционеры, или ради удовольствия поддерживать знакомства с соседними замками. Некоторые из них, впрочем, не сразу уезжали в свою провинцию.

Ибо — так как бальбекская бухта была отдельным маленьким мирком среди большого мира, корзиной, хранившей в себе времена года, где собрано было воедино все разнообразие дней и сменявших друг друга месяцев, так что не только выпадали дни, когда, как всегда перед грозою, из Бальбека можно было увидеть Ривбель, дома которого бывали освещены солнцем, в то время как Бальбек погружался в тьму, но даже порою, когда в Бальбеке уже наступали холода, можно

было быть уверенным, что на том берегу в течение еще двух-трех месяцев удастся насладиться теплом, — те из числа постоянных гостей Гранд-отеля, отпуск которых начинался поздно или же долго тянулся, когда приближалась осень и наступали дожди и туманы, грузили свои чемоданы на лодку и переправлялись в Ривбель или Костедор догонять лето. Этот маленький кружок, образовавшийся в бальбекской гостинице, недоверчиво оглядывал каждого новоприбывшего, и все эти люди, делая вид, что не интересуются им, расспрашивали о нем своего приятеля, метрдотеля. Ибо метрдотель, Эме, каждый год приезжал сюда на время сезона и сохранял за ними их столики; а их супруги, зная, что жена Эме ожидает младенца, работали каждая после еды над штучкой белья для новорожденного, то и дело наводя свои лорнеты на бабушку и меня, потому что мы ели крутые яйца с салатом, что считалось вульгарным и не было принято в хорошем обществе в Алансоне. Они держали себя с подчеркнуто презрительной иронией по отношению к одному французу, которого называли «Величеством» и который действительно сам себя провозгласил царьком маленького островка Океании, населенного кучкой дикарей. Он жил

в гостинице со своей любовницей, хорошенькой женщиной, которую, когда она шла купаться, мальчишки приветствовали криками: «Да здравствует королева!», потому что она осыпала их монетами в пятьдесят сантимов. Председатель суда и старшина адвокатов даже делали вид, что не замечают ее, и если кто-нибудь из их приятелей ее рассматривал, они считали долгом предупредить его, что она всего лишь работница.

— Но меня уверяли, что в Остенде они купались в королевской кабине.

— Конечно! Ею можно пользоваться за двадцать франков. Вы можете нанять ее, если это вам доставляет удовольствие. А я достоверно знаю, что он просил аудиенции у короля, и тот дал ему знать, что его не касается этот марионеточный царек.

— А-а, право, это интересно! Ведь есть же такие люди!..

И наверно, все это оказалось бы правдой, но была тут и досада, ибо для большей части этой толпы они были всего лишь добропорядочные буржуа, незнакомые с этими расточительными королем и королевой, и эта досада приводила нотариуса, председателя, старшину, когда им случалось повстречать на пути то, что они

называли *маскарадом,* в самое дурное расположение духа и заставляла их громко высказывать свое негодование, известное их приятелю метрдотелю, который, будучи вынужден угождать царственной чете, более щедрой, чем бесспорной, и принимая от нее заказы, в то же время, однако, многозначительно подмигивал своим старым клиентам. Может быть, та же досада, вызванная опасением, что их сочтут менее блестящими, чем они есть на самом деле, и они не смогут дать понять, насколько выше они стоят, была в известной мере причиною прозвища «красавец», данного ими молодому хлыщу, сыну крупного промышленника, чахоточному прожигателю жизни, который каждый день появлялся в новом пиджаке, с орхидеей в петлице, пил за завтраком шампанское и отправлялся, бледный, невозмутимый, с равнодушной улыбкой на губах, в казино и бросал на стол, где играли в баккара, огромные суммы, которые «средства не позволяли ему проигрывать», как об этом с видом осведомленного человека нотариус рассказывал председателю, жена которого знала «из достоверных источников», что этот юноша во вкусе «конца века» смертельно огорчает своих родителей.

С другой стороны, по адресу одной старой дамы,

богатой и титулованной, старшина адвокатов и его друзья изощрялись в неиссякаемых сарказмах только потому, что она ездила не иначе, как со всей своей прислугой. Каждый раз, как в столовой во время обеда или завтрака она попадалась на глаза жене нотариуса и жене председателя суда, они нагло осматривали ее в лорнет, столь же тщательно и недоверчиво, как если бы она была блюдом с пышным названием, но подозрительным на вид, которое, после того как внимательное наблюдение дает неблагоприятный результат, отстраняют жестом и с гримасой отвращения приказывают унести.

Этим, конечно, жёны нотариуса, старшины и председателя только хотели показать, что если им и недостает кой-чего — вроде некоторых привилегий старой дамы и знакомства с нею, — то это происходит не в силу невозможности, а в силу их нежелания. Но под конец они и сами себя убедили в этом; и это умерщвление в себе всякого желания, всякого любопытства к формам незнакомой жизни, надежды понравиться другим, уступившей место деланному презрению и искусственной веселости, имело для этих женщин то неудобство, что под видимостью довольства скрывалась досада и что им непре-

станно приходилось лгать самим себе, — два условия, мешавших их счастью. Но, наверно, все в этой гостинице делали то же самое, что и они, хотя и в иной форме, и приносили в жертву если не самолюбию, то по крайней мере известным принципам своего воспитания и своим умственным привычкам то чудесное волнение, которое чувствуешь, приобщаясь к незнакомой доселе жизни. Конечно, микрокосм, в котором замыкалась старая дама, не был отравлен ядовитыми колкостями, как тот кружок, где в ярости издевались над другими жёны нотариуса и председателя суда. Напротив, он был полон благоухания — тонкого и старинного, но все же не менее искусственного. Ибо, в сущности, стараясь пленить других, привлечь к себе загадочную симпатию новых людей и сама обновляя себя ради этого, старая дама нашла бы в этом, вероятно, особую прелесть, неведомую человеку, удовольствие которого — посещать людей только своего круга и напоминать себе, что, поскольку нет ничего лучше этого круга, следует пренебрегать презрением других, плохо осведомленных о нем людей. Может быть, она чувствовала, что если бы она появилась в бальбекском Гранд-отеле никому не известная, то ее черное шерстяное платье и

вышедший из моды чепчик вызвали бы улыбку у какого-нибудь кутилы, который, развалившись в своей качалке, пробормотал бы: «Побируха!» — или даже у какого-нибудь солидного мужчины, сохранившего, как председатель, в обрамлении седеющих бакенбард свежее лицо и светящиеся умом глаза, что ей нравилось, который тотчас же направил бы на это необычайное явление увеличительные стекла супружеского лорнета; может быть, бессознательный страх перед этой первой минутой, короткой, правда, но от этого не менее жуткой — как то мгновение, когда мы бросаемся в воду вниз головой, — заставлял эту даму посылать вперед слугу, осведомлявшего гостиницу о ее личности и обыкновениях, а затем, кладя конец приветствиям управляющего с поспешностью, в которой было больше робости, чем гордости, направляться в отведенную ей комнату, где собственные занавески, сменявшие те, что висели здесь на окнах, ширмы, фотографии так плотно ограждали ее стеной привычек от прочего мира, к которому ей пришлось бы приспособляться, что путешествовала не столько она, сколько ее домашняя обстановка, которой она не покидала…

С этих пор, поместив между собою, с одной

стороны, и служащими гостиницы и поставщиками — с другой, своих слуг, вместо нее соприкасавшихся с этими новыми людьми и поддерживавших вокруг своей госпожи привычную атмосферу, оградив себя от приезжих своими предрассудками, равнодушная к неблагоприятному впечатлению у людей, которых ее приятельницы не стали бы принимать, она продолжала жить в своем кругу, ведя переписку с этими приятельницами, помня о своем положении, искренно убежденная в его значительности, в достоинстве своих манер, в превосходстве своей вежливости. И каждый день, когда она спускалась вниз, чтобы совершить прогулку в своей коляске, ее горничная, которая несла за нею вещи, ее выездной лакей, шедший впереди, были словно часовые, которые, стоя у дверей посольства, украшенного флагом своей страны, обеспечивают ему на чужой земле преимущества его экстерриториальности. В день нашего приезда она не выходила из своей комнаты до середины дня, и мы не видели ее в столовой, куда управляющий провел нас к завтраку, опекая нас, так как мы были новички, словно унтер-офицер, ведущий новобранца к полковому портному, чтобы обмундировать его; но зато очень скоро нам

довелось увидеть некоего дворянчика и его дочь, принадлежавших к захудалому, но очень древнему роду из Бретани, г-на де Стермарья и м-ль де Стермарья, за стол которых нас посадили, думая, что они не вернутся раньше вечера. Так как они приехали в Бальбек лишь затем, чтобы видеться со своими знакомыми, владельцами окрестных замков, то, получая все время приглашения и сами принимая гостей, они в столовой гостиницы проводили ровно столько времени, сколько было нужно. Именно их чванство ограждало их от всякой человеческой симпатии, от всякого интереса к окружавшим их незнакомцам, среди которых г-н де Стермарья сидел с тем леденяще-отчужденным, озабоченным, суровым, педантичным и недоброжелательным видом, какой в железнодорожном буфете бывает у пассажиров, которые никогда друг друга не видели и не увидят и с которыми не может быть других отношений, кроме стремления охранить от них своего холодного цыпленка и свой угол в вагоне. Мы только что сели за завтрак, как нас попросили встать из-за стола по приказанию г-на де Стермарья, который вернулся в гостиницу и без малейшего намека на извинение по нашему адресу во всеуслышание попросил метрдотеля, чтобы подобная ошибка не

повторялась, так как ему неприятно, что «люди, которых он не знает», занимают его стол.

И, конечно, в чувствах, побуждавших некую актрису (впрочем, более известную своей элегантностью, своим остроумием, своими прекрасными коллекциями немецкого фарфора, чем теми несколькими ролями, которые она сыграла в Одеоне), ее любовника, очень богатого молодого человека, ради которого она и работала над собой, и двух видных мужчин из аристократии жить сплоченной, отдельной кучкой, путешествовать не иначе как вместе, а здесь, в Бальбеке, садиться за завтрак в очень поздний час, когда все остальные уже успевали кончить, проводить весь день в своей гостиной за игрой в карты, вовсе не было недоброжелательства, а только требования особого вкуса, который удовлетворяло лишь известного рода остроумие, известные тонкости хорошей кухни, вследствие чего они находили удовольствие только в совместной жизни, в совместных завтраках и обедах и сочли бы невыносимой жизнь среди людей непосвященных. Даже сидя за обеденным или карточным столом, каждый из них ощущал потребность сознавать, что в сидящем напротив сотрапезнике или партнере таится потенциальная и не находящая себе

применения осведомленность, позволяющая ему обнаружить подделку в вещах, которые служат украшением стольких парижских квартир под видом подлинного «Средневековья» или «Возрождения», и что он во всех смыслах обладает общими с ними критериями различения добра и зла. Разумеется, то особое бытие, в которое были погружены друзья, повсюду желавшие пребывать в нем, заявляло о себе в такие минуты, за обедом или во время игры, лишь каким-нибудь необычным и забавным восклицанием, нарушавшим тишину, или же тем прелестным новым платьем, которое молодая актриса надевала к завтраку или для игры в покер. Но окутывая их привычками, знакомыми им в совершенстве, это бытие в достаточной мере ограждало их от загадок окружающей жизни. В течение долгих послеполуденных часов море было для них словно картиной приятного тона, висящей в будуаре богатого холостяка, и только в промежутках между ходами кто-нибудь из игроков, когда ему нечего было делать, поднимал на него глаза, чтобы сделать заключение о погоде или о времени дня и напомнить другим, что их уже ждет чай. А вечером они обедали не в гостинице, где электрический свет бил ключом и заливал

своими потоками обширную столовую, так что она становилась чем-то вроде огромного волшебного аквариума, за стеклянной стеной которого собиралось рабочее население Бальбека, рыбаки и семьи бедных мещан, оставаясь невидимыми благодаря темноте и приникнув к самому окну, чтобы посмотреть на исполненную роскоши, колыхающуюся в золотом водовороте жизнь этих людей, столь же необыкновенную в глазах бедняков, как жизнь рыб или странных моллюсков (большой социальный вопрос: всегда ли стеклянная стена будет ограждать пир этих редкостных животных и не придут ли неведомые люди, которые жадно глядят из темноты, выловить их из аквариума и съесть). А тем временем в этой толпе, застывшей на месте и тонувшей во мраке, стоял, быть может, какой-нибудь писатель, какой-нибудь любитель человеческой ихтиологии, который, следя за тем, как смыкаются челюсти старух-чудовищ, только что проглотивших кусок пищи, тешился тем, что относил их к различным породам, определял их врожденные черты, а также и черты, приобретенные в течение жизни, благодаря которым старая сербка с выпяченным вперед ртом, напоминавшая огромную морскую рыбу, только потому, что с самого детства она

жила в пресных водах Сен-Жерменского предместья, ест салат совсем словно какая-нибудь Ларошфуко.

В этот час можно было видеть троих мужчин, одетых в смокинги и поджидающих даму, которая вскоре, хоть и с опозданием, являлась к ним, почти каждый раз в новом платье и шарфе, выбранном по вкусу ее любовника, выходя из кабинки лифта, вызванного ее звонком, словно из коробки для игрушек. И все четверо, считая, что интернациональная диковина, воздвигнутая в Бальбеке в виде отеля, насадила скорее роскошь, нежели хороший стол, садились в карету и отправлялись за полмили отсюда в маленький ресторан, пользовавшийся большой известностью, где они с поваром пускались в бесконечное обсуждение меню и способа приготовления кушаний. Обсаженная яблонями дорога, начинавшаяся от Бальбека, была для них только расстоянием, которое они смутно отличали в темноте ночи от того пути, что отделял их парижские квартиры от Английского кафе или Тур-д'Аржан, и которое надо было миновать, чтобы попасть в изысканный маленький ресторан, где друзья богатого молодого человека с завистью смотрели на его любовницу, одетую с таким вкусом, меж тем

как ее шарф развевался, словно благоуханный и мягкий покров, отделяя это маленькое общество от всего мира.

К несчастью, я был совсем не таков, как все эти люди, и не находил себе покоя. Мнение многих из них заботило меня; мне не хотелось бы, чтобы о моем существовании не знал тот мужчина с низким лбом, со взглядом, блуждающим между шорами предрассудков и воспитания, местный аристократ, который был не кто иной, как зять Леграндена, приезжавший иногда в гости в Бальбек и каждое воскресенье, когда он и его жена давали свои garden parties,[32] сильно опустошавший гостиницу, так как один или двое из ее обитателей получали приглашения на эти празднества, остальные же, чтобы не подать виду, что их не пригласили, выбирали именно этот день для дальних поездок. Впрочем, ему был оказан весьма дурной прием при его первом появлении в гостинице, когда персонал, только что прибывший из Биаррица, еще не знал его. Он не только не одевался в белую фланель, но, по старому французскому обыкновению и по незнанию жизни отелей, входя в вестибюль, где были и женщи-

[32] Примечания: 32
приемы гостей в саду *(англ.)*.

ны, снял шляпу в самых дверях, вследствие чего управляющий даже и не дотронулся до своей в знак приветствия, полагая, что это, должно быть, человек самого скромного происхождения, один из тех, кого он называл людьми, «вышедшими из низов». Одна только жена нотариуса ощутила влечение к этому новому лицу, благоухавшему всей напыщенной пошлостью «человека из общества», и объявила с непогрешимой проницательностью и с безапелляционным авторитетом, как особа, которой известны все тайны высшего общества Ле-Мана, что в нем чувствуется человек самый утонченный, безукоризненно воспитанный, стоящий выше всего того, что можно встретить в Бальбеке, и недоступный, как ей казалось, пока она не получила к нему доступа. Это благоприятное суждение, высказанное ею о зяте Леграндена, было, пожалуй, обусловлено его бесцветной наружностью, отнюдь не способной вызвать смущение, а может быть, и тем, что в этом дворянине-фермере с замашками пономаря она уловила тайные признаки родного ей клерикализма.

Хотя мне и стало известно, что молодые люди, каждое утро проезжавшие верхом мимо гостиницы, были сыновья какого-то подозрительного

владельца магазина модных вещей, с которым мой отец никогда не согласился бы познакомиться, «курортная жизнь» превращала их, в моих глазах, в конные статуи полубогов, и в лучшем случае я мог надеяться, что они никогда даже не удостоят взглядом бедного юношу, каким я был, уходившего из столовой гостиницы только для того, чтобы посидеть на песке. Мне хотелось возбудить симпатию к себе даже в авантюристе, выдававшем себя за короля пустынного острова Океании, даже в туберкулезном молодом человеке, который, как мне нравилось думать, таил под наглой внешностью душу робкую и нежную и, может быть, мне одному расточил бы сокровища своей нежности. Впрочем (в противоположность тому, что принято говорить о знакомствах, начавшихся во время путешествия), поскольку общество людей, с которыми вас видят вместе где-нибудь на пляже, куда иногда ездят из года в год, придает вам совершенно своеобразное значение в настоящей светской жизни, — нет ничего такого, что не только не избегалось бы в Париже, но, напротив, не поддерживалось бы с такой внимательностью, как знакомства, завязавшиеся на морском курорте. Меня заботило, что могут думать обо мне все эти временные и местные

знаменитости, которые, благодаря моей способности воображать себя в роли других людей и воссоздавать их душевное состояние, занимали в моих глазах не то положение, какое у них было в действительности, например в Париже, — может быть, весьма ничтожное, — а то, которое они себе сами приписывали и которое, по правде говоря, на самом деле принадлежало им в Бальбеке, где отсутствие общего масштаба придавало им своего рода значительность и особый интерес. Увы, ничье презрение не было для меня здесь мучительнее, чем презрение г-на де Стермарья.

Ибо я заметил его дочь, сразу же как она вошла, заметил ее красивое лицо, бледное и даже почти голубоватое, всё, что было своеобразного в ее высокой фигуре, в ее осанке и походке и что с полным основанием напоминало мне о ее происхождении, ее аристократическом воспитании, и притом с тем большей отчетливостью, что я знал ее имя, — подобно тому как полные выразительности мотивы в произведении гениального композитора великолепно живописуют сверкание огня, шум реки и сельскую тишину, если слушатель, прочитав предварительно либретто, направил свое воображение по верному пути. Породистость, дополняя обаяние м-ль де Стер-

марья, напоминая о его истоках, придавала ему большую понятность, большую полноту. Она сообщала ему еще большую притягательную силу, возвещая о его недоступности, подобно тому как высокая цена увеличивает ценность предмета, который нам понравился. И ствол родословного древа придавал цвету ее лица, созданному редчайшими соками, прелесть экзотического плода или знаменитого вина.

Внезапный случай дал нам с бабушкой возможность немедленно подняться в мнении всех обитателей гостиницы. В самом деле, в первый же день, в то время когда старая дама спускалась вниз, предшествуемая выездным лакеем и сопровождаемая горничной, которая догоняла ее с забытыми книгой и накидкой, поселяя в умах волнение и возбуждая во всех любопытство и благоговение, от которого, как это было заметно, менее чем кто-либо другой был свободен г-н де Стермарья, — управляющий наклонился к моей бабушке и из любезности (как показывают персидского шаха или королеву Ранавало простому зрителю, который, очевидно, не имеет никакого отношения к могущественному монарху, но которому может быть интересно, что он видел его всего в нескольких шагах) шепнул ей на ухо:

«Маркиза де Вильпаризи», в ту самую минуту, как эта дама, заметив мою бабушку, не могла удержаться и бросила на нее радостный удивленный взгляд.

Можно себе представить, как я был обрадован: большего удовольствия не доставило бы мне и внезапное появление самой могущественной феи, принявшей образ старушки, — мне, лишенному всякой возможности приблизиться к м-ль де Стермарья в этом мире, где я никого не знал. Говорю: «никого» с точки зрения практической. В эстетическом смысле число человеческих типов слишком ограничено, так что, где бы мы ни оказались, нам часто случается испытывать радость, узнавая своих знакомых, хотя бы мы и не думали отыскивать их на картинах старинных мастеров, как это делал Сван. Так мне в первые же дни нашего пребывания в Бальбеке привелось встретиться с Легранденом, консьержем Сванов и самой г-жой Сван, которые превратились — первый в официанта из кафе, второй — в приезжего незнакомца, больше ни разу не попадавшегося мне, а третья — в хозяина купальни. И благодаря своего рода магнетизму, некоторые черты лица и умственного склада взаимно притягиваются и так неразрывно сочетаются друг с другом, что

когда природа воплощает этим путем знакомого нам человека в новом теле, она не слишком его калечит. Легранден, преобразившись в официанта кафе, сохранил в целости свою осанку, профиль носа и отчасти подбородок; г-же Сван, превратившейся в мужчину и в купальщика, сопутствовало не только ее привычное лицо, но также и ее особая манера говорить. Но только теперь, опоясанная своим красным кушаком и при малейшем волнении на море поднимая флаг, запрещающий купание, — ибо хозяева купален осторожны, так как редко умеют плавать, — она была не более полезна мне, чем если бы глядела с фрески «Жизнь Моисея», где Сван узнал ее когда-то в чертах лица дочери Иофора. Между тем г-жа де Вильпаризи была совсем настоящей, она не являлась жертвой волшебства, которое лишало бы ее могущества, а, напротив, сама была способна во сто раз увеличить мое могущество силою своих чар, благодаря которым, точно на крыльях сказочной птицы, я в несколько мгновений преодолевал — по крайней мере в Бальбеке — бесконечные социальные расстояния, отделявшие меня от м-ль де Стермарья.

К несчастью, если и был на свете человек, который, более чем кто-либо, жил в своем особом

замкнутом мире, это была моя бабушка. Она даже не стала бы презирать меня, она меня бы просто не поняла, узнав, что я дорожу мнением, проявляю интерес к личности людей, существования которых она не замечала и чьих имен не запомнила бы, уехав из Бальбека; я не решался признаться ей в том, что мне доставило бы большое удовольствие, если бы эти самые люди увидели, как она беседует с г-жой де Вильпаризи, ибо я чувствовал, что маркиза пользуется авторитетом в гостинице и что ее дружба могла бы придать нам вес в глазах г-на де Стермарья. Не то чтобы приятельница моей бабушки хоть в какой-либо мере являлась для меня аристократкой: фамилия ее, которую я еще ребенком так часто слышал у нас в доме, была слишком привычна для меня, слух мой слишком сроднился с ней, прежде чем мое сознание на ней остановилось; и ее титул вносил в нее лишь странное своеобразие, вроде того, какое вносит редко встречающееся имя, или как это случается с названиями улиц: ведь в улице лорда Байрона, в улице Рошешуар, такой многолюдной и пошлой, или в улице Грамон вовсе не заметно больше благородства, чем в улице Леонса Рено или Ипполита Леба. Г-жа де Вильпаризи не казалась мне существом

из особого мира, так же как и ее родственник Мак-Магон, не отличавшийся в моих глазах от г-на Карно, тоже президента республики, и от Распайля, чью фотографию Франсуаза купила вместе с фотографией Пия IX. Моя бабушка считала правилом, что в путешествиях надо забывать о знакомствах, что на берег моря едут не для того, чтобы встречаться с людьми, что для этого достаточно времени в Париже, что ради них на всякие любезности, на всякие пустяки пришлось бы тратить драгоценное время, которое целиком надо проводить на воздухе, у воды; и, находя более удобным предполагать, что это мнение разделяется всеми и санкционирует взаимное инкогнито, которое должны симулировать две старые приятельницы, встретившиеся по воле случая в одной и той же гостинице, она, при звуках имени, произнесенного управляющим, только отвела глаза в другую сторону и притворилась, что не видит г-жи де Вильпаризи, которая, поняв, что бабушка не стремится быть узнанной, в свою очередь стала смотреть в пространство. Она удалилась, а я остался в своем одиночестве, как потерпевший кораблекрушение, которому вдали явился корабль, но вскоре же исчез, не подойдя к нему.

Маркиза завтракала и обедала тоже в столовой, но в другом конце ее. Она не была знакома ни с кем из обитателей и посетителей гостиницы, даже с г-ном де Камбремер; в самом деле, он ей не кланялся, что я увидел в тот день, когда он вместе со своей женой принял приглашение на завтрак к старшине адвокатов, который, упиваясь честью, оказанной ему этим дворянином — его гостем, избегал своих обычных друзей и довольствовался тем, что издали подмигивал им, словно делая намек на это историческое событие, намек, во всяком случае, слишком легкий, чтобы его можно было истолковать как приглашение подойти к нему.

— Да, вижу, что вы ни в чем себе не отказываете, что вы человек шикарный, — сказала ему вечером жена председателя.

— Шикарный? Почему? — спросил старшина, утрированным удивлением скрывая свою радость. — Это из-за моих гостей? — сказал он, чувствуя, что не в силах дольше притворяться. — Но какой же шик в том, чтобы пригласить к завтраку друзей? Ведь должны они где-нибудь завтракать.

— Ну нет, это шикарно! Ведь это же были супруги де Камбремер, ведь так? Я их узнала. Она же

маркиза. И настоящая. Не по женской линии.

— О, она женщина очень простая, она очаровательная, совершенно не церемонная. Я думал, вы подойдете, делал вам знаки… я бы представил вас! — прибавил он, легкой иронией умеряя невероятность своего предположения, как Артаксеркс, говорящий Эсфири: «Не должен ли тебе полцарства я отдать?».

— Нет, нет, нет, нет, мы таимся в тени, подобно скромной фиалке.

— И напрасно, повторяю вам, — ответил старшина, вновь осмелевший, когда опасность миновала. — Они бы вас не съели. А сыграем мы партийку в безик?

— Да с удовольствием, мы не осмеливались предлагать вам, ведь вы теперь водитесь с маркизами!

— Ах, полно, в них нет ничего столь необыкновенного. Да вот, завтра я обедаю там. Хотите поехать вместо меня? Предлагаю от всей души. Совершенно искренно, я бы рад остаться здесь.

— Нет, нет… меня бы сместили как реакционера! — воскликнул председатель, которого до слез рассмешила собственная шутка. — Но вы ведь тоже бываете в Фетерне? — прибавил он, обращаясь к нотариусу.

— О, я бываю там по воскресеньям, входишь в одну дверь, в другую выходишь. Но они не завтракают у меня, как и у старшины.

К великому огорчению старшины, г-на де Стермарья в этот день не было в Бальбеке. Но старшина с лукавым видом обратился к метрдотелю:

— Эме, вы можете сказать господину де Стермарья, что он не единственный аристократ, бывавший в этой столовой. Вы ведь видели этого господина, что завтракал со мной сегодня утром? А? Маленькие усики, военная выправка? Ну, так это — маркиз де Камбремер.

— Ах вот как? Я не удивляюсь.

— Он увидит, что он не единственный титулованный. Пусть получает. Не плохо иногда сбить спесь с этих аристократов. Знаете, Эме, можете ничего ему не передавать, если хотите, я ведь это так просто говорю, мне все равно; впрочем, он и сам знает.

А на другой день г-н де Стермарья, которому было известно, что старшина защищал в суде одного из его друзей, сам пришел представиться ему.

— Наши общие друзья, де Камбремеры, как раз собирались нас познакомить, наши дни не совпали, словом, уж не знаю, — сказал старшина,

который, подобно многим лгунам, воображал, что вы не будете стараться выяснить ничтожную подробность, достаточную, однако (если случайно вы располагаете знанием скромных фактов, противоречащих ей), для того, чтобы уличить человека и навсегда внушить к нему недоверие.

Я, как всегда, но только меньше стесняясь, ибо ее отец ушел разговаривать со старшиной, глядел на м-ль де Стермарья. Смелое и всегда прекрасное своеобразие ее поз, как, например, в ту минуту, когда, положив локти на стол, она подымала стакан до уровня плеч, сухость взгляда, быстро оскудевавшего, родовая, почвенная жесткость, чувствовавшаяся в ее голосе и плохо замаскированная личными интонациями, которая так неприятно поразила мою бабушку, какие-то черты атавистической неподвижности, к которой она возвращалась, только что выразив взглядом или оттенком голоса собственную мысль, — все это, когда вы смотрели на нее, вызывало в вашей памяти ее предков, от которых она унаследовала эту недостаточную отзывчивость, страдающую пробелами восприимчивость, точно материала на это ей было отпущено в обрез и каждую минуту его не хватало. Но порою взгляд, которым на мгновение загорались ее быстро потухавшие

зрачки и в котором чувствовалась та почти подобострастная нежность, что бывает свойственна и самой гордой женщине, любящей чувственные наслаждения и под конец перестающей признавать всякую власть над собою, кроме власти человека, способного доставить ей эти наслаждения, — будь то актер или канатный плясун, ради которого она, быть может, в один прекрасный день покинет своего мужа, — порой румянец особого оттенка, чувственного и яркого, расцветавший на ее бледных щеках и напоминавший белые кувшинки Вивоны, ибо дно их чашечек было окрашено тем же розовым цветом, — как будто говорили, что она легко разрешила бы мне приблизиться к себе и вкусить прелесть той полной поэзии жизни, которую она вела в Бретани и — потому ли, что слишком привыкла к ней, потому ли, что по природе была слишком требовательна, или же вследствие отвращения к бедности и скупости своих родных, — ценила, по-видимому, не особенно высоко, но которая все же была заключена в ее теле. Скудных запасов воли, унаследованных ею и придававших выражению ее лица какую-то вялость, пожалуй, было бы ей недостаточно для того, чтобы оказать сопротивление. А благодаря серой фетровой шляпе,

увенчанной несколько старомодным и вычурным пером, в которой она неизменно появлялась к столу, мне чудилась в ней еще большая нежность, не потому, что шляпа гармонировала с ее лицом, то серебристым, то розовым, а потому, что внушала мне мысль о ее бедности и тем самым приближала ее ко мне. Хотя присутствие отца обязывало ее соблюдать светские условности, все же, оценивая и классифицируя людей с точки зрения иных, чуждых ему принципов, во мне она, может быть, замечала не мою общественную незначительность, но мой пол и возраст. Если бы г-н де Стермарья оставил ее одну в гостинице или же — что было бы еще важнее — г-жа де Вильпаризи, присев к нашему столу, внушила бы ей такое мнение о нас, что я даже осмелился бы к ней подойти, быть может, нам удалось бы обменяться несколькими словами, условиться о свидании, теснее сблизиться друг с другом. А если бы ей как-нибудь на месяц пришлось остаться в своем романтическом замке одной, без родителей, мы, пожалуй, могли бы совершать вдвоем прогулки в вечернем сумраке, среди которого над темною водою, плещущей у подножия дубов, мягче светились бы розовые цветы вереска. Вместе обошли бы мы этот остров, исполненный для меня такой

прелести, потому что на нем протекала будничная жизнь м-ль де Стермарья и глаза ее хранили воспоминание о нем. Ибо мне казалось, что по-настоящему я мог бы обладать ею только там, проникнув в эти края, окружавшие ее таким множеством воспоминаний — покрывалом, которое мое желание стремилось сорвать, одним из тех, с помощью которых природа отделяет женщину от других существ (с такою же целью, какую она преследует, ставя перед всеми живыми существами на пути к самому сильному из наслаждений акт зачатия, а перед насекомыми — пыльцу, которую на своем пути к нектару они должны захватить с собою), чтобы, обманутое иллюзией более полного обладания, они вынуждены были овладеть сперва ландшафтом, среди которого она живет и который, давая их воображению пищу более богатую, чем чувственное удовольствие, все же сам по себе не мог бы их привлечь.

Но я должен был отвести мои взгляды от м-ль де Стермарья, так как, считая, очевидно, что завязать знакомство с важным лицом — значит совершить поступок любопытный, краткий и самодовлеющий, который для того, чтобы выжать из него весь заключенный в нем интерес, требует лишь рукопожатия и проницательного взгляда и

может обойтись без непосредственно следующей беседы и дальнейших отношений, — ее отец уже расстался со старшиной и садился против нее, потирая руки, словно человек, только что сделавший драгоценное приобретение. Что до старшины, то, когда волнение, вызванное этой встречей, миновало, уже можно было слышать, как он говорил, по своему обыкновению обращаясь к метрдотелю:

— Но я-то ведь не король, Эме, ступайте же к королю; послушайте, председатель, они очень хороши на вид, эти маленькие форели, мы попросим их у Эме. Эме, мне кажется, что у вас там рыбка, заслуживающая всяческого одобрения: подайте-ка нам ее, Эме, и побольше.

Он все время повторял имя Эме, так что, когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему: «Вижу, что вы здесь совсем свой человек» — и тоже считал своим долгом все время повторять «Эме», держась того мнения, в котором сочетаются зараз и робость, и пошлость, и глупость и которое разделяется известными людьми, думающими, что подражать в точности своему собеседнику — изящно и умно. Старшина непрестанно повторял его, но с улыбкой, так как старался зараз подчеркнуть и свои хорошие отношения с метрдотелем,

и свое превосходство над ним. И метрдотель каждый раз, как раздавалось его имя, улыбался с умилением и гордостью, давая понять, что он чувствует честь и понимает шутку.

Хоть меня и так всегда смущали обеды и завтраки в этом обширном ресторане Гранд-отеля, обычно переполненном, я начинал еще больше стесняться, когда на несколько дней приезжал владелец (или главный директор, избранный компанией акционеров, — не знаю точно) не только этого отеля, но семи или восьми других, находившихся в разных концах Франции, в каждом из которых он, разъезжая взад и вперед, время от времени проводил неделю. Тогда каждый вечер, почти в самом начале обеда, появлялся у входа в столовую этот маленький человечек с седыми волосами, с красным носом, необычайно корректный и невозмутимый и, по-видимому, пользовавшийся и в Лондоне и в Монте-Карло одинаковой известностью как один из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Как-то раз, когда мне в начале обеда случилось выйти из столовой и, возвращаясь, я проходил мимо него, он поклонился мне, но с такой холодностью, что я не мог уяснить себе, была ли ее причиной сдержанность человека,

помнящего, кто он такой, или же презрение к незначительному клиенту. Лицам весьма значительным главный управляющий кланялся хотя и так же холодно, но более низко, потупляя глаза в знак стыдливого почтения, как будто при встрече на похоронах с отцом покойницы или при виде святых даров. Если не считать этих ледяных и редких поклонов, он не делал ни одного движения, как будто показывая этим, что его горящие глаза, точно выступающие из орбит, видят все, упорядочивают все, гарантируют во время «обеда в Гранд-отеле» как совершенство отдельных деталей, так и гармонию всего целого. Он, очевидно, чувствовал себя более чем режиссером, более чем дирижером, — настоящим генералиссимусом. Считая, что довольно ему довести созерцание до максимальной напряженности, и все будет готово, и никакая оплошность не повлечет за собой катастрофы, что, словом, он берет на себя таким образом полную ответственность за все, он воздерживался не только от всякого жеста, но даже и от движения глаз, сосредоточенно застывших, охватывавших и направлявших всю совокупность операций. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и если после супа он уже исчезал, то смотр, произ-

веденный им, на весь обед лишал меня аппетита. У него же аппетит был очень хороший, как можно было видеть за завтраком, во время которого он оставался частным лицом, садясь за такой же стол, как и другие, в той же столовой. Стол его имел лишь одну особенность, а именно: подле него, пока он ел, другой управляющий, всегдашний, стоя, все время занимал его разговором. Потому что, будучи подчиненным главнокомандующего, он старался польстить ему и очень его боялся. Я же во время завтрака меньше боялся его, потому что, затерявшись среди клиентов, он проявлял такую же деликатность, как генерал, который сидит в ресторане, где есть также и солдаты, и делает вид, что не замечает их. Тем не менее, когда швейцар, окруженный своими «курьерами», объявлял мне: «Завтра утром он уезжает в Динар. Оттуда он едет в Биарриц, а потом в Канн», — я вздыхал с облегчением.

Моя жизнь в гостинице была не только унылой, омрачаясь отсутствием знакомств, но и неудобной по причине многочисленных знакомств, которые завела Франсуаза. Может показаться, что они должны были многое облегчить нам. Выходило совсем наоборот. Если пролетариям не без труда удавалось попасть в число знакомых

Франсуазы и добиться этого они могли только при условии величайшей вежливости по отношению к ней — зато, уже достигнув этого, они становились единственными людьми, которые что-нибудь значили для нее. Старый свод ее правил внушал ей, что она ничем не связана по отношению к друзьям своих господ и что, если у нее много дела, она может и выпроводить даму, пришедшую навестить мою бабушку. Но по отношению к своим собственным знакомым, то есть тем немногим простолюдинам, которые были удостоены ее взыскательной дружбы, поступки ее подчинялись самому щепетильному и самому строгому церемониалу. Так, познакомившись с содержателем кофейни и молоденькой портнихой, служившей у бельгийской дамы, Франсуаза приходила убирать у бабушки не сразу же после завтрака, а только час спустя, потому что содержатель кофейни собирался приготовить для нее кофе или кофейного отвара, потому что портниха просила прийти посмотреть, как она шьет, и отказать им было бы невозможно и неприлично. Вообще эта портниха заслуживала особых забот, так как она была сирота и воспитывалась у чужих людей, к которым иногда ездила на несколько дней погостить. Ее положе-

ние возбуждало жалость Франсуазы, но также и добродушное презрение. У ней самой была семья, был доставшийся ей от родителей домик, где жил ее брат, державший несколько коров, и в этой бездомной девушке она не могла видеть равную себе. А так как девушка собиралась 15-го августа съездить навестить своих благодетелей, Франсуаза не могла удержаться и все повторяла: «Смешит она меня. Говорит: собираюсь 15-го августа съездить домой. Она говорит: домой! А это даже не ее родина, чужие люди ее подобрали, а говорит: домой, как будто это и в самом деле ее дом. Бедняжка! Ведь какая, значит, была нужда, что она и не знает, что это такое — свой дом». Но если бы Франсуаза заводила знакомства только с горничными, которых привезли с собой клиенты гостиницы и которые, обедая с нею в столовой для прислуги и судя о ней по ее изящному кружевному чепцу и тонкому профилю, принимали ее за благородную даму, может быть, вынужденную обстоятельствами или пожелавшую из привязанности к моей бабушке стать ее компаньонкой, если бы, словом, Франсуаза знакомилась только с людьми, не относившимися к прислуге гостиницы, беда была бы не велика, так как она не могла бы помешать нам в каком-либо отношении — по

той причине, что и в противном случае, даже если бы она и не знала их, нам от них не могло быть никакой пользы. Но она познакомилась также со смотрителем винного погреба, с кем-то из кухонной прислуги, с кастеляншей одного из этажей. И в результате, что касается нашей повседневной жизни, Франсуаза, которая в день своего приезда, когда она еще ни с кем не была знакома, почем зря, из-за всякой безделицы, давала звонок в такое время, когда бабушка и я не решились бы на это, а если мы делали ей малейшее замечание, отвечала: «Но ведь им за это достаточно платят», как если бы платила она сама, — теперь, когда она подружилась с человеком, причастным к кухне, что показалось нам, с точки зрения наших удобств, хорошим предзнаменованием, — если у бабушки или у меня зябли ноги, Франсуаза, даже в самый обыкновенный час дня, не решалась позвонить: она уверяла, что на это посмотрят косо, так как придется разжигать плиту или потревожить прислугу, которая обедает и будет недовольна. И кончала она речением, которое, несмотря на всю неопределенность ее тона, было тем не менее вполне ясным и явно доказывало нашу неправоту: «Дело ведь в том…» Мы не настаивали, опасаясь навлечь на себя другой,

более серьезный упрек: «Это не пустяки…» Таким образом, мы больше не могли получать горячую воду, из-за того что Франсуаза подружилась с тем, кто эту воду грел.

Наконец мы тоже завели знакомство, вопреки бабушке, но все-таки благодаря ей, так как она и г-жа де Вильпаризи столкнулись однажды утром в дверях и вынуждены были начать разговор, предварительно обменявшись жестами удивления, нерешительности, отступив назад, выразив неуверенность и лишь потом перейдя к изъявлению радости и к любезностям, как в некоторых пьесах Мольера, где два актера, давно уже говоривших в одиночку, хоть они и отделены расстоянием в несколько шагов, все же как будто еще не видят друг друга и, внезапно заметив один другого, не могут поверить своим глазам, друг друга перебивают, потом начинают говорить вместе, завершая диалог хоровой речью и бросаясь друг другу в объятия. Г-жа де Вильпаризи из деликатности хотела сразу же проститься с бабушкой, которая, напротив, предпочла остаться с ней до завтрака, так как желала узнать, каким путем ей удается получать почту раньше нас и доставать хорошее жареное мясо (ибо г-жа де Вильпаризи, любившая вкусно поесть, не одобряла кухни на-

шей гостиницы, где нам подавали обеды, которые бабушка, цитируя, как всегда, г-жу де Севинье, называла «столь пышными, что с голоду можно умереть»). И у маркизы вошло в привычку каждое утро, в ожидании пока ей подадут, подходить к нам, присаживаться на минутку к нашему столу, не позволяя нам вставать и причинять себе какое-нибудь беспокойство. Самое большее, если, уже по окончании завтрака, мы засиживались за разговором с ней до того противного момента, когда ножи валяются на скатерти рядом со смятыми салфетками. А я, чтобы не разлюбить Бальбек, внушал себе мысль, будто стою на краю света, и старался глядеть вдаль, не видеть ничего, кроме моря, открывать в нем эффекты, описанные Бодлером, а стол наш окидывал взглядом лишь в те дни, когда подавалась какая-нибудь большая рыба, морское чудовище, которое, в противоположность ножам и вилкам, было современником киммерийских лет, первобытных эпох, когда в Океане еще только зарождалась жизнь, и тело которого с бесчисленными позвонками, с синими и розовыми жилками, было создано природой, но согласно некоему архитектурному плану, как если бы это был многоцветный подводный собор.

Подобно тому как парикмахер, занятый бри-

тьем какого-нибудь должностного лица, к которому он преисполнен почтения, замечая, что вошедший сейчас клиент вступил с ним в разговор, радуется при мысли, что они принадлежат к одному и тому же обществу, и, приготовляя мыльную пену, не может удержаться от улыбки, так как проникается сознанием, что в его заведении, обыкновенной простой парикмахерской, люди общества, и даже аристократы, имеют удовольствие встречать друг друга, так и Эме, увидя, что г-жа де Вильпаризи нашла в нас старых знакомых, приносил нам полоскание с горделиво-сдержанной и многозначительно-скромной улыбкой хозяйки дома, которая вовремя умеет удалиться. Можно было бы принять его и за отца семейства, который с гордостью и умилением смотрит на помолвленных, боясь спугнуть их счастье, начало которому было положено у него за столом. Впрочем, стоило произнести при нем имя титулованной особы, чтобы лицо Эме сразу же приняло счастливое выражение, в противоположность Франсуазе, при которой нельзя было сказать «граф такой-то» без того, чтобы лицо ее не омрачилось, а слова не стали сухи и отрывисты, — признак того, что знатность она ценила не меньше, а больше, чем Эме. К тому же Франсуаза

обладала свойством, которое в других она считала величайшим недостатком: она была горда. Она была не из той породы, приятной, исполненной добродушия, к которой принадлежал Эме. Люди той породы испытывают и проявляют живейшее удовольствие, когда им рассказывают факт более или менее пикантный, но не отмеченный в газете. Франсуаза не желала казаться удивленной. Можно было бы сказать при ней, что эрцгерцог Рудольф, о существовании которого она никогда не подозревала, вовсе не умер, как все были в этом уверены, а жив, и она бы ответила: «Да», как если бы это было ей давно известно. Впрочем, если даже из наших уст, из уст *своих господ,* как она смиренно называла нас, подчинивших ее почти окончательно, она не могла слышать имя аристократа, не подавляя в себе вспышки гнева, то надо предположить, что семья ее была зажиточной, занимала в деревне независимое положение, пользовалась авторитетом, колеблемым лишь этими самыми аристократами, у которых, напротив, какой-нибудь Эме уже с раннего детства был в услужении, а может быть, даже был воспитан из милости. С точки зрения Франсуазы, г-жа де Вильпаризи должна была искупить свое знатное происхождение. Но — по крайней мере

во Франции — в этом и состоит талант знатных господ и знатных дам, их единственное занятие. Франсуаза — следуя общей склонности прислуги, непрестанно наблюдающей за отношениями своих господ с другими лицами и делающей из этих обрывочных наблюдений выводы, порой столь же ошибочные, как и те, что мы делаем относительно жизни животных, — каждую минуту находила, что нам «оказывают неуважение», вывод, к которому она вообще легко могла прийти благодаря не только своей чрезмерной любви к нам, но и удовольствию, которое доставляла ей возможность сказать нам что-нибудь неприятное. Но, удостоверившись самым непреложным образом в той бесконечной предупредительности, которой окружала нас, да и ее самое, г-жа де Вильпаризи, Франсуаза простила ей титул маркизы, а так как она никогда не переставала ценить его, то стала оказывать ей предпочтение перед всеми нашими знакомыми. Да никто из знакомых и не старался быть таким неисчерпаемо любезным. Каждый раз, как бабушка интересовалась книгой, которую читала г-жа де Вильпаризи, или же хвалила фрукты, присланные ей приятельницей, час спустя лакей приносил нам от нее эту книгу или фрукты. А когда потом мы

встречали ее, она в ответ на изъявления нашей благодарности, словно подыскивая своему подарку оправдание в какой-либо специальной пользе, ограничивалась тем, что говорила: «Это не какое-нибудь замечательное произведение, но газеты приходят так поздно, ведь надо же что-нибудь читать». Или: «Если живешь на берегу моря, всегда благоразумнее иметь фрукты, в которых можно быть уверенным». — «Но вы как будто никогда не едите устриц, — сказала нам г-жа де Вильпаризи (усиливая чувство отвращения, которое я испытывал к ним в это время, потому что живое мясо устриц было мне еще противнее, чем липкие медузы, омрачавшие для меня бальбекский пляж), — они здесь превосходны! Ах, я скажу моей горничной, чтобы вместе с моими она захватила и ваши письма. Как! ваша дочь пишет вам *каждый день?* Но о чем вы можете так часто друг другу писать?» Бабушка промолчала, но, надо думать, из гордости, — ведь она все время твердила маме слова г-жи де Севинье: «Как только получу от тебя письмо, мне уже скорее хочется нового письма, я только и дышу, когда получаю от тебя вести. Немногие достойны понять то, что я чувствую». И я опасался, как бы она не применила к г-же де Вильпаризи и заключение: «Я ищу тех,

кто относится к числу этих немногих, а прочих я избегаю». Бабушка перевела разговор на другую тему и стала хвалить фрукты, которые г-жа де Вильпаризи прислала нам накануне. И в самом деле, они были так хороши, что управляющий, несмотря на ревность, которую вызывали в нем отвергнутые нами вазочки с компотом, сказал мне: «Я совсем как вы, фрукты я одобряю больше всякого другого десерта». Бабушка сказала своей приятельнице, что она тем более оценила их, что фрукты, которые нам подают в гостинице, большей частью бывают отвратительны. «Я не могла бы, — прибавила она, — сказать, как г-жа де Севинье, что, если б нам пришла фантазия раздобыть плохих фруктов, их надо было бы выписать из Парижа». — «Ах да, вы читаете г-жу де Севинье. Я с первого же дня все вижу у вас ее письма. — (Она забыла, что до того, как они столкнулись в дверях, она не замечала бабушку.) — Вы не находите, что это несколько преувеличенно — эти вечные заботы о дочери? она слишком много о ней говорит, чтоб это могло быть вполне искренно. Ей не хватает естественности». Бабушка нашла спор бесполезным и, чтобы избавить себя от необходимости говорить о дорогих для нее вещах при человеке, для которого они были

непонятны, она спрятала, положив на них свою сумочку, мемуары г-жи де Босержан.

Встречая Франсуазу в тот момент (Франсуаза называла его «полднем»), когда, в своем нарядном чепце, окруженная всеобщим почтением, та направлялась обедать «с прислугой», г-жа де Вильпаризи останавливала ее, чтоб расспросить о нас. И Франсуаза сообщала нам то, что поручила передать маркиза: «Она сказала: вы им хорошенько поклонитесь», — подражая голосу г-жи де Вильпаризи и воображая что буквально цитирует ее слова, хотя искажала их не меньше, чем Платон — слова Сократа и святой Иоанн — слова Иисуса. Франсуаза была, разумеется, очень тронута этим вниманием. Но когда бабушка уверяла, что прежде г-жа де Вильпаризи была очаровательно красива она не верила ей и думала, что бабушка *лжет* в интересах своего класса, так как богатые всегда стоят друг за друга. Правда, от этой красоты остались следы настолько бледные, что представить себе ее утраченную прелесть мог бы только человек, обладающий большим художественным чутьем, чем Франсуаза. Ибо для того, чтобы понять, как прекрасна могла быть когда-то старая женщина, надо уметь не только видеть, но и осмысливать каждую черту.

— Мне как-нибудь надо будет ее спросить, не ошибаюсь ли я и действительно ли она находится в каком-то родстве с Германтами, — сказала мне бабушка, возбуждая этими словами мое негодование. Как мог бы я поверить, что общность происхождения связывает два имени, из которых одно проникло ко мне в низкую и жалкую дверь опыта, другое же — в золотую дверь воображения?

Уже несколько дней как можно было видеть часто появлявшуюся на улицах, в пышных нарядах, высокую рыжеволосую красивую даму с немного толстым носом — принцессу Люксембургскую, приехавшую сюда на несколько недель, чтоб отдохнуть. Ее коляска остановилась у гостиницы, выездной лакей прошел к управляющему, поговорил с ним, вернулся к экипажу и вынес корзинку чудесных фруктов (которая сочетала в себе, так же как и наша бухта, различные времена года), с визитной карточкой: «Принцесса Люксембургская», на которой карандашом было написано несколько слов. Какому царственному путешественнику, жившему здесь инкогнито, могли быть предназначены эти серовато-зеленые, блестящие шаровидные сливы, напоминавшие округлость моря в эту минуту,

эти прозрачные ягоды винограда, висевшие на иссохших веточках и подобные ясному осеннему дню, эти груши небесно-ультрамаринового цвета? Ведь не собиралась же она сделать визит приятельнице моей бабушки. Однако вечером на другой день г-жа де Вильпаризи прислала нам свежую золотистую гроздь винограда, а также сливы и груши, которые мы сразу узнали, хотя сливы, подобно морю в часы нашего обеда, приняли бледно-лиловую окраску, а на ультрамариновой синеве груш плавали легкие розовые облачка. Несколько дней спустя мы встретились с г-жой де Вильпаризи, выходя с симфонического концерта, который давался на пляже по утрам. Убежденный в том, что произведения, которые мне приходится слышать (вступление к «Лоэнгрину», увертюра «Тангейзера» и т. д.), выражают истины самые высокие, я изо всех сил пытался подняться до них; чтоб их понять, я извлекал из себя, я вкладывал в них все, что таилось во мне тогда самого лучшего, самого глубокого.

И вот когда, возвращаясь с концерта в гостиницу, мы с бабушкой минуту остановились на дамбе, чтобы обменяться несколькими словами с г-жой де Вильпаризи, объявившей нам, что она заказала для нас в гостинице «croque-monsieur»

и омлет, я издали увидел направлявшуюся к нам принцессу Люксембургскую, которая шла, слегка опираясь на зонтик и придавая таким образом своему большому прекрасному телу тот легкий наклон, тот причудливый изгиб, который так дорог женщинам, славившимся красотой во времена империи, когда, опустив плечи, расправив спину, вобрав бедро, вытянув ногу, они давали своему телу мягко развеваться, наподобие платка, вокруг невидимого, неподвижно изогнутого стержня, пронизывающего его насквозь. Она каждое утро выходила прогуляться по пляжу в такое время, когда уже почти все поднимались завтракать после купанья, а так как сама она завтракала только в половине второго, то возвращалась к себе на виллу по давно уже покинутой купальщиками пустынной и раскаленной дамбе. Г-жа де Вильпаризи представила ей бабушку, хотела представить и меня, но должна была спросить мою фамилию, так как не припоминала ее. Может быть, она ее и вовсе не знала или, во всяком случае, давно уже забыла, за кого бабушка выдала замуж свою дочь. Моя фамилия произвела, по-видимому, сильное впечатление на г-жу де Вильпаризи. Между тем принцесса Люксембургская протянула нам руку и время

от времени, продолжая разговаривать с г-жой де Вильпаризи, оборачивалась к нам и бросала на бабушку и на меня ласковые взгляды, содержавшие в себе зародыш поцелуя, вкладываемого в улыбку, которую обращают к младенцу и его кормилице. При всем своем желании не казаться существом, восседающим в сферах, нам недоступных, она, должно быть, плохо определила расстояние, ибо, вследствие неправильного расчета, ее взгляд исполнился такой доброты, что я уже ждал — вот-вот она потреплет нас рукой, словно двух симпатичных зверей, протягивающих к ней свои морды сквозь решетку где-нибудь в Акклиматизационном саду. Впрочем, эта мысль о зверях и о Булонском Лесе тотчас же приняла для меня большую отчетливость. То был час, когда дамба наполнялась крикливыми разносчиками, торговавшими пирожными, конфетами, хлебцами. Не зная, чем бы доказать нам свою благосклонность, принцесса остановила первого попавшегося разносчика; у него оставался всего один только ржаной хлебец, вроде тех, которыми кормят уток. Принцесса купила его и сказала мне: «Это для вашей бабушки». Однако протянула она его мне и прибавила, тонко улыбнувшись: «Вы сами отдадите ей», полагая, что таким образом

я получу более полное удовольствие, поскольку между мной и зверьми не будет посредника. Подошли другие разносчики, она наполнила мои карманы всем, что было у них, — перевязанными пакетиками, свернутыми в трубочку вафлями, ромовыми бабами и леденцами. Она сказала мне: «Вы покушаете и угостите вашу бабушку», а расплатиться с торговцами велела одетому в красный атлас негритенку, который всюду сопровождал ее и возбуждал на пляже всеобщее изумление. Затем она распростилась с г-жой де Вильпаризи и протянула нам руку, как бы желая снизойти до нас, показать, что она не делает различия между нами и своей приятельницей, что мы ее близкие. Но на этот раз в иерархии живых существ принцесса, очевидно, отвела нам не столь низкую ступень, ибо она засвидетельствовала бабушке свое равенство с нами, прибегнув к нежной материнской улыбке, какою дарят мальчугана, когда с ним прощаются, как со взрослым. Благодаря некоему чуду эволюции бабушка более не была уткой или антилопой, но уже тем, что г-жа Сван назвала бы «baby».[33] Наконец, оставив нас троих, принцесса направилась дальше

[33] Примечания: 33
малюткой *(англ.).*

по дамбе, залитой солнцем, изгибая свой пышный стан, который, словно обвившаяся вокруг палки змея, сплетался с ее белым зонтиком, украшенным синими разводами, который она, не раскрывая, держала в руке. То было первое «высочество», с которым я встречался в жизни, первое, говорю я, потому, что принцесса Матильда по манерам была вовсе не «высочество». Другое «высочество», как мы увидим позднее, не менее удивило меня своею благосклонностью. Одно из проявлений любезности знатных особ, доброжелательных посредников между государями и буржуа, стало мне понятно, когда на другой день г-жа де Вильпаризи сказала нам: «Она нашла, что вы прелестны. Она женщина очень проницательная, очень великодушная. Она — не такая, как все эти величества и высочества. В ней есть настоящие достоинства». И г-жа де Вильпаризи убежденным тоном и в восхищении от того, что может сказать нам это, прибавила: «Мне кажется, она будет очень рада снова увидеть вас».

Но в то утро, простившись с принцессой Люксембургской, г-жа де Вильпаризи сказала мне вещь, поразившую меня гораздо больше и принадлежавшую не к области любезностей.

— Так вы — сын управляющего отделением

в министерстве? — спросила она меня. — Ах, говорят, ваш отец — прелестный человек! Он совершает сейчас чудное путешествие.

Несколько дней тому назад мама сообщила нам, что мой отец и его спутник, г-н де Норпуа, потеряли свой багаж.

— Он найден, или, вернее, он никогда и не был потерян, произошло вот что, — сказала нам г-жа де Вильпаризи, которая непонятным для нас образом оказалась осведомленной об этом путешествии гораздо более подробно, чем мы. — Кажется, ваш отец вернется уже на будущей неделе, так как, по-видимому, он откажется от поездки в Алхезирас. Но ему хочется лишний день пробыть в Толедо, потому что он поклонник одного ученика Тициана, имени которого я не помню и лучшие картины которого именно там.

И я задавал себе вопрос, по какой случайности в эти равнодушные очки, сквозь которые г-же де Вильпаризи представлялись в самых общих в смутных чертах микроскопические волнения толпы ее знакомых, был вставлен кусок увеличительного стекла, которое так выпукло и с такой отчетливостью показывало ей моего отца, все его привлекательные свойства, обстоятельства, заставлявшие его вернуться, таможенные

неприятности, его любовь к Греко и, нарушая масштабы, в которых она видела людей, делало этого человека таким большим среди других, совсем маленьких, — наподобие Юпитера, которого Гюстав Моро, сопоставив на картине с обыкновенной смертной, изобразил нечеловечески высоким.

У подъезда гостиницы бабушка распрощалась с г-жой де Вильпаризи, чтобы еще несколько минут побыть на свежем воздухе, пока в окно нам не будет подан знак, что завтрак на столе. Послышался шум. То была молодая любовница короля дикарей, возвращавшаяся после купанья к завтраку.

— Право же, это какое-то проклятие, хоть из Франции уезжай! — в бешенстве воскликнул старшина, проходивший мимо в эту минуту.

Тем временем жена нотариуса таращила глаза на мнимую королеву.

— Не могу вам сказать, до чего меня сердит г-жа Бланде, когда разглядывает вот так этих людей, — сказал председателю старшина. — С удовольствием бы дал ей пощечину. Ведь именно так мы и развиваем самоуверенность этой сволочи, которой, конечно, только того и надо, чтобы ею занимались. Попросите-ка ее мужа сказать ей,

что это смешно; что до меня, то я больше не выхожу с ними, если они будут обращать внимание на этот маскарад.

Что до приезда принцессы Люксембургской, экипаж которой в тот день, когда она привезла фрукты, остановился у гостиницы, то он не ускользнул от жен нотариуса, старшины и председателя, уже с некоторых пор горевших желанием узнать, подлинной ли маркизой, не авантюристкой ли является эта г-жа де Вильпаризи, пользующаяся таким почетом, которого — как им страстно хотелось убедиться — она была недостойна. Когда г-жа де Вильпаризи проходила по вестибюлю, жена председателя, которой всюду чудились незаконные жены, отрывалась от своего рукоделия и окидывала маркизу взглядом, от которого приятельницы ее умирали со смеху.

— О, вы знаете, — говорила она с гордостью, — сперва я всегда думаю самое дурное. Я только тогда согласна признать, что женщина в самом деле замужем, когда мне покажут ее метрическое свидетельство и нотариальную запись о браке. Впрочем, не бойтесь, я произведу маленькое расследование.

И каждый день эти дамы со смехом окружали ее:

— Мы ждем новостей.

Но вечером после посещения принцессы Люксембургской жена председателя приложила палец к губам:

— Новости есть.

— О! это исключительная женщина — госпожа Понсен! Никогда не видано… но скажите, что же такое?

— Ну так вот, женщина с желтыми волосами, с целым слоем румян на лице, в экипаже, от которого уже за милю разит кокоткой и какие бывают только у этих особ, приезжала недавно навестить милую маркизу.

— Вот те на! ай-ай-ай! Каково! Но эта дама, которую мы видели — помните, старшина? — мы ведь нашли, что у нее очень подозрительный вид, но мы не знали, что она приезжала ради маркизы. Женщина с негром, не правда ли?

— Да, именно.

— Ах, расскажите же. Вы знаете, как ее зовут?

— Знаю, я, как будто по ошибке, взяла ее визитную карточку, у нее псевдоним — принцесса Люксембургская! Недаром я остерегалась.

— Приятная получилась смесь благодаря этой новой баронессе д'Анж. — Старшина, обратясь к председателю суда, сослался на Матюрена Ренье

и процитировал слова Масетты.

Не надо, впрочем, думать, что это недоразумение быстро выяснилось, как недоразумения, которые возникают во втором действии водевиля, чтобы рассеяться в последнем. На принцессу Люксембургскую, племянницу английского короля и австрийского императора, и г-жу де Вильпаризи, когда они вместе катались в экипаже принцессы, неизменно смотрели как на бесстыдных женщин, от которых так трудно уберечься на курорте. Три четверти обитателей Сен-Жерменского предместья в глазах буржуазии большей частью оказываются беспутными мотами (что, впрочем, иногда соответствует действительности), которых поэтому никто и не принимает. Буржуазия в этом отношении чересчур щепетильна, ибо пороки аристократов нисколько не мешают им быть принятыми с величайшим почетом в таких местах, куда ей никогда не попасть. И аристократы так твердо убеждены, что буржуазии это известно, что всегда держатся с нарочитой простотой и в довершение недоразумения всячески осуждают людей своего круга, которым туго приходится. Если у богача-аристократа случайно возникают отношения с мелкими буржуа — благодаря тому, например,

что он состоит председателем крупнейших финансовых обществ, — буржуазия, наконец-то увидевшая в его лице аристократа, достойного стать крупным буржуа, готова поклясться, что он не водится с разорившимся игроком-маркизом, у которого, по ее мнению, тем меньше влиятельных знакомых, чем он любезнее. И она не может опомниться, когда герцог, председатель правления огромного предприятия, женит своего сына на дочери игрока-маркиза, род которого все-таки самый древний во Франции, подобно тому как монарх даст в жены своему сыну скорее дочь низложенного короля, чем дочь стоящего у власти президента республики. Другими словами, оба эти мира представляются друг другу в таком же обманчивом свете, в каком обитателям одного берега бальбекской бухты является самая дальняя точка противоположного берега; из Ривбеля чуть виден Маркувиль Великолепный; но это-то как раз и вводит в заблуждение, ибо кажется, что и вас тоже видят в Маркувиле, между тем как от жителей последнего остаются скрыты почти все красоты Ривбеля.

Когда бальбекский врач, приглашенный ко мне во время приступа лихорадки, нашел, что в жаркие дни мне не следует весь день проводить

на берегу моря, на солнце, и прописал для меня несколько рецептов, бабушка взяла его рецепты с притворной почтительностью, по которой я сразу же понял ее твердое намерение не заказывать прописанных в них лекарств, но приняла во внимание гигиеническую сторону его советов и ответила согласием на предложение г-жи де Вильпаризи, пригласившей нас совершить вместе с ней несколько прогулок в экипаже. Время в ожидании завтрака я проводил, путешествуя из моей комнаты в комнату бабушки и обратно. Эта комната, в отличие от моей, не выходила непосредственно на море, но освещалась с трех сторон, и из окон ее открывались: уголок дамбы, чей-то двор и поля; была она и обставлена иначе — креслами, расшитыми филиграном и розовыми цветами, от которых как будто исходил приятный свежий запах, охватывавший вас уже в дверях. И в тот час, когда лучи, вторгавшиеся с разных сторон и как бы принадлежавшие разным часам дня, изламывали углы стен, а на комоде, рядом с отблесками пляжа, воздвигали алтарь, пестревший цветами, точно тропинка в поле, цеплялись за стену своими трепетными, теплыми, сложенными крылышками, готовыми тотчас же продолжать полет, нагревали, как ван-

ну, квадратик старомодного ковра перед окном, что выходило во дворик, который солнечный блеск покрывал гирляндами, напоминающими гроздья винограда, и увеличивали очарование и сложность обстановки, как будто отделяя слоями цветущий шелк кресел и отрывая от них галуны обшивки, — эта комната, в которую я заходил за минуту перед тем, как одеваться для прогулки, была похожа на призму, где разлагается свет, проникший извне, на улей, где собраны порознь соки дня, которые мне предстояло вкусить, зримые и опьяняющие, на сад надежд, растворявшийся в трепете серебряных лучей и лепестков роз. Но прежде всего я раздвигал у себя занавески, полный нетерпения узнать, какое нынче море играет у берегов, подобно нереиде. Ибо каждое из этих морей держалось не дольше одного дня. На следующий день появлялось уже другое, иногда напоминавшее то, которое было вчера. Но я ни разу не видел, чтобы оно оставалось одним и тем же.

Порой оно бывало такой редкостной красоты, что неожиданность зрелища придавала наслаждению еще большую полноту. Чем заслужил я право увидеть однажды утром, едва открыв окно, нимфу Главкономену, которая, томно вздыхая,

явилась моим изумленным глазам в своей ленивой красоте, в туманной прозрачности изумруда, позволявшей мне видеть, как приливают к нему некие весомые, окрашивающие его вещества? Солнце играло от ее улыбки, смягченной невидимой дымкой, которая была не что иное, как свободное пространство, что окружало ее просвечивающее тело, тем самым умаляя его и придавая ему еще большую выразительность, уподобляя тем богиням, которых скульптор высекает на поверхности камня, не заботясь о том, чтобы обтесать остальную часть глыбы. Так, неповторимая в своей окраске, она звала нас на прогулку по грубым земным дорогам, во время которой, сидя в коляске г-жи де Вильпаризи, мы не переставали ощущать, никогда не приближаясь к ней вплотную, прохладу ее томного трепета.

Г-жа де Вильпаризи приказывала запрячь пораньше, чтобы успеть съездить или в Сен-Мар-ле-Ветю, или к Кеттольмским скалам, или в какую-либо другую отдаленную местность, служившую целью прогулки, которая занимала целый день, так как ехали мы довольно медленно. Радуясь предпринимаемой долгой прогулке, я напевал какой-нибудь недавно слышанный мотив и расхаживал в ожидании г-жи де Виль-

парижи. Если было воскресенье, то ее экипаж оказывался не единственным у подъезда гостиницы; ряд наемных фиакров поджидал не только тех, кто был приглашен в замок Фетерн к г-же де Камбремер, но и тех, кто, не желая оставаться дома на положении наказанных детей, заявлял, что воскресенье — убийственный день в Бальбеке, и сразу же после завтрака отправлялся укрыться на один из соседних пляжей или ехал осматривать живописные местности; и часто даже, когда г-же Бланде кто-нибудь задавал вопрос, была ли она у Камбремеров, она решительно отвечала: «Нет, мы ездили на Косу, к водопадам», как будто это была единственная причина, помешавшая ей провести день в Фетерне. И милосердный старшина говорил:

— Завидую вам; я бы рад был поменяться с вами, это гораздо интереснее.

Возле экипажей, у подъезда, где я пребывал в ожидании, стоял, точно деревцо редкой породы, молоденький курьер, бросавшийся в глаза не только благодаря странно гармоничной окраске волос, но и благодаря коже, напоминавшей растение. Внутри, в вестибюле, соответствовавшем преддверию романских церквей или «церкви оглашенных», так как туда имели доступ и люди,

не жившие в гостинице, товарищи этого «наружного» грума работали немногим больше, чем он, но по крайней мере совершали некоторые движения. Вероятно, по утрам они помогали убирать. Но во вторую половину дня они пребывали там, точно статисты, которые, даже если им нечего делать, остаются на сцене, чтобы увеличивать собою число фигурантов. Главный управляющий, тот, которого я так боялся, предполагал значительно расширить их штат на будущий год, так как он склонен был к «большим масштабам». И его намерение очень огорчало управляющего гостиницей, который считал, что все эти дети «стеснительны», разумея, что от них очень тесно и никакого толка. По крайней мере в промежутке между завтраком и обедом, между уходами и возвращениями обитателей, они восполняли недостаток действия, подобно воспитанницам г-жи де Ментенон, которые в образе юных израильтян исполняют интермедии всякий раз, как удаляется Эсфирь или Иодай. Но этот наружный курьер, отличавшийся таким изысканным цветом кожи и волос, стройный и хрупкий, — вблизи которого я ожидал выхода маркизы — хранил неподвижность, сочетавшуюся с меланхолией, потому что его старшие братья покинули гости-

ницу ради более блистательных поприщ и он чувствовал себя одиноким на этой чужой земле. Наконец г-жа де Вильпаризи появлялась. Позаботиться о том, чтоб экипаж был ей подан, помочь ей сесть — пожалуй, это должно было входить в обязанности курьера. Но он знал, что, с одной стороны, особа, приезжающая со своей прислугой, прибегает только к ее помощи и в гостинице обычно мало дает на чай и что аристократы старого Сен-Жерменского предместья поступают так же. Госпожа де Вильпаризи принадлежала к обеим этим категориям. Древообразный курьер заключал отсюда, что ему нечего ждать от маркизы, и, предоставляя метрдотелю и ее горничной усаживать ее и подавать ей вещи, с грустью мечтал о завидной судьбе своих братьев и хранил свою растительную неподвижность.

Экипаж трогался; немного спустя, объехав железнодорожную станцию, мы попадали на проселочную дорогу, которая, начиная с поворота, где по обеим сторонам появлялись очаровательные изгороди, и вплоть до перекрестка, где мы сворачивали с нее и где нам открывались вспаханные поля, вскоре стала для меня такой же родной, как дороги в Комбре. Посреди этих полей, там и здесь, виднелась яблоня, правда, лишенная

уже цветов, вместо которых оставались только пучки пестиков, но все же приводившая меня в восхищение, потому что я узнавал эту неподражаемую листву, широкая поверхность которой, как ковер на только что окончившемся брачном пиршестве, хранила еще на себе следы белого шелкового шлейфа алеющих цветов.

Сколько раз случалось мне год спустя, в Париже, в мае месяце покупать ветку яблони и проводить целую ночь в созерцании ее цветов, где распускалась та же молочная сущность, что обрызгивала своей пеной еще не раскрывшиеся почки, а между белыми венчиками вдобавок лепились со всех сторон розовые бутоны, как будто свидетельствовавшие о щедрости продавца, его изобретательности и любви к причудливым контрастам; освещенные лампой, эти цветущие ветки стояли передо мной, я вглядывался в них так долго, что нередко заря успевала наделить их тем же румянцем, каким, наверно, они в этот час окрашивались и в Бальбеке, — и я старался воображением перенести их на эту дорогу, умножить их число, вставить их в эту уже готовую раму, расположить их на совершенно законченном фоне этих изгородей, рисунок которых я знал наизусть и которые мне так хотелось — и довелось

однажды — увидеть вновь в эту пору, когда весна, обаятельно вдохновенный гений, расцвечивает своими красками их канву.

Перед тем как сесть в коляску, я уже успевал нарисовать себе картину моря, которое я надеялся увидеть в «сиянии солнца» и от которого в Бальбеке я получал слишком дробное впечатление по вине стольких пошлых и несовместимых с моей мечтой преград, — этих купальщиков, кабинок, увеселительных яхт. Но когда экипаж г-жи де Вильпаризи подымался на вершину прибрежного холма и море открывалось мне сквозь листву деревьев, тогда, очевидно благодаря расстоянию, исчезали все эти современные детали, словно выключавшие его из пределов природы и истории, так что, глядя на его волны, я не мог внушить себе мысль, что это те же самые, которые Леконт де Лиль рисует в «Орестее», повествуя про «косматых эллинов воинственный народ, что стаей хищных птиц в зарю свой вылет бросил, взбив море гулкое ста тысячами весел». Но зато я был уже недостаточно близок к морю, которое мне казалось не живым, а застывшим, я больше не чувствовал мощи в этих красках, положенных, как на картине, в просветах листвы, где оно рисовалось таким же невещественным, как небо, и

лишь более темным, чем оно.

Г-жа де Вильпаризи, зная, что я люблю церкви, обещала мне, что мы их будем осматривать одну за другой, главное же — съездим взглянуть на церковь в Карквиле, «совершенно закрытую старым плющом», — сказала она, сопровождая свои слова движением руки, которое, казалось, любовно обволакивало фасад церкви незримой и нежной листвой. Г-жа де Вильпаризи, наряду с этими легкими описательными жестами, часто находила меткое слово, определявшее прелесть и своеобразие того или иного здания, всегда избегая технических выражений, хоть ей и не удавалось скрыть, что ей прекрасно известны вещи, о которых она говорит. Она как будто старалась в этом оправдаться, ссылаясь на то, что один из замков ее отца, где она воспитывалась, находился в местности, где были церкви такого же стиля, как и в окрестностях Бальбека, и что стыдно ей было бы не полюбить архитектуру, тем более что этот замок был прекраснейшим образцом зодчества Ренессанса. Но так как он вместе с тем был и настоящий музей, так как Шопен и Лист играли там, Ламартин декламировал стихи и все знаменитые артисты целого столетия записывали мысли, мелодии, делали наброски

в семейном альбоме, то г-жа де Вильпаризи, благодаря ли своей изысканности, хорошему воспитанию и настоящей скромности или по неумению философски мыслить, возводила свои познания в области всякого искусства только к этим чисто материальным причинам и в конце концов как будто даже была готова признать живопись, музыку, литературу и философию своего рода приданым молодой девушки, получившей самое аристократическое воспитание в знаменитом, историческом замке. Для нее точно не существовало других картин, кроме тех, что достаются по наследству. Она была довольна, что бабушке понравилось одно из ее ожерелий, которое рельефно выделялось на ее платье. Ожерелье это украшало ее прабабку на портрете кисти Тициана, никогда не выходившем из их семьи. Тут можно было не сомневаться в подлинности. Она слышать не хотела о картинах, купленных неизвестно каким образом нынешними Крёзами; она заранее была уверена, что это подделка, и отнюдь не желала посмотреть на них; мы знали, что сама она пишет цветы акварелью, и бабушка, которой хвалили эти акварели, заговорила с ней о них. Г-жа де Вильпаризи из скромности переменила тему разговора, однако выказав при этом не боль-

ше удивления и удовольствия, чем какая-нибудь достаточно известная художница, для которой похвалы не новость. Она сказала только, что это очаровательное времяпрепровождение, потому что если цветы, созданные кистью, и не особенно хороши, то по крайней мере тот, кто рисует их, находится в общении с живыми цветами, красота которых не может наскучить, особенно когда приходится смотреть на них вблизи, чтобы воспроизвести их. Но в Бальбеке г-жа де Вильпаризи давала отдых своим глазам и не работала.

Мы с бабушкой были удивлены, что она гораздо либеральнее, чем даже большая часть буржуазии. Она удивлялась возмущению, вызванному изгнанием иезуитов, и говорила, что это делалось всегда, даже во времена монархии, даже в Испании. Она защищала республику, антиклерикализм которой ставила ей в упрек только в таких выражениях: «Мне было бы так же неприятно, если бы мне запретили ходить к обедне, когда мне этого хочется, как если бы меня заставили ходить в церковь, когда мне не хочется», роняя даже такие слова, как: «О, нынешняя аристократия, что это за люди!», «Для меня человек, который не трудится, — ничто», — быть может, только потому, что чувствовала, какую остроту,

пряность и знаменательность они приобретают в ее устах.

Слушая, как эти передовые взгляды — до социализма, впрочем, дело не доходило, он был пугалом для г-жи де Вильпаризи, — прямодушно высказываются особой, принадлежащей к числу людей, из уважения к уму которых наше щепетильное и робкое беспристрастие отказывается осуждать даже консервативные идеи, мы с бабушкой были недалеки от мысли, что наша приятная спутница является мерилом и образцом всякой истины. Мы верили ей на слово, когда она отзывалась о своей коллекции картин Тициана, о колоннаде своего замка, о Луи Филиппе как собеседнике. Но подобно тем эрудитам, которые приводят нас в изумление, когда с ними заводят разговор о египетской живописи или этрусских надписях, и которые так плоско судят о произведениях современных, что мы задаем себе вопрос, не преувеличено ли нами значение наук, составляющих предмет их занятий, поскольку в них незаметно той посредственности, которую, однако, должны же они были ввести и туда, так же как в свои нелепые исследования о Бодлере, — г-жа де Вильпаризи, отвечая на мои вопросы о Бальзаке, о Шатобриане, о Викторе Гюго, кото-

рые все бывали у ее родителей и которых она видела тоже, смеялась над моим восхищением, рассказывала о них забавные подробности, как о каких-нибудь вельможах или политических деятелях, и строго судила этих писателей именно за отсутствие в них той скромности, того умения оставаться в тени, той сдержанности, которая довольствуется одним метким штрихом и не подчеркивает, которая более всего избегает комического велеречия, того уменья говорить кстати, того чувства меры в суждениях и простоты, до которых, как ей внушили в детстве, поднимается подлинно ценный человек; видно было, что она без колебания предпочитает им людей, которые, благодаря этим качествам, где-нибудь в салоне или в академии, в Совете министров, пожалуй, действительно имели преимущество перед Бальзаком, перед Гюго, перед Виньи — какого-нибудь Моле, Фонтана, Витроля, Берсо, Пакье, Лебрена, Сальванди или Дарю.

«Это все равно как романы Стендаля, которым вы как будто восхищаетесь. Вы очень удивили бы его, если бы заговорили с ним в этом духе. Мой отец, который встречался с ним у г-на Мериме, — у этого по крайней мере был талант, — часто говорил мне, что Бейль (такова его фамилия на

самом деле) был страшный пошляк, но бывал остроумен на обедах и много о себе не воображал как писатель. Впрочем, вы и сами знаете, как он пожал плечами в ответ на преувеличенные похвалы г-на де Бальзака. В этом отношении он, по крайней мере, был воспитанный человек». У нее были автографы всех этих великих людей, и она, основываясь на том, что они лично были знакомы с ее семьей, как будто считала, что ее суждение о них правильнее, чем суждения молодых людей, которые, подобно мне, не могли с ними встречаться. «Полагаю, что я вправе говорить о них, ведь они бывали у моего отца; а по словам г-на Сент-Бёва, человека очень умного, тут надо полагаться на людей, видевших их вблизи и имевших возможность составить более точное мнение об их достоинствах».

Порою, когда экипаж поднимался в гору по дороге, извивавшейся между пашнями, нас провожало несколько робких васильков, похожих на васильки Комбре и придававших этим полям большую реальность, служивших знаком их подлинности, вроде тех драгоценных цветочков, которыми старинные мастера иногда подписывали свои картины. Вскоре наши лошади обгоняли их, но через несколько шагов мы замечали уже

другой василек, который, ожидая нас, синей звездочкой появлялся перед нами из травы; некоторые отваживались даже подходить к самому краю дороги, и целый космос рождался из этих прирученных цветов, сочетавшихся с моими далекими воспоминаниями.

Мы спускались с холма; и тут нам попадались навстречу, поднимаясь в гору пешком, на велосипеде, в одноколке или в экипаже, живые существа — цветы ясного дня, отличавшиеся, однако, от цветов полей, ибо в каждом из них таится нечто, чего нет в другом, и что не позволит нам утолить с подобным ему желание, вызванное в нас одним из них, — какая-нибудь деревенская девушка, подгоняющая корову или полулежащая в своей тележке; дочь какого-нибудь лавочника, совершающая прогулку; какая-нибудь изящная барышня, сидящая на скамеечке ландо против своих родителей. Конечно, Блок открыл для меня новую эру и изменил в моих глазах ценность жизни в тот день, когда я узнал от него, что мечты, которые я лелеял в одиночестве во время моих прогулок в сторону Мезеглиза, надеясь, что появится крестьянка, которую я обниму, не были химерой, ничему не соответствовавшей вне меня, но что всякая встречная девушка, крестьянка

или горожанка, готова удовлетворить подобные желания. И если даже теперь, когда я был болен и не мог выходить один, мне не суждено было узнать их любовь, всё же я был счастлив, как ребенок, родившийся в тюрьме или в больнице и долгое время думавший, что человеческий организм переваривает только черствый хлеб и лекарства, когда он вдруг узнаёт, что персики, абрикосы, виноград служат не только украшением сельского пейзажа, но являются чудесной и здоровой пищей. Даже если тюремщик или больничный надзиратель не позволяет ему срывать эти прекрасные плоды, все же мир покажется ему чем-то лучшим, а жизнь — более милостивой. Ибо желание кажется нам более прекрасным и мы отдаемся ему с большим доверием, если знаем, что действительность, существующая вне нас, может удовлетворить его, хотя бы для нас оно и не было осуществимо. И мы с большей радостью думаем о такой жизни, в которой, стоит нам на мгновение мысленно устранить маленькое, случайное и частное препятствие, имеющее значение только для нас, — и утоление этого желания окажется для нас доступным. Что же касается красивых девушек, попадавшихся мне навстречу, то с того дня, как я узнал, что можно

целовать их щеки, мне захотелось узнать и их души. И мир стал больше занимать меня.

Экипаж г-жи де Вильпаризи катился быстро. Я едва успевал заметить девушку, шедшую нам навстречу; и все же — так как красота живого существа не похожа на красоту неодушевленную и так как мы чувствуем, что она принадлежит существу единственному, сознательному, одаренному волей, — едва только ее индивидуальность, смутный образ души, воля, неведомая мне, оставляла в ее рассеянном взгляде свое полное, хоть и волшебно уменьшенное отражение, — я сразу ощущал в себе, как если бы то был таинственный ответ пыльцы, уже готовой оплодотворить пестик, столь же смутный, крохотный зародыш желания не остаться незамеченным этой девушкой, не дать ее желаниям обратиться к другому, не дать ей уйти, прежде чем я покорю ее мысли и овладею ее сердцем. Тем временем наша коляска была уже далеко, красивая девушка оставалась позади, а так как она вовсе не обладала теми познаниями обо мне, которые созидают личность, то глаза ее, только что меня увидев, уже забывали меня. Не оттого ли она и казалась мне такой красивой, что я только мельком видел ее? Быть может. Прежде всего невозможность задержаться

в пути ради повстречавшейся женщины, опасение, что другой раз мы не увидим ее, внезапно придают ей такую прелесть, какую незнакомой стране придает болезнь или бедность, не позволяющая нам посетить ее, а тем тусклым дням, что нам осталось прожить, — сражение, в котором мы наверное погибнем. Таким образом, если бы не привычка, жизнь должна была бы казаться чудесной этим существам, которым каждый час угрожает смерть, — то есть всем людям. Далее, если фантазия увлечена несбыточным желанием, полет ее не замыкается в пределы реальности, явившейся нам в минуты этих встреч, когда очарование прохожей стоит обычно в прямой связи с краткостью впечатления; если надвигается ночь, а экипаж быстро катится, будь то в деревне или в городе, — каждый женский торс, хотя бы он, подобно мрамору античной статуи, был изувечен быстротой увлекающего нас движения и поглощающим его сумраком, пронзает наше сердце — на каждом перекрестке, из недр любой лавки — стрелами красоты, той красоты, что иногда заставляет нас ставить себе вопрос, не является ли она в этом мире всего-навсего каким-то привеском, которым наделяет виденную мельком и неуловимую незнакомку наша фантазия, разго-

ряченная сожалением.

Если бы я мог выйти из коляски и заговорить с девушкой, идущей навстречу, я, пожалуй, был бы разочарован каким-нибудь недостатком ее кожи, которого не заметил из экипажа. (Тогда всякое усилие проникнуть в ее жизнь мне сразу показалось бы невозможным. Ибо красота есть цепь гипотез, которым кладет предел безобразие, заграждая уже открывавшуюся перед нами дорогу в неизвестное.) Может быть, слово, сказанное ею, ее улыбка дали бы мне ключ, явились бы неожиданной разгадкой выражения ее лица, ее походки, которые сразу же стали бы заурядными. По всей вероятности, это так, ибо никогда в жизни я не встречал девушек более чарующих, чем в те дни, когда находился в обществе какого-нибудь солидного лица, с которым, несмотря на тысячи поводов, измышляемых мною, никак не мог развязаться; однажды, через несколько лет после первого пребывания в Бальбеке, катаясь в коляске с приятелем моего отца в Париже и заметив в ночном сумраке быстро шедшую женщину, я решил, что неразумно из соображений приличия терять в этой жизни, очевидно единственной, какая может быть, свою долю счастия, и, не извинившись, выскочил из экипажа, пу-

стился в поиски за незнакомкой, потерял ее на перекрестке двух улиц, снова нашел в третьей и наконец, совершенно запыхавшись, столкнулся где-то под фонарем лицом к лицу со старухой Вердюрен, которую везде избегал и которая радостно и удивленно воскликнула: «Ах, как это мило, что вы бежали мне навстречу, чтоб поздороваться».

В том году, в Бальбеке, если случались такие встречи, я уверял бабушку и г-жу де Вильпаризи, что у меня сильно болит голова и я лучше вернусь пешком, один. Они не позволяли мне выйти из экипажа. И красивую девушку (разыскать которую было гораздо труднее, чем, например, достопримечательное здание, ибо она была безымянна и подвижна) я присоединял к коллекции всех тех, которых решил разглядеть вблизи. Всё же одна из них попалась мне вторично и при таких условиях, которые показались мне благоприятными для того, чтобы познакомиться с ней как следует. Это была молочница, которая однажды принесла в гостиницу сливки. Я подумал, что она тоже узнала меня, и действительно, она глядела на меня с вниманием — но, может быть, только оттого, что ее удивило внимание к ней, проявленное мною. И вот на другой день Франсуаза, войдя в мою комнату около полудня, чтобы

раздвинуть занавески, так как я все утро провел в постели, подала мне письмо, оставленное для меня в гостинице. Я никого не знал в Бальбеке. Я не сомневался в том, что это письмо — от молочницы. Увы, оно было только от Бергота, который, будучи здесь проездом, хотел видеть меня, но, узнав, что я сплю, оставил мне очаровательную записку, которую лифтер положил в конверт, надписанный, как мне показалось, рукой молочницы. Я был страшно разочарован, и мысль, что более трудно и более лестно получить письмо от Бергота, нисколько не утешала меня. А девушку эту я больше не встречал, подобно и тем, которых мне приходилось видеть только из коляски г-жи де Вильпаризи. Встречи с ними и утрата их всех усиливали возбуждение, в котором я жил, и мне казалось, что в известной мере правы философы, советующие нам умерять наши желания (конечно, если они имеют в виду желания, направленные на живые существа, ибо только они и могут порождать тревогу, так как относятся к неведомому, наделенному сознанием; было бы слишком нелепо предполагать, что философия имеет в виду желание богатства). Всё же я склонен был признать эту мудрость несовершенной, ибо говорил себе, что такие встречи делают для

меня еще более прекрасным этот мир, в котором на всех сельских дорогах растут диковинные и вместе с тем простые цветы, неуловимые сокровища дня, трофеи прогулки, которыми я не мог насладиться только по вине случайных, не всегда же повторяющихся обстоятельств и которые придают жизни новую прелесть.

Но, быть может, надеясь, что когда-нибудь, когда я буду более свободным, я на других дорогах встречу таких же девушек, я уже искажал то индивидуальное своеобразие, которое присуще желанию жить вблизи женщины, показавшейся нам красивой, и допуская возможность вызвать его искусственно, я тем самым признавал его призрачность.

В тот день, когда г-жа де Вильпаризи повезла нас в Карквиль, где находилась та заросшая плющом церковь, о которой она рассказывала нам и которая, будучи расположена на вершине холма, возвышалась над деревней и протекавшей через нее речкой с уцелевшим до сих пор маленьким средневековым мостом, бабушка, думая, что мне приятно будет остаться одному, чтобы осмотреть здание, предложила своей приятельнице зайти закусить в кондитерскую на площади, которая видна была совершенно отчетливо и, благодаря

золотистому налету, казалась составной частью некоего насквозь старинного предмета. Было условлено, что за ними я зайду туда. Чтобы в этом массиве зелени, который мне предоставили рассматривать, узнать очертания церкви, надо было сделать усилие, заставившее меня точнее уяснить себе идею церкви; действительно, подобно ученику, который полнее улавливает смысл фразы, если путем перевода на родной язык или с родного на иностранный ему приходится лишить ее привычных для него форм, я все время должен был обращаться к этой идее церкви, в которой обычно не чувствовал никакой надобности, глядя на колокольни, сами открывавшие мне свою сущность; иначе я бы не сообразил, что этот густолиственный свод плюща соответствует своду стрельчатого окна, а тот ветвистый выступ обязан своим происхождением рельефу карниза. Но вот налетал легкий ветерок, колебля изменчивый церковный портал, по которому, расходясь кругами и дрожа, как лучи света, проносилась зыбь; листья набегали друг на друга и трепещущая зеленая стена увлекала за собой волнистые, ускользающие от ласки ветра колонны.

Отойдя от церкви, у старого моста я увидел деревенских девушек, которые, должно быть по

случаю воскресенья, принарядились и собрались здесь, окликая проходивших мимо парней. Была среди них одна, высокого роста, одетая хуже, чем остальные, но словно обладавшая каким-то преимуществом перед ними, потому что она едва отвечала на то, что они ей говорили, более серьезная и более властная, и сидела она, свесив ноги, на перилах моста, возле небольшого горшка, наполненного рыбой, которую, вероятно, она только что наловила. Кожа у нее была смуглая, глаза кроткие, но взгляд выражал презрение к окружающему, носик был маленький, тонкий, очаровательный. Взглядом я касался ее кожи, а мои губы, на худой конец, могли утешаться, что они следуют за моим взглядом. Но я хотел приблизиться не только к ее телу, но также и к тому существу, которое жило в нем и соприкоснуться с которым, проникнуть в которое можно было, только обратив на себя ее внимание, заняв место в ее мыслях.

И это существо, таившееся в красавице-рыбачке, казалось недостижимым для меня, я сомневался, удалось ли мне в него проникнуть, даже когда я заметил свой собственный образ, тайком отразившийся в зеркале ее взгляда по закону преломления лучей, столь же непонят-

ному для меня, как если бы я оказался в поле зрения лани. Но если я не удовлетворился бы тем, что губы мои узнают сладость ее губ, а хотел бы, чтобы и им они дали наслаждение, то мне хотелось также, чтобы мысль обо мне, проникнув в это существо, укрепившись в нем, привлекла ко мне не только ее внимание, но и ее восхищение, породила в ней желание и заставила ее хранить память обо мне вплоть до того дня, когда я смогу вновь ее встретить. Между тем уже в нескольких шагах была площадь, где поджидал меня экипаж г-жи де Вильпаризи. Мне оставался какой-нибудь миг; и я уже чувствовал, что моя неподвижность начинает смешить девушек. В кармане у меня было пять франков. Я вынул их и, прежде чем изложить красивой девушке поручение, которое собирался ей дать, подержал некоторое время монету перед ее глазами в надежде, что она внимательнее меня выслушает.

— Так как, очевидно, вы здешняя, — сказал я рыбачке, — то не будете ли вы добры исполнить для меня маленькое поручение? Надо будет дойти до кондитерской, которая, кажется, на площади, только я не знаю, где это, и там меня ждет коляска. Погодите… Чтобы не перепутать, вы спросите, не это ли коляска маркизы де Вильпаризи. Впрочем,

вы и сами увидите: она запряжена парой.

Вот это я хотел ей сказать, чтобы возвыситься в ее глазах. Но когда я произнес слова: «маркиза» и «пара лошадей», я внезапно почувствовал огромное успокоение. Я почувствовал, что рыбачка запомнит меня, и вместе с боязнью, что я не смогу встретиться с ней вновь, отчасти рассеялось и мое желание вновь увидеть ее. Мне казалось, что я незримыми устами прикоснулся к ней и что я ей понравился. И это насильственное покорение ее духа, это невещественное обладание в такой же степени лишили ее таинственности, как если бы это было обладание физическое.

В коляске мы спустились с холма в сторону Гюдимениля; внезапно я почувствовал прилив того глубокого счастья, которое не часто случалось мне испытывать после Комбре, счастья, подобного тому, которое я ощутил, глядя на колокольни Мартенвиля. Но на этот раз оно было неполное. Поодаль от бугристой дороги, по которой мы ехали, я заметил три дерева, очевидно, служившие прежде началом тенистой аллеи и сливавшиеся в рисунок, который я видел не в первый раз; я не мог вспомнить ту местность, из которой они словно были выхвачены, но я чувствовал, что когда-то она была родной для меня; словом, мое

сознание споткнулось в этом промежутке между далеким прошлым и настоящей минутой, окрестности Бальбека заколебались, и я задал себе вопрос, не иллюзия ли вся эта прогулка, Бальбек же — место, где я бывал только в воображении, г-жа де Вильпаризи — персонаж из романа; зато эти три старые дерева — действительность, к которой мы возвращаемся, отрывая глаза от книги, рисовавшей нам другую обстановку с такой убедительностью, что мы совсем туда перенеслись.

Я смотрел на эти три дерева, я видел их, но разум мой чувствовал, что за ними скрывается нечто такое, над чем он не властен, нечто похожее на те слишком далеко поставленные предметы, которых мы не в силах охватить, так что, вытянув руку, мы, самое большее, можем лишь коснуться пальцами их поверхности. Мы делаем передышку на минуту, чтобы сильнее размахнуться, чтобы дальше закинуть руку. Но для того, чтобы разум мой мог таким образом сосредоточиться, взять разбег, мне нужно было остаться одному. Как хотелось мне свернуть с дороги, словно во время прогулок в сторону Германта, когда я отставал от моих родных! Мне даже казалось, что я должен это сделать. Я узнавал то особое наслаждение, которое требует, правда, известной работы мыс-

ли, но в сравнении с которым прелесть безделья, заставляющего вас отказаться от него, кажется такой ничтожной. Это наслаждение, предмет которого я только предчувствовал и должен был созидать сам, мне доводилось испытывать очень редко, но каждый раз мне при этом казалось, что события, случившиеся в промежутке, не имеют никакого значения и что, сосредоточившись на этой единственной реальности, я смогу наконец начать подлинную жизнь. Я на мгновение заслонил глаза рукой, чтобы иметь возможность закрыть их, не привлекая внимания г-жи де Вильпаризи. Я сидел, не думая ни о чем; потом, вновь собрав и крепче схватив мою мысль, я бросился с нею (мысленно же) по направлению к деревьям или, вернее, по пролегающему во мне самом пути, в конце которого я их видел. Я снова почувствовал, что за ними скрывается тот же знакомый, но смутный предмет, который я был не в силах вернуть себе. Между тем по мере того, как экипаж катился дальше, эти три дерева приближались. Где я уже смотрел на них? В окрестностях Комбре не было ни одной аллеи, которая начиналась бы вот так. Уголка, который они напоминали мне, не встречалось и в той местности в Германии, куда я однажды

ездил с бабушкой на воды. Уж не относились ли они к столь далеким годам моей жизни, что пейзаж, окружавший их, совершенно исчез из моей памяти и подобно страницам, которые вдруг с волнением открываешь в книге, кажется, никогда тобой не читанной, они одни сохранились в забытой книге моего раннего детства? Или же, напротив, они принадлежали пейзажам сновидений, всегда одинаковым, по крайней мере для меня, ибо их странные очертания были только объективацией во сне того усилия, которое я делал, пока еще не спал, стараясь или проникнуть в тайну местности, предчувствуемой мною за ее внешним обликом, как это со мною случалось, и столь часто, во время прогулок в сторону Германта, или воссоздать эту тайну и оживить ею край, который мне хотелось знать и который с того дня, когда он делался мне знаком, утрачивал для меня всякую значительность, как, например, Бальбек? Не был ли это образ, только что оторвавшийся от сна, который я видел прошлой ночью, но который до того уже потускнел, что казался мне чем-то гораздо более давним? Или же я никогда не видел их, и, подобно иным деревьям, иным травам, виденным вблизи Германта, они таили смысл столь же темный, столь же трудно уловимый, как

и далекое прошлое, так что, побуждаемый ими углубиться в мысли, я думал, будто вспоминаю забытое? А может быть, даже никакой мысли не скрывалось за ними, и только усталость зрения заставляла их двоиться во времени, подобно тому как иногда предмет двоится в пространстве? Я не знал. Между тем они приближались ко мне — точно мифическое видение, хоровод ведьм или норн-прорицательниц. Мне скорее казалось, что это призраки прошлого, милые товарищи моего детства, исчезнувшие друзья, взывающие к общим для нас воспоминаниям. Подобно теням, они как будто молили меня взять их с собою, вернуть к жизни. В их наивной и страстной жестикуляции мне чудилась бессильная скорбь любимого существа, утратившего дар речи, чувствующего, что оно не сможет сказать нам то, что ему хочется и что мы не умеем отгадать. Вскоре, миновав перекресток, наша коляска их покинула. Она уносила меня вдаль, разлучая с тем, что мне казалось единственно истинным, что дало бы мне настоящее счастье; она была подобна моей жизни.

Я увидел, как деревья стали удаляться, в отчаянии замахав руками, точно хотели мне сказать: «Того, что сегодня ты не узнал от нас, тебе не

узнать никогда. Если ты дашь нам снова погрузиться в эту глушь, откуда мы тянулись к тебе, то немалая часть твоего «я», которую мы тебе приносили, навсегда канет в небытие». Действительно, если мне впоследствии и пришлось снова испытать это наслаждение и это беспокойство, которое я еще раз ощутил тогда, и если как-то вечером — слишком поздно, но уже навсегда — я отдался ему, то об этих деревьях, о том, что они хотели мне сказать про то, где я их видел, мне в наказание никогда ничего не удалось узнать. И когда экипаж свернул в сторону и я перестал видеть их, так как сидел спиною к ним, а г-жа де Вильпаризи спросила меня, отчего я задумчив, мне стало так грустно, словно я только что потерял друга, умер сам, отрекся от покойника или изменил некоему богу.

Пора было думать о возвращении. Г-жа де Вильпаризи, которая по-своему чувствовала природу, хоть и не с такой живостью, как моя бабушка, умея, однако, даже вне стен музеев и аристократических домов ценить простую и величавую красоту иных старинных вещей, велела кучеру ехать старой бальбекской дорогой, довольно безлюдной, но обсаженной старыми вязами, которые вызывали наше восхищение.

Ознакомившись с этой старой дорогой, мы ради разнообразия возвращались потом по другой, проходившей через леса Шантрен и Кантлу, если только в тот день мы уже не проезжали по ней. Оттого, что бесчисленные птицы, перекликавшиеся друг с другом среди деревьев совсем близко от нас, были невидимы нам, создавалось ощущение покоя, который испытываешь, закрыв глаза. Прикованный к скамеечке коляски, как Прометей к своей скале, я слушал моих Океанид. И когда мне случалось заметить одну из этих птиц, появлявшихся среди листвы, между нею и этими песнями было так мало видимой связи, что мне не верилось, будто их источник — это маленькое, скачущее, удивленное тельце без взгляда.

Дорога эта, подымавшаяся довольно круто и медленно спускавшаяся снова, была похожа на другие дороги в этом же роде, каких много во Франции. В то время я не находил в ней особой прелести, я только был доволен, что мы возвращаемся домой. Но впоследствии она превратилась для меня в источник радостей, оставшись в моей памяти чем-то вроде приманки, так как от нее тотчас же ответвляются в неразрывной последовательности все подобные ей дороги, по которым мне приходилось проезжать с тех пор, и благо-

даря ей они могут сразу найти доступ к моему сердцу. Ибо стоило только моему экипажу или автомобилю выехать на одну из этих дорог, казавшихся продолжением той, по которой мы ездили с г-жой де Вильпаризи, — и мое сознание тотчас же находило поддержку, словно это было самое недавнее прошлое (так как все годы, протекшие с тех пор, для меня исчезали), во впечатлениях, оставшихся у меня от этих прогулок в окрестностях Бальбека в вечерние часы, когда листья благоухали, подымался туман и за ближней деревней сквозь ветви деревьев был виден закат, точно некая отдаленная лесистая местность, куда вам не добраться в этот вечер. Сочетаясь с впечатлениями, которые я получал в других краях на сходных дорогах, окружаясь всеми сопутствующими ощущениями, одинаковыми в обоих случаях, — чувством незатрудненного дыхания, любопытства, лени, аппетита, веселости, — и исключая все другие, впечатления эти усиливались, превращались в устойчивый своеобразный вид наслаждения, в оправу для форм существования, к которым мне хотя и редко приходилось возвращаться, но в которых, благодаря проснувшимся воспоминаниям, действительность, физически ощутимая, смешивалась с

немалой долей действительности воскрешенной, призрачной, неуловимой, вызывая во мне, пока я проезжал по этим местностям, нечто большее, чем эстетическое чувство, — мимолетное, но страстное желание остаться жить здесь навсегда. Сколько раз одна только возможность вдохнуть этот запах листьев, сесть на скамеечку в коляске г-жи де Вильпаризи, встретиться с принцессой Люксембургской, приветствовавшей ее из своего экипажа, вернуться к обеду в Гранд-отель представлялась мне потом таким несказанным счастьем, которого ни настоящее, ни будущее не могут нам вернуть и которое вкушаешь только раз в жизни.

Нередко темнота наступала, пока мы еще были в пути. Я робко цитировал г-же де Вильпаризи, показывая на Луну, какое-нибудь прекрасное выражение Шатобриана, или Виньи, или Виктора Гюго: «И тайну древнюю печали расточала», или «Диана слезы льет на берегу ручья», или «И брачной пышности был полон этот мрак».

— И, по-вашему, это прекрасно? — спрашивала она меня. — Гениально, как вы говорите? Скажу вам, меня всегда удивляет, когда я вижу, что теперь всерьез принимают разные вещи, которые друзья этих господ, хотя и отдавая пол-

ную справедливость их качествам, первые же и вышучивали. В то время не расточали слово «гений», как теперь, когда писатель, если вы ему скажете, что у него есть талант, принимает это за оскорбление. Вы мне приводите звонкую фразу г-на де Шатобриана о лунном свете. Вы увидите, что у меня есть основания для возражений. Г-н де Шатобриан очень часто бывал у моего отца. Он, впрочем, был приятный гость, когда не было никого другого, потому что тогда он держался просто и умел развлекать, но как только появлялся кто-нибудь другой, он начинал рисоваться и становился смешон; в присутствии моего отца он утверждал, что сам потребовал от короля своей отставки и руководил конклавом, забывая, что моему же отцу он поручил умолять короля, чтобы тот снова принял его на службу, и что мой отец слышал, какие нелепости он предсказывал по поводу избрания Папы. Надо было послушать, как говорил об этом знаменитом конклаве г-н Блакас, человек, совершенно не похожий на г-на де Шатобриана. Что же касается его фраз о лунном свете, то они у нас дома просто-напросто превратились в своего рода повинность. Если вечер был лунный и если кто-нибудь был впервые у нас в гостях, ему советовали пройтись с

г-ном де Шатобрианом, подышать воздухом после обеда. Когда они возвращались, мой отец всегда отводил гостя в сторону: «Г-н де Шатобриан был красноречив?» — «О да!» — «Он говорил с вами о лунном свете?» — «Да. Как это вы знаете?» — «Погодите, не говорил ли он вам…» — и он цитировал ему эту фразу. — «Да, но каким чудом..?» — «И он еще рассказывал вам о лунном свете в римской Кампанье?» — «Да вы чародей!» Мой отец не был чародеем, но г-н де Шатобриан подносил всегда один и тот же совершенно готовый отрывок.

Услышав имя Виньи, она засмеялась:

— Тот, что говорил: «Я граф Альфред де Виньи». Можно быть графом и можно не быть графом, это не имеет никакого значения.

И все же, пожалуй, она считала, что хоть некоторое значение это имеет, ибо прибавляла:

— Прежде всего, я не уверена, что он им был, и был он, во всяком случае, происхождения весьма неважного, этот господин, рассуждавший в стихах о своем «дворянском гербе с перьями». Какой тонкий вкус, и как это интересно для читателя! Совсем как Мюссе, обыкновенный парижский буржуа, который с пафосом говорил: «Золотой ястреб, украшающий мой шлем». Настоящий аристократ никогда не скажет такой вещи. Мюс-

се, как поэт, имел по крайней мере талант. Но из произведений г-на де Виньи я, за исключением «Сен-Мара», ничего не в силах была прочесть, книга от скуки вываливается из рук. Г-н Моле, который в такой же степени отличался умом и тактом, в какой г-н де Виньи — отсутствием их, основательно отделал его, принимая его в Академию. Как, вы не знаете его речи? Это классический образец лукавства и дерзости.

Бальзаку, которым, к ее удивлению, восхищались ее племянники, она ставила в упрек, что он взялся описывать общество, «где его не принимали» и о котором он нарассказал тысячи несуразиц. По поводу Виктора Гюго она сообщила нам, что г-н де Буйон, ее отец, у которого были друзья среди романтической молодежи, попал, благодаря им, на первое представление «Эрнани», но не смог выдержать до конца, настолько смешными показались ему стихи этого писателя, одаренного, но не знавшего меры и получившего звание великого поэта только в силу сделки, в награду за небескорыстную снисходительность, которую он проявил по отношению к опасным бредням социалистов.

Нам уже видна была гостиница, видны были ее огни, такие враждебные в вечер приезда,

теперь покровительственные и нежные, провозвестники домашнего очага. И когда коляска подъезжала к подъезду, швейцар, грумы, лифтер, услужливые, наивные, чуть обеспокоенные нашим опозданием, толпившиеся в ожидании на ступеньках, попадали в силу привычки в разряд тех существ, которые столько раз сменяются в нашей жизни, подобно тому как меняемся и мы сами, но в которых в тот момент, когда они на время становятся зеркалом наших привычек, мы с отрадой узнаем свое точное и дружелюбное отражение. Мы предпочитаем их друзьям, которых давно не видели, потому что они теснее связаны с той личностью, какой мы являемся в настоящее время. И только «курьера», выставленного весь день на солнце, убирали внутрь, в застекленный вестибюль, укрывали от вечерней прохлады, закутывали шерстяными тканями, которые, в сочетании с поникшими прядями его оранжевых волос и с необыкновенным румянцем его щек, приводили на ум оранжерейное растение, спрятанное от холода. Мы выходили из коляски, причем помогать нам бросалось гораздо больше слуг, чем то было нужно, но они чувствовали важность сцены и считали своим долгом сыграть в ней какую-нибудь роль. Я бывал страшно

голоден. Поэтому, чтобы не задержаться перед обедом, я часто не возвращался в свою комнату, которая в конце концов стала по-настоящему моею — настолько, что, глядя на эти длинные лиловые занавеси и низкие книжные шкафы, я чувствовал себя снова наедине с самим собою — с тем существом, отражение которого я находил не только в людях, но и в предметах, — и мы все вместе оставались в вестибюле, ожидая, когда метрдотель выйдет сказать нам, что обед подан. Тут мы опять имели случай послушать г-жу де Вильпаризи.

— Мы злоупотребляем вашей любезностью, — говорила бабушка.

— Что вы, я очень рада, я в восторге, — отвечала ее приятельница, ласково улыбаясь, растягивая слова, придавая им певучесть, которая контрастировала с ее обычной простотой.

Дело в том, что в эти минуты она действительно становилась неестественной, вспоминала о своем воспитании, об аристократичности, которая должна проявляться в манерах великосветской дамы, когда она простым буржуа выражает удовольствие от встречи с ними, показывая им, что она не спесива. Единственное, в чем сказывался у нее недостаток подлинной вежливости, была

ее чрезмерная вежливость, профессиональная черта дамы из Сен-Жерменского предместья, которая, предвидя, что в том или ином буржуа ей когда-нибудь придется вызвать недовольство, жадно пользуется каждым случаем внести что-нибудь на кредит в счете своей любезности по отношению к нему, так как в будущем это позволит ей поставить на дебет обед или раут, на который она его не пригласит. Так дух касты, раз навсегда подчинив ее своему влиянию и не считаясь с тем, что обстоятельства теперь изменились, что люди стали другими и что в Париже ей захочется почаще видеть нас у себя, заставлял г-жу де Вильпаризи с лихорадочным рвением, как будто срок, отпущенный ей на любезность, был краток, постоянно посылать нам, пока мы были в Бальбеке, розы и дыни, давать книги, приглашать кататься вместе с нею и заниматься излияниями дружеских чувств. Вот почему — в такой же мере, как ослепительный блеск пляжа, как многокрасочное сверкание и подводное освещение, царившее в комнатах отеля, даже в такой же мере, как уроки верховой езды, благодаря которым сыновья коммерсантов превращались в богоподобных существ вроде Александра Македонского, — каждодневная любезность г-жи

де Вильпаризи, а также та мгновенная, летняя легкость, с какой бабушка отзывалась на нее, остались в моем воспоминании в качестве характеристических черт курортной жизни.

— Отдайте же ваши пальто, пусть их снесут наверх.

Бабушка отдавала их управляющему, который бывал так мил со мной, и это бесцеремонное обращение, видимо, неприятное ему, приводило меня в отчаяние.

— Этот господин как будто обижен, — говорила маркиза. — Вероятно, он считает себя слишком большим аристократом, чтобы взять ваши шали. Помню, однажды, когда я была еще совсем маленькой и мой отец занимал верхний этаж в нашем фамильном особняке, к нам пришел герцог Немурский с толстой кипой писем и газет подмышкой. Я как сейчас вижу принца в синем фраке на фоне нашей двери с деревянными украшениями — кажется, эти вещи делал Багар, знаете, тонкие палочки, такие гибкие, что этот мастер придавал им форму цветов и бантиков, как будто это были ленты, которыми связывают букет. «Вот, Сирюс, — сказал он моему отцу, — это мне поручил передать вам ваш консьерж. Он сказал мне: Раз вы идете к господину графу,

мне подыматься не стоит; но только смотрите, чтоб веревочка не разорвалась». А теперь, когда вы освободились от своих вещей, садитесь, вот сюда, — говорила она моей бабушке, беря ее за руку.

— О, если только вам все равно, то не в это кресло! Для двоих оно слишком маленькое, но слишком велико для меня одной. Мне в нем будет не по себе.

— Вы заставили меня вспомнить о совершенно таком же кресле, которое долго стояло у меня и с которым мне в конце концов пришлось расстаться, потому что оно было подарено моей матери несчастной герцогиней де Прален. Моя мать, хотя и отличавшаяся величайшей простотой, но державшаяся взглядов другого века, которые и мне уже не были вполне понятны, сперва не пожелала представиться г-же де Прален, которая до замужества была всего лишь девицей Себастиани, а г-жа де Прален, став герцогиней, считала, что ей не подобает представляться первой. И действительно, — прибавила г-жа де Вильпаризи, забыв, что ей непонятны подобные тонкости, — если бы она была всего лишь г-жа де Шуазель, ее притязания были бы вполне обоснованны. Шуазели — самая высшая аристократия, их род идет от сестры

короля Людовика Толстого, они были настоящие монархи в Базиньи. Я признаю, что наш род знаменитее и что в нем были более блистательные браки, но степень древности почти одна и та же. Эти сомнения насчет первенства вызвали ряд комических инцидентов, как, например, завтрак, который был подан с опозданием больше чем на час, пока одна из этих дам не согласилась, чтоб ее представили. Несмотря на это, они очень подружились, и герцогиня подарила моей матери кресло вроде вот этого, в которое, подобно вам сейчас, никто не соглашался сесть. Однажды моя мать слышит, как во двор въезжает карета. Она спрашивает кого-то из прислуги, кто это. «Герцогиня де Ларошфуко, ваше сиятельство». — «А, хорошо, я приму ее». Проходит четверть часа, никого. «Ну, а герцогиня де Ларошфуко? Где же она?» — «Она на лестнице, ваше сиятельство, всё пыхтит», — говорит лакей, только недавно вывезенный из деревни, где моя мать имела похвальное обыкновение выбирать себе прислугу. Многие из них родились на ее глазах. Только таким путем и можно приобрести честных слуг, а это величайшая роскошь. Герцогине де Ларошфуко, действительно, подыматься было трудно, так как она была огромная, такая огромная, что, ко-

гда она вошла, моя мать забеспокоилась, не зная, куда ее усадить. В эту минуту ей бросилось в глаза кресло, подаренное г-жой де Прален. «Прошу вас, садитесь», — сказала моя мать, пододвинув ей кресло. И герцогиня целиком заполнила его. Несмотря на свою дородность, она была еще довольно привлекательна. «Она все же производит впечатление, когда входит в комнату», — сказал один из наших друзей. «Впечатление она производит главным образом тогда, когда выходит из нее», — ответила моя мать, допускавшая в разговоре больше вольности, чем принято теперь. Даже в доме у г-жи де Ларошфуко гости не стесняясь подшучивали над ее телосложением, и она же первая смеялась. «Неужели вы один дома? — спросила однажды г-на де Ларошфуко моя мать, приехав с визитом к герцогине и не заметив его жены, которая оставалась в глубине комнаты, в то время как он вышел навстречу. — Разве г-жи де Ларошфуко нет дома? Я не вижу ее». — «Вы слишком любезны!» — отвечал герцог, высказывавший самые ошибочные суждения, какие мне когда-либо приходилось слышать, но не лишенный известного остроумия.

После обеда, вернувшись вместе с бабушкой к себе наверх, я начинал убеждать ее, что досто-

инства, очаровавшие нас в г-же де Вильпаризи: такт, тонкость, скромность, умение держаться в тени, — может быть, и не особенно уж ценны, поскольку те, кто обладал ими в высшей степени, были всего-навсего какие-то Моле или Ломени, и что, хотя отсутствие их может быть неприятно в повседневном общении с людьми, оно не помешало стать тем, чем они были, Шатобриану, Виньи, Гюго, Бальзаку, честолюбцам, неспособным правильно судить, которых столь же легко было высмеять, как, например, Блока… Но, услышав имя Блока, бабушка начинала протестовать. И расхваливала мне г-жу де Вильпаризи. Подобно тому, как, говорят, интересы рода определяют симпатии людей и, дабы ребенок отличался самым правильным телосложением, заставляют тощих женщин тяготеть к толстым мужчинам, а толстых женщин — к мужчинам тощим, так и беспокойство о моем счастье, которому угрожала моя нервность, моя болезненная склонность к тоске и одиночеству, невольно заставляло бабушку отдавать предпочтение таким качествам, как уравновешенность и рассудительность, присущим не только г-же де Вильпаризи, но вообще обществу таких людей, среди которых я мог бы найти развлечение и успокоение, обществу, по-

добному тому, где некогда цвел ум Дудана, г-на де Ремюза, не говоря о г-же Босержан, о Жубере, о г-же де Севинье, ум, вносящий в жизнь больше счастья, больше достоинства, чем противоположные им утонченности, приведшие Бодлера, По, Вердена, Рембо к страданиям, к позору, которых бабушка не желала для своего внука. Я прерывал бабушку, чтобы расцеловать ее, и спрашивал, заметила ли она ту или иную сказанную г-жой де Вильпаризи фразу, в которой видна женщина, дорожащая своим происхождением больше, чем она в этом сознавалась. Так я приносил на суд бабушки мои впечатления, ибо степень уважения, какой заслуживал тот или иной человек, уяснялась мной лишь после ее указаний. Каждый вечер я делился с ней накопившимися за день мысленными зарисовками всех этих несуществующих людей, которые не были ею. Однажды я ей сказал: «Я не мог бы жить без тебя». — «Но ведь нельзя же, — взволнованно ответила она мне. — Надо закалять свое сердце. Иначе что бы сталось с тобой, если бы я уехала! Я, напротив, надеюсь, что ты будешь вести себя вполне благоразумно и будешь счастлив».

— Я бы мог вести себя благоразумно, если б ты уехала на несколько дней, но я бы считал

каждый час.

— Но если бы я уехала на несколько месяцев… — сердце у меня сжалось, — на несколько лет… на…

Мы оба замолчали. Мы не смели взглянуть друг на друга. Все же ее тревога мучила меня еще больше, чем моя собственная. И я подошел к окну и отчетливо сказал, отвернувшись:

— Ты знаешь, как я умею привыкать. Первые дни после разлуки с самыми любимыми людьми я чувствую себя несчастным. Но, не переставая любить их по-прежнему, я привыкаю, жизнь моя становится спокойной, тихой; я бы мог вынести разлуку с ними несколько месяцев, несколько лет…

Мне пришлось замолчать и стать уже совсем лицом к окну. Бабушка на минуту вышла из комнаты, но на другой день я начал разговор о философии тоном самым равнодушным, однако так, чтобы бабушка обратила внимание на смысл моих слов; я сказал, что любопытная вещь — крах материализма, по-видимому, наступивший после новейших научных открытий, и что все-таки самое вероятное — это бессмертие душ и их грядущее соединение.

Г-жа де Вильпаризи предупредила нас, что

скоро она лишена будет возможности видеться с нами так часто. Один из ее молодых племянников, готовящийся в Сомюр и находящийся теперь со своим полком по соседству с нами, в Донсьере, собирается приехать к ней на отпуск, провести здесь несколько недель, и она должна будет уделять ему много времени. Во время прогулок она восхваляла нам его большой ум, а главное — доброту; я уже воображал, что он почувствует ко мне симпатию, что я стану его лучшим другом, а когда, перед самым его приездом, его тетка дала понять моей бабушке, что он, к несчастью, попал в лапы дурной женщины, от которой он без ума и которая его не выпустит, я, будучи уверен, что подобная любовь роковым образом кончается умственным помешательством, преступлением и самоубийством, и думая о том, какой короткий срок положен нашей дружбе, уже так прочно укоренившейся в моем сердце, хоть я еще и не видел его, оплакивал эту дружбу и несчастья, ожидавшие его, как оплакивают любимого человека, о котором нам сообщили, что он опасно болен и что дни его сочтены.

Однажды, в сильную жару, во второй половине дня, когда я сидел в столовой гостиницы, погруженной в полумрак, ибо на окнах были спущены

занавески, которые должны были защищать ее от солнца, окрашивавшего их в желтый цвет, и сквозь щели которых мерцала морская синева, — в центральном пролете между пляжем и дорогой появился высокий, тонкий молодой человек, с открытой шеей, с горделиво поднятой головой, с глубоким взглядом и такой светлой кожей, такими золотистыми волосами, как будто они поглотили все солнечные лучи. Одетый в костюм из мягкой беловатой ткани, которую, по моим представлениям, ни один мужчина не осмелился бы носить и тонкость которой не менее отчетливо, чем прохлада в столовой, напоминала о жаре и ясной погоде, он шел быстро, глаза его были такого же цвета, как море, и с одного из них ежеминутно сваливался монокль. Все с любопытством смотрели на него: известно было, что молодой маркиз де Сен-Лу-ан-Бре славится своей элегантностью. Во всех газетах описывался костюм, в котором недавно он в качестве секунданта присутствовал на дуэли герцога д'Юзеса. Казалось, что совершенное своеобразие его волос, его глаз, его кожи, его осанки, благодаря которому его удалось бы отличить в людской толпе, как узнают драгоценный прожилок голубого лучистого опала, защемленного в грубой породе,

должно соответствовать жизни, не похожей на жизнь других людей. И поэтому, когда еще до той связи, на которую сетовала г-жа де Вильпаризи, самые хорошенькие среди великосветских женщин оспаривали его друг у друга, его появление где-нибудь на морском курорте рядом с модной красавицей, за которой он ухаживал, не только выдвигало ее на первый план, но привлекало внимание и к нему в такой же степени, как и к ней. Его «шик», дерзость молодого «льва», а главное, его необыкновенная красота побуждали некоторых находить в нем известную женственность, но это не ставилось ему в упрек, потому что было известно, какой он мужественный и как страстно он любит женщин. Это и был племянник г-жи де Вильпаризи, о котором она нам рассказывала. Я был в восторге от мысли, что несколько недель проведу в его обществе, и не сомневался, что он проявит ко мне самое дружеское расположение. Он быстро прошел по гостинице, как будто в погоне за своим моноклем, порхавшим перед ним, точно бабочка. Он пришел с пляжа, и море, заполнявшее до половины застекленную стену вестибюля, служило для него фоном, на котором он выделялся во весь рост, как на тех портретах, где художники, ни в чем не

погрешая, как им кажется, против самых точных наблюдений над действительностью, выбирают для своей модели соответствующее обрамление — лужайку для игры в поло или в гольф, ипподром, палубу яхты, дают современный эквивалент тех полотен старинных мастеров, где человеческая фигура изображалась на переднем плане ландшафта. Экипаж, запряженный парой, ждал его у подъезда; и, меж тем как его монокль продолжал резвиться на солнце, племянник г-жи де Вильпаризи с изяществом и мастерством, которые знаменитый пианист находит возможным показать в самом простом пассаже, где, казалось бы, ему не удастся проявить свое превосходство над второстепенным исполнителем, сел рядом с кучером, взял переданные ему вожжи и, распечатывая письмо, поданное ему управляющим, тронул лошадей.

Какое разочарование испытал я в следующие дни, когда всякий раз, что он встречался мне в гостинице или вне ее, с высоко поднятой головой, все время соразмеряя движение частей своего тела с полетами танцующего монокля, как бы служившего для них центром тяжести, я мог убедиться в том, что он не ищет случая с нами сблизиться, и видел, что он не кланяется

нам, хотя он не мог не знать, что мы в дружбе с его теткой. И, вспоминая любезность, которую проявили по отношению ко мне г-жа де Вильпаризи, а до нее г-н де Норпуа, я думал, что они, пожалуй, не настоящие аристократы или что в законах, управляющих аристократией, должен быть тайный пункт, разрешающий женщинам и некоторым дипломатам, по недоступной мне причине, изменять в их сношениях с обывателями той неумолимой заносчивости, которую, напротив, должен был проявлять молодой маркиз. Разум мог бы сказать мне обратное. Но для того смешного возраста, в котором я находился, — возраста отнюдь не бесплодного, а богатого возможностями, — характерно, что мы и не обращаемся к разуму и что малейшие особенности человека кажутся неотъемлемой частью его личности. Окруженные со всех сторон чудовищами и богами, мы не знаем покоя. Не найдется, пожалуй, ни одного поступка, содеянного в эту пору, который нам потом не хотелось бы вычеркнуть из нашей жизни. Но нам следовало бы, напротив, сожалеть об утрате той непосредственности, которая заставляла нас совершать эти поступки. Позднее мы смотрим на вещи с более практической точки зрения, в полном согласии с прочими

членами общества, но юность — единственная пора жизни, когда мы чему-нибудь научаемся.

Это высокомерие, угадываемое мною в г-не де Сен-Лу, и вся та природная жесткость, которую оно заставляло предполагать в нем, подтверждались его осанкой, когда он проходил мимо нас, держась все так же непоколебимо стройно, так же высоко подняв голову, со взглядом бесстрастным, мало того что беспощадным, но не содержащим и крупицы того смутного уважения, которое мы чувствуем к правам других существ, даже если они не знакомы с нашей теткой, и которое заставляло меня относиться к пожилой даме не совсем так, как к газовому фонарю. Эти леденящие манеры были так же далеки от тех очаровательных писем, которые, как я мечтал еще несколько дней тому назад, он станет мне писать, чтобы высказать свою симпатию, как далек существующий в представлении фантазера энтузиазм палаты и всего народа, вызванный его незабываемой речью, от жалкого, ничтожного положения, занимаемого им в действительности, когда, намечтавшись наедине с самим собою вслух, он оказывается прежним простаком и шум воображаемых оваций умолкает. Когда г-жа де Вильпаризи, стараясь, очевидно, сгладить

неприятное впечатление, которое произвели на нас эти манеры, обличающие гордую и злую натуру, опять заговорила о неисчерпаемой доброте своего внучатого племянника (он был сын одной из ее племянниц и несколько старше меня), меня поразило, как эти аристократы, совершенно наперекор истине, могут приписывать душевные качества людям явно бездушным, хотя бы они и были любезны с какими-нибудь блестящими знакомыми, составляющими их общество. Г-жа де Вильпаризи сама, хотя и косвенным образом, дала лишнее доказательство основных, уже несомненных для меня черт характера своего племянника, когда, встретившись со мною на очень узкой дорожке, она волей-неволей должна была представить меня ему. Он как будто и не слышал, что ему называют чье-то имя, ни один мускул не пошевелился на его лице; и если бы в его взгляде, безучастном, пустом, не появилось какого-то нарочитого выражения, то эти глаза, не загоревшиеся даже бледным лучом человеческого чувства, нельзя было бы отличить от безжизненных зеркал. Затем, остановив на мне этот жесткий взгляд, как бы с намерением осведомиться, кто я такой, прежде чем ответить на мой поклон, он резким движением, которое как будто

скорее было вызвано мускульным рефлексом, чем актом воли, оставляя между нами возможно большее расстояние, вытянул руку во всю длину и издали подал ее мне. Я подумал, что дело идет по крайней мере о дуэли, когда на следующий день мне передали его визитную карточку. Но он разговаривал со мной только о литературе, и после долгой беседы заявил, что ему весьма хочется проводить со мной по несколько часов в день. В течение этого разговора он не только проявил живой интерес к вопросам духовного порядка, но выразил мне также симпатию, очень плохо вязавшуюся со вчерашним поклоном. Увидев, что всем, кого ему представляют, он кланяется совершенно так же, я понял, что это всего лишь свойственное некоторым членам его семьи светское обыкновение, которое его мать, желавшая достигнуть совершенства в его воспитании, привила его телу; он отвешивал эти поклоны, думая о них не более, чем о своих прекрасных костюмах, о своих прекрасных волосах; это было движение, лишенное того духовного смысла, который я сперва приписал ему, нечто целиком заученное, как и другое свойственное ему обыкновение — немедленно представляться родственникам своего знакомого, имевшее у него столь инстинк-

тивный характер, что, увидев меня на другой день после нашей встречи, он устремился ко мне и, не здороваясь, так лихорадочно поспешно попросил представить его моей бабушке, с которой мы были вместе, словно эта просьба вызвана была инстинктом самозащиты, заставляющим нас отражать удар или закрывать глаза перед струей кипятку, которая, если помедлить одну секунду, могла бы оказаться для нас опасной.

Когда обряд заклинания был совершен, это презрительное существо, подобно злой фее, расстающейся со своим первоначальным обликом и являющейся нам во всей своей чарующей прелести, превратилось в самого любезного, самого предупредительного молодого человека, какого я когда-либо встречал. «Хорошо, — сказал я себе, — я уже ошибся в нем, я стал жертвой заблуждения, но я его преодолел, чтобы впасть в другое, — ведь он аристократ, влюбленный в свое происхождение и старающийся это скрыть». И в самом деле, все эти очаровательные манеры, вся любезность Сен-Лу таили, как вскоре и обнаружилось, сущность другую, но весьма непохожую на ту, которую я в нем подозревал.

Этот молодой человек, по внешности презрительный аристократ и спортсмен, относился с

уважением и интересом только к умственной деятельности, в особенности к тем новаторским явлениям в искусстве, которые его тетке казались столь забавными; с другой стороны, он был пропитан тем, что его тетка называла *социалистическими фразами,* полон глубочайшего презрения к своей касте и проводил целые часы над изучением Ницше и Прудона. Он был один из тех «интеллигентов», которые быстро приходят в восхищение и замыкаются в книгу, занятые только высокими мыслями. В Сен-Лу проявление этой тенденции, очень отвлеченной и так резко удалявшей его от моих привычных забот, даже несколько надоедало мне, хотя и казалось трогательным. Могу сказать, что, узнав, кто был его отец, из только что прочитанных мемуаров, переполненных анекдотами об этом знаменитом графе де Марсанте, олицетворявшем в себе все своеобразное изящество уже далекой от нас эпохи, мечтательно настроенный, сгоравший желанием узнать подробности о жизни г-на де Марсанта, — я бесился, что Робер де Сен-Лу, вместо того чтобы быть сыном своего отца, вместо того чтобы заменять мне путеводитель по старомодному роману, каким была его жизнь, возвысился до любви к Ницше и Прудону. Его

отец не разделил бы моих сожалений. Он сам был умный человек, не умещавшийся в рамках светской жизни. Он не успел узнать своего сына, но желал, чтобы из него вышло нечто лучшее, чем он сам. И я думаю, что, в противоположность остальным членам семьи, он восхищался бы им, радовался бы тому, что сын его ради суровой работы мысли отказался от жалких развлечений своего отца и, ничего не сказав, со скромностью, присущей умному аристократу, тайком прочитал бы любимых авторов своего сына, чтобы оценить, насколько выше него стал Робер.

Впрочем, грустно было то, что если г-н де Марсант, при широте своих взглядов, мог бы оценить качества сына, столь непохожего на него, то Робер де Сен-Лу, будучи из числа людей, полагающих, что истинные достоинства всегда связаны с определенными формами искусства и жизни, сохранял нежное, но несколько презрительное воспоминание об отце, занимавшемся всю свою жизнь охотой и скачками, зевавшем от музыки Вагнера и восхищавшемся Оффенбахом. Сен-Лу не был достаточно умен, чтобы понять, что интеллигентность не имеет ничего общего с принятием определенной эстетической формулы, и к уму г-на де Марсанта он чувствовал нечто

вроде того презрения, с каким отнеслись бы к Буальдье или к Лабишу сын Буальдье или сын Лабиша, ставшие сторонниками литературы самой символической и музыки самой усложненной. «Я очень мало знал моего отца, — говорил Робер. — Говорят, он был чудный человек. Его несчастьем было то жалкое время, когда он жил. Родиться в Сен-Жерменском предместье и жить в эпоху «Прекрасной Елены» — это катастрофа. Будь он маленьким буржуа, фанатиком «Кольца Нибелунга», он, может быть, проявил бы себя совсем иначе. Мне даже говорили, что он любил литературу. Но ведь трудно сказать, ведь то, что для него было литературой, — сплошь устарелые произведения». Что же касается меня, то Сен-Лу, серьезность которого я находил чрезмерной, со своей стороны удивлялся тому, что я недостаточно серьезен. Оценивая всякое явление только по степени заключающегося в нем интеллектуального содержания, не понимая прелести фантазии, источником которой бывали для меня впечатления, представлявшиеся ему пустыми, он удивлялся, что я — человек, настолько превосходивший его, — могу ими интересоваться.

С первых же дней Сен-Лу покорил мою бабушку не только бесконечной добротой, которую он

умел проявлять по отношению к нам обоим, но и той естественностью, которая сказывалась при этом, как и во всех его поступках. А естественность — очевидно, потому, что под оболочкой человеческого искусства она дает почувствовать природу — была тем качеством, которому бабушка отдавала предпочтение, будь то в садах, где ей не нравились слишком правильные грядки, как в саду Комбре, будь то в стряпне, где она терпеть не могла тех сложных блюд, в которых с трудом можно узнать пищевые вещества, вошедшие в их состав, будь то в игре пианиста, которая, на ее вкус, не должна была быть слишком отделанной, слишком лощеной, так что к смазанным, фальшивым нотам Рубинштейна она питала даже особое пристрастие. Эту естественность она и одобряла в Сен-Лу, который проявлял ее во всем, вплоть до костюмов, отличавшихся мягким изяществом, без всякой примеси хлыщеватости и нарочитости, чопорности и накрахмаленности. Еще больше ценила она этого молодого богача за ту легкость и свободу, с которой он держался, живя в роскоши, за то, что он не важничал и что от него «не пахло деньгами»; эту обаятельную естественность она видела и в том, что Сен-Лу сохранил свойство, которое обычно утрачивается

с годами, наряду с физиологическими особенностями детства: он не умел скрывать волнение, сразу же отражавшееся на его лице. Например, неожиданное для него исполнение желания, будь то всего лишь оказанная ему любезность, вызывало в нем радость столь внезапную, столь жгучую, столь стремительную, столь бурную, что он не мог сдержать и затаить ее; радость неудержимо завладевала его лицом; тонкая кожа его щек просвечивала ярким румянцем; в глазах отражалось смущение и удовольствие; бабушку несказанно трогало это пленительное проявление искренности и невинности, которое к тому же, по крайней мере в ту пору, когда мы подружились с Сен-Лу, не обманывало. Но я знал другое существо — и таких много, — в котором физиологическая искренность мимолетного румянца отнюдь не исключала моральной двойственности; часто он только доказывает ту живость, с которой отзываются на удовольствие, будучи не в силах противостоять ему и признаваясь в этом другим, натуры, способные на самые низкие козни. Но естественность Сен-Лу пленяла бабушку больше всего тем, что он совершенно прямо выказывал свою симпатию ко мне и находил для выражения ее слова, которых, как она

говорила, и ей не удалось бы отыскать, такие они были меткие и по-настоящему нежные, слова, под которыми подписались бы «Севинье и Босержан»; он не стесняясь подшучивал над моими недостатками — которые открыл с проницательностью, забавлявшей ее, — но совершенно так же, как сделала бы она сама, с нежностью, и вместе с тем превознося мои достоинства с жаром и непринужденностью, чуждыми той сдержанности и холодности, с помощью которых молодые люди его лет обычно стараются придать себе большую важность. И, предупреждая малейшее мое недомогание, укутывая мои ноги одеялами, если становилось холоднее и я этого не замечал, словно невзначай подольше оставаясь со мною вечером, если он чувствовал, что мне грустно или нездоровится, он проявлял заботливость, которую с точки зрения моего здоровья, пожалуй, скорее нуждавшегося в том, чтобы его закаляли, бабушка находила едва ли не чрезмерной, но которая глубоко трогала ее, как доказательство привязанности. Вскоре между нами было решено, что мы друзья навеки, и он говорил: «наша дружба» так, как если бы речь шла о чем-то значительном и чудесном, существующем вне нас, и что вскоре он стал называть

— не считая, правда, своего чувства к любовнице — лучшей радостью своей жизни. Эти слова вызывали во мне какую-то печаль, и мне трудно было отвечать на них, потому что, находясь в его обществе, разговаривая с ним, я совершенно не чувствовал — как, наверное, не почувствовал бы ни в чьем обществе — того счастья, которое, напротив, мог ощутить, когда бывал один. Иногда, в одиночестве, я чувствовал, как из глубины моего существа прорывается одно из тех впечатлений, что наполняли меня блаженством. Но если только со мной был кто-нибудь, если я разговаривал с другом, моя мысль круто поворачивалась, она обращалась к этому собеседнику, а не ко мне, и, двигаясь в этом противоположном направлении, не доставляла мне никакого удовольствия. Расставшись с Сен-Лу, я при помощи слов вносил известный порядок в смутные минуты, проведенные вместе с ним; я говорил себе, что у меня есть хороший друг, что хорошие друзья редки, и, сознавая себя окруженным трудно достижимыми благами, испытывал нечто прямо противоположное наслаждению, которое было привычно для меня, — наслаждению извлекать из себя и выводить на свет нечто, скрывавшееся в полутени. Если я два-три часа проводил в разговоре

с Робером де Сен-Лу и он восхищался тем, что я ему говорил, я чувствовал нечто вроде угрызений совести, усталости, сожаления, — почему я не остался один и не принялся наконец за работу. Но я говорил себе, что ум дан человеку не только для него одного, что самые великие люди желали быть оцененными по заслугам, что я не вправе считать потерянными часы, в течение которых я поселил в уме моего друга высокое мнение обо мне; я с легкостью убеждал себя, что должен этому радоваться, и тем сильнее желал, чтобы это счастье не было у меня отнято, что я его не чувствовал. Больше всего мы боимся исчезновения благ, которые существуют вне нас, потому что наше сердце ими не овладело. Я чувствовал, что способен к дружбе больше, чем многие другие (потому что интересы моих друзей я всегда бы ставил выше своих личных интересов, которыми другие так дорожат и которые для меня не имели значения), но мне не могло бы дать радости чувство, которое сглаживало бы различия между моей душой и душами других людей — а души у каждого из нас различны, — вместо того чтобы их обострять. Зато временами моя мысль открывала в Сен-Лу существо более типическое, чем сам он, «аристократа», — существо, кото-

рое, подобно внутренней силе, двигало его тело, управляло его поведением и поступками; в такие минуты, хотя и находясь в его обществе, я был одинок, как если бы передо мной был ландшафт, гармонию которого я постиг. Он обращался тогда в неодушевленный предмет, который пытались углубить мои мечты. Постоянно вновь находя в нем это более древнее, вековое существо, этого аристократа, на которого Робер как раз и не хотел быть похожим, я испытывал живую радость, но радость умственную, а не радость дружбы. В этой духовной и физической подвижности, придававшей его любезности такое очарование, в той непринужденности, с какой он предлагал бабушке свой экипаж и подсаживал ее, в той ловкости, с какой он, опасаясь, что мне будет холодно, соскакивал с козел, чтобы накинуть мне на плечи свое пальто, я чувствовал не только наследственную гибкость великих охотников, которыми из поколения в поколение были предки этого молодого человека, ценившего только ум, их презрение к деньгам, которое, существуя в нем наряду с умением пользоваться этими деньгами для того хотя бы, чтобы лучше чествовать своих друзей, заставляло его так небрежно бросать эту роскошь к их ногам; во всем этом я главным

образом чувствовал уверенность или иллюзию этих вельмож, думавших, что они «лучше других», — уверенность, в силу которой они не могли оставить ему в наследство желание подчеркивать, что он «не хуже других», боязнь показаться слишком услужливым, которая действительно была ему совершенно не известна и которая так неуклюже уродует самую чистосердечную плебейскую любезность. Иногда я упрекал себя в том, что мне доставляет удовольствие смотреть на моего друга как на художественное произведение, то есть смотреть на деятельность элементов его существа как на гармоническую игру, управляемую некоей общей идеей, от которой всё в нем зависело, но которая была ему не известна и, следовательно, ничего не прибавляла к его личным достоинствам, к его индивидуальной ценности, умственной и моральной, имевшей для него такое значение.

А между тем она в известной степени их обусловливала. Именно потому, что он был знатный дворянин, в его умственной живости, в его социалистических стремлениях, заставлявших его искать общества молодых студентов с претензиями и плохо одетых, было что-то в самом деле чистое и бескорыстное, чего те как раз были ли-

шены. Считая себя наследником невежественной и себялюбивой касты, он искренно хотел, чтобы они простили ему его аристократическое происхождение, которое, наоборот, прельщало их и благодаря которому они искали его общества, хотя и напуская на себя в его присутствии холодность и даже высокомерие. Это заставляло его быть любезным с людьми, знакомство которых с Сен-Лу удивило бы моих родных, верных социологии Комбре, требовавшей, чтобы он избегал их общества. Как-то раз, сидя вдвоем на песке, мы с Сен-Лу услышали доносившиеся из холщовой палатки, возле которой мы находились, проклятия по адресу израильтян, которыми кишел Бальбек. «Двух шагов нельзя пройти, чтобы не встретить кого-нибудь из них, — говорил голос. — В принципе я не считаю себя непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь прямо переполнение. Только и слышишь: «Знаешь, Абраам, я видел Якова». Можно подумать, что находишься на улице Абукира». Человек, который так громил Израиль, вышел наконец из палатки, мы подняли головы, чтобы взглянуть на этого антисемита. Это был мой приятель Блок. Сен-Лу тотчас же попросил меня напомнить ему, что они встречались на конкурсе лицеев, где Блок

получил первую награду, а затем в Народном университете. Порой меня чуть-чуть забавляли следы иезуитских наставлений, сказывавшихся у Робера в той неловкости, которую всякий раз вызывала в нем боязнь обидеть собеседника, когда кто-нибудь из его просвещенных друзей совершал ошибку против светских правил, попадал в смешное положение, так как Сен-Лу, хотя и считал это совершенно неважным, чувствовал, что тот покраснел бы, если бы отдал себе в этом отчет. И краснеть приходилось Роберу, словно он был виноват, как, например, в тот день, когда Блок, обещав прийти в гостиницу навестить его, прибавил:

— Так как я не выношу ждать среди мишурного великолепия этих огромных караван-сараев и так как мне может сделаться дурно от музыки цыган, скажите человеку при «лайфте», чтобы он велел им замолчать и сразу же доложил вам.

Сам я не был особенно доволен, что Блок придет к нам в гостиницу. В Бальбеке он, к несчастью, был не один, а со своими сестрами, у которых, в свою очередь, здесь тоже было много родственников и приятелей. И вся эта еврейская колония была более живописна, чем приятна. В Бальбеке было то же самое, что в России или в Румынии,

где, как сообщают учебники географии, еврейское население не пользуется такой благосклонностью и не ассимилировалось, как, например, в Париже. Когда двоюродные сестры и дяди Блока или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе, без всякой примеси других элементов, отправлялись в казино, одни — на «бал», другие же — сворачивая к столам баккара, они составляли шествие однородное и совершенно не похожее на тех людей, которые являлись зрителями этого шествия, и, встречаясь с ними каждый год, никогда не обменивались поклоном, будь то круг Камбремеров, клан председателя суда или крупные и мелкие буржуа, а то и простые парижские лавочники, дочери которых, красивые, гордые, насмешливые, француженки с головы до ног, как статуи в Реймсе, не захотели бы смешаться с этой ватагой невоспитанных девок, столь усердно старавшихся следовать «курортным» модам, что у них всегда был такой вид, точно они возвращаются с ловли креветок или собираются танцевать танго. Что до мужчин, то, несмотря на блеск смокингов и лакированных ботинок, утрированная резкость их типа напоминала так называемые «вдумчивые» попытки тех художников, которые, иллюстрируя

Евангелие или «Тысячу и одну ночь», имеют в виду страну, где происходит действие, и рисуют святого Петра или Али-Бабу как раз с таким лицом, какое было у самого толстого понтёра в Бальбеке. Блок представил мне своих сестер, которым с величайшей грубостью затыкал глотку и которые покатывались со смеху от малейшего острого словца своего брата, их законодателя и кумира. Таким образом, вполне вероятно, что и эта среда, как и всякая иная, а пожалуй и более, чем всякая иная, таила в себе множество удовольствий, достоинств и добродетелей. Но чтобы почувствовать их, надо было в нее проникнуть. Однако она не нравилась, и там это чувствовали, видя в этом доказательство антисемитизма, и выступали против него сплоченным и замкнутым отрядом, сквозь ряды которого никто, впрочем, и не помышлял пробить себе дорогу.

Что касается «лайфта», то это тем менее могло удивить меня, что за несколько дней до этого Блок, спросив меня, почему я приехал в Бальбек (хотя ему казалось вполне естественным, что сам он находится здесь), не было ли у меня намерения «приобрести здесь блестящие знакомства», и услышав от меня ответ, что это путешествие отвечает одному из самых давних моих желаний,

менее глубокому, однако, чем желание посетить Венецию, сказал: «Да, разумеется, чтобы пить сиропы с прекрасными дамами, делая вместе с тем вид, что читаешь «Stones of Venaice»[34] лорда Джона Рёскина, жуткого болтуна и одного из самых скучнейших типов, какие только существуют». Итак, очевидно, Блок не только думал, что в Англии все лица мужского пола — лорды, но также, что буква *i* всегда произносится там как «ай». Что до Сен-Лу, то эту ошибку произношения он считал тем менее существенной, что видел в ней главным образом незнание тех почти что светских приличий, которые он презирал в такой же мере, в какой они были ему свойственны. Но опасение, как бы Блок, узнав со временем, что Рёскин не был лордом и что «Venice» надо произносить как «Venis», не подумал, что он показался Роберу смешным, заставило последнего почувствовать свою вину, как если бы он не проявил той снисходительности, которой у него было слишком много, и румянец, которым, несомненно, должно было окраситься лицо Блока в тот день, когда он узнал бы о своей ошибке, передался Роберу и, предвосхищая будущее, выступил на его щеках.

---

[34] Примечания: 34

«Камни Венеции» (правильно по-английски: «Stones of Venice»).

Ведь Робер предполагал, что Блок придает этой ошибке большее значение, чем он сам. Блок это и доказал, когда несколько дней спустя, услышав, что я произношу «лифт», перебил меня:

— Ах, так надо говорить «лифт»? — И прибавил сухим и высокомерным тоном: — Это, впрочем, совсем несущественно.

Фраза, подобная рефлексу, одна и та же в устах всякого самолюбивого человека, одинаковая как при самых важных обстоятельствах, так и при самых ничтожных, — показывающая и в том, и в другом случае, насколько существенным кажется это обстоятельство тому, кто объявляет его несущественным; фраза порою трагическая, полная страдания, первой срывающаяся с уст всякого мало-мальски гордого существа, когда, отказывая ему в услуге, у него отнимают последнюю надежду, за которую оно цеплялось: «А, ничего, это совсем несущественно, я устроюсь иначе», — причем этим иным исходом, к которому вынуждает «совершенно несущественное» обстоятельство, иногда является самоубийство.

Затем Блок наговорил мне много ласковых слов. Ему, очевидно, очень хотелось быть любезным со мною. Всё же он меня спросил: «Откуда у тебя эта тяга к аристократии — впрочем, весь-

ма второстепенной, но ведь ты по-прежнему наивен, — что ты водишься с Сен-Лу-ан-Бре? Ты, наверно, переживаешь сильнейший приступ снобизма. Скажи, ты сноб? Да, ведь так?» Он сказал это не потому, чтобы его желание быть любезным внезапно изменилось. Но у него был недостаток, называемый *дурным воспитанием,* следовательно, он этого недостатка не замечал и тем более далек был от мысли, что другие могут быть им шокированы. В человеческом обществе заурядность тождественных добродетелей — явление не более поразительное, чем многообразие индивидуальных недостатков. Конечно, «самая распространенная вещь» — отнюдь не здравый смысл, а доброта. На удивление нам, она сама собою расцветает в самых далеких и самых укромных уголках, словно мак в затерянной долине, совершенно подобный другим макам, хоть он никогда не видел их и ему знаком был только ветер, от которого колыхалась порой его одинокая красная шапочка. Даже если эта доброта, парализованная личным интересом, никак не проявляется, она все-таки существует, и когда ее не сдерживает никакое эгоистическое побуждение, например при чтении романа или газеты, она распускается даже в сердце убийцы, который

сохраняет свою нежность, как любитель фельетонов, и становится на сторону слабого, невинного и гонимого. Но разнообразие недостатков не менее поразительно, чем тождество добродетелей. Недостатков у каждого множество, и, чтобы продолжать любить человека, мы вынуждены не обращать на них внимания, пренебрегать ими ради других его свойств. У существа самого совершенного может быть недостаток, который нас шокирует или бесит. Один, например, очень умен, на все смотрит с возвышенной точки зрения, никогда ни о ком дурно не отзывается, но забывает в своем кармане самые важные письма, которые сам же просил ему доверить, а затем заставляет вас пропустить важное свидание, не извинившись перед вами и даже улыбаясь, так как он гордится тем, что никогда не знает времени. Другой так чуток, так мягок, так деликатен, что говорит вам только вещи, которые могут вас обрадовать, но вы чувствуете, что он умалчивает о вещах противоположных, хороня их в своем сердце, которое они отравляют, и ему так приятно вас видеть, что он скорее до смерти утомит вас, чем с вами расстанется. У третьего больше искренности, но он доводит ее до того, что считает долгом сообщить вам, что в тот день,

когда вы у него не были, ссылаясь на нездоровье, вас видели, когда вы шли в театр, и вид у вас был прекрасный, или же что ему не вполне удалось воспользоваться помощью, которую вы ему оказали, но что, впрочем, трое других уже предложили ему свои услуги и потому он не считает себя очень обязанным вам. В таких случаях второй притворился бы, что ему не известно, что вы были в театре и что другие люди могли бы оказать ему то же одолжение. Что же касается этого третьего друга, то он чувствует потребность твердить или разглашать вещи самые досадные для вас, он в восторге от своей прямоты и веско заявляет вам: «Я всегда такой». Другие между тем раздражают вас своим чрезмерным любопытством или своим столь полным равнодушием, что вы можете рассказывать им о самых потрясающих происшествиях, а они даже не спросят, о чем идет речь; иные же целыми месяцами не отвечают на ваше письмо, если дело в нем шло о ваших, а не их интересах, или же, сообщив вам, что собираются прийти к вам с просьбой и заставив вас сидеть дома, чтобы не пропустить их, не приходят и вынуждают вас ждать целые недели потому только, что, не получив от вас ответа, которого их письмо отнюдь не требовало, они

решили, что вы на них рассердились. Некоторые, сообразуясь со своим, но отнюдь не с вашим желанием, рассказывают вам что-нибудь, не давая вам вставить слово, если им весело и хочется быть с вами, каким бы спешным делом вы ни были заняты; но если они удручены погодой или в дурном расположении духа, вы ни слова из них не вытянете, вашим усилиям они противопоставляют безжизненную вялость и ленятся подавать вам даже односложные реплики, как если бы они вас не слышали. Словом, у каждого из наших друзей множество недостатков, и, чтобы продолжать их любить, мы должны стараться находить утешение в их таланте, доброте, нежности, или, вернее, вооружившись всей нашей доброй волей, не принимать в расчет этих недостатков. К несчастью, снисходительное упорство, с которым мы отвлекаемся от недостатков нашего друга, не может преодолеть упорства, с которым он предается им в силу своего ослепления или воображаемого ослепления других. Ибо он не видит их или думает, что другие их не видят. Так как опасность произвести невыгодное впечатление связана главным образом с неумением определить, что остается незаметным в нас, то следовало бы, по крайней мере из предосторож-

ности, никогда не говорить о себе, ибо это тема, относительно которой можно быть уверенным, что точка зрения постороннего человека никогда не совпадет с нашей собственной. Если, проникая в подлинную жизнь других людей, в действительный мир, скрытый под оболочкой видимого, мы испытываем такое изумление, точно вошли в дом, обыкновенный по виду, но полный сокровищ, воровских инструментов и трупов, то не меньшее изумление мы испытываем, когда вместо нашего портрета, который мы сами нарисовали себе на основании того, что нам говорят другие, мы узнаём из их разговора, происходившего в нашем отсутствии, какое абсолютно непохожее представление сложилось у них о нас и о нашей жизни. Таким образом, всякий раз, как мы говорим о себе, мы можем быть уверены, что наши безобидные и осторожные слова, прослушанные с видимой вежливостью и вызвавшие лицемерное одобрение, подали повод к самым желчным или самым веселым, во всяком случае самым неблагоприятным комментариям. Самое меньшее, чем мы при этом рискуем, — это вызвать раздражение несоответствием между нашими представлениями о самих себе и нашими словами, несоответствием, благодаря которому

замечания человека о самом себе обыкновенно оказываются столь же смешными, как мотивы, напеваемые теми неудачными любителями музыки, которые чувствуют потребность мурлыкать любимую арию, возмещая пробелы своего бессвязного бормотания энергичной мимикой и восхищенным видом, совершенно неоправданным издаваемыми при этом звуками. И к дурному обыкновению говорить о себе и своих недостатках надо еще добавить другое связанное с ним обыкновение — находить в других недостатки, совершенно подобные тем, которые имеешь сам. Об этих-то недостатках мы всегда и говорим, находя таким образом косвенный способ поговорить о себе, соединяющий сладость самооправдания со сладостью самообличения. Впрочем, по-видимому, наше внимание, всегда привлекаемое нашими личными особенностями, отчетливее всего замечает их у другого человека. Близорукий говорит о другом близоруком: «Да он еле видит»; у чахоточного вызывает сомнение состояние легких человека самого здорового; нечистоплотный только и говорит, что о ваннах, которых не принимают другие; тот, от кого дурно пахнет, чувствует зловоние; обманутый муж всюду видит обманутых мужей; женщина легкого

поведения — женщин легкого поведения; снобу чудятся снобы. И к тому же всякий порок, как и всякая профессия, вызывает и развивает особые познания, которые мы не прочь выставить напоказ. Получивший назначение чует других, удостоившихся того же; портной, попавший в общество, не успел еще заговорить с вами, как уже оценил качество материи, из которой сшит ваш костюм, и пальцы его горят нетерпением ощупать ее; а если, побеседовав несколько минут с зубным врачом, вы спросите его, что он действительно думает о вас, он скажет вам, сколько у вас испорченных зубов. Это ему кажется самым важным, а вам, заметившему, сколько испорченных зубов у него, это в нем кажется самым смешным. И в слепоте окружающих мы бываем убеждены не только тогда, когда о себе *говорим*, — мы и действуем так, как если бы они были слепы. Для каждого из нас существует особый бог, который скрывает от нас наши недостатки или ручается, что они останутся незамеченными, подобно тому как он закрывает глаза и затыкает ноздри всякому, кто не моется, не давая ему видеть грязь на ушах и чувствовать запах пота подмышками и уверяя его, что он безнаказанно может явиться в общество, которое не заметит ни того, ни другого.

И те, что носят или дарят фальшивый жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Блок был дурно воспитан, был неврастеник, сноб и, принадлежа к малоуважаемому семейству, испытывал, словно на дне моря, неисчислимые давления, оказываемые на него не только христианами, находившимися на поверхности, но и напластованиями еврейских каст, которые стояли выше и каждая из которых давила презрением ту, что лежала непосредственно под нею. Чтобы пробиться на свежий воздух, прокладывая себе дорогу сквозь ряд еврейских семейств, Блоку потребовалось бы несколько тысячелетий. Лучше было попытаться найти другой выход.

Когда Блок заговорил со мной о приступе снобизма, который я, по его мнению, переживал, и попросил меня признаться ему, что я сноб, я мог бы ответить ему: «Если б я был сноб, я бы не водил с тобой знакомства». Я же только сказал ему, что он не слишком любезен. Тогда он стал просить извинения, но так, как это делают дурно воспитанные люди, которых слишком радует возможность, отказываясь от своих слов, еще резче подчеркнуть их. «Прости меня, — говорил он мне теперь всякий раз, встречаясь со мною, — я огорчил тебя, терзал тебя, я без всякого повода был

жесток. И все же — всякий человек, и в частности твой друг, такое уж странное животное, — ты не можешь себе представить, какую нежность я чувствую к тебе, несмотря на то, что так зло тебя дразню. Эта нежность, когда я думаю о тебе, часто доводит меня до слез». И он всхлипнул.

Еще больше, чем дурные манеры Блока, меня удивлял в нем уровень его разговора, очень непостоянный. Этот молодой человек, такой взыскательный, отзывавшийся о самых модных писателях: «Он жуткий идиот, он совершенный болван», — порой с величайшей веселостью рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался, как на «весьма замечательного человека», на какое-нибудь полное ничтожество. Эта двойственность в суждениях об уме, о достоинствах человека, об интересе, им представляемом, не переставала удивлять меня вплоть до того дня, когда я познакомился с г-ном Блоком-отцом.

Я не думал, что мы будем когда-либо удостоены знакомства с ним, так как Блок-сын, разговаривая с Сен-Лу, дурно отозвался обо мне — и дурно отозвался о Сен-Лу, разговаривая со мной. А именно, он сказал Роберу (опять!), что я отчаянный сноб: «Да, да, он в восторге, что знаком с господином

Л-л-л-легранденом». Это обыкновение выделять какое-нибудь слово было у Блока одновременно и чертой иронии, и признаком литературного лоска. Сен-Лу, никогда не слышавший имени Леграндена, удивился: «А кто это?» — «О, это человек *самого хорошего тона»,* — со смехом отвечал Блок, засовывая зябким движением руки в карманы своего пиджака, в искреннем убеждении, что созерцает в эту минуту живописную наружность необыкновенного провинциального дворянина, в сравнении с которым типы, созданные Барбе д'Оревильи, — ничто. Не умея изобразить г-на Леграндена, он утешался тем, что увеличивал число «Л» его фамилии и смаковал эту фамилию, как самое лучшее вино. Но его субъективные радости оставались неведомы другим. Если он дурно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то, с другой стороны, он так же отозвался и о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же день узнали все подробности этого злословия не потому, что сообщили их друг другу, — мы бы сочли это весьма предосудительным, — но потому, что Блоку это казалось столь естественным и почти неизбежным, что он в своей тревоге, уверенный в том, что он тому и другому сообщает вещи, которые они и так узнают, предпочел забежать

вперед и, отведя Сен-Лу в сторону, признался ему, что дурно говорил о нем нарочно для того, чтобы ему это пересказали, поклялся ему «Кронионом Зевсом, хранителем клятв», что любит его, что отдал бы за него свою жизнь, и утер слезу. В тот же день он постарался застать меня, когда я был один, покаялся мне, объявил, что действовал в моих интересах, так как считает, что известного рода светские знакомства губительны для меня и что я «заслуживаю большего». Потом, взяв меня за руку с умилением пьяницы, хотя опьянение его было чисто нервное, он сказал: «Поверь мне, и черная Кера да повлечет меня за собой и да переступлю я порог Гадеса, ненавистного людям, если вчера, думая о тебе, о Комбре, о моей беспредельной нежности к тебе, о днях, проведенных вместе с тобой в школе, которых ты даже не помнишь, я не рыдал потом всю ночь. Да, всю ночь, клянусь тебе, а ведь я знаю, увы, ибо мне знакома человеческая душа, что ты мне не поверишь». Действительно, я не поверил: этим словам, которые, как я чувствовал, он придумал только сейчас, пока говорил, клятва «Керой» не придавала большого веса, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Впрочем, как только он начинал умиляться и какой-нибудь

ложью стремился вызвать умиление в других, он говорил: «Клянусь тебе», побуждаемый к тому даже не столько желанием заставить поверить в правдивость своих слов, сколько истерическим наслаждением, которое доставляла ему ложь. Я не верил тому, что он мне говорил, но не сердился, так как унаследовал от матери и бабушки неспособность сердиться даже на людей, совершивших гораздо худшие проступки, и неумение осуждать других.

Впрочем, Блок был уж не такой плохой малый, он мог быть очень мил. И с тех пор как племя, выраставшее в Комбре, племя, к которому принадлежали такие абсолютно безупречные люди, как моя бабушка и моя мать, почти что вымерло и мне осталось выбирать между честными животными, толстокожими и преданными, самый голос которых тотчас показывает, что им нет никакого дела до вашей жизни, — и другой породой людей, которые, пока они вместе с вами, понимают вас, окружают вас ласками, умиляются до слез, а несколько часов спустя расплачиваются с вами какой-нибудь жестокой шуткой, но возвращаются к вам, по-прежнему отзывчивые, по-прежнему обаятельные, столь же быстро приспособляющиеся к вам, — я, кажется, отдаю предпочтение

этому второму разряду людей, ценя если не их моральные достоинства, то их общество.

— Ты не можешь себе представить, как я страдаю, думая о тебе, — продолжал Блок. — В сущности, это во мне сказывается довольно-таки еврейская особенность, — иронически прибавил он, прищуриваясь, как будто ему надо было с помощью микроскопа определить бесконечно малое количество «еврейской крови» и как мог бы сказать, но не сказал бы французский аристократ, знающий, что в числе его сплошь христианских предков находится как-никак Самюэль Бернар или, восходя еще дальше, Богоматерь, от которой будто бы произошел род Леви. — Мне в известной степени нравится отдавать себе отчет в тех моих чувствах, которые могут быть связаны, правда довольно слабо, с моим еврейским происхождением.

Эту фразу он сказал потому, что ему казалось и остроумным, и вместе с тем смелым говорить правду о своей национальности, правду, которую он, пользуясь тем же случаем, умел своеобразно смягчать, как те скупые, которые решаются расплатиться с долгами, но у которых хватает мужества заплатить только половину их. Этот вид обмана, состоящий в том, что мы осмелива-

емся провозгласить правду, но примешивая к ней немалую долю лжи, которая фальсифицирует ее, более распространен, нежели принято думать, и даже людям, которые обычно не прибегают к нему, тот или иной жизненный кризис, в частности кризис, связанный с любовными отношениями, дает повод воспользоваться им.

Вся эта желчная критика Блока, направленная против меня в его конфиденциальных беседах с Сен-Лу и против Сен-Лу в таких же беседах со мною, кончилась приглашением на обед. Я не уверен в том, что он не делал попытки позвать Сен-Лу одного. Такая попытка правдоподобна и вероятна; успех не увенчал ее, так как однажды Блок, обратившись ко мне и к Сен-Лу, сказал: «Дорогой мэтр и вы, всадник, любимый Аресом, де Сен-Лу-ан-Бре, укротитель коней, если уж я встретил вас на берегах Амфитриты, исполненных звоном пены, вблизи этих шатров, то не хотите ли вы оба прийти отобедать на этой неделе к моему прославленному отцу, чье сердце безупречно?» Он обращался к нам с этим приглашением потому, что хотел поближе сойтись с Сен-Лу, надеясь, что тот введет его в аристократическое общество. Если бы такое желание возникло у меня, Блок увидел бы в нем признак самого отвратительного

снобизма, вполне соответствующего мнению, которое составилось у него об одной стороне моего характера, не являвшейся для него, по крайней мере до сих пор, наиболее существенной; но то же самое желание, зародившись в нем, представлялось ему доказательством чудесной пытливости его ума, жаждущего свежих социальных впечатлений, которые могли бы оказаться ему полезными для его литературных опытов. Г-н Блок-отец был сильно потрясен, когда сын сообщил ему, что приведет обедать одного из своих приятелей, имя и титул которого произнес тоном саркастически-самодовольным: «Маркиз де Сен-Лу-ан-Бре». «Маркиз де Сен-Лу-ан-Бре! Ах, подлец!» — воскликнул он, прибегая к ругательству, которым выражалась у него высшая степень социальной почтительности. И на своего сына, сумевшего завязать такие знакомства, он бросил восхищенный взгляд, означавший: «Он, право, удивителен. Неужто это чудо природы — мое дитя?» — и доставивший моему приятелю такое же удовольствие, как если бы к его ежемесячному содержанию прибавилось пятьдесят франков. Ибо дома Блоку было не по себе, и он чувствовал, что отец считает его свихнувшимся из-за его поклонения Леконту де Лилю, Эредиа и прочей

«богеме». Но знакомство с Сен-Лу-ан-Бре, отец которого был председателем Суэцкого канала («Ах, подлец!»), — это был «бесспорный» результат. Тем более пришлось пожалеть, что стереоскоп, из боязни испортить его, был оставлен в Париже. Один только г-н Блок-отец владел искусством или, по крайней мере, имел право показывать его. Впрочем, он делал это лишь изредка, с обдуманным намерением, в те дни, когда бывали званые гости и специально приглашалась мужская прислуга. Таким образом, эти стереоскопические сеансы осеняли тех, кто на них присутствовал, как бы особым вниманием, выделяли их в разряд привилегированных, а хозяину дома, который давал их, сообщали престиж, подобный тому, что излучается талантом, — как если бы снимки сделал сам г-н Блок и аппарат был его изобретением. «Вы не были вчера в гостях у Соломона?» — говорили друг другу родственники. «Нет, я не был в числе избранников. Что там было?» — «Большой тарарам, стереоскоп и все эти штуки». — «А! Если и стереоскоп, то я жалею: ведь, говорят, Соломон необыкновенен, когда показывает его». — «Что поделаешь, — сказал г-н Блок своему сыну, — нельзя же показывать ему всё сразу, а так кое-что останется и на следующий раз». Правда, желая

умилить сына и будучи преисполнен отцовской нежности, он подумывал о том, чтобы выписать сюда этот прибор. Но времени «физически не хватало» или, вернее, казалось, что его не хватит; однако обед пришлось отложить из-за нас, так как Сен-Лу не мог выйти из дому, ожидая дядю, который должен был провести двое суток у г-жи де Вильпаризи. Так как этот дядя, очень увлекавшийся физическими упражнениями, особенно ходьбой, должен был совершить пешком, ночуя на фермах, большую часть пути от замка, где он гостил, то момент его прибытия в Бальбек был довольно неопределенным. И Сен-Лу, не решаясь двинуться с места, поручал мне даже отправлять из Энкарвиля, где была телеграфная контора, телеграммы его любовнице, которой он посылал их ежедневно. Дядю этого звали Паламедом — имя, унаследованное им от князей сицилийских, его предков. Впоследствии, встречая в исторических книгах это имя у какого-нибудь подесты или князя церкви, эту прекрасную медаль эпохи Возрождения — а по мнению некоторых, даже подлинно античную, — всегда остававшуюся в семье, переходившую из рода в род и проделавшую путь от ватиканских коллекций до дяди моего друга, я испытывал наслаждение, знакомое тем,

кто, не имея средств составить себе коллекцию медалей или пинакотеку, собирает старые имена (названия местностей, подлинные и своеобразные, точно старая карта или план, знамя или собрание правовых обычаев; те христианские имена, где звучат в прекрасных французских окончаниях речевые недостатки, грубость диалекта, неправильные произношения, долгие годы искажавшие в устах наших предков латинские и саксонские слова и ставшие впоследствии верховным законом для грамматик) и благодаря этому подбору древних звучностей задает себе концерты, подобно собирателям viola da gamba или viola d'amore,[35] исполняющим на старинных инструментах музыку старинных композиторов. Сен-Лу рассказал мне, что даже в самом замкнутом аристократическом кругу его дядя Паламед выделялся как человек исключительно неприступный, высокомерный, влюбленный в свою знатность, который вместе с женою своего брата и еще несколькими избранными составлял так называемый «клуб фениксов». Даже там настолько страшились его дерзких выходок, что в прежние времена бывали

[35] Примечания: 35

виола да гамба, виола д'аморе *(ит.)* — струнные смычковые музыкальные инструменты.

случаи, когда светские люди, желавшие с ним познакомиться и обращавшиеся с просьбой к его собственному брату, получали отказ. «Нет, и не просите меня, чтобы я представил вас моему брату Паламеду. Моя жена, мы все, как бы мы ни старались, ничего не сможем сделать. Или вы рискуете, что он будет с вами нелюбезен, а мне бы этого не хотелось». С небольшой группой приятелей он наметил двести членов Жокей-Клуба, которых ни за что бы не допустил представить себе. А у графа Парижского он был известен под прозвищем *Принц,* которому был обязан своею изысканностью и своею гордостью.

Сен-Лу рассказывал мне о молодости своего дяди, давно миновавшей. Каждый день он приводил женщин на холостяцкую квартиру, которую держал сообща с двумя своими приятелями, такими же красавцами, как он, почему их и прозвали «тремя Грациями».

— Как-то раз один человек, занимающий теперь, как сказал бы Бальзак, видное положение в Сен-Жерменском предместье, но в первый, довольно неприятный, период своей жизни проявлявший странные наклонности, попросил моего дядю привести его на эту квартиру. Но едва только они пришли туда, он стал объясняться

в любви не женщинам, а моему дяде Паламеду. Дядя притворился, что не понимает, под каким-то предлогом увел своих друзей в другую комнату, они вернулись, схватили преступника, раздели его, избили до крови и в десятиградусный мороз выбросили на улицу, где он был найден полумертвым, — так что судебные власти начали следствие, и этому несчастному лишь с величайшим трудом удалось замять дело. Теперь мой дядя не совершил бы такой жестокой расправы, и ты не можешь вообразить, скольких людей из простонародья он, такой высокомерный с людьми светскими, обласкал, поддержал своим покровительством, не боясь неблагодарности. То он находит место в Париже какому-нибудь лакею, который прислуживал ему в гостинице, то он какому-нибудь крестьянину дает средства изучить ремесло. Это даже довольно симпатично в нем, как контраст с его светскими привычками.

Сен-Лу принадлежал к числу светских молодых людей, стоящих на том уровне, где могли возникнуть такие выражения, как: «это даже довольно симпатично в нем… его симпатичное свойство», — и имел задатки довольно причудливые, весьма скоро порождающие особый взгляд на вещи, без которого себя считаешь ничем, а «на-

род» — всем: словом, полная противоположность плебейской гордости. «Говорят, невозможно себе представить, как он задавал тон в своей молодости, каким законодателем он был для всего общества. Что касается его самого, то он всегда, при любых обстоятельствах, делал то, что было ему наиболее приятно, наиболее удобно, но это сразу же подхватывалось снобами. Если ему хотелось пить в театре и в аванложу ему подавали что-нибудь прохладительное, то на следующей неделе во всех аванложах оказывались прохладительные напитки. Однажды в дождливое лето, болея ревматизмом, он заказал себе пальто из мягкой, но теплой вигоневой материи, из которой делают только дорожные одеяла и в которой ему понравились синие и оранжевые полосы. Модным портным их клиенты сразу стали заказывать синие мохнатые пальто с бахромой. Если, приехав в деревню провести день в замке, он почему-либо хотел нарушить торжественность обеда и не привозил с собой фрака, а садился за стол в пиджаке, в котором был днем, устанавливалась мода обедать за городом в пиджаках. Если он ел пирожное не ложечкой, а вилкой, или инструментом собственного изобретения, заказанным у ювелира, или пальцами, то уже не

полагалось есть иначе. Он пожелал прослушать вновь некоторые квартеты Бетховена (ведь он, несмотря на свои нелепые фантазии, отнюдь не глуп и чрезвычайно одарен) и пригласил артистов, которые должны были играть их каждую неделю для него и нескольких его приятелей. В том же году верхом изысканности стали малолюдные вечера, на которых гости слушали камерную музыку. Впрочем, я думаю, в жизни он не скучал. Сколько женщин было, верно, у такого красавца! Я не мог бы, впрочем, сказать вам, какие именно, потому что он очень хорошо умел хранить молчание. Но я знаю, что он страшно обманывал мою бедную тетку. Это, впрочем, не мешало тому, что он был с нею очарователен, что она его обожала и что он долгие годы ее оплакивал. Когда он в Париже, он до сих пор почти каждый день бывает на кладбище».

На другой день после того, как Робер рассказал мне это о своем дяде, которого ожидал, впрочем тщетно, я возвращался один в гостиницу и, проходя мимо казино, почувствовал, что на меня смотрит кто-то, стоящий поблизости. Я обернулся и увидел мужчину лет сорока, очень высокого и довольно плотного, с очень черными усами, который, нервно похлопывая тросточкой

по ноге, остановил на мне глаза, расширенные вниманием. Временами в этих глазах зажигался, пронизывая их во всех направлениях, необыкновенный по своей живости взгляд, каким смотрит на незнакомое лицо лишь человек, в котором оно по той или иной причине вызывает мысли, не возникающие у других людей, — например, сумасшедший или шпион. Он метнул в меня последний взгляд, дерзкий и вместе с тем осторожный, быстрый и глубокий, как выстрел, сделанный перед тем, как пуститься в бегство, и затем, осмотревшись кругом, внезапно принял рассеянный и высокомерный вид, круто и резко повернулся и погрузился в чтение афиши, напевая что-то и поправляя махровую розу, воткнутую в петлицу. Он вынул из кармана записную книжку, в которую как будто бы занес название объявленной в афише пьесы, два или три раза посмотрел на часы, надвинул на глаза черное канотье, приложил к нему руку козырьком, чтобы вглядеться, не идет ли кто навстречу, сделал недовольный жест, который должен означать, что ждать нам надоело, но которого мы никогда не делаем, когда действительно ждем, затем, передвинув шляпу на затылок и обнажая коротко остриженные волосы, позволявшие, од-

нако, предполагать на висках довольно длинные волнистые пряди, он шумно вздохнул, как человек, которому не то чтобы было слишком жарко, но хочется показать, что ему слишком жарко. Я решил, что это просто жулик, который, может быть, уже несколько дней следит за бабушкой и за мною, затевая что-то недоброе, и теперь был застигнут врасплох, как раз в ту минуту, когда он за мной подглядывал; может быть, для того, чтоб провести меня, он и старался выразить своей новой позой рассеянность и равнодушие, но делал это так подчеркнуто, как будто ставил себе целью не только рассеять возникшие во мне подозрения, но и отомстить за какую-то обиду, которую я неумышленно ему нанес, — не столько желал создать впечатление, что на меня не смотрит, сколько давал почувствовать, что я предмет слишком ничтожный, чтобы привлечь его внимание. Он вызывающе выпячивал грудь, сжимал губы, закручивал усы и старался придать своему взгляду какое-то равнодушие, жесткость, почти что наглость. Выражение его лица было настолько странным, что я принимал его то за вора, то за сумасшедшего. Однако его костюм, чрезвычайно изысканный, был гораздо строже и гораздо проще, чем костюмы всех приехавших

в Бальбек на курорт, и успокаивал меня относительно моего пиджака, который так часто бывал унижен ослепительной и банальной белизной летних одежд. Но навстречу мне шла бабушка, мы погуляли вместе, а час спустя, поджидая ее у подъезда гостиницы, куда она вернулась на минуту, я увидел, как вышли г-жа де Вильпаризи с Робером де Сен-Лу и незнакомцем, так пристально смотревшим на меня у казино. Взгляд его пронзил меня с быстротою молнии, как и при первой встрече, и, точно не заметив меня, остановился несколько ниже, притупившись, как тот безразличный взгляд, что притворяется, будто ничего не видит вовне и не способен ничего выразить, взгляд, говорящий только о том, как ему приятно чувствовать вокруг своей блаженной округлости расступающиеся ресницы, взгляд благочестивый и приторный, свойственный некоторым лицемерам, взгляд фатовской, свойственный некоторым глупцам. Я заметил, что он переоделся. Костюм, который он надел, был еще более темного цвета; а не подлежит сомнению, что подлинная элегантность ближе к простоте, чем элегантность ложная; но было тут и нечто другое: глядя на его одежду вблизи, нельзя было не почувствовать, что если она почти совершенно лишена всякой

красочности, то не потому чтобы человек, отвергнувший ее, был к ней равнодушен, но скорее потому, что по какой-то причине он от нее воздерживается. И умеренность, сквозившая в этой одежде, казалось, была обусловлена скорее режимом, чем отсутствием склонности к краскам. Темно-зеленая ниточка, проступавшая в ткани его брюк, утонченно гармонировала с полосками на носках, обличая живость вкуса, который во всех других частях туалета был скован и которому из снисходительности была сделана эта единственная уступка, между тем как красное пятнышко на галстуке было еле заметно, точно вольность, на которую мы не смеем решиться.

— Как вы поживаете?.. позвольте вам представить моего племянника, барона Германтского, — сказала мне г-жа де Вильпаризи, меж тем как незнакомец, не глядя на меня, невнятно проворчал: «Очень приятно», — после чего издал «гм, гм, гм», чтобы придать своей любезности характер чего-то вынужденного, и, согнув мизинец, указательный и большой пальцы, протянул мне пальцы средний и безымянный, на которых не было ни одного кольца и которые я пожал сквозь его шведскую перчатку; потом, так и не взглянув на меня, он повернулся к г-же де Вильпаризи. —

Боже мой, я голову теряю, — сказала она, — я только что назвала тебя *бароном Германтским.* Представляю вам барона де Шарлюса. В конце концов, ошибка не такая уж большая, — прибавила она, — ты ведь все-таки Германт.

В это время появилась моя бабушка, мы пошли вместе. Дядя Сен-Лу не удостоил меня не только слова, но даже взгляда. Если он всматривался в незнакомцев (а в течение этой короткой прогулки он два или три раза бросал жуткий и глубокий зондирующий взгляд на незначительных и скромных по виду людей, проходивших мимо нас), то ни минуты не глядел, насколько я мог судить по себе, на людей знакомых, — как агент тайной полиции, для которого его друзья находятся вне круга его профессиональных наблюдений. Предоставив бабушке, г-же де Вильпаризи и ему беседовать друг с другом, я немного отстал от них с Сен-Лу:

— Скажите, правильно ли я расслышал: госпожа де Вильпаризи сказала вашему дяде, что он Германт?

— Ну да, конечно, он Паламед Германтский.

— Из рода Германтов, у которых есть замок около Комбре и которые считают себя потомками Женевьевы Брабантской?

— Ну да, именно: мой дядя, который как нельзя более предан геральдике, сказал бы вам, что наш *клич,* наш боевой клич, который потом превратился в слово «Вперед!», был прежде «Комбрези!», — сказал он со смехом, чтобы нельзя было подумать, будто он хвастается этим преимуществом, — кличем, составлявшим исключительную принадлежность домов почти королевского происхождения, предводителей больших дружин. — Он брат теперешнего владельца замка.

Так становилась родственницей Германтов, и притом совсем близкой, та самая г-жа де Вильпаризи, которая долго оставалась для меня дамой, подарившей мне, когда я был маленький, утку с коробкой шоколада в клюве, и которая была так далека от Германта, как если бы она была заключена в стороне Мезеглиза, менее блистательная, занимавшая в моих глазах положение менее высокое, чем даже оптик в Комбре, и теперь вдруг подвергшаяся фантастическому превращению, одному из тех, которые то возвеличивают, то так же неожиданно роняют в нашем мнении разные вещи, являющиеся нашим достоянием, и которые в обоих случаях вносят в нашу юность и в те периоды нашей жизни, где сохранилось хоть

что-нибудь от нашей юности, изменения столь же многочисленные, как метаморфозы Овидия.

— Кажется, в этом замке собраны бюсты всех прежних владетелей Германта?

— Да, великолепное зрелище, — с иронией сказал Сен-Лу. — Между нами говоря, я считаю, что все это несколько смешно. Но в Германте — а это уж несколько интереснее! — есть очень трогательный портрет моей тетки, работы Карьера. Прекрасно, точно Уистлер или Веласкес, — прибавил Сен-Лу, который в своем рвении неофита не всегда очень точно соблюдал иерархию величин. — Есть там и потрясающие картины Гюстава Моро. Моя тетка, племянница вашей приятельницы, госпожи де Вильпаризи, была воспитана ею и вышла замуж за своего двоюродного брата, который тоже приходится племянником моей тетке Вильпаризи, теперешнего герцога Германтского.

— Так кто же ваш дядя?

— Он носит титул *барона де Шарлюса.* По правилам, после смерти моего двоюродного деда дядя Паламед должен был принять титул *принца де Ломм,* принадлежавший его брату перед тем, как он стал *герцогом Германтским,* — ведь в этой семье имена меняются, как сорочки. Но у моего дяди на все это особые взгляды. А так как он находит,

что теперь несколько злоупотребляют титулами итальянских герцогов, испанских грандов и т. д., и несмотря на то, что он мог выбирать между четырьмя или пятью княжескими титулами, он сохранил титул *барона де Шарлюса* ради протеста и с нарочитой простотой, в которой есть большая доля гордости. «В наше время, — говорит он, — все — князья, надо же чем-нибудь отличаться от других; я приму княжеский титул, когда соберусь путешествовать инкогнито». По его мнению, нет титула более древнего, чем титул *барона де Шарлюса;* чтобы доказать, что он древнее титула баронов Монморанси, которые неправильно называли себя первыми баронами Франции, в то время как они были только первыми баронами Иль-де-Франса, где находился их лен, дядя мой на целые часы и с большим удовольствием пустится в объяснения, потому что, хоть он и очень тонкий, очень одаренный человек, однако считает это вполне современной темой для разговора, — сказал с улыбкой Сен-Лу. — Но так как я на него не похож, вам не удастся втянуть меня в разговор о генеалогии, потому что нет ничего более скучного, более отжившего; право, жизнь слишком коротка.

Теперь в этом жестком взгляде, который за-

ставил меня обернуться, когда я проходил мимо казино, я узнал тот самый взгляд, который был устремлен на меня в Тансонвиле, в тот миг, когда г-жа Сван позвала Жильберту.

— А в числе многочисленных любовниц, которые, как вы мне говорили, были у вашего дяди, господина де Шарлюса, не было ли госпожи Сван?

— О, отнюдь нет! То есть он большой друг Свана и всегда очень защищал его. Но никогда не было речи о том, что он любовник его жены. В свете вы бы вызвали большое удивление, если бы дали понять, что так думаете.

Я не решился ему ответить, что в Комбре я вызвал бы гораздо большее удивление, если бы дал понять, что этого не думаю.

Моя бабушка была очарована г-ном де Шарлюсом. Правда, он придавал исключительную важность всяким вопросам о происхождении и положении в свете, и бабушка заметила это, но без той суровости, в которую обыкновенно входит тайная зависть и раздражение, что другой пользуется преимуществами, заманчивыми, но недостижимыми для нас. Так как, напротив, моя бабушка, довольная своей судьбой и отнюдь не жалевшая о том, что ей не приходится жить в

более блестящем обществе, руководилась лишь своим умом, отмечая недостатки г-на де Шарлюса, то о дяде Сен-Лу она говорила с той спокойной улыбающейся благосклонностью, почти симпатией, которой мы вознаграждаем объект наших бескорыстных наблюдений за доставляемое им удовольствие, тем более что на этот раз объектом был человек, притязания которого, по ее мнению, если и не законные, то по крайней мере занятные, довольно резко отличали его от людей, которых ей обычно приходилось видеть. Но эти аристократические предрассудки бабушка с такой легкостью прощала главным образом за ум и чувствительность, по-видимому чрезвычайно сильно Развитые в г-не де Шарлюсе, в противоположность стольким светским людям, над которыми издевался Сен-Лу. Всё же дядя в отличие от племянника не пожертвовал этими предрассудками во имя высших интересов. Г-н де Шарлюс скорее примирял то и другое. Владея, как потомок герцогов Немурских и принцев Ламбальских, архивами, мебелью, гобеленами, портретами, писанными для его предков Рафаэлем, Веласкесом, Буше, имея право говорить, что, пробегая свои фамильные воспоминания, он посещает музей и великолепную библиотеку, барон,

напротив, поднимал наследие аристократии на ту высоту, с которой племянник низверг все это. Пожалуй также, будучи менее склонен к философским рассуждениям, чем Сен-Лу, более скупой на слова, наблюдая людей с более реалистической точки зрения, он не желал пренебрегать существенными в их глазах элементами престижа, который, давая его фантазии бескорыстное наслаждение, в то же время нередко являлся сильнодействующим вспомогательным средством в его практических делах. Нерешенным остается спор между этим разрядом людей и теми, кто повинуется внутреннему идеалу, побуждающему их расстаться со своими преимуществами, чтобы всецело отдаться претворению идеала в жизнь, подобно живописцам и писателям, которые отказываются от своего мастерства; подобно народам, обладающим художественною культурой и приносящим ее в жертву современной пошлости, или народам воинственным, которые берут почин всеобщего разоружения; подобно правительствам с абсолютной властью, которые демократизируются и отменяют суровые законы. Причем весьма нередко действительность не вознаграждает их благородных усилий, ибо одни теряют свой талант, другие — свое вековое пре-

обладание, пацифизм порою насаждает войны, а снисходительность усиливает преступность. Если в стремлениях Сен-Лу к искренности и к свободе нельзя было не видеть подлинного благородства, то, судя по внешним результатам, позволительно было радоваться отсутствию подобных стремлений у г-на де Шарлюса, который перевез к себе из особняка Германтов значительную часть прекрасной резной мебели, а не сменил ее, подобно своему племяннику, на обстановку в стиле модерн, на Лебуров или Гильоменов. Это, правда, не мешало тому, что идеал г-на де Шарлюса являлся весьма надуманным и — если только эти эпитеты могут быть приложены к слову *идеал* — столь же светским, сколь и художественным. В нескольких женщинах замечательной красоты и редкой образованности, чьи предки два века тому назад были славой и украшением старого режима, он находил изысканность и только в их обществе проводил время без скуки; конечно, его восхищение было искренно, но в значительной степени оно определялось целым рядом исторических и художественных реминисценций, вызванных их именами, подобно тому как воспоминания древности являются одной из причин наслаждения, какое испытывает ученый, читая

оду Горация, может быть уступающую иным современным стихотворениям, которые оставили бы его равнодушным. По сравнению с хорошенькой мещанкой каждая из этих женщин была для него тем же, чем являются для нас, рядом с современным холстом, изображающим дорогу или свадьбу, те старинные картины, историю которых мы хорошо знаем, начиная с заказавших их Папы или короля и кончая разными лицами, владевшими ими по праву наследства или захвата, купившими их или получившими в дар и напоминающими нам о каком-нибудь историческом событии или по крайней мере о каком-нибудь исторически известном браке; таким образом, запас наших знаний придает им новую цену, заставляя живее почувствовать богатство нашей памяти или нашей эрудиции. Г-н де Шарлюс радовался, что предрассудки, аналогичные его собственным и не позволявшие этим знатным дамам водить знакомство с женщинами менее чистой крови, сохранили их нетронутыми для его культа со всем былым аристократизмом, как те фасады XVIII века, поддерживаемые плоскими колоннами розового мрамора, в которых и посейчас ничто не изменилось.

Г-н де Шарлюс восхвалял истинное *благород-*

ство ума и сердца этих женщин, вкладывая таким образом в слово «благородство» двойной смысл, обманывавший его самого и являвшийся источником лживости этой незаконной концепции, этого искусственного сочетания аристократизма, возвышенных чувств и артистичности; но эта двойственность благородства таит в себе также соблазн, небезопасный для таких людей, как моя бабушка, которой показались бы слишком нелепыми более грубые и вместе с тем более невинные предрассудки аристократа, думающего только о родословных и больше ни о чем, но которая была беззащитна, как только ей приходилось сталкиваться с чем-нибудь, имеющим внешность интеллектуального превосходства, — до такой степени, что самыми счастливыми смертными она считала принцев, ибо их воспитателями могли быть Лабрюйер или Фенелон.

У Гранд-отеля трое Германтов расстались с нами, они шли завтракать к принцессе Люксембургской. В ту минуту, когда бабушка прощалась с г-жой де Вильпаризи, а Сен-Лу с бабушкой, г-н де Шарлюс, до сих пор не сказавший мне ни слова, несколько отступил назад и, поравнявшись со мной, проговорил: «Сегодня вечером я после обеда буду пить чай у моей тетушки Вильпаризи.

Надеюсь, что вы и ваша бабушка не откажетесь сделать мне удовольствие и зайдете к нам». И он поспешил нагнать маркизу.

Хотя было воскресенье, перед гостиницей фиакров стояло не больше, чем в начале сезона. В частности, жена нотариуса считала, что слишком дорого каждый раз нанимать экипаж для того только, чтобы не ехать к Камбремерам, и просто оставалась у себя в комнате.

— Не больна ли госпожа Бланде? — спрашивали у нотариуса. — Ее не видно сегодня.

— У ней немного болит голова, жарко, да и эта гроза. Ей достаточно какого-нибудь пустяка; но я думаю, вы увидите ее уже сегодня вечером. Я посоветовал ей сойти вниз. Это ей может быть только полезно.

Я предполагал, что, приглашая нас к своей тетке, которую — как я не сомневался — он предупредил об этом, г-н де Шарлюс хотел загладить невежливость, проявленную по отношению ко мне во время утренней прогулки. Но когда, войдя в гостиную г-жи де Вильпаризи, я хотел поздороваться с ее племянником, сколько я ни вертелся вокруг него, пока он звонким голосом рассказывал какую-то довольно ядовитую историю про одного из своих родственников, мне не

удалось поймать его взгляд; я решился сказать ему «здравствуйте», и довольно громко, чтобы напомнить ему о моем присутствии, но я понял, что он меня заметил, так как прежде даже, чем я успел раскрыть рот, в ту минуту, как я кланялся, я увидел два пальца, протянутые мне для пожатия, а сам он не повернулся и не прервал разговора. Он несомненно видел меня, но этого не показывал, и тут я заметил, что глаза его, никогда не останавливавшиеся на собеседнике, то и дело блуждают во всех направлениях, как глаза испуганного животного или же уличного торговца, который, зазывая покупателей и показывая свой запретный товар, не поворачивает голову, но то и дело шарит по сторонам глазами — не идет ли откуда-нибудь полиция. Однако я был несколько удивлен, заметив, что г-жа де Вильпаризи, обрадованная нашим приходом, как будто не ожидала нас; но удивился еще более, услышав, как г-н де Шарлюс сказал моей бабушке: «Ах, это прекрасная мысль, что вы решили прийти, это очаровательно, правда, тетя?» По-видимому, он заметил ее удивление, когда мы вошли, и, как человек, привыкший задавать тон, ноту «ля», решил, что превратит ее удивление в радость, если только покажет, что и сам испытывает эту

радость, что это чувство и должно возбуждать наше появление. Расчет был правильный, так как г-жа де Вильпаризи, очень считавшаяся со своим племянником и знавшая, как трудно ему понравиться, вдруг словно обнаружила в моей бабушке новые достоинства, и ее приветливость оказалась неиссякаемой. Но я не понимал, как мог г-н де Шарлюс за несколько часов забыть о приглашении, таком лаконическом, но, по-видимому, таком нарочитом, таком обдуманном, с которым он обратился ко мне сегодня утром и которое теперь называл «прекрасной мыслью», пришедшей в голову моей бабушке, тогда как эта мысль целиком принадлежала ему. Повинуясь пристрастию к точности, которое мне было свойственно вплоть до того возраста, когда я понял, что, расспрашивая человека, мы все равно не поймем его истинного намерения и что обойти молчанием недоразумение, которое, вероятно, пройдет незамеченным, не столь рискованно, как проявить наивную настойчивость, я сказал ему: «Но вы ведь помните, мсье, не правда ли, что вы сами просили нас прийти сегодня?» Ни единым звуком, ни единым движением г-н де Шарлюс не показал, что он слышал мой вопрос. Увидев это, я повторил вопрос, как дипломат или как те

повздорившие молодые люди, которые с неутомимым и тщетным усердием пытаются получить от противника объяснение, которого тот решил не давать. Г-н де Шарлюс опять не ответил мне. Мне показалось, что на его губах промелькнула улыбка человека, который с большой высоты судит о людях и о воспитании, ими полученном.

Так как он решительно отказывался от объяснения, я сам стал стараться придумать его, но ничего не достиг и колебался между несколькими догадками, из которых ни одна не могла быть правильной. Может быть, он не помнил или, может быть, я плохо понял то, что он сказал утром… Было более вероятно, что он из гордости не хотел показывать вида, будто пригласил людей, к которым относился пренебрежительно, и предпочел приписать им самим инициативу посещения. Но в таком случае, если он пренебрегал нами, то зачем ему так хотелось, чтобы мы пришли, вернее, чтобы пришла моя бабушка, так как из нас двоих он в течение этого вечера обращался только к ней и ни разу ко мне. Весьма оживленно беседуя с нею, а также с г-жой де Вильпаризи и точно спрятавшись за ними, как в глубине ложи, он довольствовался тем, что время от времени, отводя от них свой пытливо-пронзительный

взгляд, останавливал его на моем лице, с таким серьезным и озабоченным видом, как если бы это была рукопись, которую трудно разобрать.

Несомненно, если бы не эти глаза, г-н де Шарлюс был бы похож лицом на многих красивых мужчин. И когда потом Сен-Лу, разговаривая со мной о других представителях рода Германтов, сказал мне: «Ну, конечно, нет у них этой породистости, этой аристократичности, как у дяди Паламеда, аристократа с головы до пят», — подтверждая, что породистость и изящные манеры не представляют ничего таинственного и нового, но складываются из элементов, которые я различил без труда и не испытывая при этом никакого особенного впечатления, — я почувствовал, как исчезает одна из моих иллюзий. Но пусть г-н де Шарлюс герметически закрывал выражение своего лица, которому легкий слой пудры придавал несколько театральный вид, глаза были словно трещина, словно бойница, которой ему не удавалось заткнуть и сквозь которую, в зависимости от того, где вы помещались по отношению к нему, на вас внезапно падал отблеск какого-то снаряда, находящегося внутри и по всем признакам отнюдь не безопасного, даже для того, кто, не умея в совершенстве с ним обращаться, носил бы его

в себе в состоянии неустойчивого равновесия, готовым каждую минуту дать взрыв; и настороженное, вечно беспокойное выражение этих глаз, вместе с печатью усталости на лице, сказывавшейся хотя бы в глубоких синих кругах, каким бы сдержанным и подобранным ни было это лицо, наводили на мысль о некоем инкогнито, о переодевании, к которому вынужден прибегнуть в опасности человек могущественный, или просто о некоей опасной, но трагической личности. Мне хотелось разгадать, что это за тайна, которой не носили в себе прочие люди и которая сообщала такую загадочность взгляду г-на де Шарлюса уже сегодня утром, когда я увидел его у казино. Но, зная теперь о его происхождении, я уже не мог думать, что это взгляд жулика, а услышав его разговор, не мог думать, что это взгляд сумасшедшего. Если со мной он был холоден, меж тем как с бабушкой он был столь любезен, то это, может быть, вызывалось не личной антипатией, так как вообще насколько благожелательно он относился к женщинам, о недостатках которых говорил обыкновенно с большой снисходительностью, настолько по отношению к мужчинам, в особенности к молодым людям, он проявлял бурную ненависть, вроде той, какая наблюдается у

некоторых женоненавистников. О двух или трех «пареньках», родственниках или приятелях Сен-Лу, который случайно упомянул их имена, г-н де Шарлюс отозвался тоном почти свирепым, резко контрастировавшим с его обычной холодностью: «Гаденыши». Как я понял, нынешних молодых людей он упрекал главным образом в том, что они слишком обабились. «Это настоящие женщины», — говорил он с презрением. Но какой образ жизни не показался бы ему изнеженным по сравнению с тем, какой, с его точки зрения, подобал мужчине и все же никогда не мог быть признан достаточно мужественным и деятельным? (Сам он, во время своих путешествий пешком, разгоряченный ходьбой, бросался в ледяные реки.) Он даже не допускал, чтобы мужчина носил кольца. Но эта нарочитая мужественность не мешала ему обладать тончайшей чувствительностью. Г-же де Вильпаризи, которая попросила его описать моей бабушке замок, где жила одно время г-жа де Севинье, прибавив, что, по ее мнению, отчаяние писательницы, разлученной с этой скучнейшей г-жой де Гриньян, имеет несколько литературный характер, он ответил:

— По-моему, напротив, нет ничего более естественного. Впрочем, то было время, когда эти

чувства умели понимать. У Лафонтена житель Мономотапы, спешащий к своему другу, потому что тот явился ему во сне и что-то грустил, голубок, для которого величайшее несчастье — разлука с другим голубком, быть может, кажется вам, тетушка, таким же преувеличением, как и письмо госпожи де Севинье, которая не может дождаться минуты, когда она останется наедине со своей дочерью. То, что она говорит, когда расстается с ней, так прекрасно: эта разлука так терзает мне душу, что я словно чувствую физическую боль. В разлуке мы очень щедро расходуем время. Мы стараемся приблизить срок, к которому стремимся.

Бабушка была в восторге, услышав отзыв об этих «Письмах», в точности совпадавший с ее собственным мнением. Она удивлялась, что мужчина может так хорошо понимать их. В г-не де Шарлюсе она видела женскую нежность и чувствительность. Позднее, оставшись одни и заговорив о нем, мы решили, что он, вероятно, испытал глубокое влияние какой-нибудь женщины — своей матери или, в более позднюю пору, дочери, если у него были дети. Я думал: «любовницы», вспоминая о влиянии, которое, как мне казалось, имела на Сен-Лу его любовница, и отдавая себе

отчет в том, как облагораживают мужчин женщины, с которыми они живут.

— Когда они были вместе, ей, наверно, нечего было сказать своей дочери, — ответила г-жа де Вильпаризи.

— Разумеется, было что сказать, хотя бы то, что она называла «вещами столь воздушными, что только вы и я замечаем их». И, во всяком случае, они были вместе. А Лабрюйер говорит нам, что в этом — всё: «Быть возле тех, кого мы любим, говорить с ними или не говорить вовсе — равно прекрасно». Он прав; это единственное счастье в мире, — меланхолично прибавил г-н де Шарлюс, — а жизнь, увы! так неважно устроена, что мы очень редко им наслаждаемся; в сущности, госпожа де Севинье заслуживает меньшего сожаления, чем другие. Значительную часть своей жизни она провела вместе с той, которую любила.

— Ты забываешь, что это была не любовь, речь идет о ее дочери.

— Но в жизни самое важное не то, кого мы любим, — возразил он компетентным, решительным и даже резким тоном, — важна сама любовь. Чувство госпожи де Севинье к ее дочери представляет гораздо большее сходство с той страстью,

которую Расин описал в «Андромахе» и «Федре», чем пошлые отношения молодого Севинье с его возлюбленными. То же самое — и любовь мистика к его божеству. Слишком узкие границы, в которые мы заключаем любовь, — следствие того, что мы совершенно не знаем жизни.

«Тебе так нравятся «Андромаха» и «Федра»?» — спросил своего дядю слегка пренебрежительным тоном Сен-Лу. «В одной трагедии Расина больше правды, чем во всех драмах господина Гюго», — ответил г-н де Шарлюс. «Светские люди — это все-таки жутко, — шепнул мне на ухо Сен-Лу. — Предпочитать Расина Виктору, это как-никак чудовищно!». Его искренно огорчили слова дяди, но утешила возможность сказать «как-никак», и главным образом — «чудовищно».

В этих размышлениях о том, как грустно жить вдали от любимых нами (размышлениях, побудивших бабушку сказать мне, что племянник г-жи де Вильпаризи гораздо лучше, чем его тетка, понимает иные произведения и, главное, в нем есть черты, ставящие его гораздо выше большинства клубменов), г-н де Шарлюс не только выказывал тонкость чувства, которую мужчины редко проявляют; самый голос его — напоминавший те контральто, в которых недостаточно

обработана середина, так что пение их кажется дуэтом юноши и женщины, — когда он высказывал эти мысли, полные такой нежности, брал высокие ноты, проникался неожиданной мягкостью и словно сочетал в себе хоры невест, хоры сестер, изливающих свою нежность. Но этот выводок молодых девушек, как будто нашедших себе приют в голосе г-на де Шарлюса (что должно было бы повергнуть в отчаяние этого человека, питавшего отвращение ко всякому женоподобию), не ограничивался участием в передаче, в модулировании чувствительных пассажей. Часто в то время, когда говорил г-н де Шарлюс, можно было слышать, как они, эти воспитанницы пансионов, эти кокетки, смеясь звонко и свежо, метили в своего ближнего и злословили острыми и лукавыми язычками.

Он рассказывал, что дом, которым владел его род, где Марии Антуанетте случалось ночевать, с парком, разбитым по планам Ленотра, сделался теперь собственностью семейства богача-финансиста Израэля, купившего его:

— Израэль — так, во всяком случае, зовут этих людей, — на мой взгляд, это скорее родовое, этнографическое обозначение, чем имя собственное. Кто знает, пожалуй, эти личности вовсе не

имеют фамилии и обозначаются по имени той общины, к которой принадлежат. Неважно! Быть жилищем Германтов и перейти к Израэлям!!! — воскликнул он. — Это напоминает ту комнату в замке Блуа, про которую сторож, показывавший замок, говорил мне: «Здесь молилась Мария Стюарт, а теперь я тут ставлю мои метлы». Конечно, я и слышать не хочу об этом опозоренном доме, как и о моей кузине Кларе де Шиме, бросившей своего мужа. Но я сохраняю фотографию этого дома, еще незапакощенного, так же как и фотографию принцессы, снятую еще в то время, когда ее большие глаза не смотрели ни на кого, кроме моего двоюродного брата. Фотография в некоторой степени приобретает недостающее ей достоинство, когда перестает быть воспроизведением действительности и показывает нам вещи, которых больше нет. Я вам подарю одну из них, если вы интересуетесь этого рода архитектурой, — сказал он моей бабушке. В эту минуту, заметив, что вышитый носовой платок высунулся из кармана больше, чем нужно, и что видны цветные каемки, он быстро засунул его, своим напуганным видом напоминая преувеличенно стыдливую, но отнюдь не невинную женщину, прикрывающую свои прелести, которые, по чрезмерной

щепетильности, она считает неприличными. — Представьте себе, — продолжал он, — эти люди начали с того, что уничтожили парк Ленотра, — такое же преступление, как изорвать картину Пуссена. За такое дело эти Израэли должны были бы сидеть в тюрьме. Правда, — прибавил он с улыбкой, помолчав минуту, — есть, наверное, немало других причин, по которым им следовало бы находиться там! Во всяком случае, вы представляете себе, какое впечатление должен производить английский сад в сочетании с такой архитектурой.

— Но здание в том же стиле, что и Малый Трианон, — сказала г-жа де Вильпаризи, — а ведь Мария Антуанета велела же разбить там английский сад.

— Который все-таки портит фасад Габриэля, — ответил г-н де Шарлюс. — Разумеется, теперь было бы варварством уничтожить Деревушку. Но каков бы ни был дух времени, я все-таки сомневаюсь, чтобы фантазия госпожи Израэль имела для нас такую же ценность, как память о королеве.

Между тем бабушка сделала мне знак, чтобы я шел ложиться спать, невзирая на просьбы Сен-Лу, который, к моему великому стыду, в присутствии г-на де Шарлюса упомянул о том, что по вечерам,

перед тем как уснуть, меня часто охватывает тоска — состояние, которое его дядя должен был признать весьма неподходящим для мужчины. Я задержался еще несколько минут, потом ушел и очень удивился, когда вскоре раздался стук в дверь моей комнаты и на мой вопрос, кто стучит, я услышал голос г-на де Шарлюса, который сухо сказал:

— Это Шарлюс. Можно ли войти, мсье? Мсье, — продолжал он тем же тоном, затворив дверь, — мой племянник сейчас говорил, что вы немного скучаете, перед тем как заснуть, а кроме того, что вы восхищаетесь книгами Бергота. Так как у меня в сундуке оказалась одна его вещь, вероятно, неизвестная вам, то я и принес ее вам, чтобы помочь вам легче перенести эти минуты, когда вы чувствуете себя не вполне счастливым.

Я с чувством поблагодарил г-на де Шарлюса и сказал, что, напротив, меня испугало, как бы от слов Сен-Лу, рассказавшего о моей тревоге при наступлении ночи, я не показался ему глупее, чем был.

— Да нет, — ответил он более мягко. — Может быть, у вас как у человека нет особых достоинств, они встречаются так редко! Но пока что вы хоть молоды, а в этом всегда есть обаяние. Впрочем,

мсье, величайшая из глупостей — высмеивать и порицать чувства, которых не испытываешь сам. Я люблю ночь, а вы мне говорите, что страшитесь ее; я люблю запах роз, а у меня есть приятель, у которого от этого запаха делается лихорадка. Так неужели же я на этом основании буду ставить его ниже себя? Я стремлюсь к тому, чтобы все мне было понятно, и остерегаюсь что бы то ни было осуждать. В общем, вам не следует особенно жаловаться; не скажу, чтобы эти приступы тоски не были мучительны, я знаю, как можно страдать из-за того, что для других было бы непонятно. Но по крайней мере вы счастливо избрали предметом вашей любви вашу бабушку. Вы много бываете с ней. И к тому же это дозволенная привязанность, то есть, я хочу сказать, привязанность взаимная. Есть столько случаев, о которых этого нельзя сказать.

Он расхаживал взад и вперед по моей комнате, то рассматривая, то беря в руки какую-нибудь вещь. У меня было впечатление, что он собирается что-то объявить мне и не находит подходящих выражений.

«У меня здесь есть еще один том Бергота, я достану его вам, — прибавил он и позвонил. Через минуту вошел грум. — Подите позовите мне

вашего метрдотеля. Здесь только он один в состоянии толково исполнить поручение», — надменно сказал г-н де Шарлюс. «Господина Эме, сударь?» — спросил грум. «Я не знаю, как его зовут, впрочем, да, вспоминаю, что его называли Эме. Скорее, я спешу». — «Он сию минуту придет, сударь, я как раз видел его внизу», — ответил грум, желавший показать, что он в курсе дел. Прошло некоторое время. Грум вернулся. «Сударь, господин Эме лег спать. Но я могу исполнить поручение». — «Нет, вы должны только разбудить его». — «Сударь, я не могу, он ночует не здесь». — «Тогда оставьте нас в покое». — «Но вы слишком любезны, мсье, — сказал я, когда грум вышел, — довольно одной книги Бергота». — «Да, в конце концов, пожалуй, что так». Г-н де Шарлюс продолжал ходить. Так прошло несколько минут, затем, после очень недолгих колебаний, постепенно овладев собою, он круто повернулся на месте, бросил мне таким же резким голосом, как раньше: «Прощайте сударь», — и вышел. После всех этих возвышенных чувств, которые он высказал при мне в тот вечер, я был немало удивлен, когда на следующее утро, в день своего отъезда, г-н де Шарлюс — подойдя ко мне на пляже в ту минуту, когда я собирался войти в воду, с целью предупредить меня, что

бабушка будет меня ждать сразу же после купанья, — ущипнул меня за шею и проговорил фамильярным тоном, сопровождая свои слова грубым смехом:

— А на старую бабушку ведь наплевать, а? бездельник!

— Что вы, мсье, я ее обожаю!

— Мсье, — сказал он, отступив на один шаг и придав лицу ледяное выражение, — пока вы еще молоды, вам следовало бы этим воспользоваться и научиться двум вещам: во-первых, воздерживаться от выражения чувств, слишком естественных, чтобы они не подразумевались сами собой; во-вторых, не приходить в азарт от того, что вам сказали, пока не вникнете в смысл слов. Если бы вы, минуту тому назад, последовали этому осторожному правилу, вам не пришлось бы отвечать невпопад, как будто вы глухой, и не пришлось бы поставить себя в смешное положение, хотя эти вышитые якори на вашем купальном костюме и так уж смешны. Я дал вам книгу Бергота, которая мне теперь нужна. Пришлите мне ее через час с этим метрдотелем, у которого забавное и неуместное имя и который, думаю, сейчас не спит. Я вижу, что вчера вечером преждевременно заговорил с вами о молодости

и ее обаянии, я оказал бы вам лучшую услугу, если бы подчеркнул ее легкомыслие, непоследовательность и непонятливость. Надеюсь, сударь, что этот маленький душ будет вам не менее полезен, чем купанье. Но не стойте неподвижно, вы можете простудиться. Прощайте, мсье.

Наверное, он пожалел об этих словах, потому что через некоторое время я получил — в сафьяновом переплете с вделанным в его крышку куском кожи, на котором была оттиснута ветка незабудок, — книгу, которую он давал мне и которую я отослал ему не с Эме, пользовавшимся своим «свободным днем», а с лифтером.

Когда г-н де Шарлюс отбыл, мы с Робером смогли наконец отобедать у Блока. Во время этого маленького торжества я понял, что анекдоты, которые наш приятель с такой снисходительностью признавал забавными, рассказывались г-ном Блоком-отцом и что «замечательнейший человек» оказывался всегда одним из друзей его отца, о котором он так отзывался. Бывают люди, которыми мы восхищаемся в детстве: отец, более остроумный, чем прочие члены семьи; учитель, возвышающийся в наших глазах благодаря той метафизике, которую он открывает нам; товарищ, более развитой, чем мы (таким был для меня

Блок), который презирает «Упование на Бога» Мюссе, когда оно еще нравится нам, а когда мы дорастем до «папаши Леконта» или до Клоделя, будет восторгаться только такими стихами, как:

//На Зуэкке, среди лагун,
Я душой, я душой навеки,//

прибавляя к ним:

//И Падуя прекрасна, право,
Там доктора толкуют право.
…Поленту — вот что я люблю.
…Проходит в черном домино
Ла Топателла —//

и из всех «Ночей» запоминает только:

//И в Гавре, там, где океан,
На Лидо, острове ужасном,
Где Адриатики волна
Ложится мертвенно-бледна
Меж трав на берегу безгласном//[36]

А когда мы слепо восхищаемся кем-нибудь, мы запоминаем и с восторгом приводим выражения, стоящие гораздо ниже тех, которые, подвергни мы их самостоятельной оценке, мы бы сурово отвергли, подобно тому как писатель вставляет в роман, под тем предлогом, что они «жизненны»,

---

[36] Примечания: 36
Перевод Д. Усова.

взяты из действительности, целый ряд словечек и персонажей, которые в живой целостности произведения, напротив, оказываются мертвым грузом, его слабой стороной. Портреты Сен-Симона, написанные им без любования своим искусством, восхитительны, тогда как прелестные, на его взгляд, выражения разных умных людей, которых ему приходилось встречать, кажутся посредственными или стали непонятны. Он счел бы недостойным себя придумывать то, что в г-же Корнюэль или в Людовике XIV кажется ему таким остроумным или таким красочным, — факт, весьма часто, впрочем, имеющий место и допускающий разные толкования, из которых в данный момент отметим следующее: «наблюдая», наш ум стоит на уровне гораздо более низком, чем тот, который мы занимаем, когда творим.

Итак, в моего товарища Блока вклинился Блок-отец, на сорок лет отстававший от сына, рассказывавший нелепые анекдоты и радовавшийся им в душе моего приятеля еще больше, чем наружный и подлинный Блок-отец, ибо к смеху, которым он разражался, не упуская случая два-три раза повторить последнее слово, чтобы его слушатели лучше оценили рассказ, присоединялся шумный смех, которым сын во время обеда всегда

приветствовал рассказы отца. Так, сказав что-нибудь весьма умное, молодой Блок, демонстрируя наследство, полученное им от своей семьи, в двадцатый раз преподносил нам одну из тех острот, которые Блок-отец извлекал на свет (так же, как и сюртук) только в торжественные дни, когда молодой Блок приводил человека, которого стоило поразить: кого-нибудь из своих учителей «однокашника», получившего все награды, или, как на этот раз, Сен-Лу и меня. Например: «Весьма проницательный стратег, с большой ученостью и с документальными данными доказавший, вследствие каких непреложных причин побежденными в русско-японской войне окажутся японцы, а победителями русские», или же: «Это выдающийся человек, — в кругах политических он слывет великим финансистом, а в кругах финансовых — великим политиком». Эти остроты чередовались с рассказом о бароне Ротшильде и с рассказом о сэре Руфусе Израэльсе, выводимых на сцену двусмысленным образом, чтобы можно было подумать, будто господин Блок лично знаком с ними. Я сам поддался этому обману, а по тому, как г-н Блок-отец заговорил о Берготе, я решил, что это один из старых его друзей. Однако всех знаменитостей г-н Блок знал, «не будучи с ним

знаком»: видел их издали в театре или на бульварах. Впрочем, он воображал, что его собственное лицо, его имя, его личность небезызвестны им и что при виде его им часто приходится подавлять в себе затаенное желание поклониться ему. Оттого что люди общества лично знакомы с художниками и писателями и приглашают их на обеды, они не лучше понимают их. Но если немного пожить в свете, глупость, царящая в нем, вызывает в нас сильное желание пожить в том безвестном мире, где людей знают, «не будучи с ними знакомы», и внушает нам преувеличенное представление об уме его обитателей. Я вскоре убедился в этом, заговорив о Берготе. Не один только г-н Блок пользовался успехом у себя дома. Мой товарищ еще большим успехом пользовался у своих сестер, к которым он обращался ворчливым тоном, уткнувшись в тарелку, что смешило их до слез. Кроме того, они усвоили язык брата, на котором говорили бегло, как будто он был единственным и обязательным для людей интеллигентных. Когда мы вошли, старшая сказала одной из младших: «Пойди возвести нашему премудрому отцу и нашей достопочтенной матери». — «Суки, — сказал им Блок, — представляю вам всадника Сен-Лу, несравненного в метании

копий, который прибыл на несколько дней из Донсьера, украшенного палатами из гладко-блестящего камня и изобилующего конями». А так как вместе с начитанностью он отличался также и пошлостью, то речи его обыкновенно заканчивались какой-нибудь шуткой в стиле менее гомеровском: «Застегните-ка ваши пеплосы на драгоценные аграфы, что за беспорядок? Как-никак, это ведь не отец мой». И девицы Блок покатывались от хохота. Я сказал их брату, сколько радости он доставил мне, посоветовав читать Бергота, книгами которого я увлекался.

Г-н Блок-отец, знавший Бергота только издали, о жизни же его — лишь по сплетням партера, столь же косвенным образом знакомился и с его произведениями, полагаясь на отзывы мнимо-литературные. Он жил в мире, где всё приблизительно, где кланяются в пространство, где судят наобум. Неточность и неосновательность там нисколько не ослабляют уверенности, напротив. В том и состоит чудесно-благотворная сила самолюбия, что при немногочисленности людей с блестящими знакомствами и глубокими познаниями, те, кому это недоступно, все-таки считают свой жребий самым удачным, ибо таковы уж оптические особенности социального

амфитеатра, что всякое положение кажется наилучшим тому, кто его занимает, и он, напротив, видит обездоленных, достойных сожаления неудачников в людях более значительных, чем он, имена которых он называет и на которых клевещет, не будучи с ними знаком, которых он судит и презирает, не понимая их. А в тех случаях, когда и самолюбия, с его способностью умножать число сомнительных личных преимуществ, бывает недостаточно, чтобы обеспечить каждому необходимую дозу счастья, большую, чем та, что отпущена другим, разницу сглаживает зависть. Правда, если зависть прибегает к презрительным фразам, то слова «Я не хочу знакомиться с ним» надо переводить: «Я не могу с ним познакомиться». Таков рациональный смысл. Но смысл эмоциональный — конечно: «Я не хочу познакомиться с ним». Мы знаем, что это неправда, но говорим это не потому, что притворяемся, — мы говорим это потому, что мы это чувствуем и этого нам достаточно, чтобы уничтожить расстояние, то есть чтобы достигнуть счастья.

Поскольку таким образом эгоцентризм позволяет каждому человеку смотреть на мир сверху вниз и мнить себя царем, г-н Блок позволял себе роскошь быть беспощадным монархом, когда

утром, за шоколадом, замечая подпись Бергота под какой-нибудь статьей в газете, которую только что успел развернуть, он удостаивал его пренебрежительной, краткой аудиенции, произносил свой приговор и доставлял себе уютное удовольствие повторять при каждом глотке горячего напитка: «Этого Бергота стало невозможно читать. Что это за скучная скотина. Хоть не подписывайся на газету. Как наворочено, как размазано!» И он намазывал маслом кусочек хлеба.

Впрочем, эта призрачная авторитетность г-на Блока-отца простиралась отчасти и за пределы его собственных суждений. Прежде всего, его дети смотрели на него как на человека исключительного. Дети всегда склонны либо умалять, либо преувеличивать значение своих родителей, и для хорошего сына отец его всегда лучший из отцов, независимо даже от всяких объективных оснований для такого преклонения. А эти основания все же были у детей г-на Блока, человека образованного, остроумного, хорошего семьянина. В кругу самых близких людей его ценили тем более, что если в «обществе» людей судят по определенному масштабу, правда нелепому, и согласно некоторым ложным, но твердо установленным правилам, путем сравнения с общей

массой светских людей, то, напротив, в среде буржуазной, при ее раздробленности, семейные обеды, вечера вращаются вокруг людей, которых признают приятными и интересными, хотя в свете они и двух вечеров подряд не могли бы занять внимание публики.

И в этом кругу, где не существует искусственной аристократической иерархии, они заменяются еще более нелепыми отличиями. Так, члены семьи и родственники, в том числе весьма отдаленные называли г-на Блока, якобы в силу сходства в верхней части носа и в манере носить усы, «мнимым герцогом Омальским». (В среде «курьеров» какого-нибудь клуба один из них, обычно надевающий фуражку набекрень и особенно туго застегивающий куртку, что придает ему, как он думает, сходство с иностранным офицером, не является ли благодаря этому своего рода персоной в глазах своих товарищей?) Сходство было самое смутное, но можно было подумать, что это титул. Переспрашивали: «Блок? Какой это? Герцог Омальский?» — как говорят: «Принцесса Мюрат? которая? королева (Неаполитанская)?» Ряд других еле уловимых признаков довершал в глазах родни это мнимо аристократическое впечатление. Не имея собственного экипажа,

г-н Блок по известным дням нанимал запряженную парой открытую викторию и катался по Булонскому лесу, томно откинувшись в угол, приложив два пальца к виску, а двумя другими касаясь подбородка, и если люди, не знавшие его, считали его, благодаря этой позе, «важничающим нахалом», то родные были убеждены, что в смысле шика дядя Соломон мог бы кой-чему научить и самого Грамон-Кадерусса. Он был один из тех людей, о ком, когда они умирают, светская хроника «Радикала» говорит как о «физиономии, хорошо известной парижанам», только потому, что в каком-нибудь ресторане на бульварах им случалось сидеть за одним столиком с редактором этой газеты. Г-н Блок сказал нам с Сен-Лу, что Берготу так хорошо известно, почему он, Блок, ему не кланяется, что, едва завидев его в театре или в клубе, он уже избегает его взгляда. Сен-Лу покраснел, так как подумал о том, что этот клуб не мог быть тем Жокей-клубом, председателем которого был когда-то его отец. С другой стороны, это был, вероятно, клуб относительно закрытый, так как г-н Блок сказал, что Бергота теперь туда бы не приняли. И трепеща от страха — как бы не унизить собеседника, — Сен-Лу спросил, какой это клуб, не клуб ли на улице Рояль, который в се-

мье Сен-Лу считался «неприличным» и куда, как ему было известно, принимали и евреев. «Нет, — ответил г-н Блок с видом небрежным, гордым и сконфуженным, — это маленький клуб, но гораздо более приятный, Клуб чудаков. К галерке там очень строги». — «Председатель там, кажется, сэр Руфус Израэльс?» — спросил у отца Блок-сын, чтобы дать ему повод сказать лестную для него неправду и не подозревая, что в глазах Сен-Лу этот финансист вовсе не имел того обаяния, как в его собственных. На самом деле в Клубе чудаков председателем был вовсе не сэр Руфус Израэльс, а один из его служащих. Но так как он был в хороших отношениях со своим начальником, то к его услугам находились визитные карточки великого финансиста, и он снабжал ими г-на Блока, когда ему надо было ехать по какой-нибудь железной дороге, в правлении которой состоял сэр Руфус, что давало повод Блоку-отцу говорить в этих случаях: «Я зайду в клуб, возьму рекомендацию сэра Руфуса». И визитная карточка позволяла ему ошеломлять обер-кондукторов. Девиц Блок больше интересовал Бергот, и, возвращаясь к этой теме вместо того, чтобы поддерживать разговор ° «чудаках», младшая из них спросила брата серьезнейшим тоном, так как была увере-

на, что для характеристики людей искусства не существует других выражений, кроме тех, какие употреблял он: «Он и самом деле такой замечательный субъект, этот Бергот? Относится ли он к числу великих человеков, таких субъектов, как Вилье или Катулл?» — «Я иногда встречался с ним на генеральных, — сказал г-н Ниссон Бернар, — он неуклюж, своего рода Шлемиль». Упоминание сказки Шамиссо не представляло собой ничего серьезного, но эпитет «Шлемиль» входил в состав того полунемецкого, полуеврейского диалекта, который приводил в восторг г-на Блока в кругу близких, но казался ему грубым и неуместным в присутствии посторонних. Вот почему он сурово посмотрел на своего дядю. «У него есть талант», — сказал Блок. «А-а», — важно протянула сестра, как будто показывая, что в подобном случае моя оценка извинительна. «У всех писателей есть талант», — с презрением заметил Блок-отец. «Говорят даже, — сказал сын, подняв вилку и с дьявольской иронией прищурив глаза, — что он хочет выставить свою кандидатуру в Академию». — «Ну, полно, у него слишком мало в запасе, — ответил Блок-отец, по-видимому не разделявший презрения своего сына и своих дочерей к Академии. — У него не тот калибр». — «К

тому же Академия — это салон, а Бергот совершенно лишен всякого лоска», — заявил дядя г-жи Блок, своей наследницы, существо безобидное и кроткое, фамилия которого — Бернар — уже, быть может, сама по себе насторожила бы диагностические способности моего деда, но показалась бы недостаточно гармонирующей с этим лицом, как будто вывезенным из дворца Дария в Сузах и реставрированным г-жой Дьелафуа, если бы его имя — Ниссим, — словно выбранное неким любителем, желавшим увенчать на восточный лад весь его облик, не распростерло над ним крыльев какого-нибудь человекоголового быка — вроде тех, что сохранились в Хорсабаде. Но г-н Блок все время оскорблял своего дядю, потому ли, что его приводило в возбуждение беззащитное добродушие его жертвы, потому ли, что виллу оплачивал г-н Ниссим Бернар, и г-н Блок, живший в ней, желал показать, что он сохраняет свою независимость, а главное — вовсе не старается с помощью лести обеспечить себе наследство, которое должен был оставить этот богач. Последнего особенно шокировало то, что с ним так грубо обращаются в присутствии дворецкого. Он пробормотал нечленораздельную фразу, в которой можно было только разобрать: «При мешоресах».

Мешоресами называются в Библии служители Бога. В своем кругу Блоки пользовались этим словом, говоря о прислуге, и это всегда забавляло их, так как уверенность в том, что их не поймут ни христиане, ни даже их слуги, заставляла г-на Ниссона Бернара и г-на Блока чувствовать двоякую исключительность своего положения, и как господ и как евреев. Но эта последняя причина, вызывавшая чувство удовлетворения, становилась причиной неудовольствия, если при этом случались посторонние. В таких случаях г-н Блок, слыша слово «мешорес» в устах своего дяди, считал, что он слишком подчеркивает свое восточное происхождение, подобно тому как кокотка, приглашая своих приятельниц вместе с приличными людьми, раздражается, если они делают намеки на свою профессию или употребляют грубые слова. Поэтому г-н Блок, на которого просьба дяди не произвела никакого впечатления, совершенно вышел из себя. Он уже не терял ни одного случая оскорбить несчастного. «Разумеется, когда представляется повод сказать какую-нибудь пошлость, можно быть уверенным, что вы его не пропустите. Вы бы первый лизали ему ноги, если бы он был здесь», — кричал г-н Блок на г-на Ниссона Бернара, который печально

склонил над тарелкой свою курчавую бороду, напоминавшую царя Саргона. Мой приятель, с тех пор как он начал носить бороду, такую же курчавую и с тем же синеватым отливом, стал очень похож на своего двоюродного деда.

«Как, вы сын маркиза де Марсанта? но я же прекрасно знал его», — сказал, обращаясь к Сен-Лу, г-н Ниссон Бернар. Я подумал что слово «знал» он употребил в том смысле, в каком отец Блока говорил, что он знает Бергота, то есть по виду. Но он прибавил: «Ваш отец был одним из моих близких друзей». Между тем Блок очень сильно покраснел, его отец, видимо, крайне рассердился, а девицы Блок задыхались от смеха. Дело в том, что у г-на Ниссона Бернара склонность к хвастовству, сдерживаемая у г-на Блока-отца и у его детей, породила привычку постоянно лгать. Например, во время путешествия, где-нибудь в гостинице, г-н Ниссон Бернар, подобно г-ну Блоку-отцу, приказывал своему лакею подавать ему все газеты в столовую, в середине завтрака, когда все были в сборе, чтобы известно было, что он путешествует с лакеем. Но людям, с которыми он встречался в отеле, дядя говорил то, чего племянник никогда бы не сказал, а именно — что он сенатор. Не могло быть сомнения, что когда-нибудь обнаружится

самозванство, но все равно он не мог подавить в себе эту потребность и присваивал не принадлежавшее ему звание. Г-н Блок очень страдал от лжи своего дяди и от всех неприятностей, которые она порождала. «Не обращайте внимания; он страшный враль», — сказал он вполголоса Сен-Лу, в котором это лишь возбудило еще больший интерес, так как его очень занимала психология лжецов. «Лжец еще больший, нежели итакиец Одиссей, которого, однако, Афина называла самым лживым из смертных», — дополнил наш приятель Блок. «Нет, каково! — восклицал г-н Ниссон Бернар, — мог ли я ожидать, что буду обедать с сыном моего друга! Ведь у меня в Париже есть фотография вашего отца и столько писем от него! Он всегда называл меня «дядюшка», почему — никто не знал. Это был прелестный, блестящий человек. Помню, в Ницце я давал обед, на котором были Сарду, Лабиш, Ожье…» — «Мольер, Расин, Корнель», — иронически продолжил г-н Блок-отец. А сын, завершая перечень, прибавил: «Плавт, Менандр, Калидаса». Г-н Ниссон Бернар, оскорбленный, внезапно прервал свой рассказ и, лишая себя большого удовольствия, погрузился в безмолвие до самого конца обеда.

— Сен-Лу в медном шлеме, — сказал Блок, —

возьмите еще этой утки с лядвиями, тяжелыми от жира, над которыми прославленный жрец, приносящий в жертву птиц, многократно совершил возлияние красным вином.

Обычно после того, как ради знатного товарища извлекались на свет анекдоты о сэре Руфусе Израэльсе и других, г-н Блок, чувствуя, что он до умиления растрогал сына, удалялся, дабы не уронить себя в глазах «школьника». Однако, если случай был совершенно исключительный, например когда сын его сдал экзамен на ученую степень, г-н Блок присоединял к обычной серии анекдотов следующее ироническое замечание, которое приберегал скорее для своих личных друзей и которое молодого Блока преисполнило величайшей гордости, так как теперь оно преподносилось и его друзьям: «Правительство совершило непростительный поступок. Оно не посоветовалось с господином Кокленом. Господин Коклен дал понять, что он недоволен». (Г-н Блок гордился своей реакционностью и презрением к актерам.)

Но девицы Блок и их брат покраснели до самых ушей, так они были поражены, когда Блок-отец, желая явить себя «коллегам» сына во всем своем царственном блеске, приказал принести

шампанского и с небрежным видом объявил, что, собираясь «угостить» нас, он велел взять три кресла на представление, которое какая-то труппа комической оперы давала в тот вечер в казино. Он жалел, что не удалось достать ложи. Они все уже были проданы. Впрочем, как ему пришлось убедиться по опыту, в креслах было удобнее. Однако если недостатком его сына, то есть свойством, которое сын считал незаметным для других, была грубость, то недостатком отца была скупость. Вот почему под именем «шампанского» он угостил нас поданным в графине слабым газированным винцом, а вместо кресел велел взять стулья в партере, стоившие вдвое дешевле, под волшебным влиянием своего недостатка уверенный в том, что ни за обедом, ни в театре (где все ложи были пусты) никто не заметит разницы. Дав нам омочить губы в дешевых бокалах, которые его сын величал «кратерами с глубоким чревом», он повел нас полюбоваться картиной, которую так любил, что привез ее с собою в Бальбек. Он сказал нам, что это Рубенс. Сен-Лу наивно спросил его, подписана ли картина. Г-н Блок, покраснев, ответил, что подпись он велел срезать из-за рамы, — обстоятельство, не имеющее значения, так как он не собирается

ее продавать. Затем он быстро расстался с нами, чтобы погрузиться в «Официальную газету», номерами которой был загромождeн весь дом и чтение которой было для него необходимо «ввиду его положения в палате», как он нам сказал, не пояснив, какого оно было характера. «Я беру кашне, — сказал нам Блок, — ибо Зефир и Борей оспаривают друг у друга рыбообильное море, и если только мы задержимся после спектакля, то вернемся уже при первых лучах розоперстой Эос. — Кстати, — спросил он Сен-Лу, когда мы вышли, и меня бросило в дрожь, так как я понял, что этим ироническим тоном Блок говорит о г-не де Шарлюсе, — что это за превосходная кукла в темном костюме, которую вы третьего дня утром водили по пляжу?» — «Это мой дядя», — ответил, обидевшись, Сен-Лу. К несчастью, Блок отнюдь не стремился избегать бестактностей. Он захохотал: «Поздравляю, я должен был догадаться: у него бесподобный шик и неподражаемая рожа — кретин высшего пошиба». — «Вы как нельзя более ошибаетесь, он очень умен», — ответил разъяренный Сен-Лу. «Жалею, ибо в этом случае он менее совершенен. Впрочем, мне было бы очень приятно познакомиться, ибо я уверен, что мог бы писать довольно адекватные вещи о подобных

типах. А этот, даже если мельком посмотреть на него, сногсшибателен. Но я бы пренебрег карикатурной стороной, в сущности довольно-таки недостойной художника, влюбленного в пластическую красоту фраз, пренебрег этой физией, от которой, прошу извинения, я здорово обалдел, и подчеркнул бы аристократизм вашего дяди, который, в сущности, производит дикий эффект и, как только отделаешься от первого комического впечатления, поражает своей стильностью. Однако, — сказал он, обращаясь на этот раз ко мне, — есть одна вещь из совершенно иной области, о которой мне хочется тебя расспросить, но о которой всякий раз, как мы встречаемся с тобою, некий бог, блаженный обитатель Олимпа, отшибает у меня память, хотя эти сведения могли бы мне быть полезны и, наверно, еще будут мне весьма полезны в дальнейшем. Кто такая эта прекрасная особа, с которой я встретил тебя в Акклиматизационном саду и которую сопровождали господин, по виду как будто мне знакомый, и девушка с длинными волосами?» Я видел, что г-жа Сван не запомнила имени Блока, так как она назвала мне какое-то другое имя и считала моего приятеля причисленным к министерству — обстоятельство, о котором я не подумал наве-

сти справки. Но каким образом Блок, который, судя по тому, что она сказала мне тогда, был ей представлен, мог не знать ее имени? Я был так удивлен, что некоторое время не отвечал ему. «Во всяком случае, поздравляю, — сказал он мне, — тебе, верно, не пришлось скучать с ней. Я встретил ее за несколько дней перед тем в поезде пригородного пояса. Она была так любезна, что свой пояс согласилась бы развязать ради твоего покорного слуги; я никогда не проводил столь приятных минут, и мы уже собирались сговориться о дальнейших встречах, как вдруг какой-то ее знакомый имел бестактность войти в вагон на предпоследней станции». Мое молчание как будто не понравилось Блоку. «Я надеялся, — сказал он, — узнать от тебя ее адрес и по нескольку раз в неделю наслаждаться у нее радостями Эроса, любезного богам, но не настаиваю, если ты решил соблюдать скромность по отношению к этой профессионалке, которая три раза подряд и притом утонченнейшим образом отдалась бы мне на расстоянии между Парижем и Пуэн-дю-Журом. Рано или поздно я ее встречу опять».

Вскоре после этого обеда я посетил Блока, он отдал мне визит, но не застал меня дома и привлек к себе внимание Франсуазы, которая случайно,

хоть он и приезжал в Комбре, не видала его до сих пор. Таким образом, она могла только сказать мне, что ко мне заходил, неизвестно зачем, кто-то из знакомых «господ», одетый так себе и не оставивший у ней большого впечатления. И хоть я и знал, что мне навсегда останутся непонятны некоторые социальные представления Франсуазы, частично, может быть, основанные на смешении слов и имен, которые для нее раз навсегда запечатлелись в превратном значении, и хотя я давно уже решил не ставить ей вопросов в подобных случаях, я не смог удержаться от напрасной, впрочем, попытки определить, какое грандиозное содержание могло заключаться для нее в имени Блока. Ибо как только я сказал ей, что молодой человек, которого она видела, был г-н Блок, она отступила на несколько шагов, так велико было ее изумление и разочарование. «Как, это-то и есть господин Блок! — сокрушенно воскликнула она, как будто столь замечательная личность должна была обладать такой внешностью, которая сразу же давала бы понять, что перед тобой стоит великий мира, и подобно человеку, считающему, что исторический деятель не поддерживает своей репутации, она повторяла взволнованным тоном, в котором уже чувствова-

лись зародыши всеобъемлющего скептицизма: — Как, это-то и есть господин Блок… Ох, право, не скажешь, как посмотришь на него». Она словно досадовала на меня, как будто я чрезмерно захвалил Блока. И все же она была так добра, что прибавила: «Ну что ж, каков ни есть господин Блок, барин может сказать, что он не хуже него».

Вскоре по отношению к Сен-Лу, которого она обожала, ей пришлось испытать разочарование другого характера и менее жестокое: она узнала, что он республиканец. Хотя, рассуждая, например, о королеве португальской, Франсуаза называла ее с той фамильярностью, которая в народе является высшей формой уважения: «Амелия, Филиппова сестра», — она была роялисткой. Но вот маркиз — маркиз, который так поразил ее и все же стоял за республику, — казался ей чем-то невероятным. По этому поводу она проявляла такое же неудовольствие, как если бы я подарил ей коробочку, которую она приняла бы за золотую и горячо бы поблагодарила меня, а потом узнала от какого-нибудь ювелира, что золото накладное. Она тотчас же лишила Сен-Лу своего уважения, затем вскоре вернула его ему, сообразив, что, будучи маркизом де Сен-Лу, он не может быть республиканцем, что он только

притворяется ради выгоды, потому что при нынешнем правительстве это может быть для него очень прибыльно. С этого дня ее холодность по отношению к нему, ее досада по отношению ко мне прекратились. И когда речь шла о Сен-Лу, она говорила: «Он — притворщик», — с широкой и доброй улыбкой, дававшей понять, что снова «уважает» его так же, как и в первый день, и что она его простила.

Между тем, напротив, искренность и бескорыстие Сен-Лу были безусловны, и эта большая моральная чистота, не будучи в силах обрести полного удовлетворения в столь эгоистическом чувстве, как любовь, а с другой стороны, обладая возможностью, не существовавшей, например, для меня, найти духовную пищу где-либо вовне, делала его действительно способным к дружбе в такой же мере, в какой я был не способен к ней.

Франсуаза не менее ошибалась насчет Сен-Лу, когда говорила, что он только делает вид, будто не презирает народ, но что это неправда и что стоит только посмотреть на него, когда он сердится на своего кучера.

Действительно, Роберу случалось иногда бранить его с известной резкостью, доказывавшей в нем сознание не столько различия, сколько

равенства классов. «Но, — сказал он, отвечая на мой упрек в излишне строгом обращении с этим кучером, — зачем же мне притворяться и делать вид, что я вежлив с ним? Разве мы не равные? Разве он не так же близок мне, как мой дядя и двоюродные сестры? Вы как будто находите, что я должен оказывать ему особое внимание, как низшему! Вы рассуждаете, как аристократ», — с презрением добавил он.

Действительно, если и был класс, к которому он относился с предубеждением и с пристрастием, так это была аристократия, и насколько трудно было ему поверить в достоинства какого-нибудь светского человека, настолько легко соглашался он верить в достоинства простолюдина. Когда я заговорил с ним о принцессе Люксембургской, которую мы встретили, гуляя с его теткой, он сказал:

— Рыба, как все ей подобные. Впрочем, она — нечто вроде моей кузины.

Предвзято относясь к людям, которые бывали у него, сам он редко выезжал в свет, и та презрительность или враждебность, с которой он держался там, еще усиливала огорчение всех его близких по поводу его связи с «актрисой», связи, которую они считали пагубной для него и кото-

рая, в частности, по их мнению, развила в нем дух отрицания, опасный дух, сбила с пути, так что ему предстояло окончательно «опуститься». И многие легкомысленные обитатели Сен-Жерменского предместья бывали беспощадны, когда речь шла о любовнице Робера. «Кокотки занимаются своим ремеслом, они не лучше и не хуже, но эта — нет! Мы не простим ей! Она сделала слишком много зла человеку, которого мы любим». Конечно, он не первый попадался в сети. Но другие развлекались, как люди светские, продолжали думать о политике, обо всем, как люди светские. А его в семье считали «озлобленным». Семья не отдавала себе отчета в том, что для светских молодых людей, которые иначе остались бы чужды умственной культуре, грубы в своих привязанностях и были бы лишены всякой чуткости и вкуса, любовница часто является истинным учителем, а подобные связи — единственной школой морали, где они приобщаются к высшей культуре, где они научаются ценить бескорыстные отношения. Даже в простонародье (которое в смысле грубости так часто напоминает высший свет) женщина — более чувствительная, более чуткая, более праздная — выказывает интерес к известным проявлениям благородства, чтит известные цен-

ности духовные и художественные, которые, хотя бы она и не понимала их, она ставит выше того, что мужчине кажется наиболее желанным, — денег, общественного положения. И вот если дело касается любовницы молодого клубмена, вроде Сен-Лу, или молодого рабочего (монтеры, например, являются теперь настоящими рыцарями), то любовник слишком восхищается ею, слишком чтит ее, чтобы не относиться с таким же восторгом и таким же почтением ко всему, что ценит и уважает она; и иерархия ценностей оказывается для него опрокинутой. Уже благодаря своему полу — она существо слабое, у ней бывают непонятные нервные состояния, которые, если бы они наблюдались у мужчины или даже у другой женщины, например у его тетки или двоюродной сестры, вызвали бы улыбку у этого здорового молодого человека. Но он не может смотреть равнодушно на страдания той, которую любит. Молодой аристократ, у которого, как у Сен-Лу, есть любовница, отправляясь с ней обедать в ресторан, привыкает класть себе в карман валериановые капли, которые могут ей понадобиться, он настойчиво и без всякой иронии наказывает официанту бесшумно закрывать двери, не ставить на стол сырой мох, так как у его подруги это может вызвать

недомогание, никогда не испытанное им самим, составляющее для него особый сокровенный мир, в реальность которого она научила его верить, вызывающее в нем сострадание, несмотря на то, что оно для него неизвестно, возбуждающее жалость даже и тогда, когда оно затрагивает не ее, а других людей. Любовница Сен-Лу научила его — как первые монахи Средневековья научили христианский мир — жалеть животных, ибо сама она страстно любила их, никогда не отправляясь в путешествие без своей собаки, своих канареек, своих попугаев; Сен-Лу охранял их с материнской заботливостью и считал закоснело-грубыми людей, недобрых к животным. С другой стороны, эта актриса — или женщина, которую так называли, — независимо от того, была ли она умна, что для меня оставалось неизвестно, — приучая его находить скучным общество светских женщин и смотреть как на тяжкий труд на необходимость посещать вечера, предохранила его от снобизма и исцелила от легкомыслия. Если благодаря ей светские знакомства стали занимать в жизни юного ее любовника меньше места, чем в том случае, если бы он был обыкновенным светским человеком и тщеславие или выгода руководили бы его привязанностями, которые были бы отме-

чены печатью грубости, то любовница научила его вносить в них изысканность и благородство. Своим женским инстинктом, способным оценить в мужчине известные душевные качества, которых ее любовник, не будь ее, мог бы и не понять и над которыми стал бы смеяться, она всегда быстро отличала среди приятелей Сен-Лу того, кто действительно был к нему привязан, и отдавала ему предпочтение. Она умела внушить ему чувство благодарности к этому другу, побуждая его проявлять эту благодарность, обращать внимание на то, что доставляет ему удовольствие, и на то, что его огорчает. И вскоре Сен-Лу, уже больше не нуждаясь в ее указаниях, сам начал заботиться обо всем этом, и в Бальбеке, где ее не было, ради меня, которого она никогда не видела и о котором он, быть может, еще и не рассказывал в своих письмах, по собственному почину закрывал окно кареты, в которой мы ехали, уносил цветы, от которых мне становилось нехорошо, а когда перед отъездом ему надо было проститься с несколькими знакомыми, он устроился так, чтобы пораньше расстаться с ними и под самый конец побыть наедине со мной, подчеркнуть это различие между мной и ими, обойтись со мной иначе, нежели с прочими. Любовница

открыла ему понимание невидимого, внесла серьезность в его жизнь, чуткость в его сердце, но все это ускользало от семьи, повторявшей в слезах: «Эта мерзавка убьет его, а пока что она его бесчестит». Правда, он, в конце концов, уже взял от нее все то хорошее, что она могла ему дать, и теперь она была для него только источником непрестанных страданий, так как почувствовала к нему отвращение и стала его терзать. В один прекрасный день она стала считать его глупым и смешным, потому что ее друзья, молодые писатели и актеры, уверили ее, что он глуп и смешон, и она, в свою очередь, повторяла сказанное ими с той страстностью и несдержанностью, которую мы проявляем всякий раз, когда воспринимаем извне и усваиваем взгляды и обыкновения, до сих пор совершенно неизвестные нам. Как и этим актерам, ей нравилось проповедовать, что между ней и Сен-Лу пропасть, потому что он совсем другой породы, что она интеллигентка, а он, что бы он ни говорил, — наследственный враг просвещения.

Такой взгляд казался ей глубоким, и она искала его подтверждения в самых незначительных словах, в малейших поступках своего любовника. Но когда эти же друзья вдобавок уверили ее и в том,

что в обществе, столь неподходящем для нее, она губит те большие надежды, которые, по их словам, она подавала, что любовник в конце концов обесцветит ее, что, живя с ним, она разрушает свое артистическое будущее, к ее презрению присоединилась такая ненависть, как если бы он упорно стремился привить ей смертельную болезнь. Она старалась видеться с ним как можно реже, оттягивая момент окончательного разрыва, который лично мне казался весьма маловероятным. Сен-Лу приносил ей такие жертвы, что, во всяком случае, если только она не была пленительна (но он ни разу не пожелал показать мне ее карточку, говоря: «Во-первых, она не красавица, и потом, она плохо выходит на фотографии, это моментальные снимки, я сам их делал моим «Кодаком», и вы получили бы неверное представление о ней»), казалось неправдоподобным, чтоб она нашла другого человека, способного на такие же жертвы. Я считал, что и самое сильное желание составить себе имя, при отсутствии таланта, что мнение, всего только частное мнение, авторитетного для нас человека не могут (впрочем, не исключено, что по отношению к любовнице Сен-Лу это не имело места), даже для самой мелкой кокотки, являться мотивом более

решающим, чем удовольствие загребать деньги. Сен-Лу, хотя и плохо понимавший, что происходит в уме его любовницы, не верил в полную искренность как ее несправедливых упреков, так и обещаний вечной любви, но временами смутно чувствовал, что она порвала бы с ним, если б могла; поэтому, побуждаемый, очевидно, инстинктом самосохранения своей любви, быть может более прозорливым, чем сам Сен-Лу, и проявляя житейские способности, уживавшиеся в нем с самыми слепыми порывами сердца, он отказался закрепить за ней капитал, занял огромные деньги, чтобы она ни в чем не терпела недостатка, но давал их только со дня на день. По всей вероятности, если она действительно предполагала порвать с ним, она спокойно выжидала, когда накопится «капитальчик», для чего при тех суммах, что давал ей Сен-Лу, требовался, правда, срок весьма небольшой, но все же позволявший моему новому другу продлить свое счастье — или несчастье.

Этот драматический период в их отношениях, который достиг теперь наиболее острого, наиболее мучительного для Сен-Лу момента, ибо она запретила ему оставаться в Париже, так как его присутствие выводило ее из себя, и заставила

проводить отпуск в Бальбеке, поблизости от его гарнизона, — начался с вечера у одной из теток Сен-Лу, позволившей ему привести свою подругу, чтоб она в присутствии многочисленных гостей исполнила отрывки из символической пьесы, в которой она играла на одной из передовых сцен и увлечение которой ей удалось внушить и ему.

Но когда она вошла с большой лилией в руке, в костюме, который был скопирован с «Ancilla Domini» и который, как она убедила Робера, был настоящим «художественным прозрением», все эти клубмены и герцогини, собравшиеся там, встретили ее появление улыбками, которые, благодаря монотонности напевной читки, причудливости тех или иных слов, их частых повторений, перешли в безумный смех, вначале подавленный, а потом столь неудержимый, что бедная исполнительница не смогла продолжать. На другой день тетка Сен-Лу подверглась единогласному осуждению за то, что позволила выступить в своем доме столь забавной артистке. Один весьма знаменитый герцог не скрыл от нее, что если ее критикуют, то винить она должна только себя.

— Что за чертовщина! нельзя же угощать нас такими номерами! Если б еще у этой женщины

был талант, но таланта у нее нет и никогда не будет. Чёрт возьми! Париж не такой уж глупый, как о нем говорят. Общество состоит не из одних дураков. Эта барышня, очевидно, думала удивить Париж. Но Париж не так-то легко удивить, и все-таки есть вещи, которых мы не захотим переваривать.

Что до артистки, то, уходя, она сказала Сен-Лу:

— Куда это ты завел меня, что это за дуры, невоспитанные бабы, неотесанные дураки? Лучше уж я скажу тебе, среди мужчин там не было ни одного, кто бы мне не подмигивал, не толкал ногой, а так как я отвергла их ухаживанья, то они и постарались отомстить.

Слова, превратившие антипатию Робера к светским людям в самое глубокое и мучительное отвращение, которое возбуждали в нем главным образом те, кто менее всего этого заслуживал, — любящие родственники, пытавшиеся по просьбе его семьи склонить подругу Сен-Лу к разрыву с ним, — попытка, которую она изобразила ему так, словно она была им внушена любовью к ней. Робер, хотя он тотчас же перестал бывать у них, думал, когда ему, как, например, сейчас, приходилось быть вдали от своей подруги, что они или какие-нибудь другие люди пользуются его

отсутствием, чтобы возобновить атаку, и, может быть, заслужили ее благосклонность. И когда он говорил об охотниках весело пожить, обманывающих своих друзей, старающихся развратить женщину, привести ее в дом свиданий, лицо его дышало страданием и ненавистью.

— Я убил бы их более спокойно, чем собаку, животное, во всяком случае, милое, честное и верное. Вот кто гораздо больше заслуживает гильотины, чем те несчастные, которых на преступление толкнули нищета и жестокость богачей.

Большую часть времени занимали у него письма и телеграммы, которые он посылал своей любовнице. Всякий раз, когда, не позволяя ему вернуться в Париж, она и на расстоянии находила способ поссориться с ним, я узнавал это по его расстроенному лицу. Так как любовница никогда не говорила ему, в чем она может его упрекнуть, то, подозревая, что она не говорит ему этого, может быть, потому, что и сама не знает, и что он просто надоел ей, Сен-Лу все-таки желал получить объяснения и писал ей: «Скажи мне, что я сделал дурного. Я готов признать мою вину», — ибо в результате испытанного огорчения он убеждал себя, что в чем-то виноват.

Но она заставляла его бесконечно долго дожи-

даться ответов, к тому же лишенных всякого смысла. И недаром мне приходилось видеть, как Сен-Лу, с озабоченным лицом и нередко с пустыми рука-ми, возвращался с почты, куда из всего отеля только он и Франсуаза ходили сами отправлять и получать свои письма — он от нетерпения, свойственного влюбленному, она же из недоверия, отличавшего нашу старую служанку. (Телеграммы заставляли его проделывать еще более далекий путь.)

Когда через несколько дней после обеда у Блоков бабушка радостно сообщила мне, что Сен-Лу спрашивал ее, не разрешит ли она ему до его отъезда из Бальбека снять ее, и когда я увидел, что она ради этого надела свое лучшее платье и колеблется, какую выбрать шляпу, я был несколько раздосадован этим ребячеством, которое с ее стороны так удивило меня. Я даже задал себе вопрос, не обманулся ли я в моей бабушке, не слишком ли высоко я ее ставлю, так ли она равнодушна ко всему, касающемуся ее личности, нет ли в ней того, что я считал наиболее чуждым ей, — кокетства.

К несчастью, досада, вызванная во мне этим проектом, а в особенности тем удовольствием, которое, видимо, он доставлял бабушке, проявилась

настолько заметно, что Франсуаза обратила на нее внимание и невольно постаралась усилить ее, обратившись ко мне с чувствительной, растроганной речью, которой я не пожелал внять:

— Ах, сударь, бедной барыне так приятно, что ее будут снимать, и ведь она даже наденет шляпу, которую для нее переделала старая Франсуаза. Не надо мешать ей, сударь!

Я убедил себя в том, что смеяться над чувствительностью Франсуазы не так уж и жестоко, вспомнив, что бабушка и мама, во всех отношениях служившие мне примером, делали то же самое. Но бабушка, увидев, что я недоволен, сказала мне, что, если мне неприятно это ее намерение, она от него откажется. Я на это не согласился, уверил ее, что, по-моему, в этом нет ничего неудобного, и предоставил ей наряжаться, но счел долгом доказать свою проницательность и непреклонность, сделав ей несколько иронических и обидных замечаний, имевших целью уничтожить ее удовольствие от предстоящей съемки, так что если мне и пришлось увидеть ее пышную шляпу, то я успел по крайней мере прогнать с ее лица то счастливое выражение, которое должно было бы радовать меня, но которое, как это слишком часто случается, пока еще живы

те, кого мы любим больше всего на свете, кажется нам досадным проявлением мещанства, а не драгоценной формой счастья, которое нам так хотелось бы им дать. Мое раздражение проистекало главным образом оттого, что на этой неделе бабушка как будто избегала меня и мне ни одной минуты не удавалось побыть с ней наедине, ни днем, ни вечером. Когда я днем возвращался в гостиницу, чтобы посидеть с ней наедине, мне говорили, что ее нет дома, или же она запиралась с Франсуазой для каких-то долгих совещаний, которые мне не позволялось нарушать. Проведя вечер где-нибудь с Сен-Лу, я на обратном пути думал о той минуте, когда я вновь смогу обнять бабушку, но по возвращении я напрасно ждал тех легких стуков в стену, которыми она мне скажет, чтобы я вошел проститься с ней, — я ничего не слышал; в конце концов я ложился спать, немного сердясь на нее за то, что она с таким непривычным равнодушием лишает меня радости, на которую — я так надеялся; некоторое время я с замиранием сердца, как в детстве, еще прислушивался к стене, продолжавшей хранить безмолвие, и засыпал в слезах.

В тот день, как и в предыдущие дни, Сен-Лу пришлось уехать в Донсьер, где уже и теперь, до

окончательного его возвращения, в нем постоянно нуждались во второй половине дня. Мне было жаль, что его нет в Бальбеке. Я видел, как из экипажа вышло несколько молодых женщин, из которых одни направились в танцевальный зал казино, другие же — к мороженщику, и все они издали показались мне пленительными. Я переживал один из тех периодов молодости, не отмеченных какой-нибудь уже сложившейся любовью, ничем не занятых, когда мы всюду ищем и всюду видим желанную красоту, как влюбленный всюду ищет и видит любимую женщину. Пусть хоть одна реальная черта — то немногое, что мы замечаем в женщине, когда смотрим на нее издали или со спины, — позволит нам нарисовать себе образ Красоты, и мы уже воображаем, что встретили ее; сердце наше бьется, мы ускоряем шаг и навсегда в какой-то мере сохраняем уверенность, что это была она, — при условии, если женщина сразу же исчезла: лишь снова встретив ее, мы осознаём свою ошибку.

Впрочем, чувствуя себя с каждым днем все хуже, я и самые простые удовольствия склонен был преувеличивать именно в силу тех трудностей, с которыми они мне давались. Мне всюду чудились изящные женщины, потому что, встречаясь

с ними на пляже, я чувствовал слишком большую усталость, а видя их в казино или в кондитерской, испытывал слишком сильную робость, чтобы подойти к ним поближе. Всё же, если мне и суждено было вскоре умереть, я хотел бы узнать, каковы на самом деле вблизи самые хорошенькие молодые девушки, которых жизнь могла мне подарить, хотя бы даже и не я, а кто-нибудь другой должен был воспользоваться этим даром, хотя бы даже никто не воспользовался им (я действительно не отдавал себе отчета в том, что в основе моей любознательности лежало стремление к обладанию). В бальную залу я решился бы войти, если бы со мною был Сен-Лу. Так как я был один, я просто оставался поблизости от Гранд-отеля в ожидании, когда настанет время зайти за бабушкой; как вдруг в самом конце дамбы я заметил движущееся пятно, приближавшуюся ко мне группу из пяти или шести девочек, не менее отличавшихся видом и манерами от всех тех, кого обычно приходилось видеть в Бальбеке, чем отличалась бы от них прилетевшая бог весть откуда стая чаек, прохаживающихся размеренным шагом по пляжу, — где отставшие, взлетая, догоняют прочих, — и направляющихся к цели, настолько неясной купальщикам, которых они

словно не замечают, насколько отчетливо представляется она их птичьим умам.

Одна из этих незнакомок вела, подталкивая рукой, свой велосипед; две другие несли клюшки для гольфа, и их одеяние было резко непохоже на наряды других молодых девушек, живших в Бальбеке, среди которых иные, правда, занимались спортом, но не носили при этом специального костюма.

Это был час, когда мужчины и дамы совершали ежедневную прогулку по дамбе, под беспощадным обстрелом, которому подвергала их, направив на них свой лорнет, как будто они были носителями каких-то недостатков, подлежащих в малейших своих подробностях ее рассмотрению, жена председателя суда, гордо восседавшая у концертного павильона, по самой середине того устрашающего ряда стульев, куда вскоре самим гуляющим, из актеров превращаясь в критиков, тоже предстояло усесться, чтобы в свою очередь критиковать тех, кто будет проходить мимо них. Все эти люди, которые прогуливались вдоль дамбы, покачиваясь совершенно так же, как если бы она была палубой корабля (ибо они не умели поднять ногу, не пошевелив рукой, не скосив глаз, не передернув плечами, не уравновесив только

что сделанного движения другим движением, в противоположную сторону, и не покраснев от напряжения), притворялись, что не видят людей, идущих рядом или навстречу, чтобы нельзя было подумать, будто они ими интересуются, но тайком поглядывали на них, чтобы не столкнуться, и как раз натыкались на них, не могли от них оторваться, так как в свою очередь служили для них предметом такого же внимания, затаенного под такой же оболочкой наружного презрения; ибо любовь к толпе, а следовательно, и боязнь толпы, для всякого человека является одной из самых мощных движущих сил, независимо от того, старается ли он понравиться другим, удивить их или же выказать им свое презрение. Часто, когда человек до самой смерти живет совершенным отшельником, причиной его затворничества бывает страстная любовь к толпе, настолько подавляющая в нем все остальные чувства, что, не будучи в силах возбудить восхищение консьержа, прохожих, извозчика, стоящего у подъезда, он предпочитает никогда не встречаться с ними и отказывается от всякой деятельности, заставляющей его выходить из дому.

Среди всех этих людей, из которых иные были заняты какой-нибудь мыслью, однако столь

подвижной, что это было заметно по их прерывистым движениям, блуждающим взглядам, таким же негармоничным, как и настороженность их раскачивающихся спутников, — девочки, увиденные мною, отличались той уверенностью жеста, которую дает безукоризненная выправка гибкого тела и чистосердечное презрение к прочим людям, шли совершенно прямо, безо всяких колебаний, безо всякой чопорности, проделывая именно те движения, которые хотели, сохраняя полную независимость каждой части тела по отношению к другим частям, причем туловище в основном отличалось той неподвижностью, которая столь характерна для хороших вальсёров. Они уже были недалеко от меня. Хотя каждая из них была по типу совершенно не похожа на остальных, все они были красивы; но, по правде говоря, я так недавно заметил их (к тому же не осмеливаясь пристально на них глядеть), что еще не отличал их друг от друга. За исключением одной, которая, благодаря своему прямому носу и смуглой коже, контрастировала с остальными — подобно тому, как на картине эпохи Возрождения выделяется какой-нибудь царь-волхв, похожий на араба, — они запомнились мне только отдельными чертами: одна — благодаря жестким,

упрямым и смеющимся глазам, другая — благодаря румянцу щек, в котором проступал какой-то медный оттенок, напоминающий герань; и даже ни одна из этих черт в отдельности не сливалась для меня неразрывно с представлением именно об этой, а не иной из этих девушек, и видя (в зависимости от той последовательности, в какой развертывалось это волшебное целое, сочетавшее в себе самые различные образы, сближавшее все гаммы красок, но смутное, как музыка, в которой я не смог бы отделить друг от друга и определить в момент звучания отдельные фразы, услышанные, но тотчас же забытые) — видя, как возникает передо мной белый овал лица, черные глаза, зеленые глаза, я уже не знал, те ли это самые, которые только что очаровали меня, я не мог связать их с той или иной из этих девушек, которую мне удалось выделить среди остальных и узнать. Это отсутствие в моем восприятии всяких граней, которые мне еще предстояло установить, сообщало всей их группе гармоничное колыхание, непрестанное струение текучей, коллективной вечно подвижной красоты.

Быть может, не простой случайностью объяснялось то, что все эти девушки, собравшиеся вместе, были так красивы; может быть, они (одна их

манера держаться обличала в них дерзость, легкомыслие и жестокость), крайне чувствительные ко всему смешному и уродливому, неспособные прельститься ценностями умственного или духовного порядка, испытывали непроизвольное отвращение ко всем тем своим ровесницам, у которых склонность к задумчивости и чувствительности выражалась в робости, застенчивости, неловкости, в том, что они называли, должно быть, «антипатичными свойствами», держались в стороне от них и, напротив, дружили с теми, в ком их привлекало сочетание фации, ловкости и физического изящества, — единственная форма, в которой они могли представить себе пленительную прямоту характера и видеть залог веселого времяпрепровождения. Может быть, также класс, к которому они принадлежали и который я не мог точно определить, находился в той стадии своей эволюции, когда — благодаря ли богатству и досугу, или же благодаря новоприобретенным привычкам к спорту, распространенным даже в известной части народа, и к физической культуре, к которой пока еще не присоединилась культура умственная, — создалась определенная социальная среда, подобная тем гармоничным и плодовитым направлениям в скульптуре, кото-

рые еще не стремятся к передаче страдальческого выражения; эта среда вполне естественно и в изобилии производит на свет красивые тела с красивыми ногами и красивыми бедрами, с лицами здоровыми и спокойными, резвыми и лукавыми. И разве не были спокойным и благородным образцом человеческой красоты эти фигуры, которые я видел здесь, на фоне моря, точно статуи, озаряемые солнцем где-нибудь на берегах Греции?

Соединившись в эту ватагу, совершавшую теперь, подобно лучезарной комете, свой путь вдоль дамбы, они как будто считали, что окружающая их толпа состоит из существ иной породы, даже страдания которых не могли бы пробудить в них участия; они как будто не замечали ее, принуждали тех, кто останавливался на дороге, расступаться, как перед оставленной без управления машиной, от которой нельзя ожидать, что она станет щадить пешеходов, и, самое большее, переглядывались со смехом, если какой-нибудь старичок, существования которого они не признавали и соприкосновения с которым не желали допустить, спасаясь от них бегством, проделывал испуганные или гневные, но стремительные и смешные движения. В их презрении к тому,

что находилось вне их кружка, не было ничего напускного, оно было совершенно искренним. Но при виде какого-нибудь препятствия они не могли отказать себе в удовольствии преодолеть его, перескочив с разбега или одним прыжком, потому что все они были полны той переливающейся через край молодости, расточать которую хочется так неудержимо, что даже тогда, когда тебе грустно или нездоровится, повинуясь скорее потребностям возраста, нежели расположению духа в данный момент, никогда не пропускаешь случая добросовестно проделать прыжок или пронестись по скользкому

месту, прерывая и разнообразя свою медленную походку (как Шопен самую меланхолическую фразу — грациозными отступлениями, где прихоть сочетается с виртуозностью). Жена старика-банкира, после долгих колебаний выбравшая для своего мужа место поудобнее, усадила его наконец на складном стуле, лицом к дамбе, у концертного павильона, где он был защищен от ветра и солнца. Убедившись, что ему удобно, она отошла от него, чтобы купить ему газету, чтением которой она собиралась его развлечь, — одна из тех кратких отлучек, в течение которых она оставляла его одного и

которые никогда не продолжались больше пяти минут, но казались ей очень долгими, хотя она и прибегала к ним довольно часто, чтобы у старика-мужа, которого она окружала своими заботами, стараясь вместе с тем сделать их незаметными, создалось впечатление, будто он еще может жить так же, как все остальные, и не нуждается ни в чьем попечении. Концертная эстрада, возвышавшаяся над ним, представляла собой естественный и заманчивый трамплин, по направлению к которому и разбежалась безо всяких колебаний старшая из девушек; она перескочила через перепуганного старика, коснувшись его морской фуражки своими проворными ногами, к великому удовольствию остальных девушек, а особенно — двух зеленых глаз, сиявших на свежем, румяном личике и выразивших радостное восхищение этим поступком, смешанное, как мне показалось, с долей робости, стыдливой и храбрящейся робости, которой не было у других. «Вот бедный старикан, мне его жалко, он чуть не сдох», — хриплым голосом, тоном полуироническим, сказала одна из этих девушек. Они прошли еще несколько шагов, затем, не обращая внимания на то, что мешают прохожим, остановились посреди дороги на совещание, сбившись

в плотную кучу неправильной формы, причудливую и пискливую, как стая птиц, собирающихся вместе, чтоб лететь; потом они возобновили свою медленную прогулку над морем, вдоль дамбы.

Теперь их пленительные черты уже не смешивались и стали отчетливы. Я разобрался в них и приурочил (вместо имен, которых я не знал) к высокой девушке, прыгнувшей через старика-банкира; к маленькой, чьи пухлые и розовые щеки, чьи зеленые глаза выделялись на фоне моря; к той, которая так резко отличалась от других смуглым цветом кожи и прямым носом; к девушке с лицом таким белым, как бывают яйца, и носиком, изогнутым, как у цыпленка, — одним из тех лиц, что иногда встречаются у очень молодых людей; к девушке высокой, закутанной в пелеринку (которая придавала ей такой бедный вид и так противоречила изяществу ее фигуры, что это несоответствие можно было объяснить лишь предположением, что родители ее были люди хорошего общества, считавшие ниже своего достоинства тягаться с курортной публикой Бальбека, наряжая своих детей, и потому совершенно равнодушные к тому, что их дочь будет разгуливать по пляжу в одежде слишком скромной, на взгляд мелких обывателей); к девушке,

у которой были блестящие смеющиеся глаза, полные матовые щеки, а на лоб была надвинута черная шапочка «поло», и которая так развязно покачивала бедрами, подталкивая рукой свой велосипед, употребляла такие уличные словечки и так громко их выкрикивала, когда я поравнялся с нею, что, отказавшись от гипотезы, которую мне внушила пелерина ее подруги, я заключил, что все эти девушки принадлежат к той среде, которая посещает велодромы, и что, должно быть, это еще очень молодые любовницы велосипедистов-гонщиков. Во всяком случае, ни одно из моих предположений не допускало и мысли о том, чтоб они могли быть добродетельны. С первого же взгляда — по тому, как они, смеясь, переглядывались, по упорному взгляду девушки с матовыми щеками — я понял, что они недобродетельны. К тому же бабушка, охраняя меня, проявляла всегда слишком щепетильную бдительность, так что совокупность вещей, которых делать не следует, представлялась мне чем-то нераздельным, и я ни за что бы не поверил, чтобы девушек, не уважающих старость, могло вдруг остановить какое-нибудь сомнение, если бы дело шло об удовольствии более заманчивом, нежели возможность перепрыгнуть через восьмидесяти-

летнего старца.

Хотя теперь каждая из них определилась в моих глазах, все же этот разговор, который вели между собой их взгляды, оживленные чувством удовлетворения и духом товарищества и зажигавшиеся то любопытством, то вызывающим равнодушием, в зависимости от того, шла ли речь об одной из подруг или же о ком-нибудь из прохожих, а также сознание, что все они достаточно близки друг к другу и могут поэтому гулять всегда вместе, «своей компанией», устанавливали между их телами, свободными и обособленными, медленно двигающимися вперед, некую связь, невидимую, но гармоничную, обволакивая их одной и той же теплой дымкой, общей атмосферой, соединяя их в целое, настолько же однородное, насколько отлично оно было от остальной толпы, среди которой медленно развертывалось их шествие.

На мгновение, пока я проходил мимо толстощекой брюнетки, подталкивавшей велосипед, мой взгляд встретился с ее взглядом, косым и смеющимся, направленным из глубины того нечеловеческого мира, в котором протекала жизнь этого маленького племени, из недосягаемой, неведомой области, куда, конечно, не могло бы проникнуть, где не могло бы найти себе места

представление обо мне. Увлеченная тем, что говорили ее подруги, эта девушка в «поло», низко надвинутом на лоб, — увидела ли она меня в ту минуту, когда черный луч, исходивший из ее глаз, упал на меня? Если она меня видела, чем я должен был показаться ей? Из недр какого мира глядела она на меня? Ответить на этот вопрос было так же трудно, как, устанавливая с помощью телескопа известные особенности соседней планеты, заключить на основании их, что там живут люди, что они нас видят и какие мысли могли у них возникнуть на наш счет.

Если бы мы думали, что глаза девушки — только блестящий кружок слюды, мы бы не жаждали узнать ее и соединить с ней нашу жизнь. Но мы чувствуем, что мерцание этого отражающего диска зависит не только от его физических свойств, что в нем заключены неведомые нам темные тени представлений, которые сложились о людях и о местностях, знакомых этому существу: лужайки ипподромов, песок дорог, по которым, катясь на велосипеде средь полей и лесов, увлекла бы меня за собой эта маленькая пери, более обольстительная для меня, чем пери персидского рая, — а также и тени того дома, куда ей предстояло вернуться, планов, которые она строит или которые

другие построили за нее; но главное — сама она, с ее желаниями, ее симпатиями, ее предубеждениями, ее смутной и неослабной волей. Я знал, что я не буду обладать этой юной велосипедисткой, если не овладею тем, что заключено в ее глазах. И вот вся ее жизнь внушала мне теперь желание — желание мучительное, ибо я чувствовал его неосуществимость, но опьяняющее, ибо то, что было до сих пор моей жизнью, внезапно перестав быть всей моей жизнью, превратившись лишь в маленькую частицу лежавшего передо мною пространства, которое я жаждал преодолеть и которым была жизнь этих девушек, сулило мне то расширение, то бесконечное обогащение моей личности, которое и есть счастье.

И конечно, поскольку у меня не было с ними ничего общего — ни общих обыкновений, ни общих мыслей, — мне трудно было бы сблизиться с ними, понравиться им. Но, быть может, именно благодаря этим различиям, сознанию, что в характере и поведении этих девушек нет ни единого знакомого или присущего мне элемента, чувство пресыщения сменилось во мне жаждой — вроде той, которой томится иссохшая земля, — жаждой жизни, которой душа моя, доселе еще не испившая от нее ни единой капли, с тем

большей жадностью стала бы упиваться, исступленно к ней приникая, стремясь пропитаться ею насквозь.

Я так долго глядел на велосипедистку с блестящими глазами, что она как будто это заметила — и что-то сказала высокой подруге, чего я не расслышал и что ее рассмешило. По правде говоря, не эта брюнетка мне больше всего нравилась — именно потому, что она была брюнетка, и потому, что недостижимым идеалом (с того дня, когда на крутой тропинке в Тансонвиле я увидел Жильберту) оставалась для меня девушка с рыжими волосами и золотистой кожей. Но не потому ли я полюбил Жильберту, что она явилась мне в ореоле своей дружбы с Берготом, его спутницей, вместе с ним осматривавшей соборы? И подобным же образом не оттого ли меня радовал взгляд этой брюнетки (внушавший мне надежду, что для начала мне легче будет познакомиться с ней), что она могла бы представить меня остальным, той безжалостной, которая перескочила через старика, той жестокой, которая сказала: «Мне его жалко, бедный старикан», — каждой из этих девушек, неразлучная дружба с которыми придавала ей такое обаяние? И все же предположение, что когда-нибудь я смогу подружиться с той или

иной из этих девушек, что эти глаза, чуждый взгляд которых, блуждая, порою бессознательно падал на меня, как солнечный блик на стену, смогут когда-нибудь, под влиянием волшебной алхимической силы, проникнуться мыслью о моем существовании, дружбой ко мне, что сам я когда-нибудь смогу занять место среди них, в той системе, которую они развертывали вдоль берега моря, — это предположение, казалось мне, заключало в себе противоречие столь же неразрешимое, как если бы, рассматривая какой-нибудь античный фриз или фреску, изображающую шествие, я, зритель, вообразил, что тоже могу занять в нем свое место среди его божественных участниц, приобрести их благосклонность.

Итак, несбыточным казалось счастье познакомиться с этими девушками. Разумеется, это было не в первый раз, что я отказывался от подобного счастья. Стоило мне припомнить стольких незнакомок, которых даже здесь, в Бальбеке, я видел только из коляски, быстро уносившей меня прочь. *И* даже радость, которую я испытывал, глядя на эту маленькую ватагу, полную такого благородства, как если бы она состояла из дев Эллады, обусловлена была тем, что в ней было нечто, напоминающее мелькание женщин

на дороге. Эта мимолетность неведомых нам существ, принуждающих нас отрываться от привычной жизни, в которой знакомые женщины в конце концов обнаруживают свои изъяны, подстрекает нас к погоне, и воображение уже не знает удержу. А лишить наши радости элемента фантазии — значило бы свести их к самим себе, свести к ничтожеству. Если б этих девушек мне предложила одна из тех посредниц, услугами которых, как это было видно в другом месте, я не пренебрегал, если бы они были вырваны из той стихии, которая придавала им столько неясных оттенков, они бы меньше пленили меня. Нужно, чтобы воображение, не уверенное в том, удастся ли ему достигнуть своей цели, создало другую цель, заслоняющую собою ту, первую, и, подменив чувственное наслаждение желанием проникнуть в чужую жизнь, помешало нам узнать это наслаждение, узнать его подлинный вкус, поставить в свойственные ему рамки.

Нужно, чтобы между нами и рыбой встали послеполуденные часы, посвященные рыбной ловле, рябь водной поверхности, к которой поднимается, еще не подсказывая нам никакого ясного намерения, какое-то гладкое тело, смутная форма в голубоватой прозрачной текучести, —

иначе, если бы мы увидели эту рыбу впервые на обеденном столе, она показалась бы нам не заслуживающей всего множества уловок и хитростей, необходимых, чтобы поймать ее.

Эти девушки выигрывали также и от того изменения социальных пропорций, которое характерно для жизни на морском курорте. Все преимущества, возвышающие нас, придающие нам значительность в нашей обычной среде, становятся нам невидимыми, исчезают; зато существа, которым мы без основания приписываем такие преимущества, разрастаются до искусственно расширенных пределов. Курортная жизнь способствовала тому, что незнакомки, а в данный день именно эти девушки, приобрели в моих глазах огромное значение, и препятствовала мне дать им понятие о том, что представляю собою я сам.

Но если прогулка маленькой ватаги и была одним из эпизодов всегда волновавшего меня бегства бесчисленных женских лиц, то здесь это бегство свелось к движению настолько замедленному, что оно близко было к неподвижности. А если даже при такой неторопливости в движениях эти лица, уже не увлеченные порывом вихря, но спокойные и отчетливые, всё же показались

мне прекрасными, то я не мог больше думать, как во время прогулок с г-жой де Вильпаризи, когда коляска уносила меня, что стоило бы мне остановиться на минуту, поближе присмотреться — и те или иные особенности: рябая кожа, некрасивые ноздри, глуповатый взгляд, нарочитость улыбки, безобразная талия — сменили бы собою то лицо и то тело женщины, которое я создал в своем воображении; ибо достаточно было красивой линии тела, свежего цвета лица, увиденного мельком, и я, нисколько не колеблясь, уже спешил присочинить очаровательные плечи и пленительный взгляд, всегда живший в моей памяти или в моем представлении, — приметы, которые быстро помогают нам разгадать человека, виденного мимоходом, и вводят нас в такое же заблуждение, как слишком быстрое чтение, когда мы на основании какого-нибудь одного слога и не удосуживаясь вглядеться в остальные, заменяем напечатанное слово другим, совершенно непохожим, подсказанным нашей памятью. Сейчас этого быть не могло. Я хорошо рассмотрел их липа; я видел каждое из них, правда только в профиль, с одной и той же стороны (и лишь некоторые en face), но всё же в двух-трех поворотах, довольно разных, так

что я мог выправить или проверить и «опробовать» различные предположения о сочетании линий и красок, возникаюшие после того, как мы бросим первый взгляд, и мог определить в них, сквозь непрерывную смену выражений, нечто материально неизменное. Вот почему я уверенно мог сказать себе, что ни в Париже, ни в Бальбеке среди проходящих женщин, останавливавших на себе мое внимание, даже при самых благоприятных предположениях о том, что они могли представлять собою, даже если бы мне удалось остановиться и побеседовать с ними, не было ни одной, чье появление, а потом исчезновение оставило бы во мне такую тоску, чья дружба могла бы быть так упоительна. Ни среди актрис, ни среди крестьянок, ни среди воспитанниц монастырского пансиона я не видел ничего столь прекрасного, проникнутого такой таинственностью, столь сказочно драгоценного и столь очевидно недоступного. Они были таким прелестным и таким совершенным образцом неведомого и возможного в жизни счастья, что уже по причинам интеллектуального характера я приходил в отчаяние, опасаясь, что в этих неповторимых условиях, когда всякая возможность ошибки исключена, мне так и не доведется

изведать то наиболее таинственное, что сулит нам красота, которой мы жаждем, но никогда не можем овладеть, так что утешения нам приходится искать — на что никогда не решался Сван до знакомства с Одеттой — у женщин, которые нам не нравятся, и мы умираем, так и не узнав, в чем сущность того, иного наслаждения. Конечно, могло оказаться, что оно не заключает в себе ничего неведомого, вблизи его таинственность могла исчезнуть, оно могло оказаться всего лишь проекцией, миражом нашего желания. Но в этом случае я мог бы сетовать только на неотвратимый закон природы, который, относясь к этим девушкам, должен относиться и ко всем другим, а не на недостатки самого объекта. Ибо его я избрал бы среди тысячи других, с удовлетворением ботаника отдавая себе полный отчет в том, что нельзя было бы найти сочетания видов более редкостных, чем эти молодые цветы, заслонявшие в эту минуту линию горизонта, точно легкая живая изгородь, точно кустик пенсильванских роз, которые служат украшением сада над крутым прибрежным склоном и являются точками на пути парохода, так медленно скользящего по голубой горизонтальной черте, которая тянется от одного стебля к другому, что ленивая бабочка,

засидевшаяся в венчике одной из роз, которую давно уже миновал корабль, сможет долететь до другой розы прежде, чем судно поравняется с ним, даже если дождется того мгновения, когда всего одна крупица лазури будет отделять нос корабля от крайних лепестков цветка, к которому он направляется.

Я вернулся в гостиницу, так как должен был сегодня обедать с Робером в Ривбеле и так как бабушка требовала, чтобы в такие вечера я до отъезда проводил час в постели, — отдых, который бальбекский врач рекомендовал мне вскоре распространить на все вообще вечера.

Впрочем, для того чтоб вернуться домой, не было надобности уходить с дамбы и проникать в гостиницу через вестибюль, то есть с задней стороны. Теперь, в разгаре лета, дни сделались такие длинные, что Солнце стояло еще высоко в небе, как будто в час дневного чая, когда в бальбекском Гранд-отеле накрывали уже к обеду, словно это делалось в виде какого-то отступления от правил, подобного тому, в силу которого в Комбре по субботам завтракали на час раньше. И большие подъемные окна, низ которых приходился на одном уровне с дамбой, оставались открыты. Мне стоило перешагнуть через тонкую деревянную

раму, и я уже оказывался в столовой, откуда сразу же направлялся к лифту.

Проходя мимо конторы, я улыбкой приветствовал управляющего и без всякого отвращения заметил улыбку и на его лице, которое со дня нашего приезда в Бальбек мое пытливое внимание все время видоизменяло, вводя в него новые элементы, как будто это был препарат, относящийся к естественной истории. Черты его стали для меня привычны, приобрели смысл неглубокий, но понятный, как почерк, который мы разбираем без труда, и уже нисколько не были похожи на то причудливое невыносимое собрание иероглифов, каким представилось мне его лицо в тот первый день, когда я увидел перед собой человека, теперь уже забытого или, если мне удавалось восстановить его в своей памяти, неузнаваемого, несравнимого, не поддающегося отождествлению с той незначительной, вежливой личностью, по отношению к которой он являлся лишь карикатурой, безобразной и схематичной. Не чувствуя ни смущения, ни грусти, владевших мной в вечер приезда, я звонком вызвал лифтера, который теперь, когда мы поднимались вместе с ним, словно заключенные внутри подвижной грудной клетки, перемещав-

шейся вдоль позвоночного столба, уже не хранил молчания, а твердил мне:

— Теперь народу уже меньше, чем прошлый месяц. Скоро начнут разъезжаться, дни становятся короче.

Он говорил так не потому, чтоб это была правда, но потому, что он уже нанялся на службу в гостинице, находившейся в южной части побережья, и ему хотелось, чтобы мы все разъехались как можно скорее, чтоб наша гостиница закрылась и он мог несколько дней провести по своему усмотрению, прежде чем «вернуться» на свое новое место. Слова «вернуться» и «новое место» не были противоречием для лифтера, потому что «вернуться» являлось для него привычной заменой слова «прийти». Меня удивляло только, что он снисходит до слова «место», так как он принадлежал к тому современному пролетариату, который желает стереть в своем языке следы холопства. Впрочем, почти в тот же миг он сообщил, что в новом «положении», которое он должен занять, у него будет более красивый «мундир» и более высокое «содержание», — слова «ливрея» и «жалованье» казались ему устарелыми и неприличными. А так как, в силу нелепого противоречия, язык «хозяев», несмотря ни на

что, удерживает представления о неравенстве, я всегда плохо понимал слова лифтера. Так, например, меня интересовало только одно: дома ли бабушка? И вот, предупреждая мой вопрос, лифтер мне говорил: «Эта дама только что вышла от вас». Это каждый раз сбивало меня, я думал, что он говорит о бабушке. «Нет, другая дама, — кажется, ваша служащая». Так как на старом языке буржуазии, который, конечно, следовало бы уничтожить, кухарка не называется *служащей,* то я думал: «Но он ошибается, у нас нет ни завода, ни служащих». Внезапно я вспоминал, что слово «служащий» дает некоторое удовлетворение самолюбию прислуги, как усы — официанту в кафе, и что дама, вышедшая из комнат, — Франсуаза (вероятно, отправившаяся в кофейню или к портнихе бельгийской дамы); причем, однако, этого удовлетворения было лифтеру недостаточно, ибо, рассуждая о своем классе, он любил впадать в жалостливый тон и любил говорить: «у рабочего» или «у маленького человека», пользуясь тем же единственным числом, к которому прибегает Расин, когда говорит: «бедняк». Но так как во мне давно исчезли рвение и робость первого дня, то обычно я уже не разговаривал с лифтером. Теперь за ним была очередь не получать ответа

в течение этого краткого переезда, пока он развивал скорость, подымаясь вверх по гостинице, пробуравленной, словно игрушка, и развертывавшей перед нами ряды этажей, разветвления коридоров, в глубине которых свет приобретал бархатистый оттенок, ослабевал, утончал очертания дверей и ступеней внутренних лестниц, окрашивая их в золотисто-янтарные тона, зыбкие и таинственные, как сумерки на картине Рембрандта, из которых выступает то какой-нибудь подоконник, то рукоятка от колодца. И в каждом этаже золотистый луч на ковре возвещал о закате Солнца и указывал на близость окошка уборной.

Я задавал себе вопрос, живут ли в Бальбеке девушки, которых я видел, и кто они могут быть. Когда желание наше направлено в сторону какого-нибудь людского объединения, избранного им среди других, всё, что с ним связано, становится источником волнений, а потом и мечтаний. Я слышал, как какая-то дама на дамбе говорила: «Это подруга маленькой Симоне» — тоном человека, дающего лестную характеристику вроде такой: «Он и маленький Ларошфуко — неразлучные друзья». И сразу же на лице особы, которой это сообщалось, выразились любопытство и желание получше рассмотреть избранницу, удо-

стоившуюся чести стать «подругой маленькой Симоне». Честь, которой, очевидно, удостаивались не все. Ибо аристократия — нечто относительное. И в иной дыре сын торговца мебелью — законодатель мод и царит над своим двором, словно молодой принц Уэльский. Впоследствии я часто пытался вспомнить, как прозвучало для меня впервые, там, на пляже, это имя — *Симоне,* в то время еще неясное по своей форме, которую я смутно различил, а также и по своему значению, по своей связи с тем или иным лицом, вообще же — проникнутое той неопределенностью и той новизной, которые будут так волновать потом, когда это имя, буквы которого каждую секунду запечатлеваются нашим неутомимым вниманием, станет (что должно было случиться со мной, в моих отношениях с маленькой Симоне, лишь несколько лет спустя) первым словом, которое приходит нам в голову в минуту пробуждения или после обморока, почти опережая слово «я», опережая даже представление о том, который час и где мы находимся, как будто существо, носящее это имя, значит для нас больше, чем мы сами, и как будто передышка, на несколько мгновений отнимающая у нас сознание, кончается всего быстрее по отношению к сроку, когда мы не ду-

маем о нем. Не знаю почему, но с первого же дня я решил, что фамилия *Симоне* должна принадлежать одной из девушек; я непрестанно задавал себе вопрос, каким путем я смогу познакомиться с семейством Симоне, и притом через посредство людей, которых она ставила бы выше себя, чтобы у ней не могло сложиться пренебрежительного мнения обо мне, — что не должно было представить трудностей, если это были всего-навсего кокотки из простонародья. Ибо нельзя близко сойтись, слиться с человеком, презирающим тебя, пока не победишь его презрение. А всякий раз, когда в наше сознание проникает образ столь далекой женщины, если только забвение или соперничество других образов не изглаживает его, мы до тех пор не находим покоя, пока нам не удается превратить эту незнакомку в нечто подобное нам самим, ибо в этом отношении наша душа одарена способностью к тем же реакциям, теми же свойствами, что и наш физический организм, который не терпит присутствия постороннего, внедрившегося в него тела и сразу же силится переварить, впитать чужеродный элемент. Маленькая Симоне должна была быть самой хорошенькой из них — той девушкой, которая, как мне казалось, могла бы стать моей

возлюбленной, ибо из всех этих девушек она одна два или три раза вполоборота посмотрела на меня и как будто обратила внимание на мой пристальный взгляд. Я спросил у лифтера, не знает ли он в Бальбеке неких Симоне. Неохотно признаваясь в том, что ему что-нибудь не известно, он ответил, что как будто слышал в разговоре эту фамилию. Прибыв на верхний этаж, я попросил его доставить мне последние списки приезжих.

Я вышел из лифта, но вместо того, чтоб идти к себе в комнату, направился дальше по коридору, так как в этот час коридорный нашего этажа, хоть он и боялся сквозняков, открывал крайнее окно, обращенное не к морю, а к холмам и к долине, но скрывавшее их от нас, потому что стекла в нем были матовые и оно чаще всего бывало затворено. Я остановился перед ним на какую-нибудь минуту, чтоб успеть лишь принести дань благоговения этому «виду», который открылся теперь по ту сторону холма, обращенного к задней стене гостиницы; на нем стоял один только домик, отделенный от нас большим расстоянием, но сохранявший всю свою рельефность благодаря перспективе и вечернему освещению, которое делало из него драгоценную чеканную вещицу, ларец, внутри, наверно, выложенный

бархатом, — вроде тех миниатюрных созданий архитектуры, маленьких храмов или часовенок из эмали и золота или серебра, в которых хранятся мощи и которые лишь в редкие дни выносят на поклонение верующим. Но мое благоговейное созерцание, по-видимому, заняло уж слишком много времени, потому что коридорный, который в одной руке держал связку ключей, а другой приветствовал меня, притрагиваясь к своей скуфейке, однако не снимая ее, так как вечерняя прохлада внушала ему опасения, закрыл обе створки окна, словно дверцы раки, и похитил от моих восторженных взоров и одиноко стоящий дом, и «золотую святыню». Я вошел в свою комнату. По мере того как лето подходило к концу, менялась картина, которую я видел в моем окне. Сперва бывало совсем светло, темнота наступала лишь в дурную погоду: тогда в серовато-зеленом стекле, как будто вздуваемом круглыми волнами, море, вправленное в железные косяки моего окна, словно в свинцовый переплет церковного окна с цветными стеклами, уснащало всю глубокую скалистую кайму побережья перистыми треугольниками неподвижной пены, очерченными с той тонкостью, с какой Пизанелло выписывал перья или пух, и закрепленными пластами бе-

лой, прочной, густой эмали, что изображает слой снега на хрусталях работы Галле́.

Вскоре дни стали короче, и в тот момент, когда я входил в свою комнату, лиловое небо, в котором кровавым клеймом сверкало неподвижное, геометрически строгое, преходящее Солнце (точно изображение чудесного знамения, мистического видения), на шарнире горизонта наклоняясь над морем, как в церкви запрестольный образ над алтарем, меж тем как отдельные куски заката, отраженные в стеклах низеньких книжных шкафов красного дерева, тянувшихся вдоль стен, которые я мысленно связывал с волшебной картиной, где они были собраны в одно целое, напоминали ряд отдельных сцен, некогда изображенных каким-нибудь старинным мастером на стенках монастырской раки, а теперь выставляемых разрозненно в музейном зале, где лишь воображение посетителя может вернуть их на старое место, отведенное им на стенах алтаря. Несколько недель спустя Солнце уже успевало скрыться, когда я возвращался к себе. Красная полоса, напоминавшая ту, что являлась моим глазам в Комбре над горою с распятием в час, когда я возвращался с прогулки и собирался до начала обеда заглянуть на кухню, и зажигавшаяся теперь над морем — густым и

ярким, как мясной студень, а вскоре затем — над морем уже холодным и синим, как рыба, называемая *барбуном,* и остальная часть неба такого же розового цвета, как лососина, которую мы вскоре велим подать себе в ресторане в Ривбеле, усиливали удовольствие, вызванное мыслью о том, что сейчас мне предстоит одеваться и ехать обедать. Над морем, совсем близко от берега, начинали подыматься, рядами все более широкими, громоздясь друг на друга, пары, черные, как сажа, но вместе с тем блестящие и плотные, как агат, такие тяжелые, что это чувствовалось на глаз; и поэтому казалось, что самые верхние пласты, свисая над искривленным стеблем и отклоняясь от центра тяжести нижних пластов, доселе служивших им опорой, вот-вот обрушат эту громаду, уже разросшуюся в полнеба, и низвергнут ее в море. При виде корабля, удалявшегося, точно путник среди ночи, я испытывал то же чувство, какое однажды узнал в вагоне, — чувство, как будто я освобожден от необходимости сна и от заточения в комнате. Впрочем, в этой комнате я не чувствовал себя узником, так как через час мне предстояло покинуть ее, чтобы сесть в экипаж. Я бросался на постель; и словно лежа в одной из тех лодок, которые были совсем недалеко от меня

и на которые странно смотреть ночью, когда они медленно движутся в темноте, точно лебеди, мрачные и молчаливые, но противящиеся сну, — я со всех сторон был окружен образами моря.

Но весьма часто в действительности это были только образы; я забывал, что под их красками разверзается унылая пустота пляжа, где носится беспокойный вечерний ветер, вызвавший во мне такое тревожное чувство в день моего приезда в Бальбек; впрочем, даже уйдя в свою комнату, весь поглощенный мыслью о девушках, встреченных по пути, я был уже не в достаточно спокойном и не в достаточно беспристрастном расположении духа, чтобы во мне могли зародиться истинно глубокие впечатления красоты. Ожидание обеда, предстоявшего в Ривбеле, вносило в мое настроение еще больше суетности, и мысль моя, живя в эти минуты на поверхности тела, которое я собирался нарядить так, чтобы сделать его возможно более привлекательным для женских взоров, которые будут меня разглядывать в ярко освещенном ресторане, была не способна ощутить глубину, таившуюся за окраской вещей. И если бы только не этот неустанный и мягкий полет стрижей и ласточек, взвивавшихся над моим окном, как струя фонтана, как живой фейерверк,

заполнявший пространство между этими высоко взлетавшими ракетами пряжей белых, длинных и неподвижных горизонтальных линий, не будь прелестного волшебства этого чисто местного явления, связывавшего с действительностью пейзажи, которые я видел перед собой, я мог бы подумать, что это всего лишь избранная коллекция ежедневно сменяющихся картин, по чьей-то прихоти показываемых в этой местности, хотя они и не имеют к ней непосредственного отношения. Однажды я увидел выставку японских эстампов: рядом с тонким отрезком Солнца — красного и круглого, как Луна, — желтое облако было похоже на озеро, на фоне которого выделялись черные мечи — точно деревья, растущие на берегу; полоса такого нежно-розового цвета, какого я больше ни разу не видел со времен моей первой коробки с красками, вздувалась, как река, на обеих берегах которой видны были лодки, словно ждавшие, что кто-нибудь придет и спустит их на воду. И, бросив высокомерный, скучающий, поверхностный взгляд, точно какой-нибудь любитель или светская дама, забежавшая в картинную галерею между двумя визитами, я говорил себе: «Это любопытно — такой закат; он своеобразен, но, в конце концов, я уже ви-

дел такие закаты, такие же нежные, такие же изумительные». Большее удовольствие я испытывал в те вечера, когда появлялся корабль, поглощенный и растворенный далью горизонта, совершенно такого же цвета, как эта даль, так что он, совсем как на импрессионистской картине, казался сделанным из того же самого материала, а нос его и снасти казались вырезанными, выделяясь тонкими прозрачными очертаниями во влажной синеве неба. Порою океан заполнял почти все мое окно, в верхней части которого находилась полоса неба, ограниченная снизу чертой такого же синего цвета, как и море, и поэтому-то казавшаяся мне продолжением все того же моря, причем разницу в окраске я приписывал лишь влиянию светового эффекта. В другие дни море вырисовывалось только в нижней части окна, остальное пространство которого бывало заполнено таким множеством облаков, наплывавших друг на друга горизонтальными слоями, что оконные стекла казались серией «облачных этюдов» — плодом особого замысла или специальности художника, меж тем как в стеклах книжных шкапов отражались такие же облака, которые, однако, занимали здесь иную часть небосклона и окрашены были по-иному,

как бы представляли собой столь излюбленное некоторыми современными мастерами «повторение» одного и того же эффекта в разные часы, а теперь, когда их зафиксировало искусство, могли быть осмотрены все вместе, в форме пастелей, вставленных под стекло. А порою к однообразно серым тонам неба и моря примешивался и розовый оттенок, восхитительно изысканный, меж тем как крылья мотылька, уснувшего на окне, в самом низу этой «гармонии серых и розовых красок», совершенно во вкусе Уистлера, казались излюбленной подписью мастера Челси. Розовый цвет исчезал, не на что было смотреть. Я вставал на минуту и, прежде чем снова улечься, задергивал на окнах большие занавески. С постели я видел полосу света, остававшуюся над ними, тускневшую, хиревшую все больше и больше, но я без всякой грусти, без всяких сожалений думал о том, что там, над занавесками, умирает этот час, который я обычно проводил за столом, ибо я знал, что этот день отличается от других дней — что он длиннее их, как полярный день, прерываемый ночью лишь на несколько минут; я знал, что из куколки этих сумерек, по законам лучезарной метаморфозы, готов уже выпорхнуть ослепительный блеск ривбельского ресторана. Я

говорил себе: «Пора»; потягивался, вставал, заканчивал свой туалет; и какую-то прелесть находил я в этих мгновениях, бесполезных, свободных от всякого материального бремени, в течение которых, пока другие обедали внизу, я обращал силы, накопленные за этот час вечернего бездействия, на то, чтоб протереть свое тело, надеть смокинг, завязать галстук — проделать все эти движения, направляемые удовольствием от мысли, что я вновь увижу ту или иную женщину, которую прошлый раз я заметил в Ривбеле, которая как будто поглядела на меня, даже вышла на минуту из-за стола, может быть, только в надежде, что я последую за ней; я с наслаждением прихорашивался, чтобы радостно и уже целиком отдаться новой, свободной, беспечной жизни, где я забуду свою нерешительность, встретив опору в спокойствии Сен-Лу, и где смогу из стольких видов, создаваемых природой, и порождений всех стран мира выбрать те, которые, входя в состав самых необычных блюд, тотчас же и заказываемых моим другом, явятся приманкой для вкуса или воображения.

А под самый конец настали дни, когда я не мог с дамбы проникнуть прямо в столовую, окна которой уже не были открыты, ибо кругом была ночь,

и рои бедняков и зевак, привлеченных недостижимым для них источником блеска, приникали черными гроздьями, продрогнув от ветра, к сверкающим и скользким стенам стеклянного улья.

В дверь постучали; это был Эме, сам пожелавший принести мне последние списки приезжих.

Перед тем как уйти, Эме счел нужным сказать, что Дрейфус тысячу раз виновен. «Всё откроется, — сказал он мне, — но только не в этом году, а в будущем: это мне сказал один господин, у которого большие знакомства в штабе. Я спросил его, не решатся ли они открыть всё сейчас, не дожидаясь будущего года. Он отложил свою папиросу, — продолжал Эме и, воспроизводя эту сцену, покачал головой и приподнял указательный палец, так же как его собеседник, желавший сказать: не надо требовать слишком многого. — «Не в этом году, Эме, — так вот и сказал, дотронувшись до моего плеча, — теперь нельзя. А к Пасхе — да!» — И Эме тихонько похлопал меня по плечу: — Вот видите, я вам в точности показываю, как это было», — то ли ему польстила такая фамильярность со стороны важного лица, то ли хотелось, чтобы я мог как следует, с полным знанием всех обстоятельств дела, оценить вескость аргумента и основательность наших надежд.

На первой странице списка приезжих я увидел слова: «Симоне с семейством», отозвавшиеся в моем сердце как бы легким толчком. Во мне были живы давние мечты, зародившиеся еще в годы моего детства, в которых всю нежность, наполнявшую мое сердце и неразрывную с ним, приносило мне существо, как нельзя более непохожее на меня. Это существо я создал теперь снова, прибегнув для этого к фамилии *Симоне* и к воспоминанию о той гармонии, что царила над этими юными телами, которые сегодня на пляже проследовали предо мною в спортивном шествии, достойном художника древности или Джотто. Я не знал, которая из этих девушек — мадемуазель Симоне, не знал, носит ли одна из них эту фамилию, но знал, что я люблю мадемуазель *Симоне* и что с помощью Сен-Лу попробую с нею познакомиться. К несчастью, он вынужден был ежедневно ездить в Донсьер, получив только под этим условием продление отпуска; думая заставить его поступиться своими военными обязанностями, я надеялся не только на его дружбу, но в еще большей степени на то любопытство натуралиста, исследователя человеческих особей, которое во мне — даже если я и не видел женщины, являвшейся темой разго-

вора, если мне приходилось хотя бы слышать о том, что в лавке фруктовщика хорошенькая кассирша, — вызывало желание познакомиться с новой разновидностью женской красоты. Но напрасно я старался возбудить в Сен-Лу это любопытство, рассказывая ему о моих девушках. Оно надолго было парализовано в нем отношениями с актрисой, его любовницей. И даже если бы он и почувствовал его в зародыше, то подавил бы его, повинуясь своего рода суеверию, будто от его собственной верности может зависеть верность любовницы. Вот почему, отправляясь со мной обедать в Ривбель, он не обещал мне, что займется как следует моими девушками.

Первое время Солнце, когда мы приезжали туда, уже скрывалось за горизонт, но еще бывало светло; в саду ресторана, где свет еще не был зажжен, дневная жара спадала, точно оседая на дно сосуда, у стенок которого прозрачный и темный студень воздуха казался таким плотным, что большой розовый куст, прислоненный к потускневшей ограде, на которой он выделялся узором розовых прожилок, напоминал растительность, открывающуюся нам в глубине оникса. Но скоро, выходя из экипажа, мы уже бывали окружены темнотой, заставшей нас иногда и в Бальбеке,

если погода была плохая и мы оттягивали момент отъезда в надежде, что ветер стихнет. Но в эти Дни я не грустил, слыша, как воет ветер: я знал, что он не требует отказа от моих планов, заточения в комнате; я знал, что в большом зале ресторана, куда мы войдем под звуки цыганской музыки, бесчисленные лампы легко одержат победу над мраком и холодом, сокрушат его своим широким жгуче-золотым пламенем, и я весело садился рядом с Сен-Лу в двухместную карету, ждавшую нас под проливным Дождем. С некоторых пор слова Бергота, убежденного, как он говорил, в том, что, вопреки моим утверждениям, я создан прежде всего для умственных радостей, возбудили во мне надежду относительно возможной для меня в будущем деятельности, надежду, которую каждый день разрушала скука, испытываемая мною, когда я садился за стол, собираясь приняться за критическую статью или роман. «В конце концов, — говорил я себе, — быть может, удовольствие, которое испытывает автор, когда пишет, не есть бесспорный критерий ценности той или иной удачной страницы; быть может, оно лишь побочное состояние, которое часто сопровождает его работу, но отсутствие которого не может быть доводом против нее. Быть может,

авторы некоторых шедевров зевали, создавая их». Бабушка успокаивала мои сомнения, уверяя меня, что я буду успешно и с удовольствием работать, если буду хорошо чувствовать себя. А так как наш врач, считавший более благоразумным предупредить меня о серьезных опасностях, которыми могло грозить состояние моего здоровья, указал все гигиенические меры предосторожности, которые мне надо было соблюдать во избежание несчастной случайности, то все мои удовольствия я подчинял цели, которую считал бесконечно более важной, чем удовольствия: решив достаточно окрепнуть, чтобы осуществить замысел произведения, которое я, быть может, ношу в себе, я подвергал себя со времени приезда в Бальбек тщательному и постоянному контролю. Я ни за что бы не притронулся к чашке кофе, которая могла лишить меня ночного сна, необходимого мне, чтобы на другой день не чувствовать себя усталым. Но когда мы приезжали в Ривбель, меня тотчас же охватывало радостное возбуждение новизны, я попадал в особую сферу, куда вводит нас необычность, заставляющая порвать нить, которую мы терпеливо пряли уже столько дней и которая вела нас к благоразумию, и — как будто уже не существовало ни завтраш-

него дня, ни высоких целей — бесследно исчезал весь выверенный механизм гигиенической осторожности, благодаря которому эти цели могли осуществиться. В то время как лакей предлагал мне снять пальто, Сен-Лу спрашивал меня:

— Вам не будет холодно? Быть может, вам лучше не снимать его, сегодня не очень жарко.

Я отвечал: «Нет, нет» — и, может быть, действительно не ощущал холода, но, во всяком случае, уже не боялся заболеть, не чувствовал необходимости оставаться в живых, важности моего труда. Я отдавал лакею пальто; мы входили в зал ресторана под звуки какого-нибудь воинственного марша, исполняемого цыганами; мы шли между рядами накрытых столиков, точно по дороге легко доставшейся славы, и, чувствуя, как ритмы оркестра, оказывающего нам воинские почести, и этот незаслуженно праздничный прием наполняют наше тело бодрой радостью, мы старались скрыть ее под напускной важностью и холодностью, устало замедляли свою походку, чтобы не подражать кафешантанным дивам, которые, пропев на воинственный мотив какой-нибудь двусмысленный куплет, проносятся по сцене торжествующе, как генерал, одержавший победу.

С этой минуты я делался другим человеком, пе-

реставал быть внуком моей бабушки, о которой мне предстояло вспомнить лишь при выходе из ресторана, становился на время братом официантов, которые должны были прислуживать нам.

Количество пива, а тем более шампанского, которое в Бальбеке я бы не выпил и за целую неделю, хотя для моего спокойного и ясного сознания эти напитки представляли вполне ощутимое наслаждение, которым, впрочем, я легко жертвовал, я поглощал здесь в один час, прибавляя к нему несколько капель портвейна, вкуса которого по рассеянности даже и не замечал, и отдавал скрипачу, только что исполнившему свой номер, два луидора, которые копил уже целый месяц ради покупки, теперь исчезнувшей из моей памяти. Некоторые из официантов, сновавшие между столами, мчались на всех парах, держа на вытянутой ладони блюдо, как будто цель этих гонок заключалась в том, чтобы не уронить его. Действительно, шоколадные суфле прибывали к месту назначения, не опрокидываясь, а картофель а-л'англез, несмотря на скорость бега, должно быть, сотрясавшего его, окружал барашка Польяк в таком же порядке, в каком его уложили на кухне. Я обратил внимание на одного из этих служителей, очень высокого, оперенного

великолепными черными волосами, цветом кожи напоминавшего скорее некоторые редкие породы птиц, нежели человеческие особи, и непрестанно, даже как будто бесцельно носившегося из одного конца зала в другой, приводя на ум попугаев ара, которые наполняют большие клетки зоологических садов жгучестью своей окраски и своим непонятным возбуждением. Вскоре зрелище, по крайней мере в моих глазах, упорядочилось и приняло более спокойные и благородные формы. Вся эта головокружительная сутолока превращалась в спокойную гармонию. Я смотрел на круглые столы, бесчисленное множество которых заполняло ресторан наподобие планет в том виде, как они изображаются на старинных аллегорических картинах. К тому же непреодолимая сила притяжения связывала эти светила, и обедающие за каждым столиком смотрели только на те столики, за которыми сидели не они, исключая разве какого-нибудь богача-амфитриона, который, приведя обедать с собой знаменитого писателя, ухищрялся, по-видимому с помощью чудесных свойств вертящегося стола, извлекать из него разные незначительные замечания, восхищавшие дам. Гармония этих астральных столов не мешала безостановочно-

му круговороту бесчисленных слуг, которые, благодаря тому что они не сидели, как обедающие, а все время были на ногах, совершали свои движения в другой, более высокой зоне. Этот бежал за закуской, тот — за новой бутылкой вина или за стаканами. Но, несмотря на эти частные причины, в их непрестанном беге между круглыми столами в конце концов проявлялась некая закономерность, определявшая это головокружительное движение. Две безобразные кассирши, укрытые цветочной чащей и занятые бесконечными расчетами, казались двумя волшебницами, старающимися с помощью астрологических выкладок предугадать возможные потрясения на этом небосводе, построенном согласно представлениям средневековой науки.

И я немного жалел всех этих обедающих, так как чувствовал, что для них круглые столы не были планетами и что никто из них не упражнялся в том анатомировании предметов, которое освобождает их в наших глазах от их обычной внешности и позволяет нам замечать аналогии. Они думали, что они обедают с таким-то лицом, что обед будет стоить приблизительно столько-то и что завтра будет то же самое. Они казались совершенно равнодушны к развертывавшемуся

перед ними шествию подручных мальчиков, которые, по-видимому не имея в эту минуту никакого неотложного дела, торжественно проносили корзины с хлебом. Некоторые из них, совсем еще юные, отупев от подзатыльников, которыми их мимоходом наделяли метрдотели, меланхолично вперяли взор в далекую мечту и бывали утешены лишь тогда, когда кто-нибудь из клиентов бальбекской гостиницы, где они раньше служили, узнавал их, заговаривал с ними и, преисполняя их гордостью, именно им поручал унести шампанское, которое невозможно было пить.

Я прислушивался к гулу моих нервов, испытывавших чувство довольства, которое было независимо от предметов внешнего мира, способных возбудить его, и которое я мог в себе вызвать путем малейшего перемещения моего тела или моего внимания, подобно тому как достаточно бывает легкого нажима, чтобы вызвать в закрытом глазе ощущение краски. Я уже выпил много портвейна, и если спросил его еще, то не столько в расчете на удовольствие, которое я должен был получить, выпив еще несколько рюмок, сколько вследствие приятного самочувствия от рюмок уже выпитых. Я предоставлял музыке указывать путь моему удовольствию, и оно покорно задер-

живалось на каждой ноте. Если, подобно тем химическим заводам, благодаря которым в больших количествах могут поставляться вещества, лишь случайно и очень редко встречающиеся в природе, этот ривбельский ресторан в короткое время соединял в себе больше женщин, открывавших мне перспективы счастья, чем я мог бы в течение целого года встретить на прогулках, то, с другой стороны, музыка, которую мы слушали, — аранжировки вальсов, немецких оперетт, кафешантанных песенок, всё новых для меня вещей, — сама была миром наслаждений, высившимся в воздухе над тем, другим, и еще более опьяняющим. Ибо каждый мотив, своеобразный, как женщина, в противоположность ей не скрывал в себе тайну сладострастия ради одного какого-нибудь избранника: он предлагал ее мне, присматривался ко мне, приближался ко мне поступью игривой или задорной, приставал ко мне, лаская меня, как будто я внезапно стал пленительнее, могущественнее или богаче; правда, я чувствовал в этих мотивах нечто жестокое; ибо им было совершенно чуждо бескорыстное чувство красоты, был чужд всякий проблеск ума; для них существует лишь физическое наслаждение. И они — самый беспощадный, самый

безвыходный ад для несчастного ревнивца, которому рисуют это наслаждение — наслаждение, разделяемое любимой женщиной с другим человеком, — как единственную вещь на свете, существующую для той, которая заполняет его целиком. Но пока я вполголоса воспроизводил этот мотив и возвращал ему его поцелуй, специфическое сладострастие, которое он давал мне почувствовать, становилось так дорого для меня, что я покинул бы моих родных, лишь бы последовать за ним в тот особый мир, что он воздвигал в сфере незримого, замыкая его линиями, исполненными то неги, то стремительности. Хотя подобное наслаждение не из числа тех, что повышают ценность человека, ибо оно воспринимается только им одним, и хотя, когда нам случается произвести невыгодное впечатление на женщину, обратившую на нас внимание, ей бывает не известно, испытываем ли мы в данную минуту это внутреннее субъективное блаженство, которое, следовательно, нисколько не может изменить ее суждение о нас, — я чувствовал себя более могущественным, почти неотразимым. Мне казалось, что моя любовь уже не есть нечто неприятное, способное вызвать улыбку, но что ей-то и присуща трогательная

красота, обаяние этой музыки, которая и сама была дружественной средой, где я и любимая мною могли бы встретиться и внезапно сделаться близкими друг другу.

Ресторан посещали не только дамы полусвета, но также и люди самого изысканного круга, приезжавшие сюда к пяти часам пить чай или дававшие здесь большие обеды. Чай подавали в длинной застекленной галерее, узкой, коридорообразной, соединявшей вестибюль и столовый зал и выходившей в сад, от которого ее отделяла, не считая нескольких каменных столбов, только стеклянная стена с рамами, открывавшимися то здесь, то там. Благодаря этому создавались не только частые сквозняки, но и резкие прерывистые солнечные вспышки, ослепительное освещение, из-за которого почти нельзя было рассмотреть дам, пьющих чай, так что, когда они, зажатые между столиками, попарно расставленными во всю длину прохода, узкого, как горлышко бутылки, делали какое-нибудь движение, раскланивались друг с другом, возникали переливы красок и казалось, что это бассейн или верша, куда рыболов нагромоздил блестящих пойманных рыб, которые, наполовину высунувшись из воды, залитые солнцем, горят переливчатым блеском.

Несколько часов спустя, во время обеда, который, разумеется, подавался в столовой, зажигали огонь, хотя на дворе еще было светло, так что в саду, рядом с беседками, выступавшими в свете сумерек и казавшимися бледными призраками вечера, виднелись грабы, серовато-зеленая листва которых была пронизана последними лучами, а сами они, когда мы глядели на них из обеденной залы, освещенной лампами, казались, по ту сторону окна, уже не рыбами в блестящей влажной сети, с которыми можно было сравнить дам, пивших чай в начале вечера в голубовато-золотистой галерее, а растительностью гигантского бледно-зеленого аквариума, озаренного сверхъестественным светом. Уже вставали из-за стола; и если сотрапезников, которые в течение обеда только и делали, что рассматривали обедающих за соседним столом, вглядывались в них, расспрашивали о них, связывала сила притяжения, заставлявшая их тяготеть к их амфитриону, которого они в этот вечер окружали нерушимо-сплоченным кольцом, то в момент, когда, собираясь пить кофе, гости переходили в галерею, куда раньше подавался чай, эта сила становилась менее действенной; часто случалось, что во время этого перехода та или иная

группа обедающих лишалась одной или нескольких своих частиц, которые, не будучи в силах противостоять силе притяжения, исходившей от соперничавшего стола, на минуту отрывались от нее, а их заменяли мужчины или дамы, подошедшие поздороваться с друзьями и говорившие, прежде чем снова присоединиться к своей компании: «Надо мне бежать к N.N., я обедаю с ним сегодня». И на минуту казалось, что видишь два букета, обменявшихся цветами. Потом пустела и галерея. Так как даже и после обеда бывало еще не совсем темно, то в этом длинном коридоре часто не зажигали света и, гранича с деревьями, наклонявшими свои ветки по другую сторону стеклянной стены, он напоминал аллею тенистого и сумрачного сада. Иногда в этом сумраке случалось встретить даму, замешкавшуюся после обеда. Однажды вечером, направляясь к выходу, я заметил сидевшую в галерее, окруженную кучкой незнакомых мне людей, красавицу — принцессу Люксембургскую. Я не останавливаясь снял шляпу. Она меня узнала и с улыбкой наклонила голову; возносясь над этим поклоном, как будто вызванные им, мелодически прозвучали несколько слов, обращенных ко мне и рассчитанных как приветствие, довольно длинное,

имевшее целью не остановить меня, а только дополнить поклон, сделать из него поклон словесный. Но слова были так неотчетливы, а звуки голоса — единственное, что я различил, — так нежны и протяжно-музыкальны, что мне показалось, будто в листве деревьев, окутанных мраком, запел соловей. Если, случайно встретившись с компанией своих приятелей и решив провести в их обществе остальную часть вечера, Сен-Лу отправлялся вместе с ними в казино какого-нибудь соседнего курорта и усаживал меня одного в свой экипаж, я приказывал кучеру гнать во весь опор, чтобы по возможности скоротать минуты, в течение которых мне предстояло оставаться одному, без посторонней помощи, и самому доставлять моей чувствительности — дав машине задний ход и выйдя из пассивного состояния, которое цепко, словно с помощью целой системы зубчатых колес, держало меня в плену, — материал, доставлявшийся мне другими с момента моего приезда в Ривбель. Возможность столкновения с экипажем, направлявшимся нам навстречу по одной из этих дорог, где нельзя было разъехаться и где все было окутано мраком, ненадежность почвы скалистого берега, где часто случались обвалы, крутизна обрыва, начинавшегося у самого

края дороги, — ничто не могло заставить меня сделать маленькое усилие и довести до сознания представление об опасности и страх перед ней. Ведь не столько желание прославиться, сколько привычка к труду позволяет нам создать задуманное произведение, и равным образом не радость настоящего, но мудрые размышления о прошлом помогают нам обеспечить наше будущее. А если, сразу же по приезде в Ривбель, я далеко отбрасывал костыли рассудка, контроля над самим собою, которые нам, калекам, помогают не сбиться с прямого пути, и оказывался во власти своего рода моральной атаксии, то алкоголь, до крайности напрягая мои нервы, придавал этим минутам своеобразие и очарование, отнюдь, впрочем, не увеличивавшее моей способности и даже решимости их оберегать; ибо возбуждение мое, благодаря которому я в тысячу раз предпочитал их всем прочим дням моей жизни, отрывало их от нее; я был пленником настоящего, как герои, как пьяницы; внезапно затмеваясь, мое прошлое уже не отбрасывало от себя тени, которую мы называем *будущим;* видя цель моей жизни уже не в осуществлении мечтаний прошлого, но в блаженстве настоящей минуты, я не замечал ничего, кроме этой минуты. Таким образом, в силу

противоречия, противоречия только кажущегося, в тот миг, когда я испытывал исключительное наслаждение, когда я чувствовал, что жизнь моя может стать счастливой, когда она в моих глазах должна была бы иметь большую ценность, — именно в этот миг, освободившись от всех забот, которые она до сих пор могла внушить мне, я без всяких колебаний отдавал ее на произвол случайности. Впрочем, я, в сущности, сосредоточивал лишь на одном вечере ту беспечность, которая у других людей распространяется на всю их жизнь, в течение которой они каждый день, без всякой необходимости, подвергают себя опасности морского путешествия, полета на аэроплане или же автомобильной поездки, тогда как дома их ждет существо, чья жизнь была бы разбита вестью об их гибели, или в то время как от их хрупкого мозга зависит выход в свет книги, являющейся единственной целью их существования. И если бы в один из этих вечеров в ривбельском ресторане кто-нибудь пришел убить меня, то я — лишь в нереальном отдалении представляя себе мою бабушку, мою дальнейшую жизнь, книги, которые я собирался написать, всецело поглощенный благоуханием, которое распространяла женщина, сидевшая за соседним столиком, вежливостью

метрдотелей, очертаниями вальса, который играли в эту минуту, — я, прильнув к ощущению данного мгновения, сжавшись до его предела и ставя себе единственной целью не расстаться с ним, — я бы умер, держась за него, я дал бы растерзать себя, не обороняясь, не двигаясь, как пчела, одурманенная табачным дымом, которая не заботится больше о том, чтобы спасти запасы, собранные ее усилиями, и надежду своего улья.

Должен, впрочем, сказать, что это ничтожество, в которое, по контрасту с силой моего возбуждения, впадали вещи для меня самые значительные, в конце концов поглощало и мль Симоне с ее подругами. Знакомство с ними казалось мне теперь делом легким, но безразличным, ибо важным для меня было только ощущение данной минуты, благодаря исключительной его мощи и радости, возбуждавшейся малейшими его оттенками и даже самой его непрерывностью; все остальное: родные, работа, удовольствия, бальбекские девушки — весило не больше, чем клочок пены, подхваченный сильным ветром, который не дает ей опуститься на берег, и существовало лишь в зависимости от этой внутренней силы: опьянение на несколько часов осуществляет субъективный идеализм,

чистый феноменализм; весь мир — только видимость и существует лишь в связи с нашим верховным «я». Это, впрочем, не значит, что настоящая любовь, если мы любим, невозможна в подобном состоянии. Но мы чувствуем так же отчетливо, как если бы только что очутились в новой среде, что неведомые давления изменили пропорции этого чувства, что мы не можем смотреть на него по-прежнему. Мы, правда, обретаем эту любовь, но она переместилась, не тяготеет над нами, удовлетворяется ощущением, которое дает ей настоящее и которого для нас достаточно, ибо нам дела нет до того, что не связано с данной минутой. К несчастью, этот коэффициент, изменяющий все величины, изменяет их лишь на краткий час опьянения. Люди, которые уже теряли всякое значение и разлетались от нашего дыхания, как мыльные пузыри, завтра приобретут свою прежнюю плотность; нужно будет снова сделать попытку приняться за работы, уже ничего не значившие для нас. И что еще более важно, эта математика завтрашнего дня — та же, что и математика дня вчерашнего, с задачами которой нам неизбежно придется столкнуться, — управляет нами даже в эти часы, но помимо нашего сознания. Если около нас находится жен-

щина добродетельная или неприступная, то, что было так трудно накануне — а именно: возможность понравиться ей, — кажется нам теперь в миллион раз легче, хотя в действительности эта возможность ничуть не облегчилась, ибо мы изменились только в наших собственных глазах, с нашей внутренней точки зрения. И в данную минуту ее так же сердит вольность, которую мы позволили себе по отношению к ней, как нас самих будет завтра сердить то обстоятельство, что мы дали сто франков груму, и по одной и той же причине, которая для нас возникнет только несколько позднее; эта причина — отсутствие опьянения.

Я не знал ни одной из женщин, которых видел в Ривбеле, а так как они были одним из элементов моего опьянения, подобно тому как отражение является элементом зеркала, то во мне они возбуждали желание в тысячу раз более страстное, чем м-ль Симоне, все больше и больше утрачивавшая для меня свою реальность. Молодая грустная блондинка в соломенной шляпе, украшенной полевыми цветами, сидевшая одна, на мгновение остановила на мне задумчивый взгляд и показалась мне привлекательной. Потом моим вниманием завладела другая, потом

— третья; наконец, на смену явилась брюнетка с ослепительным цветом лица. Почти все они были знакомы с Сен-Лу, но не со мной. До знакомства с теперешней своей любовницей он, действительно, столько времени провел в этом узком кругу кутящей молодежи, что среди женщин, которые в те вечера обедали в Ривбеле и многие из которых оказывались здесь случайно (одни потому, что приехали на берег моря для встречи с прежним любовником, другие же в поисках нового), не было ни одной, с которой бы ему — или кому-либо из его приятелей — не случилось провести ночь и с которой он поэтому не был бы знаком. Он не здоровался с ними, если они были с мужчиной, они же хоть и смотрели на него внимательнее, чем на других, так как его равнодушие ко всякой женщине, кроме своей актрисы, придавало ему в их глазах своеобразный престиж, однако делали вид, что с ним не знакомы. И какая-то из них шептала: «Это маленький Сен-Лу. Говорят, он все еще любит свою девку. Вот уж это любовь. Какой красивый парень! Я нахожу его умопомрачительным; и что за тон! Ведь вот же все-таки чертовски везет некоторым женщинам. И шик во всем. Я его знала, когда жила с Орлеанским. Они были неразлучны. И кутил же он тогда! Но теперь уж

не то, он ей не изменяет. О, она может сказать, что ей повезло! А мне непонятно, что он мог в ней найти. Верно, он все-таки страшная шляпа. Ноги у ней, как лодки, усы на американский лад, а белье — грязное! Думаю, что простая работница и та не захотела бы надеть ее панталоны. Посмотрите-ка, глаза у него какие, за такого мужчину в огонь броситься можно. Ну-ка, помолчи, он меня узнал, он смеется, — о, прежде он меня узнавал, и как еще! Ему только стоит напомнить обо мне». Она и он обменивались взглядом, выражавшим взаимное понимание. Мне хотелось, чтобы он представил меня этим женщинам, хотелось попросить у них свидания и получить их согласие, даже если б я и не мог им воспользоваться. Ибо иначе их лица навсегда остались бы в моей памяти словно покрытыми какой-то дымкой, лишенными тех индивидуальных черт, которые у каждой женщины — свои, которых мы не можем вообразить себе, пока не увидим сами, и которые сказываются лишь во взгляде, обращенном на нас, уступающем нашему желанию и обещающем, что оно будет удовлетворено. И все-таки, даже настолько обедненные, лица их значили для меня больше, чем лица женщин заведомо добродетельных, и не казались мне, как лица

последних, плоскими, ничем не наполненными, сделанными из одного куска, бессодержательными. Конечно, для меня они были не тем, чем, наверно, были для Сен-Лу, который за этим прозрачным для него безразличием неподвижных черт, притворяющихся, что они не знают его, или за банальностью поклона, совершенно такого же, какой мог бы относиться и к любому человеку, вспоминая, видел распущенные волосы, томно раскрытые губы и полузакрытые глаза, молчаливую картину из числа тех, которые художник, чтобы обмануть большинство посетителей, заставляет каким-нибудь благопристойным холстом. Напротив, для меня, чувствовавшего, что ни одна частица моего существа не проникла в этих женщин и не будет сопровождать их на неведомых путях, по которым им придется странствовать в своей жизни, эти лица, разумеется, оставались закрыты. Но достаточно уже было знать, что они открываются, и они приобретали для меня ценность, которой я бы в них не нашел, если бы они были только прекрасными медалями, а не медальонами, таящими в себе любовные воспоминания. Что касается Робера, который, маскируя улыбкой придворного неукротимые стремления воина, едва мог усидеть на месте,

то, пристально всматриваясь в него, я отдавал себе отчет в том, как, должно быть, он напоминал своих предков энергичным строением этого треугольного лица, более подходившего какому-нибудь пылкому стрелку, чем утонченному любителю литературы. Под тонкостью его кожи проступали резкие формы, давала себя знать феодальная архитектоника. Его голова наводила на сравнение с теми башнями старинных замков, зубцы которых, утратившие теперь свою полезность, по-прежнему заметны снаружи, но сами они внутри обращены в библиотеку.

Возвращаясь в Бальбек, я безостановочно твердил, почти не отдавая себе отчета, о той или иной незнакомке, которой представил меня Сен-Лу: «Какая очаровательная женщина!» — словно припев какой-нибудь песни. Конечно, эти слова были внушены скорее нервным состоянием, чем осмысленным суждением. И все же, если бы у меня была тысяча франков и магазины ювелиров были еще открыты в этот час, я бы несомненно купил кольцо для незнакомки. Когда часы нашей жизни развертываются вот так, в слишком различных плоскостях, приходится щедро расточать свое «я» ради всяких людей, которые завтра потеряют свой интерес. Но чувствуешь свою

ответственность за слова, сказанные им вчера, и хочется с честью оправдать их.

Так как в эти вечера я возвращался позднее, чем обычно, то, поднявшись в свою комнату, уже более не враждебную мне, я с удовольствием ложился в постель, в которой, как мне казалось в день приезда, я никогда не смогу отдыхать и где теперь мое тело, такое усталое, искало поддержки, так что мои бедра, мои бока, мои плечи старались последовательно прильнуть всеми точками своей поверхности к простыням, покрывавшим матрац, как если бы моя усталость, словно скульптор, пожелала снять точный слепок с человеческого тела. Но я не мог уснуть, я чувствовал приближение утра; спокойствия, здоровья уже не было во мне. С тоской я думал, что никогда не обрету их вновь. Мне долго надо было спать, чтобы вернуть их себе. А если бы я и задремал, все равно меня неизбежно должен был через два часа разбудить симфонический концерт. И вдруг я засыпал, я проваливался в тот тяжелый сон, в котором нам открываются возврат к молодости, возврат к минувшим годам и утраченным чувствам, развоплощение и переселение душ, призраки мертвецов, обманы безумия, регрессия к низшим царствам природы

(ибо говорят, что во сне мы часто видим животных, но при этом почти всегда забывают, что в это время мы сами — животное, лишенное того разума, который озаряет вещи светом достоверности; тут мы, напротив, воспринимаем зрелище жизни глазами неуверенными, и то, что мы увидели, каждую минуту поглощается забвением, ибо одна реальность рассеивается, сменяясь другой, как сменяются картины в волшебном фонаре) — все эти тайны, которые мы считаем нам не известными и в которые на самом деле мы посвящаемся почти каждую ночь, так же как и в другую, великую тайну — тайну уничтожения и воскресения. Постепенно озаряясь блуждающими лучами, которые еще более преломлялись от того, что мне трудно было переварить ривбельский обед, темные периоды моего прошлого превращали меня в существо, для которого высшим счастьем была бы встреча с Легранденом, только что во сне беседовавшим со мною.

Потом и собственную мою жизнь совершенно скрывала от меня новая декорация, вроде тех, что спускаются у самой рампы и на фоне которых, пока на сцене происходят приготовления к следующей картине, разыгрывается дивертисмент. Тот, в котором я исполнял свою роль, был во вкусе

восточных сказок, и от того, что спущенная декорация была так близко, я ничего не вспоминал ни о своем прошлом, ни о себе самом; я был всего только персонаж, избиваемый палками и подвергающийся разнообразным карам за проступок, который мне был непонятен, но заключался в том, что я выпил слишком много портвейна. Я внезапно просыпался, я замечал, что я долго спал и поэтому не слышал симфонического концерта. Было уже за полдень; в этом я убеждался, посмотрев на часы, что бывало сопряжено с несколькими попытками приподняться на постели, попытками бесплодными вначале и перемежавшимися приступами усталости, от которой я снова падал на подушки, но всего лишь на какой-нибудь миг, той усталости, которая наступает после сна, как и после всякого вида опьянения, чем бы оно ни было вызвано — вином или выздоровлением; впрочем, даже еще не успев посмотреть на часы, я знал, что уже за полдень. Вчера вечером я был всего лишь опустошенное, невесомое существо и (так как нужно сперва полежать, чтобы быть в состоянии сидеть, и отоспаться — для того, чтобы получить возможность молчать) не переставая двигался и говорил, я лишен был устойчивости, центра тяжести, был пущен в пространство, мне

казалось, что мой безрадостный полет я мог бы продолжать до самой Луны. Однако если мои глаза, смеженные сном, не видели, который час, то моему телу удалось его определить, время оно измерило не по начертанному на поверхности циферблату, а по растущему давлению, которое мои восстановленные силы, словно направляемые мощным часовым механизмом, оказывали на все мое тело, спускаясь из мозга вплоть до самых колен и откладывая везде свои запасы в нетронутом изобилии. Если правда, что море было некогда нашей жизненной стихией и что мы обретаем наши прежние силы, вновь погружая в него нашу кровь, то это же самое можно сказать и о забытье, перерыве сознания; нам кажется тогда, что мы несколько часов находились вне времени; но силы, собравшиеся за этот промежуток и не растраченные, служат столь же точным мерилом его, как гири стенных часов или осыпающийся холмик в часах песочных. Впрочем, уйти из-под власти такого сна не легче, чем прервать затянувшееся бодрствование, настолько всякому вообще состоянию присуща тенденция к длительности, и если верно, что некоторые наркотики усыпляют, то долгий сон — наркотик еще более могущественный, и после него трудно

проснуться. Подобно матросу, который уже видит набережную, куда причалит его судно, пока что еще качающееся на волнах, я думал, что надо посмотреть на часы и встать, но мое тело каждое мгновение снова проваливалось в сон; причалить было трудно, и прежде чем подняться на ноги, чтобы добраться до часов и сравнить показываемое ими время с тем, другим временем, на которое мне указывало богатство, накопившееся в моих разбитых ногах, я еще два или три раза опускался на подушку.

Наконец мне удавалось вполне отчетливо увидеть «два часа дня!» — я звонил, но сразу же опять погружался в сон, на этот раз, должно быть, бесконечно более долгий, если судить по степени отдыха и по впечатлению, которое, когда я просыпался, говорило мне, что прошла длинная ночь. Но так как пробуждение бывало вызвано приходом Франсуазы, являвшейся, по ее словам, на мой звонок, то этот новый сон, казавшийся мне бесконечно более долгим, чем тот, прежний, и приносивший мне такое отличное самочувствие и такое забвение, мог длиться не более полминуты.

Бабушка приоткрывала ко мне дверь; я задавал ей несколько вопросов о семье Легранден.

Недостаточно было бы сказать, что я вернулся к спокойствию и здоровью, ибо не простое расстояние отделяло их от меня накануне, всю ночь мне приходилось бороться с враждебным им потоком, и ведь я не только оказался возле них, но они вошли в меня. В каких-то определенных и еще немного болезненных точках моей головы, которая оставалась пустой, а со временем должна была распасться и навсегда выпустить мои мысли, им еще раз удавалось занять свое место и вернуться к существованию, которым они до сих пор, увы, не сумели воспользоваться.

Я лишний раз избежал бессонницы, страшной сокрушительной бури нервных припадков. Я уже больше совершенно не страшился того, что угрожало мне вчера вечером, когда я был лишен покоя. Новая жизнь открывалась передо мной; не делая еще ни единого движения, так как я все-таки чувствовал себя разбитым, хотя и бодрым, я радостно вкушал мою усталость; она отделила одну от другой и переломала кости моих ног, моих рук, которые как будто вновь лежали передо мною, готовые соединиться, и которые я сразу же смогу собрать в одно целое, стоит мне только запеть, как сделал зодчий в басне.

Внезапно мне вспомнилась молодая блондинка

с грустным лицом, которую я видел в Ривбеле и которая глядела на меня какой-нибудь миг. В течение всего вечера многие другие казались мне более привлекательными, теперь же она единственная поднималась из глубины моей памяти. Мне казалось, что она заметила меня, я ждал, что кто-нибудь из лакеев ривбельского ресторана принесет мне от нее записку. Сен-Лу не знал ее и предполагал, что она приличная женщина. Трудно было бы видеться с ней, видеться постоянно. Но ради этого я на все был готов, я уже думал только о ней. Философия часто говорит об актах свободных и актах необходимых. Может быть, нет случаев более совершенного проявления необходимости, чем тот, когда некая сила, рвущаяся ввысь, но сдерживаемая во время наших действий, оживляет в нас, как только мысль успокаивается, какое-нибудь воспоминание, сравнявшееся с другими под гнетущим влиянием рассеянности, и дает ему размах, потому что, помимо нашего ведома, в нем больше, чем в других, таилось очарования, хотя мы сознаем это лишь через сутки. И быть может, нет акта более свободного, ибо здесь еще отсутствует привычка, эта своего рода умственная мания, благоприятствующая в любви воскрешению образа всегда

одного и того же человека.

Это было на другой день после того, как я видел развертывавшееся на фоне моря прекрасное шествие девушек. Я решил расспросить о них некоторых обитателей гостиницы, приезжавших в Бальбек почти каждый год. Они ничего не могли сообщить. Впоследствии одна фотография объяснила мне, почему. Кто мог бы теперь узнать в этих девушках — едва вышедших, но все-таки вышедших из возраста, когда в человеке совершается столь полная перемена, — кто мог бы узнать в них бесформенную и очаровательную, совсем еще детскую группу — тех девочек, которых всего несколько лет тому назад можно было видеть сидящими кружком на песке вокруг палатки, — смутно белеющее созвездие, в котором вы различили бы два глаза более блестящих, чем остальные, лукавое лицо, белокурые волосы, — только для того, чтобы сразу же потерять их в этой смутной млечной туманности, где они сливались друг с другом.

Конечно, в те еще столь недавние годы неотчетливым было не впечатление от их группы, как у меня накануне, когда она в первый раз явилась передо мною, — неотчетлива была самая группа. В то время эти дети, еще слишком маленькие,

находились в той низшей стадии развития, когда индивидуальность еще не наложила своего отпечатка на каждое лицо. Как те примитивные организмы, в которых личность сама по себе еще не существует и зависит скорее от всей колонии полипов, чем от отдельного полипа, они держались вместе, прижимаясь друг к другу. Порою одна из них опрокидывала свою соседку, и тогда неудержимый смех, казавшийся единственным проявлением их личной жизни, овладевал ими всеми зараз, сливая, смешивая эти неотчетливые и гримасничающие лица в одну Дрожащую, как студень, и поблескивающую гроздь. На старой фотографии, которую позднее я получил от них в подарок и сохранил, их детская группа состоит из того же числа фигуранток, из какого впоследствии состояла их женская процессия; уже чувствуется, что на пляже они должны были выделяться своеобразным пятном, привлекающим взгляды, но каждую из них можно было отличить только путем логических догадок, представив себе все превращения, возможные в юности, вплоть до пределов, где эти видоизмененные формы переходят в другую индивидуальность, тождество которой тоже надо было установить и прекрасное лицо которой, если принять в расчет

высокий рост и вьющиеся волосы, могло представить сходство с этим сморщенным гримасой личиком на фотографической карточке; а так как расстояние, которое за небольшой промежуток времени миновали физические черты каждой из этих девушек, делало из этих черт критерий очень неопределенный, и так как, с другой стороны, их общие и как бы коллективные свойства были и тогда уже очень ярко выражены, то иногда их лучшим подругам случалось путать их на этой фотографии, так что сомнение в конце концов удавалось разрешить только благодаря той или иной детали туалета, которая, как это было достоверно известно, относилась только к одной из них, в отличие от других. С того дня, когда был сделан снимок, такого непохожего на день, в который я увидел их на дамбе, — такого непохожего и все же такого недавнего — они, как я убедился в этом накануне, еще не потеряли своей способности заливаться смехом, но уже не прежним прерывистым и почти автоматическим детским смехом, который являлся судорожным разрядом и от которого их головки ныряли каждую минуту и, точно стаи красавок в Вивоне, рассеивались и исчезали, чтобы мгновение спустя вновь собраться вместе; теперь их лица владели собою,

глаза были направлены на цель, к которой они стремились, и нужны были все колебания, вся нерешительность моего вчерашнего восприятия, когда я впервые встретил их, чтобы слились в неотчетливую массу — как на старой фотографии или, как бывало, под влиянием смеха — эти спорады, принявшие теперь индивидуальный характер и отделившиеся от бледной мадрепоры.

Конечно, не раз, встречаясь с красивыми молодыми девушками, я давал себе клятву, что увижу их вновь. Обычно они больше не появляются; к тому же и память, быстро забывающая об их существовании, с трудом отождествила бы их черты; быть может, наши глаза не узнали бы их, и вот уже нам встречаются другие девушки, которых мы тоже больше не увидим. Но иногда — и так было с маленькой дерзкой ватагой — случайность упорно сталкивает нас с ними. Тогда эта случайность нам кажется прекрасной, ибо мы открываем в ней что-то вроде организующего начала, нечто вроде попытки, направляющей нашу жизнь; и она же облегчает нам, делает неизбежной, а порою — после перерывов, которые могли внушить надежду на забвение, — жестокой эту стойкость образов, обладание которыми будет представляться нам потом чем-то предопреде-

ленным и которые, не будь этой случайности, нам в самом начале легко удалось бы забыть, как это уже бывало столько раз.

Вскоре отпуск Сен-Лу стал подходить к концу. Я больше не встречал на пляже этих девушек. Днем он проводил в Бальбеке слишком мало времени, чтобы иметь возможность заняться ими и попытаться, ради меня, завязать с ними знакомство. По вечерам он бывал свободнее и часто по-прежнему брал меня с собою в Ривбель. В подобных ресторанах, так же как в общественных садах или поездах, встречаются люди, замаскированные самой обыкновенной внешностью, но поражающие своим именем, когда, случайно спросив, как их зовут, мы обнаруживаем, что перед нами не какая-нибудь безобидная личность, первый встречный, как мы предполагали, а ни больше, ни меньше — министр или герцог, о котором мы так много слышали. В ривбельском ресторане нам с Сен-Лу уже два или три раза случалось видеть, как входил и садился за стол, когда все понемногу начинали уже расходиться, мужчина высокого роста, очень мускулистый, с правильными чертами лица, с седеющей бородой и с задумчивым взглядом, внимательно устремленным в пустоту. Однажды вечером мы спросили у хозяина

ресторана, кто этот безвестный, одинокий и запоздалый посетитель, и он нам сказал: «Как, вы не знаете знаменитого художника Эльстира?» Сван однажды в моем присутствии произнес его имя, по какому поводу — я уже совершенно забыл; но утрата воспоминания, так же как и пропуск слова во фразе, которую мы читаем, иногда вовсе не вызывает в нас неуверенности, а создает преждевременную уверенность. «Это друг Свана и очень известный художник, крупная величина», — сказал я Сен-Лу. Тотчас же и его и меня как бы охватила дрожь от сознания, что Эльстир — великий художник, знаменитость, и что, не отличая нас от прочих посетителей ресторана, он не подозревает о восторженном возбуждении, вызванном в нас мыслью о его таланте. Вероятно, то обстоятельство, что ему неведом наш восторг и ничего не известно о нашем знакомстве со Сваном, не мучило бы нас, если бы мы не находились на морском курорте. Но так как мы еще не успели выйти из возраста, когда энтузиазм не может хранить безмолвие, и были пересажены в среду, где инкогнито кажется невыносимым, то мы сочинили письмо, под которым подписались оба, сообщая в нем Эльстиру, что в лице двух посетителей ресторана, сидящих в нескольких шагах от

него, он видит двух страстных поклонников его таланта, двух друзей его близкого друга Свана, и просили его разрешить нам засвидетельствовать наше уважение. Один из официантов взялся передать знаменитости наше послание.

Знаменитостью Эльстир, пожалуй, и был уже в то время, но еще не совсем в той степени, какую приписывал ему хозяин ресторана и какой он, впрочем, достиг через каких-нибудь несколько лет. Но он был один из первых посетителей этого заведения, когда оно являлось еще чем-то вроде фермы, и привлек туда целую колонию художников (которые, впрочем, все перекочевали в другие места, как только ферма, где обед подавался на свежем воздухе, под простым навесом, превратилась в место, где стала собираться блестящая публика; сам Эльстир бывал теперь в Ривбеле только потому, что его жена, с которой он жил недалеко отсюда, находилась теперь в отъезде). Но большой талант, даже пока он еще не признан, неизбежно вызывает известные проявления восторга, вроде тех, какие хозяин фермы мог уловить в вопросах не одной заезжей англичанки, жаждавшей узнать что-нибудь об образе жизни Эльстира, или во множестве писем, получаемых художником из-за границы. Тогда

хозяин обратил внимание на то, что Эльстир не любит, чтобы ему мешали во время работы, что он встает по ночам и отправляется вместе с молодой натурщицей на берег моря, где она ему позирует нагая при свете Луны, а когда на одной из картин Эльстира он узнал деревянный крест, стоявший при въезде в Ривбель, он решил, что такие труды не напрасны и что восторг туристов имеет основания:

— Ведь это он самый, — повторял он с удивлением. — Все четыре куска. Ах! и ведь старается же он.

И он спрашивал себя, уж не является ли целым состоянием маленький «Восход Солнца над морем», подаренный ему Эльстиром.

Мы увидели, как художник прочел наше письмо, положил его в карман, докончил обед, потребовал пальто и шляпу и поднялся, собираясь уходить, и мы так были уверены, что оскорбили его нашей просьбой, что хотели было (в такой же мере, как и боялись) незаметно встать и уйти. Мы совсем не подумали об одной вещи, которая, однако, должна была быть для нас самой важной, а именно: что по отношению к Эльстиру наш энтузиазм, в искренности которого мы никому бы не позволили сомневаться и в доказательство

которого могли бы сослаться на наше прерывистое дыхание, на нашу готовность совершить ради великого человека любой героический поступок, любое трудное дело, не был, как нам казалось, восхищением, ибо мы не видели ни одной картины Эльстира; наше чувство могло относиться лишь к пустому понятию «великий художник», но не к его творчеству, которое было нам не известно. Самое большее, это было восхищение впустую, нервная рама, чувствительная оправа для восторга, лишенного содержания, то есть нечто столь же неразрывно связанное с детством, как некоторые органы, уже не существующие у взрослого человека; мы еще были дети. Эльстир между тем уже подходил к двери, как вдруг сделал крюк и направился к нам. Мной овладел сладкий испуг, которого я уже не мог бы испытать несколько лет спустя, потому что если с годами в нас ослабевает способность к подобным волнениям, то привычка к обществу отнимает и самую мысль о возможности столь странных случаев.

В тех нескольких фразах, которые Эльстир сказал нам, подсев к нашему столу, не заключалось никакого ответа на мои неоднократные упоминания о Сване. Я уже думал, что он с ним не знаком.

Тем не менее он обратился ко мне с приглашением навестить его в его мастерской в Бальбеке, приглашением, которого Сен-Лу от него не получил и которого я удостоился, — чего я, может быть, и не достиг бы даже с рекомендацией Свана, если бы Эльстир был с ним дружен (ибо в жизни человека доля бескорыстных чувств занимает больше места, чем принято думать), — благодаря нескольким словам, внушившим ему мысль, что я люблю искусство. В отношении ко мне он выказал любезность, которая была настолько же выше любезности Сен-Лу, насколько любезность последнего была выше приветливости маленького буржуа. В сравнении с любезностью великого художника любезность аристократа, как бы очаровательна она ни была, похожа на игру актера, на притворство. Сен-Лу хотел понравиться, Эльстир любил давать, отдаваться другим. Всё, чем он владел, — мысли, произведения и всё остальное, имевшее для него гораздо меньшую ценность, — он бы с радостью отдал тому, кто его понял. Но за отсутствием сносного для него общества он жил в уединении, проявлял нелюдимость, которую светские люди считали позой и невоспитанностью, власти — вредным направлением, соседи — сумасшествием, а его

родные — эгоизмом и гордостью.

И первое время, наверно, он даже в этом одиночестве с удовольствием думал, что благодаря своим произведениям, обращаясь на расстоянии к людям, не признавшим или обидевшим его, он внушит им более высокое представление о себе. Быть может, он жил тогда в одиночестве не из равнодушия к людям, а из любви к ним, и, подобно тому как я отказался от Жильберты, чтобы со временем вновь предстать ей в более привлекательном свете, он предназначал свои произведения известным лицам как средство, которое поможет вернуться к ним, приобрести их любовь, их восхищение, стать предметом их разговоров, хоть и не показываясь им; отречение не всегда бывает окончательным с первого же дня, когда наша прежняя душа решается на него и пока его обратное воздействие не успеет сказаться на нас, будь то отречение больного, монаха, героя или художника. Но если он хотел творить ради каких-то определенных людей, то, творя, он жил для себя самого, вдали от общества, к которому понемногу стал равнодушен, ибо, привыкнув к одиночеству, он полюбил его, как это обычно случается со всяким значительным начинанием, вначале возбуждающим наши

опасения, ибо мы знаем, что оно несовместимо с вещами менее значительными, к которым мы привязаны и которые не столько вызывают в нас сожаления, сколько теряют для нас свой смысл. Пока это новое еще не известно нам, мы всецело поглощены заботой узнать, в какой мере нам удастся примирить с ним те или иные удовольствия, которые, однако, перестают для нас быть удовольствиями, как только мы познаём его.

Эльстир недолго разговаривал с нами. Я предполагал посетить его мастерскую в ближайшие же дни, но на другой день после этой встречи мы с бабушкой, совершив прогулку в самый конец дамбы, в сторону канапвильских скал, и возвращаясь уже домой, на углу одного из переулков, выходивших перпендикулярно на пляж, повстречали девушку, которая, опустив голову, словно животное, насильно загоняемое в стойло, и держа в руке клюшки для гольфа, шла впереди властной на вид особы, вероятно, своей «англичанки» или какой-нибудь ее приятельницы, напоминавшей портрет «Джефри» Хогарта, — с таким красным лицом, как будто ее любимым напитком был не чай, а джин, и с седеющими, хотя и густыми усами, удлиненными налипшими остатками жевательного табака. Девочка, шедшая впереди нее,

напоминала ту девочку из маленькой ватаги, с неподвижным толстощеким лицом и смеющимся взглядом из-под черного «поло». На девушке, правда, тоже было черное «поло», но она показалась мне красивее той, так как линия носа была у нее более прямая, а ноздри — более широкие и плотные. Притом же прежняя явилась мне гордой и бледной девушкой, эта же была укрощенное и румяное дитя. Однако, так как она подталкивала совершенно такой же велосипед и на ней были точно такие же перчатки из оленьей кожи, я заключил, что разница, быть может, зависела от угла зрения, под которым я на нее смотрел, и от обстоятельств встречи, ибо представлялось маловероятным, чтобы в Бальбеке могла быть другая девушка, несмотря на всё так напоминавшая ее лицом и соединявшая те же особенности в своем одеянии. Она бросила по направлению ко мне быстрый взгляд; в следующие дни, когда я вновь встречал на пляже маленькую ватагу, и даже впоследствии, когда познакомился со всеми девушками, составлявшими ее, я никогда не был вполне уверен в том, что та или иная из них — даже та, которая больше всех была похожа на нее, девушка с велосипедом, — действительно совпадает с той, которую я видел в этот вечер в

конце пляжа, на углу переулка, и которая совсем не отличалась и все-таки чуть-чуть отличалась от девушки, замеченной мной в их среде, когда они шествовали вдоль берега.

С этого вечера меня стала снова занимать не та высокая, о которой я больше всего думал в предшествовавшие дни, а девушка с клюшками для гольфа, в которой я предполагал м-ль Симоне. Идя среди других, она часто останавливалась, принуждая делать остановку и своих подруг, по-видимому очень почитавших ее. Как раз такою, остановившейся, с глазами, блестящими из-под «поло», я вижу ее и теперь, — силуэт, вырисовывающийся на фоне моря и отделенный от меня прозрачной синевой пространства, временем, протекшим с тех пор, образ лица, впервые запечатлевшийся в моем воспоминании, совсем слабый, желанный, преследуемый, потом забытый, потом вновь обретенный, — лица, которое я часто потом относил в прошлое, чтобы с уверенностью сказать о девушке, находившейся в моей комнате: «Это она!»

Но, пожалуй, мне все-таки больше всего хотелось познакомиться с той, у которой были зеленые глаза и цвет лица, напоминающий герань. Впрочем, которую бы из них мне ни

хотелось увидеть в тот или иной день, другие тоже могли бы взволновать меня; мое желание, направляясь иногда к одной, иногда к другой, продолжало — как в первый день, с его неотчетливостью моего впечатления, — объединять их, образуя из них тот маленький обособленный и одушевленный общей жизнью мирок, который они, впрочем, и желали создать; подружившись с одной из них — подобно утонченному язычнику или добросовестному христианину, попадающему к варварам, — я проник бы в общество, возвращающее юность, где царят здоровье, беспечность, сладострастие, жестокость, безумие и радость.

Бабушка, которой я рассказал о моей встрече с Эльстиром, радовалась, считая, что знакомство с ним может принести мне большую пользу, и находила нелепым и нелюбезным, что я до сих пор не навестил его. Но я думал только о ватаге девушек и, не зная наверное часа, когда они появятся на дамбе, не решался уйти. Бабушку удивляла также моя элегантность, так как я вдруг вспомнил о костюмах, до сих пор остававшихся в глубине моего чемодана. Я каждый день стал надевать новый костюм и даже написал в Париж, чтобы мне прислали новые шляпы и новые

галстуки.

Жизни в морском курорте вроде Бальбека большую прелесть придает лицо какой-нибудь хорошенькой девушки, продавщицы раковин, пирожных или цветов, яркими красками запечатлевающееся в наших мыслях и уже с самого утра составляющее для нас цель каждого из этих праздных и лучистых дней, проводимых на пляже. Благодаря этому лицу дни, хотя и пустые, становятся быстрыми, как дни труда, приобретают остроту, намагничиваются, мягко поднимаются вверх, к той минуте, когда, покупая песочные пирожные, розы, аммониты, мы насладимся красками женского лица, такими чистыми, как если бы это был цветок. Но с этими продавщицами, по крайней мере, можно разговаривать, что избавляет от необходимости восполнять воображением все, чего не дает нам простое зрительное восприятие, и воссоздавать их жизнь, преувеличивая ее прелесть, как это бывает, когда мы глядим на портрет; главное же, мы с ними разговариваем и, следовательно, можем узнать, когда, в какое время их можно встретить. Но совершенно иначе обстояло дело с ватагой молоденьких девушек. Так как мне были неизвестны их привычки, то, не встречая

в иные дни этих девушек и не зная причины их отсутствия, я доискивался, нет ли в ней какого-то постоянства, не появляются ли они только через день или в определенную погоду, а по иным дням и вообще не появляются. Я уже представлял себе, как я подружусь с ними и буду говорить: «Но вас не было тогда-то?» — «Ах да, ведь это была суббота, по субботам мы не выходим, так как…» И если бы еще это было так просто — знать, что в грустную субботу не стоит беспокоиться, что можно по всем направлениям обойти пляж, насидеться перед кондитерской, делая вид, что ешь эклер, зайти к продавцу редкостей, дождаться часа купанья, концерта, прилива, заката Солнца, наступления ночи, так и не увидев желанной ватаги. Но может быть, роковой день повторялся не один раз в неделю. Может быть, он приходился не на субботу. Может быть, на него влияли известные атмосферические условия, или же, напротив, он от них вовсе не зависел. Сколько нужно терпеливых, но отнюдь не спокойных наблюдений над незакономерными с виду движениями этих неведомых миров, прежде чем удастся достигнуть уверенности, что нас не обманывает какое-нибудь совпадение, что наши предположения оправдываются, — прежде чем

путем мучительных опытов нам удастся установить точные законы этой астрономии чувств. Припоминая, что я не видел их в такой-то день неделю тому назад, я говорил себе, что сегодня они не придут, что бесполезно ждать на пляже. И как раз в это время они появлялись. Зато в день, по моим расчетам благоприятный, насколько можно было полагаться на законы, определявшие возврат этих созвездий, они не приходили. Но к этой первой неуверенности: увижу я их или не увижу в данный день — присоединялось другое, более серьезное сомнение: увижу ли я их вообще, ибо, в сущности, я ведь не знал, не собираются ли они уехать в Америку или вернуться в Париж. Этого было достаточно, чтобы я начал их любить. Можно чувствовать склонность к той или иной женщине; но чтобы всецело поддаться той тоске, тому чувству непоправимости, тем тревогам, которые подготовляют любовь, необходимо наличие риска потерпеть неудачу — и, может быть, именно этот риск, в большей степени, чем сама эта женщина, и является объектом, овладеть которым с таким мучительным беспокойством стремится наша страсть. Так сказывались эти влияния, которые повторяются в последовательных любовных увлечениях и

которые могут возникнуть, правда, скорее уж в условиях жизни больших городов, если мы любим какую-нибудь работницу, свободный день которой нам не известен, так что, не видя ее при выходе из мастерской, мы пугаемся, — влияния, которые по крайней мере не раз возобновлялись в моих собственных увлечениях. Быть может, они неотделимы от любви; быть может, всё то, что составляло особенность нашей первой любви, присоединяется и к последующим увлечениям, под давлением памяти, самовнушения, привычки, и, проходя через разные периоды нашей жизни, придает разным аспектам любви один общий характер.

Я хватался за всякий повод, чтобы пойти на пляж в те часы, когда надеялся их там встретить. Заметив их однажды во время завтрака, я к завтраку стал опаздывать, так как без конца ждал на дамбе, не пройдут ли они; то короткое время, что я проводил в столовой, вопрошал глазами синеву стекла; вставал из-за стола задолго до десерта, чтобы не пропустить их в случае, если на прогулку они выйдут в необычный час, и сердился на бабушку, которая была бессознательно жестокосердой, задерживая меня дольше часа, казавшегося мне благоприятным. Я старался

расширить поле зрения, ставя мой стул боком; если случайно я замечал какую-нибудь из этих девушек, то, поскольку все они были причастны особой сущности, передо мной как будто вставал в зыбкой, дьявольской галлюцинации обрывок враждебной и все-таки вожделенной мечты, за минуту перед тем существовавшей только в моем мозгу, в котором она, впрочем, утвердилась крепко, владея им неотступно.

Я не любил ни одной из них, любя их всех, и все-таки возможность встречи с ними вносила в мои дни единственное очарование, рождая во мне те надежды, когда готов бываешь сломить всякое препятствие, надежды, часто сменявшиеся бешенством, если мне не приходилось их увидеть. В эту минуту девушки затмевали для меня бабушку; путешествие сразу же соблазнило бы меня, если бы надо было бежать в такое место, где мне предстояло их встретить. За них с таким отрадным чувством неизменно цеплялась моя мысль, когда мне казалось, что я думаю о чем-нибудь другом или ни о чем не думаю. Но когда, даже сам того не сознавая, я думал о них, они, еще более бессознательно, отождествлялись для меня с холмистой синевой волн, превращались в цепь силуэтов на фоне моря. Я именно надеялся,

что увижу море, если поеду в какой-нибудь город, где окажутся они. Самая беззаветная любовь к женщине есть всегда любовь к чему-то другому.

Так как теперь я стал чрезвычайно интересоваться гольфом и теннисом и упускал случай посмотреть на работы и послушать суждения художника, который был известен бабушке как один из самых крупных талантов, то она стала высказывать мне презрение, вытекавшее, по-моему, из некоторой узости взглядов. Я уже раньше, на Елисейских полях, смутно понял, а впоследствии отдал себе более полный отчет в том, что, когда мы влюблены в женщину, мы только проецируем в нее наше собственное душевное состояние; что, следовательно, самое важное — не ценность женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, внушаемые нам какой-нибудь заурядной девушкой, способны разбудить в сознании более сокровенные, более личные, более далекие, более содержательные части нашего существа, чем те, которые может оживить наслаждение от беседы с выдающимся человеком или даже восторженное созерцание его произведений.

В конце концов мне пришлось послушаться бабушки — с тем большей досадой, что Эльстир жил далеко от дамбы, на одной из самых новых

улиц Бальбека. Полуденная жара заставила меня сесть в трамвай, проходивший по Пляжной улице, и я, лишь бы вообразить себе, будто нахожусь в древнем царстве киммерийцев, быть может, на родине короля Марка или на том месте, где был лес Броселианд, старался не глядеть на дешевую роскошь строений, которые развертывались передо мною и среди которых вилла Эльстира отличалась, пожалуй, самым безобразным великолепием, — что не мешало ему нанимать эту виллу, так как в Бальбеке она была единственная, где он мог найти обширное помещение для мастерской.

По этой же причине я старался не глядеть по сторонам, когда проходил через садик, в котором были: лужайка (как у какого-нибудь обывателя в одном из парижских пригородов, но в уменьшенном виде, — статуэтка «влюбленного садовника»), стеклянные шары, отражавшие прохожих, бордюры из бегоний и маленькая беседка, где перед железным столом выстраивались кресла-качалки. Миновав этот садик, носивший отпечаток городского безобразия, я уже не обратил внимания на шоколадную резьбу панелей, когда оказался в мастерской; тут я почувствовал себя вполне счастливым, ибо, видя все эти этюды,

окружавшие меня, я чувствовал, что смогу подняться до полного поэзии и радости понимания разнообразных форм, которые я до сих пор не отделял от общей картины действительности. И мастерская Эльстира явилась для меня чем-то вроде лаборатории нового мироздания, где из хаоса, каким является все видимое нами, он выхватил, изобразив их на прямоугольных кусках холста, расставленных по всем направлениям: тут — морскую волну, гневно разбивающую о песок свою лиловую пену, там — молодого человека в белом парусиновом костюме, облокотившегося на борт корабля. Куртка молодого человека и брызги волны исполнились нового достоинства, ибо продолжали свое существование, хотя и лишились того, из чего они как будто состояли: волна — утратив способность что бы то ни было намочить, а куртка — перестав служить кому бы то ни было одеждой.

В тот момент, когда я вошел, творец, с помощью кисти, которую он держал в руке, придавал окончательную форму заходящему Солнцу.

Шторы были спущены почти на всех окнах, в мастерской было прохладно и, за исключением одного места, где яркий свет ложился на стену ослепительным и мимолетным украшением,

темно; открыто было только одно прямоугольное окошко, обрамленное жимолостью и глядевшее через сад на улицу, так что воздух в большей части мастерской был сумрачен, прозрачен и плотен, но в ломаных плоскостях, в которые его вправлял свет, влажен и блестящ, как глыба горного хрусталя, одна поверхность которой уже обтесана и выровнена и тут и там сверкает и переливается, подобно радуге. В то время как Эльстир, по моей просьбе, продолжал работать, я расхаживал в этом полумраке, останавливаясь то перед одной картиной, то перед другой.

Большая часть окружавших меня картин была не из тех его произведений, которые позднее вызывали мое восхищение: это не были картины, относившиеся к первой и второй его манере, если пользоваться выражениями английского художественного журнала, валявшегося на столе в гостиной Гранд-отеля, — манере мифологической или той, где отразилось японское влияние, как говорили, прекрасно представленной в собрании герцогини Германтской. Разумеется, вещи, находившиеся в его мастерской, были почти исключительно марины, писанные здесь, в Бальбеке. Но тут мне удалось понять, что очарование каждой из них заключается в некоей метаморфо-

зе изображенных вещей, метаморфозе, подобной той, которая в поэзии называется *метафорой,* и что если Бог-Отец, создавая вещи, давал им имена, то Эльстир создавал их вновь, лишая их этих имен или давая совершенно другие. Имена, обозначающие вещи, всегда соответствуют логическому понятию, которое чуждо нашим действительным впечатлениям и принуждает нас устранять из них все то, что не относится к этому понятию.

Порой у моего окна в бальбекской гостинице, утром, когда Франсуаза раздвигала занавески, скрывавшие свет, или вечером, когда я ждал Сен-Лу, с которым мы должны были ехать в ресторан, мне случалось благодаря световому эффекту принимать более темный кусок моря за отдаленный берег или радостно созерцать синюю и текучую полосу, не зная, принадлежит ли она морю или небу. Очень скоро мой рассудок восстанавливал ту грань между стихиями, которую разрушало мое восприятие. Так же и в Париже, в моей комнате, мне приходилось иногда слышать спорящие голоса, почти что шум мятежа, пока не удавалось определить источник, которым, например, являлся приближающийся экипаж, вызывавший этот шум, из которого я устранял тогда пронзительные

и нестройные вопли, в самом деле воспринятые моим слухом, но не объяснимые, как это было известно моему рассудку, движением колес. Но те редкие мгновения, когда мы видим природу такою, как она есть, поэтически, — они-то и составляли содержание творчества Эльстира. Одна из метафор, наиболее часто встречающихся в маринах, которые окружали его теперь, как раз и сводилась к тому, что, сравнивая землю с морем, он стирал всякую грань между ними. Именно это уподобление, безмолвно и неутомимо повторяемое на одном и том же холсте, вносило в него многообразие и мощное единство, которое было причиной — не всегда отчетливо сознаваемой — того восторга, что возбуждала в иных его поклонниках живопись Эльстира.

К такой, например, метафоре — на картине, изображавшей гавань в Каркетюи, картине, которую он закончил всего несколько дней тому назад и на которую я долго глядел, — Эльстир подготовил ум зрителя, придав изображению этого городка черты моря, а изображению моря — черты города. Оттого ли, что дома закрывали собою часть гавани, док или, может быть, даже самое море, заливом врезывающееся в сушу, как во многих местах в окрестностях Бальбека, — но по

ту сторону мыса, где был построен город, вырастали мачты, подымавшиеся над крышами (точно трубы или колокольни) и как будто придававшие кораблям, к которым они относились, что-то юродское, уподоблявшие их зданиям, стоящим на суше, — впечатление, еще усиливавшееся благодаря другим судам, которые выстроились вдоль мола, так плотно прижавшись друг к другу, что находившиеся на них люди переговаривались между собою, как если бы эти суда не отделялись расстоянием, заполненным водой, и эта рыбачья флотилия как будто в гораздо меньшей степени принадлежала морю, чем, например, церкви Крикбека, которые вдали, будучи со всех сторон окружены водою, ибо самого города не было видно, словно вырастали из моря, обрызганные солнцем и волнами, белеющие, как пена или алебастр, и, опоясанные многоцветной радугой, являли картину нереальную и мистическую. На первом плане, где изображен был пляж, художник приучил глаз не искать точной грани, определенной черты между сушей и океаном. Люди, сталкивающие лодки в море, бежали и по воде и по влажному морскому песку, в котором корпуса лодок отражались, как будто это уже была вода. Самое море подымалось не равномерно,

а в соответствии с неровностями берега, вдобавок еще искромсанного перспективой, так что корабль в открытом море, наполовину скрытый передовыми укреплениями арсенала, плыл как будто посреди города; женщины, собиравшие креветок среди скал и окруженные со всех сторон водой, хоть и стоявшие на пляже, где кончались заградившие его кольцом утесы и где берег с обеих сторон опускался до уровня моря, как будто пребывали в морской пещере, над которой нависали лодки и волны и которая каким-то чудом была защищена от расступившейся перед ней воды. Если картина в целом давала впечатление гавани, где море вторгается в сушу, где суша уже хранит отпечаток моря и население является земноводным, то сила морской стихии сказывалась везде; и вблизи скал, где начинался мол, где на море было волнение, чувствовалось по усилиям матросов и по наклону судов, лежащих под острым углом к спокойной вертикали пакгауза, церкви, городских домов, куда одни входили и откуда другие выходили, направляясь на рыбную ловлю, — что нелегко им обуздывать эту воду, это порывистое и быстроногое животное, скачки которого, если бы не их ловкость, сбросили бы их на сушу. Какая-то компания весело отправ-

лялась на прогулку в лодке, в которой трясло, словно в одноколке; веселый и внимательный матрос правил ею — как будто, держа вожжи, понукал строптивый парус; каждый крепко сидел на своем месте, чтобы не наваливаться на одну сторону и не опрокинуться, и лодка мчалась по залитым солнцем полям, по тенистым рощам, кубарем скатываясь с холмов. Утро было прекрасное, несмотря на грозу, которая только что миновала. И даже еще чувствовались те бурные порывы, которые усмиряло прекрасное равновесие неподвижных лодок, наслаждавшихся солнцем и свежестью в тех частях моря, где оно расстилалось так спокойно, что отражения едва ли не были чем-то более прочным и реальным, нежели суда, растворявшиеся в воздухе благодаря действию солнца и в перспективе налегавшие друг на друга. Вернее, о других частях моря нельзя было и говорить. Ибо сходство между этими частями было не больше, чем между той или иной из них и церковью, выраставшей из воды, и судами, видневшимися за городом. Лишь спустя некоторое время рассудок превращал в одну стихию то, что здесь чернело грозовым эффектом, немного дальше было одного цвета с небом и так же глянцевито, как оно, а там белело так

ярко, пропитанное солнцем, туманом и пеной, было так плотно, так похоже на землю, так тесно окружено домами, что напоминало вымощенную дорогу или покрытое снегом поле, на которое, к нашему испугу, круто подымался корабль без парусов, точно повозка, выезжающая из брода, но в котором мы через какую-нибудь минуту, заметив другие суда, покачивающиеся на всем протяжении высокого, неровного и массивного плоскогорья, снова узнавали море, тождественное во всех этих разнообразных аспектах.

Хотя справедливо считают, что прогресса и открытий искусство не знает, что знает их только наука и что, поскольку всякий художник заново начинает свое дело, то усилию отдельной личности не помогут и не повредят усилия другого человека, все же надо признать, что в той мере, в какой искусство открывает известные законы, искусство более старое задним числом утрачивает долю своей оригинальности, когда какая-нибудь отрасль промышленности делает их общим достоянием. Со времени дебютов Эльстира мы познакомились с так называемыми «эффектными» снимками пейзажей и городов. Если мы постараемся точнее определить то, что любители в данном случае обозначают этим эпитетом,

то увидим, что большей частью он относится к какому-нибудь необычному изображению знакомой вещи, изображению, отличающемуся от тех, которые мы привыкли видеть, необычному и все же правдивому и поэтому вдвойне захватывающему нас, так как оно нас удивляет, выводит за пределы привычного и вместе с тем заставляет нас уйти в себя, воскрешая в нас какое-нибудь впечатление. Так, например, одна из этих «эффектных» фотографий будет служить иллюстрацией закона перспективы, покажет нам собор, который мы привыкли видеть среди города, снятым с такого места, откуда он кажется в тридцать раз выше, чем дома, превращаясь в утес на берегу реки, хотя в действительности он находится довольно далеко от нее. И вот попытки Эльстира изображать вещи не такими, какими они являются с точки зрения нашего знания, но в согласии с теми оптическими иллюзиями, из которых складывается наше первоначальное зрительное восприятие, привели его к открытию некоторых законов перспективы, еще более поразительных в то время, ибо искусство первое их обнаружило. Река, круто меняющая направление, бухта, окруженная скалами, которые в одном месте как будто смыкаются, казались озером

среди равнины или гор, наглухо закрытым со всех сторон. На картине, изображавшей Бальбек в знойный летний день, залив, врезавшийся в берег, был точно заключен в стены из розового гранита, он не был морем, которое начиналось дальше. О том, что все это — единый океан, напоминали только чайки, кружившие как будто над глыбами камня, на самом же деле дышавшие водной влагой. И другие законы открывались на том же холсте — в прелести белых парусов-лилипутов, скользивших у подножия исполинских прибрежных утесов по зеркальной синеве, на фоне которой они были словно уснувшие бабочки, а также в некоторых контрастах между глубокой тенью и бледным светом. Эта игра теней, тоже опошленная фотографией, настолько занимала Эльстира, что в прежние годы он любил изображать настоящие миражи, в которых замок, увенчанный башней, казался каким-то совершенно круглым строением, у которого было по башне и сверху и снизу — потому, что необыкновенная чистота ясного дня придавала тени, отражавшейся в воде, жесткость и блеск камня, или потому, что утренний туман делал из камней нечто столь же воздушное, как тень. Также и над морем, за полоской леса, начиналось

другое море, розовевшее в лучах заката, — небо. Свет, словно изобретая новые тела, выдвигал перед корпусом судна, на которое падали его лучи, корпус другого судна, остававшегося в тени, и уподоблял ступеням хрустальной лестницы поверхность моря, в действительности гладкую, но изломанную игрою утреннего освещения. Река, протекающая по городу и перерезанная несколькими мостами, была взята с такой точки зрения, что оказывалась разорванной на части, здесь распластываясь озером, там вытягиваясь в тонкую струйку, а там прерываясь лесистым холмом, куда горожанин ходит дышать вечерней прохладой, и самый ритм этого взбудораженного города сохранялся лишь благодаря непреклонным вертикалям колоколен, которые, казалось, не возносились к небу, а скорее уж отбивали такт своей тяжестью, словно в триумфальном марше, и оставляли в нерешительности всю эту смутную массу домов, громоздящихся внизу, вдоль раздавленной и разорванной реки. И (так как первые произведения Эльстира относились к тому времени, когда пейзаж было принято украшать присутствием человека) дорога — эта наполовину человеческая деталь природы, — извивавшаяся среди прибрежных скал или в горах,

местами исчезала из поля зрения, как и река или океан, в силу закона перспективы. И каково бы ни было препятствие, скрывавшее от нас, но не от путника, непрерывность дороги, — ребро горы, мгла водопада или море — эта маленькая человеческая фигурка в старомодной одежде, затерянная в глуши, казалось, часто должна была останавливаться перед пропастью, к которой приводила ее тропинка, между тем как выше, на расстоянии метров в триста, в еловом лесу, умиляя наш взгляд и успокаивая наше сердце, снова показывалась узкая белая полоска песка, гостеприимно ожидающая шаги путника, промежуточные извивы которой, пока она огибала водопад или залив, скрывались от нас, исчезая за склоном горы.

Усилия, которые делал Эльстир, чтобы перед лицом действительности освободиться от всех своих рассудочных понятий, тем более заслуживали удивления, что этот человек, сознательно становившийся невеждой, когда собирался писать картину, из честности забывавший всё — ибо то, что мы знаем, не принадлежит нам, — как раз обладал исключительной умственной культурой. Когда я признался ему в своем разочаровании при виде бальбекской церкви, он сказал мне: «Как,

вас разочаровал этот портал? Но ведь это же лучшее иллюстрированное издание Библии, какое когда-либо приходилось читать народу. Эта Богоматерь и все эти барельефы, рассказывающие ее жизнь, — это самое нежное, самое вдохновенное выражение той поэмы поклонения и славословия, которую Средние века так долго слагали в честь Мадонны. Если б вы знали, с какой кропотливой точностью передан текст Священного Писания и вместе с тем какую тонкость, какую изобретательность проявил здесь старик-ваятель, сколько глубоких мыслей, сколько поэзии он сюда внес! Замысел этого большого покрывала, в котором ангелы несут тело Богоматери, слишком священное, чтоб они осмелились прямо прикоснуться к нему (я заметил, что этот же сюжет разработан и в церкви Сент-Андре-де-Шан; он видел фотографии ее портала, но указал мне на то, что рвение всех этих маленьких крестьян, которые все зараз окружают Богородицу, совсем не похоже на величавую строгость двух высоких ангелов, почти итальянских, таких стройных, таких нежных); ангел, уносящий душу Богородицы, чтобы воссоединить ее с телом; жест Елизаветы при встрече ее с Богоматерью, когда она притрагивается к груди Марии и дивится, почувствовав,

что она вздулась; и обвязанная рука повивальной бабки, которая, не прикоснувшись, не желала верить в непорочное зачатие; и пояс, который Дева бросает святому Фоме в доказательство воскресения; и еще это покрывало, которое Богоматерь срывает со своей груди, чтобы прикрыть им наготу своего сына, по одну сторону которого церковь собирает его кровь, влагу эвхаристии, а по другую — с завязанными глазами стоит синагога, чье царство кончилось, держит надломанный скипетр и вместе с венцом, падающим с ее главы, роняет и скрижали Ветхого Завета; и муж, в час Страшного Суда помогающий своей молодой жене выйти из могилы и прижимающий ее руку к своему сердцу, чтобы успокоить ее и доказать ей, что оно в самом деле бьется, — разве это не великолепно как замысел, разве это не находка? А этот ангел, уносящий Солнце и Луну, бесполезные теперь, ибо сказано, что свет Креста будет в семь раз более ярок, чем свет небесных светил; и ангел, который опускает руку в купель Иисуса, чтобы убедиться, достаточно ли теплая в ней вода; и ангел, вылетающий из облаков, чтобы возложить венец на голову Богоматери, и все эти ангелы, что, склонившись с высоты небес, из-за ограды небесного Иерусалима, в испуге и радо-

сти воздымают руки при виде мучения злых и блаженства избранных! Ибо здесь перед вами все круги Неба, целая гигантская богословская и символическая поэма. Это безумно, это божественно, это в тысячу раз выше всего того, что вы увидите в Италии, где, впрочем, этот фронтон был в буквальном смысле скопирован ваятелями, гораздо менее одаренными. Не было таких эпох, когда все были одаренными, все это вздор, это было бы куда замечательней, чем золотой век. Субъект, украсивший скульптурой этот фасад, поверьте, отличался такими же способностями, такими же глубокими мыслями, как и те из наших современников, которыми вы всего более восхищаетесь. Я бы показал вам это, если б мы как-нибудь вместе собрались туда. Некоторые слова из службы на Успение там переданы с такой тонкостью, какой не достиг бы и Редон».

Всё же, когда моим жадным глазам открылся фасад бальбекской церкви, они остались слепы к этому грандиозному небесному видению, о котором он мне говорил, к этой гигантской богословской поэме, которая, как я это сознавал, была начертана там. Я завел с ним речь об этих статуях святых, возвышающихся на постаментах и образующих своего рода аллею.

«Эта аллея идет из глубины веков и ведет к Иисусу Христу, — сказал он мне. — С одной стороны, тут его предки по духу, с другой — цари Иудеи, предки его по плоти. Все века собраны здесь. И если бы вы внимательнее вгляделись в то, что считаете постаментами, вы могли бы назвать имена тех, которые на них взобрались. Ведь у ног Моисея вы узнали бы золотого тельца, у ног Авраама — агнца, у ног Иосифа — беса, нашептывающего советы жене Потифара».

Я сказал ему также, что ожидал найти здание почти персидское по стилю и что, наверно, тут и лежит причина моего разочарования. «Да нет же, — ответил он мне, — в этом большая доля истины. Некоторые части — совершенно восточные; одна из капителей с такой точностью воспроизводит персидский сюжет, что одной живучестью восточных традиций этого нельзя объяснить. Должно быть, скульптор скопировал его с какого-нибудь ларца, привезенного мореплавателями». И действительно, впоследствии ему случилось показать мне снимок с капители, на которой я увидел чуть ли не китайских драконов, пожиравших друг друга, но в Бальбеке эта маленькая скульптурная деталь осталась не замеченной мною в общей системе всего памят-

ника, не похожего на то, что открылось мне в словах: «Церковь почти персидская».

Умственные радости, которые я вкушал в этой мастерской, нисколько не мешали мне чувствовать, хотя все это как будто и не было связано с ними, теплоту и легкость красок, искрящуюся полутень, царящую в комнате, а вдали, в глубине маленького обрамленного жимолостью окна, в которое виднелась улица — совсем деревенская, — твердость и сухость выжженной солнцем земли, замаскированную лишь прозрачностью отдаления и тенью деревьев. Быть может, то бессознательное чувство довольства, которое вызывал во мне этот летний день, усиливало радость, вызванную во мне созерцанием «Гавани Каркетюи», вливалось в нее.

Я думал, что Эльстир скромного мнения о себе, но я понял, что ошибся, увидев, как лицо его покрывалось тенью печали, когда в одной из фраз, выражавших мою благодарность, я употребил слово «слава». Обычно те, кто считает свои произведения долговечными — а к их числу принадлежал Эльстир, — мысленно ищут их глазами в дали таких времен, когда сами они уже превратятся в прах. И, заставляя вспоминать о небытии, мысль о славе печалит их, ибо она

неразлучна с мыслью о смерти. Я переменил тему разговора, чтобы рассеять это облако честолюбивой меланхолии, помимо моей воли омрачившей чело Эльстира. «Мне советовали, — сказал я ему, вспоминая разговор, который был у нас в Комбре с Легранденом и относительно которого мне хотелось узнать его мнение, — не ездить в Бретань, потому что это может быть вредно для человека, и так уже склонного к мечтательности». — «Да нет, — ответил он мне, — когда человек и так уже склонен к мечтательности, не нужно держать его в стороне, дозировать его мечты. Если вы будете отвлекать ваш ум от этих его снов, он не будет знать их, вы будете игралищем тысячи иллюзий, потому что вам непонятна будет их сущность. Если в малом количестве мечты опасны, то излечивает от них не уменьшение, а увеличение дозы, полнота мечты. Надо целиком знать свои мечты, чтобы не страдать от них; есть известные формы разграничения мечты и жизни, к которым иногда так полезно бывает прибегнуть, что я задаю себе вопрос, не следует ли воспользоваться ими как предохранительным средством, подобно тому, как некоторые хирурги считают, что во избежание будущего аппендицита всем детям следовало бы вырезать отросток слепой

кишки». Мы с Эльстиром прошли в глубь мастерской к окну, откуда был виден узкий переулок, примыкавший к саду и представлявший собой что-то вроде проселка. Мы перешли к окну, чтоб подышать воздухом, который к вечеру стал прохладнее. Я полагал, что нахожусь очень далеко от моих девушек, и если в конце концов я и послушался бабушки и решил навестить Эльстира, то я на один раз пожертвовал надеждой встретиться с ними. Ибо нам не известно, где находится то, чего мы ищем, и часто мы подолгу избегаем приходить в какое-нибудь место, куда, по другим причинам, все нас зовут. Но мы не подозреваем, что там мы как раз увидели бы человека, о котором мы думаем. Я рассеянно глядел на эту деревенскую тропу, которая, находясь вне мастерской, проходила совсем рядом, но не принадлежала Эльстиру. Вдруг на ней показалась, идя быстрым шагом, юная толстощекая велосипедистка из маленькой ватаги, в «поло», закрывавшем ее черные волосы, с веселыми и несколько настойчивыми глазами; и я увидел, как она, в тени деревьев проходя по этой блаженной дорожке, засиявшей словно по волшебству всей полнотой нежных обещаний, поздоровалась с Эльстиром улыбкой — радугой, соединившей для меня наш земноводный мир

с теми сферами, которые я до сих пор считал недосягаемыми. Она даже подошла поближе, чтобы, не останавливаясь, пожать руку художника, и я увидел, что на подбородке у ней родимое пятнышко. «Вы знакомы с этой девушкой?» — спросил я Эльстира, сообразив, что он сможет представить меня ей, пригласить ее к себе. И в этой тихой мастерской, в сельских видах, открывшихся из нее, я почувствовал еще большее очарование, точно ребенок, которому и так уже нравилось бывать в каком-нибудь доме, где, как он узнаёт, в силу особой щедрости, свойственной разным хорошим вещам и благородным людям, чьи благодеяния безграничны, для него готовится еще и роскошное угощение. Эльстир сказал мне, что ее зовут Альбертина Симоне, и назвал мне имена также и остальных ее подруг, которых я описал настолько точно, что у него не возникло никаких сомнений. Насчет их общественного положения я ошибся, но иначе, чем это обычно случалось со мной в Бальбеке. Я легко принимал за князей сыновей каких-нибудь лавочников, если они катались верхом. На этот раз я отнес к какой-то подозрительной среде дочерей весьма богатых буржуа — промышленников и дельцов. Как раз эта среда меньше всего меня интере-

совала, так как в ней не было ни загадочности простого народа, ни таинственности круга Германтов. И если бы не связанное с ними обаяние, которое они уже не смогли бы утратить в моих глазах, ослепленных сверкающей пустотой пляжа, мне, пожалуй, не удалось бы побороть в себе мысль, что это дочери богатых купцов. Мне оставалось лишь изумляться, какой чудесной мастерской самой смелой и самой разнообразной скульптуры является французская буржуазия. Какая неожиданность типов, какая изобретательность в характере лиц, какая отчетливость, какая свежесть, какая наивность в чертах! Старые, скупые буржуа, от которых произошли эти нимфы и Дианы, казались мне величайшими из ваятелей. Еще не успел я отдать себе отчет в общественной метаморфозе, происшедшей с этими девушками — настолько быстры эти перемены в наших представлениях о человеке, эти поправки, устраняющие ошибку и похожие на мгновенные химические реакции, — как уже с мальчишески-дерзкими лицами девушек, которых я принял за любовниц каких-то гонщиков-велосипедистов или чемпионов бокса, сочеталась мысль о том, что они вполне могут быть знакомы с семьей того или иного нотариуса, нашего знакомого. Я

совершенно не знал, что представляет собой Альбертина Симоне. Разумеется, ей было не известно, чем впоследствии она должна была стать для меня. И даже эту фамилию *Симоне*, которую я уже слышал на пляже, если бы меня попросили ее написать, я написал бы через два «н», не подозревая, какую важность это семейство придает тому обстоятельству, что она пишется через одно «н». На более низких ступенях общественной лестницы снобизм цепляется за разные пустяки, быть может, не более бессмысленные, чем те, за которые держится аристократия, но более удивительные, так как они менее ярки, более индивидуальны. Быть может, какие-то Симоне были неудачливы в делах или отличились чем-то еще худшим. Во всяком случае, эти Симоне всегда будто бы сердились, когда кто-нибудь удваивал «н» в их фамилии, как если бы это была клевета. Видимо, считая себя единственными Симоне с одним «н», они так гордились этим, как Монморанси тем, что они — первые бароны Франции. Я спросил Эльстира, не в Бальбеке ли живут эти девушки; относительно некоторых из них он ответил утвердительно. Вилла одной из них находилась как раз в конце пляжа, там, где начинались утесы Канапвиля. Так как эта девушка была большой

приятельницей Альбертины Симоне, то для меня это явилось лишним основанием считать, что именно Альбертину я и встретил, возвращаясь с бабушкой домой. Правда, этих маленьких улиц, перпендикулярных к линии пляжа и образующих совершенно одинаковые углы, было столько, что я не мог бы точно определить, который из них это был. Хочется, чтоб воспоминание было точно, но в самую важную минуту зрение изменяет нам. Всё же, рассуждая практически, можно было быть уверенным в том, что Альбертина и эта молодая девушка, направлявшаяся к своей подруге, были одно и то же лицо. Несмотря на это, если бесчисленные образы, которые впоследствии принимала в моих глазах темноволосая любительница гольфа, накладываются один на другой, как бы не похожи ни были они друг на друга (ибо я знаю, что все они связаны с ней), и если, прослеживая нить своих воспоминаний и возвращаясь назад, под покровом этого тождества на некоем внутреннем пути я могу восстановить все эти образы, не нарушая единства личности, то, наоборот, когда мне хочется воссоздать весь путь, ведущий к девушке, которую мы встретили, направляясь с бабушкой домой, я выхожу за пределы одного существа. Я бываю уверен, что

мне удастся найти Альбертину, ту самую, которая часто, окруженная подругами, останавливалась во время прогулки, выделяясь над чертой горизонта; но все эти образы остаются оторванными от образа той девушки, потому что я задним числом не могу установить их тождества, которого я не чувствовал в тот момент, когда она бросилась мне в глаза; в чем бы ни уверял меня подсчет вероятностей, эту круглощекую девушку, которая так смело взглянула на меня, выходя из переулка на пляж, и которая, как мне казалось, могла бы меня полюбить, я больше никогда не видел, в тесном смысле слова «видеть».

Быть может, мои колебания между разными девушками, составлявшими маленькую ватагу и хранившими — каждая — частицу коллективного обаяния, которое вначале взволновало меня, явились одной из причин того, что впоследствии, даже в пору моей самой сильной любви — моей второй любви — к Альбертине, мне все же дана была — правда, на очень краткие сроки — свобода не любить ее. Оттого, что моя любовь, прежде чем окончательно остановиться на Альбертине, еще блуждала между всеми ее подругами, между ней и образом Альбертины сохранилось нечто вроде «игры», позволявшей

ей, как неудачно налаженному освещению, направляться на других, прежде чем направиться на нее; связь, существовавшая между болью в моем сердце и воспоминанием об Альбертине, не казалась мне чем-то неизбежным, я бы мог, пожалуй, сочетать ее с образом другой женщины. Эти минутные проблески и позволяли мне рассеивать представление о действительности, действительности не только внешней, как во времена моей любви к Жильберте (которую я признал состоянием внутренним, ибо я из себя же самого извлекал все своеобразие, все характерные особенности любимого существа, все то, что делало его необходимым для моего счастья), но даже действительности внутренней и чисто субъективной.

— Каждый день кто-нибудь из них проходит мимо мастерской и заглядывает ко мне на минутку, — сказал мне Эльстир, приводя меня в отчаянье, вызванное мыслью о том, что, если бы я послушался бабушку и отправился к нему сразу, я, вероятно, уже давно познакомился бы с Альбертиной.

Она удалилась, из мастерской ее уже не было видно. Я подумал, что она пошла к подругам, гуляющим вдоль дамбы. Если бы я мог оказаться

там вместе с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я изобретал тысячи предлогов, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. У меня уже не было такого спокойствия, как раньше, до появления девушки в рамке обвитого жимолостью окошка, такого очаровательного до сих пор, а теперь такого пустого. Эльстир вызвал во мне радость, смешанную с мучениями, сказав мне, что немного пройдется со мною, но что прежде ему надо закончить часть картины, которой он занят сейчас. Это были цветы, но не из числа тех, портрет которых я заказал бы ему охотнее, чем портрет человека, чтобы в откровении его дара узнать то, к чему я тщетно стремился, глядя на них, — не боярышник, не розовый терновник, не васильки, не цвет яблони. Эльстир, занятый работою, говорил о ботанике, но я совершенно не слушал его; он уже утратил свое самодовлеющее значение, он являлся теперь лишь необходимым посредником между этими девушками и мной; обаяние, которое еще несколько минут тому назад придавал ему в моих глазах его талант, было ценно для меня лишь постольку, поскольку оно в слабой мере могло передаться и мне в глазах маленькой ватаги, которой он вскоре представит меня.

Я расхаживал взад и вперед, с нетерпением ожидая, когда он кончит свою работу; я брал в руки и разглядывал этюды, многие из которых были повернуты к стене и навалены друг на друга. Так обнаружил я одну акварель, относившуюся, очевидно, к более давней поре жизни Эльстира и вызвавшую во мне то особенное восхищение, которое мы испытываем, глядя на произведения не только прекрасно исполненные, но и по сюжету столь своеобразные и пленительные, что им в какой-то мере и объясняется их очарование, как будто художнику оставалось лишь открыть его, подметить его в природе, где оно нашло уже свое материальное осуществление, и воспроизвести. Мысль о том, что могут существовать подобные предметы, прекрасные даже независимо от трактовки художника, дает удовлетворение нашему врожденному материализму, опровергаемому разумом, и служит противовесом абстракциям эстетики. Эта акварель представляла портрет молодой женщины, некрасивой, но своеобразной по типу, в головном уборе, весьма похожем на котелок и обшитом шелковой лентой вишневого цвета; в одной руке, обтянутой митенкой, у нее была зажженная сигарета, другою же она на уровне колена держала простую соломенную

шляпу, которая помогает защититься от солнца. Рядом с ней, на столе, стояла вазочка с гвоздиками. Часто, и в данном случае это было именно так, своеобразие этих произведений зависит главным образом от того, что они были выполнены в особых условиях, в которых мы сперва не отдаем себе ясного отчета, как, например, в том случае, если странный женский туалет является маскарадным костюмом или, наоборот, если красная мантия, в которой изображен старик, надевший ее как будто по прихоти художника, служит его профессорской, или судейской, или кардинальской мантией. Неопределенность облика этой женщины, портрет которой был у меня перед глазами, зависела, хоть я этого и не понимал, от того, что это была молодая актриса прежних времен, переодетая в полумужской костюм. Но ее котелок, из-под которого выбивались пышные, но короткие волосы, бархатный пиджак без отворотов, под которым видна была белая манишка, оставили меня в нерешительности насчет времени этой моды и пола изображенной модели, так что в точности я не знал, что находится у меня перед глазами, если не считать, что это был несомненно кусок живописи. И наслаждение, доставляемое им, омрачалось

только боязнью, как бы из-за Эльстира, если он еще задержится, я не пропустил девушек, ибо Солнце бросало уже косые лучи и низко стояло за маленьким окошком. Ничто в этой акварели не было простым констатированием факта и не было изображено в силу своей утилитарной роли, состоящей в том, что костюм, например, должен служить одеждой, а вазочка — вмещать цветы. Стекло вазочки, само по себе ценное для художника, было как будто таким же прозрачным и почти таким же жидким, как вода, в которую погружены были стебли гвоздик; одежда женщины, охватывая ее, полна была самостоятельной и родственной ей прелести, как будто произведения промышленности могут соперничать с чудесами природы, могут быть так же нежны, так же сладостны для взгляда, касающегося их, могут быть нарисованы с такой же свежестью, как мех кошки, лепестки гвоздики, перья голубя. Белизна манишки, яркая, как выпавший град, покрытая причудливыми складками, сочетания которых напоминали колокольчики ландыша, озарялась светлыми отблесками комнаты, острыми, как сами они, и тонко оттененными, словно букеты цветов, вытканные на полотне. И бархат пиджака, блестящий как перламутр, местами казался

ощетиненным, растрепанным и мохнатым, что напоминало взъерошенные гвоздики, стоявшие в вазе. Но, главное, чувствовалось, что, не заботясь о том, насколько морален этот мужской костюм, надетый молодой актрисой, для которой талант, с каким ей предстояло исполнить свою роль, имел, наверно, гораздо меньшее значение, чем возбуждающая прелесть ее облика, который она покажет пресыщенным и развращенным взорам зрителей, — Эльстир увлекся этой двойственностью, как элементом эстетическим, который стоило выделить и который он подчеркнул всеми возможными средствами. Черты лица как будто были готовы признаться в том, что они принадлежат девушке с несколько мальчишескими ухватками; признание замирало и возникало опять, внушая уже скорее мысль о женоподобном юноше, порочном и мечтательном, затем снова ускользало, оставалось неуловимым.

Волнующее впечатление не в малой степени зависело и от грустной задумчивости взгляда, которая контрастировала с аксессуарами, отражавшими в себе веселье кутежей и жизнь кулис. Впрочем, вы склонялись к мысли, что эта грусть — искусственная и что молодое существо, как бы готовое, в этом вызывающем костюме, отдаться

ласкам, верно увидело некоторую пикантность в том, чтобы дополнить его романтическим выражением затаенного чувства невысказанной печали. Внизу портрета было написано: *Мисс Сакрипант, октябрь 1872 г.* Я не мог сдержать моего восхищения. «О! это пустяки, это эскиз, сделанный в молодости, костюм для одной пьесы в варьете. Все это было очень давно». — «А что сталось с оригиналом?» Удивление, вызванное моими словами, через какую-нибудь секунду сменилось на лице Эльстира равнодушным и рассеянным выражением. «Вот что, передайте мне поскорее этот рисунок, — сказал он мне, — я слышу шаги госпожи Эльстир, и хотя молодая особа в котелке не играла, уверяю вас, никакой роли в моей жизни, жене моей совершенно ни к чему видеть эту акварель. Я сохранил ее лишь как забавный документ из жизни театра того времени». И прежде чем убрать акварель, Эльстир, быть может, давно не видевший ее, остановился на ней внимательным взглядом. «Надо будет оставить только голову, — пробормотал он, — нижняя часть слишком уж плохо сделана, руки — как на картине начинающего». Я был в отчаянии от прихода г-жи Эльстир, которая должна была еще более задержать нас. Выступ окна вско-

ре стал розовым. Наша прогулка становилась уже бесполезной. Не было больше никакой вероятности увидеть девушек, и, следовательно, было неважно, раньше или позже уйдет от нас г-жа Эльстир. Она, впрочем, пробыла не особенно долго. Я нашел ее чрезвычайно скучной; она была бы хороша, если бы ей было лет двадцать и она бы погоняла вола где-нибудь в римской Кампанье; но ее черные волосы седели, и она была вульгарна, не будучи простой, ибо считала, что ее скульптурная красота, которую, впрочем, возраст лишил всей ее привлекательности, требует этих торжественных манер и величавой осанки. Она была одета с величайшей простотой. И было трогательно, но странно слышать, как Эльстир по всякому поводу с нежной почтительностью говорил: «Моя прекрасная Габриэль!» — как будто эти слова сами по себе умиляли его и вызывали в нем чувство благоговения. Впоследствии, когда я познакомился с мифологической живописью Эльстира, г-жа Эльстир стала и мне казаться прекрасной. Я понял, что известному типу красоты, выраженному в определенных линиях, определенных арабесках, которые постоянно встречались в произведениях Эльстира, известному канону он действительно припи-

сывал почти божественный характер, ибо все свое время, все усилия мысли, на которые он был способен, — словом, всю свою жизнь он посвятил задаче, состоявшей в том, чтобы как можно отчетливее различить эти линии, как можно точнее их воспроизвести. Воззрения, внушаемые Эльстиру подобным идеалом, действительно слагались в культ столь строгий, столь требовательный, что никогда не позволяли ему быть довольным собой, этот идеал был сокровеннейшей частью его личности, вот почему он не мог отнестись к нему объективно и превратить его в источник чувств вплоть до того дня, когда он обрел его осуществленным вовне, в женском теле, в теле той, которая впоследствии стала госпожой Эльстир и благодаря которой он смог — так как это возможно лишь по отношению к тому, что находится вне нас, — признать его достойным поклонения, трогательным, божественным. К тому же какое успокоение — приникнуть устами к Прекрасному, которое до сих пор с таким трудом надо было извлекать из себя самого и которое теперь, таинственно воплощенное, открывалось ему в непрерывном действенном общении! Эльстир в это время был уже человеком не первой молодости — когда осуществление своего идеала

мы ожидаем только от могущества мысли. Он приближался к тому возрасту, когда для возбуждения наших духовных сил мы рассчитываем на физическое удовлетворение, когда духовная усталость, склоняя нас к материализму, и ослабление жизнедеятельности, делая возможным пассивное подчинение внешним влияниям, постепенно приучают нас к мысли, что есть, может быть, такие привилегированные тела, занятия, ритмы, столь естественно воплощающие наш идеал, что, даже не обладая талантом, только воспроизводя движение плеч, изгиб шеи, мы создали бы мастерское произведение, — это возраст, когда нам нравится ласкать взглядом Красоту, находящуюся вне нас, подле нас, в узоре гобелена, в прекрасном эскизе Тициана, обнаруженном у антиквара, в любовнице, столь же прекрасной, как эскиз Тициана. Когда я понял это, я уже не мог без удовольствия смотреть на г-жу Эльстир, и тело ее утратило свою тяжеловесность, ибо его оживила мысль, что эта женщина — существо нематериальное, портрет работы Эльстира. Вот чем она была для меня, да, наверное, и для него. Факты жизни не принимаются художником в расчет, они для него только повод, чтобы проявить свой талант. Пересматривая подряд десять портретов,

писанных Эльстиром с разных людей, мы ведь чувствуем, что это портреты работы Эльстира. Однако после этого прилива гения, затопляющего жизнь, когда мозг начинает утомляться, равновесие понемногу утрачивается, — жизнь, точно река, возобновляющая свое течение, когда отхлынет мощный встречный поток, вступает в свои права. Но пока длился этот первый период, художник мало-помалу открыл закон, формулу своего бессознательного дара. Он знает, какие ситуации, если он романист, и какие пейзажи, если он живописец, дадут ему материал, сам по себе безразличный, но в такой же мере необходимый для его разысканий, как лаборатория или мастерская. Он знает, что создал свои шедевры, пользуясь эффектами ослабленного света, описывая угрызения совести, видоизменяющие понятие вины, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, словно статуи. Но день придет, когда, истощив свой мозг, он при виде этой натуры, служившей на пользу его дару, почувствует, что уже не в состоянии совершить то усилие мысли, которое только и может создать художественное произведение, — и все же по-прежнему будет стремиться к этой натуре, будет чувствовать себя счастливым

возле нее вследствие духовного наслаждения, которое она ему дает, служа приманкой для его работы; и, окружив ее рядом суеверных представлений, как если бы она была нечто высшее по сравнению со всем остальным, как если бы в ней уже заключалась значительная часть художественного произведения, в известном смысле совершенно готового, он ограничится тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет без конца беседовать с раскаявшимися преступниками, чьи угрызения совести, чье возрождение явилось когда-то темой его романов; он купит дачу в местности, где туман ослабляет свет; он часами будет смотреть на купающихся женщин; он будет коллекционировать красивые материи. И вот *красота жизни* — выражение, в некотором роде лишенное значения, стадия, находящаяся еще за пределами искусства, на которой остановился Сван, — была той стадией, на которую в результате ослабления творческого дара, преклонения перед формами, благоприятствовавшими его работе, стремления сберечь свои усилия предстояло со временем мало-помалу опуститься Эльстиру.

Наконец он последний раз притронулся кистью к цветам, которые писал; я пожертвовал

одной минутой, чтобы поглядеть на них; это не составляло особой заслуги, раз я знал, что девушек не будет на пляже; но даже если бы я думал, что они еще там и что из-за этих потраченных минут я упущу их, я все же стал бы смотреть на его работу, так как сказал бы себе, что Эльстир интересуется своими цветами больше, чем моей встречей с девушками. Характер бабушки, характер, составлявший совершенную противоположность моему эгоизму, все же отражался во мне. Если бы человеку, который был мне безразличен и в отношении которого я всегда выказывал притворную привязанность и уважение, угрожала простая неприятность, а я подвергался бы серьезной опасности, я не мог бы не посочувствовать ему, как будто его неприятность была чем-то значительным, и не отнестись к угрожавшей мне опасности как к сущему пустяку, ибо мне казалось, что именно в таком виде ему представляются вещи. Если говорить всю правду, я бы пошел и несколько дальше и не только не стал бы сокрушаться по поводу опасности, которой подвергался сам, но даже двинулся бы навстречу ей, а что до опасности, угрожавшей другим, я бы пытался предохранить их от нее, хотя бы и ценой большего риска для

себя. Это объясняется несколькими причинами, отнюдь не служащими к моей чести. Одна из них состоит в том, что хотя я, оставаясь в плоскости трезвых рассуждений, считал, что весьма дорожу жизнью, все же каждый раз, когда мной овладевали нравственные тревоги или даже только нервные беспокойства, порою столь ребяческие, что я не решился бы рассказать о них здесь, вся моя логика улетучивалась, и, возникни при этом непредвиденное обстоятельство, следствием которого могла стать моя смерть, эта новая забота оказывалась сравнительно с другими столь незначительной, что я встречал ее с чувством облегчения, чуть не с ликованием. Так, считая себя человеком далеко не храбрым, я знал состояние, которое в минуты трезвых рассуждений казалось мне столь чуждым моему характеру, столь непостижимым, — опьянение опасностью. Но даже если бы опасность, и смертельная, возникла в совершенно спокойный и счастливый период моей жизни, я не мог бы, находясь в обществе другого человека, не укрыть его и не занять сам опасного положения. Когда довольно богатый опыт показал мне, что я поступаю так всегда, и с удовольствием, я понял, к моему великому стыду, что, вопреки тому, что я всегда думал и утвер-

ждал, я очень чувствителен к мнению других людей. Однако этот вид затаенного самолюбия не имеет ничего общего ни с тщеславием, ни с гордостью. Ибо то, что I может удовлетворить эти чувства, не доставило бы мне никакого удовольствия, и я всегда воздерживался от подобных вещей. Но находясь с людьми, от которых мне удавалось совершенно скрыть те маленькие преимущества, которые могли бы внушить им менее жалкое представление обо мне, я никогда не мог лишить себя удовольствия показать им, что я оберегаю их от смерти гораздо заботливее, чем себя самого. Так как в основе этого удовольствия лежит в данном случае самолюбие, а не добродетель, то я считаю вполне естественным, что они поступают иначе. Я отнюдь не порицаю их за это, как стал бы, может быть, порицать, если бы руководился идеей долга, ибо он показался бы мне в этом случае столь же обязательным для них, как и для меня. Напротив, я считаю, что с их стороны очень разумно оберегать свою жизнь, хотя сам я и не в силах побороть в себе желание пренебречь своей, что особенно нелепо и преступно с тех пор, как я признал, что жизнь очень многих людей, которых я закрываю собой, когда разрывается бомба, представляет мень-

шую ценность. Впрочем, в день моего визита к Эльстиру я еще не мог и предвидеть, что наступит время, когда я осознаю это различие ценности, и дело шло не о какой-нибудь опасности, а всего лишь о моей попытке — предвестнице пагубного самолюбия — не подать вида, что удовольствию, возбуждавшему во мне такое страстное желание, я придаю большее значение, чем незаконченной работе акварелиста. Наконец он закончил ее. И, выйдя на улицу, я увидел — дни в эту пору были длинные, — что еще не так поздно, как я думал; мы пошли на дамбу. Сколько хитростей я пускал в ход, чтобы удержать Эльстира в том месте, где, я полагал, могли еще пройти эти девушки! Обращая его внимание на скалы, возвышавшиеся вокруг нас, я не переставал расспрашивать его о них, чтобы заставить его забыть о времени и остаться здесь подольше. Мне казалось, что у нас больше шансов встретить маленькую ватагу, если мы направимся в конец пляжа. «Мне хотелось бы поближе подойти с вами к этим скалам, — сказал я Эльстиру, так как видел, что одна из этих девушек часто ходит в эту сторону, — а вы расскажите мне о Каркетюи. Ах, как мне хотелось бы попасть в Каркетюи! — прибавил я, не думая о том, что своеобразие новизны, с такой силой

сказавшееся в «Гавани Каркетюи» Эльстира, зависело, пожалуй, скорее от восприятия художника, чем от специфических особенностей этого берега. — С тех пор как я увидел эту картину, мне больше всего хотелось бы побывать именно там, так же как и в Пуэнт-дю-Ра, куда, впрочем, очень долго добираться». — «И даже если б это было не ближе, я все-таки, пожалуй, рекомендовал бы вам скорее Каркетюи, — ответил мне Эльстир. — Пуэнт-дю-Ра — это восхитительно, но, в конце концов, это все тот же нормандский или бретонский высокий скалистый берег, который вы знаете. Каркетюи с его утесами на низком берегу — это совсем другое. Во Франции я не знаю ничего похожего, это скорее напоминает мне некоторые местности Флориды. Очень интересные края, и к тому же чрезвычайно дикие. Это между Клитурпом и Нэомом, а знаете, что это за пустынные места, линия побережья очаровательна. Здесь очертания берега безразличны, но там — просто нельзя сказать, какая это прелесть, какая мягкость».

Наступал вечер; пора было домой; я пошел с Эльстиром обратно к его вилле. Как вдруг, подобно Мефистофелю, внезапно появляющемуся перед Фаустом, в конце улицы — точно нере-

альное, дьявольское воплощение темперамента совершенно противоположного моему, полуварварской жестокой жизненности, которой так чужда была моя слабость, моя болезненно преувеличенная чувствительность и напряженная работа моего ума, — наметилось несколько пятнышек той разновидности, которую невозможно было смешать ни с чем, несколько единиц животно-растительной ватаги девушек, которые как будто не замечали меня, но тем не менее, наверно, произносили в эту минуту ироническое суждение обо мне. Чувствуя, что встреча с ними неизбежна и что Эльстир позовет меня, я повернулся спиной, как купальщик, который подставляет спину волне; я сразу остановился и, предоставив моему знаменитому спутнику идти дальше, отстал от него и наклонился к витрине антикварного магазина, мимо которого мы проходили в эту минуту, как будто что-то внезапно меня заинтересовало; я не прочь был создать впечатление, что могу думать не только об этих девушках, и уже смутно знал, что, когда Эльстир позовет меня, чтобы представить им, взгляд мой примет тот вопросительный оттенок, который выражает не удивление, но желание казаться удивленным — настолько плохими актерами

являемся все мы и настолько проницательными физиономистами оказываются окружающие, — что я даже приставлю палец к своей груди, как бы спрашивая: «Это вы меня зовете?» — и быстро подбегу, послушно и покорно склонив голову, придав своему лицу такое выражение, точно я стараюсь скрыть досаду, вызванную тем, что меня оторвали от созерцания старого фаянса, чтобы представить людям, с которыми я не желаю знакомиться. Тем временем я рассматривал витрину, ожидая минуты, когда мое имя, громко произнесенное Эльстиром, поразит меня, как безвредная и заранее ожидаемая пуля. Уверенность, что я буду представлен этим девушкам, имела тот результат, что я уже не только притворялся равнодушным к ним, но и на самом деле чувствовал равнодушие. Сделавшись неизбежным, удовольствие от предстоящего знакомства ослабело, уменьшилось, показалось менее значительным, чем возможность побеседовать с Сен-Лу, пообедать в обществе моей бабушки, совершить в окрестностях ряд прогулок, от которых, к моему сожалению, знакомство с этими девушками, едва ли интересующимися историческими памятниками, вероятно, заставит меня отказаться. Впрочем, предстоявшее удовольствие

уменьшала не только неизбежность, но также и неожиданность его осуществления. Законы, столь же точные, как законы гидростатики, располагают возникающие в нас образы в строгом порядке, который опрокидывается наступлением ожидаемого события. Эльстир сейчас меня позовет. Совсем не так представлял я себе знакомство с этими девушками, когда столько раз думал о нем и на пляже, и у себя в комнате. То, чему предстояло теперь случиться, было другое событие, к которому я не был подготовлен. Я не узнавал ни своего желания, ни его объекта; я почти жалел, что пошел с Эльстиром. Но ослабление удовольствия, на которое я раньше рассчитывал, было обусловлено главным образом уверенностью, что уже ничто не может отнять его у меня. Но едва оно перестало испытывать давление этой уверенности, как тотчас, словно повинуясь закону упругости, оно опять расширилось до прежних пределов — в то мгновение, когда, решившись повернуть голову, я увидел, что Эльстир, остановившийся в нескольких шагах от меня, прощается с девушками. Лицо той, которая стояла всего ближе к нему, полное и освещенное ее взглядами, напоминало пирожок, в котором оставили место для клочка неба. Ее глаза даже в

минуты неподвижности создавали впечатление подвижности, как это бывает в очень ветреные дни, когда воздух, хотя и незримый, позволяет видеть, с какой быстротой он движется на фоне лазурного неба. На мгновение ее взоры скрестились с моими, словно быстро несущиеся облака в бурю, которые приближаются к более медленной туче, прикасаются к ней, задевают ее и проносятся мимо. Но они друг друга не знают, и даль разлучает их. Так наши взоры на мгновение встретились, не зная, что обещает нам в будущем и чем грозит простирающийся над нами небосвод. И только на одну секунду, когда ее взор, не замедляя своего движения, оказался на уровне моих глаз, он чуть затуманился. Так в ясную ночь Луна, захваченная порывом ветра, исчезает за облачком, на мгновение ослабляет свой блеск и тотчас появляется вновь. Но Эльстир уже расстался с девушками и не позвал меня. Они свернули в одну из боковых улиц, он направился ко мне. Все рухнуло.

Я сказал, что Альбертина показалась мне в тот день не такою, как в предшествующие дни, и что каждый раз она была другая. Но я почувствовал в эту минуту, что некоторые изменения в облике человека, в его значительности, в его важности

для нас могут зависеть также от изменчивости наших собственных состояний, которые помещаются между ним и нами. Одним из состояний, играющих в этом отношении самую важную роль, является вера. В тот вечер вера, что я познакомлюсь с Альбертиной, а потом утрата этой веры, на протяжении нескольких секунд сперва лишили ее в моих глазах почти всякого значения, а затем сделали ее бесконечно ценной; несколько лет спустя вера, что Альбертина мне не изменяет, затем утрата этой веры привели к аналогичным переменам.

Правда, уже в Комбре я наблюдал, как — в зависимости от времени дня, в зависимости от того, в какое из этих двух основных состояний, попеременно владевших моей чувствительностью, я впадал, — уменьшается или растет моя тоска по матери, столь же неощутимая весь день, как лунный свет, пока светит Солнце, но с наступлением ночи полновластно воцарявшаяся в моей встревоженной душе, откуда она вытесняла все воспоминания, и смутные, и яркие. Но в этот день, увидя, что Эльстир, так и не подозвав меня, прощается с девушками, я понял, что колебания, которым подвергается в наших глазах та или иная радость или печаль, могут зависеть не толь-

ко от чередования этих двух состояний, но также и от смены неосознанных убеждений, которые даже смерть превращают в нечто безразличное для нас, придавая ей оттенок нереальности, и таким образом позволяют нам отнестись как к серьезному делу к музыкальному вечеру, который мы собирались посетить и который потерял бы свою прелесть, если бы при известии, что нас ждет гильотина, вера, озарявшая этот вечер, вдруг рассеялась; эта роль веры-убеждения несомненна; если что-нибудь во мне знало о ней, так это моя воля, но ведь ее знание бесполезно, если рассудок и чувства по-прежнему остаются несведущими; они искренно думают, что мы хотим расстаться с нашей любовницей, к которой, как знает единственно наша воля, мы на самом деле привязаны. Они приглушены верой в то, что через минуту мы снова встретимся с ней. Но стоит только этой вере рассеяться, стоит им вдруг узнать, что любовница уехала навсегда, как рассудок и чувства, потеряв точку опоры, приходят в исступление и крошечное желание возрастает до бесконечности.

Колебания веры, но также и тревожная изменчивость любви, которая, давно существуя в нас и обладая подвижностью, останавливается на

образе той или иной женщины только потому, что эта женщина почти недостижима. С этой минуты мы меньше думаем о женщине, которую даже и представляем себе с трудом, чем о средствах познакомиться с ней. Развертывается целая цепь тревог, и этого бывает достаточно, чтобы любовь сосредоточилась на этой едва знакомой нам женщине, хоть она и стала ее объектом. Любовь превращается в нечто огромное, но мы и не думаем о том, какую маленькую роль играет в ней реальная женщина. И если вдруг (как в ту минуту, когда Эльстир остановился поговорить с девушками) мы перестаем беспокоиться, тосковать — ибо тоска эта и есть вся наша любовь, — нам кажется, что она угасла, едва мы захватили добычу, о ценности которой мало думали до сих пор. Что я знал об Альбертине? Один или два раза я видел на фоне моря ее профиль, разумеется, менее красивый, чем профиль женщин Веронезе, которых, если бы я руководился мотивами чисто эстетическими, должен был бы предпочесть ей. Но разве у меня могли быть другие мотивы, если, как только ослабевала эта тревога, я находил в себе только этот безмолвный профиль и больше ничего? С тех пор как я увидел Альбертину, я каждый день без конца размыш-

лял о ней, поддерживал с той, которую называл Альбертиной, внутренний разговор, заставляя ее ставить вопросы, отвечать, думать, действовать, и в этой бесконечной серии воображаемых Альбертин, сменявшихся каждый час, подлинная Альбертина, которую я видел на пляже, лишь стояла на первом месте, подобно тому как создательница роли, «звезда», появляется на сцене лишь в самых первых спектаклях, начинающих собой долгую серию их. Эта Альбертина была всего лишь силуэтом, и всё, что напластовывалось на него, было создано мною, ибо то, что в любовь вносится нами самими, преобладает — даже с точки зрения чисто количественной — над тем, что исходит от любимого существа. И это касается даже самой деятельной любви. Иногда любовь не только возникает, но и продолжает жить, питаясь из самого скудного источника, — даже если эта любовь нашла себе физическое удовлетворение. У бывшего учителя рисования моей бабушки родилась дочь от какой-то неизвестной любовницы; мать умерла вскоре после рождения ребенка, и учитель рисования был так убит, что не надолго пережил ее. В последние месяцы его жизни моя бабушка и несколько дам в Комбре, даже никогда не упоминавших в присутствии

учителя об этой женщине, с которой, впрочем, он не жил открыто и редко встречался, задумали обеспечить судьбу девочки, собрав между собой деньги, чтобы устроить ей пожизненную ренту. Предложение исходило от бабушки; некоторые из приятельниц соглашались неохотно: так ли уж интересна эта девочка? да и приходится ли она дочерью тому, кто считает себя ее отцом? — ведь с такими женщинами, какой была ее мать, никогда нельзя быть уверенным. Наконец согласились. Девочка пришла благодарить. Она оказалась некрасивой и настолько была похожа на старика-учителя, что все сомнения исчезая; так как хороши у нее были только волосы, кто-то из дам сказал отцу, сопровождавшему ее: «Какие у нее прекрасные волосы». И, решив, что теперь, когда грешная женщина умерла, а учитель полумертв, намек на это прошлое, которое прежде как будто никому не было известно, больше не имеет значения, бабушка прибавила." «Это, наверно, наследственное. У матери тоже были такие красивые волосы?» — «Не знаю, — ответил отец, — я видал ее только в шляпе».

Надо было догонять Эльстира. Я увидел свое отражение в каком-то окне. К довершению несчастья — неудавшейся попытки знакомства — я

заметил, что мой галстук сбился на сторону, а из-под шляпы видны мои длинные волосы, что мне не шло; но все-таки было удачей, что они встретили меня, даже в таком виде, с Эльстиром, и уже не смогут меня забыть; удачей было и то, что в этот день я по совету бабушки надел красивый жилет, который чуть было не заменил другим, безобразным, и взял мою самую красивую трость; ведь если событие, которого нам хочется, никогда не совершается так, как мы себе его представляли, потому что не получилось благоприятного стечения обстоятельств, на которое мы как будто имели право рассчитывать, зато оно имело благоприятные результаты, на которые мы не надеялись, и одно уравновешивается другим; и мы настолько опасались худшего, что в конце концов склоняемся к мысли, что, в общем, судьба была скорее благосклонна к нам.

«Я был бы так рад познакомиться с ними», — сказал я Эльстиру, догнав его. «Так что же вы уходите на несколько миль?» Он произнес эти слова не потому, что они выражали его мысль, ибо, если он хотел исполнить мое желание, ему не составило бы никакого труда меня позвать, но, быть может, потому, что он уже слышал подобные фразы от пошлых людей, в чем-нибудь

уличенных, и потому, что даже великие люди в некоторых отношениях похожи на пошляков и черпают обычные извинения из того же источника, подобно тому как хлеб насущный они покупают в той же булочной; или, быть может, эти слова, которые следует читать наоборот, поскольку их буквальное значение противоположно истине, являются неизбежным следствием негативной кривой рефлекса. «Они торопились». Я подумал, что они-то главным образом и воспрепятствовали ему подозвать человека, мало симпатичного им; иначе он не преминул бы это сделать, ибо после стольких моих вопросов на их счет наверное понял, что я ими интересуюсь. «Я рассказывал вам о Каркетюи, — сказал он мне, прощаясь со мной у своих дверей. — Я сделал маленький эскиз, на котором гораздо лучше виден изгиб берега. Картина недурна, но в другом роде. Если вы позволите, то на память о нашем знакомстве я подарю вам мой эскиз», — прибавил он, ибо люди, которые отказывают в том, чего вам хочется, дают взамен другое.

«Мне бы очень хотелось, если у вас есть, получить фотографию маленького портрета мисс Сакрипант. Но что представляет собой это имя?» — «Это имя персонажа, роль которого оригинал

играл в одной очень глупой маленькой оперетте. Но, знаете, я совершенно не знаком с ней, сударь; вы как будто думаете совсем обратное?» Эльстир замолчал. «Но это ведь не портрет госпожи Сван до ее замужества?» — сказал я, внезапно и случайно наткнувшись на истину, что вообще бывает довольно редко, но может задним числом послужить основанием для теории предчувствий, если постараться забыть все ошибки, подрывающие ее. Эльстир мне не ответил. Это в самом деле был портрет Одетты де Креси. Она не захотела сохранить его по многим причинам, из которых иные слишком очевидны. Были и другие причины. Портрет относился к тому времени, когда Одетта еще не успела дисциплинировать свою внешность и сделать из своего лица и фигуры произведение искусства, строгих линий которого, сказывавшихся в ее манере держаться, говорить, улыбаться, класть руки, смотреть, думать, не нарушали, вопреки годам, ни ее парикмахеры, ни ее портные, ни она сама. Нужна была вся извращенность пресыщенного любовника, чтобы Сван многочисленным фотографиям той Одетты *ne varietur*,[37] которой сделалась его пленительная

[37] Примечания: 37
неизменной *(лат.).*

жена, мог предпочесть маленькую фотографию, стоявшую у него в комнате и на которой из-под соломенной шляпы, украшенной анютиными глазками, выглядывала молодая худенькая женщина, довольно некрасивая, с пышными волосами, с осунувшимся лицом.

Впрочем, даже если бы этот портрет, в отличие от любимой фотографии Свана, и не предшествовал по времени преображению Одетты, систематизировавшей свои черты в некий новый тип, величавый и очаровательный, всё же достаточно было восприятия Эльстира, чтобы разрушить этот тип. Действие художественного таланта подобно действию чрезвычайно высоких температур, которые обладают способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в совершенно противоположном порядке, соответствующем другой системе. Всю эту искусственную гармонию, которую женщина навязывает своим чертам и которую она каждый день, перед тем как выйти, поверяет с помощью зеркала, иначе приглаживая волосы, меняя наклон шляпы, выражение глаз, стараясь упрочить неизменность этой гармонии, — все это взгляд великого художника разрушает в одну секунду и взамен производит перегруппировку черт

этой женщины в соответствии с определенным живописным идеалом женщины, который он в себе носит. Точно так же нередко случается, что взгляд великого исследователя с известного возраста всюду находит элементы, необходимые для создания отношений, которые одни его интересуют. Как те рабочие и те фокусники, которые не привередничают и довольствуются всем, что бы ни попало под руку, он о чем угодно мог бы сказать, что и это его устроит. Так, в былые времена одна из кузин принцессы Люксембургской, красавица из самых надменных, увлекаясь новым в ту пору художественным направлением, заказала свой портрет крупнейшему художнику-натуралисту. Глаз художника сразу же открыл то, чего повсюду искал. И на холсте вместо важной дамы оказалась девочка на побегушках, а за нею какие-то высокие сооружения, наклонные и лиловые, напоминающие площадь Пигаль. Но даже и не заходя так далеко: женский портрет, писанный большим художником, не только не станет удовлетворять некоторым притязаниям женщин — например, притязанию стареющей женщины сниматься в платьях почти детских, подчеркивающих стройность ее все еще молодой талии и позволяющих ей казаться сестрою или

даже дочерью своей дочери, которая по этому случаю выступает рядом с нею уродливо одетая, — а, наоборот, выпятит недостатки, которые она старается скрыть и которые, как, например, красноватый и даже зеленоватый цвет лица, тем более прельщают художника, что они «характерны»; портрет этот также вполне способен разочаровать рядового зрителя и разбить вдребезги идеал, во всеоружии которого женщина выступала так гордо и благодаря которому она в своей неповторимой, неразложимой форме оказывалась вне остального человечества, так высоко поднималась над ним. Теперь же, развенчанная, выброшенная за пределы своего типа, где она была неуязвима, она превращается в самую заурядную женщину, в превосходство которой мы теряем всякую веру. С этим типом мы столь тесно связывали не только красоту какой-нибудь Одетты, но и ее личность, ее подлинность, что при виде портрета, лишившего ее этого типа, нам хочется воскликнуть не только: «Как она обезображена!», но и: «Как это не похоже!» Нам трудно поверить, чтобы это была она. Мы не узнаём ее. И все же мы отчетливо сознаем, что перед нами существо, которое мы уже видели. Но это существо — не Одетта. Лицо этого существа,

его тело, весь облик нам знакомы, но они напоминают нам не эту женщину, которая никогда не держалась так, чья обычная поза никогда не очерчивала такой странной и вызывающей арабески, а других женщин — всех тех, которых писал Эльстир и которых всегда, как бы различны они ни были, он любил изображать en face, с выставленной из-под юбки ногой, вкладывая им в руку широкополую круглую шляпу, помещавшуюся на уровне прикрываемого ею колена, в симметрическом соответствии другому такому же диску, диску лица. И, наконец, гениальный портрет не только расшатывает тип женщины, выработанный ее кокетством и ее эгоистическим представлением о своей красоте, но если он имеет некоторую давность, то старит свой оригинал по-иному, нежели фотография, показывающая его в старомодных нарядах. На портрете дата сказывается не только в платье женщины, в ее манере одеваться, но и в мастерстве художника, в его манере письма. Эта манера, первая манера Эльстира, была самым убийственным для Одетты метрическим свидетельством, потому что она не только превращала ее, как ее фотографии, относившиеся к тому времени, в младшую сестру известных кокоток, но превращала и ее портрет

в одного из современников тех многочисленных портретов, которые Мане или Уистлер писали с исчезнувших теперь оригиналов, уже или забытых, или принадлежащих истории.

На эти мысли, занимавшие меня в то время, как я молчаливо шел рядом с Эльстиром, провожая его домой, наталкивало меня мое открытие, касавшееся личности оригинала его портрета, как вдруг это первое открытие повлекло за собой и второе, еще более взволновавшее меня, относившееся к личности самого художника. Он написал портрет Одетты де Креси. Возможно ли, чтоб этот талант, этот мудрец, этот отшельник, этот философ, этот великолепный собеседник, человек, которому подвластна была всякая вещь, был тем извращенным смешным художником, которого некогда принимали Вердюрены? Я спросил его, не был ли он с ними знаком и уж не называли ли они его в то время: мэтр Биш? Он ответил мне, что да, не смущаясь, как будто дело шло о довольно отдаленном периоде его жизни и как будто не подозревая о необыкновенном разочаровании, вызванном им во мне, — но, подняв глаза, он прочел его на моем лице. Его лицо выразило недовольство. Мы уже почти дошли до его дома, и на его месте другой человек, менее выдающийся,

не одаренный таким умом и сердцем, быть может, просто сухо попрощался бы и затем стал бы избегать встреч со мной. Но не так поступил со мной Эльстир; как истинный учитель — а быть может, с точки зрения чистого творчества его единственным недостатком являлось то, что он был учителем, ибо художник должен быть один, чтобы познавать всю истину духовной жизни, и не расточать своего «я», даже своим ученикам, — он из всякого обстоятельства, к кому бы оно ни относилось, к нему или к другому человеку, старался извлечь в назидание молодым людям ту долю истины, которая в нем заключалась. Словам, которые могли бы отомстить его затронутое мною самолюбие, он предпочел слова, которые могли послужить мне поучением. «Нет такого мудрого человека, — сказал он, — который в юности своей не произносил бы таких слов или даже не натворил бы таких вещей, воспоминание о которых было бы ему неприятно и которые ему хотелось бы вычеркнуть из своей жизни. Но он не должен непременно жалеть об этом, ибо он не может быть уверен в том, что достиг бы мудрости, в той мере, в какой это возможно, если бы не прошел через целый ряд нелепых или отвратительных воплощений, предшествовавших этому

последнему воплощению. Знаю, что есть юноши, сыновья и внуки выдающихся людей, которым их наставники еще в школе внушили благородство ума и нравственное благообразие. Может быть, им нечего вычеркнуть из своей жизни, они могли бы обнародовать и подписать все, что они говорили, но это жалкие умы, бессильные потомки доктринеров, и мудрость их отрицательна и бесплодна. Мудрость нельзя получить в готовом виде, ее открываешь сам, пройдя такой путь, который никто не может пройти за тебя, от которого никто не может тебя избавить, ибо мудрость — это свой взгляд на вещи. Жизнь людей, которыми вы восторгаетесь, позы, которые вы находите благородными, не были предначертаны отцом семейства или наставником, первые шаги этих людей имели совсем иной характер, отразив на себе влияние всего того дурного и пошлого, что их окружало. Жизнь этих людей — борьба и победа. Я понимаю, что наш портрет в том виде, какими мы были в ранний период жизни, может быть неузнаваем и, во всяком случае, представляет зрелище неприятное. Всё же от него не следует отрекаться, ибо он свидетельствует, что мы действительно жили, что мы, согласно законам жизни и духа, из тривиальных элементов жизни,

жизни мастерских, артистических кружков, если дело идет о художнике, почерпнули нечто такое, что над всем этим возвышается». Мы дошли до его дома. Я был в огорчении, что не познакомился с девушками. Но, в конце концов, теперь у меня была возможность снова встретить их в жизни; они перестали быть видением, появляющимся только вдали и не внушающим уверенности в том, что я когда-нибудь их снова увижу. Они уже не были окружены этим водоворотом, разлучившим нас и представлявшим собой не что иное, как отражение желания, неугомонного, подвижного, настойчивого, питаемого теми тревогами, которые возбуждали во мне их недоступность, их исчезновения, быть может навсегда. Теперь я мог дать отдых этому желанию, мог сохранить его про запас наряду со столькими другими, осуществление которых я откладывал, когда узнавал, что то или иное из них стало возможным. Я простился с Эльстиром, остался один. И вдруг тогда, при всем моем разочаровании, я мысленно представил весь этот ряд случайностей, возможности которых я не подозревал: что именно Эльстир оказался знакомым этих девушек, что они, еще сегодня утром — только группа живописных образов, вырисовывавшихся на

фоне моря, увидели меня, увидели, что я знаком с великим художником, которому теперь известно мое желание и который, наверно, поможет мне осуществить его. Все это вызвало во мне удовольствие, но удовольствие это еще таилось; оно было — как те посетители, которые, прежде чем возвестить нам свое присутствие, ждут, чтобы ушли другие, чтобы мы остались одни. Тогда мы их замечаем, можем сказать им: «Я весь к вашим услугам», — и выслушать их. Порою между тем моментом, когда это удовольствие проникло в нас, и моментом, когда мы сами можем заглянуть в себя, протекает столько часов, за это время мы перевидаем стольких людей, что мы боимся, как бы ему не наскучило ждать нас. Но удовольствие терпеливо, ему не надоедает, и, как только все ушли, мы видим его перед собой. Порою именно мы бываем тогда такими усталыми, что кажется, в нашем изнемогшем сознании не найдется достаточно силы, чтобы удержать эти воспоминания, эти восприятия, для которых наше хрупкое «я» — единственное прибежище, единственный способ осуществления. И мы бы пожалели об этом, ибо существование представляет интерес только в те дни, когда к праху действительности примешивается волшебный песок, когда

какое-нибудь обыкновенное событие дает нам романтический импульс. Тогда недоступный мир высоким кряжем вырастает перед нами в лучах грезы и вступает в нашу жизнь — в нашу жизнь, где, словно очнувшись от дремоты, мы видим людей, о которых так страстно мечтали во сне, что, кажется, только во сне мы и могли бы их увидеть.

Успокоение, которое принесла с собой возможность познакомиться с этими девушками, когда я этого захочу, было для меня тем более ценно, что я бы не мог по-прежнему сторожить их в следующие дни, занятые приготовлениями к отъезду Сен-Лу. Бабушке хотелось выразить моему другу благодарность за те бесчисленные знаки внимания, которые он оказывал ей и мне. Я рассказал ей, что он большой поклонник Прудона, и подал ей мысль выписать в Бальбек многочисленные собственноручные письма этого философа, которые она купила. Сен-Лу пришел в гостиницу посмотреть на них в тот день, когда они прибыли, как раз накануне своего отъезда. Он с жадностью прочел их, благоговейно переворачивая каждую страницу, стараясь запомнить фразы, и, когда собрался уходить, стал извиняться перед бабушкой, что так засиделся, но услышал в ответ:

— Да нет же, возьмите их с собой, это для вас, я выписала их, чтобы подарить вам.

Он был охвачен радостью, с которой не мог справиться, как если бы это было физическое состояние, наступающее независимо от нашей воли; он густо покраснел, как наказанный ребенок, и бабушку гораздо больше тронули его безуспешные усилия сдержать радость, переполнявшую его, чем все выражения благодарности, какие он мог бы найти. Но он, опасаясь, что плохо высказал свою признательность, еще и на другой день просил меня извиниться за него, высунувшись из окна маленького вагона местной железной дороги, по которой он уезжал в свой гарнизон. Гарнизон этот стоял совсем близко. Он предполагал поехать туда в экипаже, как часто это делал, когда ему надо было возвращаться вечером и когда дело не шло об окончательном отъезде. Но на этот раз ему пришлось отправить поездом свои многочисленные сундуки и чемоданы. Он нашел, что проще и ему ехать поездом, последовав совету управляющего гостиницей, который, когда его спросили, ответил, что и экипаж, и поезд местного сообщения — «более или менее равноправны». Он хотел этим сказать, что они равноценны (в сущности, *более или менее* — то

же самое, что Франсуаза выразила бы, сказав: «Это выйдет на одно и то же»). «Хорошо, — сказал Сен-Лу, — поеду на этом червячке». Я тоже поехал бы, если бы не был утомлен, и проводил бы моего друга в Донсьер; по крайней мере, я несколько раз повторил ему за время, пока мы сидели на станции, — то есть пока машинист поджидал каких-то запоздавших приятелей, без которых не желал уезжать, и освежался прохладительными напитками — обещание, что буду навещать его по нескольку раз в неделю. Так как Блок тоже пришел на вокзал — к великой досаде Сен-Лу, — то последний, заметив, что наш приятель слышал, как он приглашает меня приезжать к нему в Донсьер завтракать, обедать, жить там, сказал наконец и ему, но тоном чрезвычайно холодным, который должен был служить поправкой к вынужденной любезности приглашения и помешать Блоку отнестись к нему всерьез: «Если вам как-нибудь случится проезжать через Донсьер в один из тех дней, когда я свободен, вы можете спросить меня в полку, только я почти никогда не бываю свободен». Быть может также, Робер опасался, что один я не приеду к нему, и, думая, что с Блоком я более дружен, чем я в этом признавался, хотел обеспечить меня спутником

и вдохновителем.

Я боялся, как бы этот тон, эта манера приглашать человека, советуя ему не приезжать, не обидели Блока, и находил, что Сен-Лу сделал бы лучше, если бы ничего не говорил. Но я ошибся, так как все время после отхода поезда, пока мы шли вместе до перекрестка, где надо было расстаться, ибо одна из улиц шла к гостинице, а другая — к вилле Блока, он все время спрашивал меня, когда мы поедем в Донсьер, потому что «после всех любезностей, какие Сен-Лу оказал ему», было бы «слишком грубо с его стороны» не отозваться на это приглашение. Меня радовало, что он не заметил — или что его обида была настолько незначительна, что он старался притвориться, будто не заметил, — каким более чем небрежным, едва вежливым тоном было сделано приглашение. Все же мне хотелось ради Блока, чтоб он не ставил себя в смешное положение и не ехал сразу в Донсьер. Но я не решался дать ему совет, который мог бы ему не понравиться, так как этим я показал бы ему, что Сен-Лу менее искал его общества, чем Блок заискивал в нем. Блок проявил чрезмерное рвение, и хотя все недостатки этого рода искупались в нем замечательными качествами, которых не оказалось бы у более

сдержанных людей, он доводил нескромность до такой степени, что она раздражала. По его словам, нельзя было откладывать ни на одну неделю нашей поездки в Донсьер (он говорил «нашей», так как, мне кажется, он отчасти рассчитывал на меня, чтобы извинить свое присутствие). Всю дорогу — у гимнастического павильона, затерявшегося среди деревьев, у площадки для тенниса, перед своим домом, перед продавцом раковин — он останавливал меня, умоляя назначить день, а так как я этого не сделал, то рассердился и сказал, расставаясь со мной: «Как тебе угодно, синьор. Что касается меня, то я обязан поехать, раз он меня пригласил».

Сен-Лу так боялся, что плохо поблагодарил мою бабушку, что через день снова попросил меня передать ей его благодарность, на этот раз в письме, которое я получил от него из города, где стоял его полк, и которое, судя по штемпелю на почтовом конверте, хранившем имя этого города, быстро примчалось с вестью о том, что и в стенах его, в кавалерийской казарме времен Людовика XVI, он думает обо мне. На бумаге был герб Марсантов, в котором я различил льва в короне, представляющей собой «шапку» пэра Франции.

«После переезда, — писал он мне, — который

совершился вполне благополучно и в течение которого я был занят чтением книги, купленной на вокзале и принадлежащей перу Арведа Барина (этот автор, наверно, русский; по-моему, для иностранца это замечательно написано, но сообщите мне Ваш отзыв, ведь Вам это должно быть известно, — Вам, кладезю премудрости, человеку, который все читал), вот я и здесь, среди этой грубой жизни, где, увы, я чувствую себя изгнанником, так как у меня здесь нет того, что я оставил в Бальбеке; среди этой жизни, не связанной для меня ни с одним нежным воспоминанием, чуждой всякой умственной радости, жизни, обстановка которой могла бы возбудить в Вас лишь презрение и которая все же не лишена известной прелести. Всё, кажется мне, изменилось в ней с тех пор, как я покинул ее, ибо за это время началась одна из самых замечательных эр моей жизни — эра нашей дружбы. Надеюсь, что она никогда не кончится. О ней, о Вас, я не рассказывал никому, кроме одного человека — кроме моей подруги, которая неожиданно для меня приехала на часок побыть со мной. Ей хотелось бы познакомиться с Вами, и я думаю, вы бы сошлись, так как она тоже весьма литературный человек. Зато, чтобы воскресить в памяти наши беседы,

чтобы снова пережить эти часы, которых я никогда не забуду, я уединился от своих товарищей, прекрасных малых, но совершенно не способных это понять. Сегодня, в первый день по возвращении, я предпочел бы даже воскресить для себя одного воспоминание о минутах, проведенных с Вами, и не писать Вам. Но я побоялся, что Вы, изысканный ум и ультрачувствительное сердце, встревожитесь, не получая письма, если только Вы удостоили Вашим вниманием грубого воина, над которым Вам придется немало потрудиться, чтобы отшлифовать его и сделать немножко более тонким и заслуживающим Вашей дружбы».

В сущности, это письмо своей нежностью очень напоминало те письма, которые я надеялся получать от Сен-Лу, еще не будучи с ним знаком, пока меня не расхолодила первая встреча с ним, поставившая меня перед лицом леденящей действительности, которая, как оказалось, тоже не являлась чем-то окончательным. После этого первого письма уже каждый раз, когда во время завтрака приносили почту, я тотчас узнавал его письма, ибо у них всегда было то второе лицо, которым человек оборачивается к нам, когда его нет с нами, и в чертах которого (в линиях почерка), совершенно так же, как в линиях носа

или в интонациях голоса, нам ничто не мешает уловить индивидуальную душу.

Теперь я охотно оставался в столовой, пока убирали со стола, и если это не был час, когда можно было ожидать появления стайки девушек, я смотрел не исключительно в сторону моря. С тех пор как я увидел акварели Эльстира, я старался найти их в действительности, я полюбил как нечто поэтическое — и прерванное движение ножей, лежащих в беспорядке, и выпуклость смятой салфетки, в которую солнце вставляет кусок желтого бархата, и недопитый стакан, отчетливо показывающий благородное закругление верхней своей части, и в глубине его, за прозрачным стеклом, подобным сгустку дневного света, остатки темного, но искрящегося вина, смещение объемов, претворение жидкостей игрою лучей, переход окраски слив, оставшихся в компотной миске, от зеленой к синей, от синей к. золотой, гулянье старомодных стульев, два раза в день придвигаемых к скатерти, покрывающей стол, точно алтарь, воздвигнутый для совершения служб в честь чревоугодия, и где, на дне устричных раковин, как в маленьких каменных кропильницах, блестят капли очистительной воды; я старался отыскать красоту там, где раньше никогда и не

думал найти ее, в вещах самых обыкновенных, в глубинной жизни «натюрмортов».

Когда через несколько дней после отъезда Сен-Лу я добился того, что Эльстир как-то днем пригласил к себе гостей, в числе которых я должен был встретить Альбертину, я пожалел, что изящество и элегантность, которыми я на мгновение поразил кое-кого, выходя из Гранд-отеля (и которые были достигнуты благодаря продолжительному отдыху и особым заботам о туалете), я не могу приберечь (как и престиж Эльстира) для покорения какой-нибудь другой, более интересной особы, я жалел, что все это будет потрачено просто ради удовольствия познакомиться с Альбертиной. Мой рассудок весьма низко расценивал это удовольствие с тех пор, как оно было обеспечено. Но этой иллюзии ни на минуту не разделяла моя воля, настойчивый и неизменный слуга сменяющихся в нас личностей, — скрывающийся в тени, презираемый, но неуклонно преданный и, невзирая на изменения нашего «я», непрестанно заботящийся о том, чтобы «я» не потерпело недостатка ни в чем, необходимом для него. Если в минуту, когда должно осуществиться желанное путешествие, рассудок и чувства начинают задаваться вопросом, стоит ли в самом

деле предпринимать его, то воля, знающая, что этим праздным господам путешествие тотчас же показалось бы восхитительным, если бы не могло состояться, — воля не мешает им рассуждать перед вокзалом, умножать сомнения, а сама тем временем берет билеты и сажает нас в вагон в положенный час. Она настолько же неизменна, насколько непостоянны рассудок и чувства, но так как она молчалива и не приводит оснований, то кажется почти несуществующей; ее твердой решимости повинуются прочие части нашего «я», но этого не замечают, тогда как отчетливо различают свои собственные колебания. Итак, мои чувства и мой рассудок начали спор о ценности удовольствия познакомиться с Альбертиной, а я тем временем разглядывал в зеркале суетные и хрупкие чары, которые они хотели бы приберечь нетронутыми для другого случая. Но моя воля не пропустила того часа, когда надо было отправиться в путь, и кучеру она сказала адрес Эльстира. Теперь, когда жребий был брошен, рассудок и чувства могли на досуге сколько угодно жалеть об этом. Если б моя воля дала другой адрес, они оказались бы в преглупом положении.

Когда, немного спустя, я вошел к Эльстиру, мне сперва показалось, что м-ль Симоне нет в мастер-

ской. Правда, там сидела девушка в шелковом платье и без шляпы, но мне не были знакомы ни ее великолепные волосы, ни ее нос, ни цвет лица, я не находил в ней той сущности, которую извлек из юной велосипедистки, носившей черную шапочку и прогуливавшейся вдоль берега. Однако то была Альбертина. Но даже когда я уверился в этом, я не оказал ей внимания. В молодости, когда появляешься в светском обществе, умираешь для самого себя, становишься другим человеком, ибо всякая гостиная есть новая вселенная, где, повинуясь законам иной моральной перспективы устремляешь свое внимание, как будто всё это имеет для тебя непреходящий смысл, на людей, на танцы или на карты, которые завтра же забудутся. Так как для того, чтобы подойти к Альбертине и вступить в разговор с ней, я должен был пройти путь, начертанный отнюдь не мною и приводивший меня сперва к Эльстиру, проходивший затем мимо нескольких групп приглашенных, которым меня представляли, затем мимо буфета, где меня ждал земляничный торт и где я остановился, чтобы отведать его, слушая тем временем музыку, которую начали исполнять, — то все эти моменты приобрели для меня такую же значительность, как и мое

представление м-ль Симоне, представление, сделавшееся теперь всего лишь одним из этих моментов, хотя несколько минут тому назад оно было единственной целью моего прихода, теперь совершенно забытой. Впрочем, разве не то же самое происходит и в действительной жизни с нашими настоящими радостями, с нашими великими горестями? Окруженные посторонними людьми, мы от нашей любимой получаем ответ, благоприятный или убийственный, которого ждали уже целый год. Но надо продолжать разговор, мысли цепляются одна за другую, образуя некую поверхность, которой разве что время от времени коснется вдруг более глубокое, но замкнутое в очень узкие пределы воспоминание о том, что нас постигло несчастье. Если же вместо несчастья приходит счастье, то может случиться, что лишь через несколько лет мы вспомним, что величайшее событие в жизни наших чувств совершилось в таких условиях, которые даже не дали нам времени задержать на нем внимание, почти помешали нам осознать его, — в какой-нибудь гостиной, например, куда мы и отправились только в чаянии этого события.

В тот момент, когда Эльстир позвал меня, чтобы представить Альбертине, сидевшей несколько

дальше, я прежде доел кофейный эклер и еще не без интереса задал несколько вопросов относительно нормандских ярмарок одному старому господину, с которым только что познакомился и которому счел возможным подарить розу из моей петлицы, возбудившую его восхищение. Не то чтобы знакомство, последовавшее за этим, не доставило мне никакого удовольствия и не придало мне в собственных глазах известной важности. Что касается удовольствия, то я, конечно, ощутил его — несколько позднее, когда, вернувшись в гостиницу и оставшись наедине, снова сделался самим собою. С удовольствиями бывает то же самое, что с фотографиями. Впечатление, создавшееся в присутствии любимого существа, — только негатив, мы проявляем его потом, у себя дома, когда находим в своем распоряжении ту внутреннюю темную комнату, вход в которую «запрещен», пока мы среди людей.

Если удовольствие я осознал через несколько часов, то значительность факта этого представления я ощутил сразу же. В минуту, когда нас представляют, мы, и правда, чувствуем себя внезапно осчастливленными, становимся владельцами чека, гарантирующего нам будущие удовольствия, которых мы добивались уже несколько недель:

всё же мы понимаем, что получение его кладет для нас конец не одним лишь мучительным розыскам — что могло бы наполнить нас только радостью, — но также и бытию некоего существа, которое было преображено нашей фантазией и приняло преувеличенные размеры под влиянием нашей тревоги и боязни, что мы останемся не известны ему. Когда наше имя раздается в устах того, кто представляет нас, в особенности если это лицо, как сделал Эльстир, сопровождает его хвалебными пояснениями, — в эту торжественную минуту, напоминающую момент феерии, когда дух приказывает одному из действующих лиц внезапно превратиться в другое, — та, к которой мы стремились приблизиться, исчезает; да и как могла бы она остаться сама собою, если — в силу того внимания, которое незнакомка должна обратить на наше имя и оказать нашей личности, — в глазах, находившихся еще вчера в бесконечной дали (и которые, как нам казалось, наши глаза, блуждающие, некоординированные, разбегающиеся в разные стороны, готовые отчаяться, никогда не могли бы повстречать), сознательный взгляд, непостижимая мысль, которых мы искали в них, как бы по волшебству и совершенно просто заменяется нашим соб-

ственным отражением, которое вырисовывается словно в глубине улыбающегося нам зеркала. Если наше воплощение в существо, казавшееся нам нашей полной противоположностью, всего резче видоизменяет особу, которой нас представили, то очертания этой особы остаются еще довольно смутными, и мы можем задать себе вопрос, не превратится ли она в божество, в стол или в таз. Но столь же проворные, как мастера, которые в пять минут вылепливают бюст из воска, те несколько слов, что незнакомка скажет нам, прояснят эти очертания и придадут им окончательный вид, исключающий все гипотезы, которым вчера предавались наше желание и наше воображение. Правда, даже и до этой встречи в гостях Альбертина уже не была для меня только призраком, достойным заполонить мою жизнь, каким остается встретившаяся женщина, о которой мы ничего не знаем, которую едва успели разглядеть. Ее родство с г-жой Бонтан уже сузило эти волшебные гипотезы, заградив один из путей, по которому они могли развиваться. По мере того как я сближался с этой девушкой и лучше узнавал ее, это знакомство приобретало характер какого-то вычитания, ибо каждый из элементов, созданных желанием и воображени-

ем, заменялся понятием, стоившим несравненно меньше, хотя и дополнявшимся в области житейских отношений известным подобием того, что финансовые общества дают после оплаты первоначальной акции и что они называют *паем.* Ее фамилия, ее родство явились первым ограничением моей фантазии. Ее любезность, в то время как, очутившись совсем близко от нее, я разглядывал ее родимое пятнышко на щеке под глазом, положила другую грань; кроме того, я был удивлен, услышав, что она пользуется наречием «абсолютно» вместо «совсем» и, рассказывая о каких-то двух лицах, заметила об одном из них: «Она абсолютно помешанная, но все-таки очень милая женщина», — а о другом: «Это абсолютно заурядный и абсолютно нестерпимый господин». Хотя такое употребление наречия «абсолютно» не особенно приятно, все же оно указывает на уровень культурного развития, какого я никак не ожидал встретить у этой вакханки с велосипедом, у этой музы спортивных оргий. Все это, впрочем, не мешает тому, что после этой первой метаморфозы Альбертина еще не раз менялась в моих глазах. Достоинства и недостатки человека, написанные на самом видном месте его лица, складываются в совершенно иную фигуру, если

мы подходим к нему с другой стороны, — подобно тому как общественные здания какого-нибудь города, выстроившиеся в одну линию, с другой точки зрения размещаются в разных планах и предстают нам в других пропорциях. Для начала я нашел, что Альбертина скорее застенчива, чем беспощадна; она мне показалась скорее приличной, чем невоспитанной, — судя по тому, что ко всем девушкам, о которых я упоминал в разговоре с ней, она применяла такие определения, как: «У нее скверные манеры, странные у нее манеры»; наконец, в ее лице привлекал к себе внимание висок, воспаленный и неприятный на вид, а вовсе не тот своеобразный взгляд, что все время вспоминался мне до сих пор. Но это был лишь иной аспект, и, наверно, мне еще предстояло увидеть целый ряд других. Таким образом, лишь убедившись на опыте, проделанном почти что вслепую, в ошибках нашего первоначального зрительного восприятия, мы можем достичь точного познания человеческого существа, если это познание вообще возможно. Но оно невозможно; ибо пока мы вносим поправки в наше представление о нем, само это существо, не являясь неподвижным объектом, в свою очередь меняется; мы стараемся поспеть за ним, оно

перемещается, и, думая, что наконец видим его отчетливее, мы в действительности имеем дело с нашими прежними представлениями о нем, которые нам удалось прояснить, но которые ему не соответствуют.

Всё же, какие бы неизбежные разочарования он ни приносил нам, этот подход к тому, что лишь мелькнуло перед нами, к тому, над чем потом на досуге работало наше воображение, этот подход — единственно здоровый для наших чувств, и только он поддерживает в них аппетит. Какой угрюмой скукой запечатлена жизнь людей, которые из лени или из робости прямо в экипаже отправляются к своим друзьям, о которых они никогда не грезили, пока не познакомились с ними, — жизнь людей, которые никогда не находят в себе смелости остановиться в пути и приблизиться к тому, что их влечет.

Возвращаясь домой, я вспоминал эти часы, проведенные в гостях у Эльстира, кофейный эклер, который я съел прежде, чем подойти с Эльстиром к Альбертине, розу, подаренную старику, — все эти подробности, которые волею обстоятельств возникают без нашего ведома и, складываясь в своеобразное и неожиданное сочетание, составляют картину нашей первой встречи. Но на эту

картину я взглянул, как мне показалось, с какой-то другой точки зрения, очень далекой от меня, поняв, что она существовала не для меня одного, когда несколько месяцев спустя Альбертина, с которой я заговорил о первом дне нашего знакомства, к моему великому удивлению, напомнила мне и об эклере, и о цветке, который я подарил, обо всех этих вещах, которые не то чтобы только для меня имели значение, но, как я думал, замечены были только мною и которые я, не подозревая о существовании подобного варианта, нашел запечатлевшимися в памяти Альбертины. Уже в первый день, когда, вернувшись домой, я мог разглядеть принесенное с собой воспоминание, я понял, как безукоризненно был проделан фокус, и понял, что я несколько минут разговаривал с девушкой, которая благодаря ловкости фокусника, хотя в ней и не было ничего общего с той, за которой я так долго следил на берегу моря, стала на ее место. Я мог бы, впрочем, это предугадать, так как девушка, расхаживавшая по пляжу, была придумана мною. Несмотря на это, поскольку в моих разговорах с Эльстиром я отождествлял ее с Альбертиной, я чувствовал себя морально обязанным по отношению к последней сдержать любовные обеты, которые я давал Альбертине

воображаемой. Человек обручается «заочно» и считает себя потом обязанным жениться на той, которую ему подставили. Впрочем, если из моей жизни исчезла, хотя бы на время, тревога, которую могло бы уже успокоить воспоминание об этих благовоспитанных манерах, об этом «абсолютно заурядном» выражении и о воспаленном виске, то это же воспоминание возбуждало во мне желание иное, которое, хоть оно было нежно и нисколько не болезненно, напоминая братское чувство, могло бы в конце концов сделаться не менее опасным, каждую минуту будя во мне потребность поцеловать эту новую для меня девушку, чья застенчивость, чьи хорошие манеры и неожиданная доступность останавливали бесполезный бег фантазии, но рождали во мне чувство умиленной благодарности. И потом, так как память сразу же начинает делать снимки, независимые друг от друга, нарушает всякую связь, всякую последовательность между сценами, отпечатлевшимися на них, то в собрании этих снимков, которые она выставляет, последний из них не уничтожает предшествующих.

Рядом с этой пошленькой и трогательной Альбертиной, с которой я разговаривал, я видел таинственную Альбертину на фоне моря. Теперь

это были воспоминания, то есть образы, из которых каждый казался мне не более правдивым, чем прочие. Чтобы покончить с этим первым вечером знакомства, замечу, что, стараясь представить себе ее родимое пятнышко на щеке под глазом, я вспомнил, что в гостиной у Эльстира, после ухода Альбертины, я видел это пятнышко у нее на подбородке. Вообще же, когда я видел ее, я замечал, что у нее есть родимое пятнышко, но в моей памяти оно блуждало по лицу Альбертины и оказывалось то здесь, то там.

Хоть я и был огорчен, встретив в м-ль Симоне девушку, слишком мало отличавшуюся от всего того, что я знал до сих пор, все же, подобно тому как мое разочарование при виде бальбекской церкви не мешало мне мечтать о поездке в Кемперле, в Понтавен и в Венецию, я говорил себе, что благодаря Альбертине, если сама она и не является тем, на что я надеялся, я, по крайней мере, смогу познакомиться с ее приятельницами, с маленькой ватагой.

Сперва я подумал, что это мне не удастся. Так как она должна была еще очень долго оставаться в Бальбеке и я тоже, то я решил, что самое лучшее — не слишком стараться увидеть ее, а подождать случая, который столкнет меня с ней. Но если

бы даже такой случай представлялся каждый день, следовало сильно опасаться, что она будет лишь издали отвечать на мой поклон, и тогда, повторяясь ежедневно в течение всего сезона, он ни к чему меня не приведет.

Вскоре после этого, в одно дождливое и почти холодное утро, со мной на дамбе заговорила девушка в шапочке и с муфтой, настолько не похожая на ту, которую я видел в гостях у Эльстира, что признать в ней то же самое лицо казалось делом непосильным для ума; мне это, впрочем, удалось, но только после нескольких секунд замешательства, что, по-видимому, не ускользнуло от Альбертины. С другой стороны, вспоминая в эту минуту ее «хорошие манеры», поразившие меня, я, напротив, удивлен был ее грубым тоном и манерами в духе маленькой ватаги. К тому же висок перестал быть оптическим центром ее лица, устраняющим все сомнения, — потому ли, что я стоял с другой стороны, потому ли, что шапочка прикрывала его, потому ли, что он не всегда был воспален. «Что за погода! — сказала она мне. — В сущности, это бальбекское лето, которое будто бы никогда не кончается, — страшный вздор. Вы тут ничего не делаете? Вас никогда не видно на гольфе, на балах в казино, вы и верхом не

катаетесь. Какая, должно быть, зеленая скука! Вы не думаете, что можно обалдеть, если торчать все время на пляже? А-а! вы любите греться на солнце. Впрочем, времени у вас хватает. Я вижу, что вы не такой, как я, — я обожаю всякий спорт! Вы не были на скачках в Сонье? Мы туда ездили на траме; я понимаю, что вам не понравилось бы ехать в этой калоше, у нас на это ушло два часа! На велосипеде я бы три раза сгоняла туда и обратно». Восхищаясь той простотой, с которой Сен-Лу прозвал поезд узкоколейки «червячком», имея в виду бесчисленные повороты на его пути, я был смущен легкостью, с какой Альбертина говорила «трам» и «калоша». Я чувствовал, как мастерски она пользуется этими обозначениями, и боялся, как бы она не заметила моей беспомощности в этой области и не стала презирать меня. А ведь мне еще не было известно все богатство синонимов, к которым маленькая ватага прибегала для обозначения этой железной дороги. Альбертина, разговаривая, держала голову прямо, неподвижно, как бы сжав ноздри и шевеля только краями губ. Следствием этого был тягучий, носовой характер звуков, обусловленный, быть может, произношением предков-провинциалов, ребяческим подражанием британской флегме, уроками

учительницы-иностранки или воспалением слизистой оболочки носа. Эта особенность, которая, впрочем, быстро исчезала, когда она ближе знакомилась с человеком и снова становилась ребенком, могла бы показаться неприятной. Но она была чем-то своеобразным и приводила меня в восторг. Каждый раз, когда я несколько дней не встречал ее, я возбужденно повторял: «Вас никогда не видно на гольфе», — с тем носовым призвуком, который послышался в ее голосе, когда она сказала это, держась совершенно прямо и не двигая головой. И я думал тогда, что нет существа более пленительного.

Мы в это утро составляли одну из тех пар, которые усеивают дамбу, останавливаясь то здесь, то там ровно настолько, чтобы успеть обменяться несколькими словами, прежде чем каждый из остановившихся направится в свою сторону, продолжая прогулку. Я воспользовался этой остановкой, чтобы посмотреть и окончательно определить, где находится родимое пятнышко. И вот, подобно музыкальной фразе, которой я восторгался в сонате Вентейля и которая в моей памяти блуждала между анданте и финалом вплоть до того дня, когда, имея в руках ноты, я смог найти ее и приурочить ее место к скерцо, —

это родимое пятнышко, рисовавшееся мне то на щеке, то на подбородке, навсегда остановилось теперь на верхней губе, под носом. Совершенно так же мы с удивлением видим стихи, которые знаем наизусть, в какой-нибудь вещи, где мы никак не думали их встретить.

В эту минуту, словно затем, чтобы на фоне моря могло свободно развернуться во всем разнообразии своих форм все это пышное живописное единство, каким являлось прекрасное шествие дев, и золотистых, и розовых, обожженных солнцем и ветром, — подруги Альбертины, все гибкие, все с красивыми ногами, но такие не похожие друг на друга, показались сплоченной группой и, приближаясь к нам, вытянулись в одну линию, параллельную морю. Я попросил позволения у Альбертины немного проводить ее. К сожалению, она ограничилась тем, что приветствовала их движением руки. «Но ваши приятельницы будут недовольны, что вы покинули их», — сказал я ей, надеясь, что мы пройдемся вместе. К нам подошел молодой человек с правильными чертами лица, держа в руке ракетки. Это был любитель баккара, безумства которого так возмущали жену председателя. С холодным, невозмутимым видом, в котором, очевидно, заключалась, по его

мнению, высшая изысканность, он поклонился Альбертине. «Вы с гольфа, Октав? — спросила она его. — Хорошо ли вы играли, везло ли вам?» — «Ах, надоело мне это, проигрался в пух и прах», — ответил он. «Андре была там?» — «Да, у ней было семьдесят семь». — «О, да ведь это рекорд». — «Вчера у меня было восемьдесят два». Он был сын очень богатого промышленника, который играл потом заметную роль в организации Всемирной выставки. Я был поражен, до какой степени у этого молодого человека и у очень немногих других молодых людей, с которыми были в дружбе эти девушки, эрудиция в области таких вещей, как одежда, манера одеваться, сигары, английские напитки, лошади, — вещей, которые они изучили до мельчайших подробностей и о которых судили с непогрешимостью, достигавшей молчаливой скромности ученого, — создалась совершенно независимо от какой бы то ни было умственной культуры. Этот молодой человек без всякого колебания разрешал вопрос об уместности смокинга или пижамы, но не подозревал о том, в каких случаях можно или нельзя употребить то или иное слово, не подозревал даже о самых простых правилах французского языка. Это противоречие между двумя культурами было, по-видимому,

свойственно и его отцу, председателю союза бальбекских домовладельцев, ибо в обращении к избирателям, расклеенном на всех стенах, он высказывался так: «Я хотел видеть мэра, чтобы с ним об этом поговорить, но он не хотел слышать мои справедливые жалобы». Октав получал призы на всех танцевальных конкурсах казино, где танцевал бостон, танго и т. д., что позволило бы ему, если бы он захотел, сделать хорошую партию в этой курортной среде, где часто кавалер не только в буквальном, но и в переносном смысле слова предлагает руку танцующей с ним девушке. Он закурил сигару, сказав Альбертине: «Вы разрешаете?» — таким тоном, каким просят позволения окончить, продолжая начатый разговор, неотложную работу. Ибо он никогда не мог «оставаться без дела», хотя никогда ничего не делал. И так как полная праздность вызывает в конце концов те же самые следствия, что и напряженная работа, как в области умственной деятельности, так и в жизни тела и его мускулов, то постоянная пустота, обитавшая за мечтательным лбом Октава, в конце концов, несмотря на его спокойную внешность, стала возбуждать в нем бесплодный зуд мысли, мешавший ему спать по ночам, как это могло бы случиться с переутом-

ленным метафизиком.

Думая, что, если бы я был знаком с их приятелями, мне чаще представлялись бы случаи видеть этих девушек, я готов был попросить Альбертину познакомить меня. Я сказал ей об этом, как только он ушел, твердя свое: «Проигрался в пух и прах». Я думал таким образом внушить ей мысль познакомить меня с ним в следующий раз. «Да что вы, — воскликнула она, — я же не могу знакомить вас с таким хлыщом! Здесь кишит хлыщами. Ведь им же не о чем с вами разговаривать. Этот прекрасно играет в гольф, вот и всё. Я уж знаю, он совсем не в вашем духе». — «Ваши приятельницы будут недовольны, что вы бросили их так», — сказал я ей в надежде, что она предложит мне присоединиться к ним вместе с ней. «Да нет, я им совсем не нужна». Мы повстречались с Блоком, который улыбнулся мне хитро и многозначительно и, стесненный присутствием Альбертины, так как он не был знаком с ней или «знал ее, не будучи знакомым», наклонил голову, уткнувшись в воротник, с чопорным и неприятным видом. «Как его зовут, этого невежу? — спросила меня Альбертина. — Не знаю, с чего это он мне кланяется, ведь я не знакома с ним. Да я и не ответила на поклон». Я не успел от-

ветить Альбертине, так как он прямо направился к нам и сказал: «Извини, что я прерываю тебя, но я хотел сказать тебе, что завтра я еду в Донсьер. Я не могу больше откладывать, это будет невежливо, могу себе представить, что Сен-Лу-ан-Бре обо мне подумает. Предупреждаю тебя, что еду поездом в два часа. К твоим услугам». Но я думал только о том, как бы снова увидеть Альбертину и познакомиться с ее подругами, и Донсьер, где они не бывали и откуда я вернулся бы в такое время, когда они не выходили на пляж, был теперь для меня на краю света. Я сказал Блоку, что мне это невозможно. «Ну что ж, я поеду один. Прибегну к нелепым александрийцам Аруэ и скажу Сен-Лу, чтобы польстить его клерикализму: «Узнай, что своему я долгу верен буду, пускай изменник он, тебя я не забуду»». — «Правда, что он недурен, — сказала мне Альбертина, — но какой он противный». Я никогда не думал, что Блок может быть недурен; он в самом деле был недурен. У него был выпуклый лоб, нос с горбинкой, приятное лицо, выражавшее иронию, в тонкости которой, чувствовалось, он был убежден. Но он не мог нравиться Альбертине. Впрочем, причиной тому были, пожалуй, и ее отрицательные свойства: жесткость, нечувствительность, отличавшие

маленькую ватагу, грубость в ее отношениях ко всему, что не было с ней связано. Однако и впоследствии, когда я познакомил их, антипатия Альбертины не ослабела. Блок принадлежал к среде, в которой выработалась своеобразная форма компромисса между шутливым отношением к светским приличиям и достаточным, несмотря ни на что, уважением к хорошим манерам, обязательным для человека с «чистыми руками», форма, отличающаяся от принятых в светском обществе обыкновений и все же представляющая особенно отвратительную разновидность светскости. Когда его представляли кому-нибудь, он кланялся, скептически улыбаясь и в то же время стараясь проявить преувеличенную почтительность, и — если его представляли мужчине — произносил: «Очень приятно» — голосом, который издевался над произносимыми словами, но в котором слышалась уверенность, что он принадлежит не какому-нибудь хаму. Посвятив этот первый миг обычаю, который он соблюдал и вместе с тем высмеивал (как, например, первого января, когда он говорил: «Желаю вам счастливого и благополучного Нового года»), — он принимал вид проницательный и лукавый и «изрекал утонченные вещи», в которых было

много правды, но которые «действовали Альбертине на нервы». Когда я тут же сказал ей, что его фамилия — Блок, она воскликнула: «Я пари держала бы, что он еврей! Это они умеют — клопов разводить». Впрочем, в дальнейшем Альбертину раздражало и другое свойство Блока. Как многие интеллигенты, он не мог просто говорить о простых вещах. Для каждой из них он находил изысканное определение, а потом обобщал. Альбертина, которая не любила, чтобы другие обращали особенное внимание на то, что она делает, рассердилась, когда, намяв однажды ногу, что заставило ее сидеть в полном спокойствии, она вызвала замечание Блока: «Она покоится на своей кушетке, но, будучи вездесуща, она вместе с тем по-прежнему не покидает ни гольфа, ни тенниса». Конечно, то была «литература», но так как Альбертине показалось, что эти слова могут посеять недоразумение между ней и ее знакомыми, приглашения которых она не приняла, ссылаясь на невозможность двигаться, то этого было достаточно для нее, чтобы возненавидеть и лицо и голос молодого человека, говорившего подобные вещи. Мы расстались с Альбертиной, решив, что как-нибудь вместе пойдем погулять. Я разговаривал с нею, не понимая, куда падают

мои слова, что с ними делается, совершенно так же, как если бы бросал камни в бездонную пропасть. Что слова эти обычно наполняются содержанием, которое влагает в них наш собеседник, черпая его в самом себе, и которое сильно отличается от смысла, вложенного нами в те же самые слова, — это факт, постоянно находящий подтверждение в нашей жизни. Но если к тому же мы разговариваем с человеком, о воспитании которого нам ничего не известно (как, например, мне о воспитании Альбертины), чьи вкусы и правила нам неясны, так же как и книги, прочитанные им, мы не можем сказать, находят ли в нем наши слова отклик более отчетливый, чем в животном, которому ведь можно втолковать кое-какие вещи. Таким образом, моя попытка сблизиться с Альбертиной была для меня то же самое, что попытка проникнуть в область невидимого и даже невозможного, представлялась делом не менее трудным, чем если бы мне надо было объездить лошадь, и столь же отрадным, как разведение пчел или уход за кустами роз.

Всего несколько часов тому назад я думал, что Альбертина лишь издали ответит на мой поклон. Расставаясь, мы условились, что вместе совершим прогулку. Я решил, что, когда снова встречу

Альбертину, буду держаться смелее, и заранее начертал план того, что я ей скажу, и даже (так как теперь я был вполне уверен в том, что она легкомысленна) того, что я у ней попрошу. Но ум так же подвержен влияниям, как и растения, как клеточка, как химические элементы, и средой, вызывающей в нем перемены, когда он погружается в нее, являются обстоятельства, новая обстановка. Когда я снова встретился с Альбертиной, присутствие которой сделало меня иным, я сказал ей совсем не то, что намеревался сказать. Потом, вспоминая о ее воспаленном виске, я задавал себе вопрос, не более ли ценным покажется Альбертине знак внимания, в котором она увидела бы полное бескорыстие. Наконец, меня иногда смущал ее взгляд, ее улыбки. Они могли означать и легкомысленность поведения, но также и глуповатую веселость резвящейся, но, в сущности, порядочной девушки. Одно и то же выражение лица, подобно выражению, встречавшемуся в ее речи, допускало разные толкования; я был в нерешительности, как ученик, смущенный трудностями греческого текста.

На этот раз мы почти тотчас же повстречали высокую Андре, которая перескочила через председателя. Альбертине пришлось представить

меня. Глаза у ее подруги были необыкновенно светлые, точно дверь, открытая из комнаты полутемной в комнату, освещенную солнцем и зеленоватыми отблесками сверкающего моря.

Мимо нас прошли пятеро мужчин, которых по виду я хорошо знал с тех пор, как жил в Бальбеке. Я часто задавал себе вопрос, кто они такие. «Не слишком шикарные господа, — сказала мне Альбертина, презрительно усмехаясь. — Маленький старичок, крашеный, в желтых перчатках, — и вид же у него, а? лучше не бывает, — это бальбекский зубной врач, он славный тип; толстый — это мэр, только не тот, не маленький, — того вы, должно быть, видели: то учитель танцев, он тоже порядочный слизняк, он нас терпеть не может, потому что мы слишком шумим в казино, ломаем его стулья, хотим танцевать без ковра, поэтому он никогда не дает нам приза, хотя мы одни и умеем танцевать. Зубной врач — славный малый, я бы поздоровалась с ним, чтобы позлить учителя танцев, да нельзя, потому что с ними господин де Сент-Круа, член совета департамента, он из очень хорошей семьи, но перешел к республиканцам, из-за денег; ни один порядочный человек с ним не кланяется. Он знаком с моим дядей по службе, но больше никто из моих родственников

с ним не водится. Худой, в макинтоше, — это капельмейстер. Как, вы его не знаете? Играет он божественно. Вы не ходили слушать «Cavalleria Rusticana»?[38] Ах, по-моему, это идеально! Он дает концерт сегодня вечером, но мы не можем пойти, потому что это в зале мэрии. В казино — не беда, но если бы мы пошли в залу мэрии, откуда убрали распятие, с матерью Андре сделался бы удар. Вы скажете, что муж моей тети сам в правительстве. Но что тут поделаешь? Тетка — тетка и есть. Не за это я ее люблю. У ней всегда была одна забота — как бы от меня избавиться. Женщина, которая действительно заменила мне мать и которой это вдвойне можно поставить в заслугу, потому что ведь между нами никакого родства, — моя приятельница, но я люблю ее, как мать. Я покажу вам ее фотографию». К нам на минуту подошел чемпион гольфа и любитель баккара, Октав. Я подумал, что у нас с ним есть точка соприкоснове-ния, так как узнал из разговора, что он — дальний родственник Вердюренов, которому вдобавок они симпатизировали. Но он с пренебрежением отозвался о знаменитых средах и прибавил, что г-н Вердюрен не знает, когда надевать смокинг, и

[38] Примечания: 38
Опера П. Масканьи «Сельская честь».

что поэтому довольно стеснительно встречаться с ним в некоторых мюзик-холлах, где уж совсем неприятно услышать: «Здравствуй, проказник» — от какого-то господина в пиджаке и в черном галстуке, как у деревенского нотариуса. Октав нас покинул, и вскоре от нас отпала и Андре, которая дошла до своего домика, куда и завернула, не сказав мне ни слова за всю прогулку. Я тем более пожалел об этом, что в то время, как я обращал внимание Альбертины на холодность ее приятельницы со мной и мысленно сопоставлял явную неохоту Альбертины сблизить меня со своими приятельницами и ту враждебность, на которую, по-видимому, в первый день натолкнулся Эльстир при попытке исполнить мое желание, — мимо нас прошли барышни д Амбрезак, которым я поклонился и с которыми Альбертина тоже поздоровалась.

Я подумал, что от этой встречи выиграю в глазах Альбертины. Это были дочери одной родственницы г-жи де Вильпаризи, также знакомой с принцессой Люксембургской. Супруги д'Амбрезак, у которых была маленькая вилла в Бальбеке, люди чрезвычайно богатые, вели жизнь самую простую и ходили — муж всегда в одном и том же пиджаке, а жена — всегда в одном и том же тем-

ном платье. Оба они усердно кланялись бабушке, что ни к чему не приводило. Дочери, очень хорошенькие, одевались с большей элегантностью, но элегантностью городской, а не курортной. В своих длинных платьях, в больших шляпах, они казались существами иной породы, чем Альбертина. Альбертина прекрасно знала, кто они. «А-а, вы знакомы с маленькими д'Амбрезак. Ну что ж, у вас очень шикарные знакомства. Впрочем, они очень простые, — прибавила она, как будто здесь было какое-то противоречие. — Они очень милы, но так уж хорошо воспитаны, что их не пускают в казино, главным образом из-за нас, потому что у нас слишком плохие манеры. Они вам нравятся? Ну, это дело вкуса. Они точь-в-точь беленькие гусята. В этом, может быть, есть своя прелесть. Если вам нравятся беленькие гусята, то вам не остается желать лучшего. По-видимому, они могут нравиться: ведь старшая из них — невеста маркиза де Сен-Лу. И это очень огорчает младшую из них, она была влюблена в этого молодого человека. Меня раздражает уже одно то, как они говорят, — еле шевелят губами. И потом, они нелепо одеваются. Они ходят на гольф в шелковых платьях! Они, в их возрасте, одеваются с гораздо большими претензиями, чем пожилые

женщины, которые умеют одеваться. Вот госпожа Эльстир — элегантная женщина». Я ответил, что она мне показалась одетой очень просто. Альбертина рассмеялась. «Она действительно одета очень просто, но одевается она восхитительно, и чтобы достигнуть того, что *вы* называете простотой, она тратит безумные деньги». Платья г-жи Эльстир не останавливали на себе внимания того, кто не обладал уверенным и строгим вкусом в области туалета. У меня его не было. Эльстир, по словам Альбертины, обладал им в высшей степени. Я об этом не догадывался, как и о том, что каждая из изящных, но простых вещей, наполнявших его мастерскую, была совершенство, и что он долго мечтал о них, следя за ними на аукционах, знал всю их историю вплоть до того дня, когда, заработав достаточно денег, он мог наконец приобрести их. Но на этот счет Альбертина, столь же невежественная, как и я, ничего не могла мне сообщить. Что же касается туалетов, то, руководимая инстинктом кокетливости и, быть может, сожалениями бедной девушки, которая более бескорыстно, более чутко оценивает у людей богатых то, чем ей не придется украшать себя, она прекрасно сумела рассказать мне об утонченности Эльстира, столь требовательного,

что каждая женщина казалась ему плохо одетой и что, видя целый мир в каком-нибудь оттенке, в каком-нибудь сочетании, он по безумным ценам заказывал для своей жены зонтики, шляпы, манто, прелесть которых он научил Альбертину ценить и на которые человек, не обладавший вкусом, обратил бы не больше внимания, чем это сделал я. Впрочем, Альбертина, немного занимавшаяся живописью, к которой она, впрочем, по собственному признанию, не чувствовала «склонности», очень восхищалась Эльстиром, и благодаря всему тому, что он говорил и показывал ей, понимала толк в картинах, что представляло резкий контраст с ее восторженным отношением к «Cavalleria Rusticana». Дело в том, что, хотя это еще совсем не было видно, она в действительности была очень умна, и глупость того, что она говорила, принадлежала не ей, но зависела от ее окружения и от ее возраста. Эльстир имел на нее влияние благотворное, но частичное. Не все стороны ума достигали у Альбертины одинаковой степени развития. Вкус в области живописи достиг почти того же уровня, что и вкус в области туалетов и внешних форм изящества, но обогнал в своем развитии ее музыкальные вкусы, сильно отставшие.

Хоть Альбертина и знала, кто такие эти Амбрезак, всё же мне пришлось (ибо человек, которому доступно и большее, не всегда может получить меньшее) убедиться в том, что и после того, как я поклонился этим девушкам, она по-прежнему не склонна была знакомить меня со своими подругами. «Это слишком любезно, что вы придаете им такое значение. Не обращайте на них внимания, в них нет решительно ничего. Что все эти девчонки могут значить для такого человека, как вы? Андре по крайней мере удивительно умна. Она хорошая девочка, хотя совершенная чудачка, но остальные, правда же, очень глупые». Расставшись с Альбертиной, я вдруг почувствовал большую грусть при мысли, что Сен-Лу утаил от меня свою помолвку и мог решиться на такой дурной поступок — сделать предложение, не порвав со своей любовницей. Несколько дней спустя я все же был представлен Андре, и так как она вступила со мной в довольно длинный разговор, я воспользовался этим и сказал ей, что хотел бы повидать ее и завтра, но она мне ответила, что это невозможно, так как ее мать чувствует себя довольно плохо и она не хочет оставлять ее одну. Дня через два, когда я пошел к Эльстиру, он мне рассказал о том, какую симпатию чувствует

ко мне Андре, а когда я ответил: «Но ведь я тоже с первого же дня почувствовал к ней большую симпатию, я попросил у ней позволения повидать ее и завтра, но она не могла», — Эльстир мне сказал: «Да, я знаю, она мне говорила: ей было очень жаль, что она уже приглашена на пикник за десять миль отсюда, ей предстояло кататься в бреке, и она уже не могла отказаться». Хотя эта ложь, поскольку я так мало был знаком с Андре, и не имела особого значения, мне все же не следовало бы поддерживать знакомство с девушкой, оказавшейся способной на нее. Ибо, раз сделав что-нибудь, люди бесконечно повторяют то же самое. И, отправляйся мы каждый раз на свидание с приятелем, которому первые разы не удавалось прийти на свидание, который был простужен, мы неизменно будем узнавать, что он снова простужен, он снова не придет — по одной и той же причине, принимающей в его глазах разнообразные формы, в зависимости от обстоятельств.

Однажды утром, через несколько дней после того, как Андре сказала мне, что должна остаться со своей матерью, я немного прошелся с Альбертиной, которую увидел, когда она подбрасывала перед собой на шнурке какой-то причудливый

предмет, что придавало ей сходство с «Идолопоклонством» Джотто; называется эта штука «диаболо» и теперь настолько вышла из употребления, что перед портретом девушки с «диаболо» комментаторы будущего станут, пожалуй, спорить о том, что она держит в руке, как перед аллегорической фигурой в церкви Арена. Через минуту ее подруга — та, которая казалась бедной и черствой и в день нашей первой встречи так зло хихикала по поводу старика, задетого легкими ножками Андре: «Мне его жалко, бедный старикан», — подошла к Альбертине и сказала: «Здравствуй, я вам не помешаю?» Она сняла шляпу, которая ее стесняла, и волосы, словно нежная, узорно-тонкая листва какого-то восхитительного, невиданного растения, спустились ей на лоб. Альбертина, которую, может быть, раздражало, что та обнажила голову, ничего не ответила, храня ледяное молчание, которое, однако, не заставило уйти подошедшую девушку, хотя Альбертина все время держала ее на расстоянии от меня, то оставаясь рядом с ней, то идя рядом со мной и оставляя ее позади. Чтобы быть представленным, я должен был попросить ее об этом в присутствии той. В ту минуту, когда Альбертина назвала ей мое имя, на лице и в синих глазах этой девушки,

у которой, как мне показалось, был такой жестокий вид, когда она сказала: «Бедный старикан, мне его жалко», мелькнула и заблестела дружественная теплая улыбка, и она протянула мне руку. Волосы ее были золотистые, и не только волосы: несмотря на румянец щек и синеву глаз, лицо ее напоминало утреннее, еще розовеющее небо, где всюду брезжит и блестит золото.

Сразу же загоревшись, я решил, что, верно, в любви она — робкий ребенок, что, верно, ради меня, от любви ко мне, она не ушла, несмотря на грубость Альбертины, и что, должно быть, она счастлива теперь, когда ей наконец удалось сказать мне этим улыбающимся добрым взглядом, что для меня она найдет в себе столько же нежности, сколько в ней жестокости по отношению к другим. Наверно, она заметила меня на пляже еще тогда, когда я не знал о ней, и с тех пор думала обо мне; над стариком она издевалась, быть может, для того, чтоб я мог полюбоваться ею, а в следующие дни вид у нее был такой унылый потому, что ей не удавалось со мной познакомиться. По вечерам я часто видел из гостиницы, как она расхаживает вдоль берега — вероятно, в надежде встретить меня. А теперь, стесняясь Альбертины, как стеснялась бы и всей маленькой ватаги,

она, несмотря на все возраставшую холодность своей подруги, следовала за нами по пятам лишь в надежде остаться последней и условиться со мной о свидании на такое время, когда ей удалось бы вырваться незаметно от семьи и подруг и встретиться со мной до начала мессы или после гольфа в каком-нибудь надежном месте. Видеться с ней было тем более трудно, что Андре была в дурных отношениях с ней и не выносила ее. «Я долго терпела ее страшную фальшь, — сказала она мне, — ее низость, гадости, которые она мне делала без конца. Я все терпела ради других. Но последняя ее проделка переполнила чашу». И она рассказала мне про одну сплетню, которую распустила эта девушка и которая действительно могла повредить Андре.

Но слова, которые сулил мне взгляд Жизели в ожидании той минуты, когда Альбертина оставила бы нас наедине, не могли быть сказаны, так как Альбертина, упрямо разъединяя нас, продолжала отвечать все более и более отрывисто, а потом и вовсе перестала отвечать, и подруге ее в конце концов пришлось уйти. Я упрекнул Альбертину в ее нелюбезности. «Это научит ее быть поскромнее. Она не плохая девушка, но несносная. Незачем ей всюду совать свой нос.

Чего она липнет к нам, когда ее об этом не просили? Ну ее к чёрту. И кроме того, я терпеть не могу, когда она ходит с такими волосами, это дурной тон». Я смотрел на щеки Альбертины, пока она говорила, и задавал себе вопрос, какой запах, какой вкус должен быть у них: в этот день они были не то что свежи, но гладки, покрыты ровным румянцем, лиловатым, густым, как те розы, лепестки которых словно подернуты слоем воска. «Я этого не заметил», — возразил я ей. «Но ведь вы достаточно нагляделись на нее, вы как будто хотели писать с нее портрет, — сказала она мне, не смягчившись тем обстоятельством, что в эту минуту я совершенно так же смотрел и на нее. — Все-таки не думаю, чтобы она вам понравилась. Она совсем не флиртует. Вам должны нравиться девушки, которые флиртуют. Во всяком случае, скоро она лишится возможности липнуть к людям, которые все равно гонят ее: на днях она возвращается в Париж». — «А другие ваши подруги уезжают вместе с нею?» — «Нет, только она. Она и мисс, потому что у нее переэкзаменовка. Будет зубрить, бедная девчонка. Это невесело, уверяю вас. Бывает, что попадется хорошая тема. Всякие могут быть случаи. Например, одной нашей подруге попалась тема: «Опишите

какой-либо несчастный случай, при котором вы присутствовали». Вот это повезло. Но я знаю одну девушку, которой пришлось разрабатывать вопрос (да еще письменно): «Кого бы вы предпочли как друга — Альцеста или Филента?» Я бы зачахла над такой темой. Во-первых, как-никак, такой вопрос нельзя ставить молодым девушкам. Девушки дружат с девушками и не обязаны иметь приятелей-мужчин. — (Эта фраза, показавшая мне, что у меня мало надежд быть допущенным в маленькую ватагу, привела меня в трепет.) — Но, во всяком случае, даже если бы вопрос ставился молодому человеку, что, по-вашему, тут можно сказать? Некоторые семьи даже писали в «Le Gaulois», чтобы пожаловаться на трудность таких вопросов. Самое забавное, что в сборнике лучших премированных ученических сочинений есть две работы на эту тему, совершенно противоположные. Все зависит от экзаменатора. Один хотел получить ответ, что Филент — льстец и притворщик, а другой — что хотя нельзя отказать в уважении Альцесту, но он слишком уж ворчливый и как друга ему следует предпочесть Филента. Как тут, по-вашему, бедные ученицы могут разобраться во всем этом, если у самих учителей нет согласия между собой? Это еще что, с

каждым годом становится все труднее. Жизель не выкрутится без хорошей протекции». Я вернулся в гостиницу, бабушки не было там, я ее долго прождал; когда она наконец вернулась, я вымолил у нее позволение совершить в исключительно благоприятных условиях экскурсию, которая, может быть, продлится двое суток, позавтракал вместе с ней, нанял экипаж и отправился на вокзал. Жизель не удивилась бы, увидев меня там; после пересадки в Донсьере, в поезде, идущем на Париж, должен быть сквозной вагон, где, когда мисс заснет, я смогу увести Жизель в какой-нибудь темный уголок и сговориться о свидании после моего возвращения в Париж, которое я постараюсь по возможности ускорить. Смотря по ее желанию, я провожу ее до Кана или до Эвре и вернусь ближайшим встречным поездом. А все-таки что бы она подумала, если бы узнала, что я колебался между нею и ее подругами, что так же, как и ее, мне хотелось любить Альбертину, девушку со светлыми глазами и Розамунду? Теперь, когда взаимная любовь должна была соединить меня с Жизелью, я испытывал угрызения совести. Впрочем, я с полной искренностью мог уверить ее, что Альбертина мне больше не нравится. Я смотрел на нее сегодня утром, когда,

почти повернувшись ко мне спиною, она шла к Жизели, чтобы поговорить с нею. Голова была капризно опущена, и волосы на затылке, не такие, как всегда, еще более черные, блестели, как будто она только что вышла из воды. Я подумал о мокрой курице, и эти волосы открыли мне в Альбертине другую душу, не ту, о которой до сих пор говорило ее лиловатое лицо и таинственный взгляд. Блестящие волосы на затылке — это всё, на что я в течение какого-нибудь мига мог обратить внимание, и только на это я и продолжал смотреть. Наша память напоминает те магазины, в окнах которых выставляется то одна, то другая фотография того или иного лица. И обычно самая новая некоторое время одна остается на самом видном месте. Пока кучер погонял лошадей, я вспоминал те полные благодарности и нежности слова, которые говорила мне Жизель и каждому из которых дала начало ее добрая улыбка и протянутая мне рука: ведь в те периоды моей жизни, когда я не был влюблен, но хотел влюбиться, я не только носил в себе физический идеал виденной мной красоты, который я издали узнавал в каждой шедшей мне навстречу женщине, отделенной от меня расстоянием, достаточным для того, чтобы ее смутные черты не восстали против

этого отождествления, — но также и всегда готовую воплотиться мечту о нравственном облике женщины, которая влюбится в меня, станет моим партнером в той любовной пьесе, которая уже с детства сложилась у меня в голове и в которой, как мне казалось, хочет участвовать каждая приветливая девушка, если только она наделена подходящей для роли внешностью. В этой пьесе — какова бы ни была новая «звезда», которую я призывал создать роль или исполнить ее при возобновлении, — сценарии, перипетии, даже текст хранили печать «ne varietur» (не изменять).

Несколько дней спустя, несмотря на то, что Альбертина совсем не стремилась меня представить, я познакомился со всей маленькой ватагой, какою я видел ее в первый день, пребывавшей в Бальбеке в полном составе (за исключением Жизели, с которой, из-за очень долгой остановки перед шлагбаумом и перемены в расписании, мне не пришлось повидаться в поезде, отошедшем за пять минут до моего прибытия на вокзал, и о которой я, впрочем, больше и не думал), и кроме того, еще с двумя или тремя другими их приятельницами, с которыми они по моей просьбе познакомили меня. И так как надежду на наслаждение, которое я узнаю с новой девушкой,

в меня вселила девушка, познакомившая с ней, то самая последняя была — точно разновидность розы, полученная благодаря розе другого сорта. И, переносясь от венчика к венчику в этой гирлянде роз и каждый раз узнавая новую, я чувствовал удовольствие, заставлявшее меня оборачиваться к той, которой я был им обязан, и благодарность, к которой так же, как и к новым моим надеждам, примешивалась доля желания. Вскоре я стал проводить целые дни с этими девушками.

Увы, в самом свежем цветке можно открыть еле заметные точки, которые опытному уму рисуют уже то, во что превратится неизменная и предустановленная форма семени, когда засохнет или оплодотворится ныне цветущая плоть. Мы с наслаждением всматриваемся в линию носа, который напоминает нам контур волны, чудесно набухающей в утренний час и как будто неподвижной, так что ее можно было бы зарисовать, ибо море настолько спокойно, что не замечаешь прилива. Человеческие лица как будто не меняются, пока мы на них смотрим, ибо революция совершается в них слишком медленно, чтобы мы могли ее заметить. Но стоило рядом с одной из этих девушек увидеть ее мать или ее тетку, чтобы измерить весь тот путь, который, изнутри

подвергаясь влиянию заложенного в них и по большей части отвратительного типа, черты этих лиц пройдут менее чем в тридцать лет, до наступления часа, когда померкнут взгляды, когда лицо, уже совсем опустившееся за горизонт, не будет озаряться светом. Я знал, что, гнездясь так же глубоко и так же неотвратимо, как гнездится еврейский или христианский атавизм в людях, считающих себя совершенно свободными от расовых предрассудков, за розовым цветением Альбертины, Розамунды, Андре, неведомо для них самих, выжидая момента, таятся толстый нос, выпяченный рот, полнота, которые кажутся невозможными, но на самом деле скрываются за кулисами, готовые появиться на сцену, совсем как внезапный, непредвиденный, роковой дрейфусизм или клерикализм, националистический и феодальный героизм, вдруг откликнувшиеся на зов обстоятельств из недр человеческой природы, более древней, чем мы сами, — природы, благодаря которой мы мыслим, живем, развиваемся, крепнем или умираем, неспособные отличить ее от индивидуальных побуждений, отождествляя их с нею. От законов природы мы даже в умственном отношении зависим гораздо больше, чем думаем, и наш разум, подобно тай-

нобрачному растению, тому или иному злаку, заранее обладает теми особенностями, которые кажутся нам плодом нашего выбора. Мы улавливаем лишь вторичные явления, не понимая их первопричины (еврейская раса, французская семья и т. д.), которая неизбежно вызывает их и которая сказывается в нас в нужный момент. И в то время как одни из этих явлений представляются нам результатом размышлений, а другие — следствием какой-нибудь гигиенической неосторожности, мы обязаны нашей семье, подобно тому как мотыльковые формой своей обязаны семени, и мыслями, которыми живем, и болезнями, от которых нам суждено умереть.

Словно в питомнике, где цветы созревают в разное время, здесь, на бальбекском пляже, я воочию видел в лице стареющих дам те отвердевшие семена, те завядшие клубни, в которые некогда должны будут превратиться мои приятельницы. Но что мне было в том? Сейчас стояла пора цветения. И когда г-жа де Вильпаризи приглашала меня на прогулку, я старался найти какое-нибудь извинение, чтобы отказаться. У Эльстира я бывал только тогда, когда меня сопровождали мои новые приятельницы. Я не смог даже выбрать дня, чтобы съездить в Донсьер, повидать Сен-Лу, как

я ему обещал. Светские удовольствия, серьезные разговоры и даже дружеская беседа, если бы они заняли место моих прогулок с этими девушками, произвели бы на меня такое же впечатление, как если бы в час завтрака нас позвали не садиться за стол, а рассматривать альбом. Мужчины, юноши, женщины, пожилые или зрелые, общество которых нам как будто приятно, помещены для нас на плоской и шаткой поверхности, потому что они доходят до нашего сознания лишь путем чисто зрительного восприятия; но, обращаясь на молодых девушек, наше зрение является как бы представителем всех наших чувств; обоняние, осязание, вкус открывают, одно вслед за другим, различные свойства, которые воспринимаются даже без помощи рук и губ; и, наделенные благодаря умению транспонировать тому дару синтеза, которым в совершенстве обладает наше желание, способностью угадывать за цветом щек или груди прелесть запретных прикосновений, они придают этим девушкам те же медовые свойства, какими мы наслаждаемся среди кустов роз или в винограднике, пожирая глазами сочные гроздья.

Хотя плохая погода не пугала Альбертину, которую часто случалось видеть под проливным

дождем несущейся в непромокаемом плаще на велосипеде, все же, когда шел дождь, мы день проводили в казино, куда, мне казалось, нельзя было не пойти в такую погоду. Я питал величайшее презрение к барышням д'Амбрезак, которые никогда не бывали там. И я охотно помогал моим приятельницам сделать что-нибудь назло учителю танцев. Обычно мы подвергались выговору со стороны арендатора казино или служащих, присвоивших себе распорядительную власть, потому что мои приятельницы — даже Андре, которую по этой причине я в первый день счел натурой столь вакхической, хотя она, напротив, была девушкой хрупкой, очень интеллигентной и много болела в этом году, но, несмотря на это, повиновалась не столько состоянию своего здоровья, сколько духу этого возраста, побеждающего всё и сливающего в общей веселости больных и здоровых, — не могли войти в вестибюль, в бальную залу иначе, как с разбега, прыгали через скамейки, носились по скользкому паркету, грациозно вскинув руки и удерживая таким образом равновесие, напевали, сочетая в этой полноте юности все искусства, подобно поэтам древности, для которых отдельные жанры еще не успели обособиться и которые в эпической поэме перемешивают советы земле-

дельцу с богословскими наставлениями.

Эта Андре, показавшаяся мне в первый день самой холодной из них, отличалась несравненно большей мягкостью, чем Альбертина, по отношению к которой она проявляла кроткую и ласковую нежность старшей сестры. В казино она садилась рядом со мною и, в противоположность Альбертине, могла отказаться от приглашения на тур вальса — или даже, если я чувствовал усталость, соглашалась не ходить в казино, а побыть со мной в гостинице. В ее расположении ко мне, к Альбертине были оттенки, свидетельствовавшие о самом совершенном понимании жизни сердца, которым она отчасти была обязана своей болезненности. Она всегда умела с веселой улыбкой извинить детские повадки Альбертины, с наивной страстностью признававшейся, какой непреодолимый соблазн представляют для нее разные развлечения, от которых она не решилась бы отказаться, подобно Андре, чтобы побеседовать со мною… Когда наступало время идти пить чай на лужайке гольфа, если мы в этот момент были все вместе, Альбертина одевалась, потом, подойдя к Андре, говорила: «Ну, что же, Андре, чего ты тут ждешь, ты знаешь, что мы идем пить чай на гольф». — «Нет, я останусь, мы с

ним разговариваем», — отвечала Андре, указывая на меня. «Да ты же знаешь, что госпожа Дюрье тебя пригласила!» — восклицала Альбертина, как будто намерение Андре остаться со мною можно было объяснить только ее неосведомленностью о том, что ее пригласили. «Ну-ну, детка, не будь такой дурочкой», — отвечала Андре. Альбертина не настаивала — из опасения, как бы ей тоже не предложили остаться. Она встряхивала головой. «Делай как знаешь, — отвечала она, как говорят больному, которому нравится сжигать свою жизнь на медленном огне, — а я удираю, потому что, по-моему, твои часы отстают», — и она убегала во всю прыть. «Она очаровательная, но такая невозможная», — говорила Андре, словно обнимая ее улыбкой, которая и ласкала ее подругу, и служила ей упреком. Если в этой страсти к развлечениям у Альбертины было нечто общее с Жильбертой прежних дней, это объясняется тем, что существует известное, все время эволюционирующее, сходство между женщинами, которых мы последовательно любим, сходство, зависящее от постоянства нашего темперамента, ибо именно на них он останавливает свой выбор, проходя мимо всех тех, которые не являлись бы нашей противоположностью и вместе с тем

дополняли бы нас, то есть не были бы способны удовлетворять нашей чувственности и мучить наше сердце. Они, эти женщины, — создание нашего темперамента, отражение, опрокинутая проекция, негатив наших чувств. Таким образом, романист, описывая жизнь своего героя, мог бы почти одинаковыми чертами изобразить его любовные увлечения, сменяющие друг друга, и тем самым создать впечатление, что он не повторяется, а творит нечто новое, ибо в искусственной новизне меньше силы, чем в повторении, имеющем целью подсказать новую истину. Всё же в характере влюбленного ему следует отмечать признаки изменчивости, проявляющейся по мере того, как он вступает в новые сферы жизни, как меняются для него ее широты. Быть может, он сказал бы одной истиной больше, если бы, нарисовав характеры других действующих лиц, воздержался от характеристики женщины, которую любит герой. Нам знаком характер людей, безразличных для нас, но как могли бы мы уловить характер существа, которое сливается с нашей жизнью, которое вскоре мы перестаем отделять от самих себя, чьи побуждения все время заставляют нас создавать тревожные гипотезы, в которые мы беспрерывно вносим поправки? Воз-

никая за пределами разума, наше желание узнать любимую женщину идет дальше характера этой женщины; если б мы и могли на нем остановиться, мы бы, наверно, не пожелали. Объект наших тревожных поисков существеннее, чем особенности характера, подобные тем микроскопическим участкам кожи, различные сочетания которых создают цветущее своеобразие тела. Лучи нашей интуиции проникают сквозь них, и образы, которые они нам приносят, не являются образами индивидуального лица, но выражают мрачную и скорбную всеобщность скелета.

Так как Андре была чрезвычайно богата, Альбертина же бедна и не имела родителей, Андре щедро делилась с ней своей роскошью. Что же касается ее чувств по отношению к Жизели, они были не совсем такие, как я думал. От Жизели вскоре были получены известия, и когда Альбертина показала ее письмо, в котором Жизель сообщала маленькой ватаге о своем путешествии и приезде в Париж, извиняясь, что по лени не написала еще другим, я с удивлением услышал, как Андре, которую я считал смертельно поссорившейся с Жизелью, сказала: «Я завтра напишу ей, потому что если я буду ждать ее письма, то придется еще долго ждать, она такая безалаберная»

— и, обернувшись ко мне, прибавила: «Конечно, вы не найдете в ней ничего замечательного, но она такая славная девочка, и потом, я, право, очень привязана к ней». Я заключил, что ссоры Андре быстро кончаются.

Так как за исключением дождливых дней мы обычно отправлялись на велосипедах в поле или к прибрежным скалам, то уже за час я начинал прихорашиваться и сокрушался, если случалось, что Франсуаза плохо приготовила принадлежности моего туалета. Даже в Париже, стоило только упрекнуть ее в чем-нибудь, она гордо и гневно выпрямляла свой стан, хоть он уже и начинал сгибаться под тяжестью лет, — она, такая покорная, скромная и пленительная, когда ее самолюбие было польщено. Так как оно было главной пружиной ее поступков, то удовлетворенность и хорошее расположение духа были у Франсуазы прямо пропорциональны трудности поручаемой ей работы. То, что ей приходилось делать в Бальбеке, было так легко, что она почти всегда выказывала неудовольствие, которое мгновенно удесятерялось и сопровождалось гордым и ироническим выражением, если я, собираясь к моим приятельницам, начинал жаловаться, что шляпа моя не вычищена или что мои галстуки

в беспорядке. Способная выполнить самую тяжелую работу с таким видом, точно она ничего не сделала, теперь, услышав простое замечание, что пиджак не на месте, она не только начинала хвастаться, как заботливо она его «убрала, только бы он не валялся в пыли», но, по всем правилам произнося похвальное слово своим трудам, сетовала, что в Бальбеке ей нет отдыха, что не сыскать другой работницы, которая согласилась бы на такую жизнь. «Просто не поймешь, как это можно так разбросать свои вещи! посмотрели бы вы, как бы другая справилась с такой путаницей. Сам чёрт тут ничего не разберет». Или же, приняв вид королевы, она ограничивалась тем, что бросала на меня разъяренные взгляды и хранила молчание, сразу же прерывавшееся, как только она закрывала за собой дверь и попадала в коридор; тогда раздавались речи, обидные для меня, как я мог догадаться, но остававшиеся столь же невнятными, как слова действующего лица, которое произносит первую реплику за кулисой, еще до выхода на сцену. Впрочем, когда я собирался на прогулку с моими приятельницами, даже если все было на месте и Франсуаза находилась в хорошем расположении духа, она все же была невыносима. Ибо, пользуясь тем, что, в своей

потребности говорить об этих девушках, я шутил при ней на их счет, она открывала мне такие веши, которые были бы мне лучше известны, чем ей, если б они соответствовали истине, но они ей не соответствовали, и Франсуаза попросту плохо понимала мои слова. У нее, как у всякого, был свой характер; человек никогда не бывает похож на прямой путь, но поражает нас странными и неизбежными извилинами, которых другие не замечают и по которым нам трудно бывает следовать. Каждый раз, как я доходил до «шляпа не на месте», «чёрт побери Андре и Альбертину», Франсуаза заставляла меня блуждать по окольным и нелепым дорогам, отчего я сильно запаздывал. То же самое происходило, когда я просил приготовить сандвичи с честером и салатом и купить пирожные, которыми я собирался позавтракать на прибрежном утесе в компании этих девушек и о которых они могли бы поочередно заботиться сами, если бы не были такие скаредницы, как заявляла Франсуаза, на помощь которой являлась вся унаследованная провинциальная жадность и грубость, так что можно было подумать, будто душа покойной Евлалии, разделившись на части, воплотилась, с большей грациозностью, чем в святого Элуа, в прелестные тела моих приятель-

ниц из маленькой ватаги. Я бесился, слушая эти обвинения и чувствуя, что дошел до такого места, начиная от которого глухая проселочная дорога, какою являлся характер Франсуазы, становится непроходимой, — к счастью, ненадолго. Затем, когда пиджак удавалось найти и сандвичи оказывались приготовленными, я шел к Альбертине, Андре, Розамунде, к которым присоединялись и другие, и, пешком или на велосипедах, мы отправлялись в путь.

Несколько недель тому назад я предпочел бы, чтоб эта прогулка происходила в дурную погоду. Тогда в Бальбеке я старался увидеть «страну киммерийцев», и ясные дни были бы здесь чем-то недопустимым, вторжением пошлого лета с его купальщиками в ту древнюю страну, окутанную туманами. Но теперь все то, чем я пренебрегал, что я устранял из поля зрения, и не только солнечный свет, но даже гонки и скачки, все это возбуждало во мне страстные мечты, по той же причине, по которой прежде море мне хотелось видеть только в бурю и которая заключалась в том, что, как и те, прежние мечты, они связаны были с эстетическими представлениями. Дело в том, что я с моими приятельницами несколько раз навещал Эльстира, а в те разы, когда я при-

ходил к нему в их обществе, он охотнее всего показывал наброски хорошеньких женщин на яхтах или какой-нибудь эскиз, писанный на ипподроме поблизости от Бальбека. Сначала я робко признался Эльстиру, что не желал бывать на сборищах, которые там происходили. «Напрасно, — сказал он мне, — это так красиво и к тому же так любопытно! Во-первых, это своеобразное существо — жокей, на которого обращено столько взглядов и который в своей ослепительной куртке остается хмурым, сероватым, сливаясь в одно целое со своей гарцующей лошадью, которую он сдерживает, — как интересно было бы подчеркнуть его профессиональные движения, показать то блестящее пятно, которым он выделяется на фоне ипподрома, так же как и «рубашки» лошадей. Как всё меняется здесь, на этом огромном лучистом поле ипподрома, где вас поражают бесчисленные тени и отсветы, которые только здесь и можно увидеть. До чего красивы могут быть здесь женщины! Восхитительно было на открытии, и были там женщины необыкновенно изящные, залитые тем влажным, голландским освещением, в котором чувствуется пронизывающий холод воды, чувствуется даже в лучах солнца. Никогда мне еще не случалось видеть

женщин в экипажах или с биноклями у глаз в таком освещении, как это, зависящем, наверно, от влажности морского воздуха. Ах, как бы мне хотелось передать это освещение! Я вернулся с этих скачек вне себя, с таким желанием работать!» Потом он с еще большим восхищением рассказывал о яхтах, и я понял, что гонки, спортивные состязания, когда красиво одетые женщины купаются в серовато-зеленом освещении морского ипподрома, могут для современного художника представить мотив столь же интересный, как те празднества, которые так любили изображать Веронезе или Карпаччо. «Ваше сравнение тем более точно, — сказал мне Эльстир, — что благодаря городу, где они происходили, празднества в известной мере имели морской характер. Но только красота судов в те времена чаще всего состояла в их громоздкости, их сложности. Там бывали состязания на море, так же как и здесь; они устраивались обычно в честь какого-нибудь посольства — вроде того, что Карпаччо изобразил в легенде о святой Урсуле. Суда были массивные, строились точно здания и казались почти земноводными, чем-то вроде миниатюрных Венеций посреди той, другой, когда, соединенные с берегом перекидными мостиками, покрытые алым

атласом или персидскими коврами, переполненные женщинами в вишнево-красной парче или в зеленом штофе, эти суда стояли совсем близко от балконов, инкрустированных разноцветным мрамором, с которых глядели другие женщины, в платьях с черными прорезными рукавами, перехваченными жемчугом и украшенными гипюром. Уже нельзя было сказать, где кончается земля, где начинается вода, где граница между дворцом и судном, будь то каравелла, галеацца, буцентавр. Альбертина с жадным вниманием слушала Эльстира, рассказывавшего об этих костюмах, рисовавшего нам картины роскоши. «О, мне бы так хотелось видеть гипюр, о котором вы рассказываете, это так красиво, венецианские кружева, — восклицала она, — вообще я так мечтаю побывать в Венеции!» — «Вскоре вам, пожалуй, — сказал ей Эльстир, — удастся посмотреть те чудные материи, которые носили там. Их можно было видеть только на картинах венецианских живописцев или совсем изредка в церковных ризницах, иногда они попадались на каком-нибудь аукционе. Но говорят, что венецианский художник Фортуни открыл тайну их выделки и не пройдет и несколько лет, как женщины смогут гулять, а главное, сидеть у

себя дома в платьях из той великолепной парчи, которую Венеция для жен своих патрициев украшала восточными узорами. Но я не знаю, понравится ли мне это, не будут ли эти одежды слишком анахроническими для современных женщин, даже на морских состязаниях, потому что, возвращаясь к нашим современным яхтам, это — полная противоположность тому, что было во времена Венеции — «королевы Адриатики». Главная прелесть яхты, обстановка яхты, туалетов, которые видишь на яхте, это — их морская простота, а я так люблю море! Признаюсь, теперешние моды я предпочитаю модам времен Веронезе и даже Карпаччо. Что лучше всего в наших яхтах — особенно в яхтах средних размеров, я не люблю огромных яхт, слишком похожих на корабли, тут то же самое, что со шляпами: надо соблюдать известные границы, — это гладкость, простота, ясность, сероватость, которая в облачные, голубоватые дни принимает молочный, расплывчатый оттенок. Каюта, где собираются, должна напоминать маленькое кафе. То же самое и женские туалеты на яхте, легкие, белые и гладкие, из полотна, из батиста, из китайской тафты, из тика, которые на солнце, среди синевы моря выделяются таким же ослепительно белым

пятном, как белый парус. Впрочем, лишь очень немногие женщины умеют хорошо одеваться. Некоторые все же изумительны. На скачках у мадемуазель Лии была маленькая белая шляпа и маленький белый зонтик, это было восхитительно. Не знаю, чего бы я не дал, лишь бы достать этот маленький зонтик». Мне так хотелось узнать, чем этот маленький зонтик отличается от других; и по другим мотивам, мотивам женского кокетства, Альбертине этого хотелось еще больше. Но если Франсуаза говорила о своих суфле: «Тут все дело в умении», — то здесь все различие было в покрое. «Он был, — рассказывал Эльстир, — совсем маленький, совсем круглый, как китайский зонтик». Я приводил в пример зонтики некоторых дам, но это было совсем не то. По мнению Эльстира, все эти зонтики были безобразны. Обладая строгим и совершенным вкусом, он в какой-нибудь безделице, которая была для него всё, улавливал различие, отделявшее все то, что носили три четверти женщин и что внушало ему отвращение, от красивой вещи, восхищавшей его; и — в противоположность мне, для которого всякая роскошь являлась чем-то расхолаживающим, — она возбуждала в нем желание работать, «пытаться создать вещи

столь же красивые». «Посмотрите, эта девочка уже поняла, чем отличались шляпа и зонтик», — сказал мне Эльстир, показывая на Альбертину, глаза которой загорелись вожделением. «Как бы я хотела быть богатой, чтобы иметь яхту, — сказала она художнику. — Я бы советовалась с вами, как ее обставить. Какие чудные путешествия можно было бы совершать. И как хорошо было бы съездить на гонки в Кауз. И автомобиль! Как по-вашему, красивы женские моды для поездок в автомобиле?» — «Нет, — отвечал Эльстир, — но это придет. Впрочем, очень мало хороших портних, одна-две: Кало, хотя она слишком увлекается кружевом, Дусе, Шерюи, иногда Пакен. Остальные ужасны». — «Но, значит, существует огромная разница между туалетом от Кало и от какого-нибудь обыкновенного портного?» — спросил я Альбертину. «Громадная разница, дитя мое, — ответила она. — Ах, извините… Только, увы, то, что в другом месте стоит триста франков, у них стоит две тысячи. Но зато не будет ничего общего. Только для людей, которые в этом ничего не понимают, это одно и то же». — «Совершенно правильно, — заметил Эльстир, — хотя все же нельзя сказать, чтобы разница была такая же глубокая, как между статуями в Реймсском соборе

и в церкви Святого Августина. Кстати, по поводу соборов, — сказал он, обращаясь только ко мне, так как это относилось к разговору, в котором девушки не участвовали и который, впрочем, не представил бы для них никакого интереса, — я говорил вам прошлый раз, что бальбекская церковь похожа на большую скалу, на кучу камня, но вот обратный пример, — сказал он, показывая мне акварель, — посмотрите на эти скалы (это эскиз, сделанный тут — совсем вблизи, в Кренье), поглядите, как эти скалы своими мощными и тонкими очертаниями напоминают собор». И действительно, можно было подумать, что это огромные розовые своды. Но писанные в жаркий день, они казались превращенными в пыль или в пар под влиянием зноя, который выпил половину моря, обращенного на всем протяжении холста в состояние почти газообразное. В лучах света, словно разрушившего всякую реальность, последняя сосредоточилась в созданиях темных и прозрачных, которые по контрасту вызывали более разительное, более близкое нам впечатление жизненности, — в тенях. Большая часть этих теней, жаждущих прохлады, бежала от воспаленного морского простора, чтобы приютиться у подножия скал, защищавших их от солнца;

остальные же медленно плыли по волнам, точно дельфины, цепляясь за лодки, корпуса которых словно расширялись на фоне бледной воды благодаря этим лоснящимся синим телам. Может быть, именно жажда прохлады, сказывающаяся в них, создавала впечатление зноя и даже заставила меня громко выразить сожаление, что мне не довелось побывать в Кренье. Альбертина и Андре стали уверять, что я был там сто раз. Если это было так, то я не знал и не подозревал, что вид этих утесов может когда-нибудь возбудить во мне такую жажду красоты — правда, не красоты естественной, которую я до сих пор искал в бальбекских скалах, но скорее архитектурной. Я, приехавший сюда, чтобы видеть царство бурь, я, которому океан во время наших прогулок с г-жой де Вильпаризи, когда нередко он виднелся лишь вдалеке, вырисовываясь в просветах между деревьями, представлялся всегда недостаточно реальным, недостаточно подвижным, недостаточно живым, лишенным той силы, что кидает водные массы, — я, которому его неподвижность могла бы прийтись по вкусу только под зимним саваном туманов, — я ни за что бы не поверил, что буду теперь мечтать о море, превратившемся в беловатый пар, утратившем всякую плотность

и окраску. Но подобно тем людям, что грезили в лодках, оцепеневших от жары, Эльстир так глубоко проникся очарованием этого моря, что сумел передать, закрепить на холсте неуловимый плеск воды, пульсацию блаженного мига; и, глядя на этот волшебный портрет, вы вдруг исполнялись такой любви, что оставалось одно только желание — обегать весь свет и обрести этот умчавшийся день во всей его мгновенной и дремотной прелести.

Таким образом, если до этих встреч с Эльстиром — до того как марина его кисти, изображавшая на палубе яхты с американским флагом молодую женщину в барежевом или батистовом платье, отразилась в моем воображении, породив в нем дублет белого батистового платья и флага и неутомимое желание сию минуту увидеть белые батистовые платья и флаги на море, как будто мне никогда не случалось видеть этого, — я, стоя на берегу моря, всегда старался устранить из поля зрения как купальщиков, находившихся на первом плане, так и яхты с чересчур белыми парусами, похожими на летний костюм, — всё, мешавшее мне поверить, что я созерцаю эту извечную пучину, которая жила своей таинственной жизнью еще до появления человека и

осталась той же вплоть до нынешних лучезарных дней, придававших в моих глазах этому берегу туманов и бурь пошлый, обыкновенный летний облик, означавших лишь простой перерыв, эквивалент того, что в музыке называют *паузой*, — то теперь дурная погода становилась для меня жестокой случайностью, уже недопустимой в мире красоты, мне страстно хотелось найти в действительности то, что так восхищало меня, и я надеялся, что погода еще будет благоприятная и с высоты прибрежных утесов мне удастся увидеть те же самые тени, что на картине Эльстира.

В дороге я уже не заслонял глаза рукою, как в те дни, когда, представляя себе природу как нечто одушевленное жизнью более давней, чем человечество, нечто противоположное тем докучным усовершенствованиям промышленности, которые доселе на всемирных выставках или у модисток вызывали во мне только охоту зевать, я старался смотреть только на ту часть моря, где не было пароходов, чтобы видеть в нем извечную стихию, современницу тех дней, когда оно отделилось от суши, самое большее — современницу первых веков Греции, благодаря чему я мог с полной убежденностью повторять стихи «папаши Леконта», любезные сердцу Блока:

//И отплыли цари на стругах легкокрылых,
И с ними двинулся в пучину бурных вод
Косматых эллинов воинственный народ.[39]//

Я уже не был в силах презирать модисток, так как Эльстир сказал мне, что легкое прикосновение, которым они завершают свою работу, в последний раз лаская банты или перья готовой шляпы, для него такой же интересный мотив, как и движения жокея (что привело Альбертину в восторг). Но теперь мне надо было ждать возвращения в Париж, чтобы видеть работу модисток, или — на будущий год — в Бальбек, где до тех пор уже не могло быть ни скачек, ни морских гонок. Даже яхты с женщинами в белом батисте теперь нельзя было увидеть.

Мы часто встречали сестер Блока, которым мне приходилось кланяться с тех пор, как я обедал у их отца. Мои приятельницы не были с ними знакомы. «Мне не позволяют играть с израильтянами», — говорила Альбертина. Уже ее манера произносить «иссраильтяне» вместо «израильтяне», даже если бы вы не слышали начала фразы, указывала на то, что несимпатия к избранному народу одушевляет этих девушек из благочести-

---

[39] Примечания: 39
Перевод М. Лозинского.

вых буржуазных семейств, способных поверить в то, что евреи режут христианских детей. «Вообще они какие-то гадкие, эти ваши приятельницы», — говорила мне Андре с улыбкой, показывавшей, что она не считает их моими приятельницами. «Как и все их племя», — добавляла Альбертина наставительным тоном многоопытного человека. Откровенно говоря, сестры Блока, слишком разодетые и в то же время полуголые, томные, наглые, щеголявшие роскошью, хоть и замарашки, производили впечатление не блестящее. А одна из их кузин, которой было лишь пятнадцать лет, скандализовала всех в казино своим поклонением мадемуазель Лие, в которой г-н Блок-отец высоко ценил ее драматический талант, но которая, как говорили, чувствовала склонность не к мужчинам.

Бывали дни, когда местом чаепития мы выбирали какую-нибудь соседнюю ферму-ресторан. Это — фермы под вывесками «Дезекор», «Мария Терезия», «Гейландский крест», «Багатель», «Калифорния», «Мария Антуанетта». На последней в конце концов остановилась маленькая ватага.

Но иногда, вместо того чтобы идти на ферму, мы подымались на вершину утеса и, усевшись там на траве, развязывали пакет с сандвичами и

пирожными. Мои приятельницы предпочитали сандвичи и удивлялись, что я съедаю только кусок шоколадного торта, готически изукрашенного сахаром, или абрикосовое пирожное. Дело было в том, что сандвичи с честером или салатом, пища новая для меня и невежественная, ничего мне не говорили. А шоколадный торт был осведомлен, пирожное было болтливо. В торте чувствовалась приторность сливок, в пирожных — свежесть фруктов, которая много знала о Комбре, о Жильберте, не только той Жильберте, которую я видел в Комбре, но и той, у которой я бывал в Париже на чаепитиях, где я снова обрел все это. Они напоминали мне о тех десертных тарелках, рисунки которых на сюжеты «Тысячи и одной ночи» так развлекали мою тетю Леонию, когда Франсуаза приносила ей то Аладдина или Волшебную лампу, то Али-Бабу, то Грезящего наяву, то Синдбада-Морехода, нагружающего свои богатства на корабль в Бассоре. Мне бы очень хотелось снова их увидеть, но бабушка не знала, что с ними сталось, и, кроме того, думала, что это были самые обыкновенные тарелки, купленные где-нибудь в самом Комбре. Не всё ли равно? На фоне серого, как всё в Шампани, Комбре, они и их рисунки выделялись красочным пятном, как

в темной церкви — цветные стекла, переливающиеся словно драгоценные камни, как в сумраке моей комнаты — картины волшебного фонаря, как перед вокзалом местной железной дороги — индийские лютики и персидская сирень, как принадлежавшая моей двоюродной бабушке коллекция старого китайского фарфора в мрачном жилье старой провинциальной дамы.

Лежа на скале, я видел перед собою только луга, а над ними — не семь небес, о которых говорит христианская физика, но всего лишь два неба: одно, более темное, — море, а повыше — другое, более бледное. Мы закусывали, а если у меня оказывалась с собой какая-нибудь вещица, которая могла бы понравиться той или иной из моих приятельниц, радость с такой внезапной силой заливала их светлые лица, в одно мгновение загоравшиеся румянцем, что губы не в силах были сдержать ее и, чтобы дать ей выход, разражались смехом. Они окружали меня; и между их лицами, отделенными одно от другого небольшими промежутками, в воздухе извивались лазурные тропинки, словно проложенные садовником, который пожелал оставить хоть небольшой просвет, чтобы ему легче было двигаться среди кустов роз.

Когда наши запасы приходили к концу, мы принимались за игры, которые раньше показались бы мне скучными, игры такие детские, как «Башня-берегись» или «Кто первый засмеется», но от которых я теперь не отказался бы и за полцарства; заря юности, которая алела на лицах этих девушек, но которая для меня уже миновала, всё освещала перед ними и, как текучая живопись художников Раннего Возрождения, выделяла на золотом фоне самые незначительные детали их жизни. В большинстве своем самые лица этих девушек сливались в неясном румянце зари, из которого подлинные их черты еще не успели отчетливо выступить. Взорам являлся лишь пленительный колорит, сквозь который еще нельзя было разглядеть, каким через несколько лет станет профиль. В теперешнем их профиле не было ничего определившегося, и он, может быть, представлял лишь мимолетное сходство с каким-нибудь покойным членом семьи, которому природа сделала эту посмертную любезность. Так скоро наступает день, когда уже больше нечего ждать, когда тело застывает в неподвижности, уже исключающей всякие неожиданности, когда мы утрачиваем всякую надежду, видя, как падают и седеют волосы, словно сухие листья на

деревьях в разгаре лета, хотя лицо еще молодо; оно так коротко, это лучезарное утро, что начинаешь любить только очень молодых девушек, тех, чья плоть еще бродит, как драгоценное тесто. Они — мягкий воск, форму которого ежеминутно меняет завладевающее ими беглое впечатление. Каждую из них можно бы сравнить со статуэткой, воплощающей то веселость, то юношескую серьезность, то удивление, то лукавую ласковость, — статуэткой, которую лепит какое-нибудь искреннее и законченное, но мимолетное выражение лица. Эта пластичность придает большое разнообразие и большую прелесть милым знакам внимания, которые нам оказывает девушка. Разумеется, мы неизбежно встретим их и у женщины, и та, которой мы не нравимся или которая не показывает вида, что мы ей нравимся, становится в наших глазах скучно-однообразной. Но начиная с известного возраста эта милая заботливость уже не вызывает нежной зыби на лице, приведенном в неподвижность жизненной борьбой, навсегда принявшем воинственное или экстатическое выражение. Иногда непрестанное послушание, подчиняющее жену мужу, придает ей облик скорее солдата, чем женщины, — а иногда женское лицо, храня следы жертв, кото-

рые мать каждый день приносила ради детей, начинает напоминать лицо апостола. Иногда, после долгих лет невзгод и бурь, женщина лицом превращается в старого морского волка, и только одежды ее обличают пол. И разумеется, если мы любим женщину, внимание, которое мы видим с ее стороны, может еще придавать новое очарование тем часам, которые мы проводим подле нее. Но эта женщина не бывает для нас всякий раз различной. Ее веселость остается посторонней ее неизменному лицу. Но этой поре окончательного застывания предшествует юность, и поэтому-то вблизи молодых девушек мы ощущаем такую же свежесть, как от зрелища непрестанно меняющихся форм, игры неустойчивых противоположностей, напоминающей непрерывное возрождение вечной стихии, которое мы созерцаем, стоя на берегу моря.

Не только светский утренний прием, не только прогулку с г-жою де Вильпаризи принес бы я в жертву, лишь бы поиграть в «веревочку» или в «загадки» с моими приятельницами. Робер де Сен-Лу несколько раз давал мне знать, что, так как я не навещаю его в Донсьере, он решил взять суточный отпуск и провести его в Бальбеке. *Я* каждый раз писал ему, чтобы он этого не делал, и

в оправдание ссылался на семейные обязанности, ради которых нам с бабушкой именно в этот день надо будет отлучиться по соседству. Наверно, у него должно было сложиться дурное мнение обо мне, когда он узнал от своей тетки, в чем состояли эти «семейные обязанности» и кто были особы, исполнявшие в данном случае роль бабушки. И все же я, пожалуй, не был не прав, когда не только светские удовольствия, но и радости дружбы приносил в жертву возможности провести целый день в этом саду. Люди, имеющие возможность жить для самих себя, — правда, что люди эти — художники, а я уже давно был убежден, что никогда не стану художником, — должны жить для самих себя, а дружба избавляет их от этой необходимости, приводит к самоотречению. Даже разговор, один из способов высказать дружбу, есть лишь ненужное разглагольствование, ничего нам не дающее. Мы можем разговаривать всю жизнь, только и делая, что бесконечно повторяя пустоту какого-нибудь мига, меж тем как в уединении творческого художественного труда мысль идет в глубину, двигается в том единственном направлении, которое еще открыто нам, где мы можем — правда, с большим трудом — двигаться вперед, ставя себе целью истину. А дружба, так же как и

разговор, не только лишена каких бы то ни было положительных качеств, она к тому же и пагубна. Ибо чувство скуки, которое те из нас, чье развитие совершается по чисто внутренним законам, не могут не испытывать, находясь в обществе друга, то есть оставаясь на поверхности самих себя, вместо того чтобы идти в глубину и продолжать путь, сулящий нам открытия, — это чувство скуки сглаживают в нас, когда мы остаемся наедине, внушения дружбы, заставляющие нас с волнением вспоминать слова нашего друга, смотреть на них как на ценный дар, хотя мы похожи не на здания, каменную оболочку которых можно утолщать извне, а на деревья, которые собственным соком питают всякое новое колено своего ствола, верхний ярус своей листвы. Я лгал самому себе, я переставал расти в том направлении, в котором действительно мог вырасти и добиться счастья, когда радовался тому, что меня любит, что мной восхищается человек такой добрый, такой умный, пользующийся таким успехом, как Сен-Лу, когда я направлял свое сознание не на собственные свои смутные впечатления, в которых мне следовало бы разобраться, но на слова моего друга, и — повторяя их, заставляя повторять их то второе «я», живущее в нас, на которое мы всегда с

такой охотой сваливаем бремя мышления, — пытался найти в них красоту, очень далекую от той, которой искал в безмолвии, когда был по-настоящему один, но возвышавшую в моих глазах и Робера, и меня самого, и мою жизнь. В той жизни, которую создавал для меня этот друг, я, как мне казалось, был заботливо защищен от одиночества, полон благородного желания принести себя в жертву ради него — словом, был не способен дать выражение своей личности. Но если, напротив, удовольствие, которое я испытывал вблизи этих девушек, было эгоистично, то по крайней мере в основе его не лежала ложь, пытающаяся внушить нам, что мы не безнадежно одиноки, и не позволяющая нам, когда мы разговариваем с кем-нибудь, признаться себе в том, что говорим уже не мы, что мы создаем себе сходство с людьми посторонними, удаляемся от своего «я», не похожего на них. Слова, которыми я обменивался с девушками из маленькой ватаги, были мало интересны, к тому же редки, прерывались по моей вине долгими паузами. Это не мешало мне слушать их, когда они обращались ко мне, с таким же удовольствием, какое я чувствовал, глядя на них, и открывать в голосе каждой из этих девушек живую и яркую картину. С наслажде-

нием слушал я их чириканье. Любовь помогает различать, дифференцировать. Любитель птиц сразу же определяет в лесу тот характерный для каждой птицы щебет, которого непосвященный не умеет различать. Тот, кому дороги молодые девушки, знает, что человеческие голоса еще более разнообразны. Каждый голос богаче звуками, чем любой музыкальный инструмент. И сочетания звуков, создаваемые голосом, так же неисчерпаемы, как бесконечное разнообразие личностей. Разговаривая с той или иной из моих приятельниц, я замечал, что та замысловатость, та деспотическая навязчивость, с которой вырисовывалась предо мною подлинная неповторимая картина ее индивидуальности, определяются как оттенками ее голоса, так и изменчивостью ее облика, и что оба эти зрелища выражают, каждое в своей плоскости, ту же своеобразную реальность. Конечно, голоса, так же как и черты лица, еще не успели окончательно установиться; первым предстояли еще колебания, вторым — изменения. Подобно тому как у детей есть железа, благодаря которой им легче переваривать молоко и которой у взрослых не существует, в щебетании этих девушек были звуки, каких уже не встречается у женщин. И на этом допускающем большее

разнообразие инструменте они, напрягая губы, играли с тем усердием, с той напоминающей ангелов-музыкантиков Беллини страстностью, которая составляет удел одной лишь юности. Впоследствии этим девушкам предстояло утратить интонации восторженной убежденности, которая самым простым вещам придавала прелесть, когда, например, Альбертина авторитетным тоном изрекала свои каламбуры, которые младшие товарки выслушивали с восхищением, пока на них не нападал безумный смех, неудержимый, как чиханье, или когда Андре начинала говорить об их школьных работах, еще более детских, чем их игры, полные такой ребяческой важности; и в их словах слышались повышения и понижения, словно в строфах античных времен, когда поэзия была еще мало отграничена от музыки и стихи произносились на разных нотах. Как бы то ни было, в голосах этих девушек уже отчетливо выражалась предвзятость мнений, которые эти маленькие особы составили себе о жизни, предвзятость настолько индивидуальная, что если бы мы сказали об одной из них: «Она ко всему относится шутя», о другой: «Она с каждым днем все категоричнее», о третьей же: «Она останавливается в нерешительном ожида-

нии», мы бы воспользовались формулировкой слишком общей. Черты нашего лица — не что иное, как жесты, ставшие благодаря привычке чем-то окончательным. Как помпейская катастрофа, как превращение в куколку, природа заставляет нас застыть в привычном движении. Точно так же и в наших интонациях заключена философия жизни, все то, что человек говорит себе об окружающем мире. Конечно, эти черты принадлежали не только этим молодым девушкам. Они принадлежали и их родным. Отдельная личность погружена в нечто более общее, чем сама она. В этом смысле родные передают нам не только тот привычный жест, который представляют собою черты лица и голоса, но также известные выражения, излюбленные фразы, в которых почти так же бессознательно, как и в интонациях, почти так же глубоко сказывается взгляд на жизнь. Что касается молодых девушек, то, правда, некоторых выражений родители не передают им до известного возраста, обычно до тех пор, пока они не станут женщинами. Эти выражения держат про запас. Так, например, когда речь заходила о картинах одного из друзей Эльстира, Анд-ре, не носившая еще прически, сама не могла пользоваться фразой, к которой

прибегали ее мать и ее замужняя сестра: «По-видимому, очаровательный *мужчина».* Но это еще придет, когда ей позволят посещать Пале-Рояль. Альбертина же с первого причастия стала говорить подобно одной из приятельниц своей тетки: «По-моему, это довольно ужасно». Ее наделили также привычкой переспрашивать то, что ей говорили, делать вид, что это ее интересует, что она старается составить свое собственное мнение. Если шла речь о том, что живопись такого-то художника хороша, что дом его красив, она говорила: «Ах, так его живопись хороша? Ах, так у него красивый дом?» Наконец, еще более общим, чем их семейное наследие, был тот сочный материал, который завещала им их родная провинция, из которого был создан их голос и который впитывали их интонации. Когда Анд-ре сухо брала низкую ноту, то перигорская струна ее голосового инструмента не могла не издать поющего звука, весьма гармонировавшего с чисто южными чертами лица; и вечным шалостям Розамунды соответствовал северный характер ее лица и ее голоса, соответствовал так же, как и акцент ее провинции. Между этой провинцией и темпераментом девушки, определявшим интонации ее голоса, завязывался прекрасный диалог.

Диалог, но не спор. Ни один из этих элементов не разлучал девушку с ее родным краем. Она — это еще ее родной край. Впрочем, это воздействие местных материалов на талант, который обрабатывает их и которому они придают еще большую крепость, не обезличивает произведения, будь то создание архитектора, краснодеревщика или композитора, и оттого, что ему пришлось трудиться над санлисским известняком или над красным страсбургским песчаником, что он сохранил узловатость ясеня, что в своем сочинении он учел возможности флейты и альта, их звучность, их ресурсы, их ограниченность, оно с не меньшей четкостью отражает тончайшие особенности личности художника.

Я отдавал себе в этом отчет, а ведь мы так мало беседовали. Если после разговора с г-жой де Вильпаризи или с Сен-Лу я на словах выразил бы удовольствие гораздо более сильное, чем то, которое мне пришлось получить, ибо, расставаясь с ними, я всегда чувствовал усталость, то, напротив, когда я лежал среди этих девушек, полнота ощущения бесконечно превосходила скудость наших редких реплик и переплескивалась через край моей неподвижности и моего безмолвия волнами счастья, рокот которых замирал у ног

этих юных роз.

Выздоравливающий, который весь день отдыхает среди цветника или в плодовом саду, вдыхая запахи цветов и фруктов, не так глубоко запечатлевает все те безделицы, что занимают его досуг, как я проникался этими красками, этими ароматами, которых мои взгляды искали в девушках и нежность которых в конце концов сливалась с моим существом. Так виноград становится сладким на солнце. И медленной своей непрерывностью игры эти, такие простые, вызывали во мне чувство расслабленности, как в человеке, который только и делает, что лежит на берегу моря, дышит солью, загорает, и смутное чувство ослепленности, касавшееся даже моих глаз и сочетавшееся с блаженной улыбкой.

Иногда милый знак внимания со стороны той или иной из девушек порождал во мне широкие вибрации, вытеснявшие на время желания, которые возбуждали во мне остальные. Так, однажды Альбертина сказала: «У кого есть карандаш?» Андре дала ей карандаш, Розамунда бумагу; Альбертина им сказала: «Милые мои девицы, не смейте подсматривать, что я пишу». Постаравшись отчетливо начертить каждую букву на бумаге, которую она прижимала к коленям,

она передала мне ее и сказала: «Смотрите, чтоб никто не видел». Тогда я развернул бумажку и прочел написанные ею слова: «Вы мне очень нравитесь».

— Но вместо того, чтоб писать глупости, — воскликнула она, повернувшись к Андре и Розамунде, внезапно перейдя на строгий и стремительный тон, — надо мне показать вам письмо, которое я сегодня утром получила от Жизели. Какая я глупая, оно у меня в кармане, а ведь оно может быть так полезно для нас!

Жизель сочла своим долгом прислать своей подруге, которая показала бы его и другим, сочинение, написанное ею на экзамене. Опасения Альбертины насчет трудных тем более чем подтвердились, когда стало известно, какие две темы были предложены на выбор Жизели. Одна из них была: «Софокл пишет из ада Расину, чтобы утешить его после неуспеха «Гофолии». Другая: «Представьте себе, что после первого представления «Эсфири» г-жа де Севинье пишет г-же де Лафайет о том, как она жалела о ее отсутствии». И вот Жизель в порыве усердия, которое должно было тронуть экзаменаторов, выбрала первую, более трудную из этих двух тем, и так замечательно разработала ее, что получила четырнадцать и

что экзаменационная комиссия поздравляла ее. Она получила бы отзыв «очень хорошо», если бы не срезалась на экзамене из испанского языка. Сочинение, копию которого Жизель прислала своей подруге, было немедленно прочитано нам Альбертиной, так как ей предстоял такой же экзамен и она очень хотела услышать мнение Андре, которая знала гораздо больше, чем все они, и могла бы дать ей хорошие советы. «И повезло же ей, — сказала Альбертина. — Это как раз тема, которую она долбила здесь со своей учительницей французского». Письмо Софокла Расину, составленное Жизелью, начиналось так: «Дорогой друг, простите, что, не имея чести быть лично знакомым с Вами, обращаюсь к вам, но ведь Ваша новая трагедия «Гофолия» показывает, что Вы в совершенстве изучили мои скромные произведения. Вы вложили стихи в уста не только протагонистов, или главных действующих лиц, но Вы написали стихи, и притом прелестные, — позвольте сказать Вам это без всякой лести, — для хоров, которые, как говорят, были довольно хороши в греческой трагедии, но которые во Франции являются совершенной новостью. К тому же Ваш талант, блещущий такой тонкой, такой изысканной, такой нежной,

такой очаровательной отделкой, достиг здесь энергии, которую я в Вас приветствую. Гофолия и Иодай — вот персонажи, которые и Ваш соперник Корнель не мог бы лучше обрисовать. Характеры мужественны, интрига проста и сильна. В этой трагедии не любовь является движущей силой, и я приношу Вам за это дань самых искренних похвал. Предписания самые знаменитые не всегда бывают самые верные. Сошлюсь на пример: *«Когда отчетливо мы страсть изображаем, То к сердцу верную дорогу обретаем».* Вы показали, что религиозное чувство, которым полны Ваши хоры, не менее способно вызвать умиление. Публика, может быть, и осталась в недоумении, но истинные ценители отдают Вам должное. Я счел долгом послать Вам мои поздравления, пользуясь этим случаем, чтобы выразить Вам, дорогой мой собрат, мое самое глубокое уважение». Глаза Альбертины блестели все время, пока она читала. «Можно подумать, что она это списала! — воскликнула она, кончив читать. — Никогда бы не поверила, что Жизель может высидеть такое сочинение. И эти стихи, которые она приводит. Где она все это слизала?» От восхищения, хотя и направившегося на другой объект, но еще более возросшего, а также от усердия Альбертина

все время «таращила глаза», слушая Андре, к которой, как к самой взрослой и самой ученой, обратились за советом. Та сперва с известной иронией заговорила о сочинении Жизели, а затем, плохо прикрывая легкомыслием настоящую серьезность, стала на свой лад переделывать это письмо. «Оно недурно, — сказала она Альбертине, — но если бы я была на твоем месте и мне бы задали такую тему, что может случиться, так как ее задают очень часто, я бы сделала не так. Я бы вот как взялась за нее. Во-первых, будь я Жизель, я бы не пустилась сразу во всю прыть, а написала бы сначала план на отдельном листке. В первую очередь — постановка вопроса и изложение темы, потом — общие соображения, которые надо ввести в работу. Наконец — оценка, стиль, заключение. Вот так, когда вдохновляешься конспектом, будешь знать, к чему идет дело. С самого же начала, в экспозиции — или, если тебе угодно, Титина, в приступе, так как это ведь письмо, — Жизель сплоховала. Обращаясь к писателю XVII века, Софокл не мог писать: «Дорогой друг»». — «В самом деле, ей надо было сказать: мой дорогой Расин! — стремительно воскликнула Альбертина. — Это было бы лучше». — «Нет, — несколько насмешливым тоном отвечала Андре, — ей надо

было написать «сударь». Также и в конце она должна была бы написать что-нибудь вроде: «Позвольте, сударь (в крайнем случае: милостивый государь), высказать Вам чувства уважения, с коими честь имею быть Вашим покорным слугой». Кроме того, Жизель говорит, что хоры в «Гофолии» — новость. Она забывает про «Эсфирь» и две другие трагедии, малоизвестные, но которые учитель разбирал как раз в этом году, так что если только их назвать — это его конек, — можно быть уверенной, что выдержишь. Это «Еврейки» Робера Гарнье и «Аман» Монкретьена. Андре привела эти два заглавия, не будучи в силах скрыть чувства благожелательного превосходства, выразившегося в улыбке, впрочем довольно ласковой. Альбертина не могла больше сдержаться: «Андре, ты поразительная! — воскликнула она. — Ты мне выпишешь эти два заглавия. Подумай только, какая удача, если бы мне попался такой вопрос, хотя бы на устном, — я бы сразу же назвала их и произвела бы сногсшибательный эффект». Но впоследствии всякий раз, как Альбертина просила Андре повторить ей заглавия этих двух пьес, чтобы записать их, столь ученая подруга уверяла, что забыла их, и больше никогда о них не вспоминала. «Затем, — продолжала Андре тоном,

в котором слышалось еле уловимое презрение к ее еще не вышедшим из детского возраста товаркам, но все же довольная тем, что ею восхищаются, и придавая плану своего воображаемого сочинения большую важность, чем ей хотелось признаться в этом, — Софокл в аду должен быть хорошо осведомлен. Следовательно, он должен знать, что «Гофолию» ставили не для широкой публики, а для Короля-Солнца и нескольких избранных придворных. То, что Жизель по этому поводу сказала насчет признания со стороны ценителей, совсем неплохо, но это можно было бы дополнить. Софокл, ставший бессмертным, вполне может обладать даром пророчества, а это позволило бы ему предсказать, что, по мнению Вольтера, «Гофолия» «станет мастерским произведением не только Расина, но и человеческого ума вообще»». Альбертина впивала все эти слова. Ее глаза горели. И она с глубочайшим возмущением отвергла предложение Розамунды приняться за игры. «Наконец, — сказала Андре тем же равнодушным, небрежным, немного насмешливым и в достаточной мере убежденным тоном, — если бы Жизель сперва как следует отметила себе те общие соображения, которые надо было развить, ей, может быть, пришло бы в голову то, что сдела-

ла бы я, — показать разницу между религиозным вдохновением хора у Софокла и у Расина. Софокл у меня вставил бы замечание о том, что если хоры у Расина проникнуты религиозными чувствами так же, как и в греческой трагедии, то все же речь идет о разных богах. Бог Иодая не имеет ничего общего с богами Софокла. А когда изложение будет закончено, это вполне естественно приведет к выводу: «Не всё ли равно, что верования различны?» Софоклу было бы неловко настаивать на этом. Он боится задеть убеждения Расина и, бегло упомянув о его наставниках в Пор-Рояле, предпочитает приветствовать в своем сопернике возвышенность его поэтического таланта».

Альбертина слушала так внимательно, с таким восхищением и так разгорячилась, что пот выступил у нее крупными каплями. Андре — денди в образе женщины, — улыбаясь, сохраняла свое равнодушие. «Недурно было бы также привести мнения знаменитых критиков», — сказала она прежде, чем принялись за игры. «Да, — отвечала Альбертина, — мне это говорили. Вообще ведь всего более рекомендуются мнения Сент-Бёва и Мерле, не правда ли?» — «Ты не совсем ошибаешься, — заметила Андре, отказавшаяся, впрочем, несмотря на мольбы Альбертины, напи-

сать ей два других имени, которые она вслед за этим назвала: — Мерле и Сент-Бёв — это неплохо, но надо главным образом ссылаться на Дельтура и Гаск-Дефосё».

Тем временем я размышлял о листке из блокнота, переданном мне Альбертиной: «Вы мне очень нравитесь», а час спустя, возвращаясь в Бальбек по дороге, которая, на мой взгляд, спускалась слишком круто, я решил, что именно с Альбертиной у меня и будет роман.

Состояние, характеризовавшееся целой совокупностью признаков, по которым мы обычно узнаём, что мы влюблены, — как, например, сделанные мной распоряжения не будить меня ради каких-либо посетителей, за исключением лишь той или иной из этих девушек; сердцебиения, которые я чувствовал в ожидании их (независимо от того, кто из них должен был прийти), и мое бешенство, если в такие дни я не мог найти парикмахера, чтобы выбриться, и должен был в непривлекательном виде предстать Альбертине, Розамунде или Андре, — состояние это, возникавшее в связи то с одной из них, то с другой, наверно так же отличалось от того, что мы называем любовью, как человеческая жизнь отличается от жизни зоофитов, бытие которых, их

индивидуальность, если можно так выразиться, распределяется между разными организмами. Но естествознание учит нас, что подобные формы животной жизни наблюдаются в природе и что наша собственная жизнь, если только она прошла уже некоторые ступени развития, не в меньшей мере подтверждает реальность состояний, о которых мы раньше и не подозревали и через которые мы должны пройти, хотя бы впоследствии мы от них и освободились. Таким было для меня это состояние влюбленности, распределявшееся одновременно между несколькими девушками. Распределявшееся или, вернее, неделимое, ибо чаще всего очаровывала меня, отличаясь от остального мира, становясь для меня чем-то столь драгоценным, что надежда на завтрашнюю встречу превращалась в лучшую радость моей жизни, скорее вся группа этих девушек, составлявшая единое целое с бездумными послеполуденными часами на прибрежных скалах, на полоске травы, обрамлявшей лица Альбертины, Розамунды, Андре, которые так сильно возбуждали мое воображение; причем я сам не мог бы сказать, благодаря которой из них эти места становятся столь для меня драгоценными, которую из них мне больше всего

хочется полюбить. В начале любви, как и в конце ее, мы не исключительно привязаны к предмету нашей любви, и правильнее было бы сказать, что желание любить, из которого она возникает (а позднее воспоминание, которое она оставляет по себе), с упоением блуждает в области чар, легко заменяющих друг друга, — чар, которые иногда просто связаны с природой, лакомой пищей, жильем, — которые настолько гармонируют друг с другом, что каждая из них его поддерживает. К тому же, не чувствуя еще пресыщения, создаваемого привычкой, я обладал способностью видеть их, другими словами, чувствовать глубокое удивление всякий раз, как я оказывался в их обществе. Конечно, удивление это зависит отчасти от того, что человек оборачивается к нам тогда другим своим обликом; но ведь так велико разнообразие каждого существа, так бесчисленны сочетания линий его лица и его тела, из которых лишь немногие нам удается восстановить, когда мы с ним расстаемся, в своевольной простоте нашей памяти. Так как память останавливается на той или иной поразившей нас особенности, отграничивает и преувеличивает ее, делая из женщины, показавшейся нам высокой, своего рода этюд, где рост ее превосходит всякую границу, а женщину,

показавшуюся нам румяной и белокурой, превращая в сплошную «гармонию розово-золотых тонов», то в минуту, когда мы снова видим эту женщину вблизи, все остальные, забытые свойства восстанавливают равновесие и осаждают нас, смутные и сложные, уменьшая размеры, заглушая розовые краски и заменяя то, чего мы пришли искать в ней, другими особенностями, которые, как мы вспоминаем, мы заметили в первый раз и теперь недоумеваем, каким образом мы были так мало подготовлены вновь их увидеть. Нам мерещился вдали павлин, а перед нами оказывается снегирь. И это неизбежное удивление — не единственное; ибо наряду с ним существует и другое, порождаемое различием уже не между стилизованными воспоминаниями и действительностью, но между существом, которое мы видели последний раз, и тем, которое показывается нам сегодня в другом свете, являя нам другой свой облик. Лицо человеческое поистине подобно лику божества восточной тэогонии, это целая гроздь лиц, расположенных в разных плоскостях и невидимых одновременно.

Но в значительной степени наше удивление происходит оттого, что человек являет нам одно и то же лицо. Нам потребовалось бы такое

огромное усилие, чтобы воссоздать то, что мы получили извне, — будь то хотя бы вкус плода, — что, едва лишь восприняв впечатление, мы незаметно начинаем скользить вниз по склону воспоминаний и, сами не отдавая себе в этом отчета, через самый короткий срок очень сильно удаляемся от первоначального ощущения. Таким образом, всякая новая встреча является своего рода поправкой, которая нас приводит к тому, что мы уже видели. Мы уже не помнили виденного, ведь вспоминать человека — это значит, в действительности, забывать его. Но пока мы еще в состоянии видеть, в ту минуту, когда забытая черта возникает перед нами, мы узнаём ее, нам приходится выпрямлять изогнувшуюся линию, и потому непрерывное и плодотворное изумление, благодаря которому эти ежедневные встречи с красивыми девушками на берегу моря были для меня так целебны и живительны, питалось не только новыми открытиями, но в такой же мере и воспоминаниями. Если прибавить к этому возбуждение, вызванное тем, что они значили для меня, никогда полностью не совпадавшее с тем, чего я ожидал, так что надежда на следующую встречу была уже похожа не на минувшую надежду, а на воспоминание о последней беседе,

еще полное отголосков, то станет понятно, что каждая прогулка подстегивала мои мысли, и совсем не в том направлении, которое я намечал, спокойно раздумывая в уединении моей комнаты. То направление оказывалось забытым, уничтоженным, когда я шел домой и во мне, словно в улье, гудели слова, взволновавшие меня и долго еще не умолкавшие. Всякое существо, когда мы перестаем видеть его, разрушается; следующее его появление — новое создание, не похожее на то, что непосредственно ему предшествовало, хотя кое-что и сохраняется в нем от прежних встреч. Ибо минимум разнообразия, возможного в этих созданиях, сводится к двум элементам. Если нам вспоминается полный решимости взгляд, смелое лицо, то при следующей встрече нас неизбежно удивит, то есть почти исключительно и бросится в глаза, полутомный профиль, особая задумчивая мягкость, не запомнившаяся нам прошлый раз. Когда мы сопоставим наше воспоминание с новой действительностью, именно этим и обозначится наше разочарование или удивление, именно это станет для нас ретушированной действительностью и скажет нам, что наша память ошибалась. И в свою очередь, выражение лица, не замеченное в

прошлый раз и поэтому так резко поражающее нас теперь, кажущееся наиболее реальным, вносящее самые веские поправки, станет предметом мечтаний, воспоминаний. Нам хочется вновь увидеть томный округленный профиль, нежное, задумчивое выражение лица. И вот в следующий раз волевые черты, о которых говорят и проницательные глаза, и острый нос, и плотно сжатые губы, снова устраняют расхождение между нашим желанием и тем предметом, с которым оно как будто связывалось. Разумеется, эта верность первоначальным впечатлениям, и притом чисто физическим, которые я каждый раз обретал вновь, встречаясь с моими приятельницами, относилась не только к чертам лица, потому что как я говорил уже, я был также восприимчив и к их голосам, пожалуй, еще более волнующим (ибо в них не только открываются те же странные и чувственные поверхности, что и в чертах лица, — голоса составляют часть той неприступной бездны, которая делает такими головокружительными для нас безнадежные поцелуи), — к их голосам, напоминавшим неповторимый звук какого-то маленького инструмента, в который каждая из девушек вкладывала себя всю целиком и который принадлежал только ей. Намечаясь в

какой-либо интонации, та или иная черта в этих голосах поражала меня своей глубиной, когда я, забыв, снова вспоминал ее. Таким образом, поправки, которые я должен был вносить, чтобы достичь совершенной точности, в такой же мере являлись делом настройщика или преподавателя пения, как и чертежника.

Что же до гармонической спаянности, уравновешивавшей с некоторых пор, благодаря сопротивлению, которое каждая из них оказывала росту влияния других, те разные эмоциональные волны, что шли ко мне от этих девушек, то она нарушилась в пользу Альбертины однажды днем, когда мы играли в «веревочку». Это было в лесочке, на скалистом берегу. Стоя между двумя девушками, которые не принадлежали к маленькой ватаге и которых мои приятельницы взяли с собой для того, чтобы нас было побольше в этот раз, я с завистью смотрел на молодого человека, соседа Альбертины, и думал о том, что, будь я на его месте, я мог бы касаться рук моей приятельницы в течение этих нежданно счастливых минут, которым, быть может, не суждено повториться и которые, пожалуй, повели бы меня и гораздо дальше. Даже само по себе, независимо от тех последствий, которые оно, наверно, повлекло бы

за собой, прикосновение к рукам Альбертины было бы сладостно для меня. Не то чтобы мне не приходилось видеть рук более красивых. Вот даже руки Андре, если ограничиться кругом ее подруг, — гораздо более тонкие, они словно жили своей особой жизнью, покорно повиновавшейся этой молодой девушке, но всё же независимой, и нередко ложились перед нею, как породистые борзые, то нежась, то предаваясь долгим снам, то внезапно вытягиваясь, что побудило Эльстира написать несколько этюдов ее рук. На одном из них, где Андре грела руки перед огнем, они благодаря освещению были прозрачно-золотистые, как два осенних листа. Но руки Альбертины, более полные, поддавались на миг, а затем начинали сопротивляться пожатию руки, которая прикасалась к ним, и создавали совсем особое ощущение. В рукопожатии Альбертины была чувственная прелесть, как будто гармонировавшая с розовым, чуть-чуть лиловатым цветом ее кожи. Благодаря этому пожатию, так же как и ее звонкому смеху, нескромному, точно воркование или некоторые крики, казалось, что проникаешь в нее, в глубину ее чувств. Она была одной из тех женщин, руки которых мы пожимаем с таким наслаждением, что нельзя не благодарить цивилизацию, сделав-

шую из shake-hand[40] акт, вполне дозволенный для юношей и девушек, когда они встречаются друг с другом. Если бы произвольные правила вежливости заменили рукопожатие каким-либо иным жестом, то на руки Альбертины, недоступные осязанию, я по целым дням смотрел бы со жгучим желанием прикоснуться к ним, не уступающим по силе желанию изведать сладость ее щек. Но наслаждение, которое я испытал бы, долго держа ее руки в своей руке, будь я ее соседом в игре в «веревочку», сулило мне и нечто другое: сколько признаний, сколько утаенных из робости объяснений мог бы я вложить в иные рукопожатия; ей тоже было бы легко дать мне понять ответными рукопожатиями, что она не противится; какое сообщничество, какое начало страсти! В эти несколько минут, проведенных подле нее, любовь моя могла бы достигнуть большего, чем ей это удалось за все время нашего знакомства. Чувствуя, что эти минуты будут недолги, скоро оборвутся, так как не бесконечно же будет продолжаться эта игра, а когда она кончится, то будет уже поздно, я не мог спокойно стоять на месте. Я нарочно позволил отнять у себя кольцо

---

[40] Примечания: 40
рукопожатия *(англ.).*

и, оказавшись на середине круга, сделал вид, что не замечаю, как оно скользит по веревочке, но внимательно следил за ним, ожидая момента, когда оно попадет в руку соседа Альбертины, которая смеялась вовсю и разрумянилась в пылу веселой игры. «Мы ведь в том самом лесочке, про который поется в нашей песне», — сказала мне Андре, показывая на окружавшие нас деревья, с улыбкой во взгляде, которая относилась только ко мне и, казалось, не могла быть замечена играющими, как будто только мы двое и были достаточно сообразительны, чтобы раздвоиться и обменяться по поводу игры поэтическим замечанием. И она проявила такую изысканность вкуса, что даже, не чувствуя особой охоты, пропела: «Из лесочка, из лесочка выбегал хорек, из пригожего лесочка», — совсем как те люди, которые не могут съездить в Трианон, не устроив празднества в стиле Людовика XVI, или видят особую соль в том, чтобы пропеть какой-нибудь мотив в той самой обстановке, для которой он был написан. Я, напротив, должно быть, огорчился бы, не найдя никакой прелести в таком сопоставлении, если бы у меня было время подумать об этом. Но мысли мои были в другом месте. Играющие уже удивлялись моей глупости и неумению схватить

кольцо. Я смотрел на Альбертину, такую красивую, такую равнодушную, такую веселую, не предвидевшую того, что ей предстоит сделаться моей соседкой, когда наконец я поймаю кольцо в руках кого следует, благодаря хитрости, о которой она не подозревает и которая, если бы она знала о ней, рассердила бы ее. Длинные волосы Альбертины, разгорячившейся от игры, распустились и, вьющимися прядями падая ей на щеки, еще резче оттеняли своей темной сухостью румянец ее кожи. «У вас косы Лауры Дианти, Элеоноры Гвиенской и ее праправнучки, столь любезной Шатобриану. Вам бы всегда надо было носить волосы вот так, чтобы они немного спускались на лоб», — шепнул я ей на ухо, стараясь стать к ней поближе. Вдруг кольцо перешло к соседу Альбертины. Я тотчас же ринулся, грубо открыл его ладони, схватил кольцо, ему пришлось стать на мое место посредине круга, а я занял его место подле Альбертины. За несколько минут перед тем я завидовал молодому человеку, глядя на его руки, скользившие по веревочке и все время встречавшиеся с руками Альбертины. Теперь, когда пришел мой черед, я, слишком робкий, чтобы добиваться этого прикосновения, слишком взволнованный, чтобы насладиться им, только

чувствовал, как быстро и мучительно бьется мое сердце. Был момент, когда Альбертина лукаво наклонила ко мне свое полное румяное лицо, делая вид, что кольцо у нее, чтобы навести на ложный след, отвлечь внимание от того места, где оно сейчас скользило. Я сразу же понял, что этой хитростью объясняются многозначительные взгляды Альбертины. Но меня взволновал мелькнувший в ее глазах и созданный только ради игры намек на тайну, на какое-то соглашение между нами, которого не существовало, но которое теперь показалось мне возможным и было бы так божественно отрадно. Взволнованный этой мыслью, я почувствовал, как рука Альбертины слегка прижимается к моей и ее палец, ласкаясь, проскальзывает под мой палец, и тут же увидел, что она подмигивает мне, стараясь сделать так, чтоб этого не заметили. В один миг откристаллизовалось столько надежд, до тех пор бесформенных. «Она пользуется игрой, чтоб дать мне понять, что я ей нравлюсь», — подумал я, возносясь на вершину блаженства, с которой тотчас низвергся, услышав, что Альбертина в ярости говорит мне: «Да возьмите же его, целый час я вожусь с вами». Вне себя от огорчения, я выпустил веревочку, кольцо увидали, я опять должен был

стать посередине, глядя на неистовую пляску, продолжавшуюся вокруг меня, полный отчаяния, осыпаемый насмешками всех участников, вынужденный смеяться в ответ на них, хотя смеяться мне вовсе не хотелось, между тем как Альбертина твердила: «Не нужно играть, если не хочешь быть внимательным, — портишь все дело другим. Не надо больше звать его, когда мы играем, Андре, или я сама не приду». Андре, стоявшая выше всего этого и продолжавшая свою песенку о «пригожем лесочке», которую из духа подражания, но совсем не убедительно, подхватила Розамунда, решила прекратить упреки Альбертины и сказала мне: «Мы в двух шагах от Кренье, куда вам так хотелось попасть. Давайте-ка, пока эти сумасшедшие корчат здесь восьмилетних ребят, я проведу вас туда хорошенькой тропинкой». Так как Андре была чрезвычайно мила со мною, то по дороге я сказал ей по поводу Альбертины все, что, по-моему, могло возбудить в ней любовь ко мне. Андре ответила мне, что она тоже очень любит ее, считает ее прелестной, однако мои похвалы по адресу ее приятельницы, по-видимому, не доставили ей удовольствия. Вдруг, посреди этой тропинки в ложбине, я остановился, глубоко взволнованный воспоминанием детства:

по вырезным блестящим листьям, стлавшимся по земле, я узнал куст боярышника — увы! с конца весны лишившегося своих цветов. Вокруг меня веяли дуновения былых, давно минувших «месяцев Девы Марли», воскресных полдней, забытых верований, заблуждений. Мне хотелось их уловить. Я остановился на секунду, и Андре, очаровательная в своей чуткости, дала мне побеседовать с листьями кустарника. Я у них спросил, а как же цветы — цветы боярышника, похожие на веселых девушек, ветреных, кокетливых и набожных? «Барышни давно уехали», — говорили мне листья. И пожалуй, они подумали, что, при всем моем стремлении выдавать себя за их близкого друга, я совсем не осведомлен насчет их привычек. Близкий друг, но такой, который уже столько лет не приходил повидаться с ними, несмотря на свои обещания. А ведь всё же, если Жильберта была первой девушкой, в которую я влюбился, то это были первые цветы, которые я полюбил. «Да, я знаю, они уходят в половине июня, — ответил я, — но меня радует, что я вижу здесь место, где они жили. Они навещали меня в Комбре, в моей комнате, их приводила мама, когда я был болен. И мы снова встречались по субботам вечером, в «месяце служб Девы Марии».

А здесь им можно ходить на эти службы?» — «О, конечно! К тому же барышень очень жалуют в церкви Святого Дениса Пустынника, — ближайшей приходской церкви». — «Так когда же теперь увидеть их?» — «Не раньше, как в мае будущего года». — «Но я могу быть уверен, что они там будут?» — «Всегда, каждый год». — «Только я не знаю, найду ли я, как следует, это место?» — «Да как же! Ведь барышни такие веселые, они перестают хохотать только для того, чтобы приняться за песнопения, так что ошибиться невозможно и вы с конца тропинки узнаете их аромат».

Я догнал Андре, стал опять расхваливать Альбертину. Мне казалось невозможным, чтоб она не пересказала ей эти похвалы, — такую я вкладывал в них настойчивость. И все же мне никогда не пришлось убедиться, что они стали известны Альбертине. Между тем в сердечных делах Андре была гораздо более чуткой, чем Альбертина, ее любезность была гораздо более изысканной; найти слово, взгляд, поступок, которые вернее всего могли доставить удовольствие, воздержаться от замечания, которое могло бы огорчить, пожертвовать (делая вид, что это вовсе не жертва) каким-нибудь часом игры, даже каким-нибудь светским собранием, какой-нибудь

garden-party,[41] чтобы остаться с загрустившим приятелем или приятельницей, и таким образом показать им, что их скромным обществом она дорожит больше, чем пустыми развлечениями, — так обычно проявлялась ее милая чуткость. Но узнав ее ближе, можно было сказать, что она похожа на тех героев-трусов, которые не хотят поддаваться страху и храбрость которых поэтому является особой заслугой; можно было бы сказать, что, в сущности, в ней совсем нет той доброты, которую она выказывала по всякому поводу в силу своего нравственного превосходства, чувствительности, благородного желания показать себя хорошим товарищем. Когда она так мило рассуждала о той привязанности, которая могла бы соединить Альбертину со мной, казалось, что она изо всех сил будет стараться помочь ее осуществлению Однако она ни разу, может быть в силу простой случайности, не воспользовалась находившимися в ее распоряжении средствами, чтобы облегчить мне сближение с Альбертиной, и я бы не поручился, что мои усилия добиться любви Альбертины, если и не вызывали с ее стороны тайных попыток поме-

[41] Примечания: 41
дружеской встречей в саду *(англ.).*

шать им, не возбуждали в ней гнева, который она, впрочем, тщательно скрывала и с которым, по своей деликатности, может быть, даже боролась. Альбертина не была бы способна на те бесчисленные проявления доброты и чуткости, на какие была способна Андре, и все же я не чувствовал себя уверенным в ее доброте, как впоследствии убедился в доброте Альбертины. Всегда нежно-снисходительная к чрезмерному легкомыслию Альбертины, Андре находила для нее слова и улыбки, говорившие о дружбе, — больше того, она и держала себя с ней как настоящий друг. Я видел, как она изо дня в день, лишь бы поделиться своим богатством, лишь бы осчастливить эту бедную подругу, совершенно бескорыстно прилагала больше усилий, чем придворный, старающийся снискать благосклонность монарха. Она была пленительно нежна, слова ее были очаровательно грустны, когда в ее присутствии кто-нибудь с сожалением говорил о бедности Альбертины, и она в тысячу раз больше старалась ради нее, чем стала бы стараться ради какой-нибудь богатой приятельницы. Но если кто-нибудь высказывал предположение, что Альбертина не так бедна, как говорят, еле уловимое облачко затуманивало лоб и глаза Андре; казалось, что она

не в духе. И если кто-нибудь шел дальше и утверждал, что выдать ее замуж будет, пожалуй, не так трудно, как кажется, она энергично возражала и повторяла почти раздраженно: «Увы, это так, ее нельзя будет выдать замуж! Я же знаю, меня это достаточно огорчает!» Даже когда дело шло обо мне, она, единственная среди этих девушек, никогда не передавала мне неприятных вещей, которые могли быть сказаны на мой счет; более того, хотя бы я сам говорил что-нибудь в этом роде, она делала вид, что не верит, или находила такое объяснение, что слова становились безобидными; сочетание этих свойств и называется *тактом.* Он — достояние людей, которые, если нам случилось драться на дуэли, превозносят нас, прибавляя, что в этом вовсе не было надобности, дабы увеличить в наших глазах храбрость, проявленную нами, хотя никто нас не принуждал драться. Они — противоположность тех людей, которые при тех же обстоятельствах скажут: «Вам, наверно, было очень неприятно драться, но, с другой стороны, вы не могли проглотить подобное оскорбление, вы не могли поступить иначе». Однако во всем есть свои «за» и «против», и если удовольствие или, по крайней мере, равнодушие, с которым наши друзья передают нам

что-нибудь обидное для нас, доказывает, что в ту минуту, когда они это делают, они не заботятся представить себя в нашей шкуре и втыкают в нас булавку или нож, словно в пузырь, надутый воздухом, то у другой категории друзей — друзей, полных такта, — умение всегда скрыть от нас все неприятное, что они слышали по поводу наших поступков, или утаить мнение, которое они составили себе на этом основании, может служить доказательством немалой степени притворства. В нем нет ничего предосудительного, если они в самом деле не думают ничего дурного и если то дурное, что они слышат, мучит их так же, как оно мучило бы и нас. Я думал, что именно так обстоит дело с Андре, хотя и не был совершенно уверен в этом.

Мы вышли из леска и пошли по извилистой пустынной тропинке, которая была очень хорошо известна Андре. «Вот, — сказала она мне вдруг, — вот ваше пресловутое Кренье, и вам повезло: Эльстир писал как раз при такой погоде и при таком освещении». Но я еще был слишком огорчен тем, что во время игры в «веревочку» низринулся с вершины таких надежд. Вот почему мне уже не с тем удовольствием, которое я, наверно, мог бы испытать, внезапно удалось различить у моих

ног, среди скал, где они притаились, укрывшись от жары, морских богинь, которых подкараулил и настиг Эльстир: под темным откосом, столь же прекрасным, как на картине Леонардо, таились чудесные Тени, осторожные и скользящие, проворные и молчаливые, готовые при первом же притоке света скользнуть под камень, спрятаться в ямку, и быстро возвращающиеся, как только минует угроза луча, к подножию скалы или к водорослям, под солнцем — крошителем утесов и обесцвеченного океана, дремоту которого они словно оберегают, неподвижные и легкие, высовывая из воды свое скользкое тело и устремляя вдаль внимательный взгляд своих темных глаз…

Мы присоединились к остальным девушкам, чтобы идти домой. Теперь я знал, что люблю Альбертину, но, увы, не думал говорить ей об этом. Ибо со времени Елисейских полей мое представление о любви изменилось, хотя существа, на которых направлялась последовательно моя любовь, были почти одинаковы. Во-первых, признание в любви, объяснение с той, которую я любил, уже не казалось мне существенным и необходимым для любви эпизодом; да и самая любовь казалась не реальным фактом, лежащим вне меня, а только субъективным наслаждени-

ем. Я чувствовал, Альбертина тем охотнее будет делать все, что нужно, чтоб продлить его, если не будет знать о моей любви.

Все время, пока мы шли домой, для меня существовал не только образ Альбертины, погруженной в лучи, исходившие от других девушек. Но, подобно тому, как днем Луна является всего лишь маленьким белым облачком, разве что более определенным и отчетливым по своим очертаниям, а как только угаснет день, обретает всю свою мощь, — так и образ Альбертины взошел в моем сердце и засверкал, вытеснив всё, когда я вернулся в гостиницу. Моя комната показалась мне вдруг совсем иной. Разумеется, она уже довольно давно перестала быть той враждебной комнатой, какой была в первый вечер. Мы неустанно видоизменяем наше жилище; и по мере того как привычка освобождает нас от ощущений, мы подавляем неприязненные элементы цвета, размеров, запаха, которые объективировали наше тягостное чувство. Это не была и та комната, которая пользовалась достаточной властью над моими чувствами, чтобы радовать меня, но уже не мучить, разумеется, — вместилище ясных дней, похожее на бассейн, где отсвечивала омытая лучами синева, которую на какой-нибудь

миг закрывал, неосязаемый и белый, как испарения зноя, отраженный в волнах ускользающий парус, — или та всецело эстетическая комната, какой она бывала в живописные вечера; то была комната, в которой я прожил столько дней, что уже не замечал ее. И вот я снова начинал видеть ее; но на этот раз с эгоистической точки зрения, которая свойственна любви. Я подумал о том, что красивое, наискось поставленное зеркало, изящные застекленные шкафы внушили бы Альбертине, если б она посетила меня, благоприятное представление обо мне. Переставая быть промежуточным пунктом, где я проводил несколько минут, чтобы вырваться на пляж или в Ривбель, моя комната превращалась в нечто реальное и дорогое для меня, обновлялась, так как всякую находившуюся в ней вещь я теперь рассматривал и оценивал глазами Альбертины.

Когда через несколько дней после игры в «веревочку» мы, гуляя, зашли чересчур далеко и очень обрадовались, найдя в Менвиле две маленькие двухместные «таратайки», дававшие нам возможность поспеть домой к обеду, моя любовь к Альбертине, уже очень сильная, имела следствием то, что ехать со мной я предложил сперва Розамунде, потом Андре и даже не об-

ратился к Альбертине; затем, всё упрашивая Андре и Розамунду, с помощью второстепенных соображений о том, к какому часу удастся вернуться, какой дорогой надо ехать и следует ли взять пальто, склонил всех, но как будто вопреки моему желанию, к тому мнению, что мне всего разумнее ехать с Альбертиной, с обществом которой волей-неволей приходится примириться. Так как любовь стремится безраздельно завладеть другим существом и так как одной беседы мало, чтобы целиком впитать его в себя, то, хотя Альбертина, с которой я ехал и которую довез до дому, была со мной чрезвычайно мила и оставила меня счастливым, всё же, на беду, я чувствовал себя еще более изголодавшимся по ней, чем в момент отъезда, видя в минутах, проведенных вместе, только вступление, само по себе незначительное, к другим минутам, которые еще должны наступить. Всё же в нем было то первое очарование, которого уже потом не сыскать. Я еще ничего не просил у Альбертины. Догадаться о том, чего мне хотелось, ей было не трудно, но, не имея на этот счет уверенности, она могла предположить, что я стремлюсь лишь к отношениям, лишенным какой-нибудь определенной цели, которые для моей приятельницы, должно быть, обладали той

смутной прелестью, богатой наперед известными неожиданностями, какую мы видим во всем романическом.

На следующей неделе я вроде бы нисколько не стремился видеть Альбертину. Я притворялся, что мне больше нравится Андре. Начинается любовь, нам хотелось бы остаться для той, кого мы любим, незнакомцем, которого она может полюбить, но мы испытываем в ней потребность, потребность коснуться не столько ее тела, сколько ее внимания, ее сердца. Вкрапливаешь в письмо какое-нибудь злое словечко, которое заставит равнодушную попросить о любезности, и любовь, пользуясь безошибочной техникой, рядом чередующихся движений затягивает вас в такую шестерню, что уже нельзя ни не любить, ни быть любимым. Андре я посвящал часы, когда другие отправлялись на какое-нибудь светское собрание, которым, как я знал, Андре с удовольствием пожертвует ради меня и которым она пожертвовала бы даже и без всякого удовольствия, из морального изящества, чтобы ни другие, ни она сама не могли подумать, будто она хоть сколько-нибудь дорожит светскими развлечениями. Достигая того, что каждый вечер она оставалась со мной одним, я не старался возбудить ревность

Альбертины, но хотел поднять в ее глазах свой престиж или по крайней мере не утратить его, дав ей понять, что люблю я ее, а не Андре. Не говорил я этого и Андре — из опасения, как бы она не пересказала ей. Разговаривая с Андре об Альбертине, я напускал на себя холодность, которая, пожалуй, ввела ее в меньшее заблуждение, чем меня — ее видимая доверчивость. Она притворялась, что верит в мое равнодушие к Альбертине, что хочет добиться самого полного сближения между Альбертиной и мной. Вероятно, напротив, она не верила в первое и не желала второго. Внушая ей, что меня не особенно занимает ее подруга, я думал только об одном: как бы завязать отношения с г-жой Бонтан, которая приехала провести несколько дней поблизости от Бальбека и к которой Альбертина должна была вскоре поехать на три дня. Разумеется, от Андре я утаил это желание, и если мне случалось говорить с ней о родственниках Альбертины, я принимал самый небрежный тон. Ясные ответы Андре, казалось, не ставили под подозрение мою искренность. Но почему же в один из этих дней у нее вырвалось: «Я *как раз* видела тетку Альбертины»? Правда, она не сказала мне: «Ведь из ваших слов, брошенных как будто случайно, я поняла, что вы только

о том и думаете, как бы познакомиться с теткой Альбертины». Но, по-видимому, именно с этой мыслью, которая жила в сознании Андре и которую она сочла более деликатным скрыть от меня, связывались слова: «как раз». Они принадлежали к той же категории явлений, что и некоторые взгляды, некоторые жесты, не имеющие, правда, определенной логической, рациональной формы, непосредственно рассчитанной на сознание того, кто слушает, и все же понятные для него в своем истинном значении, подобно тому как в телефоне человеческое слово становится электричеством и опять превращается в слово, чтобы быть услышанным. Чтобы изгладить в уме Андре мысль о том, что я интересуюсь г-жой Бонтан, я стал говорить о ней не только небрежно, но и недоброжелательно; я сказал, что встречался уже с этой сумасшедшей, но в дальнейшем надеюсь избежать подобных встреч. Однако я, напротив, всеми способами стремился с ней встретиться.

Никому ничего не говоря об этом, я добивался от Эльстира, чтобы он заговорил с ней обо мне и свел меня с нею. Он обещал мне познакомить меня, удивившись, однако, моему желанию, так как считал ее женщиной недостойной уважения, интриганкой, настолько же неинтересной,

насколько умеющей соблюдать свои интересы. Подумав, что, если я увижусь с г-жой Бонтан, Андре рано или поздно об этом узнает, я решил, что лучше предупредить ее. «То, чего больше всего избегаешь, оказывается как раз неизбежным, — сказал я ей. — Не может быть ничего досаднее, чем встреча с г-жой Бонтан, а ведь мне ее не миновать, Эльстир приглашает меня вместе с ней». — «Я никогда ни минуты не сомневалась в этом!» — с горечью воскликнула Андре, взгляд которой, расширенный и искаженный недовольством, словно вперился в какой-то невидимый предмет. Слова Андре не представляли особенно правильного изложения мысли, которую можно было бы резюмировать так: «Я отлично знаю, что вы любите Альбертину и из кожи лезете вон, чтобы сблизиться с ее семьей». Но они были бесформенными обломками этой мысли, которую по ним можно было восстановить и которую я, толкнув ее, взорвал, вопреки желанию Андре. И так же как ее «как раз», эти слова имели смысл в иной плоскости, то есть относились к числу тех, которые (в отличие от прямых утверждений) внушают нам уважение к тому или иному человеку или, напротив, недоверие к нему, ссорят нас с ним.

Если Андре не поверила мне, когда я сказал ей, что семья Альбертины ничего не значит для меня, то, очевидно, она думала, что я люблю Альбертину. И, вероятно, это не радовало ее.

Она обычно присутствовала при моих свиданиях с ее подругой. Однако бывали дни, когда я встречался с Альбертиной наедине, дни, которых я лихорадочно ждал, которые проходили, не принося с собой ничего окончательного, не становясь для меня тем решающим днем, роль которого я сразу же поручал следующему дню, также не исполнявшему ее; так одна за другой, точно волны, обрушивались эти вершины, тотчас же находившие себе замену.

Примерно через месяц после того, как мы играли в «веревочку», мне сказали, что Альбертина на следующее утро уезжает погостить на двое суток к г-же Бонтан, а так как поезд уходит рано, то она, чтобы не помешать своим приятельницам, у которых она жила, будет ночевать в Гранд-отеле, откуда омнибусом сможет отправиться на вокзал к первому поезду. Я сказал об этом Андре. «Не думаю, что это так, — ответила мне Андре недовольным тоном. — Впрочем, это вам было бы ни к чему, так как я вполне уверена, что Альбертина не захочет вас принять, если будет

одна в гостинице. Это было бы против правил этикета, — добавила она, прибегая к выражению, которым очень любила пользоваться с недавних пор в смысле: «то, что принято». — Я это вам говорю, потому что знаю взгляды Альбертины. Мне-то ведь безразлично, увидите ли вы ее или не увидите. Мне все равно».

К нам присоединился Октав, который, не заставив себя просить, сообщил Андре, сколько очков он сделал вчера на гольфе, потом Альбертина, которая гуляла, орудуя своим диаболо, как монахиня перебирает свои четки. Благодаря этой игре она без всякой скуки целыми часами могла оставаться одна. Как только она подошла к нам, мне бросился в глаза задорный кончик ее носа, который я упустил из виду, думая о ней за последние дни; вертикальная линия ее лба под черными волосами вступила в противоречие, и уже не впервые, с тем неотчетливым образом, который сохранился у меня, меж тем как его белизна сильно притягивала мои взгляды; подымаясь из праха воспоминаний, Альбертина воссоздавалась передо мною. Гольф приучает к развлечениям в одиночестве. То же самое, разумеется, в диаболо. Однако, присоединившись к нам, Альбертина продолжала свою игру, стала

разговаривать с нами, как какая-нибудь дама, которая, принимая гостей, не отрывается от своего вязанья. «Говорят, — сказала она Октаву, — что госпожа де Вильпаризи обратилась с жалобой к вашему отцу. — (И в этих словах я услышал звуки, характерные для Альбертины; каждый раз, когда мне приходилось констатировать, что я забыл их, я в то же время вспоминал, что за ними передо мной уже мелькали полные решимости, вполне французские черты лица Альбертины. Если б я был слеп, все же мне могли бы быть известны ее бойкость и некоторая ее провинциальность, сказывавшаяся как в этих звуках, так и в кончике ее носа. Одно стоило другого, одно дополнялось другим, и голос ее предвосхищал то, что, говорят, должен осуществить фототелефон будущего: в звуке отчетливо вырисовывался зрительный образ.) — Она, впрочем, написала не только вашему отцу, но и бальбекскому мэру, чтобы больше не играли в диаболо на дамбе: мяч попал ей в лицо». — «Да, я слышал об этой жалобе. Смешно. Здесь уже и так не много развлечений». Андре не вмешивалась в разговор; ей, так же, впрочем, как Альбертине и Октаву, не была известна г-жа де Вильпаризи. «Не знаю, почему эта дама устроила целую историю, — сказала все же Андре, — в

старуху де Камбремер тоже попали мячом, и она не пожаловалась». — «Я объясню вам, в чем разница, — важно ответил Октав, зажигая спичку, — дело в том, что, по-моему, г-жа де Камбремер — дама из общества, а г-жа де Вильпаризи — выскочка. Вы будете днем на гольфе?» И он покинул нас, так же как и Андре. Я остался наедине с Альбертиной. «Вы видите, — сказала она мне, — я причесываюсь теперь так, как вам нравится, видите эту прядь? Все шутят надо мной, и никто не знает, для кого я это делаю. Тетка тоже будет смеяться. Я и ей не скажу, в чем тут дело». Я смотрел сбоку на щеки Альбертины, которые часто казались бледными, но теперь ярко горели, так как к ним приливала кровь, придававшая им тот блеск, какой иногда зимним утром бывает у камней, косвенно освещенных солнцем и похожих на розовый гранат, словно излучающих радость. Радость, которую я чувствовал в эту минуту, глядя на щеки Альбертины, была также сильна, но приводила к другому желанию — желанию не прогулки, а поцелуя. Я спросил ее, соответствуют ли истине планы, которые ей приписываются. «Да, — отвечала она, — эту ночь я проведу в вашей гостинице и даже лягу еще до обеда, так как я немного простужена. Вы можете посидеть у

меня возле кровати, пока я буду обедать, а потом мы поиграем в какую-нибудь игру, во что вам будет угодно. Мне было бы приятно, если бы вы завтра утром пришли на вокзал, но я боюсь, как бы это не показалось странным, не Андре, конечно, она умная, а другим, которые там будут; выйдет история, если это расскажут тетке; но этот вечер мы можем провести вместе. Об этом тетка ничего не узнает. Пойду попрощаюсь с Андре. Значит, скоро увидимся. Приходите пораньше, мы хорошо проведем время», — прибавила она с улыбкой. Услышав эти слова, я перенесся в глубь прошлого, еще более далекого, чем те времена, когда я любил Жильберту, — в глубь дней, когда любовь казалась мне реальностью не только вне нас находящейся, но и осуществимой. Если Жильберта, которую я видел на Елисейских Полях, была не та, которую я обретал в самом себе, когда оставался один, то в реальную Альбертину, ту, которую я видел каждый день, которая, как я думал, полна была мещанских предрассудков и должна была быть так откровенна со своей теткой, вдруг воплотилась воображаемая Альбертина, та самая, которая, как мне показалось, когда еще я не был с ней знаком, украдкой смотрела на меня, встретившись на дамбе, которая, глядя мне

вслед, как будто нехотя шла домой.

Мне предстояло обедать в обществе бабушки, я чувствовал, что у меня от нее тайна. Совершенно так же и подруги Альбертины, которые завтра окружат ее, не будут знать, что между нами теперь что-то есть, и г-же Бонтан, когда она поцелует ее в лоб, будет не известно, что я стал между ней и ее племянницей, которая, причесываясь именно так, ставила себе тайной целью понравиться мне — мне, до сих пор столь завидовавшему г-же Бонтан, так как, находясь в родстве с теми же людьми, что и ее племянница, она должна была носить траур тогда же, когда и Альбертина, навещать тех же родственников; и вот я оказывался для Альбертины чем-то большим, чем даже ее тетка. Живя у своей тетки, она будет думать обо мне. Что произойдет сейчас — я не представлял себе в точности. Во всяком случае, Гранд-отель и этот вечер уже не покажутся мне пустыми: в них заключалось мое счастье. Я вызвал лифт, чтоб подняться в комнату, которую заняла Альбертина, окнами на поля. Малейшее движение — например, когда я садился на скамейку в лифте, — было сладостно для меня, потому что оно непосредственно связывалось с моим сердцем; в канатах, при помощи которых поды-

малась машина, в тех нескольких ступеньках, которые еще надо было миновать, я видел лишь приводные колеса, материализованные ступени моей радости. Мне оставалось сделать всего два-три шага по коридору, чтобы достигнуть этой комнаты, где заключено было драгоценное вещество этого розового тела, — комнаты, которая, даже если в ней и совершатся сладостные события, сохранит для непосвященного гостя свою неизменность, свое сходство со всякой другой комнатой, — качества, обращающие обстановку в упрямо-немого свидетеля, совестливого наперсника, нерушимого хранителя наслаждений. Эти несколько шагов от площадки до комнаты Альбертины — эти несколько шагов, которые никто уже не мог бы остановить, — я прошел с наслаждением, с осторожностью, словно погруженный в некую новую стихию, как если бы, двигаясь вперед, я медленно перемешал чье-то счастье, и в то же время с неизвестным мне до сих пор сознанием всемогущества, сознанием, что я вступаю наконец в права наследства, всегда мне принадлежавшего. Потом я вдруг подумал, что моя медлительность и сомнения мои неосновательны: ведь она звала меня прийти, когда ляжет. Я дрожал от радости, чуть не сбил с

ног Франсуазу, попавшуюся мне навстречу, — с блестевшими глазами я мчался к комнате моей приятельницы. Альбертину я застал в постели. Открывая шею, ее белая рубашка меняла пропорции ее лица, которое, то ли от тепла постели, то ли от простуды, то ли от сытного обеда, казалось более румяным; я вспомнил о красках, которые несколько часов тому назад, когда мы были на дамбе, я видел рядом с собой и сладость которых мне наконец предстояло узнать; пересекая щеку, спускалась одна из ее длинных кос, черных и вьющихся, которые она, чтобы понравиться мне, совершенно распустила. Она смотрела на меня улыбаясь. Рядом, в окне, видна была долина, освещенная Луной. Вид открытой шеи Альбертины, ее слишком румяных щек до такой степени меня опьянил — то есть переместил для меня реальность мира из природы в поток ощущений, едва мною сдерживаемых, — что рушилось равновесие между огромной, неистребимой жизнью, протекавшей во мне, и жизнью Вселенной, такой жалкой по сравнению с ней. Море, которое виднелось за окном, рядом с долиной, пухлые груди ближайших скал Менвиля, небо и Луна на нем, еще не поднявшаяся до зенита, — все это казалось легче перышка для моих зрачков, которые, я это

чувствовал, расширились между веками, окрепли и готовы были на хрупкой своей поверхности нести бремена гораздо более тяжелые, будь то все горы Земли. Весь небосклон не мог уже заполнить их орбиту. И вся та жизнь, которую могла бы мне дать природа, показалась бы мне такой жалкой, дуновения моря показались бы такими слабыми по сравнению с могучим дыханием, вздымавшим мою грудь.

Я наклонился к Альбертине, чтобы ее поцеловать. Если б смерть должна была сразить меня в эту минуту, это показалось бы мне безразличным или, вернее, невозможным, ибо жизнь теперь была не вне меня, она была во мне; улыбку жалости вызвал бы у меня философ, выскажи он мысль, что когда-нибудь, даже нескоро, мне придется умереть, что меня переживут вечные силы природы — той природы, под божественными стопами которой я не более чем пылинка, — что и после меня будут существовать эти округлые и пухлые скалы, это море, этот лунный свет, это небо! Как могло бы это случиться, как мог бы мир пережить меня, если не я был потерян в нем, если он был заключен во мне — во мне, которого он далеко не наполнял, во мне, который, чувствуя, что есть еще много места для стольких других

сокровищ, с пренебрежением сваливал в угол и небо, и море, и утесы. «Перестаньте, или я позвоню!» — воскликнула Альбертина, увидев, что я бросаюсь к ней с намерением поцеловать. Но я решил, что не попусту молодая девушка тайком приглашает к себе молодого человека, обставляя это так, чтобы тетка не узнала, и что вообще смелость способствует успеху, если уметь пользоваться случаем; благодаря тому возбуждению, в котором я находился, круглое лицо Альбертины, озаренное внутренним светом, словно ночником, приобрело для меня такую рельефность, что, подражая вращению пылающей сферы, закружилось в моих глазах, как тела Микеланджело, уносимые неподвижным и головокружительным вихрем. Сейчас я узнаю запах, вкус этого неведомого румяного плода. Я услышал порывистый, долгий и пронзительный звук. Альбертина звонила изо всех сил.

Я думал, что любовь моя к Альбертине не была основана на чаянии физического обладания. Однако, когда опыт этого вечера мне показал, что такое обладание, по-видимому, невозможно, и я, после первой встречи на пляже совершенно убежденный в распущенности Альбертины, а потом колебавшийся между различными про-

межуточными предположениями, пришел как будто к окончательному выводу, что она вполне добродетельна, — когда через неделю, по возвращении от тетки, она холодно сказала мне: «Я вас прощаю, мне даже жалко, что я огорчила вас, но никогда этого не делайте», — в противоположность эффекту, который произвели на меня слова Блока, что всякой женщиной можно обладать, и точно вместо живой девушки передо мною оказалась восковая кукла, — вышло так, что мало-помалу мое желание проникнуть в ее жизнь, следовать за нею в те края, где она провела детство, приобщиться с ее помощью к жизни спортсменов, оторвалось от нее, и мое стремление узнать, что она думает по тому или иному поводу, не пережило моей веры в возможность поцеловать ее. Мои мечты оставили ее, как только перестали питаться надеждой на обладание, от которой я считал их независимыми. С этих пор они могли свободно направляться — смотря по тому, которая из них пленяла меня в данный день, а главное, была ли у меня возможность, была ли надежда возбудить в ней любовь, — на ту или иную из подруг Альбертины, и прежде всего на Андре. Однако, не будь на свете Альбертины, я, пожалуй, не испытал бы того все возрастав-

шего удовольствия, которое в следующие дни мне доставляла ласковость Андре. Альбертина никому не рассказала о неудаче, постигшей меня. Она была одной из тех хорошеньких девушек, которые с ранней юности — благодаря своей красоте, а главное, своей привлекательности, загадочному обаянию, коренящихся, быть может, в запасах жизненной силы, из которых черпают те, к кому природа была не так благосклонна, — всегда — в своей семье, в кругу своих подруг, в свете — нравятся больше, чем более красивые и более богатые; она была одной из тех, у кого даже до наступления поры любви, и уж тем более когда она наступает, просят больше, чем требуют сами они, и даже больше, чем они могут дать. С самого детства Альбертину всегда окружало восхищение четырех или пяти маленьких товарок, в числе которых находилась и Андре, стоявшая гораздо выше нее и сознававшая это (может быть, эта сила притяжения, исходившая от Альбертины, совсем независимо от ее воли, и положила начало маленькой ватаге, легла в ее основу). Эта сила притяжения давала себя чувствовать даже на довольно большом расстоянии, в кругах относительно более блестящих, где всегда, если надо было танцевать павану, Альбертину

приглашали охотнее, чем какую-нибудь более аристократическую девушку. Результат был тот, что Альбертину, хоть у нее не было приданого и жила она довольно бедно, к тому же на попечении г-на Бонтана, который, как говорили, был человек нечистоплотный и желал от нее избавиться, не только приглашали на обеды, но звали гостить люди, правда, нисколько не блестящие с точки зрения Сен-Лу, но представлявшие собой нечто грандиозное для матери Розамунды или матери Андре, женщин очень богатых, но не знакомых с этими людьми. Так, Альбертина каждый год по нескольку недель проводила в семье одного из членов главного совета французского банка или в семье председателя правления крупной железнодорожной компании. Жена этого финансиста принимала у себя важных особ и никогда не сообщала о своем «дне» матери Андре, которая считала эту даму невежей, но тем не менее чрезвычайно интересовалась всем, что происходит у нее. Вот почему она каждый год уговаривала Андре, чтобы та пригласила Альбертину погостить у них на вилле, так как, по ее словам, это было доброе дело — дать возможность пожить на берегу моря девушке, которая сама не имеет средств путешествовать и о которой мало заботится ее

тетка. Мать Андре, вероятно, не руководилась надеждой на то, что член совета банка и его жена, узнав, как она и ее дочь балуют Альбертину, составят себе о них хорошее мнение; еще менее она надеялась на то, что Альбертина, при всей своей доброте и ловкости, сумеет добиться для нее или по крайней мере для Андре приглашения к финансисту на garden-parties. Но каждый вечер за обедом, принимая вид презрительный и равнодушный, она с восторгом слушала рассказы Альбертины о том, что происходило в замке во время ее пребывания там, о людях, которых там принимали и которых мать Андре обычно знала лишь по имени или по виду. Мысль о том, что она знает их только в таких пределах, то есть не будучи знакома с ними (хотя это у нее называлось «быть давно знакомой»), навевала на мать Андре даже некоторую меланхолию, пока она высокомерным и небрежным тоном, еле шевеля губами, расспрашивала о них Альбертину, и могла бы внушить ей неуверенность и беспокойство относительно своего собственного положения, если бы она не успокаивала себя сама и не возвращалась к «действительности», говоря метрдотелю: «Вы скажете повару, что его горошек недостаточно мягок». Тогда она вновь обретала

свою невозмутимость. И ею было принято твердое решение выдать Андре замуж за человека, разумеется, из прекрасной семьи, но достаточно богатого, чтобы у нее также могли быть повар и два кучера. В этом была положительность, это свидетельствовало о солидности положения. Но что Альбертине случалось в замке члена совета банка обедать с такой-то или с такой-то дамой, что от одной из них у нее даже было приглашение на следующую зиму, — это в глазах матери Андре придавало ей все же некоторую значительность, прекрасно уживавшуюся с жалостью и даже с презрением, возбуждаемыми ее бедностью, презрением, которое еще усугубляло то обстоятельство, что г-н Бонтан изменил своему знамени и стал — как говорили, даже слегка замешанный в Панамское дело — союзником правительства. Это, впрочем, не мешало матери Андре, ради любви к истине, испепелять своим пренебрежением людей, которые как будто считали, что Альбертина низкого происхождения. «Как? чего же лучше! это Симоне, через одно «н». Правда, в той среде, где все это происходило, где такую роль играют деньги, где изящество — мотив для приглашения, но не для брака, Альбертине не удалось бы сделать «сносной партии», извлечь

практическую пользу из того изысканного внимания, которым она пользовалась, но которое не могло уравновесить ее бедность. Однако даже сами по себе, не связываясь ни с какими брачными надеждами, эти «успехи» возбуждали зависть недоброжелательных матерей, приходивших в ярость от того, что Альбертину принимали как «свою» жена члена совета банка и даже мать Андре, которых они почти не знали. Поэтому они и говорили своим общим с этими двумя дамами знакомым, что те были бы возмущены, если бы узнали правду, а именно — будто Альбертина рассказывала у одной из них (и «vice versa»[42]) все то, что благодаря близости, до которой ее так неосмотрительно допустили, ей удалось узнать о другой, — множество маленьких тайн, разоблачение которых для заинтересованной стороны было бы бесконечно неприятно. Завистливые женщины говорили это для того, чтобы другие передали их слова дальше и чтобы поссорить Альбертину с ее покровительницами. Но, как часто случается, эти попытки не имели никакого успеха. Слишком ясно чувствовалась злоба, диктовавшая их, и в результате лишь несколько

[42] Примечания: 42
обратно, наоборот *(лат.)*.

большего презрения удостаивались особы, взявшие на себя почин. Мать Андре была слишком определенного мнения об Альбертине, чтобы изменить свое отношение к ней. Она видела в ней «несчастную», но с отличными задатками девушку, только и думавшую о том, как бы доставить удовольствие другим.

Если эта своеобразная популярность, которой достигла Альбертина, как будто и не должна была повлечь за собой никаких практических результатов, то она придала подруге Андре черты, характерные для людей, которые, всегда пользуясь успехом, никогда не навязываются (черты, встречающиеся по тем же причинам в совершенно противоположном кругу — у дам, отличающихся высокой изысканностью) и не выставляют напоказ своих успехов, скорее их скрывают. Она никогда не говорила: «Ему хочется видеть меня», обо всех отзывалась очень благожелательно и таким тоном, как будто у этих людей и в мыслях не было искать с нею знакомства. Если речь заходила о молодом человеке, который несколько минут тому назад обращался к ней с глазу на глаз с самыми горькими упреками, потому что она отказала ему в свидании, она, далекая от мысли хвастаться этим перед всеми и вовсе не

сердясь на него, с похвалой отзывалась: «Он такой милый мальчик». Ей даже надоело нравиться, потому что это вынуждало огорчать других, между тем как по своей природе она любила доставлять удовольствие. Она настолько любила доставлять удовольствие, что даже прибегала к особой форме лжи, свойственной некоторым практическим людям, лицам, делающим карьеру. Этот вид неискренности, встречающийся, впрочем, в зачаточном состоянии у огромного числа людей, состоит в том, что человек не умеет ограничиться одним поступком, который доставил бы удовольствие одному лицу. Если, например, тетке Альбертины хотелось, чтобы племянница сопровождала ее на какое-нибудь мало интересное собрание, Альбертина, отправляясь туда, могла бы успокоиться на том, что это приятно ее тетке, и тем самым получить нравственное удовлетворение. Но, встречая со стороны хозяев дома ласковый прием, она предпочитала сказать им, что ей так давно хотелось повидаться с ними, что она воспользовалась этим случаем и попросила у тетки позволения сопровождать ее. Этого еще было мало: в числе гостей оказывалась одна из приятельниц Альбертины, у которой было большое горе. Альбертина говорила ей: «Я

не хотела оставить тебя одну, я подумала: тебе будет легче, если мы будем вместе. Может быть, ты желала бы уйти отсюда, пойти куда-нибудь, я сделаю все, чего ты пожелаешь, мне больше всего хочется, чтобы ты не была такой грустной» (что, впрочем, отчасти было правдой). Однако иногда случалось, что фиктивная цель разрушала цель действительную. Например, Альбертина, которой нужно было попросить об услуге для одной своей приятельницы, отправлялась ради этого к какой-нибудь знакомой даме. Но, придя к этой даме, доброй и симпатичной, девушка, бессознательно повиновавшаяся принципу извлечения многократной пользы из одного и того же поступка, находила, что более мило будет, если она сделает вид, что пришла только ради удовольствия, которое предвкушала от встречи с этой дамой. Даму бесконечно трогало, что Альбертина из одной лишь дружбы к ней проделала такой долгий путь. Видя, что дама в полном умилении, Альбертина начинала еще больше любить ее. Но происходило следующее: она так живо чувствовала прелесть дружбы, ради которой будто бы пришла сюда, что опасалась, как бы эта дама не усомнилась в ее на самом деле искренних чувствах, если она попросит об услуге для при-

ятельницы. Дама, чего доброго, подумает, что Альбертина пришла ради этого, что и было правдой, но сделает вывод, что свидание с ней само по себе не доставляет удовольствия Альбертине, что было неверно. Таким образом, Альбертина уходила, не попросив об услуге, как те мужчины, которые, в надежде снискать благосклонность женщины, бывают так любезны с ней, что воздерживаются от признания в любви, лишь бы эта любезность сохранила характер благородства. В других случаях нельзя было бы сказать, чтобы действительная цель приносилась в жертву цели второстепенной, придуманной задним числом, но первая была настолько противоположна второй, что, если бы человек, которого Альбертина приводила в умиление рассказом о первой цели, узнал о второй, его радость тотчас же перешла бы в самое глубокое огорчение. В дальнейшем, много позднее, наше повествование поможет лучше понять это противоречие. Покажем на примере, заимствованном из области фактов совсем другого порядка, что эти противоречия весьма часты в самых различных жизненных положениях. Муж поселил свою любовницу в городе, где стоит его полк. Его жена, оставаясь в Париже и более или менее зная правду, приходит

в отчаяние, пишет мужу ревнивые письма. Но вот любовнице надо на один день приехать в Париж. Муж не может устоять против ее просьб и добывает отпуск на сутки, чтобы сопровождать ее. Но так как он добр и ему больно огорчать свою жену, он приходит к ней и, проливая искренние слезы, говорит, что, напуганный ее письмами, он нашел способ вырваться, чтобы утешить и обнять ее. Таким образом он нашел средство одной и той же поездкой доказать свою любовь и любовнице, и жене. Но если б эта последняя узнала, зачем он приезжал в Париж, радость ее, наверно, превратилась бы в горе, разве только свидание с неблагодарным дало ей, несмотря ни на что, счастье большее, чем те муки, которые ей причиняла его ложь. В числе людей, которые, по-моему, наиболее последовательно прибегали к системе множественных целей, находился г-н де Норпуа. Иногда он брал на себя роль посредника между двумя поссорившимися друзьями, и благодаря этому его называли самым предупредительным человеком. Но ему мало было создать впечатление, что он оказывает услугу тому, кто просил его об этом, — он и другой стороне представлял дело в таком свете, как будто этот шаг он предпринял не *по* просьбе первого, а в интересах

второго, что легко было внушить собеседнику, уже находившемуся под влиянием мысли, что перед ним — «самый предупредительный человек». Таким образом, ведя двойную игру, делая то, что на биржевом языке называют *двойным счётом,* он никогда не подвергал никакому риску свое влияние и, оказывая услуги, не расточал кредита, которым пользовался, а увеличивал его. С другой стороны, каждая услуга, оказанная как будто вдвойне, тем более способствовала его репутации услужливого, вдобавок умело услужливого друга, который действует не зря, все начинания которого приводят к успеху, чему доказательством служила благодарность обеих заинтересованных сторон. Эта двойственность в услужливости, а также и отклонения от нее, характерные в отношении тех или иных свойств для всякого человека, были существенным элементом личности г-на де Норпуа. И часто в министерстве он пользовался услугами моего отца, которому внушал — настолько тот был наивен, — что он ему же оказывает услугу.

Альбертина, которая нравилась другим больше, чем она того хотела, и не имела надобности трубить о своих успехах, промолчала о сцене, которая разыгралась между нами у ее постели

и которую дурнушка разгласила бы всему миру. Впрочем, я не мог объяснить себе ее поведения во время этой сцены. Что касается гипотезы о ее абсолютной добродетельности (гипотезы, при помощи которой я сперва объяснял то резкое сопротивление, каким Альбертина встретила мой поцелуй и мои ласки, и которая, впрочем, вовсе не входила в мои представления о доброте, о глубокой честности моей приятельницы), то я несколько раз ее перерабатывал. Эта гипотеза решительно противоречила той, которую я построил в день первой встречи с Альбертиной. К тому же столько поступков иного рода, которые все были исполнены внимания ко мне (внимания ласкового, иногда беспокойного, встревоженного ревнивыми опасениями, не предпочитаю ли я Андре), окружало со всех сторон грубое движение, которым, чтобы избавиться от меня, она схватилась за звонок. Так зачем же она звала меня провести вечер у ее постели? Зачем она все время говорила нежные слова? На чем основывается желание видеть друга, опасение, что он отдаст предпочтение вашей приятельнице, старания доставить ему удовольствие, романическим тоном сделанное обещание, что никто не узнает, что он провел вечер вместе с вами, если вы отказываете

ему в удовольствии столь простом и если для вас это — не удовольствие? Я все-таки не мог поверить, чтобы добродетельность Альбертины заходила так далеко, и уже задавал себе вопрос, не была ли причиной ее резкости кокетливость, так как, например, ей могло показаться, что от нее неприятно пахнет и что это произведет на меня нехорошее впечатление, или же малодушие, если, например, она, ничего не зная о реальной стороне любви, думала, что моя нервная слабость заразна и может передаться в поцелуе.

Она, безусловно, была огорчена тем, что не могла доставить мне удовольствия, и подарила мне золотой карандашик, повинуясь той добродетельной извращенности, что свойственна людям, которые, будучи тронуты нашим вниманием и не соглашаясь на то, чего оно требует от них, все же стараются сделать для нас что-нибудь другое: критик, статья которого могла бы польстить романисту, вместо этого приглашает его на обед; герцогиня не приглашает сноба вместе с собой в театр, но предоставляет ему свою ложу на такой спектакль, когда ее не будет. Того, кто делает самую малость, а мог бы и ничего не делать, побуждает к этому совестливость, желание сделать хоть что-нибудь. Я сказал Альбертине, что,

даря мне этот карандашик, она мне доставляет большое удовольствие, не такое, однако, какое я мог бы получить, если бы в тот вечер, когда она прибыла ночевать в гостиницу, она позволила мне поцеловать ее. «Я был бы так счастлив! вам бы это ничего не стоило, я удивляюсь, что вы мне отказали в этом». — «А меня удивляет, — ответила она, — что вам это кажется удивительным. Не пойму, с какими девушками вы были знакомы, если мое поведение могло удивить вас». — «Я в отчаянии, что рассердил вас, но даже и сейчас я не могу сказать, что признаю свою вину. По-моему, это совершенно несущественно, и я не понимаю, отчего девушка, которая так легко может доставить удовольствие, не соглашается на это. Давайте разберемся, — прибавил я, снисходя к ее понятиям о нравственности и вспоминая, как она со своими подругами клеймила приятельницу актрисы Лии. — Я не хочу сказать, что девушке все позволено и что нет ничего безнравственного. Вот хотя бы такие отношения, о которых вы недавно говорили по поводу этой девочки, что живет здесь в Бальбеке, и которые будто бы существуют между ней и одной актрисой: по-моему, это мерзко, так мерзко, что, я думаю, это сочинили недоброжелатели и это неправда.

По-моему, такое невероятно, невозможно. Но позволить поцеловать себя, и даже не только это, притом своему другу, — ведь вы говорите, что я ваш друг…» — «Вы — мой друг, но у меня и до вас были друзья, я была знакома с молодыми людьми, которые, уверяю вас, относились ко мне так же дружески. Ну и вот, никто из них не позволил бы себе подобной вещи. Они знали, какую оплеуху получили бы за это. Впрочем, они об этом даже и не думали, жали руки просто, по-дружески, как настоящие товарищи; никто не вздумал бы лезть целоваться, и от этого мы были не меньшими друзьями. Ну, если вы дорожите моей дружбой, вы можете быть довольны, потому что если я вас прощаю, значит, вы мне очень нравитесь. Но я уверена, что вам до меня дела нет. Признайтесь, что нравится вам Андре. В сущности, вы правы, она гораздо лучше меня, ведь она же восхитительная! Ах вы, мужчины!» Несмотря на мое совсем недавнее разочарование, эти слова, такие откровенные, внушили мне большое уважение к Альбертине и произвели на меня впечатление очень успокаивающее. И, может быть, именно это впечатление имело для меня потом важные и досадные последствия, потому что благодаря ему во мне впервые возникло то почти родствен-

ное чувство, та моральная сердцевина, которые всегда оставались в центре моей любви к Альбертине. Подобное чувство может быть источником величайших огорчений. Ведь для того, чтобы действительно страдать из-за женщины, надо пережить пору полного доверия к ней. Пока что этот зародыш морального уважения, дружбы оставался в моей душе как начало чего-то нового. Сам по себе он не мог бы помешать моему счастью, если бы он не рос, если бы он застыл в том инертном состоянии, которое не нарушалось весь следующий год, а тем более эти последние недели моего первого пребывания в Бальбеке. Он жил во мне как гость, которого все-таки осторожнее было бы удалить, но которого спокойно оставляют на его месте, настолько безобидным делает его до поры до времени его слабость и его одиночество внутри чужой души.

Теперь мои мечты свободно могли направиться на ту или иную из подруг Альбертины, и прежде всего на Андре, знаки внимания которой, может быть, меньше трогали бы меня, если бы я не был уверен, что они станут известны Альбертине. Конечно, притворное предпочтение, которое я уже давно оказывал Андре, дало мне — благодаря постоянным беседам, нежным признаниям — как

бы готовый материал для любви к ней, до сих пор испытывавшей недостаток только в искреннем чувстве, которое присоединилось бы к нему и которое мое сердце, став свободным, могло бы теперь дать. Но Андре была слишком интеллектуальна, слишком нервна, слишком болезненна, слишком похожа на меня, чтобы я по-настоящему мог ее полюбить. Если Альбертина казалась мне теперь пустой, то все, чем полна была Андре, было мне слишком знакомо. При первой встрече на пляже я решил, что передо мной упоенная спортом любовница какого-нибудь гонщика, а Андре рассказала мне, что за спорт она принялась по совету врача, чтоб вылечить свою неврастению и расстроенное пищеварение, но что лучшие часы для нее те, когда она переводит роман Джордж Элиот. Мое разочарование, следствие исходного заблуждения, в которое я впал относительно Андре, на самом деле никак не повлияло на меня. Но это заблуждение было из числа тех, которые, если сперва они дают зародиться любви и обнаруживаются лишь тогда, когда ее нельзя уже изменить, превращаются в источник страдания. Эти заблуждения — иногда и непохожие на то, в какое я впал относительно Андре, и даже противоположные — часто зависят, как это было в случае

с Андре, от того, что человек внешним обликом, манерами настолько подражает тому, чем он не является, но чем хотел бы быть, что на первый взгляд создает иллюзию. Благодаря аффектации, подражанию, желанию вызывать восхищение как добрых, так и злых, внешнему облику сопутствуют обманчиво похожие слова и жесты. Есть формы цинизма и жестокости, которые не выдерживают испытания так же, как и известные формы доброты и великодушия. Подобно тому как человек, известный своей благотворительностью, нередко оказывается тщеславным скрягой, так и порядочная, исполненная предрассудков девушка кажется нам Мессалиной, потому что бахвалится своими пороками. Я думал найти в Андре существо здоровое и простое, а она только стремилась к здоровью, так же как, может быть, многие из тех, в ком она видела его и которые в такой же мере не обладали им, в какой толстый артритик с красным лицом и в белой фланелевой куртке не является непременно Геркулесом. Однако в известных случаях для нашего счастья не безразлично, что человек, в котором мы любили его здоровье, на самом деле оказывается лишь одним из тех болезненных людей, которые черпают свое здоровье от других, подобно тому

как планеты заимствуют свой свет, подобно тому как некоторые тела служат лишь проводниками электричества.

Не все ль равно, — Андре так же, как Розамунда и Жизель, даже в большей степени, чем они, была все же приятельницей Альбертины, делившей с ней жизнь и настолько подражавшей ее манерам, что в первый день я не смог отличить их друг от друга. Эти девушки, стебли роз, главная прелесть которых состояла в том, что они вырисовывались на фоне моря, были связаны всё тем же безраздельным единством, как и в дни, когда я не был с ними знаком и когда встреча с любой из них вызывала во мне такое волнение, возвещая близость маленькой ватаги. Еще теперь, видя одну из них, я испытывал удовольствие, зависевшее в какой-то трудно определимой мере от того, что за нею со временем должны были последовать все остальные и что, даже если они и не появлялись в этот день, можно было говорить о них и знать, что им будет передано, что я был на пляже.

Это уже не было простое очарование первых дней — настоящее желание любить колебалось теперь между всеми, настолько каждая из них естественно заменяла другую. Быть покинутым той из девушек, которая мне нравилась больше

всех, было бы для меня не самое печальное, но та, которая бы покинула меня, сразу понравилась бы мне больше всех, потому что в ней сосредоточились бы для меня вся та печаль и все те мечты, которые смутно реяли над всеми. Впрочем, в этом случае я жалел бы об утрате в ее лице всех ее подруг, в чьих глазах я вскоре лишился бы всякого престижа, признавшись им в той своеобразной коллективной любви, какую питают к публике политический деятель или актер, которые не в силах утешиться, если эта публика, дарившая их полной своей благосклонностью, отворачивается от них. Иногда я даже вдруг начинал надеяться, что тех милостей, которых мне не удалось добиться от Альбертины, я добьюсь от той или иной из них, если, прощаясь со мной накануне вечером, она говорила мне какое-нибудь двусмысленное слово или бросала двусмысленный взгляд, на целый день направлявший к ней потом мое желание.

Оно с тем большим упоением блуждало между ними, что на этих подвижных лицах уже настолько обозначались их особенности, что можно было различить, хотя бы ему еще и предстояло меняться, незастывший и колеблющийся образ. Различиям, существовавшим между ними, ко-

нечно, далеко не соответствовали их в равной мере отличавшиеся друг от друга по длине или ширине черты, которые, пожалуй, почти что можно было перенести с одной девушки на другую, как бы мало похожи ни были они. Но лица мы познаём не математически. Во-первых, мы начинаем не с измерения отдельных элементов, мы исходим из выражения, из чего-то целого. У Андре, например, проницательность нежных глаз как будто гармонировала с узким носом, таким тонким, словно это была одна кривая, проведенная для того лишь, чтобы одной линией выразить всю мягкость, двоившуюся несколько выше в улыбающихся взглядах-близнецах. Такая же тонкая линия проходила в ее волосах, гибкая и глубокая, как будто это ветер взбороздил песок. И здесь, должно быть, она была наследственной; совершенно седые волосы матери Андре были сбиты подобным же образом, в одном месте вздуваясь, в другом опускаясь, точно снег, образующий то возвышения, то провалы, в зависимости от неровностей почвы. Конечно, в сравнении с тонкими очертаниями носа Андре нос Розамунды представлял широкие поверхности, как высокая башня на мощном фундаменте. Если выражение лица может убедить в огромном

различии между тем, что отделено величиной бесконечно малой, и если бесконечно малая может сама по себе создать совершенно особое выражение, целую индивидуальность, — то всё же не только благодаря какой-нибудь линии, воплощавшей эту бесконечно малую, и не только благодаря своеобразию выражения, эти лица казались несводимыми одно к другому. Между лицами моих приятельниц разграничение еще более глубокое создавалось окраской — и не столько многообразной красотой оттенков, которые она придавала им, столь противоположных, что, глядя на Розамунду, залитую желтовато-розовым светом, который еще больше выделялся по контрасту с зеленоватым мерцанием ее глаз, и глядя на Андре, бледные щеки которой так строго и благородно оттенялись ее черными волосами, я испытывал такое же наслаждение, как если бы смотрел то на герань, растущую на берегу озаренного солнцем моря, то на камелию, окруженную ночью, — сколько благодаря тому, что бесконечно малые различия в очертаниях непомерно разрастались и соотношения между поверхностями совершенно изменялись под влиянием нового элемента — краски — мастерицы распределять оттенки, так же как и обновлять

или хотя бы видоизменять размеры. Таким образом лица, может быть, мало отличавшиеся по структуре, вытягивались или расширялись, смотря по тому, озарялись ли они пламенем рыжих волос с розовым отливом или белым светом матовой бледности, — становились чем-то иным, как те аксессуары русских балетов, что иногда при дневном свете представляют всего лишь обыкновенный бумажный кружок, который, однако, повинуясь гению Бакста, в зависимости от светло-красного или лунного света, пролитого на декорацию, четко вкрапливается в нее, как будто это бирюза на фасаде дворца, или мягко распускается, точно бенгальская роза среди сада. Так, познавая лица, мы измеряем их, но как художники, а не как землемеры.

С Альбертиной дело обстояло так же, как с ее подругами. В иные дни, точно похудев, изменившись в лице, которое окрашивалось в серый цвет и принимало хмурое выражение, причем в глубине ее глаз, как иногда в глубине моря, мерцала лиловатая прозрачность, она словно переживала тоску изгнанницы. В другие дни ее лицо, став более светлым, задерживало желания на своей, точно лаком покрытой и клейкой, поверхности и не позволяло им направляться дальше, если

только не случалось внезапно взглянуть на нее сбоку, потому что ее щеки, матовые на поверхности, как белый воск, просвечивали румянцем и от этого так хотелось поцеловать их, уловить этот прячущийся особенный оттенок. А порой счастье заливало ее щеки таким изменчивым светом, что кожа, став текучей и расплывчатой, словно пропускала взгляды каких-то скрытых под нею глаз, которые окрашивали ее в другой цвет, хоть она и была как будто из того же вещества, что и глаза; по временам, когда, не вдумываясь, случалось смотреть на ее лицо, усыпанное мелкими коричневыми точками, где переливались точно два голубых пятна, казалось, что это — яйцо щегленка, а иногда — что это опаловый агат, отделанный и отполированный только в двух местах, где на фоне коричневого камня, подобно прозрачным крыльям голубой бабочки, сияют глаза, в которых плоть становится зеркалом и дает нам иллюзию, что здесь в большей степени, чем в других частях тела, мы приближаемся к душе. Но чаще всего цвет лица ее был ярче, и тогда она была оживленнее; иногда на фоне бледного лица розовел только кончик носа, тонкий, как у маленькой лукавой кошечки, с которой хочется поиграть; иногда ее щеки так лоснились, что

взгляд скользил, точно перед ним была миниатюра, по их розовой эмали, которая казалась еще более нежной, еще более естественной благодаря приподнятой копне ее черных волос; порою ее щеки принимали лиловато-розовую окраску цикламена, иногда даже, если Альбертине случалось разгорячиться и ее лихорадило, их покрывал темный пурпур иных сортов роз, почти черный багрянец, вызывавший представление о ее болезненности, которая низводила мое желание до степени чего-то более чувственного и придавало ее взгляду что-то еще более нездоровое и порочное; и каждая из этих Альбертин была другая, подобно тому как танцовщица при каждом своем появлении кажется иной, если от бесконечно разнообразной игры прожектора меняются ее очертания, краски, характер. Быть может, именно потому, что так различны были эти существа, которые я тогда видел в ней, я сам впоследствии привык быть разным человеком, смотря по тому, о какой Альбертине я думал, — ревнивым, равнодушным, сладострастным, меланхоличным, неистовым, — и делался таким не только по прихоти воспоминания, воскресавшего во мне, но и благодаря разному отношению к одному и тому же воспоминанию, в зависимости от силы

веры, с ним связанной. Ибо всё время приходится возвращаться к этому, к этой вере, которая большей частью помимо нашего ведома наполняет нашу душу, но которая, однако, важнее для нашего счастья, чем тот человек, которого мы видим, потому что мы видим его сквозь нее, это она придает мимолетное величие существу, на которое мы смотрим. Ради точности мне следовало бы называть разными именами каждое из тех «я», которым впоследствии пришлось думать об Альбертине; тем более следовало бы называть разными именами каждую из тех Альбертин, что появлялись передо мной, всегда неодинаковые, как те моря — только ради удобства называемые мною просто *морем,* — которые сменялись одно за другим и на фоне которых, точно нимфа, вырисовывалась она. Но прежде всего, совершенно так же, как в каком-нибудь рассказе сообщают о погоде, которая была в такой-то день, однако с гораздо большей пользой, мне следовало бы называть всегда особым именем веру, владевшую моей душой в каждый из тех дней, когда я видел Альбертину, — веру, создававшую атмосферу, определявшую облик людей, подобно тому, как на облик моря влияют те едва заметные облачка, от скученности, от изменчивости, от

разбросанности, от движения которых всякая вещь меняет свою окраску, — те облачка, завесу которых однажды вечером разорвал Эльстир, не представив меня девушкам, чьи образы показались мне вдруг более прекрасными, когда они стали удаляться, — облачка, возникшие вновь несколько дней спустя, когда я познакомился с ними, туманившие их блеск, часто скрывавшие их от моих глаз, непроницаемые и нежные, подобные вергилиевой Левкотее.

Конечно, лицо каждой из них получило для меня другой смысл после того, как метод, каким их следовало читать, мне был указан в известной степени их словами — словами, которым я приписывал тем большую ценность, что мог по собственному усмотрению вызывать их своими вопросами, заставляя их варьировать, словно экспериментатор, ждущий от повторных опытов подтверждения того, что он предполагает. И, в сущности, вполне приемлем этот способ разрешать проблему бытия, состоящий в том, что к вещам и людям, показавшимся нам издали прекрасными и таинственными, мы подходим на такое близкое расстояние, которое позволяет убедиться, что они лишены таинственности и красоты; это одна из возможных систем гигиены,

система, которую, пожалуй, не очень следует рекомендовать, но в нашу жизнь она вносит известное спокойствие, и к тому же, позволяя нам ни о чем не жалеть, внушая нам, что мы достигли лучшего и что это лучшее не бог весть что, она помогает нам смириться перед смертью.

Презрение к целомудрию, воспоминания о каждодневных похождениях, которые, как мне казалось вначале, должны были таиться в мозгу этих девушек, теперь сменились для меня правилами порядочности, быть может и не слишком твердыми, но до сих пор предохранявшими от всяких уклонений тех, кто воспринял их от своей буржуазной среды. Но когда мы с самого начала ошибаемся, даже в каких-нибудь мелочах, когда ошибочное предположение или воспоминание заставляет нас в ложном направлении искать автора какой-нибудь сплетни или мест, где затерялась та или иная вещь, то может случиться, что, обнаружив свою ошибку, мы заменим ее не истиной, а новой ошибкой. Что касается образа жизни этих девушек и поведения, какого следовало держаться с ними, то я сделал все выводы из слова «невинность», прочитанного мной на их лицах в дружеских беседах с ними. Но прочел я его, быть может, по ошибке, слишком уж торо-

пясь, и, пожалуй, оно так же не было написано на них, как имя Жюля Ферри на программе того утреннего спектакля, когда я впервые слушал Берма, что не помешало мне, однако, спорить с г-ном де Норпуа и утверждать, что Жюль Ферри, без всякого сомнения, пишет одноактные пьесы «для поднятия занавеса».

Как мог бы я запомнить не только то лицо, которое видел в последний раз — все равно, о ком бы из моих приятельниц ни шла речь, — если наш разум устраняет из воспоминаний, относящихся к данному человеку, всё, что не может быть непосредственно полезно в наших каждодневных отношениях (и даже в особенности в том случае, когда эти отношения хоть в слабой степени окрашены любовью, которая, вечно неудовлетворенная, живет в будущем)? Цепь прошедших дней ускользает от разума, который с силой хватается лишь за самый конец ее, нередко выкованный из другого металла, чем звенья, исчезнувшие среди ночи, во время странствования по жизни, и считает явью только ту страну, где мы находимся в данный момент. И все первые впечатления, уже такие далекие, не могли найти в моей памяти поддержки против их ежедневного искажения; в течение долгих часов, которые я проводил в

обществе этих девушек, разговаривая с ними, лакомясь, играя, я даже не помнил о том, что они — те же самые безжалостные и чувственные девы, которые предстали мне, точно на фреске, шествуя на фоне моря.

Правда, географы, археологи ведут нас на остров Калипсо, откапывают дворец Миноса. Но ведь для них Калипсо — всего лишь женщина, Минос — всего лишь царь, утративший всякую божественность. Даже достоинства и недостатки, которые, как сообщает нам теперь история, были достоянием этих вполне реальных личностей, часто весьма отличаются от тех, какие мы приписывали сказочным существам, носившим те же имена. Так рассеялась вся прелестная океаническая мифология, созданная мной в первые дни. Но для нас не совсем безразлично, если нам случается иногда проводить время в обществе людей, которых мы считали недостижимыми и к которым стремились. В общении с теми, кто сперва казался нам неприятным, всегда остается, несмотря на поддельное удовольствие, которое в конце концов они нам могут дать, привкус недостатков, которые им удалось скрыть. Но в таких отношениях, как те, что связывали меня с Альбертиной и ее подругами, неподдельное

наслаждение, положившее им начало, оставляет по себе тот же аромат, которого никакие усовершенствования не придадут оранжерейным плодам, винограду, созревшему не на солнце. Благодаря тому, что одно время они были для меня существами сверхъестественными, еще и теперь элемент волшебности, даже не осознанный мной, проникал в самые обыденные отношения, связывавшие нас, или, вернее, предохранял их от всякой обыденности. Мое желание так жадно стремилось раскрыть смысл их глаз, теперь уже знавших меня и улыбавшихся мне, но в тот, первый день скрестившихся с моими взглядами, точно лучи из иного мира, оно так щедро и так тщательно наделило красками и ароматами тела этих девушек, лежавших на скале и запросто предлагавших мне сандвичи или игравших со мной в загадки, что часто — как художники, которые в современной жизни ищут античного величия в какой-нибудь женщине, обрезающей ноготь на ноге, придают благородство «Юноше с занозой» или, словно Рубенс, изображая мифологическую сцену, превращают в богинь знакомых женщин, — я, лежа в послеполуденные часы, глядел на эти расположившиеся вокруг меня в траве прекрасные тела, смуглые и белые,

столь противоположные по типу, и, не отрывая их, быть может, от всей той посредственности, которой их наполнило для меня каждодневное общение, не напоминая себе об их божественном происхождении, всё же, подобно Гераклу или Телемаку, испытывал такое чувство, как будто веду игру с нимфами.

Потом концерты кончились, настала плохая погода, мои приятельницы покинули Бальбек, не все сразу, как ласточки, но на одной и той же неделе. Альбертина уехала первой, неожиданно, причем ни одна из ее приятельниц ни тогда, ни впоследствии не могла понять, почему она так вдруг вернулась в Париж, где не ждали ее ни работа, ни развлечения. «Ни зачем, ни почему, не сказала, да и уехала», — брюзжала Франсуаза, которой, впрочем, хотелось, чтобы то же самое сделали и мы. Она считала, что мы неделикатно поступаем по отношению к служащим в гостинице, которых, хотя их и стало уже гораздо меньше, еще задерживало присутствие немногих оставшихся клиентов, и к управляющему, который «зря тратит деньги». Действительно, из гостиницы, которая вскоре должна была закрыться, уехали почти все; никогда еще в ней не было так приятно. Управляющий был другого мнения;

вдоль гостиных, где нельзя было не мерзнуть и у дверей которых уже не стояли грумы, он расхаживал по коридорам, в новом сюртуке, до того выхоленный парикмахером, что его бесцветное лицо превратилось как бы в особую смесь, на одну четверть состоящую из кожи и на три четверти — из косметики, каждый раз в новом галстуке (такое франтовство стоит дешевле, чем отопление и содержание персонала, и тот, кто уже не может пожертвовать десять тысяч франков на нужды благотворительности, без труда проявляет свою щедрость, давая пять франков телеграфисту, приносящему телеграмму). Он как будто наблюдал за пустотой, как будто старался, благодаря своей корректной внешности, придать характер чего-то временного этой нищете, чувствовавшейся в гостинице, где сезон был неудачен, и напоминал призрак монарха, возвращающегося на развалины своего дворца. Он особенно был недоволен, когда за отсутствием пассажиров перестала действовать до следующей весны местная железная дорога. «Чего нам не хватает, — говорил управляющий, — так это средств движения». Несмотря на дефицит, который ему приходилось заносить в свои книги, он строил грандиозные планы на будущий год. А так как все-таки он был в состоянии

в точности запоминать изящные выражения, если их можно было применять в отельном деле и если они служили его чести, то он говорил: «В персонале у меня чувствовался недостаток, хотя в столовой и была недурная команда, но курьеры оставляли желать лучшего, вот увидите, какую фалангу наберу в будущем году». Пока что (из-за остановки движения на местной железной дороге) ему приходилось посылать за письмами, а иногда и клиентов возить в дрянном экипаже. Я часто просил позволения сесть рядом с кучером и благодаря этому мог совершать прогулки во всякую погоду, как в ту зиму, которую провел в Комбре.

Иногда, однако, слишком сильный дождь удерживал нас с бабушкой, так как казино уже закрылось, в почти совершенно пустых комнатах, точно в трюме корабля, когда дует ветер; причем каждый день, как будто мы в самом деле были в плаванье, к нам подходил кто-нибудь из тех, рядом с которыми мы прожили три месяца, так и не познакомившись: председатель рейнского суда, старшина из Кана, какая-то американка с дочерьми — вступали в разговор, придумывали как скоротать время, обнаруживали какой-нибудь талант, обучали нас какой-нибудь игре,

приглашали нас выпить чаю или помузицировать, собраться в определенный час, изобрести сообща какое-нибудь развлечение из числа тех, что по-настоящему обладают секретом доставить удовольствие (который состоит в том, что они на это не претендуют, а только помогают нам провести время и забыть скуку), — словом, на исходе нашего пребывания в Бальбеке завязывали с нами дружеские отношения, которые на другой же день прерывались из-за их отъезда. Я даже познакомился с молодым богачом, одним из двух его аристократических друзей и актрисой, вернувшейся сюда на несколько дней; но маленький этот кружок состоял теперь всего лишь из трех лиц, так как другой приятель уже вернулся в Париж. Они пригласили меня пообедать с ними в их излюбленном ресторане. Кажется, они были довольны, что я отказался. Но приглашение было сделано самым любезным образом, и хотя в действительности оно исходило от молодого богача, ибо остальные были только его гости, всё же, так как его приятель, маркиз Морис де Водемон, был из очень аристократической семьи, актриса, спрашивая меня, приду ли я, невольно сказала, чтобы польстить мне:

— Это доставит такое удовольствие Морису.

И когда я встретил их всех троих в вестибюле, то именно г-н де Водемон, а не молодой богач, спросил меня:

— Не доставите ли вы нам удовольствие отобедать с нами?

В сущности, я очень мало воспользовался Бальбеком, что вызывало во мне еще более сильное желание вернуться сюда. Мне казалось, что я пробыл здесь слишком недолго. Иного мнения были мои друзья, спрашивавшие меня в своих письмах, не собираюсь ли я здесь остаться навсегда. А так как на конверте они должны были ставить название «Бальбек» и так как мое окно выходило не в поле и не на улицу, а на равнины моря и ночью я слышал его гул, которому, засыпая, вверял, словно лодку, свой сон, то у меня складывалось впечатление, что благодаря этой близости к волнам я, помимо своей воли, физически проникаюсь сознанием их прелести, подобно тому, как урок может заучиваться во сне.

Управляющий предлагал мне на будущий год лучшие комнаты, но теперь я привязался к своей и входил в нее, уже не чувствуя запаха ветиверии и в конце концов настолько приучив к ее размерам свою мысль, которая вначале с таким трудом привыкала к ним, что принужден был воздей-

ствовать на нее в обратном направлении, когда, по возвращении в Париж, мне пришлось спать в моей прежней комнате, где был низкий потолок.

Из Бальбека, в самом деле, пришлось уехать, так как холод и сырость сделались настолько пронизывающими, что дольше нельзя было оставаться в этой гостинице без каминов и калориферов. Впрочем, я почти сразу же забыл эти последние недели. Почти неизменно представлялись мне, когда я думал о Бальбеке, те минуты, когда по утрам в хорошую погоду, если мне предстояла послеполуденная прогулка с Альбертиной и ее подругами, бабушка, следуя указаниям врача, заставляла меня лежать в темноте. Управляющий отдавал распоряжение, чтобы в нашем этаже не было шума, и сам следил, чтобы оно исполнялось. Так как свет был слишком яркий, то я как можно дольше держал задернутыми широкие лиловые занавески, проявившие ко мне в первый вечер такую враждебность. Но так как, несмотря на булавки, которыми каждый вечер скрепляла их Франсуаза, чтобы солнце не могло проникнуть в комнату, и которые она одна и умела отколоть, несмотря на одеяла, красную кретоновую скатерть, взятые из разных мест куски материи, которые она прилаживала к занавесям, ей не уда-

валось закрыть их наглухо, то темнота не была полной и на ковер словно сыпались красные лепестки анемона, на которые я, не в силах отказать себе в этом, на минуту становился босыми ногами. А на стене, противоположной окну, частично освещенной, вырисовывалось вертикально поставленное золотое цилиндрической формы тело, ничем не поддерживаемое, и медленно перемещалось, как огненный столп, предварявший шествие евреев в пустыне. Я снова ложился; приходилось хранить неподвижность и только в воображении вкушать, все зараз, удовольствия, которые сулили игра, купанье, ходьба и которые подсказывало утро; радость наполняла мое сердце, и оно шумно билось, словно машина, пущенная в ход, но неподвижная и принужденная расходовать свою энергию, не снимаясь с места, в форме вращательного движения. Я знал, что мои приятельницы на дамбе, но не видел, как они проходили мимо неравномерных звеньев моря, за которым, возвышаясь среди его голубоватых вершин, виднелся порою, когда бывало посветлее, похожий на итальянское селение городок Ривбель, отчетливо выделявшийся в солнечных лучах. Я не видел моих приятельниц, но (слыша доносившиеся до моего бельведера выкрики

газетчиков — «журналистов», как называла их Франсуаза, — возгласы купальщиков и занятых игрой детей, которые оттеняли, наподобие крика морских птиц, шум мягко разбивавшихся волн) угадывал их присутствие, слышал их смех, который, точно смех нереид, обволакивался нежным шумом прибоя, достигавшим моих ушей. «Мы смотрели, — говорила мне вечером Альбертина, — не спуститесь ли вы. Но ставни у вас были закрыты, даже когда начался концерт». В самом деле, в десять часов он разражался под моими окнами. В перерывах, если прилив еще продолжался, слышался плавный и непрерывно скользящий плеск волны, как будто обволакивающей своими кристальными завитками рулады скрипки и обрызгивающей пеной прерывистые отголоски какой-то подводной музыки. Я с нетерпением ждал, когда же мне принесут платье, чтобы можно было одеваться. Било двенадцать, наконец приходила Франсуаза. И в том самом Бальбеке, куда я так стремился, воображая его затерянным среди туманов и бурь, погода целые месяцы стояла такая ослепительная и такая постоянная что, когда Франсуаза открывала окно, я всякий раз, не рискуя ошибиться, ожидал уже увидеть всё ту же солнечную полосу, заги-

бавшуюся на углу наружной стены, и всё того же неизменного оттенка, который уже не поражал, как напоминание о лете, а скорее походил на тускло-неподвижный искусственный блеск эмали. И когда Франсуаза вынимала булавки, отцепляла куски материи, раздвигала занавески, летний день, открывавшийся за ними, казался таким мертвым, таким незапамятно древним, точно пышная тысячелетняя мумия, которую нашей старой служанке надо было бережно раскутать, освободить от всех ее саванов, прежде чем она появлялась набальзамированная, в своих золотых одеждах.